А.В. Амфитеатров

А.В. Амфитеатров

10

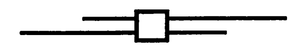
А.В. АМФИТЕАТРОВ





А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений в 10 томах



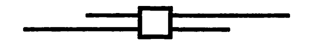
ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ
ВОСПОМИНАНИЯ
ПОРТРЕТЫ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
ПАРОДИИ. ЭПИГРАММЫ



Москва
НПК «Интелвак»
ОО «РНТВО»
2003

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений
в 10 томах
Том десятый
Книга вторая



МЕМУАРЫ



Москва
НПК «Интелвак»
ОО «РНТВО»
2003

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

Научный руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5–93264-017-0 (т. 10, кн. 2)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ПАРОДИИ. ЭПИГРАММЫ

ПАМЯТИ ПОЛОНСКОГО

I

Скончался Полонский. Немного найдется грамотных людей на Руси, для кого бы весть эта оказалась темным словом, ничего не говорящим мысли и чувству. Поэт четырех поколений, кому не был он знаком с детства? Кому из нас на заре нашей грамотности не рассказал он через Паульсона или Ушинского о том, как «ночью в колыбель младенца месяц луч свой заронил», о том, как камни пустыни грянули «аминь» в ответ на вещее слово Бэды-проповедника о Боге, распятом за наши грехи? Кто из нас в юности не грустил и не смеялся до слез над похождениями «Кузнечика-музыканта»? А неграмотная Русь, хоть и не дошло до нее имя Полонского, все же распевает в медвежьих углах своих:

В одной знакомой улице
Я вспомню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном...

Либо поет про русую головку, мелькающую в тени за окном; либо — про костер цыганки, что «в тумане светит, искры гаснут на лету...»

Ушел из мира «сей остальной из стаи славной!..» Смерть Полонского вызывает не острую, жгучую скорбь с ропотом на судьбу, порвавшую нить жизни талантливого человека, — жизнь поэта была долга, обильна трудом и плодоносна; закрывая глаза, он с чувством глубокого удовлетворения нравственного мог сказать о себе, что «свершил в пределе земном все земное».

Якова Петровича причисляли к лику «парнасцев» русской поэзии. Когда надо было укорить последнюю за внедрившуюся в нее «тенденцию» и «гражданскую скорбь», — в числе других жрецов «чистой поэзии» — выставлялось имя Полонского — выставлялось почетно, на одном из первых мест. Майков, Полонский и Фет лет тридцать подряд провозглашались как бы знаменоносцами «искусства для искусства». На пятидесятилетнем юбилее Полонского Майков торжественно провозгласил

тост примерный
За поэтический, наш верный,
Наш добрый тройственный союз!

Однако, я смею думать, что в союзе этом Я.П. Полонский, особенно в позднейший период жизни, после 60-х годов, состоял членом скорее по равенству лет, по дружбе юности, по воспоминаниям вместе пережитого романтизма тридцатых и сороковых годов, чем по наклонностям своей музы. Уступая в песнях своих Майкову изяществом формы, Фету роскошью образов, он, бесспорно, превосходил обоих глубокою человечностью своей поэзии, близостью ее к миру сему. Нет, он не парнасец — он наш, кость от кости и плоть от плоти нашей, с людьми жил, людское творил и о людском говорил. Он певец не «чистого», но *чистоплотного* искусства; его вдохновения не касались грязи земной, но не брезговали ею, не надмевались с олимпийской высоты над бедными и скорбными детьми Прометея. Полонский любил русское общество, страдал и радовался с ним, переживал все его настроения и отзывался на них как чуткое эхо...

Писатель, если только он —
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия!
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода!

Таково поэтическое исповедание веры Полонского. Роль писателя как «нерва человечества» он подчеркивал неоднократно, — например, в драматическом этюде, где изображал он умирающего Белинского. И нельзя не сознаваться, что и по темам своим, и по сочувствию к темам он чаще протягивал руку Некрасову, с которым не дружил, чем Майкову с Фетом, с которыми числился в «тройственном союзе». Певец живых и чутких настроений он правильно характеризовал себя:

Мое сердце — родник, моя песня — волна,
На просторе она разливается.
Под грозой моя песня, как туча, черна,
На заре — в ней заря отражается!

И грозы, и зори русской жизни проходят в песне Полонского, как в несколько туманном, но нелицемерном зеркале. Он не был рожден для битв, но не мог ограничиться и сферою одних лишь звуков сладких и молитв. Больше того: в мыслях своих, в самосознании своем поэта-бойца он ставит выше себя: таково смиренное признание его в известном послании к И.С. Аксакову. Борьба со злом досталась другим; на долю Полонского выпала скорбь о «царевании зла» и сочувствие усилиям добра. Пусть другие — солдаты, он — честный брат милосердия; другие наносят и получают раны — он их перевязывает, ходит за больными, утешает их, ободряет.

Недаром Полонский был так дружески близок с Тургеневым. Он сам — тургеневский герой. Если бы Лаврецкий стал

литератором, он писал бы, как Полонский. В стихах Якова Петровича часто звенят ноты «лишнего человека»:

...Проклятый червяк
В сердце уняться не может никак:
То ли он старую рану тревожит,
То ли он новую гложет?

Полонский пережил всю историю нашей юной гражданственности — весь «послепушкинский» период русской культуры. Пережил, как уже заметил я, чутко и отзывчиво. Тут и севастопольские громы, и польское восстание, и эпоха реформ, и франко-прусская война, и славянское движение, и смута семидесятых годов, и Александр III... И на всем огромном протяжении этих полос и эпох лира Полонского иногда впадала в ошибки, и даже жестокие, но ни разу не издала она фальшивого, нарочного, непрочувствованного звука; поэт не сказал ни одного слова неискреннего, притворно вымученного из себя вчуже — в угоду веяниям века. Он весь — то, что он чувствует: всегда и во всем — человек убеждения, носимого несколько пассивно, но неизменно. И все его убеждения озарены каким-то незакатным светом любви к человеку, прощения его ошибок, надежды на лучшее будущее общества, веры в правду, разум и добро природы человеческой.

Чистым поэтом являлся Полонский лицом к лицу с природою, которую он боготворил с энтузиазмом истого пантеиста-романтика, воспитанного наследием Гёте и Шиллера. Мне нет нужды напоминать бесчисленные перлы, порожденные общением поэта с видимым миром: они рассыпаны в каждой хрестоматии... Но даже уходя в эти прекрасные впечатления, он не утопал в них до самозабвения, как утопали Фет, Щербина, Майков, Мей. В страстно любимой им Италии Полонский среди чудес природы и искусства не в силах позабыть страданий этой в ту пору угнетенной страны, не в силах он позабыть ее стона и ее насильников. Где люди страдают, туда

тянет его, с его слезами и с его песнею. Он не может равнодушно пройти мимо страдальца, хотя бы тот был и из чужого ему лагеря общественного. На смуту семидесятых годов он, как патриот-государственник, отвечал стихами порицания, — но в то же время плакал над горькими судьбами молодежи.

Что мне она? Не жена, не любовница
И не родная мне дочь...
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь?
Спать не дает оттого, что мне грезится
Молодость в душной тюрьме...

Гражданин-романтик, поэт до глубины души и рыцарь человечества — вот точное определение Полонского. Быть может, он был больше Дон Карлосом, чем маркизом Позою, больше человеком чувства, чем деятельной энергии. Но — «человек он был!» — и в этом его высокое значение. Его пассивная, бескорыстная любовь к миру была сильнейшим укором озлоблению железного века, чем самая резкая и энергичная сатира. Не в силе Бог, а в правде, — говорит старая истина. Покойный поэт не был богатырем силы, зато правда, несомненно, жила неразлучно с Полонским. И Бог был с ним, и к Богу правды он теперь возвратился. «Подвигом добрым подвизахся!» — вот эпиграф к жизнеописанию и надгробие на могилу его.

II
(В ДЕНЬ ПОХОРОН)

Сегодня — «последняя пятница Полонского». Затем он землею станет и в землю отойдет.

Пятницы Полонского — кто не знал их в петроградском литературном и артистическом мире? Журфиксов в столице много, но пятницы Полонского были во множестве этом яв-

лением совершенно исключительным. От них веяло сороковыми годами, «кружком in der Stadt Moskau» *, который, с такою мучительною любовью, с таким любовным самоиздевательством описал Тургенев в «Гамлете Щигровского уезда». Всякий раз, что случалось мне попадать на эти пятницы, я выносил одно и то же неизменное впечатление.

«Вон этот старик — превосходительство, ворочает целым департаментом; вон от этого высокопревосходительства, говорят, зависит добрая половина всей русской политики; тот стоит во главе могучего издания; тот — несметный богач, руководитель колоссальных финансовых предприятий... Какое же чудо подняло их всех на четвертый этаж дома на углу Знаменской и Бассейной, собрало вместе в скромной квартире старого поэта, больного человека на костылях, зябко дремлющего в креслах, под тяжелым пледом? И отчего все эти высоко- и просто превосходительства здесь совсем не те Юпитеры, какими знают их не только их собственные ведомства и департаменты, но даже обыкновенная «улица», — а живые, симпатичные, теплые люди с кроткою речью, с мягкими взглядами, с почти нежным обращением друг к другу? И на нас, — сравнительно молодежь, — они смотрят ласково: мы другого поколения, другого общества, но нас слушают, нас терпят, с нами спорят и соглашаются. Мы, взаимно чуждые всюду, здесь свои, равные, — точно студенты разных выпусков на общем университетском празднике.

Общество русское — великая ночь. Много-много путников заблудилось в ее тьме. Они бродят ощупью, скорбят, злобятся, боятся; столкнувшись во мраке, принимают друг друга за врагов и злоумышленников, ненавидят, борются, уничтожают друг друга. Но вот — блеснула вдали яркая точка. Это — костер в степи, а вокруг него чумаки распо-

---

* «... в городе Москве» (*нем.*).

ложились мирным отдыхом. И идут на свет костра, на чумацкую заунывную песню утомленные тьмою люди. И вот — сошлись они, пригляделись друг к другу и видят: напрасны были страхи, обиды, угрозы; нет ни разбойников, ни ненавистников, все — своя братья, все люди-человеки. И отдыхает душою измаянный путник, и мирно калякает с таким же, как сам он, странником, и пьет с ним дорожную чарку. А костер греет... а чумаки поют... а звездочки теплятся... а песня звенит и плачет...»

Именно таким костром в ночи был для Петрограда дом Я.П. Полонского. «Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв» сбирал к себе маститый поэт пеструю массу своих почитателей. Сходились — погреться от душевного тепла, заимствовать несколько лучей от «тихого света святой славы», что бережно пронес любвеобильный старец через всю свою многолетнюю жизнь. Около него молодели и освежались. Лежнев, — давным-давно превратившийся в кулака-помещика, денно и нощно мечтающего, какою бы каверзою угостить ему каверзников же мужиков, — снова превращался в того Лежнева, что когда-то ходил на свидания с молодою липою в своем московском саду. Рудины, выродившиеся в толкователей «входящих и исходящих», вспоминали братство и речи своей молодости, — и мы вновь видели их с пламенем с глазах, с гордо поднятыми седокудрыми головами, с вдохновенным словом, — «точно Демосфен на берегу шумящего моря». Сам Я.П. Полонский напоминает того скромного Покорского, который скрывался в молчаливой кротости духа своего как бы в тени за эффектными Рудиными, за остроумными Щитовыми и т.д., но без которого не было бы ни Рудиных, ни Лежневых, ни Щитовых, потому что он-то — всему рою и матка: тихая, но верная пружина всей машины, носитель идеалов и традиций, связующих общество. «Встретишь старого товарища, — говорит Тургенев, — совсем озверел человек, шерстью оброс, а напомнишь ему имя

Покорского, — глядь, другой человек становится, точно в скверной душной комнате вдруг нечаянно разлили стклянку с духами». Я уверен: такою благодетельною стклянкою с духами в удушливой атмосфере петроградской интеллигенции надолго останется и имя Я.П. Полонского. Много лет воспоминание о любвеобильном старце будет ободрителем духа для людей колеблющихся, готовых поступиться стыдом и совестью в безысходной борьбе житейской; на многое стыдное не поднимется рука, которую дружески жал Полонский.

— Еду к Полонскому, — помню, сказал мне с мрачным видом один талантливый поэт русский в какую-то из пятниц.

— Зачем?

— На душе скверно... для нравственной дезинфеции...

И я поехал с ним, потому что и у меня на душе было скверно, и жизнь была темна и противна, и мне хотелось нравственной дезинфекции… И — Бог знает, каким чудом: ведь ни о чем особенном мы не беседовали, никаких излияний не творили, этических вопросов не поднимали, исповедоваться не исповедовались, — а получили чего желали: вышли от Полонского бодрее духом, светлее взглядами на жизнь. Он создал вокруг себя как бы очищающую атмосферу. Кто век свой живет в клоаке, от того не может пахнуть розами, но кто проводит весь день свой в храме, тот и сам неизбежно пропитается святынею фимиама и другим его передаст.

«Есть такое вещество, Гарри, — говорил веселому принцу Галю сэр Джон Фальстаф, — которое многим из обитателей нашего королевства известно под именем дегтя. И деготь этот, как уверяют некоторые древние писатели, марает. Таково, друг мой, и общество, в котором ты вращаешься».

Противовесом дегтю общественному, — разлитому одинаково во всех сферах жизни, здесь побольше, там поменьше — и были кроткие, идеалистические беседы Полонского. За тем-то — отмыться от налипшего на душу дегтя — и шли к нему журналист, художник, администратор, артист, чинов-

ник, студент, курсистка, министр, приказчик-самоучка, офицер, — вся кипень и пестрядь моря житейского.

Сегодня пестрядь эта соберется вокруг почившего, древнего летами друга своего, в его урочный день, увы! в последний раз. Он не встанет навстречу дорогим гостям на своих всем знакомых костылях, не встретит их привычным рассеянным приветом, путающим имена и лица, но ко всем всегда одинаково радушным и благожелательным... «Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать...» Но смерть, обращающая даже великого Цезаря в прах, которым замазывают стены, не властна над духом. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное», — говорит Апостол. Это духовное тело есть вся совокупность того, чем был человек для ближних своих, чем отразился он в зеркале века. И — пусть душевное тело Полонского недвижно лежит в гробу, осужденное на тление, — мы чувствуем: духовное тело его — среди нас, близко к нам, как прежде. Из вечности сияют нам кроткие, всеизвиняющие глаза старца-поэта, из царства правды и любви слышится последним гостям его последнего новоселья вечный Христов завет: «Любите мир! не обижайте друг друга!..»

ЖЕМЧУЖНИКОВ *)

Юбилей А.М. Жемчужникова, конечно, не принадлежит к числу тех громких общественных явлений, которые взвинчивают толпу до энтузиазма, а текущую литературу и журналистику переполняют кликушеством истерических славословий, гласами трубными и бряцанием кимвалов. Зато юбилей этот, справленный скромно и сдержанно, нашел в каждом русском сердце, не чуждом любви к родине и ее живому слову, тихий, но почтительный и благодарный отклик, полный искреннейшего сочувствия и давней, теплой симпатии как к самому юбиляру, так и к его седой, но бодрой и юной сердцем старушке-музе. Пред этими почтенными сединами невольно обнажаются и склоняются головы, точно мимо в крестном ходе икону несут, — чтимую, историческую икону, пред которою, веруешь или не веруешь, а шляпу снять надо.

Если хотите, юбилей А.М. Жемчужникова — праздник не столько литературы русской, сколько русской гражданствен-

---

*) Сохраняю в новом издании этот беглый и, по существу, устаревший юбилейный очерк потому, что он нравился в свое время самому А.М. Жемчужникову.

1907

ности, которой маститый поэт и в жизни своей, и в писаниях всегда был высоким образцом, не только достойным всеобщего подражания, но даже, — по духовной цельности, по нравственному изяществу своему, — к подражанию трудным. А.М. Жемчужников — поэт не великий и даже, быть может, не большой. Он сам прекрасно понимал это всю свою жизнь и с трогательным прямодушием признал это в своей автобиографии. «Когда в эпоху новых веяний я вышел в отставку именно с тем, чтобы иметь право и возможность мыслить и чувствовать с большею свободою и независимостью, во мне родилось сомнение в дельности моих литературных занятий. Мне казалось, что мои стихи никому не нужны в такое серьезное время. Поэзия на «гражданские мотивы» была бы очень уместна в эпоху пробуждения ума и совести. Я сознавал все высокое ее значение, и меня к ней тянуло; но эти песни пел тогда Некрасов. Они были так сильны и оригинальны, что тягаться с ними я, конечно, не мог, а вторить им, хотя бы и не фальшивя, было бы излишне. С другой стороны, так называемая «чистая» поэзия, отрешенная от злобы дня, — возвышенна и прекрасна всегда. Такого времени, когда она могла бы оказаться ненужной, не бывает. Но я чувствовал, что моя муза не обладает ни лиризмом, ни красотою, которые я почитал необходимыми принадлежностями чистой поэзии. В то время мои недостатки оказались бы еще заметнее. Вот почему я тогда почти бросил писать стихи». Это прекрасное сознание, продиктованное на редкость трезвою автокритикою, — не единственное. Как молодым, тридцатилетним человеком, А.М. Жемчужников сумел обуздать в себе стихотворный зуд и раздражение пленной мысли, потому что рядом с соловьиною мощью богатыря Некрасова не хотел петь чижиком, так и восьмидесятилетним старцем, он с завидным мужеством задал себе вопрос: «Не довольно ли? — и ответил: Да, довольно». Ответил даже с чрезмерною строгостью к себе, потому что не может уверять, буд-

то его песня спета, поэт, способный написать, напр<имер>, такую прелесть:

Так прочен в сердце и в мозгу
Высокий строй эпохи прошлой,
Что с современностию пошлой
Я примириться не могу.

Но я, бессильный, уж не спорю;
И, вспоминая старину,
Не столь волнуюсь и кляну,
Как предаюсь тоске и горю.

Что я? Певец былых кручин;
Скрижалей брошенных обломок;
В пустынном доме, в час потемок,
Я — потухающий камин.

То треск огня совсем затихнет,
Как будто смерть его пришла;
То дрогнет теплая зола
И пламя снова ярко вспыхнет.

Тогда тревожно по стенам
Толпой задвигаются тени
И лица прежних поколений
Начнут выглядывать из рам.

Это написано на 78-м году жизни!.. «Вы, нынешние, — ну-тка...»

Автокритика и строгое отношение к целям стихотворства создали из А.М. Жемчужникова явление, совершенно особняком поставленное на современном российском Парнасе. Бывают поэты мысли, поэты чувства, поэты формы, — Жемчужников мог бы по праву назвать себя поэтом дела. И дела большого, широкого, общественного, в полном объеме и в лучшем смысле этого слова. Гражданская лира Жемчужникова, — он прав был в ее оценке — совсем не наследница

титанических стонов «музы мести и печали». В ней нет страстного некрасовского темперамента, равно могучего и в воплях скорби, и в историческом хохоте сатиры. Некрасов был певцом великой исторической ломки, а Жемчужников — из тех людей, которые на расчищенных ломкою пустырях уже начали строить полезные и благие здания будущего русского прогресса и тщательно оберегали стройку свою от алчных и враждебных покушений против нее разных злецов и обскурантов, имя же им легион. Жемчужников гораздо «светлее» Некрасова, положительнее его и доверчивее. Он — натура цельно верующая, без разлада с собой. Некрасов — это весь русский «перелом», со всеми его хорошими и дурными сторонами, со всею его правдою и со всем самообманом. Жемчужников — казовая сторона «перелома», благой и радостный вестник его благих, гуманных теорий...

Названье мне дано поэта-гражданина
За то, что я один про *доблесть* песни пел;
Что был *глашатаем забытых старых истин*
И силен был лишь тем, хотя и стар, и слаб,
Что в людях рабский дух мне сильно ненавистен
И я сам с юности не раб.

В этом глашатайстве доблести и забытых, старых истин и заключается главная заслуга Жемчужникова, так многозначительно осмыслившая теперь его юбилей. Старые истины эти — идеи, создавшие реформы императора Александра II. Недаром же А.М. Жемчужников в течение почти всей жизни своей был связан нежнейшею дружбою с одним из замечательнейших представителей этой священной эпохи — В.А. Арцимовичем, человеком, о котором люди, знавшие его, до сих пор не могут говорить спокойно, без трепета в голосе, без умиленных слез. «Перед святынею добра неугасимая лампада!» — назвал Арцимовича Жемчужников, часто обращающийся к памяти его со своим дружеским прочувствованным стихом.

Чувствуется, что этот друг — яркий пламенник любви к родине и человечеству — был самым сильным и глубоким впечатлением всей жизни поэта, и благоговейная привязанность к нему пережила в сердце старого глашатая все остальные личные привязанности и воспоминания.

Смутится ли моя в добро и в правду вера, —
Кто от уныния тогда спасет меня?
Не будет предо мной высокого примера;
Ты мне не уделишь духовного огня.
Недобрые ко мне порой приходят вести;
На правосудие сплетают клеветы,
И безнаказанно позорят знамя чести...
Где ты?

Арцимович был одним из практических строителей новой, послереформенной России, а Жемчужников — идеалистом-певцом этого строительства. В честь суда скорого, справедливого и милостивого, в честь равенства пред государственною властью всех граждан Российской империи, в честь и защиту молодого поколения, в защиту свободы совести, слова и труда, в защиту грамотности и телесной неприкосновенности крестьянства, звучала уверенно и убежденно песнь Жемчужникова, правдивая, ясная, бестрепетная. Ложный патриотизм, мракобесие в «охранительской» маске, нелепости quasi-классического обучения по пресловутой реформе графа Д.А. Толстого, кулачество, дикости шовинизма, распутство общественной мысли, выродившейся в декадентские благоглупости, милитаристическая наглость, сменившая в Европе политику правового порядка, сухой бюрократизм — находили в этой песне систематический отпор и страстное порицание. Жемчужников — не сатирик по призванию, но юморист. Для сатиры в нем слишком мало желчи и слишком много какой-то особенной, «порядочной» кротости. Сатира — дело резкое, грубое, а эти качества совсем не в ха-

рактере Жемчужникова: он за сатирический бич в лайковых перчатках берется, и диво ли, что бич его не так громко свищет в воздухе, как бич Салтыкова или Некрасова, и вместо глубоких, кровоточащих ран на теле порока лишь слегка бороздит его жесткую кожу? Добродушно сдобренная метким красным словцом шутка более свойственна Жемчужникову, чем едкий сарказм. Недаром же он — главный участник создания «Козьмы Пруткова», знаменитейшего из российских философов времен прошлых, настоящих, а — как знать? увы! может быть, и будущих. Козьма Прутков — едва ли не самая смешная книга, когда-либо написанная на русском языке. Но в уморительном, беззлобном юморе ее сатирический элемент совершенно отсутствует. Это — смех для смеха... Пародии Конрада Лилиеншвагера (Добролюбова) гораздо содержательнее, злее и, так сказать, «предумышленнее» прутковской поэзии и философии, — однако менее популярны. Причины тому — во-первых, несравненно изящная форма прутковских пародий: они ложатся в память читателя и слушателя без всякого усилия со стороны последних, почти машинально; а, во-вторых, именно, полнейшая безобидность этих красивых цветочков невинного юмора. Смешно, весело и — ни малейшего осадка на дне веселья, ни капли горечи, ни ложки дегтя в бочке меду. Смех для смеха любят все; сатиру — только те, кто сами ее не боятся.

Гражданские темы в поэзии — едва ли не самые трудные, потому что нужен могучий, исключительный темперамент, чтобы поэтически претворилась серенькая, «прозаическая действительность», их выдвигающая; чтобы

Выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударил по сердцам с неведомою силой...

Некрасов в этом отношении — труднодосягаемый образец не для одних русских. Его мрачная гражданская страст-

ность — явление совершенно исключительное в европейской поэзии; другого Некрасова нет, хотя политических и общественных поэтов в любой стране — сколько угодно. Между тем, если чувствуется нехватка темперамента, если Бог не дал сильного сатирического таланта, перепевы гражданских поэтов — штука очень скучная. Читать передовые статьи и в прозе-то наказание божеское в девяносто девяти случаях из ста, а уж передовые статьи в стихах... спаси и помилуй от них, Господь, даже всякого врага и супостата! И не скажу, чтобы Жемчужников никогда не писал «передовых статей в стихах», но в огромном большинстве его вариаций на гражданские мотивы, их выручала блестящая красивость формы, — ведь Жемчужников играет и размером, и рифмою не хуже самого Алексея Толстого, его сотрудника по Пруткову! — и, главное, подкупающая искренность глубоко преданного своим credo поэта...

Дай Бог Алексею Михайловичу пожить еще в свое удовольствие и на пользу общую много лет. Почтенное имя его останется в истории русской литературы видною звездочкою, если и не первой величины, то все же достойною долгого внимания, памяти и подробного с нею ознакомления. Для культурной летописи второй половины XIX века стихи его — драгоценный материал. Я задумался сейчас, кто из европейских поэтов больше других подходит по положению в своей родной литературе к тому месту, которое в нашей литературе занял Жемчужников? Больше всех напоминает он мне флорентинца Джусти, а у немцев — «политический юмор» Фрейлиграта и Гофмана фон Фаллерслебен. Это, конечно, не вожди прогресса, но — офицерство его, первые ряды, над которыми веет прекрасное знамя, поднятое смелыми и честными людьми на благо всего человечества.

1900

И.Л. БАХТАДЗЕ (ХОНЕЛИ)

С грустным чувством прочел я телеграммы из Закавказья о смерти Илико Хонели. Рано умер человек! А был человек хороший, и дремали в нем полезные, недюжинные силы.

Мы вместе работали в «Новом обозрении» Н.Я. Николадзе — живой и дружной газете, о сплоченной и доброй редакции которой я всегда вспоминаю с особенным удовольствием, как о милом мираже литературной молодости. Как весело жилось, как задорно и смело писалось! Как интересовало то, о чем пишешь! Шпигуешь, бывало, какого-нибудь Матинова или Измайлова, тифлисских городских деятелей того доброго старого времени, — волнуешься, весь горишь: ну-ка, если так тебя повернуть, что ты, милостивый государь, на это скажешь? а вот этак уличить? так и сяк разоблачить? здесь — подпечь, там — подрумянить?.. И, сдав статью в набор, увидев ее в газетной полосе, хотя бы и сильно искаженною цензорским карандашом, мы чувствовали себя героями не героями, но людьми, во всяком случае исполнившими необходимый и насущный общественный долг. И когда, бывало, нумер газеты вдруг шибко пойдет в продаже, это наполняло сердца наши торжеством — вовсе не с точки зрения материальных преуспеяний в «рознице», но ага!

пробрали-таки общественное мнение! зашевелилось сонное царство! ну, держись теперь, капиталистическая партия! вот увидите, как хорошо пойдет на выборах грузинская оппозиция!

Все это было наивно, как поглядишь теперь назад, даже во многом, пожалуй, и смешно, но зато искренно, свежо, молодо и сильно. Воспринимались впечатления с жадностью, воспроизводились с пылкостью, мазок был кричащий, решительный; полемизировали — не щадя живота, с яростью, чтобы — «хоть морда в крови, да наша взяла!» Жилось, как на турецкой перестрелке, но... чего бы, чего я не отдал сейчас, чтобы вновь проникнуться старою платоническою ненавистью к Измайлову, Матинову, волноваться по поводу скверных нот первого тенора в местной опере, поражать гидру банковой партии и воспевать, как гомерических героев, партию «дворцовых номеров»! Как верилось тогда, что это жизнь, что это дело, что это надо! Но —

Vorbei sind Kinderspiele,
Und Alles rollt vorbei... *

В том числе начинают rollen vorbei и люди. Бедный Илико!

Хонели, — подлинное имя его Илья Лукич Бахтадзе, — был фельетонист и, что в наше время большая редкость, фельетонист настоящий: словесного мякиша со щеки на щеку не жевал, сухих туманов не разводил, а писал житейское, насущное и дельное, к чему его душа рвалась, о чем сердце горело, — метко, резко, остроумно. Придя в Тифлис в 1888 году, я застал его уже с именем. Несмотря на то, что, войдя в газету Н.Я. Николадзе, я невольно вторгнулся в область Бахтадзе, в фельетон, и публика стала интересовать-

---

* Прошли детские игры,
И все катится мимо... (*нем.*)

ся моими писаниями как новинкою, я никогда не испытывал со стороны покойного Ильи Лукича ни малейшей jalousie du métier*; жили и работали мы с ним душа в душу, ни разу не омрачив взаимных отношений хотя бы тенью неудовольствия. Собирались мы было издавать в Тифлисе газету и название придумали, по тому времени самое злободневное и модное — «Телефон». Главное управление не разрешило издания. Я был тогда очень удивлен, Хонели — еще больше... В вопросах неразрешений, неутверждений и прочих цензурных воздействий на литературную «необузданность и неустойчивость» (о, братья писатели! знакомы ли вам эти чудища канцелярской мотивировки?) русскому журналисту надо обтерпеться, покуда на сердце у него от восприятия ряда таких «мер» не нарастет огромный жесткий мозоль; до тех пор жутко и больно, а с мозолем — ничего: улыбаешься и говоришь вежливые слова даже в тех жестоких случаях, когда смолоду сердце кровью обливалось и уста криком проклятий проклинали...

Милый мой Хонели! Ему приходилось жутче, чем мне. Он был человек местный, окраинный, любил свою Имеретию до страсти, ему от нее некуда было уйти. Когда цензура стала душить «Новое обозрение», так, что не продохнуть, когда капиталистическая домовладельческая партия, пользуясь затрудненным денежным положением г. Николадзе, довела этого замечательного грузинского вождя-публициста до необходимости расстаться с газетою и продать ее князьям Тумановым, я философически собрал пожитки и поехал на родной север искать труда и счастья. А Хонели остался изнывать в Тифлисе, — именно изнывать, потому что молчать публицисту, когда у него кипит душа и молодые мысли плодотворно роятся, как пчелы в вешний день, это казнь, гор-

* Зависти соперника в профессии (*фр.*).

ше которой нету. Я читал несколько фельетонов его в милютинском «Кавказе», — они не были плохи, но чувствовалось, что человек потерял корень, на котором рос его свободный талант, что он пишет в гостях, а не дома. И я ничуть не удивился, когда затем дошли до меня слухи, что Хонели почти вовсе забросил публицистику, пошел служить, а, когда служба дает досуг, лежит в своем родном Хони под смоковницею... Там лег он и теперь... навеки!

Несколько раз я пытался извлечь его с юга на север, в столичную журналистику. Но — чересчур экзотический цветок — он не поддавался пересадке на нашу суровую почву.

«Не могу! Я ездил недавно в Петроград и чуть в нем не задохнулся, — писал он мне лет пять назад, — солнца нет, воздуха нет».

А предложения были лестные, выгодные. Но он остался с южною идеалисткою Марией, не променяв ее на практическую северную Марфу, и, говоря откровенно, благую часть избрал.

Да и здоровье ему не позволяло. Он ведь чахнул уже давно. Легкие его были отравлены еще десять лет назад; уже и тогда он производил впечатление больного и недолговечного человека. И тем более было жаль его, что уродился-то он на свет молодцом, по росту и сложению; но недуг иссушил его длинную фигуру, вытянул лицо, ввалил щеки, сгорбил и насутулил плечи...

Черт возьми! ведь, собственно, в прескверных обстоятельствах существовали мы тогда и бедны были, как церковные мыши, а — сколько споров, смеха, живых порывов, поэтических увлечений, о которых теперь даже и вспомнить грустно: куда и зачем они ушли?

Бахтадзе, с его веселыми карими глазами, был премилый спорщик. Раскраснеется, бывало, бегает по комнате, орет, «грузофильствует» и острит, острит, острит... У него был истинно имеретинский юмор, беззаботная склонность к смешному; в то

же время он был мягок характером, как женщина, и — бесцеремонный, безудержный в писаниях — в обиходе частной жизни держался застенчиво до неловкости, паче всего боясь не сделать бы чего неподходящего, не обидеть собеседника.

Воспитанный в семинарии, залпом проглотив и восприяв по окончании курса колоссальною своею памятью русскую литературу 60-х и 70-х годов, он крепко стоял на фундаменте прогрессивных и освободительных идеалов, ею завещанных. За исключением Н.Я. Николадзе, я не знаю инородца, который бы владел русским языком с таким блеском, как Хонели. Правда, — он Пушкина знал наизусть и Гоголя страницами цитировал на память. При таких условиях обрусеет слог и у иностранца лучше, чем у природного русского. А недавно в клочке одной петроградской газеты я прочел, что «Сорочинская ярмарка» сочинение Григоровича... Quousque tandem?.. * Какие же тут еще могут быть «слоги»?

Помню пальбу, какую мы с Бахтадзе подняли из-за Писарева. Просто — Давидова гора тряслась, — так вопили! — пока не изнемогли и побежали освежить пересохшие горла кахетинским «Пур-Гвино»... При всей мягкости своего характера, упрям И.Л. был страшно. Один из лучших его беллетристических очерков посвящен характеристике имеретинского катера, то есть мула, драгоценнейшего домашнего животного, которое только можно вообразить себе в хозяйстве: силен, умен, весел, красив, есть почти не просит, а работать может хоть 24 часа в сутки, при этом возит вьюки по тропам, где не пройти ни лошади, ни ослу, ни пешему человеку. Но и эта роза не без шипов: несносная капризность и проказливость катера, проявляющаяся с почти фантастическими неожиданностью и изобретательностью в проделках, приводят в бешенство самых терпеливых хозяев и часто заставляют их продавать первому встречному за бесценок весьма

* До каких, наконец, пор?.. (*лат.*)

дорогие экземпляры катеров. Бахтадзе описал любопытного зверя увлекательно, с истинно джеромовским юмором; фокусы и плутни хитрых катеров и фигуры жертв их коварства изображены так живо, с таким знанием местных нравов, условий, с таким теплым проникновением в couleur locale *, что даже сейчас, вспоминая некоторые подробности, мне хочется смеяться, хотя я чувствую себя совсем невесело... Бедный Бахтадзе!..

И вот однажды в большом обществе стали выхвалять эту вещь:

— Чудо! прелесть! И как только вам удалось написать ее так жизненно, весело, верно?

А Бахтадзе засмеялся и говорит:

— Это — потому, что я о земляке писал, от сердца. Вы посмотрите на меня: ведь и сам-то я — имеретинский катер.

Жаль мне милого Илико... Мы с ним почти ровесники были. Жаль вообще — по человечеству и дружеству; жаль и того, что смерть увела его с земли, не дав осуществиться и половине надежд, что сулили его богатые и свежие силы. Жаль, что талант, созданный для боевой и широкой журналистики, так и пролежал в узком и темном углу, точно был свету не надобен. А между тем каких чудес могло бы натворить подобное дарование, полное «крови и нерва», выйдя на приличную ему, обширную и свободную арену! Какою освежительною струею могло бы оно дохнуть в нашу вялую, одержимую бледною немочью, повседневную печать!..

1900

* Местное своеобразие (*фр.*).

СТЕПНЯК

У всякого общества есть своя мифология и свой легендарный эпос. Русское общество, развиваясь в цепях бюрократической цензуры, накопило подспудной мифологии и легенд больше, чем всякое другое, и продолжает копить, и вряд ли скоро кончит. Короткие прорывы более или менее свободной мысли и слова — пятьдесят лет тому назад, на рассвете «великих реформ» и в 1905—1907 годах не успевают озарить огромные кладовые этих драгоценных накоплений до глубины и дальних углов. Но в смутном мерцании полегчавшей цензуры все же выдвигается тогда из подпольного мрака десяток-другой теней вчерашнего прошлого, которое до сего дня оставалось «подобно истории мидян, то есть темно и баснословно». Пресловутые дни свободы особенно торопились брызгать живою водою на эти дорогие, таинственные трупы, словно предчувствуя, что недолог срок дан для их чародейства. Закричит петух реакции, захлопнутся разверстые гробы, и кто из мертвецов не успел воскреснуть, останется в могильной тьме опять невесть на сколько лет. Предчувствие не обмануло. Великолепный журнал «Былое» — главный орган воскрешений вчерашнего прошлого — по воле петербургского градоначальника приказал долго жить: сигнал, что на ре-

волюционную историю опять опускается густая завеса «мрака времен», исследование уступает место мифу, лица обращаются в призраки и сновидения.

Нельзя не поблагодарить от души С.А. Венгерова и редактируемую им «Библиотеку Светоча» за то, что они успели предупредить зловещий петушиный крик литературною материализацией такого важного исторического привидения, как С.М. Кравчинский-Степняк. До сих пор — знаменитейшее произведение Степняка — «Подпольная Россия» было известно русской интеллигенции больше по заглавию и заграничной славе, чем в запретном тексте своем. А Степняк-беллетрист — уже совершенная новинка для большой публики. Мне случалось знавать людей, которые не хотели верить, чтобы грозный Степняк, убивший Мезенцова, фанатический теоретик и практик народовольческого террора, писал романы, повести и драмы, в которых революция теснейше соседствует с идиллией. Казалось странным, что энергический рапсод «Подпольной России» мог знать, как и всякий другой поэт, наслаждение «вдохновений, звуков сладких и молитв». Конечно, молитв особых, рожденных не в церквах под колоколами, не в молельнях раскола, не в синагогах, не в мистических лабораториях философской религии. Нет: молитв, вышедших из глубины зрело выношенного социально-политического идеала, излившихся из заповедей исторического материализма, но все-таки молитв: страстных, патетических, полных веры и упования. У кого есть вера в будущее, у того есть и молитва в будущем, — да приидет царствие его, этого самого будущего, в которое веришь. Молитва-пророчество, молитва-проповедь, молитва-призыв. Такою молитвою звучит у Степняка последняя часть великолепной «Сказки о копейке», впервые появившейся теперь в легальном издании, но давным-давно признанной на русской «левой» одним из перлов памфлетической литературы освободительного движения.

Естественно, что человек, способный проникнуться своею идеей до превращения ее в религию, должен стать необыкновенно чутким к параллельным религиозным напряжениям в обществе ближних своих, — независимо от того, поскольку напряжения эти ему симпатичны или антипатичны. Степняк — автор романа «Штундист Павел Руденко». Роман этот написан для англо-американской публики, автор должен был до известной степени считаться в творчестве своем с требованиями издателей и вкусами буржуазного рынка, который — весьма невысокого уровня по интеллекту и более чем сереньких этических требований. И тем не менее вряд ли кому-либо в художественной русской литературе удавалось схватить и выразить дух и энтузиазм штунды с большею красотою, глубиною и страстностью, чем передал все это Степняк. Сам человек идеи, возведенной в религию, он чутьем понял религиозную бурю штундистского крестьянства. И настолько увлекся ее картинным обаянием, что, как художник, даже совершенно позабыл, что он-то сам, Степняк, не со штундистами, а всецело на стороне исторического материализма Валериана, которого штундисты почитают антихристом. Книжно глаголящий Валериан этот вышел у Степняка мертвым и азбучным резонером, а штундари — пророк Лукьян, Павел Руденко, его мать — оказались образами осязаемой, здоровой плоти и крови: каждого — «хоть пощупай, — жив!» Другого своего, уже не измышленного и несравненно более известного, Валериана в «Подпольной России» Степняк написал куда лучше. Вдохновенная характеристика В. Осинского — это погребальный марш Бетховена, перелитый из звуков в слова. В ранней юности моей я слышал, как Лауб играл «Элегию» Эрнста — в вечер, когда пришла телеграмма о смерти Эрнста. Скрипка друга рыдала о смерти друга звуками песни друга. Вот такое впечатление оставляет и характеристика Осинского, написанная Степняком.

Способность Степняка к «сладким звукам» и прирожденная ему потребность в них поражает нового читателя еще более молитвенных экстазов С.М. В начале каждого тома венгеровского издания вы видите прежде всего хмурое и грозное лицо Степняка, словно самим роком предназначенное символизировать революционный террор в какой-нибудь демократической феерии будущего. У Степняка физиономия не только характерная, она — типическая. Эта скомканная маска мясных бугров, — без единой правильной черты, прекрасная в своем безобразии, одушевленная знаками упрямого рабочего ума и воли, пылкой, твердой и ковкой, как раскаленное железо, — сразу говорит вам о натуре глубокой, страстной, фанатической и — насквозь добродушной. Фанатической — хоть сейчас на костер, добродушной — до голубиной нежности. Если бы Степняка одеть в полукафтанье и скуфейку, он был бы превосходною моделью для художника, чтобы написать протопопа Аввакума — великого религиозного бунтаря старой Руси. Это — люди разной деятельности, но одного закала и духа: оба «нежная сталь». Читая Степняка, — а он же к тому еще, превосходно знал Священное писание и свободно и ловко передвигает полемические тексты, — я все поминал пустозерского мученика... «Протопопица на меня, бедная, пеняет, говоря:

— Долго ли мука сия, протопоп, будет?

И я говорю:

— Марковна, до самыя смерти.

Она же, вздохня, отвещала:

— Добро, Петрович, ино еще побредем!»

Автор «Подпольной России» — биограф товарищей, из которых лишь одного Клеменца судьба помиловала от трагической участи погибнуть на эшафоте или в муках каторжной тюрьмы. Страница за страницею смотрит Степняк в глаза ужасам, но черпает в них лишь новые и еще более страстные экстазы, которые заражают собою и покоряют себе

взволнованного читателя силою неотразимого убеждения. Подобно протопопу Аввакуму, Степняк — фанатик без иллюзий, честный, трезвый, здравомысленный реалист, который не обманывает людей миражами, что — сегодня потерпи, а завтра с утра — уже на твоей улице праздник. Подобно Аввакуму, он не имеет для паствы своей никаких иных приманок, кроме мученического венца. Подобно Аввакуму, он весь — пламенная вера, что жизнь — не более как длительная жертва за спасение человечества, и, кроме радостей жертвы, нет других настоящих восторгов у человека: подвиг — без передышки, отдых дает только гроб.

— Михайлович, долго ли мука сия будет?

— Родина, до самыя смерти.

— Добро, Михайлович, ино еще побредем.

В смешении идейного фанатизма с природною нежностью и мягкостью характера обычно таится трагедия людей, пришедших в мир с призванием борьбы. Огромное большинство мягкосердечных борцов в трагедиях этих застревает на ступени гамлетизма и разлагается в его миражной красоте, не совершив своего призвания, умными словами и тонкими мыслями подменив предназначение действия. Но когда такому «голубю кротости» удается взвиться выше гамлетизма с его «сладкою привычкою в жизни», то история человечества освещается энергией Дон Кихота; рождаются протопопы Аввакумы и Степняки. С.М. Кравчинский рассказал нам свою политическую автобиографию в романе «Андрей Кожухов». Читать его следует, держа под руками как справочный комментарий «Подпольную Россию». Ее страницы помогут читателю, слабо знакомому с историей освободительного движения, дешифрировать в «Андрее Кожухове» много намеков, псевдонимов, условных описаний, переставленных в месте и времени или комбинированных по беллетристическим требованиям, из разности воедино действительных происшествий. В автобиографическом романе Степняка

лишь покушение на Мезенцева заменено покушением — кажется — Соловьева. Остальные революционные подробности тождественны с рассказами и намеками «Подпольной России». На фоне революционной грозы Степняк пишет легкими тонами прозрачной акварели серию мужских и женских влюбленностей, полных такой целомудренной нежности, такой чистой красоты, что смело можно сказать: после Тургенева никто уже в русской литературе не подходит к отношениям мужчины и женщины с бóльшим к ним уважением и благоговением. «Андрей Кожухов» в любовном романе — книга возвышенного рыцарства. Женщины Степняка, воистину, благоуханные цветы на ниве жизни. Сравнительно с ними Марианна в «Нови», Варвара в «Обрыве» — неудачные отклики великих русских романистов навстречу новой женщине шестидесятых и семидесятых годов — грубы и будничны. А — ведь Степняк писал не обобщения вымысла, но портреты с натуры. Идеализация несомненна, но какие же благодарные и благородные оригиналы должен был иметь пред собою счастливый портретист, чтобы чувствовать себя вправе на риск такой идеализации, чтобы принимать на себя ответственность за ее правду и действительно сохранить в ней строгую художественность. В женских портретах «Андрея Кожухова» всего ярче сказывается, что Степняк, как беллетрист был учеником англичан. Кропоткин справедливо отмечает влияние на него школы Диккенса. Да «Андрей Кожухов» даже написан-то был по-английски. Русское издание — посмертный перевод.

«Сладкими звуками» идиллии на лоне революции полон «Домик на Волге» — милый рассказ, в котором сила энергически порывистого сюжета странно вплелась в наивную неумелость и первобытность повествовательных приемов. Русская литература почти не знает художественного «романа приключений», у нас не было ни Дюма, ни Сенкевича (в знаменитой исторической трилогии), ни Купера, ни Эмара. В Степ-

няке чувствуются громадные задатки к созданию именно художественного романа приключений. В мастерстве ярко, быстро, эффектно рассказать «приключение», ввести читателя в среду так называемых сильных «ощущений», у него нет соперников в русском писательстве. Когда Степняк описывает прыжок с курьерского поезда, летящего на всех парах, обыск, вооруженную попытку освободить пленных товарищей, покушение и т.д., у читателя дух захватывает от волнения, невозможно читать это равнодушно, потому что в авторе чувствуется лиризм лично пережитых житейских правд, сказывается человек, который сам прыгал с поездов, сам пережил невесть сколько обысков, сам освобождал Войнаральского, сам покушался. Вы чувствуете искренность сильного ощущения и реальность его причины: книги Степняка в этом отношении похожи на «Записки Бенвенуто Челлини» — самую богатую в мире художественную коллекцию сильных ощущений, рассказанных с простодушием человека, для которого они — привычка, вторая натура. Начав читать книгу Степняка, трудно оторваться от нее раньше, чем и сам не заметишь, как очутишься на последней странице. Печорин увлекся «Пуританами» Вальтер Скотта и читал их всю ночь накануне дуэли с Грушницким; «волшебный вымысел» заставил его позабыть, что с рассветом он, может быть, ляжет мертвым от пули, приготовленной для него почти наверняка. Я перечитывал однажды «Подпольную Россию» в обстоятельствах, худших всякой дуэли, и волшебная правда этой книги настолько могущественно захватила мое воображение, что за ними на некоторое время и в самом деле совершенно стушевалась печальная обстановка личной действительности. Эта книга — тризна Тиртея, поющая пред армией разбитых, но непобежденных.

И сам Степняк думал о себе, и в эмиграции твердо сложилось о нем такое мнение, что в числе жертв, принесенных им на алтарь русской свободы, надо прежде всего отметить

художественно-литературный талант. С.М. сознательно душил его в себе до пожилых лет, потому что — «не до того было». Произведения Степняка, доставшиеся нам, при всей увлекательности их, не более как запоздалые первые опыты и пробы таланта, который едва успел показать свои ростки и весь был еще в будущем, да так, не сказав своего настоящего, созревшего и законченного слова, и отошел в вечность.

Пробовал Степняк свои силы и в драматургии, но из этого опыта («Новообращенный»), надо признаться, не вышло ничего хорошего. Пьеса написана в две краски — черным и белым и совершенно лишена характеров. Это сценическое произведение староалександровского образца, мелодрама, отличающаяся от творчества Дьяченки, Чернышева, Антропова и т.д., исключительно тем условием, что на сцену выведены революционеры, действующие лица много толкуют о тайной типографии, третий акт кончается убийством чиновника государственной полиции и т.д. Словом, интерес «Новообращенного» обусловлен запретностью для театра среды, в которой развивается действие, а отнюдь не самим действием, ни вообще литературными качествами. Нигде и никогда у Степняка революционеры не бледны так и не схематичны, как в «Новообращенном». Пьеса сделана Степняком со всею неуклюжестью новичка, который хочет писать сценично и потому подражает «сих дел мастерам»: выдерживает театральные амплуа, вводит «ради оживления» ненужные эпизодические куклы и т.д. Островский для Степняка — будто и не существовал никогда, настолько первобытно и ирреально строит он свою драму. Очень может быть, что виною тому опять-таки английское влияние — отразились мелодрамы народных лондонских театров, в которых «Новообращенный» был бы вполне на месте, пожалуй, даже и в наши дни.

Двухкрасочное писание черным и белым неизбежно в тенденциозном творчестве, как бы писатель ни старался сохра-

нить авторское беспристрастие. Но нельзя не отдать справедливости Степняку, — он не охотник малевать черта страшнее, чем тот есть на самом деле, для него совершенно достаточно черта в настоящую величину безобразий этого почтенного джентльмена. Степняк вполне способен отнестись даже к гонителю своей идеи sine ira *, как к объекту художественного наблюдения. Он знает, что не всегда у человека, делающего мерзкие дела, красуется на лбу ярлык — «вот мерзавец». Примером художественной умеренности Степняка в черных тонах можно указать в «Штундисте» антипатичную фигуру консисторского инквизитора Паисия, командированного для борьбы со штундою. Автор меньшего таланта и беднее Степняка, одаренный чувством правды, не удержался бы, чтобы не изобразить этого Торквемаду в миниатюре вместилищем всех консисторских пороков, со взяточничеством и вымогательством на первом плане. Степняк избежал этой ошибки. Его Паисий — фанатик, по-своему искренний; но он — бездарный честолюбец и зол. Зол же оттого, что сознает свою ограниченность и старается возместить отсутствие полемического таланта нажимами неукоснительного усердия. У Степняка достаточно литературной смелости, чтобы не убояться даже такого, например, рискованного для тенденции романа шага, что в великолепной сцене пожара он вручает Паисию эффектную роль бесстрашного чудотворца — спасителя пылающей деревни, отстаивающего ее от пламени, с крестом в руках и в обожженных ризах. Так что попрекнуть Степняка тенденциозным изображением лютого попа никакой ханжа не найдет в себе нравственного права, а тем не менее впечатление Паисий оставляет ужасное. Где отцы были Паисии, там из сыновей должны были выйти Илиодоры. Эта особенность Степняка — не бояться сильных мест у врага и не стыдиться слабых мест

* Без гнева, без пристрастия (*лат.*).

у друга дорогого — стоит как характеристика его постоянной боевой готовности, презиравшей самообманы и не чаявшей легких побед.

После благоговейного отношения к женщине, поэтические основы характера и таланта С.М. Степняка всего ярче просвечивают в его картинах природы. Народный быт у него слабее, потому что Степняк слишком еще связан был теми подражательными традициями «хорошего вкуса», которые являются проклятием каждого беллетриста, еще не нашедшего в себе достаточной самоуверенности, чтобы писать, не считаясь с господствующею школою века, как талант языку и перу подскажет, на риск, что «ты сам свой высший суд». Степняк как беллетрист не вышел еще из ученических страхов — не успел освободить свою бытовую наблюдательность и речь от манеры и языка Гоголя. Особенно сказывается это в «Штундисте Павле Руденко», где автор, кстати, прикован к Гоголю обязательством украинского колорита. Его малороссы — немножко как будто из труппы Садовского или Манько. Но когда Степняк пишет лес, воду, снежную степь, в нем сказывается человек, много лет дышавший воздухом «государыни-пустыни», бродивший в одиночку среди тайн ее, с глубокими своими думами, почерпнувший из нее тысячи идей и вдохновений и решительно никому в литературе не уступающий ни знанием ее, ни глубоким пониманием, ни любовным умением о ней рассказать. Описательная часть — лучшая в «Домике на Волге». Картина леса и эпизод совы, поймавшей ежика, либо эпизод с волком во время снежного бурана в «Штундисте Павле Руденко» не испортили бы даже страниц «Записок охотника».

Нет никакого сомнения, что легальное собрание сочинений Степняка не в состоянии представить русскому обществу фигуру покойного революционера во всю ее величину и в всестороннем освещении. Боевая публицистика Степняка не может покуда явиться в русских «пределах досягае-

мости» без роковых рисков для издания и издателей. Но уже и за тщательное собрание беллетристики Степняка и, в особенности, за легализацию издания «Подпольной России», — я повторяю, — русская публика должна сказать С.А. Венгерову искреннее и громкое «спасибо». Степняк достоин и должен войти в библиотеку русских классиков, а изящное издание «Светоча», кстати, придает ему и приличную для того «одежду брачную». После ужасных серою неряшливостью своею женевских, лондонских и берлинских изданий Степняк, я думаю, сам себе не поверил бы, видя заветные труды свои свободно обращающимися в руках русской публики, да еще в таких опрятных, скромно-красивых томах. Нет никакого сомнения, что венгеровское издание сочинений Степняка встретит в публике широкое распространение и большой успех. И является оно как нельзя более кстати. Обществу с переутомленною политическою мыслью нужна освежающая, бодрящая быль. Литературе, которая в рабских извивах самоохранения унизилась до повального погружения в мистическую порнографию, нужно отрезвляющее предание, нужно сновидение стыда, перед которым содрогнулся когда-то щедринский Глумов. Лежнев в «Рудине» говорил о Покорском-«Станкевиче», что вспоминать о нем для человека, павшего в буржуазное одичание, все равно, что в душной и грязной комнате откупорить стклянку с драгоценными духами. Таким вот дезинфицирующим и бодрящим духом дышит на читателя и каждая страница Степняка. Это поэт гражданского долга, товарищеского любвеобилия и глубокого уважения к человеку. Он понимал себя и хранил свое достоинство на высоте, не многими достижимой, но жил — весь — для других, осененный красотою и величием простодушной, почти самой себя не замечающей жертвы. Светоч Степняка необходим в каждой передовой группе русского общества. Легализация его сочинений — благодетельный дар для каждой обывательской библиотеки.

ДВЕСТИ ЛЕТ

Когда пришли известия о том, что русская печать собирается праздновать двухсотлетие своего существования, первым чувством моим было глубочайшее недоумение.

«Праздновать? То есть — как же? Что же, собственно говоря?»

Можно «праздновать что» и можно «праздновать кому». Празднуют субъективно — «что», свой праздник: золотую или серебряную свадьбу, именины, годовщины приятных воспоминаний, юбилейные сроки удачной служебной или общественной деятельности. Празднуют объективно — «кому»: национальным героям, великим подвижникам, Николе-батюшке, Успленью-матушке. И, разбираясь между возможностями «что» и «кому», я все более и более недоумевал, под какую из двух праздничных категорий должно быть подведено предстоящее ликование.

Растекаясь воспоминаниями по двухсотлетнему существованию русской печати, я никак не мог усмотреть в прошлом ее моментов, побудительных к радостному празднованию ею дня своего рождения. Напротив.

«Хочу составить к юбилею краткую историю русской периодической печати», — писал мне в октябре молодой петербургский журналист.

Я отвечал: «Ну — что там «историю»? Пишите лучше прямо «житие»!»

Странные, мрачные тени окружают человека, когда он имеет смелость погрузиться вглубь русских литературных летописей. Грозною шеренгою проходят они пред «умными очами», и жутки, и насмешливы их отжившие, познавшие безнадежную мудрость вечности глаза.

Первый редактор и корректор Петр. Этот первый редактор с дубинкою был и последним: по остальным самим, весь век их, чья-нибудь дубинка хаживала. Приятно видеть величественную фигуру гиганта, открывшего русской общественной мысли путь к гласности. Но лучше на нее не засматриваться! Не то может случиться с вами та же самая неприятность, что приключилась с злополучным мериносом щедринской сказки, который однажды увидал во сне серебристую вольную степь и на ней гордого вольного красавца-муфлона, мощно мечущего ноги в неудержимом беге в сверкающую даль. Нет, Бог с ним с Медным всадником? Чем соблазняться ослепительным ликом первого русского «редактора», лучше скажем ему «вечную память», благодарно возлагая на его священную могилу венок, украшенный по лентам нижеследующею надписью:

ПЕРВОМУ И ПОСЛЕДНЕМУ РУССКОМУ ЖУРНАЛИСТУ, имевшему возможность вполне независимо выражать общественную мысль века, потому что он сам был — вся общественная мысль своего времени, а, кроме того и главное, не подлежал даче объяснений в места и учреждения, последующих русских журналистов благодетельно опекающие.

Итак, — Петр Первый. Как всегда, во всем первый!..

Это — кто?.. Ползет на коленках по полу Ледяного дома, согнулся в три погибели, с рукописью на напудренной голове...

Будь здорова,
Как корова,
Родовита, как земля,
Плодовита, как свинья...

Василий Кириллович Тредьяковский — первый русский злободневный фельетонист в стихах, хотя и без газеты. На щеке его горит «всемилостивейшая оплеушина», плечи его в синяках от палки Артемия Волынского, в одном кармане у него подлейшая по лести ода временщику, в другом — подлейший по кляузе донос на товарища... Б-р-р... Мимо!

— Я не токмо у вашего превосходительства, но и у Господа Бога моего в дураках быть не согласен.

Какие великолепные, львиные слова! Как сразу очистили они воздух, зараженный раболепною тенью автора «Телемахиды». Но посмотрите, кто их произносит, как произносит. Вот он — великий архангельский мужик, «первый русский университет», — сидит он один в своем бедном профессорском кабинете, преждевременно состарившийся, непонятый, полупризнанный, нищий и... пьяненький. Клянет немцев, клянет лизоблюдов и подлипал при великих мира сего, заевших его жизнь, и ругательства заливает зеленым вином, а зелено вино приправляет ругательствами.

— Я не токмо у вашего превосходительства, но и у Господа Бога в дураках быть не соглашусь...

Ну и не будь, умник! Других много найдется, охочих. И восторжествуют они над тобою, и заслонят тебя, сомнут на пустяки, на дрязги, по мелочам истреплют твой львиный гений, твою великую душу, гордый мудрец! И истоскуешься ты от непочатой, неразмыканной силищи своей, и сопьешься ты, Михайло Ломоносов, сидючи с немкою-женою на своем Васильевском острову. Да так хорошо сопьешься, что, когда спохватятся о тебе, и в полубоги тебя позовут, и царица к тебе в гости приедет, будет уже поздно: силы истрачены, жизнь догорает...

— Оттого и умер, что пить перестал, — лепечет народная легенда.

Мимо!

— Соблаговолите, милостивый государь мой, экспликовать изрядно, в каком кумпанстве и чьим злодейственным наущением дерзнули вы составить богомерзкую трагедию, именуемую «Вадим»?

Молчит Княжнин, трясется.

Шешковский нюхает pane* из золотой жалованной табакерки и кротко говорит заплечным мастерам:

— Максимушко, раздень господина сочинителя Княжнина, а ты, Ефимушко, принеси из чана розги... посоленные...

Мимо! Ради Бога, скорее мимо! Потому что, — вон, смотрите: агония Княжнина почти отняла разум у дряхлого творца «Недоросля» и «Бригадира». Он весь — трепет и предчувствие зла. Исханжившийся, лицемерный, трусливо гаснет самый живой, острый, проникновенный сатирический ум восемнадцатого века. Уже и загробная-то будущность представляется ему чем-то вроде тайной канцелярии, и он трепещет перехода в вечность не духовно, но именно — как затрепетал бы от приглашения к Шешковскому.

Чу! Слышу на собак ямщик кричит: «Вирь-вирь!..»
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь!

Это товарищ-литератор — Державин — напутствует злобным хохотом Радищева, первого провозвестника зари 19 февраля. Восемнадцатый век умирает, оброшенный, страшный, унылый. Восходит солнце девятнадцатого... Оно чуть мерцает сквозь мистические тучи. Шишков, Голицын, Фотий, Магницкий, Рунич... Профессор зоологии серьезно возвещает студентам с кафедры:

---

* Панированный табак (*фр.*).

— Господь Бог, в неизреченной Своей милости, даровал коту орган, именуемый хвостом.

14-го декабря... «Я не поэт, я гражданин!» — хрипло звучит по России завещание повешенного Рылеева...

Дальше — уже «наумовские и волковские картины».

Ранним январским утром, на окровавленном снежном сугробе бьется в судорогах смертельно раненный человек. Самый великий человек, самый мощный гений, какого родила русская земля после Петра Великого, — «лучший из русских людей», Александр Сергеевич Пушкин. Вся Россия застонала при горькой вести о его кончине, даже беспощадный царь Николай, говорят, заплакал в своем дворце. Но рады те, которые затравили поэта, как благородного лесного оленя, — затравили за то, что и он, подобно Ломоносову, даже у Бога не хотел быть в льстецах и дураках. Рады «презренные потомки известной подлостью прославленных отцов». Они торжествуют, властвуют, оправдывают Дантеса, и... другой великий писатель, осмелившийся бросить им в глаза железный стих, «облитый горечью и злостью», находит на Кавказе — роковую смерть от шальной пули бретера Мартынова. В Зимнем дворце известие встречено словами: «Собаке собачья смерть».

Полубезумный Гоголь, умирая, сожигает «Мертвые души». Тургенев — на гауптвахте за некролог Гоголя. Белинский, заморенный трудом и бедностью, эксплуатируемый, подозреваемый, гонимый... Вспомните, вспомните картину Наумова, со всею трагическою обстановкою последних часов родоначальника русской критики! Ошалевший, испошлившийся от вечного предцензурного трепета Полевой. Бутурлинский комитет. Фрейганг — «даже» Фрейганг, который «устает марать». Достоевский в «Мертвом доме». Герцен. Добролюбов, которого только ранняя чахотка спасла от грозной судьбы Чернышевского. Ряд талантов, спившихся с круга от разлада с жизнью, от бессилия приложить к ней

природную мощь свою: Григорьев, Мей, Помяловский, Решетников, Якушкин, Левитов.

А вот уже и новейшие времена. Как обожженный Икар, лишенный крыльев завистливым солнцем, как Эвфорион с поднебесной скалы, падает в пролет лестницы измученный Гаршин. Преждевременно вянет, васильком без воды, нежный поэт-юноша Надсон. Истерзанный казнью невольного покоя, в агонии бессильного гражданского гнева и скорби задыхается Салтыков. «Отлученного» Льва Толстого отнимает у русской литературы литература мировая.

— Он наш, — говорят Европа и Америка, — мы лучше и больше знаем его, чем вы: вы недостойны называть его своим, — мы берем его у вас и поместим его, гения, вне нации, — во всемирный пантеон!

Глеб Успенский бормочет в сумасшедшем доме:

— Мужики... мужики... зачем?.. Много, много натоптали следов по снегу... в лаптях они... мужики...

О, он не вправе жаловаться, что его забыли, бросили одного. Приезжающая публика то и дело просит главного врача:

— Ах, кажется, у вас содержится Глеб Успенский? Нельзя ли посмотреть? Ужасно интересно. Никогда еще не видали сумасшедшего писателя.

— С величайшим удовольствием. Сию минуту. Сторож! Приведи сюда больного Успенского.

— Мерси. Какой вы милый! А «он» не кусается?

О, люди, люди!..

Окружась такими картинами, я, мм. гг., естественно усомнился, чтобы двухсотлетняя автобиография могла воспламенить гения русской печати к празднованию годовщины своего появления на свет. Скорее можно было ожидать, что сказанный гений посыпет пеплом главу и сядет на гноище, подобно библейскому Иову.

— Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: «Зачался человек!»

И потому, повторяю, юбилейная суета с возгласами: «Ах какой высокоторжественный и знаменательный день! Ах как нам приятно!» — повергла меня в глубочайшее недоумение. В каком-то горбуновском рассказе выступал на сцену купец: «Объясни ты мне, Егор Дмитрич, почему я сегодня так много доволен?»

Я видел, что российская печать, подобно этому купцу, чем-то премного довольна, но чем, тоже уяснить ни себе самой, ни другим не в состоянии.

Разрешить недоумение помогло довольно близкое соседство юбилея печати с двадцатипятилетнею годовщиною смерти Некрасова. Перечитывая стихи его, я нашел разгадку торжества. Помните ли вы ярмарочные сцены в «Кому на Руси жить хорошо»? Семь странников поят водкою «счастливых». И вот на зов их выступает кандидатом в счастливцы еле живой, дряхлый инвалид-солдат. «Я счастлив! — говорит. — Да в чем же твое счастье, искалеченный человек?»

А в том, во-первых, счастие,
Что в двадцати сражениях
Я был, а не убит!
А, во-вторых, важней того,
Я и во время мирное
Ходил ни сыт, ни голоден,
А смерти не дался!
А, в-третьих — за провинности
Великие и малые,
Нещадно бит я палками,
А, хоть пощупай, — жив.

Выслушав автобиографию старика, странники сразу убедились, что пред ними настоящий счастливец, и воскликнули хором:

На! выпивай, служивенький!
С тобой и спорить нечего,
Ты счастлив, спора нет.

Сдается мне, что на ярмарке русской общественной жизни произошло аналогическое явление. Русская печать, как старый израненный ветеран, сданный в солдаты без выслуги, показала обществу свои рубцы, увечья, подведенный живот и торчащие ребра.

— Ах, бедняга! — ахнуло общество, — как же это ты? а?

Но, привычный к дисциплине, солдат-Печать, бодрясь, желал обществу здравствовать и рапортовал:

— Ничево, ваше опчество. Мы привышны. Двести лет. Рад стараться, ваше опчество. Жив есмь, и тем счастлив. Хвалю Бога моего даже во все дни.

— Ну уж! Куда уж! Чем тебе счастливому-то быть? Врешь все, поди? К юбилею подольститься хочешь? На угощенье выманиваешь?

— Никак нет, ваше опчество. Чрезвычайно как счастлив. Много ли солдату нужно? Быть бы живу, — только и всего. А я, — хоть пощупайте, — жив!

— Г-м... Это хорошо, что малым довольствуешься: скромный... Добрый, выходит, ты у меня старик... Хорошо.

— Рад стараться, ваше опчество.

— Ну что же? По такому торжественному случаю надо, пожалуй, тебе, старик, и того... Все-таки двести лет...

— Так тошно, ваше опчество.

— Стало быть, юбилей тебе справим. Да. Честь-честью, чтобы там все такое и прочее...

— Покорнейше благодарим, ваше опчество.

— Да ты как желаешь, любезный? Деньгами тебе выдать на юбилей или просто выпивкою?

Как известно, бедняга-солдат не сразу нашелся ответом на этот вопрос.

— Деньгами, проси деньгами, — шептал ему г. Градовский. — Пользуйся случаем! пускай обложат по копейке с читателя... По копейке, только и всего: никому не в тягость, а ты на всю жизнь обеспечен.

Проект был заманчив, но в старом солдате текла кровь бескорыстного Цыфиркина, тогда как от предложенного читательского тягла, при всей его благожелательности, попахивало стяжателем — Кутейкиным. Поэтому, в конце концов, солдат от читательской копейки рыцарски отказался, и было выпито на свои, было выпито просто.

Было выпито разными людьми, в разных трактирах: вот, к сожалению, и все прошлое, и весь общественный смысл отшедшего в вечность юбилея. И, как его ни верти и ни жми, ничего из него не капнет, кроме изрядного количества спирта и слов, слов, слов... Говорено и пито. Пито и говорено. Угощаемый, хотя и на свои, юбиляр восклицал:

— Кто я есмь таков на сем свете человек?

И сам же себе отвечал:

— Рядовой без выслуги, Российская периодическая печать.

Плакал, махал руками, вопиял:

— Браво мне! Бис! Ура рядовому! Братцы, двести лет!.. И жив!.. Что же это такое?!

Как при всяком загулявшем человке собралось вокруг солдата-Печати много случайной «с боку припеки», которой солдат, сам по себе, был, как говорится, «нашему слесарю двоюродный кузнец». Всей этой компании на солдата и его страдальческую автобиографию было, конечно, «в высокой степени наплевать». Но так как «опчество» поило солдата водкою и даже чуть-чуть было не дало ему денег, то и «с боку припека» сообразила:

— В моде солдат! Надо быть вместе с солдатом...

И тоже вопила в сотню голосов:

— Браво! Ура! двести лет! Жив, солдатище бедовый! И прозой, и стихами — хоть сейчас! Господа! За процветание печати! Туш солдату! Туш! Ура!

Умные и доброжелательные люди говорили солдату:

— Слушай. Другого такого случая долго не будет в твоей жизни. Вокруг тебя соберутся все твои искренние друзья, все, кто тебя любит и тебе служит. Давай же посоветуемся вкупе и влюбе, как нам вперед-то жить, чтобы наше будущее было лучше прошлого. Поговорим о своих правах, возможностях, надеждах. Выясним, что мы для общества, что общество для нас. Определимся как сословие. Разберемся в партиях. Установим общие программы, как служить ему, в чем оно от нас нуждается. Спросим и у него хоть какой-нибудь нравственной поддержки. Раз общественно знаменуется твой юбилей, — пусть же он станет не днем беспричинного торжества для торжества, пустословия для пустословия, но эрою лучшей, новой жизни... хотя бы даже — только более тесного, выясненного взаимодействия, единения с обществом.

Юбиляр задумался было. Но «с боку припеке» стало скучно:

— Канитель тянут, спиртным не пахнет, денег не сулят... Праздная публика!

— Что за люди? Не перебили бы у нас юбиляра... Самые неблагонадежные люди...

— Солдат! Не слушай... Ерунда... Брось! Плюнь!

— Нет, постойте... Дело говорят...

— Дело? Ха-ха-ха!.. Брось! Вот они тебе ужо покажут «дело», в хо-о-о-рошую историю втянут... Разве ты затем юбиляр, чтобы о делах рассуждать! Ты знай, ходи весело, а не то, чтобы дела... Плюнь!

— Правду говорят: нельзя так жить...

— Нельзя? Да ведь жил же двести лет — жив остался! Чудак!

— А ведь и то жив! — уже веселеет самозабвенный солдат.

— Ты жив! И мы все живы! Чего там? И все литераторы!

— Да ну?

— Ей-Богу, право, ну! Хоть в Русском собрании справки забери: там наши паспорта прописаны. Ты жив, мы живы, а им, канительщикам, черт ли жизни не дает?.. Сами виноваты... рассуждатели!

— Оно, конечно... — уже сдается юбиляр. — Только вот — насчет правды ихней...

— Брось! Какая там у них правда? Самая неблагонамеренная компания...

— К тому же больше из инородцев...

— Армяшки-грегорашки...

— Полячишки...

— Сепаратисты!!!

— Сионисты!!!

— Ха-ха-ха!!!

— Ребята! Качать солдата! Ура солдату! Литераторы! принимай!

Друзья-резонеры побеждены, заглушены, оттиснуты на задний план; их не слышно, не видно. Одурманенный юбиляр только хлопает глазами да машинально чокает свой стакан о стаканы, бессчетно ему подставляемые «с боку припекою». «С боку припека», чувствуя себя хозяйкою положения, поет, кричит, галдит, свищет и лжет, лжет, лжет. Лжет, как Хлестаков лгал, — самозабвенно, с вдохновением, «лабарданно» лжет. И как Хлестаков долгался наконец до того, что поверил в свое фельдмаршальство, так и «с боку припека» заврала́сь до мечтания себя настоящею литературою.

Немногие трезво протестующие, честные голоса *) исчезают в реве и шуме торжества, мало-помалу перерождающегося в скандальчик. Ибо каждый в «с боку припеке» взревновал о ближнем своем и местничает за право сесть ближе к юбиляру.

---

*) Гг. Гольцева († 1906), Михайловского († 1904), Арсеньева, некоторых других.

— Какой ты черт-литератор? Мошенник! Самозванец!

— Сам Гришка Отрепьев!.. В пушку тебя!.. Чтобы пепел по ветру!..

— К барьеру!

— Протокол!

— К мировому!

— Вон! Взять под белые руки, да и вон из компании!

— Вон!

И все вопли покрывает классический окрик «нечестно пхаемого», то есть выводимого редактора-москвича:

— Все вы свиньи! Да! Сказано: не мечите бисера... И не стану метать! И не мечу...

Юбиляру-Печати очень неловко. Он начинает сознавать, что вокруг него творится нечто совсем непечатное, и, следовательно, сану его отнюдь не подобающее. Он тоскливо осматривается, ищет сочувствующих, и, вообще заметно, с удовольствием удрал бы куда глаза глядят.

Но — увы: поздно, жребий брошен...

— Здоровье виновника торжества!..

— Браво! Браво! Браво! Ура! Ура! Ура!

Скучно, скучно на этом свете, господа. А иногда не только скучно, но даже и совестно... Особенно, когда глядишь на него из непрекрасного далека... Не в том беда, что после долгих и крикливых родов гора произвела только мышь. Но зачем новорожденная мышь-то эта так нелепо металась и некрасиво пищала о своем ничтожестве?!

1903

БАЛЬМОНТ

I
«ПЕСНИ МСТИТЕЛЯ»

К. Бальмонт издал в Париже отдельною книжкою «Песни мстителя». Эти стихотворения Бальмонта выражают собою любопытнейший и для меня самый симпатичный период его творчества, когда талантливого поэта, что называется, «зазрила совесть» оставаться жрецом чистого искусства: художником-созерцателем, бесстрастным в пламени битв, нарядным белоручкою среди облитых кровью и закопченных порохом бойцов. Бальмонт мужественно отбросил цветы и лавры, заслуженные прежним сладким гусельным первозвоном, в котором у него нет соперников, и потянулся обеими руками к терновому венцу революционного поэта, вещуна и пророка русского освободительного движения. Благородная решимость Бальмонта стоила ему дорого. Не говоря уже о том, что мощные откровенности, брошенные поэтом в лицо русской реакции, сделали невозможным для Бальмонта пребывание в отечественных «пределах досягаемости», — от него отшатнулся длинный ряд былых поклонников, сотрудников и литературных друзей. Эстеты возмущаются, как, дескать, Бальмонту не жаль самодовлеющие сокровища своего таланта отдавать теперь на цели служебные, утилизируя священные средства вечной поэзии для интересов времен-

ной человечности. Этими былыми друзьями была поднята на Бальмонта своеобразная литературная травля, очень ясно показавшая, насколько живым укором не в бровь, а прямо в глаз врезалось благородное «отступничество» К.Д. Бальмонта в ту эгоистически-буржуазную, праздную, сытую среду утонченных переливаний из пустого в порожнее, которую представляет собою русское, уже успевшее одряхлеть и вычурно застыть в придирчивую, парнасскую академичность декадентство. Глотая приятельские нападки с редким хладнокровием, Бальмонт шел своею новою дорогою с тою красивою, убежденною твердостью, что так свойственна ему, когда его охватывает порывами и наплывами своими полюбившаяся светлая идея. Лишь один раз отозвался поэт на незаслуженную брань, сыпавшуюся на него из лагеря «ликующих, праздно болтающих», — отозвался, на имя Валерия Брюсова, жестокою и спокойною характеристикою того, что в лагере этом творится.

СЛЕПЦЫ

Один слепец ведет другого,
И, в безобразии своем,
Кривым путем
Глупец глупца,
Слепец слепца,
Вперед уводит без конца.
Ты понимаешь это слово?
Подняв глаза, раскрывши рты,
Подняв глаза свои слепые,
На ощупь в царстве темноты
Кроты, кроты,
Они ползут, скрипят, — их выи
Надменны, — полны срамоты
Их неуклюжие движенья, —
Они — одно, они — сцепленье,
Уродство самоослепленья.
Убогость эту понял ты?

Наконец, немало ударов претерпела социалистическая эволюция музы К.Д. Бальмонта и из третьего стана, ничего общего с двумя первыми не имеющего, — как раз из того стана, куда она направилась с распростертыми объятиями. На крайней левой встретили гражданскую поэзию Бальмонта на первых порах с тем типическим русским недоверием, которое, как ушат холодной воды, залило не один уже костер хорошего политического чувства, способный в других условиях разгореться в большое и полезное пламя. Обвиняли Бальмонта в неискренности, в погоне за революционною модою, в популярничанье. Думаю, что из всех нападок, эти были для Бальмонта самые тяжелые и ужасные. Нет ничего обиднее, как нести на алтарь покорившей тебя идеи открытое сердце, а в ответ своей искренней жертве получать прямо в открытое то сердце плевки от не в меру ревнивых жрецов и стражей той же самой идеи. Но убежденный, искренний, самосознательный Бальмонт и это мытарство прошел с мужеством завоевателя, неуклонно идущего к намеченной возвышенной цели. И — скажу с полною откровенностью: наблюдал я Бальмонта в Париже почти два года, то есть именно срок, когда он «популярничал», и редко видал я писателя, более равнодушно и смело относившегося к риску временно потерять всякую популярность у публики, чем являл этот «популярничающий» поэт — между жестоко вращавшимися жерновами трех враждебных ему отношений... Давно любя и ценя огромный поэтический талант Бальмонта, — за последние два года я с глубоким уважением и с убежденною настойчивостью могу отметить новые симпатичные черты, прорезавшие его творчество, как лучи мягкого белого света: отречение от надменного авторского эгоизма, сознательное заклание своего нарядного «я» на жертвеннике гражданственности.

Так родились вышедшие ныне в Париже «Песни мстителя», с эпиграфом: «Гнев — шорох листьев древесных, он нашептывает, он рукоплещет, он сочетает, единит. *Майя*».

Из пятидесяти стихотворений, наполняющих маленький сборник, разумеется, не все одинаково захватывают и увлекают читателя. Но большинство написано будто не чернилами, а кровью и пламенем. Иногда талант как будто устает от напряженного вопля своего, и тогда лишь презрительно ворчит умными и красивыми придуманностями. Некоторые стихотворения сразу врезываются в память и навсегда останутся на почетном месте истории полемической поэзии, неизбежной в каждом революционном периоде. Не говоря уже о прямых выпадах поэта, — настоящих ударах толедской шпаги, — вызванных ужасами 9-го января, карательными экспедициями и т.д., великолепны его мистические образности — «Руда», «Вестники», «Волчье время», «Крылья», «Летучие мыши», «Пряжа-пламя», «Двенадцатый час» — слагающие как бы апокалипсис русской освободительной борьбы. Кстати, опять о — «популярничанье» Бальмонта: хорош «льстец революции», способный говорить с нею столь смелым обличительным языком, как звучит стих в «Позабытых строках» и в суровом запросе: «Где месть?» Однажды К.Д. Бальмонт имел гражданское мужество прочитать это последнее стихотворение — резкий упрек партийной дезорганизации — пред аудиторией эмигрантов, сплошь состоявшею из теоретиков, которым каждое слово Бальмонта приходилось — как раскаленное железо к живой ране. Человек сознательно шел прямо под свистки и не боялся свистков. Таково-то Бальмонт «популярничает»! И вот это-то драгоценное мужество говорить свое слово вслух строго и точно, так, как оно созналось и выносилось в душе, симпатично влечет к Бальмонту и заставляет верить, что не поверхностно щекочущие эмоции минуты, но глубоко выстраданное чувство диктует ему страстные заветы его «Преступного слова».

Кто будет говорить о слове примиренья,
Покуда в тюрьмах есть сходящие с ума,

Тот должен сам узнать весь ужас заключенья,
Понять, что вот, кругом, тюрьма.
Почувствовать, что ум, в тебе горевший гордо,
Стал робко ищущим услад хоть в бездне сна,
Что стерлась музыка, до крайнего аккорда,
Стена, стена и тишина.
Кто будет говорить о слове примиренья,
Тот предает себя и предает других,
И я ему в лицо, как яркое презренье,
Бросаю хлещущий мой стих.

А то двойственное и, так сказать, междустульное положение, на которое обречен интеллигент в рабочем стане социал-демократии и которым, в частности, с язвительностью упрекали именно Бальмонта недоброжелатели его социалистической эволюции — Бальмонт сам понял и почувствовал лучше, чем кто-либо другой. Он сумел возразить на эти сомнения с превосходною полнотою и силою. В 1905 году заставило говорить о себе стихотворение Бальмонта «К рабочему»:

Рабочий, странно мне с тобою говорить:
По виду я — другой.
О, верь мне, лишь по виду...

И т.д.

Вот этому-то «лишь по виду» социал-демократическая критика в то время не весьма поверила и не без ехидства экзаменовала Бальмонта: «Что вам рабочая Гекуба и что вы рабочей Гекубе?»

Теперь Бальмонт блистательно разъясняет свою причастность к рабочей Гекубе пророчеством: «Быть может».

Быть может, мы разны не только по виду,
Быть может, я вовсе другой.
Не знаю. Но знаю, что счел я своей незабвенной — обиду

Твою,
И ее пропою,
И этой обидой мы связаны вместе,
Как голосом тайны для нас дорогой,
И этой обидой, и жаждою мести —
Мы вместе, мы вместе, к пустыне морской.
Число наших лодок огромно, несчетно,
И мы ударяем веслом,
И в разных ладьях мы плывем быстролетно,
Но кончится путь — на прибрежье одном.
И в час, как на берег пристанем мы ровно,
Быть может, тебе не припомнюся — я,
Но сладко мне знать, что победно и грозно
Промчится крылатая стая твоя.

Нельзя лучше выразить ту общую роль, которая выпадает и единственно остается интеллигенции в неустанно движущемся вперед социальном обновлении Европы, — нельзя полнее и искреннее высказать индивидуальную готовность свою к отречению от старого мира. Бальмонт — пророк, понявший, что смиренность служения есть величие ожидания. Когда я читаю его стихи, я чувствую пред собою, и в дурном, и в хорошем, «гражданина грядущих поколений»... О многих ли из его хулителей повернется язык сказать то же самое, мысль — осмелится тому же издалека поверить?

II
«ЖАР-ПТИЦА»

Новая русская поэзия считает в числе своих не весьма великих и редко признаваемых заслуг — воскрешение мифа. Мифологические течения в ней, действительно, настойчивы и выражены довольно ярко. Замечательнейшим памятником их воздвиглась книга К.Д. Бальмонта — «Жар-птица», странно двойственная, прекрасная и нелепая, захватывающая и бес-

цельная, поэтическая и бесплодная. Первое впечатление: восторг, второе: чему же это я, однако, обрадовался? Что это и зачем это сделано? Третье: ах, на что было огород городить? ах, на что было капусту садить?

В южно-русских степях на курганах стоят каменные бабы. Они грандиозны, грубы, смешны и страшны. Декоративное впечатление их мощно и величественно. И когда вы смотрите на них, то при всем их безобразии, чувствуете к ним уважение, потому что их булыжными громадами говорит с вами через века веков какая-то доисторическая действительность, воплощенная в доисторическое искусство.

Но представьте себе, что вот пришли вы в мастерскую к В.А. Беклемишеву, Аронсону, Гинцбургу, Бернштаму.

— Что работаете?

И Беклемишев, Аронсон, Гинцбург, Бернштам отвечают:

— Вырубаю каменную бабу.

— Зачем?

— Для постановки на кургане в Херсонской губернии.

Дико?

Вот то же самое общее и заключительное впечатление остается и по прочтении «Жар-птицы». Сидит в мастерской своей талантливейший скульптор во всеоружии веками развитой техники, передовой человек в своем искусстве и рубит зачем-то из драгоценнейшего мрамора одну за другою каменную бабу. И мало, что новых баб делает, но еще и старых, подержанных принимает в починку, кладет заплаты и штопает трещины, выветренные веками. И все это — даже не по археологическому интересу, напротив, с некоторым пренебрежением к археологической правде. Бальмонт в «Жар-птице» работает совсем не так, как, например, Рерих, которому дорого именно строгое и стильное археологическое воссоздание быта человеков, современных мамонтам и пещерным медведям. Бальмонт влюбился в самую идею каменной бабы, нашел ее почему-

то необходимой для XX века и тянет ее как современницу в новую жизнь разговаривать вровнях с новыми людьми, по-новому одетую и с новыми мыслями в стародавней голове, с новыми словами в ветхих устах. Ну, и получается из этого смешения времен чудище обло и озорно — столь противоестественного образа и подобия, что, как Лесков говаривал, «уж и не разберешь, на каком оно иждивении».

«Жар-птица» открывается отделом «Ворожба», содержащим стихотворные переложения колдовских заговоров, выработанных суеверием великорусского крестьянства. Позвольте, хоть оно и не очень весело, привести один из этих заговоров в сахаровском оригинале, по которому К.Д. Бальмонт сочиняет свои стихотворные реставрации, и затем для сравнения ту поэмку или балладу, что вышла из заговора у К.Д. Бальмонта. Одного примера будет совершенно достаточно, так как все остальные заговоры использованы К.Д. Бальмонтом совершенно в той же манере.

ЗАГОВОР ОХОТНИКА НА ПОСТАНОВНЫХ КЛЕТЯХ ДЛЯ ЗАЙЦЕВ

Встаю я, раб такой-то, засветло, умываюсь ни бело, ни черно, утираюсь ни сухо, ни мокро. Иду я из дверей в двери, из ворот в вороты, в чисто поле, к лесу дремучему, а из леса дремучего бегут ко мне навстречу двадцать сатанаилов, двадцать дьявоилов, двадцать леших, двадцать полканов — все пешие, все конные, все черные, все белые, все высокие, все низкие, все страшные, все робкие: стали предо мною те сатанаилы, те дьявоилы, те лешие, те полканы, — стали на мою услугу и подмогу. Подите вы, сатанаилы, дьявоилы, лешие и полканы — в такой-то остров, пригоните русаков и беляков на мои клети поставные: сумеречные, вечерние, ночные, утренние и полуденные. Пригоните, остановите и в моих клетях примкните.

Такова первобытная каменная баба. А вот — та же самая каменная баба, переодетая К.Д. Бальмонтом.

ЗАГОВОР ОХОТНИКА

Засветло встал я,
Лицо умывал я,
И в двери иду из дверей,
Из ворот я иду в ворота,
В чисто поле, к дремучему лесу, где между ветвей
Днем темнота.
А из лесу дремучего, темного,
Из лесу огромного,
Двадцать бегут ко мне дьяволов, сатанаилов лесных,
И двадцать иных,
Пешие, конные, черные, белые,
Низкие,
Близкие,
Страшные видом, а сами несмелые,
Сатанаилы и дьяволы, стали они предо мной,
На опушке лесной,
Сатанаилы и лешие, дьяволы странные,
Низкие, близкие, темные,
Плоско-огромные
И вы, безыменные,
Видом иные,
На остров идите,
Зверей мне гоните,
В мои западни поставные,
Ночные, вечерние, утренние,
И полуденные, и полуночные,
Идите, гоните,
Остановите,
В моих западнях примкните.

Совершенно непостижимо, зачем К.Д. Бальмонту понадобилось это переодевание.

Народную тему стоит использовать, когда она в состоянии дать толчок к лучшему новому воплощению большой идеи, которая смутно трепещет в темноте того или другого творения народного. Илья Муромец, Садко-богатый гость, Васька Буслаев, Микула Селянинович и пр. десятки раз находили себе художественные перевоплощения, нужные для

идеи религиозной, этической, социальной и т.д. Алексей Толстой, Мей, Суриков и т.д. налепили огромное множество таких перевоплощений народной былины. Бальмонт — также. За исключением Васьки Буслаева, кажется, все легендарные фигуры русского эпоса им использованы, причем старание создать им идейный комментарий достигает иногда дидактичности. Его «Микула Селянинович» и несколько баллад об Илье Муромце — прямой плод эсеровского взгляда на крестьянство, хотя сам К.Д. Бальмонт по убеждениям и дружбам своим стоит ближе к социал-демократам. Это было бы очень интересно в том случае, если бы К.Д. Бальмонт, воспользовался народным образом лишь как вдохновителем к творчеству, а самое творчество предоставил бы всецело себе, если бы он брал тему в народе, лады в народе, но симфонию писал бы свою собственную. Словом, творил бы, как Пушкин в «Песне о Вещем Олеге» или Лермонтов в «Песне о купце Калашникове», как пишет русскую музыку Римский-Корсаков, а Малявин — русских баб. Но К. Бальмонт одержим непреодолимым стремлением пользоваться в вариациях своих также и народным материалом и кропотливо чинит комментирующими инкрустациями потрескавшихся каменных баб, забывая, что они именно только тем и хороши, что почетные трещины свидетельствуют, насколько давно эти глыбы стоят очевидицами мира сего. Бальмонту хочется не современность найти в древнем сказе, но древний сказ навязать современности, — с теми компромиссами, без которых не в состоянии обойтись никакое модернированье, какими бы добрыми мотивами оно ни вдохновлялось. Как фельетонист, я не раз испытывал, что, если вы хотите рассмешить публику за счет какого-нибудь современного деятеля, нет к тому вернее средства, как заговорить о нем слогом летописи, былины, церковнославянщиною. К сожалению, метод этот не теряет комического начала и в применении к современным идеям. Стеньку Разина очень легко принять за социалистический символ рус-

ской старины, но нельзя излагать Эрфуртскую программу языком, которым говорил Стенька Разин. Бальмонт совершенно упустил из виду изложенные соображения, и не удивительно, что часто бывает смешон там, где намеревался быть сильным или трогательным.

Притом, — ну, какую идею возможно откопать в «Заговоре охотника»? Ту, что о благовремении и черт на потребу? Но разве у Бальмонта эта глубокая и необходимая XX веку мысль выражена сильнее и полнее, чем у Сахарова? Увы и увы! — нет. Если «поэт мыслит образами», то нельзя не сознаться, сахаровский заговор гораздо богаче образами, чем заговор Бальмонта. Умываюсь не как-нибудь, а «ни бело, ни черно», утираюсь: «ни сухо, ни мокро» — образ. «Все высокие, все низкие»: естественное противоположение и, следовательно, образ. «Полканы» — образ. «Клевы», «клети» сильнее и народнее прозаических «западней». У Бальмонта же — вместо образов — ненужные и растянутые объяснения эпитетов, общеизвестных и понятных каждому русскому. Если комментировать распространениями «дремучий лес»,то придется, по равноправию, комментировать и белый день, и черную ночь. Образное противоположение «высоких — низким» Бальмонт обращает в простой перезвон случайных рифм «низкий — близкий». Вводит прозаически-паспортную характеристику чертей приметами в прилагательных, не только бледных, но даже составных («плоско-огромные»), что совершенно противно духу русского народного языка. Словом, в бальмонтовом заговоре народности ни капли нет, одна искусственность, сплошное «интеллигентство». Но раз это — интеллигентство, то на какой предмет интеллигентству понадобилась в XX веке стихотворная статистика дьявоилов, сатанаилов и пр., к тому же столь небрежно произведенная? И, как вспомнишь, что уже и Сахаров-то сам по себе источник весьма сомнительный, потому что десятки раз обличенный в подделках и мистификациях. Подделка стихами подделки в прозе. Зачем? Тайна сия

велика есть. А таких подделок у Бальмонта много, много. Он истратил на них даже в одной «Жар-птице» не менее двухсот дней своей жизни. И добро бы уж хоть подделывал-то какие-нибудь «тиары царя Сайтаферна». А то фальсифицирует каменных баб. Стоит терять труд и время! Подделывать заговоры, даже с мистической точки зрения, бессмысленно, так как, по народному убеждению, стоит изменить лишь одно слово в тексте, и заговор уже теряет свою силу и ровно никуда не годится.

Сорок лет тому назад вышла в Москве научная работа, наделавшая много шума в ученом мире и даже проникшая в широкую публику, что в те времена для труда специального было совсем необыкновенным счастием. Работа эта — три тома А.Н. Афанасьева: «Поэтические воззрения славян на природу» — была издана знаменитым московским меценатом К.Т. Солдатенковым («Козьма Солдатенков — Козьма Медичис», воспевал его поэт Алмазов), быстро исчезла из продажи, сделалась библиографическою редкостью и пришла в забвение. Тем более, что и стихийная школа, которую, по следам братьев Гриммов, хотел утвердить Афанасьев в славянской мифологии, уже потерпела научное крушение. Толстые томы «Поэтических воззрений» теперь интересны — лишь как пространная галерея талантливо рассказанных и остроумно, хотя с предвзятыми натяжками, истолкованных мифов, легенд, поверий, сказок, притч, прибауток, песен — кладовая фольклора, равной которой по богатству немного во всемирной литературе, а в русской и вовсе ничего нет. Я не был бы «восьмидесятником», если бы в свое время не отдал дани изучению фольклора, не дилетантствовал бы по сравнительной мифологии и сравнительному языковедению, не писал бы диссертации о «Русалиях» и т.п. *). Это было научное поветрие своего рода. Сейчас опять запахло им в воздухе. Вместе с тем и «Поэти-

*) См. мое «Старое в новом», 3-е издание 1907 года.

ческие воззрения» в последнее время как будто опять входят в моду. Декаденты нашли их музей подходящим полем для своей работы, и, конечно, им стихийное толкование мифа должно говорить гораздо больше, чем логический материализм хотя бы Тэйлора или Макса Мюллера, которые заслонили Гриммов и Афанасьева от читателя семидесятых-девяностых годов прошлого века. На «Жар-птице» Бальмонта отпечаток «Поэтических воззрений» лежит резко и глубоко. Настолько, что иногда стихи его можно считать переложением афанасьевского прозаического комментария в размер и рифмы, и книга принимает на этих страницах характер тех стихотворных диссертаций в стихах, что так любило XVIII столетие:

Неправо о стекле те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов...

Это, надо отдать справедливость г. Бальмонту, — прескучная часть его книги, и недаром мне пришли на память ломоносовские стихи: именно ломоносовщиною какою-то веет от этих протяженно-сложенных пересказов ученой прозы... уныло-уныло! Чувствуется в работе этой что-то насильственное, кабинетное, чуждое вдохновений, которыми так дорого и прекрасно творчество Бальмонта, слышен «запах лампы», сказывается то, что сам Ломоносов обругал однажды «бедным рифмичеством». Преимущественно пострадали от рифмического натягивания стиха на стих те произведения, в которых Бальмонт имел пред собою как канву пространный и подробный текст. Причины я изложил выше, говоря об идейных былинах. Чтобы сделать из народной основы нечто как бы новое, поэт прибегает к самому ужасному для фольклориста способу распихивания между текстом произвольных эпитетов, между стихами — вставных придуманных распространений, — словом, масло маслит маслом по тому же образцу, как мы видели в «Заговоре охотника»,

но еще усерднее и, следовательно, с еще более плачевными результатами. Сочинительством под народ в старину занимались, ради научных мистификаций, Вячеслав Ганка, Чаттертон, Макферсон, у нас Сахаров, Срезневский, автор гениальной баллады о Самко Мушкете, которую лет тридцать считали настоящею народною украинскою думкою. Но все эти авторы обладали колоссальным знанием народного языка, были напитаны его духом, чувствовали себя как дома в его словаре и свободно распоряжались его грамматикой. За К.Д. Бальмонтом нет ни одного из этих достоинств, и его искусственные былины лишь усердно разбавляют стакан с народным вином водою интеллигентского умничанья. До тех пор, что не только вкус, но и цвет-то вина уже исчез в стакане, — автор же, не замечая, все еще зовет эту бледно-розовую жижу вином и уверяет, будто в руках его улетевшая жар-птица оставила «свирель славянина». Как характерно, что даже в разгар эпохи русского романтизма настоящий человек из народа и поэт его, А.В. Кольцов, прошел стороною мимо древнебылинного творчества и не приложил своих рук к реставрации каменных баб. Попытка его в этом направлении («Из лесов могучих северных») искусственна и неудачна. А каким языком говорил бы новый народный эпос, если бы он был нужен, показал тот же Кольцов: «Лес» — вот типическая народная былина XIX века. Теперь, конечно, народ уже и от этого языка ушел — и новые былины его выльются в иную речь. Но даже и этот, почти уже столетний язык, — послушайте, насколько он сильнее, изящнее, проще мнимой старины К.Д. Бальмонта. В интеллигентском своем усердии г. Бальмонт расправляется с народной поэзией совершенно по тому же рецепту, как в сороковых годах старался в том же направлении романтик-славянофил Минаев, отец известного поэта-сатирика, автор весьма звучной, но обессмысленной вариациями в стиле модерн переделки «Слова о полку Игореве». На простую и ясную правду подлинника он лепит

выкрутасы, завитки, розетки изо всех ему известных стилей поэтической архитектуры. Мей записал когда-то и, вероятно, выправил народную былину «Отчего перевелись витязи на святой Руси», поразительно сильную именно лаконизмом своим, величавую, грозную, простую. Витязи похвалились, что справятся даже с «силою нездешнею». Явились два неизвестных воина и вызвали витязей на бой. Налетел на них Алеша Попович млад, хватил мечом, — стало воинов четверо. Налетел Добрыня Никитич, ударил, — стало врагов восьмеро и т.д. Бросились в бой все витязи.

А сила все растет да растет,
Все на витязей с боем идет...

Измаялись витязи в бою, испугались и бросились бежать в горы...

Как подбежит который к горе,
Так и окаменеет,
Как подбежит который к горе,
Так и окаменеет.
Так-то и перевелись витязи на святой Руси.

Посмотрите же, во что превращает этот простодушный и сильный лаконизм искренне суеверного мужичьего шепота интеллигентское красноречие К.Д. Бальмонта.

А безвестная рать все растет и растет.
Все на бьющихся витязей с боем идет.
Испугались бойцы тут могучие,
Побежали к горам,
Побежали к пещерам, к ущельям, где чащи дремучие.
Подбежит один витязь к горе — и останется там,
Каменеет.
Подбегает другой — и, как камень, причтется к камням,
Третий, все, — подбежит, изумленный немеет.
С этих пор на Руси уже более витязей нет,

С этих пор в сумрак гор углубиться не всякий посмеет,
Странен глыб их узор, и таинственный свет
Над провалами часто белеет.

Совсем другое, несравненно более отрадное, впечатление вызывает «Жар-птица» в тех своих, к сожалению, немногих стихотворениях, где народная тема далась г. Бальмонту не подробным конспектом, а коротким анекдотом, которым он овладевает совершенно самостоятельно и, увлеченный скрытыми в сюжете драматическими перспективами, дает полную волю своему богатому и звучному таланту, без претензий на народность и стихийное глубокомыслие. То есть попросту пишет балладу или поэму, идет по пути Пушкина, Мея, Алексея Толстого. Правда, равносильной «Бесам» или «Утопленнику» пьесы Бальмонту вызвать из народной фантастики не удалось, но он, как талант первоклассный, очень часто идет впереди не только всегда театрального Алексея Толстого, но и гораздо более искреннего и чуткого бытовика Мея. В «Злых чарах» есть у Бальмонта полное мистического трепета стихотворение «Тетенька из деревни», именно будто Меем написанное, автором «Хозяина» и «Русалок». Но Меем, окрепшим в даровании, высветлившим блеск стиха, обретшим красивую тайну стихийного пандемонизма, которой бытовое миросозерцание не давало свободы по реалистическому своему характеру. Предельная линия бытовой фантастики, какую мог указать и предчувствовать полет Мея, — «Снегурочка» Островского. Превосходно и глубоко рассказано Бальмонтом «Наваждение» — владимирское предание о том, как супружеская любовь победила материнское проклятие и вызволила молодца из кабалы у водяных чертей. Очень хороша вся эпическая часть в «Тайне сына и матери» (легенда о кровосмесителе), к сожалению, испорченной прицепленными к ней моральными послесловиями. Еще сильнее в «Злых чарах» Бальмонта увлекательная «За-

клинательница грез» и поэма-монолог «Подменыш» — несомненно одно из лучших стихотворений русской мистики. Таковы там же «Притча о великане», «Лихо одноглазое» — отголоски тех остроумных и глубоких намеков, которые Бальмонт в своих заграничных «Песнях мстителя» умел так ловко извлечь из мифологических аллегорий и метафор и применить, как урок, к современной политической действительности. Словом, Бальмонт великолепен всюду, где он — чистый Бальмонт: «поэт милостию Божией», страстный, чуткий, вещий, во всеоружии своей капризной, не знающей удержа фантазии, своего наивного, не признающего пут и традиций стиха. Там, где Бальмонту есть возможность говорить только свои сердечные слова, он восхитительно-прекрасен. Там, где все нужные слова — и без него — давно уже сказаны, он утомительно-скучен, как певец старых погудок на новый лад, ломящийся в открытые двери, пытающийся умудрить простое и ясное.

Бальмонту в редкой степени свойственно чутье к природе, какое-то особое вещее проникновение в ее потайные, заветные глубины. Поэтому его описания полны мистической образности, совершенно исключительной в летописях русской художественной поэзии. Пантеистические настроения Тютчева и Фета остаются здесь, может быть, и вровень, но особо, в стороне. А стихийные прообразы быта у талантливого Мея либо былинные декорации Алексея Толстого значительно отстают и скромно плетутся сзади бальмонтовых картин, как младшие богатыри в хвосте за конем старшего богатыря, названного брата. Когда Бальмонт говорит о природе, его слово обращается в краску, более могущественную, чем материальные краски живописного пейзажа. Глаза не в силах восприять ту изобразительность, которою обогащает он ухо. Бальмонт обращает слух в зрение. У него нет соперников в передаче незримых сил и звуков в природе. Для него —

Радуга — звук,
Воплотившийся в пламенный цвет.

Уже не раз обращался поэт к слуховой теме «ветер» и создавал шедевры. В «Жар-птице» Бальмонт еще раз использовал любимую тему в виртуозной пьесе «Стрибоговы внуки», изображающей степную грозу, соперничество грома и ветра. За исключением одного неудачного, смешного стиха о Перуне, который «не сдержавши, выпустил гневности», это длинное стихотворение — совершенство звуковой и ритмической изобразительности. Раздраженные насмешками ветров, громы в рокотах и грохотах показали свою силу — охватили пожаром сухую степь...

Но стрибоговы внуки,
Выманив тайну, вметнув ее в пыль,
Рдяный качая горящий ковыль,
С свистом, с шипеньем, змеиным, хохочущим,
Струйно рокочущим,
Дальше уносятся, дальше уносятся, следом клубится лишь пыль.

«Лен», «Капля крови», «Морское чудо», «Домовой», «Лес», «Водная панна», «Мария Моревна» — целое ожерелье драгоценных камней, цветною яркою игрою своею свидетельствующих о глубоком единении Бальмонта со стихийностями, которых зеркалом хочет быть стих его.

К.Д. Бальмонт — самая крупная и единственно настоящая, оригинальная и непоколебимая сила современной русской поэзии. Помимо природных даров красоты, я не могу не ценить его творчества с точки зрения жреческих трудов, которыми сжигает он всю жизнь свою как жертву пред искусством. Это — вдохновенный труженик: большая редкость в художестве. Он соединил в себе вдохновенное избранничество Моцарта со всем хорошим, что можно заимствовать от Сальери. Талант и образование, вдохновение и усидчивость

слились в Бальмонте самым завидным и необыкновенным сочетанием. Плодовитость союза их красива, почтенна и полезна. Кроме того, «Песнями мстителя» и многими другими стихотворениями Бальмонт доказал свою гражданскую отзывчивость, способность и благородную готовность быть Тиртеем в «стане погибающих за великое дело любви». Все эти данные внушают к литературной личности поэта глубокие симпатии. И, именно в силу симпатий, радостно приветствующих каждый новый шаг Бальмонта вперед, ужасно неприятно, когда талант его бесплодно и бесцельно топчется на одном и том же месте, между дряхлых развалин, обманывая себя фальшивыми и ненужными задачами. Талант поэта — собственность человечества, не надо умалять эту собственность, данную поэту лишь в пожизненное владение. Бальмонт должен был Бальмонтом. Совсем незачем ему скрывать свое лицо в старые, изношенные хари и маски и одеваться в чужое платье à la paysan *. Тем более что и сам Бальмонт знает, что из маскарада этого не выйдет ничего путного. Он — человек, что называется, натурный и ряженым быть не умеет и не может.

Полно, тень прочтенной книги!
Отойди-ка к стороне! —

отвечает на его славянские любезности «Исполин пашни». И совершенно прав: все новоявленное славянство Бальмонта и былинное переливание из пустого в порожнее — именно и буквально только тень прочтенной книги. И, конечно, тень мелькнет и пройдет, а солнце огромного таланта останется, чтобы светить и греть. Но — что за охота таланту, да еще такому крупному, тратить свою энергию и время на показывание фигурных теней? Время — жизнь. У сорокалетнего

* По-крестьянски (*фр.*).

человека не так много ее впереди, чтобы можно было разбрасывать ее, как горох, по дороге. Когда молодость осталась позади, борьбою и творчеством надо торопиться. Нашлось бы время окончить начатые статуи, а починкою каменных баб забавляться некогда и не стоит.

III
«БЕЛЫЕ ЗАРНИЦЫ»

Какую прелестную книгу опять издал Бальмонт! «Белые зарницы» — как бы второй том его же «Горных вершин», этого совершенства эстетической критики, этой вдумчивой и глубокой прозы, льющейся, как стихи, и то и дело в стихи переходящей. Статьи «Белых зарниц» посвящены характеристикам Гёте, Уольта Уитмана, Метерлинка, отзвукам русской народной поэзии и «славянской душе текущего мгновения». Последняя статья — самая замечательная во всей книге как по страстности тона, так и по глубине мысли, по красоте образов, по вещей прозорливости целей. Давно уже в поэзии К.Д. Бальмонта звучат мелодии и аккорды, поющие об единении славян. Иногда эти звуки возбуждали в слушателях недоумение. Мы — российские «всечеловеки» — многими печальными опытами предубеждены против заключения идеала, мечты, мысли и песни в рамки национальности и расы. Поэтому статья Бальмонта, пропитанная горем и гневом славянской души, сейчас особенно кстати как поэтический комментарий к его работам, в последние годы обращавшимся с предпочтением всем другим темам, с почти болезненною какою-то страстностью, вглубь русского и польского народного эпоса, в омуты старославянских суеверий, символов, чарований, волшебства. Мои читатели знают, что я не поклонник этого увлечения, точнее будет сказать, этого отвлечения в любимом мною таланте К.Д. Бальмонта. Но на-

стоящая статья его открывает нам причину, мистически создавшую это стремление его духа. И причина настолько глубока, ярка и симпатична, так убежденно, страстно и определенно формулирована, что даже в предубеждении невольно сдаешься и преклоняешься пред нею и начинаешь ждать от нее больших и красивых последствий. Конечно, русская мелодия Бальмонта, ищущая всеславянской гармонии, — не «славянофильство», не «панславизм», как мы привыкли их наблюдать и понимать. Грешно и поминать-то вольное имя Бальмонта наряду с плотинами мысли и свободы, в которые обратились славянские политические и расовые упования, в московской их перелицовке и в петербургском бюрократическом вырождении. Тут нет ничего общего не только с аксаковщиною, из которой, прилепясь с бока, выросла впоследствии победоносцевщина, но даже и с тем трогательным поколением полунемецких идеалистов, наивно мечтавших о славянах по Гегелю, что гордилось прекрасными, почти святыми именами бр. Киреевских и К.С. Аксакова.

Славянизм К.Д. Бальмонта — демократическая песня расового страдания, сознавшего свою самобытность, сосредоточенного в себе и вызревающего в месть. Он зародился в тоске поэта-эмигранта по любимой, далекой родине и окреп под залпами «московского декабря», которые он пережил как очевидец. Мессианизм, который Мицкевич считал жребием польского народа, Бальмонт распространяет на все славянство. Все славянство страдает — не только извне, как уверяли старинные славянолюбцы, но внутри себя. Все славянство чает искупления от боли самим собою и все славянство найдет его — бурно проснувшимся братским гением всего славянства. Великие поэты романтики Польши — Мицкевич, Красиньский, Словацкий — своими воплями против внешнего московского угнетения оказались полвека спустя нужными, как родные, москвичу во внутренней российской буре. Славянские вдохновения Бальмонта рождены этими «флейтами из

человеческих костей»: так символизирует он — трагически и метко — мучительную и грозную музыку великих польских поэтов. Духи «Дзядов» окружили Бальмонта и шепчут ему в уши слова своей ненависти. «Ангелли» вдохновляют его эпиграфом, рука «Иридиона» указывает ему пути его. И это не случайность исторического преемства, не простое сходство настроений, порожденных отсветами одинаковых революционных молний. Бальмонт умел понять и доказать органическую связь психологии двух народностей, которую исторически заслонил проклятый «спор славян между собой» и которая так наглядно, так осязательно обнажается в мысли, языке, песне и стоне обоих народов, когда полны до краев чаши страданий и время взывает к поэтам:

— Ty milczysz? Spiewaj i przeklinaj!.. *

«С детских дней до русского слуха доходили вкрадчивые звуки польской речи, замирали, слабели, снова доходили, скоро возникнут вкрадчиво и властно, вкрадчиво, но властно. Брат и Сестра были долго в разлуке. Они должны соединиться. Разлука создает ложные мысли, ложные чувства, ложные продольности пространства и фантазии. Все это гибнет от блеска лучей. Брат и Сестра устремятся друг к другу в первый же миг свободы.

Польская речь — энергия ключа, который взрывает горы. Русский язык — разлитие степей, развернутость вольных равнин. Гордая бронзовая музыка согласных — влажная протяжная мелодия гласных — два языка, Польский и Русский — два великих течения славянской речи.

Когда звучит вдали Польская речь, Русский слух жадно прислушивается: «Ведь это мой родной язык? Ведь это говорят по-русски? Нет, постой. Что-то есть еще. Я понимаю

---

* Ты молчишь? Пой и проклинай!.. (*польск.*)

и не понимаю. В простое вмешалось таинственное. Не говорил ли я сам так когда-то, давно-давно? Мы были вместе — потом я ушел».

О, в этой встрече есть странная прелесть — грустная песнь разлуки и свиданья.

Польский язык учит русскую речь силе: он есть энергия. Там, где они совпадают, они одинаково сильны или соперничают с вечной победой и без поражения, будучи оба содружно красивы. Там, где они разошлись, в протяжных звуках русской речи слышится мягкость серебра, в судорожно-сжатых порывах польской речи слышатся вскрики железа и бронзы. Русский скажет: «Ветер». Поляк молвит: «Wiatr». Русский промолвит: «Ничего». Поляк бросит: «Nic».

Нам, русским, нужен польский язык, ибо он учит силе. Быстроте.

Русским нужна польская душа. Ибо польские судьбы велики и печальны, красивы и безумны. Они учат разбегу морского вала, бесстрастию замысла, твердости в самом падении — за паденьем до дна есть восстание из мертвых».

Нельзя с большим изяществом, остроумием и лаконизмом разграничить и объединить родственность польского и русского начала, чем сделал это всегда образный, всегда поэтический Бальмонт. Лирический лаконизм проникновенной его прозы — вообще, единственный в литературе русской и совершенно новое в ней явление. Поразительным образцом его является статья «Избранник земли», посвященная памяти Гёте. Право, не знаю, как классифицировать, к какому «роду» словесности отнести ее. Это — критическая характеристика, возвысившаяся до самодовлеющей поэзии. Это — критическая поэма, рапсодия, эпопея. Девять страничек музыкальной прозы слагают своими поющими звуками полубожественный образ Гёте с полностью, какой не дает вам ни одно многотомное исследование — хотя бы написанное даже и не педантом, но просто — литератором, в груди

которого не дрожат те жизни силы, что так свойственны Бальмонту и так роднят его с «типическим совершенством» самого Гёте. Так может писать только поэт о поэте.

Творцу «Фауста» издавна везло на удачные характеристики в русской литературе: начиная знаменитыми стихами Баратынского, — продолжая блестящим этюдом Шахова, — и кончая характеристикою Бальмонта, наиболее яркою, глубокою, выразительною и необходимою из всех трех.

Несколько резких стихов и строк уже успели поставить между «Белыми зарницами» и русским читателем угрюмую цензурную преграду. Надолго ли, — кто ее знает! С горечью приходится сказать, что таким образом осуждается на невольную подпольность одна из лучших, умнейших и полезнейших книг, порожденных первым десятилетием русского XX века. Очень жаль. Конечно, что написано пером, того не вырубишь топором, и благородная настойчивость автора говорит то, что он сказать хочет, не иначе, как строгою полностью, заслуживает глубочайшего уважения и похвалы. Но читатели, я полагаю, предпочли бы, чтобы уж пусть лучше кое-где в тексте чернели бы выразительные символы завязанного рта — цензурные точки, но чтобы возвышенное целое «Белых зарниц» спасено было ценою их и отдано в достояние большой публики. «Белые зарницы» — один из прекраснейших подъемов, на какие только способен Бальмонт, этот, — говоря его языком, — талант молнийных зигзагов. Его «Флейты из человеческих костей» оплакали наше прошлое, стонут гневами нашей современности и зовут нас, сквозь тучи, к зорям будущего. Они подобны тому колоколу свободы, что когда-то гудел о себе: «Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango...»*
Песня — клич могучего поэта, сознавшего в себе бойца-гражданина! Слыша вещий звон ее сквозь шумы и хохоты

---

* Зову живых, оплакиваю мертвых, молнии метаю (лат.). Эпиграф к «Песне о колоколе» Ф. Шиллера, являющийся надписью на колоколе.

нашего скверного, пошлого, предательски-трусливого времени, бодреешь и молодеешь душою. Рассудку вопреки, наперекор стихиям, воскрешаешь в себе разбитую веру в жизнь и силу поэзии. Той поэзии, которую Теофиль Ленартович звал «матерью, верою и правдою народов». Той поэзии, которая пролетает над миром, как:

Kochanka ducha, dsiewica słońca,
Z mieczem i w zbroi hartownej! *

* Возлюбленная душа, солнечная дева,
С мечом и в закаленных доспехах! (*польск.*)

О СЕРГЕЕВЕ-ЦЕНСКОМ

I
«ЛЕБЕДЬ»

Получил я два номера нового журнала «Лебедь». Издается в Москве. Зачем — неизвестно, но как будто со злости на «Весы» По крайней мере, старому журналу академического декадентства жестоко достается от новорожденного собрата. Во второй книжке «Лебедя» известный беллетрист г. Сергеев-Ценский даже напечатал «Открытое письмо журналу «Весы» с требованием, «чтобы редакция «Весов» немедленно на страницах своего журнала извинилась перед ним (Сергеевым-Ценским) за грубый, базарный тон своего сотрудника г. Останина». «Если извинения этого на страницах «Весов» не появится, тогда да позволено мне будет потерять веру в культурную миссию этого «журнала». Угроза, правду сказать, не так чтобы страшная. В свою культурную миссию «Весы» сейчас, пожалуй, уже и сами не верят. Последние книжки сих «Известий академии декадентских наук» ясно показывают поразительною скудостью содержания своего, что журнал дышит на ладан. Оригинального материала почти нет. Коренные таланты «Весов» скитаются в отхожих промыслах по другим изданиям, а в родную деревню свою посылают лишь те незавидные крупицы творчества, которые нельзя пристроить на кафедру с более обширною аудиторией. Тако-

вы, например, мексиканские измышления К.Д. Бальмонта, усыпанные собственными именами столь неслыханных звучаний, что косноязычный, повторяя их вслух может излечиться от своего порока, а чисто говорящий, наоборот, приобрести косноязычие. Самое легкое к произношению из священных имен этих — Кветцалькоатль. Но, — кому мало, — он же называется еще Иагуаллиэгэкатль. Чрезмерное обилие переводов, заметное вторжение добровольцев-графоманов и несомненное понижение в уровне редакционного внимания к своему журналу ставят больным «Весам» нерадостное предсказание. Видно, что г. Валерий Брюсов смотрит на свое детище не с большими надеждами и вряд ли не махнув на него рукою *). Сыпятся немыслимые прежде небрежности в поправке по тексту, не говоря уже об опечатках. Как ни смотреть на «Весы», но ближайшие сотрудники их были, — начиная с самого г. Валерия Брюсова, — людьми хорошего образования, большой и внимательной литературной начитанности. Разве мыслима была в старых «Весах» такая, например, строка:

«Первый прославившийся итальянский роман, — «Последние письма Якопо Фриса», — великого Фоскало?..» Превратить Ортиса в Фриса — это «немножко слишком». Да и великого Фосколо надо писать через три «о», не акая по-московски. Знаменательно! В особенности для специально-эстетического органа, который еще недавно вел обличительный отдел «Горестных замет», справедливо бичевавших невежественные обмолвки разных именитых и полуименитых литературщиков.

Письмо г. Сергеева-Ценского имеет смешную подробность. Оно помечено 11-м ноября 1908 года. А неистовства, в коих г. Сергеев-Ценский обвиняет «Весы», были произве-

*) Насчет «Весов» я оказался пророком. Весною 1909-го года г. В. Брюсов отказался от редактирования, а К.Д. Бальмонт вышел из состава редакции этого журнала.

Ал. Ам — в

дены г. Останиным в ноябре же 1907 года и в феврале 1908-го. Одной статье, значит, минул год, другой — девять месяцев бытия. Что это — ангельское долготерпение или демонское злопамятство?

Из исторических прецедентов напоминаю анекдот о мстительном муле папы: он берег свой удар копытом семь лет, но когда ударил, то — хорошо.

Испанцы говорят: «Мщение — кушанье, которое надо есть холодным».

У г. Сергеева-Ценского, очевидно, испанский «профиль ума», как выражался не то критик Волынский, не то кто-то из горбуновских купцов.

* * *

Редакция «Лебедя» заявляет, что она «против порнографии, наводняющей книжный рынок, но художественные отзвуки высоких движений в сфере чувств и любовь, как вековая проблема, найдут себе место на страницах «Лебедя».

Однако из трех листов 2-й тетради «Лебедя» один занят детальнейшем рассказом, как бонна Генриетта соблазняла отрока Франю, — в несколько сеансов, — дондеже у того не пошла кровь носом. По-видимому, «Лебедь» относит повествование о Фране и Генриетте к «художественным отзвукам высоких движений в сфере чувств...» Боюсь, однако, что публика, по стыдливости своей, примет повестушку за несомненную порнографию, да еще из самых беспардонных. Порнография — образ за образом, строчка за строчкою. Пресловутый, так много обруганный «Вечер» Олигера, каким-то странным фокусом скользнувший в покойном «Образовании» покойного Острогорского, — сравнительно с этим — детская молитва. Содержание однородно, но у Олигера все-таки мелькали краски беллетристического таланта, тогда как рассказ в «Лебеде» — просто переливание во рту, из-за щеки-за щеку, сладострастной слюны.

Г. Сергеев-Ценский — интересный писатель, но «и саго, употребленное в чрезмерном количестве, может принести вред». Г. Сергеева-Ценского уж слишком много в журнале «Лебедь». То есть, собственно, творчество-то г. Сергеева-Ценского представлено всего одним стихотворением «Змеи». Но зато о г. Сергееве-Ценском «Лебедь» кричит так громко и пространно, точно с тем лишь именно и прилетел он к нам, чтобы спеть «Песнь о Сергееве-Ценском». На ста языках сто певцов клянутся и ратятся пред скептическою публикою, что г. Сергеев-Ценский — великий талант, а критики его — идиоты. Особенно усердствует какой-то г. Милль. Вряд ли Джон Стюарт!

Лично г. Сергеев-Ценский выступает воинственным походом против критики в каком-то загадочном, манифесту подобном интервью по поводу своей повести «Береговое». Редакция «Лебедя» недовольна критикою, «которая, как известно, с изумительным единодушием «раскатала» вышеназванное произведение, не потрудившись расшифровать его и раскрыть читателям всю прелесть его изумительной, единственной в своем роде структуры». С изумительною единственностью в своем роде структуры «Берегового» нельзя не согласиться. Ведь это та самая знаменитая повесть, в которой у героя лицо, — «как широкая захолустная улица, днем, летом», а у героини — «как сеть узеньких тупиков и переулков». Но обязанность критики расшифровывать сочинения г. Сергеева-Ценского сомнительна. Человек, желающий быть понятым, прежде всего — не должен писать шифром. Жил был некогда на свете некий аббат Иоганн Тритгейм, писал свои сочинения шифрами. Так благодарное человечество только четыреста лет спустя по смерти Тритгейма сумело разобрать, что почтенный аббат был не демономан и фокусник, а, напротив, ученый муж чрезвычайно почтенных и положительных по своему времени знаний. Неужели и г. Сергеев-Ценский писал свое «Береговое» не для XX века, а в расчете на публику XXIV или XXV? В таком случае уж

хоть бы издавал на пергаменте: нынешняя древесная бумага и типографская краска не в состоянии выдержать столь продолжительного срока. Сборник «Шиповника» разрушится, чернила улетучатся, и погибнет грядущая слава г. Сергеева-Ценского вместе с таинственным шифром его ни за понюх табаку, — вотще и, яко обре, без шума.

А — что же? Ведь, пожалуй, и действительно г. Сергеев-Ценский мечтает создать своего рода «музыку будущего» и воскреснуть в XXIV веке на манер Иоганна Тритгейма. На это подозрение наводит меня высказанная им лично решимость — в настоящем — остаться без читателей.

Г. Сергеев-Ценский заявляет, что пишет шифром, потому что «уважает рецензентов, *своих единственных* читателей».

Ну, положим, это кокетство. Вещи г. Сергеева-Ценского читаются не одними рецензентами, у него есть своя публика. Его читают с любопытством и признанием таланта даже те (от них же первый есмь аз), кого искренно злит его манера в каждом слове «вяще изломиться», из каждой фразы показать фокус-покус. Фразистое позерство г. Сергеева-Ценского то бесит, то смешит, а все-таки человек-то он талантливый, и искорка огня Прометеева из него светится.

Но, как о г. Сергееве-Ценском думаем мы, публика, — это сейчас безразлично. Важно, как думает сам он. Предположим, что он и в самом деле твердо уверен, будто рецензенты — его единственные читатели.

Перевернув страницу, мы встречаем следующее признание: «Еще два года назад, прямо и косвенно, шестерых петербургских критиков я просил ничего обо мне не писать.

— Да ведь не ругать же, я хвалить вас буду! — сказал один критик.

— Пожалуйста, и не хвалите! — сказал я и сказал вполне искренно».

Г. Сергеев-Ценский сошелся во взгляде на критику с пресловутым «отцом Леонтием» — жандармским генералом

Л.В. Дубельтом. Тот тоже внушал некогда трепетным журналистам: «Ни порицать, ни одобрять! Правительство в одобрении такой дряни, как ваша братия, не нуждается!..»

Предположим даже, что, несмотря на краткий срок своей литературной карьеры, г. Сергеев-Ценский успел выйти в генералы от беллетристики. Но что ему за охота — именно в Дубельты?!

К сожалению, критик на «Береговое» я не читал и не знаю, чем рецензенты огорчили г. Сергеева-Ценского. Но — «какая б ни была вина, ужасно было наказанье». Запрещено рецензентам г. Сергеева-Ценского порицать, запрещено — хвалить. Какой же тогда расчет рецензентам вообще читать г. Сергеева-Ценского? Зачем? Не станут тогда рецензенты г. Сергеева-Ценского читать!

А между тем «рецензенты — мои единственные читатели»!

Таким образом, объявляя себя табу для критики, г. Сергеев-Ценский гордо отстраняет от себя своих «единственных читателей» и решается быть нечитаемым вовсе. «Если писатель действительно художник, то он пишет только для себя...» Великолепно! Возвышенно!

> Ты — царь! Живи один: дорогою свободной
> Иди, куда тебя влечет свободный ум...

«А если написанное печатает, то для того, чтобы получить деньги!»

Проза справедливая, но — после первого поэтического «если» — несколько неожиданная. Рецензенты скептически переглядываются и решительно перестают верить, будто они — единственные читатели г. Сергеева-Ценского. Сидит у него в кармане какой-то запасной читатель!.. ох, сидит!

Сидит, внимает, понимать не понимает, но — назвался груздем, полезай в кузов! — делает растроганное лицо и говорит, обращаясь к своей жене:

— Жинка! то, что поют школяры, должно быть, очень разумное; вынеси им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть.

То бишь! Это — из «Вия»!..

* * *

Г. Сергеев-Ценский хорошо знает, где зарыта коварная собака, злостно съевшая успех «Берегового». Виноваты... большевики и меньшевики! Ни больше ни меньше! Excusez du peu! *

— Не сказать ли просто и честно: «А судьи кто?» Мне сказали как-то по секрету: «Знаете ли, — вами большевики недовольны... Вы бы этак, того...» Прошло несколько времени, — мне сказали: «А вами, знаете ли, меньшевики недовольны... Вы бы как-нибудь этак...» И хотя я совсем нетвердо знаю, чем отличается большевик от меньшевика, — пусть мне простят они эту безграмотность, — я увидел: «Вот они, судьи».

Был на Руси оперный тенор П–нский, хороший голос, но недоучка. Из военных фельдшеров и парень добродушный, но страшный юдофоб. Вот выходит он как-то раз в «Жизни за царя»:

Эх, когда же с поля чести...

Да как сорвется на верхней ноте!

Плюнул и говорит в публику:

— Слышали, господа публика? Вот что жиды со мною делают!!!

Г. Сергеев-Ценский в «Береговом» не рассчитал диапазона и сорвался ва верхней ноте... Вот что с г. Сергеевым-Ценским большевики и меньшевики делают!

---

* Ни больше ни меньше! (*фр.*)

Г. Сергеев-Ценский просит политические партии избавить его от опеки… Думаю, что политическим партиям следует исполнить просьбу г. Сергеева-Ценского. «Кума с воза — коню легче». Еще куда ни шло, если бы политические партии, отложив прочие, менее серьезные дела свои, опекали г. Сергеева-Ценского добросовестно, пристально, солидно. А то ведь — разбрасываются, двоятся, политику делают, а г. Сергееву-Ценскому, по горькой жалобе его, уделяют время только «мельком, за обедом, между жареным гусем и компотом». Нехорошо. В особенности если принять жалобу г. Сергеева-Ценского в буквальной последовательности — от гуся к опеке. Поди, за гуся-то ныне на рынке надо дать мало-мало три рублика? Часто ли такая драгоценная птица попадает на стол журналиста, притом из категории разоренных административными штрафами большевиков и меньшевиков?

* * *

Итак, цель, смысл и «направление» птицы «Лебедь» определены. «Лебедь» кричит, если не под редакцией, то под эгидой г. Сергеева-Ценского, в пику большевикам и меньшевикам, и вообще всем партийным литераторам, якобы захватившим в руки свои российскую критику.

Уж не знаю, кого из обидчиков г. Сергеева-Ценского должны ужалить и облить ядом все эти змеиные аллегории — большевиков ли с г. Лениным или меньшевиков с г. Плехановым. Но очевидно, что, — как пел некогда г. Минский, — «в душе поэта спят драконы»!!!

Минский пел, а старик Минаев комментировал:

В душе у Минского для пугал
Сдается угол!

Господи, как, однако, давно все это было!

* * *

Помимо ламентаций г. Сергеева-Ценского на бичи и скорпионы, достающиеся ему по интригам большевиков и меньшевиков, любопытного в «Лебеде» мало. Какой-то г. С.Н. весьма укоряет какого-то г. Шемшурина за его старания — «уличить г. Брюсова в массе погрешностей против российской *грамматики и синтаксиса* (sic!). С усердием молодого прокурора автор на 140 страницах доказывает преступное отношение В. Брюсова к упомянутым наукам...» Открытие «Лебедем» синтаксиса, как науки, отдельной от грамматики, тем более знаменательно, что оно украшает собою критический отдел.

«О, сэр! — воскликнул однажды Самуэль Уэллер, укоряя кого-то за ошибку в счете, — какое бы это было для вас несчастье, если бы вы должны были зарабатывать хлеб свой преподаванием арифметики!»

Нельзя не порадоваться и за г. С.Н., что его пропитание зависит не от грамматики, но от критического отдела журнала «Лебедь». Грамматика уморила бы его голодом.

* * *

Стихи «Лебедя» смущали меня многими странностями до тех пор, пока тот же г. С.Н. не дал ключа к ним категорическим заявлением: «Если г. Шемшурин думает, что поэт обязан в своих произведениях давать примеры для грамматик, то это большое заблуждение».

Есть хорошее правило: не бери у другого того, чего ты при случае сам не в состоянии ему дать. Поэты «Лебедя» это правило соблюдают свято. Чувствуя себя необязанными давать примеры для грамматик, они и сами грамматическими примерами не пользуются. В особенности, честен и независим в этом отношении Сергей Городецкий...

Ведь ты видала
Все тело вала,
Лицо и грудь.
Но видеть мало:
Когда удала,
Ты в нем побудь.
И т.д.

Впрочем, произведение это уже облетело все газеты и легло спать в копилку российских курьезов. Вот — если бы купон-то по русским займам из этой копилки платить!

Исключением является поэт В. Башкин. Его стихи, наоборот, отличаются как будто уж и слишком строгою грамматическою выдержкою. Я даже позволю себе усомниться, точно ли они написаны «На первом курсе», а не «В первом классе»: до такой степени свежи в них воспоминания о «примерах на простое предложение»:

Небеса рябятся стаей мелких тучек.
Реалист в очках идет с тяжелым ранцем.
У калитки в сад дежурит подпоручик.
Сапоги его блестят веселым глянцем.
Шум весенний раздается дробью звонкой.
Льет из труб. Водой наполнены все кадки.
По проспекту мимо сада едет конка.
Гимназистки дружно жмутся на площадке.
И т.д.

Сомнительно, чтобы эти рифмованные строчки годились на что-либо иное, но в качестве примеров для грамматик они чрезвычайно удобны. Как этимологическим, так и синтаксическим разбором их не затруднился бы, вероятно, даже враждующий с грамматикою критик «Лебедя». Кто? Гимназистки. Что делают? Жмутся. Где? На площадке. Как? Дружно... Очень хорошо!

* * *

Отделом ребусов в «Лебеде» заведует г. Дим. Крачковский — и, надо ему отдать справедливость, составляет их мастерски.

При всей скудости своих денежных средств я готов уплатить двадцать франков тому, кто в состоянии удовлетворительно объяснить мне, что означает статья его «Дорогой журнал». Ибо — человек я, хотя и бедный, но понимать люблю.

Чувствую, будто что-то о «Весах», Бальмонте, Валерии Брюсове, «Огненном Ангеле»... Но что именно? что? что?

«Капитан, — вы удивительный капитан... Застывший в своей огненности поэт... Взвивающийся змей... Голиаф... Русская Венера... Дюссельдорфская крепость... Капитан, — вы удивительный капитан...»

Если знать шифр этого ребуса, он, может быть, и умен, и интересен. Но без расшифровки — совсем декламация из «Кухни ведьмы» в «Фаусте»...

Was sagt sie uns fuer Unsinn vor?
Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen.
Mich duenkt, ich hoer' ein ganzes Chor
Von hunderttausend Narren sprechen!.. *

Читаешь и опять чувствуешь себя в положении сконфуженного казака из «Вия»:

— Жинко! то, что поют школяры, должно быть, очень разумное, вынеси им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть.

---

* Что за чепуху она нам подсказывает?
У меня сразу раскалывается голова.
Мне кажется я слышу целый хор
Заговоривших ста тысяч дураков!.. (*нем.*)

* * *

Смешно-то, смешно все это... А как будто и страшновато немного.

Гримасы, гримасы, гримасы...

Андреевский Тюха, брат «Саввы», боялся, что он когда-нибудь увидит такую потешную рожу, что умрет от смеха.

Сдается, что — усердием этакого «модернизма» — не миновать русскому читателю жалкого жребия горемычного Тюхи.

И уж очень жаль, что привычкою к гримасам может издергаться, если уже не издергалось, в постоянную маску нервного тика настолько интересное и талантливое лицо, как у г. Сергеева-Ценского.

II
ГАДИНА

Жил-был поручик Бабаев. И совершил он нижеследующие подвиги:

1) Изменнически подстрелил во время игры в «кукушку» своего товарища, старого капитана Селенгинского, ни в чем пред ним неповинного.

2) Во время погрома ни за что ни про что зарубил шашкою сумасшедшего еврея.

3) Будучи командирован в карательную экспедицию перепорол целую деревню.

4) Расстрелял какого-то пильщика, случайно замотавшегося между баррикадами и к ним совершенно не причастного.

5) Расстрелял своею властью, не только не имея на то прав, но даже и не будучи никем к тому побуждаем, троих взятых на баррикадах революционеров.

Это — главнейшие деяния поручика Бабаева. В промежутках он кривляется в амурных позах то перед сею дамою, то перед оною, награждает ребенком жалкую некрасивую жену псаломщика, болеет венерическою болезнью, весьма интересуется так называемою «некрофилией», дразнит тяжелобольного товарища, им же предательски раненного, и т.п., и т.п.

Полагаю, что, даже не вникая во второстепенные подробности, уже пяти перечисленных главных пунктов «обвинительного акта совершенно достаточно, чтобы читатель закрыл жизнеописание поручика Бабаева с совершенно определенным впечатлением:

— Какая гадина!

Биограф поручика Бабаева г. Сергеев-Ценский — другого мнения. Он посвятил триста страниц весьма убористой печати тончайшему анализу демонической натуры поручика Бабаева, выводящей его из ведения этики и психологии обыкновенных смертных. Настолько, что, когда поручика Бабаева за творимые им мерзости пристрелила «бледная девочка в коричневом платье», то и в больнице, на смертном одре своем, он удостоивается личного свидания и бредовой полемики с таинственным Огромным.

Некоторый мудрец проповедовал птенцам своим всемогущество Аллахово.

— Батюшка! — возразил один из слушателей, — конечно, Аллах всемогущ, но козырного туза покрыть и Он не может.

Проповедник посмотрел с сожалением и отвечал:

— Да Он с тобою, скотиною, и играть-то не сядет.

Боюсь, что этот убийственный ответ приходится, как по Сеньке шапка, аккурат по мерке и поручику Бабаеву, когда г. Сергеев-Ценский ставит его в «бесстенном» лицом к лицу с Огромным.

«— Ты доволен, Огромный?

Спокойный хохот в зареве глаз.

— Хочу бессмертия, — слышишь ты, Огромный? Чуда хочу! Зажег перед тобой лампаду, — видишь? Болел тобою!.. Смысла хочу, твоего смысла — где смысл?»

А если бы Огромный удостоил «сесть играть» с поручиком Бабаевым, ему пришлось бы начать с «редакционной поправки»:

— Любезный мой! Зачем ты врешь даже после смерти? Вовсе ты не мною болел, но, — даже покровитель твой, г. Сергеев-Ценский свидетельствует, — непристойною болезнью.

Есть веселая пьеса «В горах Кавказа», где одно из действующих лиц — Прапорщик с роковым взглядом. Покуда я читал роман г. Сергеева-Ценского, несколько раз приходила мне в голову мысль: «А ведь прапорщик-то, по-видимому, выслужился в поручики. Это — он!»

Как сатирическая фигура, Бабаев был бы превосходен. Это — неистощимый поток самодовольно-страдальческого фразерства, самолюбования в печоринстве пошлейшего тона и низменной мещанской выдумки, мишурной болтовни, с челом, нахмуренным значительно и скорбно, и неугомонного трагического лганья, которое стало его второю натурою и уже, так сказать, органически, вольно и невольно, прет из каждой поры существа его. Если бы Грушницкий дожил до времен «мистического анархизма», он говорил бы как Бабаев и писал бы как г. Сергеев-Ценский: со звуком! Тени не только Марлинского, но даже Каменского и автора повести «Пинна» могут считать себя отомщенными. Законодательство Белинского рухнуло. Фигуры, прогнанные им из литературы в посмешище, возвращаются, как перелинявшие боги: с теми же манерами, идеями, языком, только гораздо смелее, развязнее, с большею готовностью к «неглиже с отвагою» и с усовершенствованием в неограниченной растяжимости дурного тона. Семидесятилетняя школа трезвого реализма

пригодилась этим Спиридонам-поворотам лишь настолько, чтобы черпать из нее разрешение на грубые образы и крупные слова, которых старинная аристократическая романтика чопорно избегала. Больше господа Марлинские, Каменские и авторы «Пинны», как бы они ни назывались в нынешних своих перевоплощениях, ничему не научились и, подобно Бурбонам, ничего не забыли. Словно не было ни Пушкина, ни Гоголя, ни Тургенева, ни Достоевского, ни Льва Толстого, ни Глеба Успенского, ни Антона Чехова. Так, сразу: вчера — Марлинский, Каменский и «Пинна», сегодня — г. Сергеев-Ценский и «Бабаев».

Хочет человек сказать: «Часы пробили три».

Говорит:

— В это время на стене кто-то равнодушный и скучный выполз из могилы времени и глухо отсчитал: «Раз, два, три...» Потом опять уполз в могилу.

Хочет человек сказать, что его утомил стук маятника. Говорит:

— Мимо медленно ползли душные звуки качаний, похожие на змеиные кольца.

Карманные часы «служили панихиды по дню».

«Старели движения вечеров и на глазах костенели, как судороги утопающих».

«Разговор начал томиться, и смех, как Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах».

Рука «казалась застенчивой, как красная деревенская девка, которая, фыркая и конфузясь, прячется в приподнятый фартук».

«Ветер унывно прогремел по полю, вея помин юной покойницы».

«Солнце село на верхние сучья дубов и качалось, как акробат».

«Мысль засветилась сквозь лицо, точно была ночь, и лицо было фонарь из бумаги, а в нем, как свечка, эта мысль».

Должен оговориться: из приведенных цитат две заимствованы не у г. Сергеева-Ценского, но — одна у самого Мар-

линского, другая из повести под Марлинского, жестоко высмеянной В.Г. Белинским. Но, если читатель не знает этих двух фраз подлинно, то вряд ли ему удастся выделить их из общей трескотни вычур словесных, которые автор «Бабаева» почитает образною речью, но старая эстетика трезвого художественного реализма безжалостно обозвала бы праздною болтовнею посредством «фигур и тропов».

Но и это, в конце концов, не столь уж важно. Автор — хозяин своему перу, и г. Сергеева-Ценского личное дело, каким путем и вослед кому пустить его по бумаге. Кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. В этом отношении Тредиаковский равноправен с Шекспиром. Если г. Сергееву-Ценскому приятно и угодно изъясняться языком Марлинского, мы можем вчуже удивляться его вкусу, для XX века немножко как будто даже и патологическому, но никто не вправе быть ему указчиком: пиши так-то, а не этак-то. Не любо — не читай, твоя воля, а писать, как ему любо, его, г. Сергеева-Ценского, воля.

Но вот в чем закавыка. Подобно образцу своему, Марлинскому, г. Сергеев-Ценский писатель талантливый, а, следовательно, заманчивый. В том же самом «Бабаеве» разбросаны эпизоды редкой художественной правды, которых не может не признать даже заклятый враг вычурной манеры, в какой они г. Сергеевым-Ценским повествуются. Например, весь большой эпизод под заголовком «Одна душа». Блестяще написана фигура денщика Гудкова, живые люди — многие из офицерства. Уже одно то сопоставление, что г. Сергеев-Ценский, взявшись за офицерскую среду провинциального полка после купринского «Поединка», умеет остаться самостоятельным и нескучным, свидетельствует, что мы имеем дело с художником сильным. Манерность манерностью, а талант талантом. Кто манернее Бальмонта? А между тем, не зная, не изучая Бальмонта — по крайней мере в «Будем, как солнце» — не вникая в его щебечущие глубины и наивные наития — разве можно сейчас говорить с весом и правом о ходе

и уровне русской поэзии, о совершениях и горизонтах русской художественной мысли? Так что не в манерности художника штука, но в том — ставит ли талант его позади своей манерности нечто такое, ради чего читателю стоит манерности этой подчиняться и проникать сквозь нее к основному смыслу творения? Продираться сквозь колючие дебри очарованного леса — не худое дело, когда имеешь впереди обещание, что найдешь терем Спящей красавицы. В противном случае, — только напрасная трата времени, сил и порча платья!

И вот тут-то приходится с сожалением повторить сказанное уже в начале этой заметки. Идти сквозь очарованный лес г. Сергеева-Ценского тяжело, сбивчиво и трудно, а вместо награды за подвиг чтения, получаешь в конце концов — гадину.

Плачущий крокодил — вот кто в полноте существа своего этот «интересный» поручик Бабаев, к которому г. Сергеев-Ценский старается привлечь не только внимание, но и симпатию почтеннейшей публики. Есть у Некрасова стихи о русском покаянном пафосе:

> На миллион согреша,
> На миллиарды тоскует, —
> То-то святая душа!

Поручик Бабаев — тоже из ряда святых душ, тоскующих по каждой им совершенной мерзости впредь до возможности — по добровольному любопытству или властному предписанию — совершить новую, злейшую паче прежних. Если по языку и пристрастию к блеску аффектации поручик Бабаев — прямой потомок Грушницкого и бурнопламенных офицеров школы Марлинского, которую Лермонтов Грушницким пародировал, то по неисправимым мелким злобам своим, по жиденькой натурке, по сознательному бессилию и кокетливой лени на противление своей собственной, извнутри и извне испакощенной, воле, он — ближайший родственник тому

скорпиону-импотенту, о котором Достоевский рассказал нам в «Записках из подполья». Сердит, да не силен, а охота на силу большая. В демоны и сверхчеловеки, как его ни растаращивай, Бабаеву не выйти, — ну а по мелочам и в пределах малой ответственности или безответственности полной намерзить весьма в состоянии. И мерзит. И после каждой мерзости — крокодиловы слезы. Да такие, что даже выпоротые Бабаевым мужики жалеют:

— Барин! Голубь наш сизый! Убивается как... Ничего! Слышь ты, — ничего! Мы стерпим...

А за две страницы перед тем покаянный поручик утонченно, с специальным надругательством, драл баб, любуясь, как «визгливо взвивалось тонкое и красное над мясистым белым».

«Тащили новых и новых.

Было как в мясной лавке, — голые туши и кровь... и крики.

Но не противно было Бабаеву. Было душно, и в голове стучало и висло.

— Щепок из вас нащеплю, щепок, скоты! — кричал он, наклоняясь.

По лицу бродили пятна. И револьвер в руке был зажат так мертво и цепко, точно железный наконечник руки из семи свитых смертей».

Рука с железным наконечником из семи свитых смертей! Страшно.

«Мойка! вырвись из берегов твоих, разлейся катаклизмом, затопи это человечество, взбурись океаном, соединись с вечным морем и на волнах твоих унеси меня туда! туда! туда?!!?!!!»

Впрочем, последний блистательный образец высокого романтического штиля уже опять не из г. Сергеева-Ценского: это вопит допотопный Энский, герой много читавшегося когда-то прадедами нашими романа «Искатель сильных ощущений» (Каменского). Белинский, разбирая роман этот, принял было его за пародию на Марлинского.

В русской художественной литературе немного сцен, более противных, чем истерика Бабаева в вагоне, когда он после экзекуции едет с высеченными мужиками. Оказывается, порол-то крестьян Бабаев не просто, но с высшею идеей:

«— Я вас бил, да, бил! Я из вас искру хотел выбить, как из кремня огниво, и не выбил искры, землееды! мешки мякинные! Когда я собаку свою бью, она мне руки кусает, и я ее уважаю за это: самолюбивого зверя я уважаю, а скота — нет... нет!.. Вы свою жизнь, проклятые, спасали? Избы свои тухлые спасали, будь вы прокляты? Что вы спасли? Душу, что ли? Нет ее у вас, души. У скотов нет души, — пар! Это вам попы наврали, что у вас душа! Нет у вас души: черви съели!»

«Однако, тятенька, довольно бы уж этих куплиментов-то слушать», — восклицает, внимая подобной же речи, Петр Семибратов из «Леса». Бабаев имел счастие попасть на более спокойных слушателей. «Отовсюду на Бабаева глядели, придвигаясь, как глядят на уличную драку, на акробата, на шарманщика в праздничный день». Бабаев глубоко возмущен столь слабыми результатами своего красноречия и «закричал исступленно:

— Да вы понимаете, что я говорю, черти?! Вы понимаете, что не я вас бил, а вы меня били? Я ведь сам в селе вырос, с ребятами лягушек гонял, пескарей ловил, а! Куда они делись! Кто из них душу выбил? Человеческого достоинства в вас нет, достоинства, — понимаешь?»

— Барин! у тебя на боку висит отпущенная шашка. В кобуре — железный наконечник руки с семью свитыми смертями. В соседнем вагоне — шестьдесят винтовок, готовых стрелять по первой твоей команде... Как же после всего того ты желаешь, чтобы мы с тобою о человеческом достоинстве своем состязались? Мало, что ли, с утра пороты твоею милостью? Ты приди к нам вровнях, тогда и узнаешь, есть ли в нас человеческое достоинство и кто из нас душу выбил. А покуда, чем орать-то с ротою за плечами, посмот-

релся бы хоть в зеркало: может быть, оно тебе что-нибудь и скажет...

К сожалению, такой естественной и прямой отповеди на свои выкрики Бабаев не получает. Г. Сергеев-Ценский спасает своего любимца от беспощадного ответа, которого он заслуживает, и, снимая шляпу, как антрепренер уличного представления, требует от зрителей участия к своему страждущему герою-секутору, — по крайней мере, такого же, как оказывают поручику смущенные его истерикою мужики. За что? Виктор Гюго во время оно требовал симпатии к Гану Исландцу, Лукреции Борджиа, Трибуле и пр. во имя тех немногих искр глубокой человечности, которая успела сохраниться в беспредельном ужасе этих больших темных душ, чтобы в роковой части испытания вспыхнуть прекрасным и благородным пламенем. Но в поручике Бабаеве нет таких искр. Нет Магдалины, умеющей грешить, умеющей и каяться. Нет Власа некрасовского. Нет Раскольникова, ни даже Ивана Карамазова. Нет ни величия греха, ни величия совести, делающей грех неповторным грозным судом между личностью и обществом. А просто — опять-таки:

На миллион согреша,
На миллиарды тоскует, —
То-то святая душа!

Вчера по приказанию перепорол целое село, а тяжелое впечатление — избыл истерикою с красноречием. Завтра — палит, как автомат, по революционерам, а над трупами собственного рукоделия опять истерически нервничает:

— Бога нового искали, за то и убиты. Это — святые Божьи.

И — две минуты спустя, сперва бьет «из собственных рук», а потом неповинно расстреливает пильщика, пред которым только что кривлялся своими эффектными фразами, точно провокатор-доброволец. И еще расстрелы, и еще вы-

стрелы, и опять фразы, и опять истерические позы с конвульсиями самолюбования. Единственным смягчающим вину обстоятельством для этого кровавого пошляка была бы возможность определить его как неврастеника в последней степени недуга, почти уже готового в сумасшедший дом, «на цепуру». Задерживающие центры не работают, — ну, мысль и воля и запрыгали, как мячики, и — «мальчики кровавые в глазах». В таком случае «Бабаева» можно было бы понимать просто как патологическую картину известного душевного недуга — очень подробную и, во многих наблюдениях, верную и ценную. Но, к сожалению, г. Сергеев-Ценский на такой компромисс творчества с правдоподобием житейским решительно не согласен и прочно стоит на том, что поручик Бабаев обретается в трезвом уме и твердой памяти до рокового момента, когда пристрелила его «девочка с робкою косою, в коричневом платье».

Очень сильный в физиологическом наблюдении, г. Сергеев-Ценский часто, сквозь фразистый флер своей марлинщины, дает нечаянно прощупать в Бабаеве что-нибудь такое ужасное по общежитейской ничтожности, что потом, как вдумаешься, только руками разводишь в недоумении: «Да что же за охота автору после таких осведомлений, еще носиться со своею гадиною и втирать очки публике, выдавая плачущего крокодила за какого-то мундирного Гамлета?»

Особенно ярко назревает антипатичное впечатление низменного скотства, которое вам хотят выдать за трагедию, в эпизоде «Проталина», где мы встречаем поручика Бабаева тоскующим над жертвами черносотенного погрома — с тем, чтобы в конце главы зверски зарубить первого встречного еврея, да еще заведомо сумасшедшего!

Во время погрома поручик болеет какою-то «венерою». Г. Сергеев-Ценский безжалостно откровенничает, как это условие отразилось на преступлении Бабаева:

«Бабаев догнал еврея и, догнав, почувствовал, что он болен, вспомнил противное скользкое тело той женщины и подумал гадливо: «Она тоже была жидовка». Он не знал, кто она была, даже не помнил ясно лица, помнил только проклятое природою дряблое тело и противный смех, — но было почему-то нужно думать так, как думал он: «Она была тоже жидовка».

Ну, и — рр-раз!»

И по обыкновению — сейчас же крокодилов плач:

«Он смотрел на тело у своих ног, и хотелось плакать, но руки его, волнистые, тряские, независимо от того, что ему хотелось, об это самое тело вытерли шашку и спрятали ее в ножны... Ноги дрожали, и шаги были, как у пьяного, но он уже не чувствовал, что болен».

Вылечился, душечка! нашел рецепт!.. Фу ты, гадина, беспросветная гадина какая!..

Полагаю, что для характеристики плачущего крокодила двух эпизодов этих достаточно. Теперь вступает в очередь начальный первый вопрос: зачем же гадину сию г. Сергеев-Ценский в перл творения возводит и в качестве такового вывозит на книжную ярмарку?

Мы видели, что это не обличение и не сатира.

Мы видели, что это не «человеческий документ», печатаемый как художественная иллюстрация известного типа неврастении.

Социально-дидактических целей г. Сергеев-Ценский избегает в творчестве своем, как злейшей ереси. Сам еще не так давно объявлял о том urbi et orbi * в «Лебеде».

Что же остается? Чистое художество? Искусство для искусства? Равнодушная всеприродная любовь, одинаково тщательная в творчестве тела Фрины и вонючей железы у хорька? Просто предлагают нам мастерски описанный зоологический вид?

---

* Городу (Риму) и миру (*лат.*), в знач.: на весь мир, всем (объявлять, разглашать).

Но для творчества an und für sich * г. Сергеев-Ценский слишком мало внук Гончарова и слишком много — внучатый племянник, что ли, Достоевского. Объективизмом в романе даже не пахнет. Автор ходит по пятам своего героя, как добросовестный и ревностный адвокат, и — чем пакостнее аттестует себя человеческая гадина, тем усерднее распинается г. Сергеев-Ценский, чтобы читатель расчувствовался и ее, гадину, пожалел. В «Проталине» тепло и участливо звучат только строки, должные изображать внутренние надломы поручика Бабаева. Ужасы, которых он свидетель, передаются с протокольным холодом профессионального репортажа, облеченного, — чтобы быть сильным, — в риторику трескучих слов и «эксцентрических» отступлений.

«Неизвестно, как трещали черепа красных под тяжелыми дубинами плотников и молотками каменотесов. Как арбузы? Или как ящики с чаем, попавшие под колеса? Пахла ли резеда, обрызганная мозгом и кровью?»

Есть разряд «литературно» чувствующих людей, которые и во время светопреставления будут заботиться главным образом о том: замечают ли окружающие покойники, как тонко и подробно они ощущают разнообразный ужас минуты и как непохоже на других содрогаются и отчетливо трепещут. Холодная сознательность этого трагикомического кокетства способна к самодовольным увлечениям и в них порождает иногда поразительные бестактности, в которые никогда не впадет, даже грубейшею ошибкою своею, наивная и непредумышленная искренность. По только что приведенной выдержке легко видеть, что в бестактностях такого рода г. Сергеев-Ценский плавает как рыба в воде, даже их не замечая. И часто, часто так на страницах «Бабаева». Намыслит автор по плану окатить читателя потоком сложно рассчитанных и ловко подобранных впечатлений и думает: «Вот-то ошпарю кипятком!»

* Сам по себе и для себя (*нем.*).

Глядь, — ан, читателя, наоборот, коробит от холода: пламенные слова застыли в морозе художественного безучастия. Да так круто застыли, что уж лучше бы их не начинать, а то — людей неловко. Как в старой сказке: надо бы пожелать — «канун да ладан», а язык сболтнул — «носить вам не переносить, таскать вам не перетаскать». Разве можно верить в серьезность и искренность чувства, которое в минуту стихийного ужаса подыскивает литературные созвучия к треску черепов? А то вот еще: «Сердце услышали ногти пальцев. Но мысли ковали сеть из каленого железа».

Это — самоанализ убийцы над прахом жертвы. Весьма красноречиво, но, по-моему, в конце пышной фразы не достает повелительного восклицания:

— Кроме!

Помните «Три года» А.П. Чехова и в них Ивана Васильевича Початкина, который «обыкновенные слова употреблял не в том значении, какое они имеют»? А в пояснение — «протягивал вперед руку и произносил: «Кроме!..» И удивительнее всего было то, что его отлично понимали...» Увы! В дебрях «Бабаева» потребность в чудодейственном «кроме» ощущаешь на каждой странице.

Я не буду останавливаться на любовных эпизодах «Бабаева». Их шесть, и в большинстве они правдивы или, по крайней мере, вероятны, а один из них — «Одна душа» — написан и психологически глубоко, и артистически сильно. Совсем хорошая вещь, блестящий этюд. Тут даже и марлинщина почти не звучит, и «кроме» к разгадке словесных ребусов реже требуется. Но содержание всех шести эпизодов одинаково обдает холодом той типической нравственной и, в значительной степени, телесной импотенции, которая так характерна для интеллигентного нытика наших времен, для неврастенического буржуа. Страсть бессильно и трусливо мечется около порядочной и интересной женщины, а разрешается — у жалкой уличной проститутки. Тонких и возвышенных разговоров

о глубинах любви — не увезти на десяти возах, а расплачиваться за накопленные изящества чувств беременностью приходится некрасивой, смиренной псаломщице. Если бы г. Сергеев-Ценский писал сатиру, то эти черты были бы убийственно, дьявольски кстати. Но ведь мы — в фимиаме апологии! Столкновение извинительного замысла с правдою, наплывающею из художественного инстинкта, порождает в этой части «Бабаева» много курьезов и трагикомических qui pro quo *. В качестве полового неврастеника, Бабаев, конечно, большинство вопросов, жизнью посылаемых навстречу, пропускает чрез мечты и мысли неудовлетворенного самца. Попал к социалистам, — «а скажите, когда начнется новая жизнь, некрасивых людей будут любить женщины?» Узнал о некрофилическом преступлении, — сейчас же в умишке примерка: «Могу ли я?..»

Веселый капитан Селенгинский говорит поручику Бабаеву:

— Душа моя! Вы думаете, что вы — брюнет? Вы даже вовсе и не блондин! Вы сволочь!

Пять минут спустя Бабаев изменнически подстрелил его во время игры в «кукушку».

«Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел!» — сказал бы при сем удобном случае довольно близкий родственник Бабаева, роковой поручик Соленый из чеховских «Трех сестер».

Г. Сергеев-Ценский употребил невероятные усилия (даже Огромного побеспокоил!), чтобы оправдать своего любимца от нареканий Селенгинского и доказать, что Бабаев — не сволочь, но самый настоящий брюнет. Однако мыть негра до бела — неблагодарная задача. Закрываешь роман с непоколебимым убеждением: «Капитан Селенгинский — человек дикий и грубый, но — прав».

* Этот вместо того, один вместо другого (*лат.*).

«КОНЬ БЛЕДНЫЙ»

Прочитал я «Коня бледного». Вещь сильно нашумела, хотя по причинам не столько литературным, сколько, так сказать, «от автора зависящим».

Основная идея или, по крайней мере, лейтмотив этого удивительного произведения:

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха, —
Выйди на улицу
И убей!

Может быть, оно и сильно, но нельзя сказать, чтобы вразумительно. Если даже допустить баснословную возможность столь красноречивой и дерзновенной вши, то возникают недоумения:

1. Следует ли вообще заводить вшей в своей рубашке?

2. Если уж завелись, то стоит ли здравомыслящему человеку с ними разговаривать?

3. Если уж ты имел слабость вступить в диспут с вошью, то настолько ли важна тебе репутация твоя между вшами, чтобы оправдывать ее кровавыми эксцессами?

4. И, наконец, если ты одарен самолюбием болезненным, которое даже от вши оскорблено быть может и даже вши в геройстве твоем усумниться не дозволяет, то нет ли каких-нибудь средств пристыдить скептическую вошь более спокойных и менее эффектных, чем — бежать на улицу и убивать первого встречного?

Думаю, что на первые три вопроса ответы со стороны каждого, обретающегося в трезвом уме и твердой памяти, последуют отрицательные. Ни пристанодержательствовать вшам в рубашке не следует, ни дискуссиям с ними предаваться, ни, того менее, почитать вшиный авторитет обязательным для себя даже как бы до последней повелительности.

Грохочет Синай в громах и молниях:

— Не убий!

Вошь кричит из рубашки:

— Ежели не убьешь, то ты блоха!

И, к великому удивлению нашему, перекрикивает синайские громы. Человек неожиданно объявляет себя вошепоклонником: выходит на улицу и приносит кровавую жертву, — единственно, чтобы восстановить себя в добром мнении вши!

Вошь, продолжая сидеть в рубашке, по всей вероятности, очень смеется и думает про себя: «Однако, и умен!»

Все сие тем более изумительно, что если не в герое, то в авторе «Коня бледного» чувствуется человек несомненно религиозной закваски — и даже в чрезмерном количестве. В Священном писании он начитан, как... по меньшей мере, как тот черт, который приходил к Лютеру спорить о догматах веры. Известно, что нечистый припирал Лютера текстами к стене настолько тесно, что бедному теологу однажды не осталось иного аргумента, как — запустить в рогатого оппонента чернильницею.

— Средство хорошее, — говорит Бёрне. — Дух тьмы ничего не боится больше, чем чернил!

Боюсь, что русская революция, которую столь посрамительно доезжает автор «Коня бледного», неутомимо переписывая против нее полемические тексты из Евангелия, быстро разглядит, что у почтенного проповедника — рожки под скуфьею и длинный хвост под полукафтаньем.

На русскую революцию написано много пасквилей. И врагами ее, и — к сожалению — неумелыми друзьями. Теми, для кого простая реальность русской освободительной борьбы недостаточно «красива». А потому — осветим ее прожекторами якобы индивидуалистической декламации, возжем вокруг нее бенгалькие огни декадентской шумихи, воспляшем в оргии эгоизма и эготизма по обряду Дионисову и вообще постараемся блеснуть как можно очаровательнее, чтобы ахнули от нас все Липочки Большовы.

И, действительно, автору «Коня бледного» удалось создать в лице «Жоржа» тип революционера — не скажу, чтобы большой вероятности, но обольстительности поистине роковой. Это, конечно, не Балмашев, не Каляев, не Гершуни, не портрет из трагической галереи покойного «Былого» и «Минувших годов», даже не фигура из «Семи повешенных». Нет. Где им! Куда им! Они были слишком просты, скромны, будничны, чтобы гарцевать на бледном коне повыше леса стоячего, пониже облака ходячего. В воображении г. Ропшина откровенно вьются призраки старых разбойничьих приключений, — романтический авантюризм Дюма-отца и присных ему: Ринальдо Ринальдини, Атос, Портос и Арамис. Кровь для Жоржа — «клюквенный сок». Жизнь — сцена театра марионеток. Он убивает, потому что хочет убивать. Перестает убивать, потому что — баста! не хочет убивать. Вообще же, убить и умереть для него — как именно для любого из «Трех мушкетеров», которых он вспоминает очень кстати, — не труднее, чем именно выпить стакан клюквенного морса. Липочки Большовы смотрят и восхищаются:

— Ах какой мужчина! Вот Жорж, так Жорж! Уж именно что Жорж!

Через семьдесят пять страниц тянется хвалебный гимн во славу авантюриста самой несомненной марки, для которого революция представляется чем-то вроде занимательного спорта, с террором — по личному капризу. «Захочу — уложу, захочу — пощажу».

«Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верою скажет: «Убить нельзя, не убий?» Кто осмелится бросить камень? Нету грани, нету различия. Почему для идеи убить — хорошо, для отечества — нужно, для себя — невозможно?»

Так рассуждает Жорж по умерщвлении мужа своей возлюбленной Елены. Раньше он, наоборот, очень тщательно разбирался между моралью убийства политического и уголовного. Но после частного преступления обе морали сливаются для него в одну, определяющим моментом которой становится — субъективное хотение. Покуда хотел — потуда убивал. Разонравилось, не хочу убивать, — значит, довольно быть «мастером красного цеха». Понравится опять, — опять убью. Снова разонравится, — к черту все! И безразлично, что будет. Хоть и пулю себе в лоб.

Бедный Жорж не подозревает одной страшной истины: что если до сих-то пор, до частного-то убийства, он убивал — хотя бы явно с политическими мотивами, но втайне повинуясь лишь личному хотению, капризу охотничьего спорта, — то, значит, он никогда не был политическим преступником. Законное место ему в таком случае — среди уголовных убийц или, по снисхождению человеческому, в числе опасных маниаков вроде Джека-потрошителя. Политическое убийство определяется вовсе не тем обстоятельством, что посредством его уничтожается политическое лицо, и даже не результатами, которые чрез то достигаются. Но тем, что оно совершается сознательными и убежденными людьми во имя твердо сознанной политической цели: pro bono publico *. Гар-

* Во имя общественного блага (*лат.*)

модий и Аристогитон, Брут и Кассий, Равальяк, Шарлотта Кордэ, граф Пален, при всем разнообразии причин, ими руководивших, — несомненно, кругом, политические убийцы. Но граф Анкерстрем, застреливший шведского короля Густава III, но женщина, убившая Леона Гамбетту, но Платон Зубов, — убийцы не политические, но обыкновенные, уголовные, хотя их преступлениями утранены были в высшей степени политические личности и создались громадные политические последствия. Равным образом никогда не может быть политическим убийцею также и ремесленник убийства, браво, спадассин, Спарафучиле, — даже если бы он оказался случайно прикосновенным к политическому убийству. Потому что элементы последнего рождаются не из факта, но из мотивов факта. Когда по поручению короля Филиппа II наемный солдат стреляет в маркиза Позу, это убийство — бесспорно политическое. Но политический убийца в нем — король Филипп II, а не стрелявший солдат. Этот последний, выражаясь словами г. Ропшина, только — «мастер красного цеха», то есть, собственно говоря, палач.

Что человек, сознав в себе авантюриста и палача, может почувствовать к себе глубочайшее отвращение, это вполне понятно. Крик Жоржа: «Не хочу быть мастером красного цеха!» — крик естественного чувства. Самоубийство его было бы правдиво и глубоко поучительно, если бы оно вытекало из покаянного сознания, что он никогда не был убежденным борцом за свободу, но просто примазался к борьбе этой по страсти к приключениям и в спорте эффектной жестокости, забавлял себя убийствами, покуда не выработался в «мастера красного цеха». Но ведь ни покаянного, ни даже сожалительного момента на всем протяжении «Коня бледного» не обнаружилось. Напротив, с первой страницы до последней, Жорж — сплошная надменность, надутая хвастливым самолюбованием. На товарищей своих — Ваню, Генриха, Эрну, Федора, Андрея Петровича — он смотрит сверху вниз, хотя

в глазах читателя каждый из них неизмеримо выше этого великолепного Жоржа. Потому что все они — люди большой общественной идеи, на жертвенниках которой просто и привычно сожигают не только свои личные хотения, но и высшее и самое могучее, самое совокупное из всех хотений — жизнь. Люди служения без наград, без франтовства собою, без чаемого пряника в праздник. Все они — «политические преступники», но ни один — не «мастер красного цеха». И — что, к слову сказать, производит довольно тяжелое впечатление — все они, как чернорабочие, трудятся, безответно рискуя жизнью, на самых тяжких физических и ответственных морально постах. Тогда как «мастер красного цеха» — то в качестве английского туриста, то в качестве богатого инженера — проводит свое нелегальное житие весьма даже «недурственно»: отнюдь не в смраде извозчичьих дворов, как Ваня и Генрих, и без риска взлететь на воздух в лаборатории бомб, как несчастная Эрна. Когда Жорж изъявляет великодушие и после трагической смерти Федора высказывает намерение лично приняться за черную работу, честный, но простоватый Генрих едва ушам своим верит: «Какое счастье! честь какая! ведь я — червяк в сравнении с ним!..»

Г. В. Ропшину «ужасно нравится его герой». Поэтому и все действующие лица повести преклоняются пред Жоржем, как пред божеством каким-то — жестоким, но прекрасным. Чем великолепный Жорж заслужил такое безапелляционное поклонение в среде окружающих, далеко недюжинных людей, — автор, к сожалению, счел излишним показать в действии. Мы должны принять величие Жоржа в кредит, — и в этом кредитном обязательстве — громадный пробел «Коня бледного».

Некто сказал мне:

— Как заметно жизнь и мысль человеческая идут по окружности и — рано или поздно — возвращаются к точкам,

откуда вышли! Посмотрите в «Коне бледном»: ведь этот Жорж — просто Печорин, затесавшийся в революцию...

Отсутствие оригинальности, начитанная подражательность — вообще существенные недостатки «Коня бледного». Редко в них чувствуешь автора в собственном его домашнем платье, все больше шьет он себе костюмчики по картинкам «последних и наимоднейших образцов-с». Фасончиков Леонида Андреева, конечно, больше всего. Но — что правда, то правда. Из стариков-классиков Лермонтов, несомненно, наложил на г. Ропшина печать свою. Попытка создать нового Печорина отразилась не только в интересной фигуре великолепного Жоржа, но и в концепции романа, и даже во внешней форме дневника, сжатого и — надо отдать справедливость — красиво лаконического, как написан и «Герой нашего времени». Включительно до смешной случайности во встрече начальной фразы:

— Вчера вечером я приехал в N.

— Вчера я приехал в Пятигорск...

У Жоржа есть своя Вера — голубоглазая, с тяжелыми косами, Эрна. Есть своя княжна Мэри — сероглазая, в черных косах, Елена. Есть разбойничья дуэль наверняка с Грушницким... то бишь! — с мужем Елены. Печорин верит в гадалку, предсказавшую ему смерть от злой жены. Жорж покупает предсказание у девчонки, продающей прохожим «счастье». Печорин — фаталист: испытывает судьбу в борьбе с пьяным казаком-убийцею, Жорж — фаталист: испытывает судьбу в рискованном обществе кокотки-шпионки и пьяного жандармского полковника. Если прибавить к этому довольно ловкую подражательность в тоне и темпераменте рассказа, то, право, не удивительно, что, перевертывая страничку, почти ждешь встретить дальше:

— Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали в моем лице признаки дурных свойств...

И т.д., и т.д.

И тем не менее вопреки накоплению внешних сходств и подражаний, Жорж — не Печорин. Под Печорина, как бывает мебель под дуб и под орех, но не Печорин. «Кишка тонка!» — как восклицала покойная старуха Левкеева в каком-то допотопном водевиле. Ни даже Тамарин Авдеева, ни даже «M-r Батманов» Писемского — фигуры, которыми некогда было добито романтическое печоринство на Руси. Там, — даже в крайностях карикатуры, — оставалась, хотя бы и трагикомическая, красивость «стиля», как говорят теперь, «хорошего тона», как говорили в старину. Почитайте-ка в «Истории моего современника», как увлекался Батмановым в ранней юности своей Вл.Г. Короленко, именно за красивость эффекта, за хороший тон. А уж какой же тут стиль и хороший тон:

Если вошь в твоей рубашке!
Крикнет тебе, что ты блоха, —
Выйди на улицу
И убей!

Стиль — характер и искренность «наедине с своей душой». Хороший тон исключает возможность сознательной лжи человека пред самим собою. Печорин, при всем ужасе холодной пустоты, разлитой в существе его, трагически стильная натура в высшей степени хорошего тона, потому что он глубоко правдив. Ему нет надобности изобретать для себя романтические слова и позы. Их родит самая природа его так же естественно и просто, как орхидея вырабатывает свой вычурный цветок. Поэтому Печорин — настоящий человек фатума и тип глубоко трагический, даже в пустых и ничтожных обстоятельствах праздной светской жизни, как показал нам его Лермонтов. Комическое может ворваться в этот тип, но — не извне. Печорин не позволит никому другому сделать его смешным. Если хотят замешать его в водевиль, то водевиль роковым образом, механически, сам собою, превращается в трагедию. Комическое в печоринстве начина-

ется изнутри, — когда прикинуться орхидеей желает картофельный цветок, когда сойти за Печорина старается Тамарин, m-r Батманов, когда норовит им вырядиться Иван Александрович Хлестаков или — увы! — Жорж из «Коня бледного». Потому что, в конце концов, Жорж — Хлестакову, если не родной брат, то двоюродный. Только — тридцать тысяч курьеров, которые некогда скакали к Хлестакову с приглашением управлять департаментом, ныне пересели на «бледных коней», чтобы скакать к Жоржу, с трогательною мольбою:

— Георгий Александрович! Пожалуйте управлять революцией!

А — затем — все по порядку, уже прямо и целиком из «Ревизора»:

«— Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, — говорю: так и быть, — говорю: принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни! уж у меня ухо востро! уж я... — О! Я шутить не люблю, я им всем задал острастку. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам!»

Это Хлестаков. А вот — Жорж:

«Генрих мне говорит:

— Жорж, все погибло.

Кровь заливает мои щеки.

— Молчать!

Он, в испуге, отступает на шаг.

— Жорж, что с вами?

— Молчать!»

Именно — «у меня ни-ни-ни! держать ухо востро!» И — «я хочу», «я захотел», «я расхотел»... Только и разговора! Андрей Петрович сидит с Жоржем и советуется о революционной тактике. Жоржу это — нож острый. «Я не хочу его видеть. Не хочу говорить о делах. Я знаю его слова, благоразумные поучения». Кроме самого Жоржа, Жоржу ничто другое не интересно: «Я сам себя знаю! сам!»

Хлестаковщина может лгать вверх — аристократически и вниз — демократически. Ивану Александровичу льстило лгать вверх: будто он держит в страхе и трепете Государственный совет. Жоржу лестно лгать вниз и пугать публику требовательною вошью в рубашке... Увы! Иван Александрович вряд ли хорошо понимал, что это, собственно говоря, за штука такая — Государственный совет, а Жорж вряд ли испытывал когда-либо ощущение вши, ютящейся в рубашке.

Ибо те, кому подобное ощущение знакомо реально, не умозрительно, не вступают со вшами в байроническую полемику, ведущую к байроническому же выступлению на улицу, с целью изумить мир злодейством, но употребляют свободное от черного труда время свое именно на тот полезный предмет, чтобы избавить платье и тело свое от сказанных зловредных насекомых. Завелась вошь, — вычесывай ее и бей, а импульсов морали от нее искать — и смрадно, и тщетно. Ибо вошь, — так она вошь и есть, и от вшивого импульса будет и мораль вшивая.

Когда «Конь бледный» достиг эмигрантских кругов за границею, публика их откликнулась дружным приговором:

— Да это — моральная азефщина!..

Хочу — буду революционером.

Хочу — буду Смердяковым.

Хочу — буду «хлестать лошадь по глазам».

Хочу — возьму первую встречную женщину.

Хочу — брошу!

Хочу — убью.

Хочу — помилую.

Хочу — сделаюсь «мастером красного цеха».

Хочу — определюсь в Азефы.

Да, да! Почему же нет? Если можно «бросить все» ради чужой жены Елены, то разве нельзя «бросить все» ради иных страстей и страстишек, которые псевдоним Ивана Николаевича Толстого раздели в нарицательное ныне имя Евно Азе-

фа? Если силою хотения «все дозволено», до разбойничьего выстрела по любовному сопернику включительно, то почему хотению не обостриться до хотения перекочевать из «мастеров красного цеха» просто в заплечные мастера? Ведь если за хотением не кроется ничего, кроме пустого темного места, в котором, нетопырю подобно, мечется бестолковая и слепая жажда сильных ощущений, то такому стихийно бесхарактерному хотению, действительно, «все возможно», лишь бы хватало сил осуществлять свои вожделения.

Но — какое же страшное и нелепое чудище жестокой пошлости рождается под апофеозом этой искусственной, напускной вседозволенности! Когда Хлестаков пытается показаться Байроном, получается гримасничающий Смердяков. «Непобедимой силой привержен я к милой... Все дозволено... Вошь в рубашке... выйди на улицу и убей!» Г-жа З. Гиппиус писала про одного русского беллетриста, что его сочинения напоминают ей захолустного акцизного, который на вечеринке, во время кадрили, непременно старается огорошить даму свою как можно более мрачным, отменно байроническим анекдотом. Нельзя сказать, чтобы сих акцизно-смердяковских усилий чужд был и «Конь бледный» г. Ропшина. Но анекдот анекдоту рознь. Иной — отчего не рассказать во благовремении, а другой лучше бы придержать про себя. И — к сожалению — акцизно-смердяковский байронизм «Коня бледного» — не из тех анекдотов, которые делают честь изобретателю и рассказчику.

И солнце не без пятен. Русское освободительное движение имело, имеет и будет иметь свои недостатки. Но смердяковского ломания, но мелодраматической неискренности, но дешевой рисовки, мещанского эффекта ради, отродясь в нем не бывало, нет и не должно быть. Не может быть.

Если бы «Конь бледный» был напечатан в журнале с менее хорошею репутацией, чем «Русская мысль», публика приняла бы его как пасквиль на боевые силы русского осво-

бодительного движения. Полупортретность некоторых действующих лиц, собранных с признаками и намеками, по которым легко назвать их оригиналы (Эрна, Ваня, Андрей Петрович), еще ярче подчеркивает это печальное впечатление. И не легко удержаться от негодования, когда видишь, например, как под умышленно искаженным карандашом г. Ропшина общеизвестные нежные черты «Вани» обращаются в елейный облик чуть не юродивого, в котором князь Мышкин Достоевского смешался с царем Федором Иоанновичем Алексея Толстого в почти карикатурную амальгаму. И так-то — со всеми. Маски — как будто и те, но в них забрался Хлестаков и пучится из-под них обманными, чужими глазами, кривит из-под них в клеветническую ухмылку чужие, лживые губы.

Если поверить автору «Коня бледного» на слово, будто деятели освободительной борьбы в самом деле таковы, как ему угодно было представить их любопытствующей публике, можно было бы, поистине, прийти в отчаяние. Помните — в «Макбете»?

Малькольм. Скажи, такой достоин ли быть вождем? А я таков.

Макдуфф. Быть вождем? О нет! И просто жить он даже не достоин.

Однако болезненные выдумки современной мнимореволюционой беллетристики вроде пресловутой андреевской «Тьмы», бесцеремонно исказившей в водопады фантастической элоквенции весьма простой и реальный эпизод из жизни и похождений революционера Р–га, или вот нынешнего «Коня бледного», — встречают твердую фактическую отповедь в многочисленных записках, мемуарах и тому подобных документах, обнародованных за последние годы и в России, и за границею бойцами настоящими, существующими во плоти и крови, а не из воздуха и бреда сплетенными. Возьмите записки Гершуни. Прочитайте последние статьи Бориса Са-

винкова. Вы увидите, что между их мировоззрением и мировоззрением «Коня бледного» расстояние — как от Сириуса до пинского болота. И — уж пусть извинит г. «Ропшин»: в вопросах революционной психологии как сведущим людям мир поверит, конечно, Гершуни и Борису Савинкову, а не «Коню бледному». На нем же, как хотите, прискакал к нам в этот раз не ангел смерти, но — повторяю — только Иван Александрович Хлестаков, в сопровождении всех 35 000 своих курьеров.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Ответ читательнице

Курсистке Бр., Одесса. Рассказ, об идее которого вы ставите мне вопрос, принадлежит перу писателя, очень мною уважаемого и дружески любимого. В новой русской беллетристике «после Горького» Куприн едва ли не один заслуживает имени «художника слова», потому что он постиг тайну эпических красок Льва Толстого, пейзажных проникновений и жанровых мазков Антона Чехова. Но в этом рассказе, при всем добром желании, я не могу найти решительно никакой идеи, кроме разве той, что человеку спешно понадобился крупный гонорар. Ну, присел к столу и «накатал» несколько неряшливых и бледных страниц на пикантную тему, обеспеченную к сбыту на нынешнем печатном рынке по самой высокой цене. Одна из тех легкомысленных небрежностей к своему имени и авторитету, что так печально свойственно русскому писателю вообще, а Куприну в особенности. Русский писатель — большой скептик насчет своего отражения во внимании читающих масс. Все еще он не привык, что русский читатель уже не почитывает, а читает, а потому — нет-нет, да и сам забудется в старую сословную манеру пописывать вместо того, чтобы писать. Если бы под «Морскою болезнью» не стояла подпись Куприна, вы, вероятно, даже и не задумались бы над этим произве-

дением, а прямо зачислили бы его в отдел, которого оно — законное достояние: в порнографический. Я считаю порнографией всякую литературную картину половой жизни, если она не есть несомненный человеческий документ. То есть — написана по воображению, а не по знанию, и представляет собою опыт мнимопсихологического жевания и смакования мнимомудрых вопросов, на которые физиология дает ответы прямые, короткие, ясные. Может быть, они не весьма лестны для самолюбивых «царей вселенной», мнящих себя быти паче всякой твари земной. Зато положительное знание и научное наблюдение не солгут никому и никого не развратят. Какую бы грязь ни пришлось им исследовать, они остаются чистыми и целомудренными. К их объективному методу и письму одинаково не липнут и миазмы, и благоухания. Рассказ Куприна, изображающий чисто физиологическое воздействие организма на организм, именно тем, однако, и грешен, что с физиологическими-то данными он совершенно не считается. Не говоря уже о том, что фальшивое размазывание ужасов в каюте (например, эпизод со слюною, физиологически не возможный в подобных случаях), реалист Куприн мог бы смело предоставить сочинителям вроде Арцыбашева и Анатолия Каменского, принципиально променявшим непосредственное наблюдение на интуицию сладострастной мечты.

Но возьму даже ваш главный вопрос: о странном восторге, пережитом госпожою путешественницею в объятиях насильника-юнги, тогда как она никогда не испытывала подобных восторгов в объятиях любимого мужа. Что тут психологического и почему нужно искать психологических разгадок для чисто физилогической эмоции? Помните чудесный рассказ Чехова «Именины»? В какую изломанную нудность превратилась бы его героиня, если бы автор не дал читателю знать, что она беременна и носит ребенка очень тяжело. Вот образец того, как художником должна быть обрабатываема половая тема. Другой огромный писатель, Бьёрнсон, осме-

лился подойти с той же физиологическою меркою к странностям даже столь поэтической дамы, как Мария Стюарт. И, конечно, поведение взбалмошной шотландской королевы стало понятнее и гораздо более поддается оправданию с тех пор, как Бьёрнсон обратил свое художественное внимание на летописные отметки о совпадении ее грешных капризов со сроками ее беременности. Я думаю, что и Куприн — вместо того чтобы становиться в притворный тупик пред внезапным экстазом госпожи из «Морской болезни» — мог бы очень легко решить свой ребус краткими данными о темпераменте этой дамы, о способе ее питания и т.п. Потому что подобные условия при встрече с такою физиологическою случайностью, как описанное Куприным насилие, действительно, могут образовать в организме сложность бессознательных сил, иногда способных победить психологическую реакцию стыда, страха, отвращения, заглушить разумное сопротивление восторженною оргией животного инстинкта. Вообще, простите, весь этот предмет слишком щекотлив, чтобы договориться о нем до конца на столбцах общей печати. Любой следователь или адвокат по уголовным делам скажут вам, что тем-то дела о насилиях против женской чести и выделяются в категорию преступлений сомнительных, требующих особо внимательного расследования, что во многих из них несомненно наблюдается момент, когда психологический момент самозащитной борьбы исчезает в физиологическом моменте пробудившегося инстинкта. Казалось бы, и прекращение борьбы, и соучастие жертвы в наслаждении уничтожают понятие насилия? Однако ни один опытный юрист не затруднится квалифицировать подобное преступление именно насилием, упорству которого лишь удалось обессилить свою жертву и потрясти ее нервную систему до невозможности сопротивления, совершенно так же, как достигаются подобные результаты чрез одурманение вином, гашишем, настоем шпанских мушек и т.д. И мало ли какими не только

физиологическими, но даже анатомическими подробностями всякие эти «морские болезни» могут осложняться.

Что касается холода, который невольно лег между мужем и невинно прегрешившею женою и заставил их разойтись, несмотря на то, что супруги не перестали ни быть, ни считать друг друга прекрасными людьми, тут Куприн, к сожалению, совершенно прав. Говорю: к сожалению, — потому что он ограничился холодным и покорным признанием факта, против которого хотелось бы слышать из уст художника протест яркий и убедительный. Многие тысячелетия мужевластного общественного устройства, едва дрогнувшего за два последние столетия, широко протянули длинные и глубокие наследственные тени. Им суждено еще долго тяготеть над землею, покуда не рассеет их свет уравнительной эволюции полов. Очень редки даже в самой интеллигентной передовой среде мужчины, совершенно чуждые половой ревности, хотя бы в той выродившейся форме бессознательной брезгливости, которая самому себе стыдна и противна, как проявляет ее господин муж из «Морской болезни». То и дело в обществе видишь: позитивист, в историческом материализме воспитан, Маркса проштудировал, Михайловского на зубок знает, равноправие женщины в свою политическую программу непременным условием ставит, — и все это совершенно искренне, страстно, с готовностью к деятельному подвигу и жертве. Ну, а — глядишь: ошиблась его супруга любовишкою к товарищу, либо даже, вот как в «Морской болезни», стала жертвою насилия случайных негодяев, — сейчас же и заговорили на дне души голоса задавленного атавизма. Дуется самец на самку свою — сам не знает за что, потому что в настоящей-то причине ему сознаться пред собою совестно: уж больно некультурна! А «раскрашивать вороне перья» самоанализ мешает.

Разговор о видоизменениях ревности завел бы меня слишком далеко, да и пришлось бы повторяться: в статьях своих

по женскому вопросу я много уже говорил об этом вырождении права половой собственности. Если хотите, возьмите в библиотеке 3-е издание моего «Женского нестроения» и «Виктории Павловны»: там на эту тему написано довольно много. Живя в странах типически-буржуазных культур, во Франции, южной Германии, Австрии, наблюдаешь собственническую ревность в наивной и грубой откровенности даже на таких интеллигентских высотах, что едва глазам и ушам своим веришь. Наша русская интеллигенция болеет этим недугом все-таки менее остро — и чаще в формах, так сказать, скрытого туберкулеза. Ведь скажите барину из «Морской болезни», что в конце-то концов и в глубине-то глубин он просто обижен в своем достоинстве самца, посрамленного конкуренцией, и ревнует супругу свою к ее нечаянному открытию в этом отношении сравнительной степени: он ужасно обидится, наговорит оскорбленно-изящных слов и напустит полную комнату тончайшей психологии. Но в том-то и беда, что — где тонко, там и рвется.

Герои Куприна, — один из-за мутной, бледной ревности куда-то в пространство, другая по такому же мутно-призрачному стыду, с примесью инстинктивной обиженности невинного страдания (по моему, все-таки более понятной, потому что брезговать женою супруг «Морской болезни» не имеет ни права, ни оснований), — расходятся, будучи сейчас не в состоянии даже вести общую работу. Когда-нибудь встретимся в общем деле, а сейчас быть вместе душа не терпит. Значит, не было органической связи в рабочей общности их. Там, где такая связь имеется, она не рвется из-за несчастных случаев, стихийною внезапностью своею похожих на удар молнии. Русское крестьянство, в котором баба — необходимая рабочая сила, без нее же мужику в хозяйстве никак не обернуться, — весьма либерально в вопросах половой ревности. Конечно, бывают довольно часто случаи ужасных расправ с женами за добровольную измену. Но я решительно не могу

припомнить ни из жизни, ни из литературы случая, чтобы крестьянин ревновал жену к случайности насилия. Насильнику-то он ребра пересчитает, может быть, и голову проломит, и на тот свет паспорт пропишет. Но здравый смысл работника и прямой взгляд на свои ближайшие интересы подсказывают ему, что бабу-то истязать не за что: она тут ни при чем, и в повседневной трудовой жизни, их связующей, невольный грех пострадавшей женщины ничего не изменит к худшему. «Тем море не испоганилось, что собака лакала», — вот как ликвидировал бы муж приключение «Морской болезни», если бы оно произошло в крестьянской среде. Везде, где женщина — большая и сознанная необходимость, мужская ревность поневоле смиряется и обретает себе узду. Например, в духовенстве. Укажу вам для примера на недавнюю повесть Гусева-Оренбургского, кажется, в XXIII книжке «Знания». Автор, большой знаток своего быта, резкими чертами отвечает именно на эту тему: о бессилии ревности в духовной семье. Что ее побеждает? Возвышенное чувство религиозного всепрощения? Нет, этим качеством батюшки Гусева-Оренбургского не весьма злоупотребляют. А просто — «одна у попа попадья, да и та последняя»: страх вечного вдовства заставляет мужей дорожить женами. Сверх того, если жена священника обличена в распутной жизни, мужу запрещается священство. В таких условиях выбор между житейскою выгодностью жены и ревностью к ее необличенной, хотя известной, измене, конечно, в девяти случаях из десяти окажется не в пользу ревности. Конечно, бывают страшные исключения, но они, как все исключения, только подтверждают правило. В общем же, скрыть и проглотить обиду выгоднее, чем разыграть Отелло в полукафтанье.

И в русской буржуазии, и в русской интеллигенции мужчина стоит в условиях слишком богатого женского выбора. Где его нет, там смягчаются брезгливости ревности, исчезает надменность собственника, рождается половое взаимо-

понимание, начинают звучать примирительные ноты естественного подбора. Мне хочется напомнить вам конец «Дуэли» Антона Чехова: плохо сожительство Лаевских, а ведь все же оказалось лучше и глубже союза купринских сухарей...

Вы может быть скажете: «Да, вы говорите об органической связи чрез добычный, пропитывающий труд. Но ведь у Куприна падает не такой союз, а идейный, революционный...»

Это — правда. Но, откровенно говоря, вот подробность, о которой мне, из уважения к Куприну, хотелось бы позабыть. Ненавижу я эту манеру — согрешив, забежать зайцем вперед и поставить на всякий случай свечку пред иконою: не сердись, Господи! Хочется человеку писать порнографию, а стыдно, — ну, так он возьмет да между публикою и неприличием своим якобы революционную ширму поставит. И возводят, возводят эти ширмостроители — одну за другою — такие непристойные небылицы, что, право, не всякий реакционер на подобные клеветы осмелится. Г. Сологуб в «Навьих чарах» изобразил эсдеков сумасшедшими садистами, г. Арцыбашев в одной повести, — не помню заглавия, — заставляет революционера чуть не за пять минут до террористического акта изнасиловать девушку, о «Санине» и про андреевскую «Тьму» — что уж и говорить. Да еще вот и А.И. Куприн верил в реальность своей Елены Травиной, как представительницы которой-либо из партий революционного действия. От всего этого эпизода пахнет духами дам, щеголяющих революционными фразами, нахватанными от веселых кавалеров за пивными столиками пресловутой петербургской «Вены» *).

Заключительное письмо Елены Травиной... «Мужская любовь больше не существует для меня... Дело одно будет

---

*) О «Санине» и «Тьме» см. мой сборник «Против течения» (СПб., Кн-во «Прометей»).

для меня смыслом жизни...» Все это прекрасно, но — как говорит королева в «Гамлете» — не кажется ли вам, что она слишком много наобещала и притом без малейшей в том нужды? Те, для кого, действительно, «дело одно слагает весь смысл жизни», уходят в дело не потому, что их постигло скверное пароходное приключение, а муж не оказал, навстречу тому случаю, особенного восторга и умиления. А зарок от мужской любви... что он значит в устах двадцатилетней женщины? Как она может за себя ручаться? Жизнь-то впереди — длинная-длинная, мир-то большой-большой... И за что ей так жестоко истязать и карать себя? И чему это поможет? Мы знаем биографии «женщин в общественных движениях России». Все они любили, всех их любили. Ни одной из них мужская любовь не помешала вложить всю свою энергию в дело, которому они фанатически верили и для которого самоотверженно работали. Да если Елена Травина даже и сдержит свое обещание, какая в том заслуга?

Словом: фразисто началось — фразисто и кончилось. Тухлое мясо в кухмистерских подправляют, чтобы оно не сразу воняло гостям в нос, разными острыми соусами. Порнографию, чтобы она сошла за психологический этюд, тоже заливают кайеном громких слов и высокопарных обещаний. Психология... хорошее дело — психология, только Достоевский справедливо называл ее палкою о двух концах. И кажется, что, подобно генералам, она тоже бывает иногда «с другой стороны» и тогда именуется отсебятиною. И жестоко пахнет от нее маргарином. Чувствует нос мой тяжелую душину эту и в «Морской болезни» А.И. Куприна. И очень грустно, потому что А.И. Куприн — талант большой и настоящий, и очень я его люблю.

ЗАМЕТЫ СЕРДЦА

Записная книжка

Чувствую себя посрамленным.

Воевал я в прошлом году с разными ухищрениями новомодной литературной рекламы, — между прочим, с манерою крикливых предуведомлений, что «наш талантливый Вьенпупульский думает писать такой-то рассказ», — потом «известный Вьенпупульский пишет такой-то рассказ», — через неделю «популярный беллетрист Вьенпупульский кончает такой-то рассказ», — «окончил», — «сдал в редакцию», — «печатает», — и так далее вплоть до самого выхода *).

Воюя, был уверен, что никогда того прежде не бывало и реклама, столь гостинодворского типа — плод изобретательности нашего предприимчивого века.

Увы! Ничто не ново под луною! «Бывало все, да, всякое бывало!»

Боборыкинское столкновение с блаженной памяти «Современником» заставило меня рыться в старых журналах. И вот — в сатирической «Искре» 1865 года, № 1, нахожу дословно нижеследующие строки:

---

*) См. мой сборник «Против течения» (изд. кн-ва «Прометей»).

«Уже весьма достаточно время протекло, как газеты наши не без интереса объявляли читателям своим, что некто, господин Чаев, приготовляется писать драматическую хронику «Дмитрий Самозванец». Потом объявляли они, что г. Чаев пишет сию хронику, а наконец, — что г. Чаев уже окончил свою хронику и читает ее у одного из артистов Александринского театра».

Н.А. Чаев, автор «Дмитрия Самозванца» и романа «Подспудные силы», был в свое время фигурою заметною.

Но подставьте в выдержку из «Искры» вместо Чаева имя Леонида Андреева, Ф. Сологуба, Арцыбашева, Анатолия Каменского, — и сорока трех лет как не бывало: реклама-внучка смотрится в рекламу-бабушку как в зеркало.

Даже «чтение у одного из артистов Александринского театра» может быть сохранено полностью, потому что нынешний Ходотов это — приблизительно то же, что в шестидесятых годах Бурдин.

* * *

В третьем № той же «Искры» за тот же год находим следующий литературно-театральный курьез, также в духе нашего времени, когда драматурги и сценические деятели переплелись в такую тесную интимность, что самому Пинетти не разобрать, где начинается один и где кончается другой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Нижегородская театральная дирекция имеет честь объявить, что автор драматических произведений

Жертва за жертву, Не первый и не последний
и других

В.А. ДЬЯЧЕНКО,

находясь проездом в Нижнем Новгороде, предлагает поставить на здешней сцене свои новые пьесы, приняв лично участие в исполнении главных ролей в них.

«Прелестное зрелище! — восклицает фельетонист «Искры», — В. Дьяченко возит самого себя по России и показывает провинциальной публике в собственных произведениях...

Нельзя не согласиться, что это, если не из «Колдуньи», то — из «Карьеры Наблоцкого».

Суровые насмешники и зубоскалы были люди шестидесятых годов!

* * *

Воспоминания П.Д. Боборыкина, печатавшиеся в «Минувших годах», дышали худо скрытым злопамятством, которое и довело сердитого мемуариста до клеветы, будто «Современник» в полемике против «Русского слова» напечатал сквернословный акростих. Выходка эта обошлась маститому беллетристу довольно дорого. Оправдания его были более чем слабы.

Просматривая карикатуры и сатирическую критику в журналах шестидесятых годов, перестаешь удивляться странной памятливости Боборыкина на литературные обиды. Черт знает, что делали с этим писателем при первых шагах его беллетристической карьеры! «Искра», в некоторых годах своих, положительно, им кормилась.

Странное впечатление выносишь из этой архаической сатиры. Как будто о другом Боборыкине речь идет, а совсем не о том, которого мы знаем и дети наши знают, а дети детей наших, пожалуй, уже не будут знать. И семидесятые, и восьмидесятые, и девяностые годы тоже высмеивали Боборыкина, да не в том освещении и не так.

Наш Боборыкин, при всех комических сторонах своего манерного творчества, несомненно, человек передовой. Конечно, не из самого что ни есть авангарда, но все-таки заслуженный, старый либерал, с заметными заслугами в культуре интеллигентного либерализма.

Боборыкин «Искры» — заносчивый дворянчик столь же несомненно консервативной деятельности и окраски.

Наш Боборыкин — европеец больше всех европейцев. Настолько, что в семидесятых годах его прозвали «Пьером Бобо», а еще недавно он сам себя титуловал «другом Франции».

«Искра» рисует Боборыкина не иначе, как казанским татарином-халатником, в тюбетейке, но, впрочем, и в очках.

Наш Боборыкин всеведущ и авторитетен решительно в каждом вопросе, о котором берется писать. Читатель он вдесятеро более замечательный, чем писатель. Он имеет репутацию одного из самых образованных людей в России, с начитанною научною памятью и дисциплинированною в западных литературных преданиях мыслью.

Боборыкин «Искры» — сопливый мальчишка, который строит карточные домики или играет томиками своей злополучной «Библиотеки для чтения».

Когда Боборыкин продал Марксу полное собрание сочинений, я подписался на «Ниву» в твердой уверенности, что наконец-то прочту «В путь-дорогу», и «Жертву вечернюю», и «Земские силы» — произведения, о которых с детства был наслышан, а в дни читающей юности уже не застал их на книжном рынке. Обманулся. Боборыкин начал собрание своих сочинений с «Китай-города». Более раннее творчество свое он — словно вычеркнул из памяти читательской. Не пожалел даже превосходного бытового романа своего «Дельцы», печатавшегося в «Отечественных записках» — кажется, в 1873 году. Должно быть, уж очень напугался человек критическим аппетитом ко всем произведениям его литературной юности: так наболели у него места эти, что уж лучше отделаться от них ампутацией.

В особенности боком вышли Боборыкину роман «В путь-дорогу» и драма «Ребенок».

О первом современники говорили:

— Это не роман, а литературное шоссе.

А «Ребенка» сняли с Александринской сцены — «до тех пор, пока подрастет и станет умный».

Словом, в выходке своей против ненавистных ему журналистов шестидесятых годов П.Д. Боборыкин, хотя виновен, но заслуживает снисхождения:

Сохранил он дар последний:
Свой третий дар — святую месть...

И — подобно Кочубею или обиженному мулу папы, берег свой мстительный удар даже не семь, а чуть не 77 лет.

Разница с мулом папы: что мул, когда наконец ударил, то ударил хорошо, а г. Боборыкин ударил скверно... Ну да — ничего! Бог с ним! Конь о четырех ногах, да и то спотыкается...

* * *

Из воспоминаний г. Лихачева о теноре Ф.К. Никольском, прославленном некогда столько же феноменальным своим голосом, сколько чудачествами и благоглупостями сценическими.

«...То перепутает либретто «Роберта-Дьявола» и «Русалки» и вместо:

Вот развалины те,
На них печать проклятья!

без малейшего смущения запоет:

Вот развалины те,
Они уж развалились...»

Никак не мог Никольский петь такого «вместо» — по той простой причине, что в «Роберте-Дьяволе» речитатив:

Вот развалины те,
На них печать проклятья —

принадлежит не тенору, но басу. Так начинается знаменитое заклинание Бертрама.

О Ф.К. Никольском ходит достаточно рассказов, основанных на трагикомической действительности. Можно было бы избавить его память от анекдотов, сочиненных к тому же невежественно и неумело.

Глупости Никольского помнят, а вот — что у полудикого человека достало ума и самолюбия, чтобы понять свою неспособность к оперному искусству и покинуть сцену, будучи в полном расцвете голоса и разгаре успеха, — эту редкость позабыли.

Глупости Никольского помнят, а вот что «дурак» этот, умирая, распорядился своим имуществом умнее и порядочнее множества умников и все свое состояние завещал на земские начальные школы родного своего Боровичского уезда, — о том позабыли. И даже бывшие товарищи Никольского были удивлены, когда я отметил эту общественную заслугу его (в некрологе В.И. Васильева 1-го — во втором издании моих «Курганов»).

А г. Лихачев — вообще, мемуарист не из симпатичных.

Анекдотцы, хихикающие с холодною злорадною пошлостью обывательского умишка. Что-то не старческое, не стариковское, а — старичковское. Воспоминания же о Ф.И. Стравинском — даже не без злонамеренной клеветы. Впрочем, кто-то уже высек за них г. Лихачева розгою печатною — и хорошо сделал.

Никогда не мешает высечь одного мемуариста в пример прочим. Однако, к сожалению, мало помогает. Давно ли секли П.Д. Боборыкина? А он уже опять проштрафился. И даже Лжедимитрия оклеветал. Ну — где это, в какой драме Лжедимитрий будто бы передразнивает народ, кричащий ему:

— Да здравствует царь *Митряй*!

Нет этого ни у Пушкина, ни у Хомякова, ни у Чаева, ни у Островского, ни у Пушкарева, ни у Суворина. Вот если бы П.Д. Боборыкин «Димитрия Самозванца» писал, у него, конечно, без «Митряя» дело не обошлось бы.

В том-то и беда П.Д. Боборыкина, оттого-то и пропрыгал он чуть не шестьдесят лет в большие писатели, да так и не допрыгнул; что — в отношении русской народной жизни — не было у него за душою ничего, кроме вот этих старобарских, свысока «Митряев». Ну и долг платежом красен. «Митряй» тоже поставил на г. Боборыкине крест. А г. Боборыкину грустно. И тем грустнее, что даже и скорби-то свои должен он изливать в «Русском слове», которое в журналистике русской, конечно, весьма простодушный и покладистый «Митряй» — и в издательстве, и в читательстве.

В старину были так называемые «ковровые» пьесы, а в них — «фрачные любовники», в противоположность бытовикам — «рубашечным актерам». Эти последние должны были брать талантом и нутром, а те первые, по мере сил, выезжали на шике и усердии и ценились — «глядя по гардеробу». На сцене русской литературы П.Д. Боборыкин был очень полезным «фрачным любовником», и «гардеробчик» у него всегда был превосходный.

* * *

Еще «западник» — с позволения сказать!

Прочитал я комедию о Ваньке Ключнике и паже Жеане г. Ф. Сологуба... Нет, если такие «западники» пойдут, то — невольно, сам не заметишь, как — сделаешься или, как говорят в Одессе, «заделаешься» славянофилом.

Ни эпохи, ни народа, ни наблюдения, ни — даже тени таланта. А — казалось бы — чем-чем другим, но талантом-то автор «Мелкого беса» не беден. Но — чем более крупный

талант становится в фальшивое положение, тем ярче и безнадежнее обнаруживается пустопорожняя фальшь.

Ни изучения, ни правды. Одно сало.

На западной стороне — сало вспрыснуто духами и превращено в кольд-крем.

На русской — сало наголо, тухлое, прогорклое.

Пьеса посвящена пояснению контраста: сколь благоуханно-грациозна была в старину любовь во Франции и сколь скотски-груба — на Руси. Там — благоухание роз, прыжки кроликов, нежные слова и танец красивых поз. Здесь — коровье мычанье, жеребячье гоготанье, свиное хрюканье и собачья свадьба.

Впечатление — будто пьесу писал не г. Ф. Сологуб, но Иванушка из «Бригадира». Тот самый, который имел несчастье телом родиться в России, но «душа его принадлежала короне французской».

Увы! Если бы Иванушка Сологуб был хоть сколько-нибудь знаком с историческою литературою, то правдивость, присущая художественному таланту, никогда не позволила бы ему сочинить такой глубокой и пошлой неправды. Не в защиту русского любовного романа говорю это, а — против лживого и тенденциозного контраста, сочиненного г. Сологубом по капризу отсебятины, без всяких к тому исторических данных, кроме разве романов Александра Дюма, по которым, очевидно, г. Сологуб и воображает себе старую Францию.

Читал ли г. Сологуб, — не скажу уже: Рабле, — но хотя бы Брантома и сочинения обеих Маргарит Валуа? Подлинные памятники «любви», как понимало ее лучшее, самое избранное и образованное общество во Франции XV—XVII века? Ведь это же такая вонь, которой — не то что в русских старинных памятниках литературы, но, пожалуй, даже и в изустных похабных сказках скоморошьих не встретишь. И притом именно вонь грубая, беспримесная, без извинений и иллюзий. Вонь чувств и вонь языка. «Belles

et honnestes dames» * Брантома, то есть двор и аристократия Генриха II, Карла IX, Генриха III, Генриха IV, Людовика XIII, «выражались» словами, за которые теперь выведут даже из публичного дома, забавлялись беседами о предметах, которые в наше время даже гг. Арцыбашев, Каменский и Сологуб почли бы непристойными к громкому обсуждению. Что касается идеалистических выкрутасов, коими будто бы была окрашена любовь на старинном Западе, то — напомню хотя бы «une belle et honneste dame», которая, по свидетельству Брантома, выбирала друзей сердца, наблюдая из окна дворца своего за lieu d'aisance... ** Комментаторы давно выяснили, что эта belle et honneste dame — не кто иная, как Катерина Медичи, супруга короля Генриха II, мать Генриха III и Карла IX. А это далеко не худший эпизод знаменитой хроники.

Нет, уж что угодно, а женщину-то русскую пусть оставят в покое. От Рогнеды к Ярославне, — к Ульяне Вяземской, — к Анастасии Романовне, жене Грозного, — к Ирине Годуновой, — к Ксении Годуновой, — к Ульяне Лазаревской, — к боярыне Морозовой, — к протопопице Настасье, — к царевне Софье Алексеевне, — не годится она для похабного анекдота. И бесконечно много дряни в голове надо иметь для того, чтобы драму Ваньки Ключника, для которой даже простая-то русская песня умела найти сильные трагические тона, обратить в гнусный водевилишко с прением телес и раздеванием до нижнего белья, по рецептам буржуазно-интеллигентского фарса. Не велика сила был покойный Антропов — первый, преобразовавший «Ваньку Ключника» в пьесу для сцены, но сравнительно с г. Сологубом, он — Шекспир. Человек литературу изучил, язык бытовой усвоил, чутьем к эпохе и среде, сколько таланта хватило, проникся, а — главное — искал

* «Прекрасные и добродетельные дамы» (*фр.*).
** Отхожее место... (*фр.*)

9*

людей, а не свиней. Всеволода Крестовского — поэта не бездарного, но весьма неумного — некогда за эротизм стишонков его прозвали Всеволодом Клубничкиным. Однако даже этот улан от литературы, и тот, когда вздумал спеть песню о Ваньке Ключнике, сумел разобрать в ее драме кое-что кроме вспотевших тел и «скидаемых» сарафанов... И был вознагражден: удачная песня пошла в народ и, вариантами, превратилась в народную. В сборнике русских песен академика А.И. Соболевского очень любопытно проверить по спискам, как совершилась метаморфоза эта.

Похабная русская картинка, похабный русский стишок, похабная русская повесть — фрукты XVIII века и французской прививки. От древнего Баркова до новых Сологуба, Каменского, Кузмина. И прививал всегда — Иванушка из «Бригадира», а воспринимал — Передонов из «Мелкого беса».

* * *

Из русской борьбы с порнографией.

Читаю газетную заметку. Извините, что, следуя своему правилу замалчивать корифеев порнографии, превращаю ее в анонимную.

— «Под Сологуба». В последней книжке *иностранного журнала* обращает на себя внимание мелкая бездарная вещица *Имярека*, представляющая крайне неудачную попытку изобразить неестественное влечение, испытываемое взрослой дочерью к старику-отцу. Лавры Сологуба не дают, очевидно, спать модернистам.

Вещица — мелкая.

Попытка — крайне неудачная.

Автор — бездарен.

Спрашивается: с какой же стати печатается о мелкой вещице, с крайне неудачною попыткою бездарного порнографа, специальная заметка?!

Газетное путеводительство по литературным дебрям — дело очень полезное. Почти столько же, как знаменитый адрес свахи Феклы Ивановны:

— А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прямо будка, и как будку минешь, свороти налево и вот тебе прямо в глаза, то есть, так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским оберсеклехтарем. Ты к швее-то не заходи, а сейчас за нею будет второй дом, каменный...

Заходить к швее — предосудительно. Но без швеи адрес невразумителен. Без швеи заблудятся Кочкарев и Подколесин.

И толкуют, толкуют, толкуют литературные свахи клиентам своим о швеях, живущих с секлехтарями. Читатель Кочкарев или читатель Подколесин внемлют!.. Направления из свахина адреса не усваивают, но — где живет швея, к которой не надо заходить, запоминают отлично. И затем — прямо так-таки к ней и валят!

* * *

Воскресенье.

Фельетон одной столичной газеты: роман о женщине, которая оборачивается кошкою, или о кошке, которая оборачивается женщиною.

Фельетон другой столичной газеты: рассказ о каком-то матросе или рыбаке, который был едва ли не черт и под конец обернулся чудовищем.

Одна щедринская старушка, тщетно лечившаяся от худосочия у всех знахарей российских, прибегла наконец к помощи оборотня.

— Ну... хрюкает... чавкает... роется... воняет... А пользы настоящей нет.

— Однако же, — восклицает Щедрин, — до какого отчаяния надо дойти, чтобы вверить судьбы свои — оборотню!

Пресса русская, мечущаяся в напрасных усилиях скрыть от публики свою вынужденную безынтересность, обретается уже на точке щедринской старушки. Еще недавно оборотень получал в нее доступ — да и то крадучись — только 25-го декабря, в рождественском номере, когда беллетристам не только разрешается, но даже поощряется быть дураками и лгунишками.

Две передовые политические газеты должны взяться за оборотней, как за воскресные козыри...

«До какого отчаяния надо дойти, чтобы вверить оборотням судьбы свои!»

* * *

Умерший в 1908 году Эдмондо де Амичис был превосходный рассказчик. Я видел его только дважды, притом оба раза в большом и шумном обществе. Так что «личных» впечатлений получил мало и заключений о нем никаких составить не мог, кроме одного — что этот писатель великий охотник поговорить, любит, чтобы его слушали, и — вопреки сентиментальному целомудрию своих печатных произведений — весьма и весьма даже пикантный анекдотист.

Между прочим, в Болонье, в профессорском кружке, среди которых был и знаменитый, теперь уже покойный Джозуэ Кардуччи де Амичис рассказывал смешные анекдоты о старинной итальянской цензуре, которая в папском Риме и в Неаполе Бурбонов, пожалуй, была почище русской.

Театрам было запрещено слово «celeste» (небесный). В какой-то опере тенор забылся и гаркнул в арии: «Donna celeste!»*

Беднягу привлекли к ответственности и посадили в тюрьму, а импрессарио и примадонну сурово оштрафовали.

— Меня-то за что? — недоумевает примадонна.

---

* «Мадонна небесная!» (*ит.*)

— А за то, что вы, услыхав, как он назвал вас небесною, не заткнули ушей своих и не ушли в ужасе со сцены.

При первой постановке «Гугенотов» в Неаполе цензура устроила нечто совсем невероятное. В сцене 2-го акта, когда Рауль падает к ногам королевы, Маргарита спрашивает его:

— Che chiedi?.. Чего ты хочешь?

— Amore!.. Любви.

Цензоры не потерпели такой безнравственности, «amore» было вычеркнуто — и на кокетливый вопрос ее наварского величества доблестный рыцарь отвечал:

— Il governo di Provenza.

То есть:

— Назначьте меня в Прованс губернатором!

Откровенно сказать, я почел анекдот де Амичиса застольным «не любо не слушай», изобретенным ради увеселения почтеннейшей публики. Каково же было мое удивление, когда я нашел их в русской «Искре» 1860 года, в ряду других курьезов из итальянской жизни. Только вместо Governo di Provenza стоит Governo di Friuli. Редактор литературного отдела «Искры», В.С. Курочкин, вообще был большой итальяноман, хорошо знал итальянскую литературу и перевел довольно много сатир знаменитого флорентинца Джусти.

* * *

Некоторые критики «Черных масок» отметили то обстоятельство, что, по их мнению, Леонид Андреев находился под влиянием рассказа Эдгара Поэ «Замок красной смерти». Но странно, что они не обратили внимания на разительное сходство «Черных масок» с другим рассказом Эдгара Поэ, менее популярным, но не менее сильным. Он называется в русском переводе «Двойники» или «Вильсон» и передает с потрясающею силою ту же тайну двойственного существования, что — Лоренцо Леонида Андреева. Включительно до дуэли, в которой двойник дерется с двойником

и убивает двойника, бессознательно закалывая в нем свое лучшее «я».

Что касается Лоренцо у гроба Лоренцо, внимающего суду толпы над мертвецом и познающего, таким образом, унизительную правду, изнанку лицевой жизни, эта сцена — целиком повторяет четвертый акт юношеской драмы Альфреда де Мюссе «La Coupe et les lèvres». * Недостает только знаменитого восклицания: «La bière est vide? Alors c'est que Frank est vivant!» **

— Что? Катафалк пустой? Ну так я — Франк — живу!..

К этому прелестному романтическому опыту французского поэта смешать Фауста с Манфредом и Каином мне, вообще, не раз приходилось обращаться, говоря о Леониде Андрееве, по-видимому, почерпнувшем оттуда немало своих пессимистических проклятий... ***)

А вот еще: перечитывая томики преждевременно угасшей Лохвицкой, встретил я балладу «Незваные гости».

Под легкий смех и тайный разговор
Проходят маски вереницей длинной...
Сияет зал... И вот с высоких хор
Томительно полился вальс старинный...

«Рыцарь с спущенным забралом» говорит «нимфе с лилией в кудрях», что она напоминает ему женщину, которую он любил когда-то:

— На ту, о которой, безумно тоскуя,
Ни ночью, ни днем позабыть не могу я,
Есть что-то похожее в вас.

— Нет, рыцарь, то вальс так волнует мечтанья!
Ведь та, о которой ни ночью, ни днем

* «Уста и чаша» (*фр.*).
** «Что? Катафалк пустой? Ну так я — Франк — живу!» (*фр.*)
***) См. мой сборник «Современники», изд. Д.П. Ефимова в Москве.

Забыть вы не в силах, — позор и страданья
    На дне позабыла речном.
Оставим же мертвым покой и забвенье!
Под вальса манящее тихое пенье
        Так сладко кружиться вдвоем.

Маска-Мефистофель шепчет маске-монахине о совершенном ею тайном убийстве.

Уж место для вас приготовлено мною
    В таинственном царстве моем.
Теперь же, да здравствует миг упоенья!
Под вальса манящего тихое пенье
    Так сладко кружиться вдвоем!

Всего же любопытнее заключительная строфа, сжимающая в 12-ти стихах целый акт «Черных масок»:

И длится вальс... — Мой друг! мне страшно стало! —
Хозяйка дома мужу говорит.
— О, прекрати забаву карнавала...
Моя душа и ноет, и болит.

Не здешние и странные все лица
Под масками сокрыты у гостей...
О, скоро ли проглянет луч денницы?
    Тоска и страх в груди моей!

Смеется муж... И длится вальс старинный,
Его напев несется с темных хор,
И пляшут маски медленно и чинно,
Под легкий смех и тайный разговор.

В настроении баллады слышны ноты Гейне, Мюссе, даже Апухтина. Но в «Черных масках» повторяется самая идея Лохвицкой — превращение мысли в обличительные образы, — бал маскированной совести и ряженного самосозна-

ния. Подчеркнутые стихи особенно выразительны по сходству. Так-то — ничто не ново под луною!

* * *

Когда в Париже, ночью, выходишь из дома, необходимо, проходя мимо каморки привратника, сказать громко:

— Cordon, s'il vous plait.

То есть:

— Пожалуйста, — веревку.

Привратник тянет за веревку, выходные двери отмыкаются и выпускают вас на улицу.

Сегодня, начитавшись прелестей о третьей российской Государственной думе, в душных прениях по поводу бюджета министерства народного просвещения, спрашиваю Германа Александровича Лопатина:

— Ну что — нравится? Хороши ребята? Как ваше настроение?

Трясет серебряными сединами и отвечает угрюмо:

— Cordon, s'il vous plait.

* * *

Шлиссельбургский сборник «Под сводами» очень любопытен, но легко мог бы быть вдвое, втрое любопытнее. Следовало бы издать его не по-«благотворительному», но серьезно, как исторический документ, с объяснительными примечаниями, с комментарием. Никто из шлиссельбуржцев — не поэт для поэзии, не беллетрист для беллетристики. Творчество их интимно и вне интимности кажется часто загадочным. А некоторые стихи и прозаические отрывки, слабые по форме и темные по содержанию, совсем не следовало бы печатать, раз публике еще не могут быть известны мотивы, вызвавшие их сочинение.

В особенности относится это замечание к стихотворениям юмористическим и сатирическим. Шлиссельбург — такая глубокая трагедия, что его домашний смех, не растол-

кованный читателю связью событий, раздирает сердце, как дикий голос безумия. Рано нести его в публику.

Затем. Часть произведений, вошедших в сборник «Под сводами», принадлежит авторам, уже умершим. Тут — понятно, нечего делать: остается печатать тексты с рукописей, как они сохранились. Но произведения авторов живых и благополучно здравствующих могли бы и должны были бы предстать пред публикою в более брачном убранстве, пройдя редакцию и корректуру творцов своих. Что такой редакции и корректуре сборник не подвергался, я могу судить с уверенностью по стихотворениям Германа Александровича Лопатина, хорошо известным мне в оригиналах от самого автора. В сборнике стихотворения эти испорчены — очевидно, через чужие пересказы по памяти — безвкусными вариантами, к вялости которых решительно неспособен ни стройный, гордый ум Лопатина, каждую мысль отливающий в истинно бронзовую определенность, ни язык его, образный, меткий, пестрый, сжатый язык в совершенстве изученной великорусской речи... Вообще, мысль вывести Германа Лопатина — того Германа Лопатина, которого Карл Маркс назвал когда-то «самым умным человеком в России» — напоказ публике в случайной и совсем для него не характерной одежде стихов, писанных от безделья, тюремной скуки ради — самую мысль эту я не нахожу удачною. Зачем это? Любое полемическое письмо Г.А., любой рассказ о революционном прошлом, записанный из уст его (потому что самого его писать свои воспоминания для печати — невозможно уговорить), дали бы большой публике об этом громадном и полумифическом для нее человеке понятие более полное, чем дюжина стихотвореньиц. Из них же, кто знает Лопатина, выносит, улыбаясь, одно впечатление: «Ну, скажите пожалуйста! *Даже* и стихи хорошие иногда писал!»

А — кто не знает — тот и не узнает. Потому что в случайном подборе нескольких интимных рифм совсем не видать основной черты Лопатина — богатырской жизнерадост-

ности, благодаря которой и сейчас, после 22 лет Шлиссельбурга, рядом с этим вдохновенным человеком, стоящим на переломе седьмого десятка, почти все люди младших поколений кажутся вялыми, скучными, больными, маленькими старичками. Когда-то, при розысках Лопатина, давалось сыщикам как главная примета его — «ничего не боится и обо всем говорит со смешком». «Герой без фраз», — определил Лопатина Энгельс. Вот этого-то Лопатина и нет в сборнике «Под сводами». Чуть-чуть показывает он бодрое и открытое лицо свое в элегии «День рождения» — превосходном и звучном стихотворении, напечатанном, к сожалению, тоже с погрешностями. Грубее всего напечатано посвящение «На именины» (В.Н. Фигнер): здесь искажены три стиха. В «Весенних муках» явная бессмыслица от замены глагола «мчатся» наречием «мрачно»...

Запишу два коротеньких стихотворения Г.А.

СТАНСЫ

Последние жизни остатки
Горят, будто хворост в печи.
Куда как дни эти несладки!..
Безумное сердце, молчи!
Трещат и чадят, словно вспышки *)
Готовой потухнуть свечи,
И нет ни на миг передышки!..
Безумное сердце, молчи!

HORAE **

Vulnerant omnes, ultima necat ***.

Опять часов унылый звон
Из капища, дрожа, несется,

*) Этот стих в сборнике напечатан неверно. Я беру его с подписанного лопатинского текста.

** Время, час (*лат.*).

*** Ранят все, а последний убивает (*лат.*); в Средневековье — надпись на башенных часах.

Опять в груди усталой он
Колючей болью отдается,
Напоминая всякий раз
О том, как время жизнь уносит,
Как каждый проходящий час
Нам рану новую наносит,
Пока последний час пробьет
И окончательно добьет...

Любопытно, что на шлиссельбургских стихотворцах, за исключением Поливанова, влияние Пушкина, Лермонтова и младших поэтов «плеяды» сказывается ярче, чем Некрасова и поэтов «гражданской скорби». Поливанов — типический некрасовец.

Хороши некоторые стихи Богдановича. В том числе — акростих, посвященный В.Н. Фигнер:

Ветром жестоким на остров забытый
Едкой полынью и терном повитый,
Роза заброшена... Но среди скал
Алый цветок тем прекраснее стал.

В отделе прозы исторически любопытны записки Л.А. Волькенштейн — «После смертного приговора». Вот уже в который раз проверяю я психологию «Семи повешенных» по запискам и устным рассказам людей, лишь неожиданным чудом вывернувшихся из петли, вопреки собственному чаянию и даже желанию (Г.А. Лопатин). И всегда хочется мне повторить талантливому автору-воображателю угрюмые слова Рогожина из «Идиота» Достоевского:

— Не так эти дела делаются, парень, не так.

«Булгаков», — так почему-то переименован в сборнике роман Ф.Ф. Юрковского, носивший под пером покойного автора название «Гнездо террористов», — интересен как археологическая раскопка, выдающая обломки типа,

у которого предок — Базаров, а потомок... кто? Жорж из «Коня бледного» хвастает, будто он. Но это он хвастает. Ни ему, ни Санину тут части нет.

Чисто литературными достоинствами, без всяких задних соображений, из всей прозы сборника выделяется только бесхитростный рассказ Мартынова — «Петр — Маня»: очевидно, фотографическая запись с натуры — в старонароднических тонах Решетникова, Слепцова, Николая Успенского. Бедный Мартынов! Он оттерпел шлиссельбургскую страду, вышел на свободу и потерялся — отвычный от людей заключенник — в ее широком просторе. Жизнь и любовь оскорбили его холодною гримасою...

В эту пору непогожую
Одному жить сердцу холодно!

А приходилось жить одному либо совсем не жить. Выбрал: совсем не жить. Застрелился.

* * *

Прочитал я книгу Н.А. Морозова «В поисках философского камня». О химической половине ее судить не могу, так как по этой части я круглый невежда. Но историческая часть слаба и произвольна почти в той же мере, как в пресловутой «научной шутке дурного тона» — в «Откровении в грозе и буре».

Например.

В хронике «делания золота» Н.А. Морозов отмечает под 1705 годом:

«Пейкюль (Peyküll), в присутствии химика Гирна и многих других свидетелей, делает превращение какого-то вещества в золото, из которого затем была выбита медаль».

Г. Морозову, по-видимому, остается совершенно неизвестным то обстоятельство, что сей таинственный Пейкюль,

которого потребовалось даже разъяснить латинским шрифтом, есть не кто другой, как знаменитый лифляндский патриот генерал Паткуль, приверженец Петра Великого, казненный Карлом XII по обвинению в государственной измене. Чтобы затянуть свой процесс, он воспользовался излюбленным суеверием и соблазном века и вызвался — если оставят ему жизнь, хотя бы даже в вечном заточении, — доставлять королю золота ежегодно на миллион экю, причем «это ничего не будет стоить ни государю, ни государству». Он брался также обучить искусству своему любого из шведских подданных, кого король назначит. По словам Паткуля, секрет превращения металлов он получил от некоего Любинского, офицера польской службы, а тот от какого-то греческого попа в Коринфе. Наблюдать за опытами Паткуля был приставлен артиллерийский генерал Гамильтон. Опыты производились в присутствии нескольких лиц, в том числе химика Гьерна (Hierne) и адвоката Фемана, который в процессе Паткуля был заместителем генерал-прокурора. Что-то, похожее на золото, Паткуль смастерил. Из слитка выбили 147 дукатов и медаль с датою 1706 года. Рецепт свой Паткуль сообщил генералу Гамильтону. В роду последнего бумаги Паткуля сохранялись очень долго. Знаменитый химик Берцелиус исследовал их, по желанию одного из потомков Гамильтона, и нашел секрет Паткуля ловким надувательством, в котором истинна была только одна идея — как можно дольше тянуть время. Достаточно сказать, что на подготовку опыта Паткуль требует 140 дней. Что плутовство Паткуля было быстро разоблачено, — хотя Гьерн-то уверовал в него безусловно, — доказывается уже самым фактом его казни. Покуда алхимик подавал какие-либо надежды, государи его щадили. Морили годами в тюрьмах, истязали пытками, но жизнь берегли. Отправляли на тот свет только совершенно обнаруженных обманщиков.

Книгу свою г. Морозов издал очень красиво, испещрив ее массою рисунков. К сожалению, и в выборе последних он часто обнаруживает отсутствие исторического знания и обилие исторического легковерия. Знак «Креста и Розы», сомнительный рисунок — самое раннее, если конца XVIII века — сходит у него за средневековую магическую фигуру. Многие рисунки, которым доверяется г. Морозов, как подлинным документам алхимии средневековой и Ренессанса, на самом деле просто-напросто сочинены в половине XIX века знаменитым шарлатаном Элифасом Леви, пытавшимся создать какую-то сумбурно-дуалистическую религию — предшественницу позднейшего парижского сатанизма, с черными мессами, Саром Пеладаном и пр., и пр.

Сравнительно с «Откровением в грозе и буре», новая книга Н.А. Морозова беднее поэтическими отступлениями, которые в первом труде этого автора были главным, да, говоря по чистой правде, и единственным достоинством. Там, наряду с бредом исторических капризов и глубоким археологическим неведением, сияли страницы искренних и страстных вдохновений, облеченных в красоту почти что «стихотворения в прозе».

* * *

Я никогда не видал знаменитой Айседоры Дункан, но столько читал о целомудренных обаяниях ее «святой наготы», что вопреки свойственному мне на сей счет скептицизму почти в них поверил. Что же, в самом деле? Венера Милосская тоже голая и тоже святая. Пред нею — предсмертною мечтою своею — плакал Гейне. Пред нею в экстазе стоял, «выпрямленный», Глеб Успенский. Гейне — Успенский! Полюс южный — полюс северный. Каких еще доказательств надо искать для абсолюта красоты в пределе культурной возможности?

Конечно, мрамор — одно, тело — другое, и между музейными статуями и живыми танцовщицами — дистанция

огромного размера. Был в старину балет «Мраморная красавица» — на сюжет знаменитой когда-то оперы «Цампа». Мраморную красавицу как оригинал балетного воспроизведения, никто не мечтал взять на содержание, но балерин, изображавших «Мраморную красавицу», брали на содержание весьма многие.

Однако слишком уж много искренних людей с настоящим художественным чутьем божатся и клянутся, будто Айседора Дункан их возвышает, окрыляет, одухотворяет, уносит ad excelsos...* «Выпрямила!» — говорил Глеб Успенский. Выпрямила — и «перед своей Галатеею Пигмалион пал во прах» (Мей). Ничего, значит, не поделаешь. Невероятно, а факт, — как восклицали некогда рекламы Кригера и Кача, — и даже не факт, но истинное происшествие. Надо верить. Буду верить.

Но только что уверился — вот подходит к «вопросу» знаменитый «светский богослов, монашеским известный поведеньем», — г. Варварин из «Русского слова». Судя по перепечатке в «Новой Руси», Айседора Дункан ему очень нравится. Но — *как* нравится! *что* он в ней рассматривал и — увидел! что он о ней в обычной своей манере юродивых лепетов и захлебываний восписал!

Я уверен, что, если бы Айседора Дункан, женщина непонятной мне карьеры, но, по-видимому, какой-то большой художественной цели и настоящей, хорошей, серьезной искренности — могла предположить в зрительном зале присутствие хотя двух-трех «карамазиков», созерцающих ее формы с подробною догадливостью г. Варварина, она плюнула бы в партер и ушла бы со сцены.

Литератору, пишущему под псевдонимом Варварина, Владимир Соловьев посвятил во время оно язвительнейший памфлет свой — «Порфирий Головлев о свободе и вере». Провидец был покойник!

---

* В высоты... (*лат.*)

Читал я строки г. Варварина об Айседоре Дункан, а в памяти так и встал покойный Андреев-Бурлак в «Иудушке», с блудливо отвисшею губою, так и зазвучала молитва кровопивушки: «Сегодня я молился и просил Боженьку, чтобы он оставил мне мою Анниньку. И Боженька мне сказал: «Возьми Анниньку за полненькую тальицу и прижми ее к своему сердцу».

Удивительный народ — наши российские вольнопрактикующие теологи. Идете вы, примерно, лесом. Видите: красивая полянка. Для всех — полянка, так она полянка и есть. А вольнопрактикующий теолог возводит очи горе, вздыхает, крестится и — с глазами враскось — определяет:

— Сколь соблазнительно место сие для нарушения седьмой заповеди... Словом, делом и — хе-хе-хе! — помышлением...

«Абие, абие, а выходит бабие!» — говорил про такую «теологию» Глеб Иванович Успенский.

Верх ханжества видел я лет десять тому назад в итальянском городке Cava dei Tirreni, верстах в 40 от Неаполя. Трактирщик предлагает гостю в типически длиннополом черном сюртуке клерикала:

— Хотите жареную курицу? Куры у меня очень недурны.

Длиннополый черный сюртук возражает со вздохом:

— Вы забыли, какие стоят дни? Страстная неделя!

Трактирщик, не смущаясь:

— Но я могу изготовить ее на olio — постном масле?

Долго думал сюртук...

— Уж разве на постном!

Сдается мне, что и Айседора Дункан представляется Варварину чем-то вроде курицы в постный день, которую есть, собственно говоря, грешновато, но — уж так и быть! — куда ни шло, на оливковом масле. И кушает, давай ему Бог здоровья, аж за ушами трещит, с аппетитом и смаком.

Лет пять-шесть тому назад напечатал я в «Руси» по адресу г. Варварина юмористические вирши, пародию на одно стихотворение г-жи Гиппиус («Вы ночному часу не верьте»), бывшее тогда в большой моде:

Вы Василью Васильевичу не верьте,
Он исполнен злой чепухи:
Справа — ангелы, но слева стоят черти
И шепчут ему в уши грехи…

Уже не помню дальше.

Годы не меняют Василья Васильевича. Все по-прежнему. Справа — ангел и теология. Слева — черт и блудословие. К ангелу-то следовало бы, а к черту-то хочется. Ну, глядь, Анчутка Беспятый и перетянул.

А Владимир Соловьев с того света посмеивается:

— Ну, не говорил ли я, что Порфирий Владимирович Головлев?! Борода апостольская, а усок диавольский. Спереди — блажен муж, а сзади — вскую шаташеся.

* * *

Киевского критика г. П. Яр–ва восторг к той же Айседоре Дункан навел на мысли загадочные, выраженные языком не весьма вразумительным. Г. Яр–в любит искусство. Очень часто статьи его, хотя без нужды запальчивые по общему тону и грубонадменные в отдельных фразах и словечках, бывают знаменательны «лица необщим выраженьем». Но пишет г. Яр–в зачем-то престранно. Говорю: зачем-то — потому что нечаянно русский грамотный человек не в состоянии так писать: подобное словорасположение возможно выдумать только книжно, нарочно. Такой синтаксис был в старину у чехов-педагогов, издававших подстрочники к латинским и греческим классикам. Когда я пробегаю заметки г. Яр–ва, то, в поисках основной мысли (повторяю:

часто оригинальной и стоящей поисков), выношу почти всегда сожалительное впечатление: ах, зачем это написано не по латыни? На древних языках запутанные периоды г. Яр–ва должны звучать прекрасно, но напрасно г. Яр–в не поручает переводить их на русский язык кому-либо другому.

Айседору Дункан г. Яр–в попробовал вообразить Катериною Кабановой.

«Катерина носит сарафан, что ее зачерчивает, — но не сарафан один делает ее движение, а ее тело танцует; вот почему артистка, не чувствующая жизни пластической катерининой, не может всю сыграть ее — и та, которая по театральному умеет носить сарафан. Дункан танцует обнаженная «славянские танцы» — но это не только пляски славянские (почему на них их черты и «платочек», что обратился в повязку), — этот танец — славянская, пластическая, за одеждою скрытая жизнь. И вот я на минуту представляю то, чего не может быть, не должно быть, что только для того, чтобы досказать мысль. Как бы Дункан — которая такое за танцем славянским узнала, которая все может знать, чем живет танцующее тело, — как бы Дункан играла Катерину!»

Катерина, зачерчиваемая сарафаном, — это — мрачно. Действительно, пусть уж лучше Дункан зачеркнет сарафан и танцует, обнаженная, «славянские танцы». У сербского народа есть весенний праздник «додолы», справляемый кое-где в глуши еще до сих пор. Красивейшую девушку в селе, голую, едва покрытую гирляндами из цветов и древесных листьев, водят от двора к двору, с пением и плясками, и у каждых ворот обливают водою. Пережиток старинного языческого обряда — таинственное моление к весне-богине о спором плодопомощнике-дожде *).

---

*) См. в 3-ем издании моего сборника «Старое в новом» (1908. «Общественная польза». СПб.).

Но идея играть Катерину голою — так, чтобы видно было, как ее тело танцует, представляется мне все-таки сомнительною. Это скорее из «На дне»:

—Уйду... пойду куда-нибудь... на край света!

— Без башмаков, лэди?

— Голая! на четвереньках поползу!

— Это будет картинно, лэди... если на четвереньках...

Проекту оголить Катерину г. П. Яр–в предпосылает рассуждение о тухлом человеке.

«Человек тухнет, когда он теряет свой ритм звуков и движений — свое место в звучащей и танцующей жизни, — когда он перестает жить, звуча и танцуя».

То есть, говоря, слогом не столь возвышенным, — когда человек помирает. Кто помер, тот, конечно, протухнет. «Тут действует физический закон!»

Стало быть, чтобы не протухнуть, надо жить, звуча и танцуя. Веселый рецепт. Что-то среднее между хлыстовским радением и матчичем...

Ужасно я устала,
Но мой испанец
Плясал еще не мало
Один свой танец!..

Мне вспоминается человек, почти осуществивший жизнью своею идеал г. П. Яр–ва: Дмитрий Васильевич Григорович... Как-то раз выразил я ему изумление свое к его жизнерадостной резвости. А он — в ответ:

— Я, батюшка мой, и в могиле буду ногами дрыгать!

Это — жизнь «танцуя». Но как же — «звуча?»

Разве — так:

Несколько лет тому назад один очень милый, но слегка декаденствующий поэт рассказывал в Петербурге среди литературной братии некоторое свое любовное похождение.

— Получаю письмо. Назначает свидание. Почерк незнакомый. Все равно, иду по адресу. «Войдите!..» Вхожу. Оцепенел было. Она — вся — голая!!! Я потрясен, а она — прыг мне на шею, да — *как зазвенит*!!!

* * *

В России воскрес интерес к Козьме Пруткову. Столичные театры наперерыв ставят его «Черепослова», «Фантазию» и проч. Следовало бы и пора бы, покуда этот интерес не остыл, пересмотреть и вновь издать полное собрание сочинений Козьмы Пруткова. Старые комплекты давно разошлись и исчезли с книжного рынка.

В сатирических журналах шестидесятых годов довольно много шуток Козьмы Пруткова, не вошедших в полное собрание сочинений. Часть их (несколько анекдотов и довольно много афоризмов) я перепечатал года три-четыре тому назад в покойной «Руси». Исключение их Жемчужниковым из полного собрания сочинений надо приписать только тому условию, что в семидесятых и девяностых годах нельзя уже было повторить многих острот, вполне цензурных в годах шестидесятых. А кое-что Жемчужников выбросил за борт, как «цветы невинного юмора», выдохшиеся, ставшие не ко времени. Любопытно, однако, что даже в этих бракованных отвалах дрожит неуловимая гримаса уморительного прутковского серьеза, покоряющего величественному шутовству своему читателя против воли... Вот, например:

АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА

(Им самим составленная) [*]

А. Антон козу ведет.
Б. Больная Юлия.

---

[*] Орфография подлинника.

В. Ведерная продажа.
Г. Губернатор.
Д. Дюнкирхен город.
Е. Елагин остров.
Ж. Житейское море.
З. Запоздалый путник.
И. Инженер-поручик.
К. Капитан-исправник.
Л. Лимонный сок.
М. Марфа Посадница.
Н. Нейтралитет.
О. Окружный начальник.
П. Пелагея-экономка.
Р. Рисовальщик искусный.
С. Совокупное сожитие.
Т. Татарин, продающий мыло или халаты.
У. Учитель танцования и логики.
Ф. Фарфоровая чашка.
Х. Храбрый штабс-капитан.
Ц. Целое яблоко.
Ч. Чиновник особых поручений.
Ш. Шерстяной чулок.
Щ. Щебечущая птица.
Ѣ. Ѣздок.
Э. Эдуард-аптекарь.
Ю. Юпитер.
Я. Янтарная трубка.
Ѳ. Ѳома-торгаш.
Ъ. Ы. Ь. V.

Ужасная чепуха, но не успеваешь сказать: «Вот глупо!» — как ловишь себя на том, что уже улыбнулся неожиданности идей и житейских образов, так нелепо возникающих из привычных начертаний алфавита, скачкам их, сочетаниям, диким диссонансам. В самом деле, попробуйте вообразить букву «У» в виде «учителя танцования и (!) логики», «Марфу Посадницу» между «лимонным соком» и «нейтралитетом», либо соседство «Юпитера» с «Эдуардом-аптекарем» и «янтарною трубкою».

Когда-то беззлобное смехотворчество, невинное зубоскальство an und für sich * считалось на Руси остроумием хорошего тона и большого общества. В литературе оно породило Козьму Пруткова (союз графа А.К. Толстого и братьев Жемчужниковых), а в обществе кучу остряков и краснословов, вроде, например, уже легендарного ныне Никиты Всеволожского (покойный муж М.Г. Савиной). Острить считалось делом важным. Ради удовольствия сострить неглупые люди рисковали положением и карьерою. Тот же Никита Всеволожский на одном из высочайших смотров императора Александра II, когда царь предложил обычный заключительный вопрос: «Не имеет ли кто претензии?» — выехал из фронта.

— Ты, Всеволожский, имеешь претензию?

— Так точно, ваше императорское величество.

— На что же ты имешь претензию?

— На *красоту*, ваше императорское величество.

— Отправляйся под арест!

Великосветское остроумие увядало по мере в того, как таяли выкупные, и почти исчезло в половине восьмидесятых годов. Лев Толстой добил его в «Плодах просвещения» великолепною карикатурою шалопая Петрищева с его делами, которые — «фи и в то же время нансовые». Недавний хороший тон сделался общественным неприличием. Каламбур совершенно вымер, равно как исконное пристанище его — водевиль. Знаменитые остряки и юмористы, как Всеволожский, Апухтин, Шиловский, сошли в могилу. Были кое-где кружки и компании, в которых еще старались сохранять прутковские предания (например, дом литератора Гнедича в Петербурге), но они не имели общественного влияния и дурачились по-домашнему, подспудно. Говорят, у Гнедича разыгрывались недурные пьесы-пародии («Гамлет, или Дух в коридоре» — кажется, В.А. Тихонова, «Жестокий барон», апокрифическая

---

* См. пер. на с. 99.

шалость, будто бы, Антона Чехова *), «Честь и месть» В.А. Соллогуба и т.п.). В Москве забавлялись на тот же лад шекспиристы («Тезей», «Белая лилия» и другие фарсы Владимира Соловьева) и мамонтовский кружок («Черный тюрбан» самого С.И. Мамонтова). В публику все это творчество не проникло и настолько было ей не нужно, что, например, «Вампука, невеста африканская», нынешняя пьеса-фурор петербургского «Кривого зеркала», при первом печатном появлении своем в «Новом времени», лет десять тому назад, прошла совершенно незамеченною, а в тех, кто заметил, возбудила недоумение и неудовольствие. Из газетного фельетона прутковская манера была вытеснена короткою строкою и английским юмором Дорошевича. Кажется, последний фельетонист, который еще остался верен древнему Козьме и пытается держаться старофранцузского esprit **, — Александр Столыпин. Как юморист, он, несомненно, лучше и умнее, чем в роли политического комментатора, на которое осуждает его близкое родство с первым министром. Некоторые эпиграммы его были метки, злы и изящны по форме. Ему принадлежат многие шуточные стихотворения, приписываемые покойному Владимиру Соловьеву. Между прочим, смешная баллада «Пан Зноско стар», с уморительною речью исправника к пойманным разбойникам.

В современном обществе, измученном, надорванном, трепещущем, юмор стал силою настолько редкою и по редкости дорогою, что — едва кто ощущает в себе искорку его — уже спешит обратить ее в деньги и публичную известность. От этого выигрывают сцена и эстрада, но проигрывают салон и вечеринка. Юморист-любитель прежних времен — чтец, рассказчик, импровизатор — совсем вытеснен и заслонен юмористом-профессионалом. А припоминаются мне хотя

---

*) См. во 2-м издании моих «Курганов» (1909. СПб. «Общественная польза»).

** Дух, стиль (*фр.*).

бы из московской молодости моей, совсем не так уж далекой, замечательные таланты: демократический писатель и педагог Ермилов, профессор Мрочек-Дроздовский, педагог В.П. Шереметевский, лучший чтец Щедрина, какого я когда-либо слышал... Они доставляли слушателям своим удовольствия гороздо больше, чем присяжные актеры. Юмор — дело все-таки интимное, и в комнате частного жилища его энергия разряжается ярче и заразительнее, чем в публичном зрительном зале. Даже Горбунов и Андреев-Бурлак преображались неузнаваемо, когда рассказывали не пред публикою и за деньги, а в приятельском кружке, и для собственного и друзей удовольствия. Лучшие современные рассказчики-юмористы — тоже не профессионалы и, хотя оба на эстрадах и сценах свои люди, но никогда не выступали публично ни с одним рассказом, да вряд ли и сумели бы выступить. А между тем в обществе с ними не могут равняться даже такие сильные комики, как В.Н. Давыдов, такие буффы, как покойный Мальский или здравствующий Сладкопевцев. Я говорю об известном творце великорусского оркестра — В.В. Андрееве и об известнейшем из известных Федоре Ивановиче Шаляпине. Лучших знатоков и мастеров русского бытового юмора я не слыхивал...

* * *

Читал в «Новой Руси» обстоятельную корреспонденцию о городе Поти, весьма лестную для местного городского головы князя Николадзе.

Князь Николадзе поверг меня в глубочайшее изумление.

Николай Яковлевич Николадзе, действительно, большой человек. Литератор, политик, грузинский националист, общественный деятель, промышленник-предприниматель, публицист. Во времена оны был близок к Герцену. В семидесятых годах издавал в Тифлисе газету «Обзор» — самую передовую во всей России, приводившую буйствами своими в от-

чаяние закавказских цензоров. Целый ряд их был уволен за то, что «не умели справиться с Николадзе». Другие после недолгой борьбы сами уходили в отставку, лишь бы не иметь дела с проклятым «Обзором», дерзким, как леопард, и увертливым, как лисица. Эпопея цензурных войн с «Обзором» достойна особой страницы в будущей истории русской журналистики. Объясняется длительное чудо их очень просто. В те времена Закавказье представляло собою status in statu *, в котором печать пользовалась почти что полною свободою. Чтобы показать, как широки и резки были посягновения «Обзора», напомню хотя бы знаменитое стихотворение покойного Симборского, появившееся на страницах журнала Николадзе немедленно после злополучного Зивинского боя 18-го июня 1878 года:

Под трубный звук, под звон кимвалов
На бой, как будто на парад,
Пошло тринадцать генералов
И столько ж тысячей солдат.
Был день тринадцатый в июне,
Отпор турецкий был не слаб.
Тринадцать раз мы лезли втуне,
Тринадцать раз напутал штаб.
Тринадцать раз не зная страха,
Полки бросались под удар —
И славил столько ж раз Аллаха
За их начальников Мухтар.
Под трубный звук, под звон кимвалов,
С лицом сияющим, назад
Пришло тринадцать генералов
И — ровно столько же солдат.

Если принять в соображение, что стихи эти могли быть напечатаны в столице кавказского наместничества в разгар войны, непосредственно после неудачи малоазиатской армии, главнокомандующим которой был именно

* Государство в государстве (*лат.*).

кавказский наместник, в<еликий> кн<язь> Михаил Николаевич, — как не вздохнуть тут, что «в старину живали деды веселей своих внучат»?

В другом стихотворении Симборский весьма прозрачно нападал на самого наместника, как «боржомского помещика». Наместник ограничился тем, что призвал цензора.

— Ты читал «Обзор»?

— Читал.

— Фельетон видел?

— Видел.

— Нравится?

— Нравится.

— Так, так... А кто это там, по-твоему, «гигант, из меди отлитой»?

— Я не знаю.

— Не знаешь?

— Не знаю.

— Я, дурак ты этакий, я!

Этим дело и кончилось.

Свежо предание, а верится с трудом!

В «Обзоре» же напечатан был пресловутый, будто бы, армянский гимн:

Одна Кура,
Один Терек,
Один Лорис,
Один Мелик!

И многие другие, впоследствии ходовые политические шутки.

В восьмидесятых годах Николадзе нашумел экономической статьей, за которую закрыты были «Отечественные записки». Вместо запрещенного «Обзора» он издавал «Новое обозрение» — лучшую из провинциальных газет своего времени. Когда-то я начал в ней свою публицистическую карьеру как фельтонист, музыкальный и художественный критик, и всегда вспоми-

наю с удовольствием это голодное, но веселое время *). Теперь стала известна (было оглашено в «Минувших годах») роль Николадзе как предполагавшегося парламентера в переговорах Лорис-Меликова с «Народною волею». Душа и голос грузинской партии, Николадзе видел громадное значение в городских хозяйствах всего Закавказья, начиная с самого Тифлиса. К сожалению, запутавшись в грандиозных предприятиях знаменитого в свое время Новосельского, Н.Я. Николадзе разорился наТквибульских каменноугольных копях и — в начале девяностых годов должен был ликвидировать дела свои, с «Новым обозрением» включительно. Блестящий публицист погас. Остался ловкий, умный и знающий делец, которого город Поти не замедлил призвать, яко варяга, чтобы упорядочить свое расстроенное, а вернее сказать, и никогда не устраивавшееся хозяйство.

Из корреспонденции «Новой Руси» видно, что Н.Я., как ему и в своих делах было свойственно, навьючил на шею потийцев преизрядные долги, но цепь городского головы носил недаром и весь свою посильно благоустроил.

Он им княжество управил,
Хоть казны им поубавил...

Так от Николая Яковлевича и надо было ждать. Мил, но дорог. Дорог, но мил.

Но — откуда же взялся князь?

Князь Николадзе звучит почти столь же дико, как звучал бы граф Огарев или барон Герцен.

Нико, Нико,
Разбойнико, —

какому пиковому королю пришла несчастная мысль прицепить к себе этого злополучного князя?!

---

*) См. в моих «Легендах публициста» очерк «Нефтяные неожиданности».

* * *

Живет на свете некая Лили и меняет любовников:

1) Вальтер Прель,
2) Рихард Денике,
3) Художник Келерман,
4) Доктор Сальмони,
5) Конрад Реншмит...

Это — кроме гимназиста, законного супруга и какого-то друга детства, с которым тоже чуть-чуть не вышла «любви пантомина», как выражался Иона Циник. Но, как известно, «чуть-чуть не считается».

Единственная мораль — как будто: «могущая вместити да вместится». Вещь не идейная, не художественная, и даже — не порнографическая. Просто — длинный и скучный анекдот об амурной всеприспособляемости красивой немки с темпераментом и превосходным здоровьем.

Пожалуй, «Песнь Песней» напоминает несколько — и даже довольно близко — пресловутый «Дневник падшей» г-жи Беме. Однако, надо отдать справедливость Зудерману: все же, хоть без пошлостей кисло-сладкого мещанства, которое доставило фальшивому «Дневнику падшей» чуть не всемирную славу. Со времен «Дамы в камелиях» жены европейских буржуа и содержанки их не проливали более умиленных слез, чем над этою лживою и вредною книгою. Не помню кто, — Гейне, Берне или Байрон, — говорил о блаженном Августине, будто он в своей покаянной автобиографии так вкусно расписал свои языческие прегрешения, что всякому читателю завидно: вот бы этак-то пожить! То же самое приходится сказать и о «моральных страданиях», воспетых г-жой Беме, кружевной и блондовой проститутки с «заработком» в сотни тысяч франков, благополучно успевающей выйти замуж за графа, приобрести превосходное имение и вообще жить

и любить в полное свое удовольствие, покуда не пришла смерть и не увела красавицу в прелестную могилку на великолепном кладбище. Причем и могилку-то оплатил заранее какой-то благодарный посетитель очаровательницы.

— Mein Liebhen, was willst du noch mehr? *

Что называется, давай Бог всякой!

Г-жа Беме притворилась, будто хочет писать ад тайной проституции и вместо того описала ее раем. Пикантно, но лживо, подложно и плутовато.

У Беранже есть песенка с припевом:

Ах, если б я
Была не я —
Была метресса короля!..

Вот единственное впечатление, которое может дать своей читательнице мнимо предостерегающий «Дневник падшей»... Роман Зудермана разливается в той же шикарно-беспутной обстановке, в сытом свинстве, которое буржуа самодовольно принимает за богему. Но повторяю: он хоть тем хорош, что предостерегать и учительствовать не берется. Просто путается Лили с кем ни попало, а Зудерман ее похождениям ведет зачем-то амурную статистику. И сухую-пресухую. Жила-была когда-то на свете некая Семенова, мнимая убийца Сарры Беккер, знаменитая тем, что с нее пошло в оборот и загуляло по печати слово «психопатка»... Так вот у нее был найден и оглашен по судебному следствию такой именно «человеческий документ» в виде дневника — классического по своему деловитому лаконизму. «Гуляла. Встретила. Поехала. Пала. Молодчина». «Гуляла. Встретила. Поехала. Пала. Дурак». И так далее. Perpetuum mobile! **

---

* Моя дорогая, что ты еще хочешь? (*нем.*)
** Вечный двигатель! (*лат.*)

* * *

К стыду моему, я никогда раньше не читал Шолома-Алейхема. Впрочем, половину стыда уступаю тем образованным евреям, которые, владея и жаргоном, и русским литературным языком, слишком мало заботились о том, чтобы ознакомить русского читателя с национальным своим сокровищем.

Из русских наберется, может быть, человек тысяча-другая, которые жаргон понимают, сотня-другая таких, что на жаргоне говорят, но сомневаюсь, чтобы нашлись хотя бы десятки умеющих читать на жаргоне. А когда спрашиваешь еврея:

— Что такое — Шолом-Алейхем?

Ответ — либо:

— Это — наш Гоголь.

Либо — гораздо чаще:

— Это — наш Горбунов.

От Гоголя до Горбунова — дистанция столь огромного размера, что — ежели Гоголь, то проезжать ее стоит, а ежели Горбунов — то лучше посидеть дома.

В новом журнале «Еврейский мир» напечатан рассказ Шолома-Алейхема — «Тевье-молочник уезжает в Палестину...» Это — самая трогательная, свежая, искренняя, художественно-яркая и лепкая вещь из всего, что читано мною за последние, по крайней мере, три года. Я не знаю, много ли подобных рассказов у Шолома-Алейхема, но достаточно уже двух-трех таких, чтобы поставить имя автора на высокое место в рядах европейской литературы. А ведь Шолом-Алейхем написал томы и уже справляет 25-летний юбилей своей писательской деятельности.

Приравнивать его к Горбунову просто смешно и пошло. Шолом-Алейхем десятью головами выше не только Горбунова, но и почти всех присяжных наших юмористов. Но он и

не Гоголь — нет! Это другой сорт юмора. В Шолом-Алейхеме чувствуется человек более светлой и нежной души. Скорее — Диккенс.

Если бы из десятков, если не сотен, еврейских юношей, которые в настоящее время посвящают себя литературному труду на русском языке, хоть некоторые — вместо того, чтобы плестись по протоптанным, истоптанным и затоптанным тропам всевозможного модерна и декаданса, — занялись переводами на русский язык хороших своих писателей и, в первую голову, Шолома-Алейхема, — они принесли бы и себе, и еврейству, и русскому читателю много пользы и удовольствия. Гораздо больше, чем — этот — кривляясь под Пшибышевского, тот — ломаясь под Бальмонта, сей — искажаясь под Брюсова, оный — коверкаясь, как сейчас блондин, сейчас брюнет, сейчас Арцыбашев, сейчас Кузмин.

Еще недавно из молодой среды литераторов-евреев вылетела много нашумевшая, но уже погасшая формула-искра: «Быт умер».

Я никогда в нее не верил, потому что эта фраза — заимствована по слуху из насквозь изжитых западных литератур, где, однако, тоже не умер быт, но до такой степени стерлись границы сословных и поколенных различий, что — подступиться к быту стало делом нешуточным и ответственным. Там быт грудами поверх земли не лежит, а — как золото в отвале выработанного рудника. Там он — высшая задача анализа тонкого и трудного, требующего большого внимательного таланта, искренней любви и родственного, наследственного чутья к своему народу. Такие таланты родятся редко. Каждый делает эпоху. А в промежутках между ними бушует и гремит выдаваемое за литературуру фокусничество слов. «Великим» писателем Франции оказывается умный и ловкий ритор Анатоль Франс, — по крайней мере, действительно, превосходный стилист — прикрывающий книжным скептицизмом и хорошим слогом полнейшее бездушие

и оторванность от жизни мира сего. В Италии «великого» писателя совсем нет, и должность его исправляет шарлатан и плагиатор д'Аннунцио, у которого за душою никогда ничего не было, кроме вычурных фраз, сопровождаемых многозначительными гримасами адепта якобы сверхчеловеческих проникновений...

Но — «умер быт» в народе, в котором «быта» даже искать-то не надо: чего ни коснись, все — быт, любопытнейший, свежий, типический, в резком рисунке, с яркими красками живой природы?!

Но — «умер быт» в молодой литературе, только что породившей такого слона-бытовика, как Шолом-Алейхем?!

Но — «умер быт» в новом литературном языке, который уже сам по себе весь — сплошной быт?!

Не умер быт, а только нарождается. И народится окончательно, когда еврейская литературная молодежь перестанет метаться вслед за налетными мотыльками чужих мод-однодневок, и каждый твердо нащупает вокруг себя свое, родное, постоянное, — и расскажет о нем так, чтобы свои его признали, а чужие общечеловечески поняли. Если бы я был еврей и знал литературный язык, на котором пишет Шолом-Алейхем, я не успокоился бы, прежде чем не перевел бы его на русский язык тщательно, метко и сильно. И думаю, что такой труд — хоть и не легок, но все же не столько труд, сколько — наслаждение.

* * *

Афоризм П.Б. Струве.

— Сажать капусту важнее, чем писать книги.

Бог в помочь!

Но это же из «Кандида»! Таким убеждением закончил свою философскую жизнь и деятельность вольтеров «Кандид».

Хотя Петр Бернгардович в плаваниях по морю житейскому испытал немало превратностей и успел приучить к ним

публику, но все же до приключений ученика премудрого Панглосса ему еще далеко, и к финалу во вкусе Кандида на огородническую пенсию Петр Бернгардович запросился преждевременно.

Притом: коль скоро сажать капусту важнее, чем писать книги, тем паче литератор, превращаясь в огородника, должен оправдать себя в новом звании целесообразностью, умением и успехом.

Иначе:

Ах, на что было огород городить?
Ах, на что было капусту садить?

Роль огорода под капусту П.Б. Струве сыграют, очевидно, «Вехи»... Действительно, нагорожено более чем достаточно. Максим Горький хорошо сказал об этих «Вехах», что они — палочки и соломинки, подобранные авторами по пути направо.

* * *

Г. Меньшиков тоже обещает, что, когда он умрет, то больше писать не станет и в следующем воплощении своем намерен заняться не журналистикою, но земледелием. Какая жалость, что мы живем слишком рано, и как счастливы отдаленные потомки наши, что они будут знать г. Меньшикова в земледельческом превращении, а не в нынешнем аватаре!

«Представьте, — говорит г. Меньшиков, — что я с достаточной энергией взялся бы за пустошь. Работал бы изо дня в день, как стальная машина, как латыш на псковских болотах. Нет ни малейшего сомнения, что при трезвости и упорстве через тридцать лет работы у меня не было бы, конечно, тридцати томов статей, которых даже я сам не в состоянии прочесть, но было бы тридцать десятин высококультурной земли».

В Италии, на генуэзском берегу, удобряют землю тряпичным перегноем. Жаль, что под книги употребляют теперь больше древесинную бумагу, чем тряпичную. А то, собственно говоря, если бы г. Меньшиков вывез тридцать томов своих статей, «которых даже он сам не в состоянии прочесть», полным изданием на тридцать десятин псковского болота, то результаты столь щедрого унавожения не замедлили бы оправдать расчеты г. Меньшикова, даже без необходимости ему воскресать в капустосадящей метампсихозе.

Обработку земли г. Меньшиков уподобляет библейскому чуду вроде того, как Моисей ударил жезлом по камню и потекла вода. «Ударяйте или просто двигайте известного устройства жезлом по земле, делайте это методически, не уставая, и через некоторое время из каждого дюйма земли польется нечто вкусное — пшеница, горох, гречиха, яблоки, капуста».

«Жезл есть палка, бадиг, скипетр» (Даль). При всем желании не могу поверить г. Меньшикову, чтобы, ударяя или просто двигая палкою, тростью, бадигом или скипетром (хотя бы известного устройства) по земле (хотя бы методически), возможно было разводить на каждом дюйме земли сев, огород, да еще на закуску и сад плодовый. Таких фокусов не делал жезлом известного устройства даже профессор натуральной магии и египетских таинств Боско. Впрочем, Боско вышел мальчишкою и щенком против Михаила Васильевича Кречинского. Настолько же, насколько Михаил Васильевич Кречинский — мальчишка и щенок сравнительно с Михаилом Осиповичем Меньшиковым. Не родилась ли в голове г. Меньшикова идея о жезле известного устройства при взгляде на плодоносное перо его, в изобилии приносящее счастливому обладателю своему не только морковь, горох, яблоки и капусту, но и вообще, что называется, булку с маслом? Перо писателя по латыни stilus, что тоже может быть переведено жезлом, а М.О. Меньшиков — известный классик.

Если бы сбылось по глаголу г. Меньшикова, то все крестьянство на земле только и делать будет, что колотить по пашням своим жезлами известного устройства. Покуда же оно, по неверию и невежеству своему, предпочитает пахать и боронить, о жезлах же думает, что из палки — разве на грех выстрелишь.

Слова г. Меньшикова, торжественные и загадочные, как рифмы Бальмонта, превращающие в стихи заговор от лихорадки, имеют еще одно сходство с заклинаниями. Подобно последним, они ставят человеку неисполнимое условие, при отсутствии которого чары теряют силу, а волшебная работа обращается в бесплодную чепуху. Известен случай, как некий алхимик только потому не успел превратить свинец в золото, что ему было строжайше запрещено во время опыта думать о белом медведе. И что же? Едва алхимик брался за тигель, как проклятый белый медведь влезал в мысли его и располагался в них полновластным хозяином до тех пор, покуда ученый, плюнув, не отказывался от опыта впредь до другого дня.

Г. Меньшиков белого медведя ученикам своим не прописывает, зато требует, чтобы земледелец работал, «не уставая», как «латыш на псковских болотах». Сомневаюсь в существовании неустающих латышей, равно как и в том, чтобы г. Меньшикову удалось «пристроить небольшие свои умственные (ох, что вы! — как можно! что вы!) и физические силы к реальному труду», не уставая, — даже хотя бы он и унавозил предварительно псковские болота тридцатью томами своих сочинений, которые даже сам не хочет читать.

Любопытная подробность: в идиллической статье своей г. Меньшиков дважды говорит об инородцах не только с снисхождением, но даже как бы с приглашением подражать оным. В первом случае — о латыше на псковских болотах, во втором, — о ужас! — даже о «жиде»: о пророке Моисее! Что сей сон значит? Уж не подкуплен ли Меньшиков японцами?

Не так давно г. Меньшиков предлагал ударять, тоже методически и не уставая, известного устройства жезлом, в просторечии именуемом лозою, не по земле, но по живым телам человеческим, так сказать, a posteriori *. За этот свой проект г. Меньшиков, помнится, удостоился великой хвалы от кн. В.П. Мещерского, как от старого колдуна, который обрадовался, что, помирая, имеет кому передать в наследие «слово» секуционного ведомства. Без такой передачи, как известно, ихнего брата земля не принимает. Теперь г. Меньшикову мало «уловлять человеков», и он добирается с жезлом известного устройства до лона самой матери-земли. Ксеркс когда-то высек море. Г. Меньшиков высечет землю — и посмотрите, добрые люди, как старая притворщица рассыплется задержанною недоимкою морковною, гречишною, гороховою, яблочною, капустною.

А с чего бы их всех, Меньшикова, Струве, «Вехи», на капусту тянуло? Добро бы пьющий народ, а то ведь похваляются, будто трезвенники. Что в капусте лестного? К капусте пристанешь, капустой и станешь, — говорит русский народ. А, впрочем, по его же примете «вешний пир капустой давят». Так что, быть может, в капустных символах нам предлагают лишь новую форму ликвидации бесчисленно и безнадежно угасших российских весен? «Коли хочешь есть, то и капуста в честь».

А, любопытно, право, будет посмотреть на П.Б. Струве, как он, на грядах сажая капусту, пересыпает зерна из руки в руку и ритуально приговаривает:

Не будь голенаста,
Будь пузаста,
Не будь пустая,
Будь густая,
Не будь красна,
Будь вкусна...

* Задним числом (*лат.*)

Последние два условия важны в особенности.

Пересыпание зерна из руки в руку, по народной агрономии, при посадке капусты — условие необходимое. Иначе уродится не капуста, а брюква. Совершенно подобно тому, как иногда вместо «Освобождения» вдруг выползают «Вехи».

Вот еще примета: не следует садить капусту в четверг. А то и завьется она тоже только после дождика в четверг. И получат тогда бедные М.О. Меньшиков и П.Б. Струве не чаемый урожай, но — опять-таки по народной поговорке — «окорок капусты и кочан ветчины».

* * *

Читаю «Догорающие лампы» М.К. Первухина. Автор — популярный на юге России газетный работник: одно из тех чудес многописания к удобочтению, которые только русская провинция умеет вырабатывать в совершенстве, перемалывая литературное дарование между беспощадными жерновами редакционной нищеты или скупости обывательского равнодушия и административного азарта. М.К. Первухину удалось избежать удовольствия перемолоться и мукою стать. Не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Истинным благодетелем г. Первухина оказался ялтинский Думбадзе, заставив талантливого журналиста бежать из-под крымских небес за «пределы досягаемости». Правда, благодеянием своим генерал Думбадзе чуть не уморил г. Первухина с голода, но, очутившись вне обязательств ежедневно «писать газету» с начала до конца, г. Первухин отдал досуги своей безработицы беллетристике и оказался в ней мастером хорошего и честного письма: и поэтом, и гражданином. Г. Первухин — художник чеховской школы, реалист без кривляний и вычурных претензий «убить оригинальностью» во что бы то ни стало. Добросовестно и уверенно роется он в хорошо знакомой ему обывательщине и твердою рукою лепит живые образы, надолго остающиеся в памяти читате-

ля. Тем более, что удачность некоторых созданий своих автор сам хорошо понимает и проводит их в нескольких рассказах, показывая то фас, то профиль. По темам, по любви к психологической возне с «маленьким человеком» из обывательского мещанства, г. Первухин напоминает Баранцевича. Баранцевич, проверенный по Чехову, — скорбь серенькой жизни, распластанная анализом «атомизма».

«Догорающие лампы» г. Первухина будут иметь успех у публики, которая любит, чтобы с нею говорили просто и ясно о вещах, в подлунной происходящих, а не на земле Ойле или, вернее, Ой-ли?! С каждым днем приходится с удовольствием убеждаться, что публики такой очень много, что вкусы ее тверды и крепки, и она в числе своем не малеет, но растет и множится. В то же время я нисколько не удивляюсь, если книжка г. Первухина будет обругана или замолчана критикою «модернистов». Но горя в том мало. Русская современная критика сплошь — «промеж себя» и на публику, по-видимому, никакого влияния не имеет. Публика созерцает рекламно-критические «Анкраморские битвы» как трагикомический балет или борцов в цирке, но выбор и оценку своего чтения слагает сама по себе. Меня навели на эти мысли, — вернее: подкрепили их во мне, — цифры недавней выставки произведений печати в Петербурге, обнаружившие действительное количество экземпляров, в котором печатались некоторые произведения с весьма многошумным критическим успехом. Оказывается, даже «Мелкий бес» Сологуба вышел только в количестве 2300 экземпляров, а «Огненный Ангел» Брюсова — всего 800.

Вместе с тем я знаю, например, что нисколько не уменьшается, а правильно и постоянно растет спрос на Максима Горького, которого по усердному и дружному уверению современной критики публика будто бы отодвинула во второй ряд, не читает и чуть не забывает. Его вещи переиздаются методически и механически. А «Знание» дутых изданий не

делает, как и «Общественная польза», выпустившая теперь сборник г. Первухина.

Любопытна судьба Андреева. *Каждое* первое его издание — действительно — настоящее наводнение, всепоглощающий потоп на книжном рынке. Но уже второе — весьма скромная речка, а дальнейшие — тихие ручейки. Впрочем, этот материальный ход андреевских книг вполне соответствует и общественно-моральному успеху их. Каждая вещь Андреева взвивается с молнийным блеском и грохотом, всех слепя и привлекая общее внимание, как фейерверк в ночи. Но — прекрасная ракета недолговечна, и уже следующая вытесняет ее из памяти людей. Многие ли сейчас помнят «К звездам»? Кого интересует еще «Савва»? В участи своих произведений Леонид Андреев, — выдающийся из ряду вон, ярко выразительный носитель современной обывательской психологии, — и баловень, и жертва своей современности: художник минуты, трагический фельетонист. Публика привыкла ждать от него не закрепления времен, но психического буйства мгновений. В этом и колоссальная сила его обаяния, в этом же и его слабость.

* * *

Читал перепечатанное многими изданиями патетическое объяснение «Русского знамени» в любви к своему собственному редакционному «жиду» — С.К. Литвину-Эфрону. Ах какое торжество семитизма!

В семидесятых годах был очень в моде водевиль, рекомендованный даже для народных театров. Он назывался:

«*Не тот жид, кто еврей, а тот жид, кто жид*».

Боюсь, чтобы излюбленный «жид» «Русского знамени», отказавшийся от еврейства, С.К. Литвин-Эфрон не был именно каламбурным жидом из этого коварного водевиля.

И даже с вариантом:

«Не тот жид, кто еврей, а тот жид, кто — Литвин».

За исключением, конечно, Фелии Литвин. Она неповинна, что у нее имеется однофамилец, написавший «Контрабандистов». Что касается народности литвинов, у коих г. Эфрон узурпировал свой псевдоним, им остается довольствоваться тем слабым утешением, что литвины вообще пишутся через «люди» маленькие, тогда как г. Эфрон-Литвин взял для себя «люди» прописные.

«Не по чину берешь!»

* * *

Читал в «Столичной почте» разговор с каким-то сотрудником «Нового времени», который упрекал левую прессу, что она сама «раздула» г. Меньшикова, обращая на него внимания гораздо больше, чем он заслуживает. «Столичная почта» хорошо ответила, что левая пресса в полемиках с Меньшиковым обращает внимание совсем не на г. Меньшикова, но на тех власть имеющих, чьих мнений г. Меньшиков является послушным граммофоном. Это так, но, я думаю, в горечи, с какою левая пресса принимает злобные беснования Меньшикова, имеется и еще один оттенок.

Великий пророк суфитов Гуссейн ибн Мансур, носивший прозвище Галлая, т.е. ткача шерсти, был приговорен к смертной казни чрез распятие, что и исполнено 15-го марта 1023 года в Багдаде. На лобном месте Гуссейн мужественно перенес все оскорбления толпы, все истязания от руки палача, но заплакал, когда его прежний друг и недавний суфит, ренегат Шибли, бросил в него грязью.

Гуссейна спросили:

— Ты не плакал среди стольких издевательств и пыток, — почему же заставляет тебя плакать комок грязи, брошенный рукою какого-то Шибли ?

Гуссейн отвечал:

— Другие не знают, на что они посягают, а Шибли знает.

Есть разница между щедринскою бабою, которая, узрев арестованных «сицилистов», забегает вперед, чтобы им «показать невежество», и Меньшиковым ибн Шибли. Баба не знает, что она делает, полоумный Илиодор не знает, даже паяц Пуришкевич вряд ли хорошо и отчетливо знает, — ну, а Меньшиков ибн Шибли знает до тонкости. И, таким образом, какие бы невежества ни показывали баба, Илиодор, Пуришкевич, — это лишь безобразно и пошло, но не удивительно. Но как же распинаемым Гуссейнам XX века не закипеть негодованим при зрелище какого-нибудь этакого Шиблина сына, швыряющего в них своею грязью, на заведомый перекор собственному знанию и совести?

Вот — дословная выписка из арабских сказок «Тысячи и одной ночи».

«Две силы управляют миром. Если они прямы и чисты, мир идет по прямому пути. Если они испорчены и дурны, мир впадает в испорченность. Это — *власть* и *наука*.

Правительство должно быть стражем прав своих подданных. Но прежде всего оно должно заботиться о сохранении согласия между теми, кто владеет пером, и теми, кто владеет мечом. Потому, что *тот, кто не уважает владеющего пером, падет и встанет горбатым*.

Начальник полезен лишь поскольку он справедлив, беспристрастен, препятствует сильным угнетать слабых и малых. В противном случае в нем нет надобности.

Всевышний Аллах запрещает судье добиваться сознания подсудимого, подвергая его пытке или голоду, так как это недостойно мусульманина.

Три слабости роняют судью: снисхождение и почтение к высокопоставленным подсудимым, пристрастие к похвалам и боязнь лишиться своего положения.

Гнуснейший грех — когда долго стоят на коленах, чтобы похвастаться благочестием.

Между гневом государя и твоей шеей оставь побольше расстояния, и лучше пусть тебя осудят заочно».

Этим арабским мыслям более тысячи лет... Приятно глядеться в их зеркало человеку XX века!

Как давно умны люди — и как долго они глупы!

* * *

Немножко желтой мудрости.

ИЗ КОНФУЦИЯ

Вести невежественный народ на войну, значит губить его.

Nota bene. Это было сказано за две с половиною тысячи лет до победы прусского школьного учителя при Садовой и поражения русских в японской войне!

Образовывай свой народ десять лет, на одиннадцатый год ты, пожалуй, можешь рискнуть повести его на войну.

Nota bene. Вниманию патриотов с короткою памятью, мечтающих возбряцать оружием под Балканами... 1908—1905 = 3... Всего только три! И в эти три — кто же о народном образовании заботился?!

То, что небо даровало человеку, составляет своею совокупностью его природу. Действовать соответственно с этою природою значит найти путь долга. Упорядочение и обеспечение этого пути постоянством правил называется системою образования.

Если система образования навязывает человеку ненужное и противное его природе, она фальшива и вредна, так как дает не знание, но лишь праздное утомление мысли.

Nota bene. И тем не менее в XIX—XX веке по Р.Х. Толстой роди Делянова, Делянов роди Боголепова, Боголепов роди Зенгера, Зенгер роди Шварца... Промежуточники — не в счет, яко подголоски.

Посмертные жертвы должны быть приносимы тому, кто дал народу законы, тому, кто умер исполняя свой долг, тому, чей труд способствовал укреплению и развитию государства, тому, кто бесстрашно и победоносно противопоставлял лич-

ные силы свои серьезным общественным бедствиям, и тому, кто избавил народ свой от большого зла. Только людям такой деятельности достойно приносить жертвы.

Чтение без размышления — потерянный труд; размышление без учения — ворота в бездорожную пустыню.

Сказал царь Танг: «Великий Бог даровал народу нравственный смысл, — инстинкт своих нужд и правильных путей исторической жизни».

Дело правителя блюсти пути эти, повинуясь нравственному смыслу народа.

Nota bene. Царь Танг — основатель династии Шанг в 1766 году до Р.Х. 1766 + 1908 = 3674... Почти четыре тысячи лет! И, увы, для российской «правой», с ее Бобринскими, Крупенскими, Келеповскими и т.д., эта китайская «конституция» до сих пор — неоткрытая Америка! И даже — крамола!

Нет ли одного слова, достаточного, как общее правило для руководства человека во всей его практической жизни? Да, есть слово: «Шу»*). Оно обозначаетъ: «Чего вы себе от других не желаете, того сами не делайте другим».

Ни сумма добра, ни сумма зла не исчезают из мира. Потомство семьи, которая накопляет в себе добро, со временем узнает счастье, а потомство семьи, накопляющей в себе зло, в свое время подвергнется жестоким бедам.

Любить ли, ненавидеть ли — может и умеет только истинно порядочный человек.

Ученый должен быть чуждым партийности. Всеобъемлющим умом охватывая жизнь, он сознает свое положение высшим всех других и не желает выйти из него. Всегда и везде он остается самим собою. Честность и искренность — его панцирь, а добродетель и приличие — его щит. Когда ученый верен своему пути, над головой его реет, подобно птице, милосердие. Даже самое свирепое и деспотическое правительство

---

*) Альтруизм

бессильно изменить образ мыслей ученого. Что бы оно ни делало, ученый не может отступить от своего пути.

ИЗ ЛАО-ЦЗЫ

Умножение запретительных узаконений пропорционально обеднению народа. Суровость наказаний размножает преступников. Чрезмерное обогащение страны случайными доходностями порождает деморализацию государства и семьи. Слишком большое увлечение искусством вводит в моду странную фантастику и безумства изощрений.

Nota bene. Разве первая, вторая и третья формулы Лао-Цзы не приходятся сейчас русской действительности, как шапки по Сеньке? Неудачный протекционизм девяностых годов разрешился в нищету вечно недородного государства. Ужасы исключительных положений и специальных судов подняли процент преступности до неслыханных размеров, совершенно уронивших ценность жизни в народе. Насильственный, напускной эстетизм интеллигенции дошел до решительного бегства от действительности, до «смерти быта», безобразных вычурностей и порнографии литературно-художественного декаданса.

Под чрезмерным обогащением страны случайными доходностями Лао-Цзы понимал главным образом приток золота чрез контрибуции после счастливых войн. Ну, этой радости России японская война не послала. Но что Лао-Цзы и в данном случае прав, — тому наилучшее показание — городские нравы Германии, в течение сорока лет страдающей несварением желудка после проглоченных ею французских пяти миллиардов.

Как чудовищно стары все хорошие слова и простые, верные мысли на свете! И как неслыханно ново, чтобы где-нибудь и когда-нибудь общество с ними хоть сколько-нибудь сообразовалось и их слушалось.

Когда Конфуций объяснил своим ученикам альтруистическую теорию «Шу»:

— Не делай другим того, чего от других себе не желаешь, — один из учеников сказал ему:

— Я так и поступаю, учитель.

— Нет, друг, — возразил Конфуций, — ты до этого совсем не дорос. Даже и у меня-то оно не очень выходит...

Конфуций имеет историческую репутацию величайшего учителя постепеновщины, политической выносливости, общественного терпения. Однако — он умер, говоря:

— Не стоит жить. Нет умного правительства, которое приняло бы мою систему, нет государственного человека, который проникся бы моим учением. Нечего мне ждать. Лучше умереть.

А перед смертью он все уединялся и в одиночестве пел:

Велика гора, а когда-нибудь должна же рассыпаться!
Толсто бревно, а и бревно лопнет!
Умен мудрец, но и его можно иссушить, как соломинку!

Читал я пресловутую «фефелу» г. Михаила Энгельгардта, за которую так жестоко ему достается... Главная ошибка г. Михаила Энгельгардта, по-видимому, крепко попавшего на стезю Конфуциева песнопения, заключается в том, что он спел свою песню не уединясь, как Конфуций, но всенародно и, следовательно, с риском «навести уныние на фронт». Это, конечно, бестактно и более чем напрасно. Но «так», «вообще» — ежели судить и рядить по человечеству — кто из «имеющих душу» не рычит подчас, оставаясь наедине с самим собой:

— Бревно — и то треснет! Камень — и тот рассыпется!.. Разве это жизнь? Гроб! Лечь — да помереть!

ЕРЬЗЯ

Это странное имя, будто выхваченное из мифологических стихов Сергея Городецкого, говорит о большом таланте русского происхождения, вынужденном политическими обстоятельствами привиться к далекой чужбине. Ерьзя — не фамилия. Это — имя мордовского племени. Мордва поволжская делится на два племени: ерьзя и мокша. Художник-мордвин закрылся, как вуалью от публики, общим именем своего рода. Под вуалью этою таится способность великая, сила могучая. Быть может, со времени Паоло Трубецкого русско-итальянское искусство не получало надежды более серьезной и уверенной.

Не правда ли, странно звучит сочетание слова «русско-итальянское искусство»? А между тем именно оно — правдиво, естественно и всегда к месту. Художество России и Италии тесно сходится в благородном, одухотворенном реализме, вне которого в живописи, скульптуре, музыке — ничто же есть, ежи есть. Италия оценила нашего Малявина, нашего Мусоргского, нашего Шаляпина. Мы больше чем какой-либо другой народ в Европе поняли их гениальных артистов — Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини, Элеонору Дузе и др. Покойный Эрнесто Росси говорил и писал мне много раз, что Россия для него — вторая артистическая родина. А публику русскую он любил больше своей итальянской, потому что находил ее более внимательною, более интеллигентною. Перед нею ему было приятнее играть. Артист в России — еще жрец и оракул, которому внемлют с благоговением, на которого смотрят снизу вверх. Да! Русская публика понимает итальянское искусство, итальянская — русское.

Чудесное промежуточное явление Паоло Трубецкого, полурусского по происхождению и тенденции в искусстве, итальянца по воспитанию, по культурным традициям, по латинскому здравомыслию творчества, превосходный символ для

этого художественного союза двух стран. Поверх немецких голов, рука славянского искусства тянется к руке искусства латинского и сливается с нею в пожатии крепком и надежном, потому что — логическом и обоснованном.

Ерьзя — тоже скульптор, как Трубецкой, и в значительной степени ученик и последователь Трубецкого. Впрочем, он так еще молод, а работал так уже много, что я не осмелился причислить его к какой-нибудь существующей школе. Видно, что молодой человек этот искал и ищет себя самого долго и внимательно и многие подражания и заимствования перепробовал прежде, чем нашел собственную дорогу. Если бы он остался только подражателем, хотя бы и совершенным, не стоило бы о нем говорить. Трубецкой, Роден, покойный Менье имеют подражателей десятками, если не сотнями, и между ними есть настолько успешные, что становятся чуть ли не более типическими для Трубецкого, Родена, Менье, чем сами гениальные учителя-образцы.

Выставка работ Ерьзи в Милане произвела глубокое впечатление на весь художественный мир. Артист, до выставки этой работавший над гипсами своими зимою в нетопленном сарае, стал известностью, начал получать заказы, приглашения на другие артистические выставки. Работы его стали продаваться. Создалось имя. Создалось одним вдохновением и талантливыми руками. Около Ерьзи не только не шумела реклама, но, если бы не открыла его одна молодая одесская поэтесса, которая обратила на него внимание некоторых русских артистов, журналистов и т.д., посещавших Милан зимою 1908—09 гг., то Ерьзя, вероятно, и посейчас бы мечтательно и одиноко мял глину в своем холодном бараке, полный образов, ждущих воплощения, и очень мало заботливый о хлебе насущном и злобах, довлеющих текущему дню.

Ерьзя выступил пред публикою во всеоружии зрелого и широко развернувшегося таланта. Его гипсы надо считать уже десятками, и по хронологии их легко следить, как учил-

ся и развивался этот человек, как исчезала в нем копия и возникал вдохновенный и вдумчивый оригинал. Его «Сеятель» (крестьянин-мордвин, портрет отца художника) и «Косарь» сделаны настолько в стиле Константина Менье, что их легко принять, по первому взгляду, за вновь открытые оригиналы этого художника. «Поцелуй», «Нищий в Ломбардии», этюд женской фигуры, будто переродившейся из скалы, — я не помню, как Ерьзя назвал эту работу свою, — такая же типическая роденовщина. В портретных бюстах и статуэтках часто и долго звучат ноты Паоло Трубецкого. Проходят лейтмотивы Бистольфи, Бьонди и др.

Но вот Ерьзя сбрасывает с себя все влияния, все непроизвольные и вольные заимствования, которыми окружила его беспорядочная школа самоучки, — и творит свою «Тоску». Когда я взглянул на вещь эту, моею первою мыслью было: «Это музыка Бетховена, окаменевшая в мраморе!»

Оригиналом для «Тоски» Ерьзя взял свое собственное лицо, но переработал черты свои такою глубокою идеализацией, что они стали как бы общечеловеческими. Каждый, кто видит «Тоску» эту, узнает в ней свою собственную и отходит, глубоко потрясенный. Искусство достигло своей желанной и высшей точки: оно сроднило человечество в одном впечатлении, заставило разнородные души звучать в унисон на одной и той же страдальческой ноте.

Не думайте, однако, чтобы Ерьзя был одним из тех нытиков искусства, от которых в нашей пессимистической интеллигенции теперь прохода нет, и — не знаешь, как их творчество воспринимать: не то панихиду пой, не то просто волком вой! Встречаясь с жизнерадостью, этот мордвин и сам умеет расцвести улыбкою и передать свою улыбку другим. В нем есть, когда надо, веселость и грация. Так, например, очаровательна его статуэтка — портрет молодой одесской поэтессы и певицы, Изы Кремер, портрет г-жи Зои Ворсиловой и др. Трагики, — а трагизм несомненно основная черта

в даровании Ерьзи, — обыкновенно умеют очень хорошо передавать комические роли. Вот, наоборот, — оно редко выходит удачно.

Когда Шаляпин — сам живая пластика — познакомился с произведениями Ерьзи, восторгу его не было границ. Он сейчас же предложил молодому скульптору ехать в Россию, поселиться в его имении, устроить мастерскую и работать, как Бог на душу положит, лишь бы побольше да по собственной воле, не считаясь ни с чем, кроме личного вдохновения.

— С наслаждением бы, — отвечал бедный артист, — но, к сожалению, есть препятствие.

— Какое? Денег, что ли, нет? Так не бойтесь, найдем!

— Нет, не то, а вот — для меня закрыта русская граница...

Sempre lo stesso! *

Сколько русских талантливых людей беспомощно маются сейчас за этим заповедным порогом! Сколько сил, которым родина нужна, как Антею — соприкосновение с матерью-землею, сохнет на чужбине в тоске по Волге, по степям малороссийским, по золотым маковкам Москвы, по широкому невскому разливу, по снегам кавказских гор. И — как подумаешь, как они-то на родине были бы хороши и полезны!..

* * *

Милые петербургские параллели.

В объявлениях «Веселого театра» гг. Ф. Комиссаржевского и Н. Евреинова читаю:

Сегодня: «Дивертисмент пародий, *с участием известных писателей*: Л. Андреева, Арцыбашева, Бальмонта, Брюсова, Белого, Ф. Сологуба, В. Иванова, А. Куприна, И. Рукавишникова и др.

Завтра: «Дьявольский маскарад», *с участием* 5 собак.

---

* Не имеет значения, неважно! (*ит.*)

Певец любви, певец богов,
Скажи мне, что такое слава?

Переход на собачье положение!

Сегодня — литераторы, завтра — собаки... Чудесное чередование! Голодающий Пикилло в «Периколе» негодовал когда-то на толпу, которая предпочитает собачью комедию святому искусству. Но, даже голодая, сам он в собачьи труппы не определялся. А, впрочем, вернее будет сказать не «даже», а — наоборот — именно потому, что — «голодая». До подобных милых забав и шутовских конкуренций люди, только сбесившись с жира, доходят.

А, впрочем, как выразительно пишет в «Новой Руси» г. Вл. Боцяновский, — «любая собака, если бы вдумалась в то, как живет человек, ни за что не переменила бы своего чистого имени на имя человека и предпочла бы именоваться животным».

Быстро меняются времена. Давно ли «человек» звучал гордо? Звучал, звучал, да и — вдруг:

— Не хочу... Перекрестите меня в Трезора!

* * *

Спросил я недавно одного литератора:

— Собственно говоря, — зачем вы пишете?

Он отвечал:

— Коль скоро мне за сие платят хороший гонорарий, то вопрос ваш странен и, до известной степени, даже предосудителен.

* * *

«Новая Русь» доводит до сведения почтеннейшей публики утешительное известие, что какой-то беззастенчивый господин переделал «Горе от ума» — на похабный лад — в «Горе от любви», написанное свободным стихом и, как выражает-

ся газета, «строго выдержанное в стиле комедии, которую оно пародирует»

Черт возьми! Вот открытие! Неужели Грибоедов писал в строго-похабном стиле?

Собственно говоря, предприимчивый похабник опоздал. Сквернословная пародия на «Горе от ума» существует уже лет сорок и очень популярна в семинариях, в кадетских корпусах, в привилегированных и непривилегированных закрытых учебных заведениях. Авторами этого искусно рифмованного словоблудия называют многих писателей, но истинный сочинитель его — весьма популярный в Москве и Петербурге семидесятых годов — нотариус О.

Большая разница старой пародии с новою: та не имела претензий на всенародность и конфузливо таилась в рукописных потемках, выползая на свет лишь среди пьяных компаний. Новая —даже «драматической цензурой разрешена к представлению на сцене».

Все совершенствуется.

А затем: нотариус О., как человек, хотя шаловливый, но литературный, никогда не позволил бы себе назвать свою пародию «Горе от любви».

Хоть бы вспомнили старый красивый стих о том, как тифлисская могила на Св. Давиде объединила в себе:

Два горя: горе от ума
И *горе от любви...*

Горе А.С. Грибоедова и горе жены его, урожденной кн. Н.А. Чавчавадзе.

Когда-то она написала на надгробии мужа своего:

Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,
но для чего пережила тебя любовь моя?

А вот именно для того, чтобы пришел Иванушка-дурачок с нутряным смехом и сочинил бы из «горя от любви» надмогильное шутовство с матчичем...

Вообще, «Горю от ума» дьявольски не везет в последнее время. Достаточно уже того несчастья, что знаменитый в своем роде М.М. Иванов (музыкальный критик «Нового времени») переделал комедию Грибоедова в оперу...

Воображаю!

МИРОК ОБМОЛВОК

Нашел в «Одесских новостях» статью талантливого В. Жаботинского об евреях в Салониках. Очень интересно и живо. Единственная обмолвка:

> Будучи в Салониках месяца три тому назад, я посетил знаменитую тюрьму Еди-Кулэ (Семь башен).

Еди-Кулэ находится в Константинополе, а не в Салониках. Государственная солунская тюрьма называется Биаз-Кула (Белая башня). Название это дано ей сентиментальным тигром — бывшим (ах, с каким удовольствием пишется это слово!) султаном Абдулом-Гамидом — взамен народного прозвища Канлы-Кула (Башня крови).

Кстати из мира обмолвок. В последнее время они на страницах газет и журналов наших падают дождем. Например:

> Одна из самых печальных и трогательных историй о народных пленениях рассказана у *Давида* в его бессмертном псалме «На реках *Вавилонских*»...
>
> А. Косоротов. Театр и искусство. № 15.

Давид жил этак лет за тысячу с лишком до Р.Х. Принято считать, что он родился в 1085 и умер в 1001 году.

Вавилонское пленение относится к началу VI века до Р.Х.: около 585 года.

1001 — 585 = 416.

Таким образом, оказывается, что Давид сочинил свой бессмертный псалом мало-мало 416 лет спустя после того, как отдал Богу душу.

За закуску и вонь у открытого буфета Малыгин также не платил.

Новая Русь. № 99

Уж и за вонь плати! Не жирно ли будет?

Общество любителей Российской словесности избрало почетными членами… и итальянского писателя Анджело Купернаки.

Речь. № 99.

Бедного Анджело Губернатиса погречили, точно он — экспортер пшеницы.

На аки, на раки, на пуло, на дуло
Кончаются прозвища их…

А, впрочем, поделом. В последние годы старый демократ — бывший личный секретарь Герцена — начал аристократничать и даже не то купил, не то выхлопотал себе графский титул... Граф Купернаки! Красиво звучит, нечего сказать!

По поводу триумфа «Кривого зеркала» в Москве «Русское слово», «перефразируя старые курочкинские (!) стихи», пишет, а «Театр и искусство» (№ 20) повторяет:

Поехать в «Буфф» —
Одна утеха.

Некрасова-то не грех бы помнить. А то ведь этак — если «Юбиляры и триумфаторы» оказываются Курочкина сочинением — немудрено и «Коробейников» приписать Минаеву и «Рыцаря на час» — Гейне из Тамбова.

У меня есть старая картина XVI века, — по-моему, *Луки Джордано*...

А. Кугель. Театр и искусство. № 2.

Лука Джордано родился в 1632 году и умер в 1701!

Г-жа Авчинникова-Архангельская восторженно живописует небезызвестную парижскую журналистку м-м Северин. Фигура, к слову сказать, политически не совсем ясная, а, пожалуй, даже и двусмысленная. Так что с разбиванием лба перед нею и кадильным фимиамом русской печати лучше было бы обождать — «впредь до суда истории»...

Элегантная женщина с красивым, еще молодым лицом и уже серебряными волосами. Ярко-пурпуровая, перевитая голубыми лентами, шевелюра...

«Сейчас блондин, сейчас брюнет». Какого же в конце концов цвета волосы г-жи Северин? Серебряные или ярко-пурпуровые? Не говорю уже о том, что пурпуровых, то есть ярко-пурпуровых волос в природе как будто вообще не бывает. Если, конечно, не считать лошади Ноздрева: та была, помнится, даже не фиолетовой, а прямо-таки голубой шерсти.

Описание — из старого водевиля «Тетеревам не летать по деревам». В нем когда-то Шумский смешил публику, вбегая на сцену, запыхавшийся, с вопросом:

— Не приходила ли сюда барышня? Такая беленькая? Такая черненькая?

Еще.

Предварительная цензура процветает здесь (в Николаеве) во всей своей первобытной красоте. Некрасовский Яков также исправно топчет свои подметки, таская каждый вечер материал в гранках на цензуру одного из чиновников градоначальства.

Очень печально. Но — причем же тут некрасовский Яков?! Дядюшка Яков торговал больше грушею и сбоиной маковой, кои, кажется, контролю цензурного ведомства все-таки еще не подлежат. Что касается другого некрасовского Якова — «холопа примерного, Якова верного» — он преждевременно повесился на вожжах, чрез что и к хождению по цензуре сделался неспособен.

Вот — некрасовскому «дедушке Минаю» — тому в Николаеве, по-видимому, действительно, туго приходится, и на подметках терпит он убыток большой. Вотще ликовал когда-то старый рассыльный:

Баста ходить по цензуре.
Ослобонилась печать...

Боже мой! И — как подумаешь, что ликующим стихам этим уже 43 года! Почти полвека и — хоть бы на линию сдвинулся проклятый лежачий камень, под который живая вода не течет.

Еще.

И стало мне так неприлично, так неприлично.
Читателю при чтении повести, становится все более и более «неприлично» в том смысле, как употребляла это слово горничная в одной из пьес Горького...

Вл. Боцяновский. Н. Русь. № 107.

Во-первых, не у Горького, а у Чехова.

Во-вторых, не в пьесе, а в рассказе «Детвора».

В-третьих, не горничная, а «барское дите», шестилетняя девочка Соня.

Никогда, кажется, не было в журналистике русской большей моды говорить вместо своих слов литературными цитатами, чем за последние полтора-два года. Но — охота смертная, а участь горькая... Каждый газетный номер приносит какую-нибудь редкость.

Litterarum intemperantia laboramus! *

Из того же автора:

Карикатуры стали рисовать только после того, как появились сатирические журналы.

Театр и искусство. № 7.

* Страдаем неумеренной ученостью! (*лат.*)

Очевидно, «Simplicissimus» * издавался уже в древнем Риме, «Journal Amusant» — в Афинах, «Punch» — в Мемфисе, «Asino» — в Ниневии, а «Сатирикон» — в Бенаресе либо в Пекине, под редакцией Конфуция, что ли. Потому что и древний Рим, и Афины, и Египет фараонов, и ассиро-вавилонская цивилизация, и Индия, и Китай обладали превосходно развитою карикатурою.

У нас на Руси еще не только сатирическими, но и никакими журналами не пахло, а карикатура уже создала такой своеобразный chef-d'oeuvre** политической сатиры, как «Мыши кота погребают»: отклик старой Москвы на кончину Петра Великого. Загляните в «Русские народные картинки» покойного Д.А. Ровинского!

В.Ф. Боцяновский пишет в «Новой Руси»:

> Несколько слов pro domo sua ***. Сейчас прочел в «Одес<ских> нов<остях>» фельетон А.В. Амфитеатрова, в котором он указывает, что в своем недавнем фельетоне я приписал фразу: «И мне вдруг стало так неприлично», — совершенно неверно «какой-то горничной, из пьесы Горького», тогда как эта фраза стоит в «Детворе» Чехова.
>
> Горничная, к которой так недоверчиво относится А.В. Амфитеатров, именуется Фимой и весьма долго состояла в услужении у «Детей солнца» Горького. Откуда она взяла эту фразу неизвестно, но произносит она ее точь-в-точь, как у меня она была приведена и как она напечатана в сборнике «Знания».

Вот это и жаль, что «откуда она взяла эту фразу, неизвестно». Литературный вчерашний день Чехова, казалось бы, не так уж далек.

Цитата имеет смысл, когда берется из первоисточника, который ввел ее в литературный и разговорный обиход. Рассказ Чехова старше «Детей солнца» лет на 15 и не только широко известен, но успел сделаться классическим, чего о «Детях солнца» сказать нельзя.

---

* «Простодушнейший» (*лат.*).

** Шедевр (*фр.*).

*** В защиту себя, о себе, своих делах (*лат.*).

Что касается моего недоверия к «какой-то горничной из пьесы Горького», оно обясняется именно тем обстоятельством, что В.Ф. Боцяновский сам определил ее только «какою-то», и нынешняя «Фима» заменила сие местоимение, очевидно, после книжной справки.

* * *

Из всех известных мне девизов я больше всего люблю французский: «Quand même»*.

«Слово». № 788.

Как есть, из записной книжки Гоголя: «Люблю деспотировать с народом совсем дезабилье» **.

* * *

В последнее время в русских газетах то и дело встречаешь:

Стреляли *по нему*...
Шли *по нему*...
Плачу *по нему*...

Откуда это безобразие взялось? Нельзя подумать, чтобы были опечатки, так как случается встречать безграмотное «по нему» единовременно и в петербургских газетах, и в киевских, и в одесских. Очевидно, — добросовестное заблуждение, «незнанья жалкого вина», а не ошибка.

По нем, милостивые государи мои, *по нем*, а не по нему!

И путь *по нем* широкий шел,
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец...

Пушкин

* «Вопреки всему» (*фр.*).
** Не вполне одетым (*фр.*).

Путь широкий давно
Предо мною летит,
Да нельзя мне по нем
Ни летать, ни ходить...

Кольцов

Юг вообще почему-то не любит предлога «по» и не умеет им распоряжаться.

Он скучает не по ком, не о ком, но — за кем...

— Отчего вы печальны? — спрашивал известный московский педагог В.П. Шереметевский гимназистов-южан.

— Я скучаю за мамашей.

Шереметевский вооружался журналом и возражал:

— Поскучайте кстати и за единицею.

Как-то раз я указал это южное «за» Антону Павловичу Чехову — уже не припомню, в каком именно его рассказе. Редко видел его таким сконфуженным. Посмотрел в книгу, покачал головою, почесал бровь и сказал басом:

— Послушайте же... это — Таганрог!..

«Сам» вместо «один».

«Запомнить» в смысле «забыть».

«Займи мне» вместо «дай взаймы» или «ссуди»...

Я лично присутствовал в Париже при такой сцене.

— Займите мне пять франков.

— Зачем же? Я могу и сам дать.

— То-то вот я и говорю: займите мне.

— Да зачем же занимать? У меня есть.

— Так вот, если есть, и займите.

— Да не хочу я занимать, — возьмите, пожалуйста, мои...

И так далее.

Просил житомирец, отвечал москвич. Насилу столковались.

* * *

Абдул-Гамида сравнивают в русских газетах с Нероном. Это — постыднейшая лесть Абдул-Гамиду и злостное поругание Нерону.

Как автор «Зверя из бездны» и «Антиков» и в некотором роде специалист по Нерону, я глубоко возмущен несправедливостью, которую российское историческое невежество оказывает памяти последнего Юлия Клавдия.

Тринадцать лет правления Нерона стоили римскому гражданству всего лишь 127 имен, исчезнувших в смертной казни или ссылке по политическим делам. Менее десяти на год. И, однако, этого количества было достаточно, чтобы Нерон навсегда остался в памяти впечатлительной Клио беспримерным чудовищем и зверем...

Как, однако, нервна была муза истории девятнадцать веков тому назад! С тех пор восприимчивость ее ослабела и нервы закалились.

127. Всего 127! И смеют после того Нерона обзывать — хотя бы — Абдул-Гамидом?

Бедный Нерон! За что терпит напраслину на том свете? Единственно за свое добродушие.

О САШЕ ЧЕРНОМ

С огромным и глубоким, редким наслаждением прочитал я сборник «Сатир» Саши Черного. В этой умной и сильной книжке прекрасно все, кроме, пожалуй, заглавия. Оно суживает характер и значение поэзии Саши Черного. Сатиру мы привыкли тесно связывать с публицистикой. Теоретически привычка эта неправильна, но правда практики в веках победила теорию. Нет в истории литературы такого сатирика, при имени которого в уме не вставало бы представление не столько о поэме, сколько о стихотворствующем риторе-публицисте. Между тем Саша Черный совсем не ритор, но, прежде всего, именно поэт. Отличительная, основная черта поэтического характера — мышление образами — сказывается в его творчестве с энергией преобладающей, с рельефностью поразительной. Скажу даже больше того, слабейшую часть сборника составляют стихотворения на случай, обрабатывающие злобу политического дня, и эпиграммы. До такой степени в формации вдохновений Саши Черного публицистика является наносным слоем, чуждым интересом, посторонним впечатлением. Здесь Саше Черному, если не обязательно приходится, то часто случается насиловать свой талант выдумкою, искусственным нанизыванием «смешного» на общую нитку

заданной предвзятости. Петроний, Стерн, Гоголь, Гейне (имеющий на молодого поэта самое большое влияние), Беранже, Некрасов как лирики-юмористы ближе дарованию Саши Черного, чем сатирики чистой воды: Ювенал, Свифт, Берне, Барбье, Салтыков, Сухово-Кобылин. У последних он выучился сатирической смелости бесцеремонно крупного слова, перенял боевые удары жесткими гиперболами, с первыми он — родственник по духу. И уже одно то обстоятельство, что после книжки Саши Черного приходят в голову воспоминания о таких славных мертвецах прошлого смеха, свидетельствует, какое чудесное обещание имеем мы в молодом поэте.

Не знаю, будет ли выполнено это обещание, и совсем не собираюсь слагать в честь Саши Черного дифирамбы авансом, но его короткое прошлое и наличное настоящее, выражаемое книжкою «Сатир», позволяет сказать с полною уверенностью и определенностью, что такого оригинального, смелого, свободного, буйного лирика-юмориста, такой мрачно-язвительной, комически-унылой, смешно-свирепой стихотворной маски не появлялось на российском Парнасе со времен почти что незапамятных. Свободою стиха Саша Черный напоминает блестящих поэтов «Искры»: Курочкина, Жулёва, молодого Вейнберга, юного Буренина. Жулёв — Скорбный Поэт — был бы ему больше всех сродни, как самый демократический из них по настроению и самый звонкий ритмом и рифмами.

Товарищ, не ропщи!
Хоть мы с тобой иззябли
И лишь пустые щи
Едим, как мизерабли...
На днях вот богача
От преизбытка пищи
При помощи врача
Стащили на кладбище.

Какой был крик и вой, —
Пересказать нет средства! —
Ну, точно на Сенной —
Из-за его наследства.
Придет пора и нам,
Но мы с тобой, дружище,
Отправимся к отцам,
Без шуму на кладбище.
Потащат нас с двора
На скорбной колеснице —
Adio! — фельдшера
Обуховской больницы!

Этому стихотворению Скорбного Поэта пятьдесят лет, но оно не прозвучало бы в сборнике Саши Черного диссонансом ни содержания, ни формы. Но Жулёв — забытый автор «Страшного флейтиста», «Трагедии в Летнем саду», «Песни о карете», «Витязя и дамы» и множества других остроумных петербургских шаржей, далеко менее забытых, чем их автор, потому что масса бойких стихов и куплетов вошла в обиходную цитату, в уличную песню, даже проникла в народ, — но Жулёв имел музу веселее и здоровее, чем досталась Саше Черному. Жулёв принадлежал к первому демократическому поколению интеллигенции, нахлынувшему из провинции бедовать в Петербурге. Здоровая заправка деревенскими хлебами еще бежала в его крови, и не только кровь, но и, как говорится, селезенка играла. Латинский квартал старого Петербурга имел жизнерадостные запасы хохочущей способности faire bonnes mines au mauvais jeu *, коих поздно искать в переутомленном Латинском квартале Петербурга нового, рекомендующем обитателя своего хотя бы таким прелестным портретом:

Кожа облупилась, складочки и складки,
Из зрачков сочится скука многих лет.

* Улыбаться при проигрыше (*фр.*); в знач.: притворяться довольным.

Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?
Я?! О нет, не надо, ради Бога, нет!
Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма
И иду к корзине складывать багаж:
Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,
Желтые ботинки, Брюсов и багаж...

Гризетка Жулёва («Что за скверная девчонка») и девица «Совершенно веселой песни» Саши Черного — одно лицо, но перекосившееся в смене поколений от водевиля к загулу с истерикой, от канкана у Ефремова или Марцинкевича к danse macabre *.

Думай, думай — не поможет.
Сорок бед — один ответ.
Из больницы на рогоже
Стащат черту на обед,
А пока,
Ха-ха-ха,
Не толкайся под бока!

Саша Черный пишет после Достоевского с карамазовщиною, после ницшеанства российского, после непротивленного прекраснодушия толстовского, после двадцатилетней эволюции декаданса после разочарований и распадений марксизма, после крушения революционной мечты, под веянием душного сирокко тяжкой реакции. Все эти влияния отложились на его даровании неизгладимыми пережитками и придают его творчеству сложность и острую едкость, незнакомые веселому Жулёву с товарищами. Тот и не мечтал о них, да и не мог мечтать. Шестидесятые годы — расцвет материалистического фанатизма, эпоха большой прямолинейной веры, убежденной в своей победной непогрешимости и потому, — за

* Пляске смерти (*фр.*); музыкальная пьеса мрачного или шуточного содержания в форме танца.

пределами прямых общественных битв, где она свистала свирепою сатирою, — смеявшейся довольно добродушно: как над глупостями маленьких — с взрослого высока. Стихотворения Саши Черного часто хватают современность в глубину психологическими штрихами, которые и не снились поэтам «Искры», а если бы приснились, еще Бог весть, не стали ли бы они от штрихов этих чураться, — дескать, «лира, чистая лира»! Надо вспомнить и принять в соображение, что «лиры»-то мы, даже в восьмидесятых годах еще стыдились, как порока, взрослых людей недостойного. Посмотрите-ка «почтовые ящики» в юмористических журналах того времени: сколько попреков «лирою» приходилось получать от редакторов нам, тогдашним дебютантам!

Это лирическое превосходство современного юмориста над прошлыми особенно ярко сказывается, когда им, детям двух разных веков, случается встретиться в теме. Вот, например, «Городская сказка» Саши Черного о филологе Фаддее Семеновиче Смяткине, который влюбился в

Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра, —
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.

Она совершенно однородна и по настроению, и по сюжету с весьма известным стихотворением покойного Вейнберга (Гейне из Тамбова): «Я любил ее так страстно, так высоко-поэтично», — включительно до трагического финала:

И шептал я: «Дева рая,
Доктор, доктор медицины!»

Стихотворение Вейнберга считается как юмористическое образцовым, не раз попадало в хрестоматию (Гербеля и др.), но нельзя не сознаться, что «Фаддей Семенович Смяткин»

совершенно раздавил его своею сильною, жестокою и неотразимою образностью. Разочарования однородны, но Вейнберг отразил в своем разочаровании еще недавнего тогда притворщика-зубоскала барона Брамбеуса, а в разочаровании Саши Черного отразилась не только печальная улыбка Антона Чехова, но даже и как будто мелькает сквозь нее гримаса Достоевского. Этот ведь тоже умел иногда быть смешным! Да еще как!

Другой пример. Пастель Саши Черного «Пошлость» и «Житейская пошлость» в «Даме, приятной во всех отношениях», сатирической поэме В. Курочкина на 1865-й год, — бабушка и внучка. Но опять-таки старый ученик Беранже и Барбье затмевается молодою энергией поэта, обвеянного могучим духом Бодлера. «Пошлость» — один из самых резких по общему тону и бесцеремонности образов, ямбов Саши Черного, — настолько, что сам он будто смутился немножко и запросил читательского снисхождения:

Портрет готов, карандаши бросая,
Прошу за грубость мне не делать сцен:
Когда свинью рисуют у сарая —
На полотне не выйдет Belle Helène *.

Напрасно. Из всех российских бытописателей-Петрониев Саша Черный более чем кто-либо другой имеет право приложить к себе характеристику Юста Липсия: «Auctor purissimae impuritatis» **. Он имеет право написать какую угодно непристойность, потому что она будет облагорожена его искренностью и непосредственностью. Вырвется, как необходимость, из реализма, диктующего верный и точный образ для действительно наблюденной мерзости, а не из меч-

---

* Прекрасная Елена (*фр.*).
** «Писатель, нисколько не запятнанный мерзостями» (*лат.*).

тательной самощекотки отрицательными, но нравящимися автору призраками, плачевный пример которой мы видим, например, в «Мертвой зыби» О. Миртова, не из сладостного купания в житейских грязях. Саша Черный — антипод В.В. Розанова. Саша Черный пишет только о грязи — выходит хрустально чисто, г. Розанов пишет только о возвышенно чистом — выходит грязно.

Одно из стихотворений Саши Черного снабжено эпиграфом из «Проклятия зверя» г. Л. Андреева и представляет к тому произведению довольно язвительный комментарий. Но, в сущности, вся книжка Саши Черного — своеобразное «Проклятие зверя», проклятие жизни, раздавленной городом, городу, ее раздавившему, — проклятие Петербургу.

Добро, строитель чудотворный!
Ужо тебе! —

посулил когда-то Медному всаднику несчастный, обезумленный петербургским наводнением Евгений, потомок предков, блиставших на страницах Карамзина, но — «сам он жалованьем жил и регистратором служил» («Родословная моего героя»).

Правнук его, петербургский интеллигент Саша Черный, допевает мрачную песню предка:

Петр Великий, Петр Великий!
Ты один виновней всех:
Для чего на север дикий
Понесло тебя на грех?

Восемь месяцев зима, вместо фиников — морошка,
Холод, слизь, дожди и тьма — так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой...
Где наше — близкое, милое, кровное?
Где наше — свое, бесконечное, любовное?
Гучковы, Дума, слякоть, тьма, морошка...

Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?

И этого *страшного* поэта иные провозглашают смешным забавником? Да, он смешон и забавен, как Павел Иванович — «Вечный муж», как Фома Опискин и жертвы его в «Селе Степанчикове», как остроты Федора Петровича Карамазова, как г-жа Хохлакова в диалоге с Митею Карамазовым... Только смеху этому не обрадуешься и, чем видеть перед собою жизнь, полную обещаниями забав подобных, — пожалуй, — в самом деле начнешь из окошка поглядывать с вожделением на панель. Смех оскаленного черепа, пируэты скелетов на кладбище. Вопль разложения физического и морального, зубовный скрежет кровных обманов напрасной жизни:

Были яркие речи и смелые жесты,
И неполных желаний шальной хоровод.
Я жених непришедшей прекрасной невесты,
Я больной, утомленный урод...

Когда-то г-жа Гиппиус, талантливая и чуткая женщина, устами псевдонима Антона Крайнего, враждебно обмолвилась тем более верным, что наивным предостережением буржуазному декадансу, коего она была пророчицею: не брать слишком всерьез Антона Чехова как пассивного эстетического страдальца, последнего певца разлагающихся мелочей, — иначе в победительном пессимизме своем он покажется читателю велик и страшен *). Смех и песня — старые экраны между жизнью и страхом жизни, и Galgenhumor** — веселое приспособление идеи о виселице к инстинкту самосохранения, который виселицу отрицает. Стихи Саши

*) Смотри во втором издании моих «Курганов».
** Юмор висельника (*нем.*)

Черного — в этой категории. У них могут быть два читателя с двумя разными манерами чтения и двумя разными впечатлениями. Читатель, барахтающийся в жизни, успевая лишь фотографировать розничным сознанием ее текущие минуты, невольно хохочет в такт уморительным кривляниям их меткого кинематографа. Читатель, нашедший в жизни дорогу обобщений, обогатившийся каким-либо, хотя бы условным, синтезом мировоззрения, закроет эту книжку, как беспощадную скептическую поверку, со словом:

— Страшно!

...О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный.
И... это навек!

Я слегка изменил последний стих, чтобы сохранить идею Саши Черного, не удлиняя расползающуюся цитату двумя дальнейшими стихами, неудачными, как нравоучительный комментарий. Большая молодость Саши Черного часто сказывается боязнью за свою понятность — боязнью таланта, неопытного в впечатлении, которое он производит. Он все опасается, что читатель не поймет его поэтического образа, и на этот плачевный случай старается, сказавши для избранных, затем растолковать сказанное во всеобщее употребление. Эти человеколюбивые старания иногда порождают повторения и длинноты, общие места, которые из дальнейших изданий книги своей поэт, — я уверен, — выбросит за совершенною их ненадобностью. Вообще из сотни стихотворений, вошедших в сборник Саши Черного, автор мог бы смело одною четвертью пожертвовать, высыпав их, как балласт, задерживающий быстрый подъем воздушного корабля. Что же это? Плохие, что ли, стихотворения? Нет, не то чтобы плохие, а так, только, — что называется, на редакционном жаргоне «читабельные»: прочесть их можно без обиды за

истраченное время, но в уме они не застревают, и мог бы их написать и другой кто-нибудь, а не Саша Черный. Хронический журнальный способ публикации, которому подчинилась его поэзия, неминуемо накладывает на нее характер некоторой спешности и ремесленных компромиссов. Тем суровее должен быть в качестве автокритика поэт к отдельному изданию своих стихов. Все, что он печатал в журналах, пред экзаменом отдельного издания, — не более как корректура к авторской правке, а то иногда и черновая рукопись.

Как я уже сказал, Саша Черный мог бы без ущерба для сборника забыть в архиве журнальных страниц некоторые стихотворения на злобы политического дня: они растаяли, а стихи, к сожалению, были не настолько сильны, чтобы дать им жизнь вечную, как, например, некогда дали жизнь вечную диспуту Погодина и Костомарова о происхождении Руси свистящие пародии Конрада Лилиеншвагера. Но и в этом отделе Сашею Черным брошено несколько сатирических перлов, которые наверно переживут тех, которым они преподносятся: «Невольное признание» (Гессен и Милюков), «Анархист», «Баллада». Грубее юмор баллады «По мытарствам» (о Меньшикове), зато выруган пресловутый автор «писем к ближним» столь крепко и липко, что вряд ли даже ему, многострелянному, вдругорядь так получать приходилось.

Чтобы дать понятие о способности поэта к «невинному» юмору, достаточно было бы из отдела «Провинция» одной прелестнейшей «Первой любви» и из отдела «Лирические сатиры» блестящей, гейневской шалости «Песнь Песней». Потому что глубокая и умная сердечная «идиллия» «Жизнь» в первом отделе и острое вступление «Под сурдинку» во втором уже отлично нашли бы себе место в отделе «Быт». Остальное в названных отделах можно характеризовать как «лицейские стихотворения», которые будут когда-нибудь уместны и полезны в «Полном собрании сочинений» Саши Черного, но сейчас читатель легко обошелся бы и без них. Голо-

вою ниже своего обычного поэтического роста Саша Черный также в «Посланиях» (впрочем, целиком хорошо «Второе послание» и первая половина третьего) и остальных своих Reisegedichte *. После Гейне подобные иронические пасторали стоит делать или уж ярче яркого или... их вовсе не стоит делать.

Обращаюсь к формальной стороне поэзии Саши Черного — к стихотворству, к ритму и рифме. Должен сознаться, что я совсем не поклонник так называемого свободного стиха, отрицающего плавную мелодию метрики, и хлестких приблизительных созвучий, вводимых вместо совершенной гармонии рифм. За последние десять-пятнадцать лет русская рифма чудовищно попятилась назад. Она уже за Пушкиным и даже за Жуковским. Вместо того чтобы расширять объем и полнозвучие рифмы, поэзия новых, невероятно много и смешно пишущих поэтов обыкновенно довольствуется таким слабым и отдаленным намеком на рифму, который до нас удовлетворял публику разве од державинских. Главные и обычные причины тому — страшная поспешность творчества, слабое знание русского языка, выносимое из среднего образования, а потому незначительность синонимического и симфонического словаря, а потому и лень к обработке стиха в музыкальную точность и к «заострению его», как Пушкин говорил, летучею, меткою рифмою. Ни в ком все эти недостатки новой русской поэзии не сказываются больше, чем в законном главе ее, объединителе в то же время и всех ее достоинств, высокоталантливом Бальмонте. Он, вечно спешный («жить торопится и чувствовать спешит»), способен целыми страницами сочетать построчно несносные мнимые неологизмы, в которых он прилагательные обращает в существительные посредством обобщающих суффиксов, создавая этим сором на глубоком море поэзии своей отмели и перекаты безвкус-

---

* Путевые истории, заметки (*нем.*).

нейшей прозы. Не вполне свободен от указанных ущербов и Саша Черный, — кроме главного: пресных качественных неологизмов у него нет, за исключением двух-трех нарочных мест, где он над ними с отвращением смеется («Недоразумение»). Немногие, но все же наличные пробелы и неловкости рифм бросаются в глаза читателю Саши Черного тем заметнее, что вообще-то его запас рифм изумительно богат и разнообразен, и пользуется он ими мастерски свободно, как профессор фехтования — шпагою, и с изящным вкусом. Поэтому, сдается мне, ущербы надо отнести исключительно на счет спеха, выпускающего стихотворение в печать без окончательной отделки. Иногда это очевидно. Если, например, у поэта уже звучат в голове, в сцеплении образов, скажем, «невеста» и «место», то такому ловкому ювелиру стиха, как Саша Черный, никогда не трудно повернуть свою фразу так, чтобы найденные формы «невесты» и «места» дали созвучие полное, без детонации двух флексий, колющей чувствительное ухо. Когда Саша Черный, преодолевая с величайшею легкостью величайшие трудности рифмы («Стилизованный осел»), позабывает подобные простые мелочи и пустяки, само собою разумеется, что это говорит лишь о том, что мысль слишком быстро пишется на бумагу, рукопись слишком скоро поступает в набор, а корректура читается слишком бегло и со скупостью срока на авторскую правку.

Созвучные сочетания у Саши Черного необыкновенно находчивы, смелы, неожиданны, а потому, зачастую, победоносно смешны. Когда Саша Черный «с добродушием *ведьмы* встречает поэта в *передней*» то даже самый суровый Тальери стиха, вроде покойного Майкова, что ли, может быть, пожмет плечами, но раньше невольно улыбнется, потому что странное созвучие само слишком заразительно улыбается. «Смяткин» и «пятки», конечно, не рифмуют, но — не угодно ли, попробуйте-ка придраться к унылому комизму такой вот созвучности:

Пришел к мадонне филолог,
Фаддей Семенович Смяткин,
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился по пятки.

Licentia poetica* проскальзывает у Саши Черного и глотается его читателем с легкостью, как мало у кого из русских поэтов. Он великолепно знает русский разговорный язык и пользуется им в стихе с вольностью и гибкостью прозаической речи.

Улыбка слов, блестяще скачущий ритм и порывистые темпы съедают неточности созвучий, которые позволяет себе Саша Черный звуковыми обманами, иногда почти чудотворными. В стремительной «арии для безголосых» — «Стилизованный осел» — пародии, написанной против мелких декадентиков, есть, например, такие быстрые стихи:

Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы.
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял — невежда! К нечистому накося-выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...

Я должен сознаться, что, обладая довольно чутким слухом к рифме, — в которой я к тому же старовер, — я, все-таки ошеломленный этим звуковым натиском, не сразу заметил тайну эффектного диссонанса, которым Саша Черный так хорошо подчеркнул сумятицу и толкотню, льющихся бешеным темпом оскорбительных стихов. И этот «фокус-покус» удается поэту много раз, — почти неизменно. По крайней мере, я не вспоминаю, чтобы Саша Черный сорвался где-либо на нем, кроме «Обстановочки» — одного из лучших и сильнейших стихотворений сборника, но, к сожалению, несколько испорченного неудачною рифмовкою «рубля»

* Поэтическая вольность (*лат.*).

с «убылью». Этой натяжки русское ухо никак уже принять не может.

Хотел бы еще говорить, да и есть еще что, и надо говорить о хорошем, нужном, своевременном таланте Саши Черного, но — авось, не в последний раз встретились. Это молодое дарование — целиком все еще впереди. Оно само себя ищет и отсюда все его плюсы и минусы, все яркости его искренности, все гримаски и ужимки его кокетства. Как он себя найдет, во что определится, — время скажет. Задатки средств прекрасны и огромны. Вопрос теперь: есть ли у поэта — к чему применить его прекрасные и огромные средства? есть ли у него самого — что сказать печальному веку, разложение которого он высмеивает? Удовлетворительный ответ на этот вопрос не столько читается словами, сколько слышится и чувствуется в общем благородстве тона песен Саши Черного, в юношеском азарте, в смелой прямоте, с которою он кошку называет кошкой, дурака дураком и мерзавца мерзавцем. Все показывает, все говорит за то, что — наконец-то! — на Руси подрастает и крепнет новый «рыцарь духа», воинственный, мужественный и сильный...

Пора. Над Россией так много туч, что если уж не разряжается мрак их грозою, то пусть хоть ночные зарницы сохранят нам память и мысль о молниях гроз!

ТЭФФИН ГРЕХ

В недавние пушкинские дни талантливая поэтесса-фельетонистка, г-жа Тэффи, имела несчастие смешать «Птичку» Пушкина с «Птичкою» Туманского в очень чувствительном рассказе о том, как «Птичка» Туманского будто бы выучила ее обожать Пушкина. Впечатление получилось, конечно, весьма комическое, но ужасного и позорного в ошибке г-жи Тэффи ничего нет, — во всяком случае, нет настолько, чтобы наброситься на нее с таким злорадным остервенением, как постарались братья-писатели.

Нет ничего удивительного, если у слишком много пишущего и в бойкой столичной жизни кипящего, а потому вряд ли много читающего и в особенности перечитывающего старых классиков автора смешались в памяти два стихотворения на одинаковую тему, в одном и том же размере, одной и той же эпохи. Кстати сказать: и порицатели г-жи Тэффи, как и сама она, забыли ту пушкинскую «Птичку», с которою она смешала «Птичку» Туманского. Все говорили о том кусочке из «Цыган», который печатается в хрестоматиях под названием «Птички Божией». Между тем смутное воспоминание, толкнувшее г-жу Тэффи в неприятность смешать Пушкина с Туманским, несомненно подбиралось к другой «Птичке»:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью:
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?

Близость темы, ритма, тона и настроения с стихотворением Туманского, более популярным благодаря своей хрестоматичности, очевидна. С кем не бывало подобных ошибок и обмолвок? По этой части современная литература обладает таким обер-специалистом, как В.В. Розанов, — усерднейший, но и злополучнейший цитатор, который, кажется, в жизнь свою не привел ни одной цитаты правильно и не приписал ее тому автору, у которого она в действительности взята. Однако на В.В. Розанова никогда и никто и в половину так сердито не взъедался по всей совокупности грехов его, как теперь досталось г-же Тэффи за первый ее грех. Слишком строго! Ведь никто же из нападающих, конечно, не верит серьезно, чтобы г-жа Тэффи была незнакома с поэзией Пушкина. Тут скорее есть другая печальная сторона: очевидно, г-же Тэффи некогда перечитывать не только Пушкина, но даже и собственные фельетоны перед отправкою их в печать. Потому что ошибиться, заблудясь между Пушкиным и Туманским, это — допустимое дело. Но как положить подобную ошибку в основу довольно большого фельетона, возвращаться несколько раз к ее лейтмотиву и, наконец, обратить ее в эффектный финальный аккорд? Все это возможным становится, лишь когда пишется не подумавши, а печатается не проверивши. Когда человек не столько пишет, сколько «валяет». Видеть г-жу Тэффи в сонме валяющих тем более жаль, что и самый характер таланта ее — отнюдь не для валятельной практики. Ее письмо тонкое, интимное, деталь-

ное. Грубый размашистый мазок, который создает эффект декорации, превратил бы миниатюру первым же прикосновением, — да что, прикосновением! одним брызгом с кисти, — в грязное пятно.

Я очень люблю читать Тэффи. В современной русской юмористике ее фигура несомненно самая изящная. Но именно потому ни на ком из бесчисленных русских юмористов не заметны так пятна распустешества, как — если распускает свое дарование нарядная и изящная Тэффи. «Есть люди, которым чистое белье даже неприлично-с», — говорил Липутин в «Бесах». Это, к сожалению, справедливо и для литературы, особенно юмористической. Nomina sunt odiosa *, но сейчас весьма обильно расплодился цинический тип юмориста-неряхи, который, с отказом от своего неряшества в языке и приемах, едва ли не потерял бы и соль своих выходок, и смех неразборчивого читателя из породы мичманов Петуховых, готовых гоготать даже на показанный палец. Сейчас русская юмористика попятила свои идеалы и вкусы далеко за Гоголя: она возвращается к «Опасному соседу» В.Л. Пушкина, к «Елисею» Майкова. Но г-жа Тэффи принадлежит как раз к обратному типу. Ее поэтический юмор только тогда и действителен, когда он с головы до ног одет по всем требованиям хорошего европейского тона. И, если она, увлекаясь хулиганствующей модою, пробует быть размашистою, это бросается в глаза, как грязный носовой платок, повязанный вместо галстуха гостем на великосветском балу. Другому и не то сошло бы, — еще смешнее! — а у нее — глаза режет, коробит. Дело г-жи Тэффи — салонный, сдержанно улыбающийся, лирический юмор. Ни ухарем-купцом с гостинодворским зубоскальством, ни хулиганом с остроумием из исправительного приюта, ни «Буяновым, моим соседом» ей не бывать, и, когда она пробует ими притвориться, стано-

* Имена ненавистны (*лат.*); в знач.: об именах лучше умалчивать.

вится не симпатична. Юмор ее — изящный туалет, который нельзя надеть как попало: требует, чтобы его хорошо примерили, приладили и — прежде чем в люди выйти, — несколько раз пристально и внимательно оглядели бы его в зеркале. Когда г-жа Тэффи выступает во всеоружии такой внимательной проверки, это — она сама, и тогда ее сопровождает заслуженный успех. Наоборот, в «неглиже с отвагой», Тэффи — словно не Тэффи, а обменок: скучно празднословящая резонерка, натянутые остроты которой напоминают о капоте с обтрепанным подолом и о пуговицах, инде висящих на одной ниточке, инде вовсе отлетевших. Г-жа Тэффи рождена быть в литературе барыней, дамой. В фигурах котильона она — красота, но «танец апашей» у нее, хоть ты что, не вытанцовывается. Есть такое выразительное русское слово — «халда». Ну так вот этой самой «халды» в литературной натуре г-жи Тэффи нет даже на кончике ногтя. Казалось бы, и великолепное дело! Но г-жу Тэффи этот органический пробел, по-видимому, огорчает, так как в наш век модно, что называется, s'encanailler *. И вот отсутствие распустешества естественного г-жа Тэффи нет-нет да и попробует подменить распустешеством искусственным. К сожалению, многописание г-жи Тэффи с обращением юмора в постоянное газетное ремесло весьма способствует такому подменному процессу. Потому что, когда время — деньги и ремесло торопит, то, конечно, распуститься и скорее, и легче, чем подобраться и нарядиться. Чрез это творчество ее часто идет не туда, куда его манит талант, но по пути, приближающему обязательную цель в возможно кратчайший срок и с наименьшею затратою энергии.

Одним из промахов вот этого-то ремесленного распустешества наспех явился и фельетон «Мой первый Пушкин», доставивший г-же Тэффи столько неприятностей. Читая этот фельетон за тридевять земель, я, по старому опыту и «нюху»,

* Подлое, низкое (*фр.*).

был уверен, что скандал из него постараются сделать, и не без интереса ожидал — совсем не того, как и кто изобличит г-жу Тэффи, но как ловко она обратит свое курьезное приключение в смех и, признавшись в ошибке, остроумно отшутится, обезоружив привязавшихся к ней обличителей. Но каково же было мое огорчение, когда г-жа Тэффи вместо того взяла да и... рассердилась! А, рассердившись, действительно наговорила вещей, которые вряд ли следовало ей говорить. Тем более что вряд ли искренно она их наговорила, потому что непохоже на ее литературный облик так думать и говорить.

Защищаясь (подумаешь, есть в самом деле от чего всерьез защищаться!), г-жа Тэффи рассказывает анекдот о благотворительном вечере в каком-то провинциальном клубе. «Один из устроителей придумал очень интересный, по его мнению, выход с остроумием на литературную тему.

Он вышел на эстраду и возгласил:

— Господа! Я сейчас прочту вам «Песнь о вещем Олеге». Лучшее из стихотворений покойного поэта Некрасова. Итак, я начинаю:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою...»

Половина публики отнеслась к декламации совершенно равнодушно. Несколько человек засмеялось, но вдруг поднялась в четвертом ряду «мрачная фигура» учителя городской школы с протестом против чтения лермонтовского «Спора» под титулом «Песни о вещем Олеге» и принадлежности последней Некрасову. Публика приняла сторону мрачной фигуры и, не внимая объяснениям молодого человека, что «это юмористическая вещь», потребовала «деньги обратно».

«— Да ведь это же ужасно весело! — с непередаваемой тоской воскликнул чтец и, воздев руки, как статуя Ниобеи, слез с эстрады».

— О, где они теперь, эти воздетые руки? Я бы пожала их, каждую по очереди! — так восклицает и г-жа Тэффи.

Сходство между ее положением в фельетоне «Мой первый Пушкин» и выступлением этого неудачного юмориста не было ни малейшего, пока г-жу Тэффи укоряли только в обмолвке. Но нельзя отрицать, к сожалению, что плачевное сходство превращается в тождество, коль скоро г-жа Тэффи настаивает на том, будто путаница двух «Птичек» устроена ею не по нечаянной ошибке, но преднамеренно. Неужели г-жа Тэффи не видит, что юморист, которому она сочувственно пожимает руки, поплатился, — и нельзя сказать, чтобы незаслуженно, — за неудачный опыт более чем невысокого художества? Что она сама приравнивает свою мистификацию к жалкой попытке разбудить большою и бесцельною пошлостью бессмысленный, так называемый нутряной, смех — физиологический смех Емели-дурачка и мичмана Петухова? Когда «юморист» шутует в расчете на подобный смех, он всегда оказывается в опасности громко шлепнуться в лужу, потому что коленца бессодержательного смехотворства забавляют, хотя бы даже и очень низменную, толпу — только покуда не оскорбляют ее такта, ее чувства, ее самосознания. Это одинаково и на интеллигентских верхах, и «на дне». «Красится рыжий кот в зеленую краску!» — и бешено хохочут арестанты вокруг Зазубрины. Но когда глупый смех озарился человеческим сознанием, что рыжий кот от зеленой краски ни за что ни про что издохнуть должен, — каждому из хохотавших стало очень стыдно и скверно, и, обозлившиеся сами на себя за смех свой, люди сорвали сердце на том шуте, который им этот неразборчивый балаган устроил. Увы! разница между двумя неудачниками-шутами, — Зазубриною, красившим рыжего кота в зеленую краску, и молодым челове-

ком, которому за что-то жмет руку г-жа Тэффи, — отнюдь не в качестве юмора и достоинстве эмоций, на которые оба рассчитывали. Ничто с такою легкостью не уклоняется в «ложный шаг», как нутряной смех, и вот почему профессия его возбудителей представляется или величайшею ответственностью, какую может принять на себя литературное дарование, или величайшею беспринципностью, какою оно может себя развратить. Первый случай — лучший, второй — худший, но, собственно, только о них, крайних случаях, и стоит говорить. Потому что посередине-то между ними, праздно и ненужно, хотя и многочисленно, болтается нечто уже такое непроходимо-дурацкое, о чем хочется сказать даже не гоголево: «Чему смеетесь? над собою смеетесь!» — а просто: «Черт вас знает, с чего у вас селезенка играет, сударь вы мой!.. Были на Руси встарь дыромолы, а теперь пошли — дыросмехи. Что хуже, право, уж и не знаю. Смотрит блажен муж в дыру и «ржет». Чему?» — «Гы-гы-гы! Помилуйте! Да как же? Дыра!..» Особый вид веселого идиотизма, получившего на лютом нашем безвременье довольно широкие литературные права.

Г-жа Тэффи справедливо говорит, что «нет ничего досаднее для юмориста, как объяснять свой собственный анекдот». Это первый признак, что анекдот не вышел, поскользнулся и покатился к «ложному шагу». Обыкновенная причинность «ложного шага» хорошо изложена в одной старой русской сказке:

То же бы ты слово
Да не так бы молвил!

Напрасно приветствовать свадьбу словами: «Канун да ладан!» — и любезно желать: «Носить вам не переносить, таскать вам не перетаскать!» — при виде похорон. Мачич — веселый танец, но рискованно упражняться в нем в церкви во

время панихиды: выведут и протокол составят, нехорошо. Это настолько общеизвестно и легко заранее предвидеть, что, как ни старается г-жа Тэффи уверить в преднамеренности своего «трюка», не рождается во мне против нее вера эта. Клеплет на себя г-жа Тэффи! Не из тех она голов, которые не знают разницы между мачичем и панихидою! Неспособна она в виде нарочного «трюка» показать публике язык, когда поют «вечную память»! Сорвалось с пера и осталось без поправки и всего!..

Зачем г-жа Тэффи на себя клеплет? А зачем одна милая русская женщина, поспорив с мужем о том, что «стрижено, а не брито», позволила утопить себя, но не отреклась от слов своих, и, даже опускаясь ко дну, еще высунула руку над водою и делала пальцами, как ножницами, стригущие знаки?.. Ну как такой известной остроумнице признаться во всеуслышание, что она, извините за выражение, «ляпнула»? Да ни за что! Лучше она, — вывертываясь на все 77 уверток, которые русской женщине в голову приходят, пока она с печи летит, — лучше она невесть что взведет на себя от горячего сердца.

Если я заблуждаюсь и г-жа Тэффи не ошибку невиннейшую сделала, а в самом деле пустила в ход преднамеренную мистификацию, одно скажу: напрасно она так поступила. Не такое сейчас время и не в такой утонченной газете она пишет, чтобы устраивать капризные мистификации и предлагать кокетливые шарады на пушкинских поминках. Г-жа Тэффи очень гневно острит над «милыми товарищами», которым она доставила «может быть, единственный в жизни случай заявить, что и они вкусили от хрестоматии»; очень смешно рассказывает о каком-то литераторе, который, осуждая ее за «Птичку» Туманского, сам прочитал ей как пушкинские два стиха из той же «Птички». Все это так, но вот беда: невежество подозреваемое г-жою Тэффи за ее «милыми товарищами» и явленное пред нею одним из них, показы-

вает, как низок уровень литературной осведомленности в русском обществе, для которого пишет г-жа Тэффи и в котором ее «милые товарищи» предполагаются все-таки одним из верхних культурных слоев. Если мистификация г-жи Тэффи не была понята даже здесь, тем менее она могла быть понята в читательской глубине, в которую пошел через распространенное «Русское слово» неудачный фельетон. И неудивительно, если там он был встречен недовольством таких же «мрачных фигур», как та, которая отказалась принять «Спор» за «Песню о вещем Олеге». Ибо там, где знание ново и зыбко, шуток над ним не любят. И не любят резонно — потому что они оскорбляют человека в том, что он только что нелегко усвоил и полюбил. Над педантизмом и ложным знанием русский человек сам большой мастер смеяться: от XVII века дошел до нас диалог, как пьяница посрамил «философа». Но ненужного себе знания русский человек в конце-концов и не приемлет, хоть кол ему на голове теши. И заставят выучить, а он вытрясет из головы и забудет. Блистательный пример — нелепая фельдфебельско-классическая система наших средних учебных заведений. Образование же, которое он практическим инстинктом ловит, как родное себе, русский человек уважает, в смех не обращает и не любит, чтобы его на этой стезе «путали». Что нас, русских, «путать»! И без того сами по себе, от природы не очень-то систематичны. Вы разбираться людям помогайте, а путать-то их охотникам — числа нет. Г-жа Тэффи насмешливо извиняет свою мистификацию тем, что «была очень высокого мнения о литературном образовании своих читателей: разве это не высшая галантность с моей стороны?» Вот одна из тех *нарочных*, чужих фраз, которые в устах г-жи Тэффи коробят именно, как замызганный подол у бального платья. Чем виноват читатель г-жи Тэффи, что ей пришел каприз построить из него дурака? За что же еще над ним издеваться-то? Что за аристократничанье? Разве затем доходит человек до «гла-

голя», чтобы смотреть свысока на тех, кто еще твердит «аз», «буки», «веди»?

Повторяю: нет беды не только от того, что Пушкина и Туманского сама г-жа Тэффи нечаянно смешала, но и от того, что своею ошибкою внушила смешать их своей колоссальной аудитории. Но вот, когда г-жа Тэффи извиняет себя тем, что «я писала юмористический фельетон, а не лекцию по истории литературы», — невольно является возражение: зачем же было писать его настолько темно, что теперь г-же Тэффи потребны, в самом деле, чуть не лекции о том, почему надо было написать именно так, как она написала, а «иначе не было бы смешно». То, что смешно, не требует доказательств, что надо смеяться. И совсем г-жа Тэффи не намеревалась смеяться и смешить в «Первом Пушкине», — напротив, она хотела быть трогательною, и ей удалось бы быть трогательною, если бы не злополучная обмолвка. Ложный стыд сознаться в промахе хорошего лирического порыва гонит талантливую женщину к настоящему стыду мутного зубоскальства — над чем? А она и сама не знает. В конце концов, чуть ли не оказывается главною жертвою сатиры г-жи Тэффи какой-то глупый кондитер...

Литературного смеха сейчас в России — хоть отбавляй, но когда ищешь, на что он направлен, где практические цели этого смеха, — увы и ах! — редко слышен иной ответ, кроме:

— Так-с, ничего-с, своему смеху смеемся...

И начинаешь понимать, почему смеху — могучему орудию света, благая сила которого именно у нас в России испытана особенно метко и результатно, — почему смеху этому в наши дни начинают посылать желчные проклятия, как началу темному и застойному, уже не какие-нибудь «мрачные фигуры», но прирожденные рыцари смеха, например, талантливейший Саша Черный...

Рыцарь смеха прекрасен, когда он в то же время рыцарь духа. Смех прекрасен, когда он озаряет движение обществен-

ности, когда ясна его культурная цель, когда светлою стрелою летит он в мрак, убивает и ранит его чудовищ. Талант к такому хорошему смеху есть у г-жи Тэффи, неоднократно мы его от нее слышали и хотелось бы чаще и чаще слышать. Что же касается смеха беспредметного, смеха для смеха, нутряного смеха, едва ли не правду сказал современный поэт, что его беззаботность миновала для людей; «пусть смеются боги, дети и глупцы!» Г-жа Тэффи вряд ли числит себя в сонме богинь, давно вышла из детской и очень умна. Следовательно, «скворцом свистать, сорокой прыгать» на потеху всероссийского мичмана Петухова с компанией ей и не к лицу, и «невместно».

НОВЫЙ НАРОД И ЕГО ПЕВЦЫ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Андрей Белый. Серебряный голубь. Повесть в семи главах. Книгоиздательство «Скорпион». Москва, MCMX (1910). Стр. 321. Ц. 1 р. 80 к.

I

До этой большой повести я был мало знаком с творчеством г. Андрея Белого. Давно, когда он только что начал свои литературные дебюты и заставил говорить о себе, я читал две его «симфонии». Они показались мне произведениями таланта несомненного, в котором юношеская нарочность, брыкливый задор и боевые кривляния декадентской школы, в то время еще не замерзшей в «академии», боролись с природным здравым смыслом и непосредственностью прямого, живого, умного наблюдения. Из-под мистических масок г. Андрея Белого выглядывало, — правда, мельком, но часто, лицо настоящего реалиста, и было оно в мельканиях своих настолько улыбчиво и лукаво, что казалось даже сатирическим. Так как г. Андрей Белый пошел по декадентским тропам дальше, чем кто-либо другой ходил, так как образность метафор и гипербол он сплошь и рядом доводил до соседства с пародией, сохраняя, однако, неизменно серьезное лицо, то многие объявили его чуть не сумасшедшим. Другие почитали его лишь ловким симулянтом литературного сумасшествия, так как оно в ту пору было в моде и обеспечивало рыночный шум и успех. Есть правило у психиатров, что симуляция истерии хорошо удается только субъектам в самом деле истерическим, и, кто способен совершенно и хро-

нически разыграть роль сумасшедшего, тот в самом деле к сумасшествию предрасположен. Г. Андрей Белый очень безумствовал в дебютах своих, но «в безумстве его было нечто систематическое»: чувствовался человек, который средства безумия своего отлично знает и пускает в ход очень хитро, метко и веско. Между строк его часто звенел хохот, беззастенчиво высмеивавший и публику поэта, и школу его, и даже его самого. Читая «симфонии» г. Андрея Белого, я испытывал иногда, в меньшем размере, те же впечатления, что пережил, когда впервые читал гениального «Пана» Кнута Гамсуна: злейшую сатиру ядовитейшего и надменнейшего из мистификаторов, которую наивное русское подражательство честно приняло за Евангелие нового положительного идеала и — что глупостей-то натворило, следуя его заповедям-пародиям! — не сосчитать... Хорошо ли, нет ли подобное коварное творчество — оставим покуда вопрос этот в сторону. Речь идет не о Гамсуне, но о г. Андрее Белом. Кто бы ни был последний, во всяком случае в нем слышался человек больших способностей, пытливый, трепещущий хаосом каких-то идей, еще мутных и не определившихся, но ему не безразличных, еще плывущий по течению, как погнали его время и школа, но течением уже недовольный, барахтающийся, с потребностью плыть куда-то если не против, то хоть поперек волны.

Таким остался в моей памяти г. Андрей Белый первых «симфоний», которому я в 1904 году печатно предсказал, что в голом эстетизме декаданса ему долго не усидеть. Здравый смысл, реалистические тяготения, более того: наличность в его даровании прямо-таки публицистических и сатирических нот, — должны были увести поэта от расплывчатых зыбей самодовлеющего искусства на почву делания конкретного и целесообразного. Я нисколько не удивился бы встретить г. Андрея Белого в 1910 году не только «взыскующим града» новофасонным народником, как являет его «Серебряный

голубь», не только общественным дидактиком, хотя еще идеалистом, но даже — практическим художником откровенно утилитарного типа, проповедником прикладной тенденции, обратившей искусство в служебность. Это еще будет когда-нибудь, и скоро будет, потому что в «Серебряном голубе» уже начинается. К тому есть уклон во всей натуре г. Андрея Белого, и талант его по уклону этому должен был потечь, ибо там указаны ему естественное русло и линия наименьшего сопротивления. Утилитарная служебность творчества — совершенная, органическая невозможность для Бальмонта: для него цепкая стройность и разбросанность идейного хаоса, чуткость накопляющихся впечатлений и сменяющихся настроений и потребность о каждом из них петь, петь, как птица поет, — нормальное состояние. Она — рассудочная, академическая невозможность для цельного, холодного Брюсова, которого вся сила — в закованной непреложности форм, для которого явления — только предмет поэтической классификации и затем равноправного распределения по богатейшим витринам огромнейшего систематического музея великолепно, почти научно разработанных ритмов и рифмы. Но г. Андрей Белый и не вольная птица, и не академик. В нем нет гордой силы одиночества и способности смотреть на действительность сверху вниз, с высоты обособленного и тайного внутреннего «я». Игрывал и он сверхчеловека, но — не годился. Ему — не в лоне матери-пустыни и не на вершинах белизны неприступной, но на миру жить, и рано или поздно мир должен был уволочь его живое, подвижное, любопытствующее существо за собою. Щекотливый вопрос только именно вот что — рано или поздно?

Должен повторить свое признание, что в промежутке первых «симфоний» и «Серебряного голубя», я за г. Андреем Белым не следил. Не такие времена переживались русским обществом, чтобы досужно было наблюдать художественную эволюцию символистов и эстетов. Самих последних-то

времена эти так встряхнули, что иные перестали быть символистами и эстетами и принялись открещиваться от своих недавних проповедей, яко от сатаны и всех дел его. Статьи г. Андрея Белого, встречавшиеся в газетах и журналах, не то что мне не нравились, но, каюсь, не могли даже ни нравиться, ни не нравиться, потому что я просто не в состоянии был ни одной из них дочитать до конца. Писал их г. Андрей Белый с умышленной неряшливостью языка, ломая русскую речь, ни в чем, казалось бы, пред ним неповинную, в такие чудовищные формы и выкрутасы, что —

Бывало, глупые его не понимали,
А ныне разуметь и умные не стали.

Это было скучно и антипатично. Когда автор заставляет читателя искать мысли сочинения чрез борьбу с его языком, это — не аристократизм творчества, который всегда прост и ясен, как день (Пушкин, Шопенгауэр), но аристократничанье, кабинетная надменность, своего рода мещанство в дворянстве, чванная претензия, которая, чтобы извинить себя, должна быть оправдана разве уж в самом деле огромно ценным содержанием. Статьи г. Андрея Белого содержание свое прятали так искусно, что после двух-трех столбцов терялось желание постичь смысл их. Может быть, мол, и богат клад, да себе дороже время — найти его. Притом неприятное впечатление оставляли эти статьи быстрою утратою г. Андреем Белым его резвой и яркой юности. Бывало, он и нелепость брякнет, да бодро, весело, живо, других собой рассмешит и сам на себя от души рассмеется. А теперь стал он «человек учительный» и тянет многоглаголивую канитель скучного умничанья, в котором, вдобавок, по существу-то сказать ему нечего, — и надо, значит, прикрывать отсутствие кушанья более или менее искусно прибранным гарниром. Ну, и — «ешь три часа, а в три дня не сварит-

ся». Вот — лежит предо мною томище г. Андрея Белого «Символизм». Перечитал человек на своем веку уйму и обрел великое книжничество. Но книга уже не расцветает в нем радостным цветком образной мысли, как в старые годы, когда мерещился ему призрак Владимира Соловьева, бегающий по московским крышам. Ныне она тянет г. Андрея Белого к повелительности теоретических программ и к законодательству обобщающих формул. Насиделся он на Сионе-то литературном, наслушался глаголов, и горит в нем душа — пора ему свои собственные скрижали начертать для Израиля. Несомненно, что крупный талант, образование и «искренность в моменте», свойственные г. Андрею Белому, являются серьезными данными в пользу его кандидатуры на роль эстетического Моисея. Но вместе с тем г. Андрей Белый — в полном смысле слова, «тень прочтенной книги», как обмолвился угрюмым образом в одном унылом стихотворении своем К. Бальмонт. К формулам г. Андрея Белого тянет, но нет в мягкой натуре его устойчивости, которая вынашивает стальную прочность формул, и потому насочинил он их много, а на скрижали зарубить не успел ни одной. Потому что едва родит он то, что ему кажется формулой, как уже новая книга дает ему новые сомнения, и, глядишь, новорожденная формула-то летит в корзину, и предшествовавшие собственные статьи свои автор должен оговаривать, что помещает их лишь «как образчики условного, психологически любопытного обоснования» («Критицизм и символизм»). То есть: «Друг мой! удивляйся, но не подражай!» — как советовал сыну своему Кузьма Прутков, единственный, если не считать Григория Сковороды, вполне самобытный философ русский. Прочитано и усвоено чудовищно много, и в уме, — более воспринимающем, чем творческом, и более отражающем, чем свет рождающем, — полезла стена на стену, настоящая Ходынка чужих идей. Спеша, одна на смену другой, они безжалостно давят

и топчут друг друга, и толкотню их убийственную некому упорядочить и унять, так как у г. Андрея Белого нет собственной твердой и ясной, постоянной идеи, которая выравняла бы хаос его эрудиции вокруг себя в стройный порядок. В самообманной погоне за таким идейным центром, он хватается за свою математическую наследственность и путем ее достигает хоть внешних-то подобий равнения: устраивает бесчисленных рекрутов своей начитанности чисто механически, «по ранжиру», в порядок, который никуда не годится для идейной войны, но может сойти с рук и даже показаться серьезным на параде эстетических журналов. Таковы его статьи «Лирика и эксперимент», «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», «Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре», «Не пой, красавица, при мне» и прочие опыты чисто механического расчленения «Магии слов» (и под таким названием есть статья у г. Андрея Белого). Пущены в ход — алгебра в три алфавита, чертежи, рисунки, нотные знаки, статистические приемы, физические и химические формулы, чуть ли не высшая математика. Воистину, плинеоделание египетское. А в конечных его выводах преподносятся читателю глубокие и новые мысли вроде, например, следующих: «Если же критика (для лирических стихотворений) существует, то она должна опираться на объективную данность; этой данностью является единство формы и содержания».

Тени не токмо Стоюнина, но даже Кошанского икают на том свете, Квинтилиан и сам «Аристотель оный, древний философ», язвительно ухмыляются: «Вот так открыл Америку г. Андрей Белый! однако и прогресс же там у них наверху!» А читатель, потративший долгое время и труд серьезного внимания на то, чтобы под руководством г. Андрея Белого, прийти к выводу, который он сам с детства приемлет как аксиому, жалобно свищет: «Ах, на что ж было огород городить? ах, на что ж было капусту садить?» Нельзя не сознаться, что тра-

гикомические старания г. Андрея Белого превратить Пушкина, Лермонтова, Фета и т.д., до самого себя включительно, в теоремы из «Малинина и Буренина», живо напоминают историю, как в чеховском «Репетиторе» гимназист VII класса Егор Зиберов решал с учеником своим Петей задачу: «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна» и т.д., а родитель купец Удодов наблюдал и не одобрял.

«— Ну, чего думаешь? Задача-то пустяковая! — говорит Удодов Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеевич.

Егор Алексеевич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я вот разделил... понимаете? Теперь вот надо вычесть... понимаете? Или вот что... Решите мне эту задачу сами к завтраму... Подумайте...

— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам. — Вот, извольте видеть...

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вот-с... по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко».

Г. Андрей Белый по математике собаку съел, и потому ему Удодов не указ: procul este profani! * Но прием-то остается все тот же. Для решения, которое легче легкого выкладывается на счетах, призываются этакие, например, штучки:

Создавая крупные по размерам произведения искусства, Ибсен стремился сперва затратить известное количество энергии

$$\left[\frac{a}{b}+\frac{a}{b}+\frac{a}{b}+\frac{a}{b}=\frac{4a}{b}\right],$$

* Прочь отойдите, о невежды! (*лат.*)

а затем повышал выправлением рукописи напряжение затраченных усилий

$$\left[\frac{4a}{b}, \quad \frac{4a+a_1}{b}, \quad \frac{4a+a_1+a_2}{b}, \quad \frac{4a+a_1+a_2+a_3}{b}\right]$$

и т.д. Гёте так писал Фауста.

Если миновать алгебраированную формулу, слова здесь выражают мысль, столь общую, ходовую и непреложную, что негде и поместить ее иначе, как в разряде «великих истин»: «солнце светит днем, а луна ночью», «черного кобеля не отмоешь добела» и пр. Ну а как загнули плюсы, да знаки деления, да a_1, a_2, a_3 — весь жупел Егора Зиберова, — тут «великая истина» как бы и оригинальностью прирумянилась, и не у всякого Удодова достанет скептической смелости сказать старухе, что для сообщения таких новостей не стоило ей вставать из гроба.

А вот — не угодно ли еще страшнее:

Если при стационарном творчестве t мы устанавливаем обратную пропорциональность между Q (количеством) и T (напряжением), то при возрастании творческого напряжения возрастает напряжение настроения; это значит: при напряжении Q как бы возрастает пропорционально напряжение этого творчества. Обозначая возрастания напряжения чрез X, X_1, X_2, имеем

$$\left.\frac{X}{Xt} = \frac{Q}{Qt}\right\} \text{при} \quad X = 1\ \} \ Q = Q_1, \quad \text{где} \quad Xt = t,$$

а тогда

$$Qt = t, \quad \text{или} \quad \frac{Qt}{Q} = t,$$

или

$$\frac{Qt}{Qt-1} = \frac{Qt-1}{Qt-2} = \frac{Qt-2}{Q-3t} = a = Const;$$

a есть коэффициент возрастания *Q* при возрастании творческого подъема на условно-теоретическую единицу.

Имеем уравнение:

$$Qt = Q_0 + Q_0 - dt.$$

Вынося за скобки Q_0, получаем:

$$Qt = Q_0 (1 + dt).$$

Эта формула аналогична формуле, выражающей закон Шарля и Мариотта: $PU = P_0U_0 (1 + dt)$, где *d* — коэффициент расширения газов.

Нет ничего более нематематического, как условное пользование внешними математическими приемами вне области точных исследований и наук. Насколько строга и безусловна математика у себя дома, настолько она податлива и любезно уступчива в гостях. Хватило бы только букв в латинском и греческом алфавите, а то при произвольности заданий, свободе допущений и капризе коэффициентов ими можно вывести и утвердить все что угодно. Не только формулу творческого напряжения («Напрягся — изнемог, потек — и ослабел»), аналогичную формуле закона Мариотта, но и — что «дважды два — стеариновая свечка», и рыночную стоимость сапогов всмятку, и статистику мимо едущих Андронов. Найдите в «Русском архиве» или «Русской старине» (имеется в обоих) рассказ о том, как — когда Дидро надоел публике екатерининского «Эрмитажа» своими вольнодумными рассуждениями, был приглашен на куртаг знаменитый математик Эйлер с поручением разбить великого энциклопедиста на его же собственном поле.

— Monsieur! — будто бы объявил Дидероту Эйлер, что называется, с места в карьер:

$$\frac{(A + B)\ n^2}{X} = \textit{Le bon Dieu existe!}^{*}$$

* Господь Бог существует! (*фр.*)

Дидро, огорошенный, не нашелся что ответить и, рассерженный, уехал с куртага. Смеялись в «Эрмитаже» много. Но... за кем же поле-то осталось? За атеистом ли, который Бога серьезно отрицал, или за апологетом, который Бога обратил в математическое двусмыслие и, в угоду праздному, невежественному двору, высмеял мнимо математическою шарадою и Божественную идею, и собственную свою науку?

Люди желчные, пожалуй, назовут манеру г. Андрея Белого исчислять якобы математическими приемами отнюдь не математические понятия, методы и величины — шарлатанством. Я же думаю, что в них — на первом плане — элемент детской игры. Сидит за книжками умное «дитё», хотя и, вероятно, весьма бородатенькое уже лет-то десяток, поди, — пишет г. Андрей Белый, — и играется в задачи с подсмотренным в задачнике решением, и радо-радехонько, что они всегда «выходят». Надоело «дитю» играться числами и буквами, — дитё в ноты; ноты не в утеху, — он пирамиду «эмблематики смысла» из кубиков выстроит (Конт этакий), прискучила пирамида — пошел разрисовывать Пушкина, Майкова, Тютчева на «прямые крыши» и «опрокинутые крыши», «большие корзины», «малые корзины» и тому подобные ритмические, видите ли, фигуры. Все это — совершенно серьезно, и результаты — важности и целесообразности поразительной! Так, мы узнаем, что у г. С. Городецкого (ритмическое мерило «Сравнительной морфологии ритма») больших острых углов столько же, как у Алексея Константиновича Толстого, больших корзин столько же, как у Некрасова, квадратов столько же, как у Тютчева. Если за всем тем остроугольный, великокорзинный и тютчеквадратный г. С. Городецкий не вышел ни Толстым, ни Некрасовым, ни Тютчевым, то уж пусть он сам на себя пеняет, а г. Андрей Белый не виноват. Счет его сделан, формула вылеплена, и правило Кузьмы Пруткова: «Бросая в воду камешки, наблюдай круги, ими образуемые, дабы кто, увидев, не назвал твоего занятия пустой забавой», — вы-

полнено в совершенстве. Fecit quod potuit, faciant meliora potentes *.

II

В один прекрасный день, когда отшумели «Вехи», г. Андрей Белый тоже отряс старый декадентский прах от ног своих и — как Василий Курочкин в старых стихах —

К России взор
Он устремил,
Поддевку сшил
И стал с тех пор
Славянофил...

или, по крайней мере, «народофил». И даже «мужикофил», «простонародофил» или, в сокращении, «простофил», что, к сожалению, звучит по-русски несколько двусмысленно, а то — чем бы не термин для нового «фильства»? Тем более, что проповедь «Серебряного голубя» именно и буквально есть зов религиозного «простофильства». Г. Андрей Белый не к опрощению жизни кличет, как Лев Толстой, не к смирению гордого человека, как Достоевский, не в народ, как люди семидесятых годов, — нет, он именно в простофильство влюбился, в ту мужицкую веру без рассуждения, в ту повелительную и темную, глухонемую веру-тайну, которой учителями и старцами являлись Константин Леонтьев — в церкви, Иван Яковлевич Корейша — в юродстве и Кондратий Селиванов — в секте.

Знают русские поля, как и русские леса знают тайны; в тех полях, в тех лесах бородатые живут мужики и многое множество баб; слов немного у них; да зато у них молчания избыток; ты к ним приходи, ты научишься молчать: пить будешь ты зори, что драгоценнее вина; будешь питаться запахами сосновых смол; русские души — зори; крепкие, смольные русские слова, если ты русский, будет у тебя красивая на душе тайна, и что липкая смола

* Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше (*лат.*).

твое духометное слово; виду у него нет, а привязывается, и дух от слова идет благодатный, приятный; а скажи простое-то слово — будто бы ничего в простом том слове и нет; слов тех не знают и вовсе те, что живут в городах, придавленные камнями: те, как приедут в деревню, видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу да из соломы грязного мужика угрюмо насупленное лицо; а что то не мужик, а втайне благоветствуй Кудеяров-столяр, — им и вовек не понять, не узнать; они видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу да из соломы бабью глупую болтовню; а что то краля Матрена Семеновна с устами сахарными, с медовой сладостью поцелуев, — все то от них скрыто.

Люди диковинного молчания и крепких смольных слов — великая надежда г. Андрея Белого: они все приберут и вычистят на Руси, что насорил «дачник» Максима Горького. Там — в простофильстве, в приютах «несказанных слов» — сойдутся все мечущиеся идеи нынешней Руси.

Вспомнил Дарьяльский свое былое: и Москву, и чопорные собрания модничающих дам и дамских угодников — поэтов; вспомнил их галстуки, запонки, шарфы, булавки, вывозные, французские и весь модный лоск последних идей; одна такая девица пожимала плечиками, когда речь шла о Руси: после же пешком удрала на богомолье в Саратов; похохатывал социал-демократ над суеверьем народа; а чем кончил? Взял да и бежал из партии, появился среди северо-восточных хлыстов. Один декадент черной бумагой свою оклеивал комнату, все чудил да чудил; после же взял да и сгинул на много лет; он объявился потом полевым странником.

Так как нечто подобное сим метаморфозам пережил в писательстве своем и г. Андрей Белый, вчерашний модернист из модернистов, а ныне автор «Серебряного голубя», то мы имеем право считать эти красноречивые тирады его написанными pro domo sua *. Что же? В час добрый. Повторяю: оно не неожиданно, и рано или поздно должно было что-нибудь в этом роде случиться. В простофильство, так в простофильство, в поля, так в поля! Но — опять в том-то и дело, что — рано или поздно. И боюсь, что случилось не рано, а поздно, и даже очень поздно.

---

* См. пер. на с. 186.

Читая «Серебряного голубя», я припоминал «симфонии» и не мог не заметить громадной эволюции, совершенной г. Андреем Белым не только в идейной области, — пережил ее в нем и художник, и, к сожалению, тяжело, трудно, не без уронов и не к выгоде своей пережил. Талант г. Андрея Белого утратил главное достоинство первых трудов его: свежесть, самобытное, яркое «я», которое кричало, как шальное, кувыркалось, прыгало, голосило хриплым басом, запускало в небеса а-на-на-сом, — совершало тысячи дикостей, нелепостей, но — от полноты души и чистого сердца, а потому в неуклюжей и брыкливой искренности своей было интересно, иногда увлекательно, часто симпатично. В «Серебряном голубе» авторское «я» стертое, больное, пришибленное, с вывихнутою ногою и — потому — почти никогда не самостоятельное: либо ковыляет на теоретических костылях, либо ведет его под белые ручки какой-нибудь сторонний автор-поводырь. Идет г. Андрей Белый, задыхается, спотыкается, а делает вид, будто пляшет и — молодец молодцом.

Основные черты вывихнутого дарования сохранились, но пропорции их переместились — и не в пользу таланта. В лукавстве «систематического безумия» погасло много безумия и прибавилось уж чересчур много системы. Способность симуляции настолько переросла природную истерию, что теперь плохо верится в последнюю даже тогда, когда она — изредка — как будто настоящая. Главный и органический недостаток «Серебряного голубя» — именно холодная рассчитанность и почти полное отсутствие живой, нутряной непосредственности. Г-н Андрей Белый все время горячится, но горячится в холодном духе, с оглядкой и поверкой громословия своего. Треска много, а молнии нет. Психологические слова и ситуации все использованы, а задушевности — нет, хоть посылай на базар покупать. А сюжет, мутный и страстный, ее требует во что бы то ни стало. Мистические претензии г. Андрея Белого громадны и, чтобы оправдать себя,

крови, настоящей алой крови из сердца жаждут. Но у г. Андрея Белого и сердце стало белое — износил он его в трениях декадентской книжности, сделалось оно без кровинки. Как же быть-то? Сюжет крови просит, а крови нет. Пошевелил мозгами, составил химическую формулу и — подменил кровь сердца клюквенным морсом. «Здесь торгуют наивностями всех сортов и лучшего нюрнбергского производства».

Претензии г. Андрея Белого громадны. Он задался целью ни более ни менее как сочинить новую секту мистического экстаза, о чем и предупреждает в предисловии: «Голубей, изображенных мною, как секты, не существует; но они — возможны со всеми своими безумными уклонами; в этом смысле голуби мои вполне реальны».

Это авторское предпослание или предостережение, весьма вредит повести, так как сразу разрушает под нею фундамент бытовой действительности. И без того уже хлыстовщина, на близость которой с «голубями» намекает г. Андрей Белый, — вопрос темный, дело неизученное. Все ее художественные изображения до сих пор глухи, догадочны, поверхностны, недомолвочны, — смесь полицейского протокола с бабьей сказкой и трактирного анекдота с лирикой псалмов. Единственный веский интерес этих изображений — в тех религиозно-бытовых картинах и подробностях, материалах к наведению, о которых автор, совмещая в себе тогда художника и историка, вправе сказать: так было, это видели, тому имеются такие-то и такие-то свидетельства и доказательства, это — прочный фактический фундамент; попробуем выстроить на нем, по вероятности, свое догадочное здание.

Г-н Андрей Белый сразу отрекается от сектантской действительности и обещает писать сектантскую небылицу в лицах. Это сразу же обращает «Серебряного голубя» в родню проповеди того католического патера, который, уж очень растрогав прихожан картиною страданий какого-то мученика, затем успокаивал слушателей:

— Не рыдайте, дети мои! Быть может, это было уж и не так страшно, как я вам рассказывал, я даже уверен, что не так страшно. А очень может быть даже, что этого и вовсе не было!

И вот какие глубины страстей ни открывает нам затем г. Андрей Белый, читатель никак уж не может отделаться от первого впечатления: «А очень может быть, что этого и вовсе не было?»

Что же было? Был лукавый каприз талантливого писателя, с большим, хотя весьма искусственным, книгами, а не жизнью созданным словарем, сочинить от себя новый хлыстовский толк, ибо — «хлыстовство, как один из ферментов религиозного брожения, неадекватно существующим кристаллизованным формам у хлыстов», а следовательно кристаллизуй формы эти и впредь сколько влезет по вольности дворянства и правам licentia poetica*.

Свой опыт новой хлыстовской кристаллизации г. Андрей Белый считает «вполне реальным». Возможно ли реальное изображение небылицы в лицах? Очень возможно. Примеры тому — Эдгар По, Мопассан, Бальзак, многие страницы Гоголя, Достоевского. Но условиями такого реально-фантастического творчества, необходимыми гораздо более даже чернил, пера и бумаги, являются две силы, к сожалению, мало ведомые г. Андрею Белому: совершенное практическое знание предметов, которые подсказывают автору его иллюзорную мороку, и совершенное проникновение автора иллюзией так, чтобы она вошла в плоть и кровь его и живою бы кровью с читателем заговорила. Если же в авторе живой крови нет и приходится фальсифицировать ее клюквенным морсом, то и иллюзия не достигнет искренности, составляющей душу и суть художественного реализма. Она сложит лишь более или менее замысловатое литературное упражнение в более

---

* См. пер. на с. 202.

или менее искусно сочиненных сценах и подобранных словах и, хотя иногда может очаровать податливого читателя внешним эффектом своим, но — неумолимый голос правды никогда не позволит вам забыть:

— А, может быть, этого никогда не было?

Чтобы опровергнуть этот неприятный голос, писатели, вынужденные подменять кровь сердца клюквенным морсом, обыкновенно начинают скептически относиться к самостоятельным средствам своего таланта и ищут поддержки им в сознательной подражательности, облагороженной в наши дни льстивым псевдонимом «стилизации». Стараются, по возможности, близко подражать какому-либо писателю, в котором кипящая сила крови была настолько ярка и несомненна, что, схватив внешность ее проявлений, уже ею одною можно ослепить умы не весьма разборчивого и чуткого большинства, а иногда, пожалуй, и себя самого. В «Серебряном голубе» г. Андрей Белый — постоянный, неутомимый, многосторонний отражатель и подражатель. Сейчас он — Кохановская, сейчас — Левитов, тут — Достоевский, здесь — и больше, и чаще всего — Гоголь. Г-н Андрей Белый — писатель опытный и способный, с литературным слухом: лишь бы над ухом камертон внятно звякнул, а петь он будет аккурат в надлежащем тоне, редко фальшивя, и без чрезмерных детонировок. Поэтому его подражания и отражения часто очень похожи, близки и ловко пригнаны, но собственное лицо автора ими совершенно заслонено. Приведенная выше смешная фраза, что «хлыстовство, как один из ферментов религиозного брожения, неадекватно существующим кристаллизованным формам», является одним из немногих образцов, показывающих нам, как теперь выражается «по-русски» г. Андрей Белый, когда он самостоятельно и всерьез мыслит. В повести же — сплошь литературный маскарад и писательские Святки!

Как все внешние подражатели, г. Андрей Белый достигает сходства тем не хитрым способом, что схватывает наи-

более резкие, угловатые черты своих оригиналов, и, копируя их недостатки, вызывает в читателе негативом своим дополняющее воспоминание соображение о позитиве. Читая первую главу «Серебряного голубя», — «Село Целебеево», — не раз улыбнешься: «Фу ты, черт возьми! Вот так — «под орех»! Гоголь! Настоящий Гоголь! Так словом-то и вьется, так и плетет кружева, и фертом ходит, и заигрывает, и козыряет юмором, и метафоры, и отступления к читателю, и гиперболы, и уподобления, и сантиментальное воркование, и дидактический пафос... ну, Гоголь же; как есть, живой Гоголь!»

Но в то же время почему-то вам неловко и стыдно за этого «живого Гоголя». То и дело кажется, будто г. Андрей Белый, парадно одевшись в Гоголев мундир, задался хитрою заднею целью доказать, что г. В. Брюсов был совершенно прав, когда в своем «Испепеленном» сурово пытался снять с Гоголя лавровый венец его. Решительно все неприятные, коробящие, отрицательные черты, вся изнанка Гоголя — все чрезмерности его лирического красноречия, весь дурной тон его риторики, все безвкусие его дидактики, вся вычурность и приподнятость его торжественных описаний — все это у г. Андрея Белого налицо и полностью. Но, увы! тем — на изнанке — и кончается сходство. Загримироваться Гоголем смог, — подарить нам не то что нового Чичикова, Манилова, Хлестакова, Городничего, а хоть малюсенький «перл создания» уровня Держиморды какого-нибудь либо приказчика маниловского, — не осилил. Торчит длинный Гоголев нос, висят Гоголевы волосы, видна Гоголева золотуха, но не работает Гоголев мозг, не греет Гоголева душа. И чувствуем мы себя в «Серебряном голубе» не в жизни, но в паноптикуме. И отношение — не как к жизни, но — как к восковым фигурам паноптикума: «Ловко, да — ненастоящее!» Когда Гоголь, уже разрушив талант свой, клонился к мистическому безумию и вздумал отрицать реальную типичность «Ревизора» и истолковывать его в символ, Щепкин резко

протестовал — крикнул ему, автору, в письме: «Неправда! это было!.. когда я умру, хоть козлов из Городничего и Земляники делайте, а пока жив, не позволю: они — наши, они — типы, они — живые люди». Когда г. Андрей Белый, наоборот, пытается уверить нас, что его вытканные «под Гоголя» узоры «вполне реальны», читатель пожимает плечами.

— А, может быть, этого не было?

И — вот поди же ты! В «Мелкого беса» верим, в «Городок Окуров» верим, в Симбирск Алексея Н. Толстого верим, в «Деревню» Бунина верим, а перед «Серебряным голубем» ежимся:

— Ох, не было этого! Ей-Богу, ну не было!

Великий талант Гоголя знал глубокую тайну, как спасать веское слово юмора своего от вульгарности и пошлости. Знали ее и многие большие и средние писатели Гоголевской школы, «вышедшие из «Шинели». Но от внешних подражателей она всегда ускользала и обыкновенно заводила их в трагикомическое положение самодовольных рассказчиков, думающих смешить анекдотом, не замечая, что смешны-то не анекдоты их, но сами они смешны. Если еще автор-подражатель наивен, свеж и подделывает Гоголя без сознательного умысла, просто по первобытной начитанности, то это добродушие «начинающего», неведение, что творит, иногда спасает его. Таков, например, Левитов — в дебютной своей «Сельской ярмарке», вылупившейся из «Повести о капитане Копейкине», как цыпленок из яйца. «Сельская ярмарка» груба и вульгарна, но — так сказать, вульгарна по добросовестному убеждению обожателя, и эта добросовестность извинительно выручает ее слабые места и оттеняет ими сильные, в которых сквозь корку рабского подражания уже прорывается самостоятельный авторский талант. Но Андрей Белый — не темный, полуобразованный, пьяный семинарист, как Левитов: это — начитанный интеллигент, изучивший сотни писателей и тысячи книг, пишущий о законах литературного язы-

ка и сам их дающий. Уж именно: «Теперь все законы пишут, мой Андрюша тоже целый волюн законов написал!» — как жалуется в «Войне и мире» старый князь Болконский. В статьях своего «Символизма» г. Андрей Белый отнюдь не Моцарт какой-нибудь, «гуляка праздный», но ученый, механически ученый Сальери: рассекает поэзию, как труп и, мы видели, буквально алгеброй поверяет ее гармонию. Это уже не бессознательный подражатель, которого стихийно потянул за собою авторитет громадного таланта, — это нарочный, типический стилизатор. И в этом напрасном качестве должен он разделить роковую судьбу едва ли не всех русских стилизаторов вообще, а подражателей неуловимого Гоголя в особенности: оригинал давит его своим соседством, как громадная башня — фарфоровую куклу. За два, за три действительно весьма удачных брызга «под Гоголя» поминутно приходится платить необъятными лужами такой, например, пошлости:

Вот и все, что было памятного в эти дни — да: что ж это я про самое главное приключение ни слова? Пардон-с: запамятовал. Это, конечно, про велосипед: ах, что бы это значило, что бы такое случилось с попом? Но прежде всего про велосипед (это у попа был велосипед); не у этого попа, а у того, который — ну, да вы уже сами догадываетесь, о ком идет речь, а велосипед, я вам доложу, прекрасный: молодец — поп, что у него есть такая машина: игрушечка-велосипед — новенький, аккуратный, с тормозом, отличнейшая резина и весьма успешный руль-с.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! Но... «ах, что бы это значило», как выражается г. Андрей Белый, что бекеша-то у Ивана Ивановича хороша и сразу дает читателю настроение на целую повесть, а велосипед попа — «не этого попа, а того, который — ну, да вы уже сами догадываетесь, о ком идет речь» — крутится колесами своими перед читателем неизвестно зачем, долго-долго и укатывает как прикатился, — пошляк-пошляком. «С трезвоном, срамом и пер-

цем», — уверяет г. Андрей Белый. Трезвон-то есть, и сраму довольно, но — где перец, это тайна автора.

Есть в «Серебряном голубе» страницы, которые из-за усердия г. Андрея Белого к стилизации, можно принять за умышленные пародии на Гоголя и, иногда, пресмешные.

Когда тебе приглядится (?) темноглазая писаная красавица, со сладкими, что твоя наливная малина, губами, с личиком легким, поцелуем не смятым, что майский лепесток яблочного цветка, и станет она твоей любой, — не говори, что люба это — твоя: пусть не надышишься ты на округлые ее перси, на ее тонкий, как воск на огне, мягко в объятье истаивающий стан; пусть ты и не наглядишься на ножку ее, беленькую, с розовыми ноготками; пусть пальчики рук перецелуешь ты все, и опять перецелуешь, сначала, — пусть будет все это, и то, как лицо твое она тебе закроет маленькой ручкой и сквозь прозрачную кожу увидишь тогда на свету, как красным сиянием в ней разливается ее кровь; пусть будет и то, что не спросишь ты ничего более от малиновой (?) своей любы, кроме ямочек смеха, сладких уст, дыма слетающих с чела волос да переливчатой в пальчиках крови: нежна будет ваша любовь и тебе, и ей, и более ничего не попросишь у своей любы; будет день, будет жестокий тот час, будет то роковое мгновение, когда это поблекнет поцелуем измятое личико, а перси уже и не дрогнут от прикосновения: это все будет; и ты будешь один с своей собственной тенью среди выжженных солнцем пустынь и испитых источников, где цветы не цветут, а переливается сухая на солнце кожа ящера; да еще, пожалуй, черного увидишь мохноногого тарантула дыру, всю увитую паутиной... И жаждущий голос твой тогда подымется из песков, алчно взывая к отчизне.

Если же люба тебе иная, если когда-то прошелся на ее безбровом лице черный, оспенный зуд, если волосы ее рыжи, груди отвисли, грязны босые ноги, и хотя сколько-нибудь выдается живот, а она все же — твоя люба, — то, что ты в ней искал и нашел, есть святая душа-отчизна: и ей ты, отчизне ты, заглянул вот в глаза, и вот ты уже не видишь прежней любы; с тобой беседует твоя душа, и ангел-хранитель над вами снисходит, крылатый. Такую любу не покидай никогда: она насытит твою душу, и ей уже нельзя изменить; в те же часы, как придет вожделение и как ты ее увидишь такой, какая она есть, то рябое ее лицо и рыжие космы пробудят в тебе не нежность, а жадность; будет ласка твоя коротка и груба: она насытится в миг; тогда она, твоя люба, с укоризною будет глядеть на тебя, а ты расплачешься, будто ты и не мужчина, а баба, и вот только тогда приголубит тебя твоя люба, и сердце забьется твое в темном бархате чувств.

Да... бывает! что и говорить! «Страшен тогда Днепр!»

Точно так же, как обрабатывает Гоголя, г. Андрей Белый стилизует себя и под других крупных писателей, которых тон, знание и язык кажутся ему подходящими к его теме. Угодно вам Мельникова-Печерского?

На голову они там себе поют, парни: в такие ночи сухие кусты ползают по деревне, обступают село воющей стаей; красная баба Маланья летает по воздуху, а за ней вдогонку кидается гром.

Кто же, кто, безумец, всю ночь туда ходил по селу, обнимался с кустом да, зайдя в чайную лавку, со всяким сбродом прображничал и не час, и не два? Пьяный, — кто потом провалялся в канаве? Чья это красная рубашка залегла под утро у пологого лога, у избы Кудеярова-столяра? Чей посвист там был, и кто из избы на посвист тот отворял оконце и долго-долго вглядывался во тьму?

Угодно Левитова? Сделайте одолжение!

Врезалась она (дорога) сухой усмешкой в большой зеленый целебеевский луг. Всякий люд гонит мимо неведомая сила, — возы, телеги, подводы, нагруженные деревянными ящиками с бутылями казенки для «винополии»; возы, телеги, народ подорожный гонит: и городского рабочего, и Божьего человека, и «сицилиста» с котомкой, урядника, барина на тройке — валом валит народ; к дороге сбежались гурьбой целебеевские избенки — те, что поплоше да попоганее, с кривыми крышами, точно компания пьяных парней с набок надвинутыми картузами; тут и двор постоялый, и чайная лавка — вон там, где свирепое пугало шутовски растопырило руки и грязную свою из тряпок кажет метелку — вон там: еще на нем каркает грач. Дальше — шест, а там — поле пустое, большое. И бежит, бежит по полю белая да пыльная дороженька, усмехается на окрестные просторы, — к иным полям, к иным селам, к славному городу Лихову, откуда всякий народ шляется, а иной раз такая веселая компания прикатит, что не дай Бог: на машинах — городская мамзель в шляпенке да стрекулист или пьяные иконописцы в рубашках-фантазиях с господином шкубентом (черт его знает!). Сейчас это в чайную лавку, и пошла потеха; к ним это парни целебеевские подойдут и, ах как горланят: «За гаа-даа-ми гоо-ды... праа-хоо-дяя-т гаа-даа... пааа-ааагиб яяя маа-аа-ль-чии-ии-шка, паа-гии-б наа-всии-гдаа...»

Угодно Глеба Успенского? Не без этого товара в нашей лавке:

А во фруктовом саду Аннушка-Голубятня шепталась с Сухоруковым, с медником:

— Едак, Анна Кузьминишна, оставлять не след: никак, етта, нельзя; с иестава часа, коли оставить, нам капут всем...

— Ох!

— Как ни охайте, а с ним порешить придется...

— Ох, не могу!

— Моей политичности вы доверьтесь: я еще не встречал человека умнее себя...

Молчание.

— Как-никак, а уж вы ему всыпьте.

— Не мог я всыпать...

— Нет уж, вы всыпьте: опять говорю — политичнее себя не встречал...

Молчание.

— Так значит так?

Угодно Лескова? Пожалуйте!

— Господу Богу помолюсь, молодцу поклонюсь: молодец, молодец — в чистом поле Лащавина; на Лащавине дуб; во дубу — дупло; во дупле избирайте подруг всяких-провсяких: гноевых, лесовых, крапивных, подпивных; во дубу — залатое галье, залатое ветие; во том ветии тала, яла и третья вересоч — сестры-полусестры, дядьки-полудядьки... У-у-у-у...

Хлынул изо рта света поток и — парк; красным петухом побежало оно по дороге вдогонку Дарьяльскому.

Идет к дубу Дарьяльский на свидание с Матреной, уже забывает он свой разговор на пруду; у ног его шепчет струйка: «Все-все-все расскажу, все-все-все, все-все-в...»

Что за странность: большой красный петух под луной перебежал ему дорогу: крестится; идет по опушке леса. Вдали перед ним Лащавино: там и дуб, и Матрена.

Пришел — пусто в дупле: Матрены еще нет.

А столяр, скрюченный на лавке продолжает безумствовать втихомолку:

— Огонь, огонь видючий,
Огонь, огонь летучий...

Не худо? Да. «Даже при дневном освещении трудно отличить от настоящих!» — как печатает свои объявления торгу-

ющая фальшивыми бриллиантами фирма «Тэт». И всего грустнее в этой большой и толстой книге, что совсем не надо рыться по ее страницам, чтобы находить фальшивые «Тэты». Раскройте повесть где угодно — в начале, в середине, в конце, — между строк выглянет на вас какое-либо знакомое-знакомое литературное лицо, только — искаженное опошляющею, вульгарною гримасою. И к последней-то и сводится вся творческая роль г. Андрея Белого в процессе «стилизации». Не то обещал когда-то. Жаль.

Г-н Андрей Белый твердо знает правило, что в художественном литературном произведении каждое действующее лицо должно говорить своим особым языком, свойственным его типу и отличающим его от других лиц. Эта задача очень трудная; даже между великанами русской литературы не все справлялись с нею безупречно. Но ее можно обратить и в чрезвычайно легкую. Стоит только истолковать правило в том смысле, что оно имеет в виду не внутренний строй, дух и содержание языка, а внешние его приметы: акцент, заикание, картавость, шепелявый говор, окание, зюзюкание и т.д. В большом количестве это — перенос на бумагу устного творчества Горбунова, Павла Вейнберга, Андреева-Бурлака и прочих знаменитых и ходовых рассказчиков из народного быта: еврейского, армянского, финского, греческого и т.д. Серьезные художники-писатели избегают этого утомительного приема. Лев Николаевич Толстой в последующих изданиях «Войны и мира» вычеркнул картавость Васьки Денисова, в первом издании растянутую по всему роману. Чехов, рядом с Толстым величайший мастер искусства облечь каждое действующее лицо в обособленную речь, всегда лишь предупреждает о свойствах его говора (как и Толстой теперь в случае Васьки Денисова), а затем слова его передаются в обычной орфографии; читателю предоставляется помнить и воображать акцент, тон, голос действующего лица по силе общего рисунка, по глубине общего впечатления от

предложенного типа. Ремарки, характеризующие героев «Ревизора», незримо сопровождают их все время, покуда вы читаете комедию. Но представьте себе ремарки Гоголя перенесенными в печатный текст: и зуб со свистом, и бас Ляпкина-Тяпкина «с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют». Теперь эти ремарки стали выполнять на сцене, — и то, говорят, скверно выходит и мешает общему впечатлению комедии. В печати же все это звукоподражательство совершенно невыносимо и — «в сильнейшей степени моветон».

К сожалению, г. Андрей Белый «моветоном» этим не только не брезгует, но даже заполняет звукоподражательством целые страницы, вследствие чего иные главы повести прямо-таки трудно и раздражительно читать. Стоит явиться на сцену генералу Чижикову, и пошла трещать картавая машинка:

— Остгяк!.. Ужасный остгяк!..

— Ну?

— Невегоятный, чудовищный остгяк.

— Ну-ну?

— В одном благогодном семействе подьетает к гоялю и, знаете, эдакую гуйяду... «Иггаете?» — спгосийя хозяйка... «Иггаюс-с». — «Ах, сыггайте, пожалуйста...» И пгедставьте себе, что он ответий?

— ???...

— Судагыня, я иггаю только... — гьязами.

— Хи-хи!

— Ха-ха-ха-ха!

— Кхо?

— Чеавек! Бегогоговеньких!

Лев Толстой вычеркнул картавость Васьки Денисова, и Васька Денисов от того ни на йоту не потерял своей типической правды и силы. Но у г. Андрея Белого картавость, пришепетыванье и безобразный говор действующих лиц — единственный способ придать им характер и жизнеподобие. Подставьте в эти «гуйяды» вместо условной авторской орфографии

общепринятую, и вы удивитесь, до какой степени суха, однотонна, не характерна сама по себе речь героев «Серебряного голубя», до какой степени бессилен автор характеризовать кого-либо словом, из уст исходящим, помимо этого первобытного, опять-таки механического и рассудочного приема.

Что скучно, надоедливо и мертво, как характеристика индивидуальности, еще противнее, когда распространяется в характеристику коллектива. Писатели, злоупотреблявшие звукоподражательным приемом ради этнографических характеристик, не оставили хорошей памяти в русской литературе и не заняли в ней почетных мест. Наиболее типический пример — Всеволод Крестовский, который — весь в этом, когда пишет поляка или еврея.

Скажут: а как же — народники шестидесятых и семидесятых годов? Левитов? Слепцов? Решетников? сам Глеб Успенский?

Так что же? И у них этот недостаток остается недостатком, не стал достоинством? Но у шестидесятников и семидесятников имелись смягчающие вину обстоятельства, которых современный писатель лишен. Во-первых, у всех у них, кроме художественных задач, имелись утилитарные и публицистические, с которыми эта уловка поверхностного юмора больше ладит. Ведь все названные — творцы русской художественной этнографии: работники племенной, областной и сословной дифференциации того искусственного и собирательного русского народного типа, который достался им в наследие от «людей сороковых годов»; среди последних-то, строго говоря, настоящий народ без маленькой хотя бы маскарадной прикрасы виден едва ли не у одного Писемского. Иногда этот недостаток становился необходимым: нельзя было написать «Подлиповцев» говорящими общим русским языком, потому что и весь-то смысл этой потрясающей вещи: смотрите! перед вами, в XIX веке, люди, братья, русские — и дикари!

настолько дикари, что даже и язык-то у них застрял где-то на полпути от гориллы к человеку. Народническая манера печатной звукоподражательности выросла по соседству с общим этнографическим исследованием русского мира во второй половине пятидесятых и в начале шестидесятых годов. В веке, когда по Руси побрели «калики перехожие», как нарисовала их в карикатуре насмешливо-сочувственная «Искра»: Максимов, Левитов, Слепцов, Якушкин, Юзов и др. Когда Павел Якушкин записывал псковские песни с правописанием:

Литела пава чириз три двора,
Уранила пава три пира...

Во-вторых, народники сами отлично понимали, что прием этот — в основании своем — все-таки фальшивый, и пользовались им лишь как неизбежным злом своего литературного века. Чем шире и крепче рос великий талант Глеба Успенского, тем реже и реже прибегал он, ради юмористических целей, к косноязычной орфографии случайных говоров. Сравните-ка в этом отношении «Нравы Растеряевой улицы», которыми начинается первый том сочинений Глеба Успенского, и «Вольных казаков», которыми он кончается. Это не было главным и определяющим в письме народников, хотя иные пародисты и цеплялись к этому, как к главному и определяющему. А те из них, в ком оно было главным и определяющим, либо очень быстро сошли на нет, стали не нужны и стерлись (Николай Успенский), либо заскучали и обратились от этнографической словесности к общеинтеллигентской (Слепцов), либо, наконец, сползли в подворотню литературы и сделались в ней присяжными смехотворцами, письменными конкурентами изустных Горбунова, Павла Вейнберга и др. (Лейкин). Любопытно, что целый ряд писателей, даже и в то время, умел писать о народе наинароднейшим языком, совершенно не прибегая к звукоподражательству: Писемский, Островский и

особенно замечательный, так как специальный, пример — Мельников-Печерский. Любопытно также, что и в наши дни серьезные писатели-художники, обратившиеся к жизни народа, не нуждаются в звукоподражательных приемах: их нет ни у Максима Горького, ни у Бунина в «Деревне», ни у молодого Алексея Н. Толстого. Г-н Андрей Белый здесь перенародничал всех народников — все равно как цветистостью изощренно выкрученного слога своего забил и за пояс заткнул старуху Кохановскую: ту самую, о которой Щедрин говорил, что, если ее народные сочинения почитать вслух мужику, так он подумает, что вы сообщаете ему заговор от лихоманки.

И, в-третьих, раз уже прием этот пускается в ход, то, чтобы неряшливая изысканность его не коробила читателя, не раздражала его потребностью хотя бы малой догадки о том, что догадки не стоит, — писатель опять-таки должен быть и совершенным знатоком народного говора, ему понадобившегося и опять-таки глубочайшим лириком ли, юмористом ли — мощным литературным темпераментом, который материал свой гнет как хочет, куда хочет, и все выходит хорошо; который полусловом, с ветра схваченным, властен и умеет сказать больше, чем талант средней величины скажет целою главою... Салтыковское: «Ен достани-ит!» — сделалось в некотором роде национальным девизом. Да вот, подите-ка вы, погуляйте-ка вокруг Салтыковых-то, Успенских, Левитовых, поищите-ка их тайн: почему quod licet Jovi, non licet bovi*, и что Салтыкову, Успенскому и Левитову очень можно и кстати, то г. Андрею Белому совсем некстати и никак нельзя? Почему г. Андрей Белый хочет быть народным, как Левитов, который народен даже в подлейшем московском трактире, и оказывается только трактирным, — трактирным даже в лучшем просторе народа своего?

---

* Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (*лат.*).

Мааа-лиии-тес-сь хаа-аа выы, женщины,
За ваа-аа-ших сыы-нааа-веей...

— И видел я, братцы мои, сон: у меня три халавы, и каждая халава на свой образец: одна псиная, а другая щучья; и только одна собственная; и те халавы про самих оспаривают себя; и оттого трешшали мозги — очченно...

— Ну, и ты тилилюй же!

— А што?

— Быдлом тебя пабачить.

— Хошь Столб ты и Верный, д'язычек твой неверный; сердце — золото, д'язычок — медный пятачок.

Столь народен русский язык г. Андрея Белого, что даже русской азбуки для передачи его не достало и пришлось занимать французские апострофы!

В превосходном старом рассказе Писемского «Комик» одно из действующих лиц, русский барин французского воспитания, из последних наших провинциальных «виконтов», ставит для «благородного спектакля» «Женитьбу» Гоголя и играет в ней Степана. Писемский описал, — как «виконт» вымазал лицо сажею, ходил с раскачкою, как пьяный, и всем за кулисами для практики говорил грубым голосом: «тово», «Ванюха», «малый». «Виконт» думал, что он необыкновенно народен, а зрительный зал тосковал в недоумении, и — вместо аплодисментов — какой-то подгулявший чиновник из задних рядов в конце концов рявкнул злополучному народному виконту:

— Браво, господин виконт! Поди-ка сюда, я тебе манжеты-то оборву...

Боюсь я, что простофильская архинародность, которой предался в «Серебряном голубе» г. Андрей Белый, не уходит глубже маркизовой, и результаты ее одни и те же: видит зритель торчащие на ряженом «Ванюхе» и «малом» манжеты, скучает их притворством, раздражается и весьма не прочь «манжеты оборвать». Тем более что в качестве героя пове-

сти, г. Андрей Белый проводит перед нами хотя и не маркиза, но тоже манжетника совершеннейшего. Господин, который «такое прошел ученое заведение, где с десяток мудрейших особ из года в год невесть на каких языках неприличнейшего сорта стишки вместо наук разбирать изволят — ей-Богу! И охотник же был Дарьяльский до такого сорта стишков, и сам в них преуспевал; писал обо всем: и о *белолилейной пяте*, и о *мирре уст*, и даже... о *полиелее ноздрей*. Нет, вы подумайте: сам выпустил книжицу, о многих страницах, с изображением фигового листа на обертке...» и т.д., и т.д. Узнаем от г. Андрея Белого, что Дарьяльский изучал сперва Маркса, Лассаля, Конта, а потом Беме, Экхарта, Сведенборга, а затем единовременно богомольствовал в Дивееве и Оптине и погружался в языческую старину с Тибуллом и Флакком. Словом, обер-интеллигент и архибарчонок чистейшей воды: десять лет назад — декадент, три-четыре года назад — порнограф, сейчас — не то кающийся по «Вехам», не то гогочущий нутряным смехом «Кривого зеркала», алкоголик по призванию и половой неврастеник.

В фигуре Дарьяльского чуется у г. Андрея Белого боль надрыва, дорого автору стоящего. Злобные издевки, которыми он осыпает этого «эстетического хама», то и дело срываются в субъективные рыдания. Нелегко должны были даться г. Андрею Белому хотя бы такие покаянные строки — проклятие целому поколению молодых стариков, ни за что ни про что исказивших себя в непрерывном самовлюбленном измышлении, как им вяще изломиться:

Для многих Дарьяльский был помесью запахов сивухи, мускуса и крови... с не более не менее, как нежной лилéей, а эти многие напоминали ему ни для чего не годную ветошь.

— Ах, шельма эдакая! — сказала про него утонувшая в кружеве барыня, готовая с кем угодно что угодно проделать в любой час ночи и дня. Начнем со слов: слова Дарьяльского в людских отдавались ушах что ни на есть ненужным ломаньем, рисовкой, а, главное, ломаньем вовсе неумным

и особенно выводил из себя смешок моего героя — еще более чем выламыванье из себя *простака*, потому, что *простак* в нем уживался с уму непостижимой простотою, глухотою и слепотою к что ни на есть всему; от всякого желания прислушаться к составленному о себе мнению Дарьяльского передергивало, как передергивало других его поведение. Выходило — он ломался для себя и только для себя: для кого же иного мог Дарьяльский ломаться?

Но, видит Бог, не ломался он: он думал, что работает над собой.

И вот — этакое-то исковерканное слабосилие и блудословие на соломенных ножках возжаждало вдруг окунуться вглубь русской народности. И тут, конечно, не обошлось без вывертов, без наводящей книги, без рассудочного механического подступа:

Страшную создал или, вернее, пережил, а еще вернее, что жизнью своею сложил правду; она была высоко нелепа, высоко невероятна; она заключалась вот в чем: снилось ему, будто в глубине родного его народа бьется народу родная и еще жизненно не пережитая старинная старина — древняя Греция.

Новый он видел свет, свет еще и в свершении с жизни обрядов грекороссийской церкви. В православии, и в отсталых именно понятиях православного (т.е., по его мнению, язычествующего) мужичка видел он новый светоч в мире грядущего Грека.

Народность, Россия, предстала сему Феокриту в символе рябой и неуклюжей, вечно потеющей рыжей бабы Матрены-столярихи, играющей в секте «голубей» роль «духини» — хлыстовской богородицы, что ли. Конечно, бывает и так, что

Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей, —

но внезапный прыжок от Тибулла и Флакка в калуцкую либо орловскую закуту, где в фимиамах назема «косолапая баба задумалась под коровой и тонкую из рук коровью выпустила титьку; кирпичного цвета клоки вылезли из-под платка: сидит на корточках, в зубах ковыряет пальцем, причмокивают

навозом толстые ее пальцы: ведьма ведьмой!» — труден и нельзя сказать, чтобы был прельстительно изящен эстетический прыжок на дистанцию столь огромного и рискованного размера! Подробное и красноречивое описание г. Андреем Белым победительной Матрены приведено мною в оригинале выше, но его автору мало: раз пятнадцать возвращается г. Андрей Белый к дивному образу роковой обольстительницы, чтобы украсить ее новыми и новыми прелестями: и косая-то она, и «нос-тупонос», и пятки грязные, и живот преогромный, и пр., и пр. О вкусах, конечно, не спорят, но г. Андрей Белый уж слишком перестарался с подробностями о великолепной столярихе. Право, после такой влюбленности его Дарьяльскому остается еще только один шаг преуспеяния, который у Чехова в «Тине» рекомендуется: «Уж, если тебе цинизма захотелось, то взял бы свинью из грязи и съел бы ее живьем!..» Увидал Дарьяльский дивную бабу Матрену в церкви, у обедни: вот оно оказывается, каково «греческое православие»-то у простофильских Феокритов! абие, абие, а выходит бабие! вот зачем «эстетические хамы» по обедням-то ходят!.. Уверяют, будто «иже херувимы» их за сердце хватают и плакать им велят, а, между прочим, просто по церкви глазами шмыгают, рябых ядреных баб высматривая. Кстати, об этой сцене — первой встрече российского Фауста-простофила с соответственною Гретхен.

Он уже приготовился слушать Александра Николаевича, дьячка, выбивавшего с левого клироса барабанную дробь — и вдруг: в дальнем углу церкви заколыхался красный, белыми яблоками, платок над красной ситцевой баской; упорно посмотрела на него какая-то баба; и уже он хотел сказать про себя: «Ай, баба», — крякнуть и приосаниться, чтобы тут же, забыв все, начать класть поклоны Царице Небесной, но... не крякнул, не приосанился и вовсе не положил поклона.

Не сдается ли вам, что вы уже читали ее, сцену эту, в таком, примерно, варианте:

А пойдет ли, бывало, Солоха, в праздник, в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже, верно, закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза: Голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ него соседу:

— Эх, добрая баба! черт-баба!

Увидал Дарьяльский «ай-да-бабу». Увидал и — «души его запросила рябая баба».

Так и обомлел он от великолепий ее всесовершенного безобразия. Бросил невесту, красавицу девушку, образованную и богатую барышню, умницу Катю, запил, опростился, поступил в подмастерья к столяру, хозяину бабы Матрены, пророку «голубей» и магнетизеру замечательнейшему. А «голуби» принялись Дарьяльского тренировать, как... будущего производителя некоего таинственного существа, в котором должен вочеловечиться дух, нисходящий на их радения «в виде холубине» (это и есть «Серебряный голубь»). Когда Матрена забеременеет от Дарьяльского, то «воспоследует духа рождение, восхолубление да аслабажденье хрестьянска люда». Но Дарьяльский, очевидно, слишком много сил оставил в изучении порнографической литературы на всех языках и в самостоятельном творчестве о полиелее ноздрей. Он обманул ожидания «голубей»: сколько ни подвизался он с рябою Матреной в дупле дуба, который Ивана Грозного помнит, никакой дух чрез подвиги его вочеловечиться не пожелал, почему и «восхолубление земли» не воспоследовало и «аслабажденье хрестьянска люда» отсрочилось. А столяр Дарьяльского возненавидел, потому что — дух духом, голубь голубем и «голубиное дите» — дитем, но Матрену-то к барину он возревновал. И вот — сплелась на горемычного Дарьяльского сектантская интрига, в результате коей был он «голубями» убит — из опасения предательства, но, главным образом, — приходится с сожалением признать-

ся, — за половую непроизводительность. И все это по совокупности, изволите ли видеть, слагает ни больше ни меньше, как — Россию!

И этот путь для него был России путем — России, в которой великое началось преображенье мира или мира погибель!

Собственно говоря, напрасно г. Андрей Белый предупреждал о том, чтобы его «голубей» не принимали за хлыстов. Если «многие» впали в эту ошибку, то, очевидно, эти многие совершенно не знакомы с русским мистическим сектантством, — иначе они никогда бы не приписали бы мертво пьянствующим чувственникам, которых изображает г. Андрей Белый, имени безусловно трезвой секты, которую народ подчеркнуто зовет чаевниками и сладкоежками. Затем: хлыстовщина русская — вся — мистицизм коллектива, одухотворенный «мир», чрез общий экстаз которого на землю свят-Дух сводится; а г. Андрей Белый нарисовал своих «голубей» такими «индивидуалистами», что даже вон вочеловечивания Духа-то они ожидают по специальному, так сказать, заказу и выбирают для того специальных избранников-производителей — «по хлазам». «Многие» не знают того, что даже в мутной и иногда кровавой легенде о «Христосиках», доползшей в русскую хлыстовщину через темное Средневековье, через гностическую даль, из преображенных в христианской отвлеченности культов земли плодородящей, легла основою «мирская сила», круговая порука и братская помощь святого круга. Отсюда возникал и самый свальный грех-то, в котором обвинялись внешними все подобные секты, начиная с первых экстатических христиан, продолжая тамплиерами, кончая нашими хлыстами. Справедливы ли, нет ли бывали эти обвинения, добывались ли они из фанатических фактов или из отживших суеверных преданий, но они одинаково возникали из догмата совершенной общности и единства всего

коллектива верующих, логически продолжая духовный общий экстаз в плотский общий результат. В том-то и суть, что «Христосик» экстатических сект являлся, как, в полном смысле слова, «мирское дите». Его плотский отец — вдохновение слепого случая. Фабрикация же случая в столь индивидуалистическом порядке, что для нее пророки даже изобретают комбинации полового подбора, приглашая на гастроли нарочного человка, извне своей верующей среды, чужака, барина, весь этот теологический опыт — не только не в нравах народного мистического сектантства, но и резко противоречит его основному мирскому принципу. И что же избранный производитель этот — во мнении «голубей» — необыкновенный какой-либо человек, что ли, особо уважаемое лицо яркой психической силы? Ничуть. Вот разговор о нем: «Ну, что, человека нашли?» — «Наметили». — «Кто да кто?» — «Так, *лодырь из господ...»* Сочетать догматическое упование на рождение Духа и «аслабаждение хрестьян» с производительностью «лодыря», то есть праздношатающегося, «из господ» — как это вяжется со страстным духом и угрюмым взыскательным бытом русских «духовных христиан»! Не знаю, где изучил их г. Андрей Белый и в какие заповедные и невероятные недра сектантства русского зарыться надо, чтобы, — воображая и сочиняя от их типического коллектива свою собственную отрасль, — серьезно наградить ее чаянием будущего века от плода уродливой косноязычной бабы и прохожего лодыря. То, что изобразил г. Андрей Белый, похоже скорей на порядки Хреновского завода, чем на секту. Это — трагикомическая повесть о неудачах двуногого Гальтимора, не оправдавшего надежд, что он «освежит расу».

Приключения Дарьяльского г. Андрею Белому по эпохе надо связать как-нибудь с революцией, с аграрными беспорядками. Поэтому его «голуби» — секта мистическая и революционная, по крайней мере по мнению местно-

го исправника и картавого генерала Чижикова, которого автор юмористически заставляет читать прокламацию «голубей».

Бгатия, испойниось сьово Писания, ибо вгемена бьизки: звегство Антихавистова наопио печать на земью Божью; осени киестом нагод пгавасьявный, ибо вгемена бьизки: подними меч на сьюг вейзевуовых; от них же двогяне пегвые суть: огнем попаяющим пгойди по земье гусской; газумей и могись: гождается Дух Свят: кги усадьбы отчадия бесовского, ибо земья твоя, как и Дух твой...

Но революционности своей «голуби» не успевают обнаружить, так как провиденциальное бесплодие Дарьяльского спасает отечество от сей потрясающей катастрофы, а единственная сцена, когда являются в повести мужики и шебаршат, свидетельствует либо о слабом представлении г. Андреем Белым, как эти дела в действительности делаются, либо о непременном желании оцензурить нецензурное и внести рев и вой в юмор, в самом деле, чуть не голубиного воркования. Зато, что касается уголовщины обыкновенной, г. Андрей Белый описывает «голубей» своих какими-то «тугами» индийскими: спровадить человека на тот свет им — как стакан воды выпить. На протяжении повести двое проникают в тайны «голубей» — Дарьяльский и миллионер Еропегин — и оба погибают от руки сектантов самым жалким образом. Так что, собственно говоря, даже повторяется до известной степени пресловутая немецкая история о воре, который, забравшись в дом, увидел, как на лежанке домовой задушил одинокую бабушку-старушку, и от ужаса умер на месте; старуха умерла, вор умер, а домовой скрылся, — и вот так навсегда и осталось загадкой: откуда же люди-то узнали все это чудесное приключение?.. И опять невольно возвращаешься мыслью на первое:

— А, может быть, этого и вовсе не было?

И начинаешь искренно радоваться этой надежде, и еще раз отмечаешь с удовольствием, что г. Андрей Белый «кри-

сталлизует» не хлыстовскую секту, а какую-то другую, свою собственную. Ибо, хотя «хлыстовство, как один из ферментов религиозного брожения, неадекватно существующим кристаллизованным формам», но «тугами» их рисовали покуда только Ливановы да Шардины, которых г. Андрею Белому лучше было бы оставить при лаврах их без соперничества. Сам Мельников-Печерский, на что был лют, не облекал хлыстов в злодейства непрерывной уголовщины, и, хотя сперва собирался было ввести в роман свой «На горах» сцену ритуального убийства хлыстами православной девушки, но отказался от этого намерения под влиянием архиепископа Амвросия Харьковского. Этот последний, человек, далеко не питавший нежности к сектантам, однако нашел в себе справедливость сказать знаменитому романисту, что так не бывает и что он впал в тенденциозную вредную неправду. Вообще же Мельников-Печерский написал хлыстов людьми настолько мягкими, трезвыми, благодетельными и порядочными, что получил даже неприятности от Каткова и Любимова, редакторов «Русского вестника», где печатался роман: «Что же это у вас? — протестовали они, — как сектант, то — человек хоть куда, а как православный поп, то лихоимец и пьяница!..» Под влиянием этих редакционных упреков Мельников-Печерский приклеил к роману известную сцену, в которой хлыстовский пророк покушается изнасиловать Дуню Смолокурову. Что касается хлыстовского разврата, возможно и вполне вероятно допустить, что экстаз радений способен порождать в святом кругу половые восторги, которые иногда разрешаются отнюдь не целомудренно. Но опять-таки «ливановщиною» было бы обобщать эти случайные по существу, хотя бы и частые, «падения в грех» не только в существо, но даже как бы и в прямую цель хлыстовского общения, что делает — для «голубей» г. Андрей Белый. Уж хоть бы он у Бонча-Бруевича, что ли, почитал бы подлинные документы, вышедшие из недр мистических сект

русских! Лаборатория народной религии на Руси выработала много странных и нелепых форм, которых *ошибочными* результатами являлись и преступление, и грех, но никогда народная душа не искала религии *принципиального* преступления, ожиданного и предрасчитанного греха. Нет и не было такой народной секты, исследование которой показало бы, что соединило ее не пылающее стремление к духовному совершенству, но искание плотского разврата. И не в народе нашел г. Андрей Белый, а в кабинете интеллигента-утонченника высидел того удивительного апостола «голубей», который заманивает Дарьяльского в секту «женками с хрудя́ми сахарными» и доступностью «Матрены Семеновны». Заманивает — кого же? Человека, в котором он предвидит плотского отца своего, в будущем, вочеловеченного божества! Это, может быть, дозволил бы себе политикан секты, иезуит ее, практический невер, обрабатывающий на почве фанатизма свои задние планы и чуждые делишки, но таких среди «голубей» г. Андрея Белого нет: все сплошь фанатики, все верят, все любят, все уповают! Какого идейного человека не отшвырнуло бы от секты грубо-откровенное приглашение: иди в нашу «веру», у нас девки хороши! А у «голубей» г. Андрея Белого все на этих соблазнах вертится. Хоть бы подумал он о том, что продолженная линия хлыстовства, которое он «кристаллизует» своими «голубями», упирается в скопчество, то есть в физическое облегчение проблемы полного отрешения от полового греха; что между хлыстовщиною и скопчеством есть промежуточная секта «духовных скопцов», которая именно и зовет себя «Белыми голубями». Грубый и плохой роман Мельникова-Печерского «На горах», но захват и обаяние хлыстовской психологии там куда же серьезнее, глубже и тоньше поняты. Когда хлыстовщиною увлекается чистая, целомудренная Дуня Смолокурова, читатель понимает, что свершилась великая ловитва душевная, — видит всю причинность, по которой прекрасная душа упала в расставлен-

ную сеть, потому что и приманки-то, ей расставленные, высоко-духовны и достойны стремления прекрасной души. Но когда Дарьяльский — после того как выслушал от «холубиного» апостола обещания насчет Матрены Семеновны и женок с сахарными грудями, — возопил: «Довольно: я — с вами!» — невольно срывается с языка резкое слово:

— Это он так-то к «народной религии» приобщается? Ах, свинья, свинья!

В «голубях» г. Андрея Белого сам автор, наконец, замечает «смесь иконописи с свинописью». Резко, но не несправедливо. Сделал он их пьяницами, сделал похабниками, сделал сладострастниками, ревнивцами, сделал трусливыми, бестолковыми убийцами: зачем? Неизвестно. И все-таки — в насильственном простофильском восторге перед ними употребляет все старания, чтобы подчинить читателя их простофильскому обаянию. Почему? Непонятно. Ах, теоретики русские! Что вы за несчастный народ такой?

Не знаю, слишком давно я не был в России, не знаю, имеет ли основание и смысл незначительная и мимоходная попытка г. Андрея Белого прицепить секту «голубей» к революционному движению и, таким образом, озарить последнее мистическим духом таинственного «Серебряного голубя», в котором-де вся и штука. Но знаю, — что в этой многословнейшей и красноречивейшей повести, толкующей решительно de omnibus rebus* и о многом еще, развивающей действие свое в глухих деревнях и в уездном медвежьем углу, не нашлось места ни для крестьянского быта и уклада, ни для земельного вопроса. Люди г. Андрея Белого не на земле стоят, не за почву ногами и трудом держатся, но где-то в воздухе висят, воздухом, надо быть, питаются. Ничего-то им, голубчикам, как есть, не надо, кроме нисшествия «Серебряного голубя», ибо — как только Матрена придет в интересное

* О разных вещах (*лат.*).

положение, то произойдет «восхолубление земли и аслабаждение хрестьян». Так на этом «восхолублении и аслабаждении» г. Андрей Белый от вопроса деревни и отъехал. Дешевенько! Остается лишь недоумевать, для какой же цели появился на театре действия «толстый офицер, чей смирительный отряд уже с месяц стоит на постое в подлиховских селах...» Матрена не родила, а смирительный отряд все-таки понадобился! Удивительно! Зачем бы?

Это касается деревенских революционеров вне «голубиного» порядка, г. Андрей Белый знает их всех превосходно и трактует весьма свысока. Все они, и эсдеки, и эсэры, — совершенные лодыри и канальи. Они сидят по трактирам, пьяные-распьяные, невежественные, как темная ночь, дикие, как лес пустынный, и вперемешку с похабными анекдотами лишь отпускают коснеющими от водки голосами многозначительные фразы вроде:

— Пррредоставим небо ворробьям... и водррузим... ккрасное знамя прррали-таррри-ата...

Да и тут этот сиволапый эсдек был немедленно оборван и посрамлен героическим «голубем». Сей последний ранее занимал почтеннейшую публику непечатною пародией на некоторое житие. Но — едва услышал о «ккрасном знамени пралитарриата», сейчас же вступился и «отделал»:

— Ой-ли, а не красный ли гроб? — вдруг возвысил голос лиховский обыватель так, что смолкла гармоника, перестали ребята дивиться «ехе лесной» и все головы обратились в одну сторону; но как же сверкали глаза лиховского мещанина: — Слушайте, православные, царство Зверя приходит, и только огнем Духовным попалим Зверь сей, братия, будет ходить меж нами красная смерть и одно спасение огонь Духов, царство голубиное преуготовляющий нам...

Долго еще говорил лиховский обыватель и скрылся.

Однако самый интересный из деревенских бунтарей голубиного толка и тоже большой обожатель рябой Матрены — Степка, ограничил свое революционерство тем, что разбил на голове

отца своего, деревенского кулака и подлеца великого, банку с вишневым вареньем да сочинил следующую любопытную... «марсельезу», вероятно:

Ах ты, слон, слон, слон,
Хоботарь,
Клыка Клыкович,
Тромба Тромбович,
Тромбо-ве-ельский!

Свершив этот подвиг, — больше не возвращался Степка в Целибеево никогда: знать дни свои он упрятал в леса; быть может, там, на севере, черный, волосами обросший схимник, в кой век выходящий на дорогу, и был прежний Степка, если Степку не скосила злая казацкая пуля, или если его, связанного, в мешке, виселица не вздернула к небесам.

За что злополучного Степку должны постигнуть такие напасти, — за банку вишневого варенья? за слона-хоботаря? Но Андрей Белый умалчивает. Имеется в «Серебряном голубе» и мистический анархист. Но это уже такой беспросветный и пошлый дурак, что за человека страшно. Прямо цирковой «рыжий» выведен на человеческое посмеяние. И имя-то г. Андрей Белый нарек ему дурацкое: Чухолка. *Какая* Чухолка?.. Очень остроумно! Генерал Чижиков будет смеяться:

— Остгяк, остгяк, ужасный автог остгяк!

Я был бы не прав, если бы забыл упомянуть в отчете о «Серебряном голубе» еще одно действующее лицо, — быть может, самое символическое во всей повести. Это — мужик Андрон, который время от времени проезжает по театру действия, причем телега его дребезжит — «дыр-дыр-ды...» Соображая известное присловие насчет едущих Андронов, право, можно подумать, что к этой дырдыкающей телеге сводится весь смысл и план обширной повести.

Редки в «Серебряном голубе» страницы, напоминающие юношескую свежесть г. Андрея Белого и сопряженные когда-

то с нею литературные надежды. Два-три эпизода, подробно разработанных с наблюдательным реализмом, — лакей Евсеич, ядовитая учительница Шкуренкова и сельские вражды ее, поп, с перепою город Карс под треньканье жениной гитары берущий — предсмертное бегство Дарьяльского, — множество мелких анекдотиков, иногда верно подслушанных и метко записанных, — таков небогатый положительный багаж «Серебряного голубя». Но не нов он, багаж этот: виданы-перевиданы, слыханы-переслыханы и Евсеичи, и Шкуренковы, и пьяные попы, — и не нашлось для них у г. Андрея Белого ни новых слов, ни новых красок. Мог бы г. Андрей Белый занять читателя психологией «извращения», бросившего пресыщенца Дарьяльского в «простофильский» роман с грязною ведьмою-зверихою. Но опять-таки ничего нового он не внес в рассказ о болезненной страсти этой и анализа ее дать не сумел. Грубое падение интеллигента в животность беспримесно половой связи со времен «Обломова» пишется. У одних — робко и под вуалем, у других — смело, резко, дерзко, но — «бывало все! да, всякое бывало!» На этой арене имели успех не только большие писатели русские, но и такая, например, сравнительно малая величина, как г. Муравлин (Голицын), грубый и небрежный, но сильно и смело взятый, роман которого — «Баба» — все время вспоминается, покуда читаешь «Серебряного голубя», — и, увы! далеко не к выгоде последнего. Притом же г. Андрей Белый как художник, совершенно лишенный чувства меры, сам погубил эту центральную часть повести. С одной стороны, сделал Матрену уж слишком отвратительной, так что любовные сцены ее с Дарьяльским оставляют тошнотворное впечатление какого-то унизительного павианства. С другой — поминутно спохватывается, что отвратительная Матрена — для него — народный символ, простофильская Россия, и начинает заглаживать павианство преувеличенным красноречием в самом что ни есть высоком штиле, которое никого не убедит, а вся-

кого в зевоту вгонит: и трескуче, и скучно, и веры нет, и — сквозь духи и фимиамы — все-таки воняет! Да еще эта безысходная утомительность оригинальничанья чужими манерами и словом... Хоть бы на минутку побыл г. Андрей Белый не Гоголем, не Лесковым, не Левитовым, но самим собою. Хоть бы на минутку заставил он поверить читателя, что действующих лиц своего «Серебряного голубя» он когда-либо в жизни видел, а не сплошь их из книжек вычитал и по книжной памяти вообразил и сочинил. Слоится и расползается во все стороны подражательная мозаика, и — конца-краю ей нет... А чуть забрезжит впереди как будто кусочек живой правды, чуть приосанится г. Андрей Белый, чтобы открыть наконец urbi et orbi *, свое тайное вещее слово, зачем же он, собственно, свой огород городил и какую в нем капусту садил, — но не тут-то было! Тпр-ру и дыр-дыр-ды!.. Стучит Андронова телега, опять стучит, черт бы ее побрал, возвещая только было ожившемуся читателю:

— Дыр-дыр-ды! Не жди, мой друг! Нового ничего не будет. Это опять лишь Андроны едут! Всегда — и ныне, и присно, и вовеки веков одни Андроны! Дыр-дыр-ды...

Fezzano
22 декабря 1910

* См. пер. на с. 98.

РОДИОНОВЩИНА

Е. Милицына. Рассказы. Том первый и второй. Издательство Т-ва «Знание». СПб., 1910.

Ив. Бунин. Деревня. «Московское книгоиздательство» М., 1910.

И.А. Родионов. Наше преступление. (Не бред, а быль.) Из современной и народной жизни. Шестое исправленное издание СПб., 1910.

I

Минуло полвека с тех пор, как манифест 19 февраля предложил крестьянству, освобожденному от крепостной зависимости:

— Осени себя крестным знамением, православный народ...

Реакционная оппозиция шестидесятых годов, доказывая преждевременность освободительной реформы, неоднократно утверждала, будто последняя застигла русского мужика настолько грубым, диким и темным, что он не в состоянии был даже понять текст манифеста, которым отпущен был на волю. Пригласительное «осени» мужик якобы принимал за уговор «о сене», и высокопарный глагол «чаем» звучал в его ушах как обязательство помещиков поить крестьян чаем. Либералы, не отрицая, что толкования манифеста случались иногда самые удивительные, справедливо указывали, что в недо-

разумениях этих виновата не столько темная масса, к которой обращен манифест, сколько его неудачная редакция Московским митрополитом, велеречивым Филаретом Дроздовым. Последний, вдобавок, реформе не сочувствовал, почему холод души его отразился и в черствой «амвонной» риторике, которою он испортил величайший государственный акт новой русской истории.

Прошло пятьдесят лет. Уже немногие помнят крепостное право вполне сознательно. Даже для семидесятилетнего старика оно не более как юношеское воспоминание; шестидесятилетние, кто подобросовестнее, обыкновенно признаются, что им сомнительно: сами ли они помнят его или принимают за личную память навязшие в ушах домашние рассказы старших? Почти все, кто сейчас в политическом, общественном и летературном ходу орудует, вертит и толкает вперед историю, родились уже в «свободной», т.е. некрепостной России либо в такой близкий канун раскрепощения, что воздух государства был уже пропитан реформою и не доставало ей только официального объявления.

В мою задачу не входит обозрение, хотя бы в самых кратких и общих чертах, пути, совершенного русскою общественностью за эти пятьдесять лет. Шел он не столько большою дорогою, сколько извилистым проселком, был шумен, пестр и люден, как дорога на сельскую ярмарку. Но — хотя верст мы по проселку прошагали весьма много, однако, когда оглядываемся назад, то не без недоумения видим дату 19 февраля все еще на горизонте и в такой близости, будто мы от нее только вчера отошли. Что за оказия? По расчету времени и усталости пора бы нам быть уже за тридевять земель в тридесятом царстве, — ан, не угодно ли? Тут она как тут, «глава-то Печерская с крестом»! Оптимисты утешают, будто — «оптический обман»: высота сияющей даты оказывается настолько грандиозною, что мы не можем уйти от ее путеводных лучей, даже ушагав в тридесятое царство. Это

очень лестно для национального самолюбия — соорудить однажды навсегда такую каланчу всеосвещающую. Но пессимисты скептически указывают на то обстоятельство, что видим мы на горизонте не одну высоченную «главу Печерскую с крестом», но и окружающие ее приземистые развалины и остовы соседних реформ, как тех, которые остались «не доведенными до конца», так и тех, кои до конца доведены были, но затем подверглись разрушению. Лишь немногие погибли естественными жертвами времени. Большинство пало под стенобитными орудиями Батыев и Тамерланов российского административного неистовства, начиная блаженной памяти гр. Д.А. Толстым и К.П. Победоносцевым, упразднившими в России просвещение, и кончая мужественным джигитом, благополучно здравствующим генералом Думбадзе, который ныне наступил пятою, яко на змия и скорпия, даже на самый правительствующий сенат. В развалинах этих решительно ничего возвышенного нет, напротив, обшарпанный вид их низок, жалок или, как в XVIII веке говорили, «гнусен и подл». Однако мы продолжаем и их видеть с такою же ясностью, как «главу Печерскую с крестом», будто и от них тоже никуда далеко не уходили. И скептики-пессимисты имеют дерзость утверждать, что так оно и есть: никакого-де оптического обмана нет, и в 1911 году мы топчемся где-то близехонько к тому самому болоту, в котором вязли наши отцы и деды в пятидесятых годах прошлого века и из которого выдернула их на короткий срок дата 19 февраля. Что дата эта в самом деле далека от нас лишь во времени, а не в пространстве, доказывает дикий крепостнический рев, доносящийся до ушей наших не только из разнообразных притонов черносотенной печати, но даже с такой «конституционной» вышки, как трибуна 3-й Государственной думы. Что же касается несоответствия пространства времени, тут виновата вялая поступь русского прогресса. Он ведь идет, как благочестивый богомолец по обещанию к угоднику: два

шага вперед, один — назад; а в постные дни — разусердствуется, так и наоборот: шаг вперед, два шага назад. К тому же на руках и ногах сего калики перехожего звенят вериги особого типа и —

Навряд версты четыре в час
Закованный идет.

И притом — проселок. Куда-куда он нас не водил, где-где не крутил! Даже на две великие войны завел. Из одной — «хоть морда в крови, да наша взяла!» — выбрались «дуалистами»: с формальной победою, но моральным поражением на Берлинском конгрессе. В другой расколотили нас уже «монистически», то есть не деля существа нашего на победоносное тело и пораженную душу, а оптом, по всей совокупности: больно было физике, психике вдвое больнее. И, когда несчастный, униженный народ оглядывался поискать примет, которые завели его в непрощенную, нежданную беду, ничего он не видел вокруг себя, кроме бурого сумрака да леших рож... И только одну светлую точку показывала ему мутная даль: все та же «глава Печерская с крестом», все то же 19 февраля, откуда он вышел — пошел — шел-шел — да так никуда и не пришел!

Верно одно: эти пятьдесят лет вырастили в России силу, которая называется «городом», и вырастили ее за счет той самой деревни, которая, когда ей Филарет приказывал: «Осени себя крестным знамением!» — вместо того — блаженно мечтал о сене. Город вырос, забрал силу и вздумал ее испробовать. Недовольный черепашьим шествием российского прогресса, город к концу XIX века забурлил, а в 1905 году вскипел бурею. Вихри ее чуть было в самом деле не понесли отечество наше на всех парах обгонять тридевятые царства, не наши государства. Но... «а и стой ты, Васька, не попархивай! молодой глуздырь, не полетывай!» Тут пренеприятно оправдалось любимое, но очень скучное изречение

старых московских славянофилов о древе, ему же надлежит быти корением крепку. Городское «древо свободы» не нашло укрепы в деревенском корне, захилело без земляного питания и — «срубили ивушку под самый корешок!» Семнадцатое октября переодели в третье июня, а, чтобы ивушке и впредь на соединение с корнем рассчитывать было неповадно, последний обгородили законом 9 ноября.

В этот и грозный, и мрачный период город и деревня посмотрели друг другу в давненько-таки не виданные глаза. Раньше город любовался деревнею довольно-таки часто и много. Туда некогда поместил он остаток своего идеалистического прекраснодушия. Некрасовская «Родина-мать» — это ведь деревня и *только* деревня! Что такое землелюбие «кающихся дворян», что такое пришедшее им на смену народничество, как не умиленный плач нового города по своим «родным липам», как не деятельная вера в свой старый корень, окованный непреложною «властью земли»? В девяностых годах город преуспел и зазнался. Народничество обанкротилось. «Власть земли» вошла у нас в такую немилость, что мы не только сами утратили веру в деревенский кондовый пласт, который был надеждою предшествующих передовых поколений, но принялись уговаривать даже и самую деревню-то оставить свои земляные мечты и упования. Это шло с разных сторон, но замечательно дружно. Новая религия и этика устами Л.Н. Толстого вопрошала из Ясной Поляны: много ли человеку земли надо? — и отвечала: три аршина. Реакция перьями Мещерских и К° доказывала статистически, что никакой «черный передел» не поднимет деревенского благосостояния даже на одно поколение. Марксисты проповедовали, что деревне — чем хуже, тем лучше — один исход: конечная пролетаризация, коей и надо добиваться, перетягивая крестьянство силою растущих производств в ряды городских рабочих, на фабрики купца Семипалатова либо, в крайнем случае, к нему же на хутор — в батраки по вольному

найму. Новый босяцкий романтизм, линию которого наметил М. Горький, дебютировал на литературной сцене таким глубоким презрением к главной деревенской основе и сути — к «власти земли», что дипломатический разрыв города с деревнею можно было считать совершившимся фактом уже в 1896 году (появление «Челкаша»). Старое народническое отношение к крестьянству, подобное жалостливому культу, не допускавшему иной критики своего божества, кроме симпатизирующей и оправдательной, стало приниматься, как суеверие, отжившее свой век и с каждым днем слабеющее. Практически эта литература совершенно угасла. Большинство ее вождей перемерло. Меньшинство сказало все свои простые слова и, честно выполнив свой долг, почло литературную задачу свою оконченною и немо замолкло на многие годы, как Златовратский. Если старая география, определяющая деревню страною «меньшего брата», который нищ, темен, голоден, убог, болен, преступен, но за всем тем остается солью и надеждою русской земли, а мы все кругом пред ним виноваты, — если эта гуманная литературная теория держалась еще на некоторой ниточке, то едва ли не исключительно обаянием Н.К. Михайловского и усилиями еще нескольких следовавших за ним стариков его школы. Однако, когда печальная «атомистическая» правда Антона Чехова наложила руку на старый народнический кумир, «Мужики», хотя и вызвали сердитые окрики со стороны жрецов старой колеблемой веры, но уже недостаточно энергические и убежденные, чтобы Чехов раскаялся, а публика ему не поверила. Да и мудрено было Чехову раскаяться, а публике в правду Чехова не верить. Ведь, в конце-то концов, Чехов в «Мужиках» не свое какое-нибудь новое слово сказал, а только договорил и освежил, подчеркнул своею художественною силою речь о крестьянской психологии, начатую в предшествующем поколении: завершил то, что угадал и первый осветил величайший из старых народников, еще не оцененный как должно, — быть

может, гениальный и, во всяком случае, «гражданский святой», — Глеб Иванович Успенский.

Город отвернулся и отошел от деревни. И, остро и кипуче зажив своею особою, новою, интересною жизнью, быстро позабыл ее. В течение добрых десяти лет не появилось ни одного сколько-нибудь крупного художественного произведения, которое занималось бы деревнею в ее, так сказать, самодовлении. Начиная с Чехова русский писатель — убежденный горожанин. М. Горький, Л. Андреев, А.И. Куприн, Вересаев, Чириков, Брюсов, Бальмонт, все без исключения русско-еврейские беллетристы, Бунин, Зайцев, Сергеев-Ценский, А. Белый и др. — кругом горожане, даже когда они окунаются в деревню; даже, может быть, тут-то именно они и больше всего горожане. Типические деятели города, хотя бы это был только городок Окуров, они входят в деревню с городскою мечтою. Деревня для них лишь интервал в городской усталости, которая сегодня дает своему любимому поденщику льготу с тем, чтобы завтра снова потребовать его к своим повинностям. И вот — лежит человек на деревенском косогоре, а в голове у него городские мысли; созерцает он деревню сквозь свою городскую призму; интересует его деревня — в конце-то концов — только с точки зрения городского в нее проникновения: пригодности ее для идей и движений, городом выношенных. Говорю это не только о публицистическом художестве, во всякой среде ищущем прежде всего людей для вербовки в армию социальной и политической борьбы, намечающем дороги и позиции будущих боев: не о «Лете» и «Исповеди» М. Горького, не о повестях и рассказах г. Муйжеля, г-жи Милицыной и др. Нет, горожанами чистой крови и до мозга костей оказываются и те новые писатели, которые подступали и подступают к деревне с чисто эстетическим миросозерцанием, как, например, г. Зайцев. Его любимый публикою рассказ о полковнике Розове тем и захватил читателя, что каждый горожанин узнал

в авторе самого себя, когда обстоятельства позволяют вырваться за городскую заставу и погрузиться на небольшой срок в настоящее «лоно природы», где «дачник» М. Горького не насорил еще апельсинными корками и коробочками от папирос. Но г. Зайцев сам, при всем своем — щегольском, можно сказать, — искусстве «сливаться с природою», — все-таки остается в ней дачником, только верст на сорок-пятьдесят дальше от столицы, чем, обыкновенно, селятся другие. Кому довольно Любани, а он, счастливец, хватил этак за Малую Вишеру. И полагаю, что, если бы г. Зайцеву предложено было из временного гостя в усадьбе полковника Розова превратиться в самого престарелого Пана, — в это милое полуживотное, полковника Розова, — то весьма взвыл бы г. Зайцев: «За что?» Ибо сказано есть: хорошенького понемножку. Когда-то, во времена очаковские, изобретен был анекдот о барышне, вздыхающей: «Ах, душка-деревня! как бы хорошо было, маменька, если бы города строились в деревне!» Собственно говоря, в этот вздох наивной девичьей искренности укладывается «пантеистическая» беллетристика наших дней, созидаемая в запахе уличного асфальта людьми воскресного и праздничного отдыха, дачного сезона и каникулярных поездок. А публицистическая беллетристика, с другой стороны, покушается уже и на ту постройку, о которой мечтала вздыхавшая барышня: долбить в деревню брешь, чтобы вошел в нее город и стал в ней, как в городе.

1905-й год произвел смотр новых сил социального русского брожения. Город на роковом мучительном экзамене провалился — после жестокой борьбы и потому страшно болезненно. Что же касается деревни, то она на городской экзамен просто-таки не пошла, а затеяла что-то совсем свое, особенное и страшное. Город не сразу сообразил, что они — не вместе. Но когда вгляделся в зарево пожаров, вдруг осветивших в ту пору глухую деревенскую темь, ему сделалось жутко. Он увидал, что восставшая деревня жжет, ломает и убива-

ет — в первую очередь — безразборно все, что есть в ней от него, города. Начала деревня, по старой памяти, с барина, исконного и главного представителя в ней городской культуры и непосредственного финансового агента: привилегированного насоса, коим деревенские соки перекачиваются в городкие резервуары. Откровенно говоря, город успел к тому времени порядком-таки позабыть о своей кровной связи с дворянским, купеческим и кулаческим землевладением. Оно там делало что-то свое, деревенское, что разрешалось работою элеваторов и вывозом в Одессе и Либаве, а в городе отражалось лишь конечным уже результатом: повышением и понижением курса денежных знаков и ценных бумаг. Урожаи радовали, недороды огорчали, но в общем, — ах как далеко, ах как чуждо, ах как непонятно все это в городе было! Но когда дворяне и преемственный им слой «новых помещиков» испуганными толпами ринулись по дорогам, освещенным горящими овинами, из усадеб в города, под защиту губернаторов, воинских команд и пушек, город тут вспомнил и вдруг понял:

— Позвольте! Да ведь землевладельцы-то... это я?! Выходит, это деревня *меня* от себя гонит? это она *меня* больше знать не хочет? *меня кормить* отказывается?

И, действительно, деревня бубнила в один голос, шумный, как гул ярого улья:

— Промышляй, город, чем хочешь, а в земле тебе части нет: земля моя!

Сюрприз был жестокий и неожиданный, неблагодарность деревни очевидная. Тем более, что город в упоении кратковременных побед своих, в головокружении щедрого великодушия сам проговаривался не только такими знаменательными словами, как «по справедливой оценке», но даже — безвозмездное отчуждение, национализация или социализация земли и т.п. Правда, при этом город весьма норовил, чтобы деревне достался, — как М.М. Ковалевский острил о деклара-

ции одного знаменитого кадета, — «супесок и по возможно высшей оценке». Но — все-таки! Город ли не старался? Он ли не шел навстречу деревне с готовностью: раскрой, душенька, ротик, я тебе положу кусочек! И вдруг: не угодно ли? Вместо ротика, ждущего кусочка, пасть, в которую провалиться можно:

— Земля моя!

Город ужасно рассердился. Та властная часть его, которая располагает солдатами и пушками, быстро укротила деревенское бушевание террором усмирительных экспедиций. Часть же безвластная, но интеллигентная, чувствовала себя совершенно обескураженною: вместо точки опоры, на которую она когда-то рассчитывала, вместо родственного союза, который она, как старшая сестра меньшего брата, воспитывала, вскрылся вдруг под ногами ее живой вулкан стихийной ненависти, неожиданный, негаданный, палящий без всякого разбора всех, кто — не плоть от плоти его и не кость от костей его, кто похож лицом и платьем на нее, городскую старшую сестру. В превосходном рассказе украинца Коцюбинского, под названием «Смех», семья передового адвоката, «оратора» Чубинского в страшный день черносотенного погрома живет светлою точкою единой надежды — «одним лучом света среди темного ужаса»:

— О моя Варвара (кухарка), — золотая женщина. Это наш действительный друг. Спокойная, рассудительная, привязанная... И представьте себе, получает всего три рубля в месяц…

— Хороший характер, — прибавил Валерьян Сергеевич. — Четвертый год служит. Мы привыкли к ней, она к нам. И детей любит...

И вдруг «один луч света среди темного ужаса» угостил семью, на него уповающую, такою вот выразительною сценою:

— Подавать завтрак?

Ах, это Варвара?

Это немного опамятовало Чубинского.

— Что вы говорите?

— Подавать завтрак, спрашиваю?

— Завтрак? Не надо. Вы не слышали?

— Как не слышать!.. Хх-а!

— Господ бьют, — жалобно пояснил Валерьян Сергеевич и с удивлением заметил, что жирное тело Варвары дрожит от подавленного смеха.

— Чего вы.

— Я, да-а...

И вдруг тот смех прорвался.

— Ха-ха! Бьют, пусть бьют... Ха-ха-ха! Будет, довольно барствовать — ха-ха-ха! Слава Тебе, Господи, дождались люди...

Она даже перекрестилась.

Лицо ее налилось кровью, глаза вспыхнули, она уперлась в бока красными голыми по локоть руками и шаталась от смеха, как пьяная, а ее большая грудь прыгала под засаленной одеждой.

— Ха-ха-ха! а-ха-ха.

Чубинский даже схватился за стол, чтобы не упасть.

Этот смех ударял ему прямо в лицо. Что она говорит? Что-то невозможное и бессмысленное...

Наталья Ивановна первая вскочила с места.

— Вон! — вскричала она резко и пронзительно. — Вон!.. Она еще детей моих зарежет!.. Гони ее вон!..

Оглушенный неожиданною выходкою кухарки, Чубинский идет на кухню, чтобы объясниться с Варварою, но —

Хотел говорить и не мог.

Только смотрел. Большими глазами, испуганными, острыми и не по-обыкновенному зрячими. Охватывал ими всю картину и самые мелкие детали. Увидел то, мимо чего ежедневно проходил, как слепой. Босые ноги, холодные, грязные и потрескавшиеся... как у скотины. Рвань на плечах, не дававшую тепла. Землистый цвет лица, синяки под глазами... Все это мы съели, — вместе с обедом: синий чад кухни, твердую скамью, на которой спала... между помоями, грязью... едва покрытая... как в берлоге... как скотина... Сломанную силу, что шла на других... Печальная, мутная жизнь, вся под ярмом, без просвета, без надежды... работа... работа... работа... и всегда для других... для других... чтобы им было хорошо... им, только им. А он еще хотел от нее преданности!..

Вот все это самое, что перечувствовал Чубинский пред взбесившеюся Варварою, пережила и городская ин-

теллигенция пред лицом деревни в страшные 1905—1907 годы:

— А мы еще хотели от нее преданности!

Мысль была общая, но оттенки и интонации мысли были бесконечно разнообразны. Слышали мы их искренним воплем внезапно озаренной совести, покаянным плачем с растерзанием риз и биением кулаками в перси. Слышали и, наоборот, лицемерным риторическим приемом, за который оскорбленные самолюбица разных «великих людей на малые дела», оставленных освободительным движением за флагом, с радостью ухватились, чтобы обругать интеллигенцию хуже чего нельзя и, по лишении всех культурных заслуг, разжаловать ее из социальных генералов в обозные прохвосты. Слышали спокойным и глубоким уроком немногих истинных народолюбцев, которые не растерялись при неожиданном повороте гнева великой русской Варвары, но воспользовались его наглядностью, чтобы исправить ошибки собственных систем и программ, наметить для них новые пути и планы. Всего же чаще слышали — стоном нутряного, стихийного испуга, эгоистическою жалобою, которая сознает свою зыбкость и неправоту, но — своя рубашка ближе к телу! Существующий строй когда-то еще преобразуется, а покуда... пить-есть надо... детишкам на молочишко... караул! городовой! куда же вы смотрите? караул! городовой! городовой!

Казацкие нагайки и расслоение деревни законом 9-го ноября сделали деревню опять доступною для города-победителя. Осторожно и недоверчиво возвращается сконфуженный Чубинский на старые свои позиции и мрачно смотрит на утихомиренную покорную Варвару, размышляя про себя: «Черт тебя знает, анафема? Временно ты бесилась или только притворяешься смиренницей, а сидит еще дурь-то в голове?»

Этот пытливый интерес напуганного города к деревне, так странно обнаружившей свою забытую силу, и притом силу обособленную, вызвал обширную деревенскую литературу. Еще полтора или два года тому назад, в то время, как в Петер-

бурге раздавались хвастливые декадентские крики о «смерти быта», прошло по газетам известие, будто какой-то литературный меценат сделал целому ряду передовых писателей предложение — поселиться в деревнях среднерусской полосы в качестве его стипендиатов, с обязательством изучить быт, нужды, психологию нового крестьянства и затем результаты своего наблюдения и проникновения рассказать обществу в форме художественных «человеческих документов». Затея не новая. Перед самым освобождением крестьян нечто в таком роде организовало правительство, то есть, собственно говоря, лично вел. кн. Константин Николаевич. Под его покровительством совершили свои официозные поездки по России С.В. Максимов, А.Н. Островский, А.Ф. Писемский и другие художественные знатоки быта. Не знаю, осуществил ли благожелательный меценат полезный план свой, но знаю, что некоторые русские писатели сами пришли к убеждению, что, не окунувшись лично в деревню, ее не поймешь, и отправились в крестьянскую глушь, как в добровольную ссылку, либо «в командировку с научною целью». Кажется, между прочим, так поступил г. Муйжель. Цель благородная, но работа нелегкая, изучение нескорое. А покуда эти будущие и лишь отчасти настоящие деревнееды кончают свой курс, мы, за неимением гербовой, должны писать на простой и довольствоваться в качестве сведущих людей теми интеллигентными свидетелями о деревне, которые, случаем или неволей, прожили «смутное время» в том или другом медвежьем углу и теперь выступают его добровольцами-обвинителями или апологетами.

II

«А интеллигенции у нас на селе — кроме помещичьей семьи — батюшка, учительница да урядник».

Кому на веку своем не случалось читать эту унылую строку в письмах из русского захолустья? Имеется она, неизмен-

ная, и в тех толстых письмах из деревни, которые в 1910 году русское общество получило от своих беллетристов. И в числе последних также соблюдена исконная пропорция деревенской интеллигенции. Написала обществу помещичья семья — гг. Бунин и граф Алексей Н. Толстой; за батюшку эпистолу сочинил — ну, конечно, г. Гусев-Оренбургский; налицо письмо учительницы — два томика г-жи Милицыной; и, наконец, задачу составить рапорт от его полублагородия, господина урядника, — благосклонно принял на себя земский начальник И.А. Родионов. Тот самый — по сведениям газеты «Речь», о котором известная песня поется:

Христианских душ печальник,
Господин земский начальник:
Он не курит и не пьет,
Мужиков по морде бьет... *)

---

*) И не только газеты «Речь». Статья моя была уже кончена, когда получил я «Русское слово» (№ 13) с такою историческою справкою, подписанною г. А. Панкратовым: «Существует на свете газета: «Мстинская волна». Однажды в хронике ее была напечатана глухая трусливая заметка:

«Проезжающие по дороге через имение Устье (в 2 верстах от города) с любопытством и некоторым страхом рассматривали лежащего на дороге, у самых ворот усадьбы, человека, закрытого какой-то ветошью. Из расспросов оказалось, что лежащий, крестьянин деревни Чернозема Кузьма Шашенин, сильно избит при проезде каким-то офицером. За что и при каких обстоятельствах пострадал крестьянин, — узнать не удалось, но, как слышно, вечером в тот же день к месту побоища вызваны урядник и стражник.

Эта «таинственная» история долго передавалась в городе шепотом, с оглядкой назад. Все знали фамилию офицера, но боялись произнести. Многие ждали, что за заметку в «Мстинской волне» редактору газеты «влетит».

— В наше время... Да разве это можно?»

Но вот уездный съезд г. Боровичей недавно осветил эту историю, а «Новгородская жизнь» дала отчет о ней. В публичном заседании съезда разбиралось уголовное дело по обвинению отставного подъесаула И.А. Родионова в нанесении побоев крестьянину деревни Чернозема Кузьме Григорьеву.

«Потерпевший Кузьма Григорьев заявил уряднику Абрамову жалобу на проживающего в усадьбе Устье подъесаула Родионова, который нанес ему

Если поверить «христианских душ печальнику», то русская деревня находится в состоянии полного этического упадка — не только сравнительно с нынешним днем русского «благородного» общества, не только с тем днем, когда над народом впервые зажглась «глава Печерская с крестом», 19 февраля, но даже и с теми мрачными днями, от коих отплевывался летописец Нестор: «А древляне живяху звериньским образом, живуще скотьски: убиваху друг друга, ядяху все нечисто, и брака у них не бывше, но умыкиваху уводы девица... и срамословье в них пред отьци и пред снохами».

побои. Григорьев просил отправить его, Григорьева, в больницу, для оказания медицинской помощи. Урядник произвел дознание и опросил как обвиняемого, так и владелицу усадьбы — г-жу Кованько. Родионов не отрицал факта нанесения Григорьеву побоев, но объяснил, что побил Григорьева за то, что тот изругал г-жу Кованько площадными словами. Г-жа Кованько подтвердила объяснение Родионова, но относительно побоев сказала, что побоев Григорьеву нанесено не было и что Родионов был на дворе усадьбы... тогда как столкновение ее с Григорьевым, из-за того, что тот не хотел уступить ей дороги, было вне усадьбы.

Земский начальник 5-го уч<астка> Боровичского у<езда> оправдал г. Родионова.

По апелляционной жалобе Григорьева дело это было перенесено в съезд, который приговор земского начальника отменил и присудил Родионова к штрафу в 15 руб., с заменой при несостоятельности арестом при военной гауптвахте на трое суток.

Крестьянка Григорьева на суде рассказала, как произошло дело. Ехала она с мужем из города и везла глину. Воз был тяжело нагружен, и лошадь еле плелась. Навстречу из усадьбы выехала барышня и потребовала дать ей дорогу. Сделать этого было нельзя, так как усталая лошадь не сходила с дороги, как ее ни дергал муж. Тогда к телеге подошел офицер, оказавшийся И.А. Родионовым, и «ни за что» ударил мужа ее два раза палкой настолько сильно, что муж свалился в канаву и долго там лежал. Пьян муж не был и никого не бранил.

Свидетель Яков Федоров, проезжавший мимо и видевший побитого, сказал И.А. Родионову:

— Теперь, барин, драться нельзя.

На это барин ответил:

— *Это не твое дело.*

Когда около телеги собралась кучка крестьян, то автор романа крикнул:

— Отойдите, а то стрелять стану!..»

Таково «Наше преступление».

Вот с какой точки зрения изучал крестьянина автор романа!

Все эти ужасы г. Родионов сообщает нам не просто как бытописатель-любитель, с бухты-барахты, но — по предвзятому благороднейшему намерению, высказанному в весьма красноречивом предисловии тако:

Эту книгу я писал с единственной мыслью, с единственной целью — обратить внимание русского образованного общества на гибнущих меньших братьев. Народ спился, одичал, озлобился, не умеет и не хочет трудиться. Не моя задача перечислять причины, приведшие нас к такому ужасающему положению: но есть одна, на которую неоднократно указывалось в печати и которую я не могу обойти молчанием. Причина эта — разобщение русского культурного класса с народом. Народ брошен и, беспомощный, невежественный, предоставлен собственной бедной судьбе. Если вовремя не прийти к нему, то исход один — бездна, провал, дно. Пора тем образованным людям, в ком бьется горячее русское сердце, приняться за лихорадочную созидательную работу. *Понесем «во глубину России» мир, свет и знания.* Там этого нет, там в этом кровно нуждаются. И мы обязаны идти туда, обязаны там действовать, иначе мы умрем, не выполнив нашего назначения, умрем неоплатными должниками того народа, который нас поит, кормит, одевает, обувает, который трудами рук своих обеспечивает нам лучшее существование, чем его собственное. Нашим служением мы заплатим народу хотя малую крупицу того огромного долга, который записан за нами на скрижалях судьбы.

Итак, цель г. Родионова — заплатить народу хотя малую крупицу того огромного долга, который записан за ним, г. Родионовым, на скрижалях судьбы; а его план к достижению цели — понести туда, «во глубину России», мир, свет и знания. Цель истинно гражданская. Программа истинно культурная. Зов глубоко гуманный. Остается лишь, продолжая анализ прекрасного плана, спросить:

— Quibus auxiliis?*

Какие же средства и орудия имеет предложить гуманный автор к тому, чтобы долг его народу был уплачен, а «во глубине России» водворился мир, свет и знания?

---

* Каким способом? (*лат.*)

Ответом г. Родионов не медлит.

— Народ пьян и чрез пьянство преступен. Надо прекратить в народе пьянство и преступление.

Опять прекрасная мысль. Если не ново, то, несомненно, справедливо. Столь же, как то, что дважды два четыре и две величины, равные порознь третьей, равны между собою. Но, все-таки... quibus auxiliis?

Г-н Родионов смотрит — «в глазах, как на небе, светло» — и кротко объясняет:

— Вешать.

— Что-о-о?

Вопрошающий думает, что он ослышался, но г. Родионов с убеждением повторяет:

— За пьяные убийства непременно вешать, иначе ничем не остановить кровавого потока.

Совершенно сбитый с толку неожиданностью узнать, что виселица есть орудие мира, света и знания, способное с успехом заменить общества трезвости, вопрошающий осмеливается заметить:

— Жестокие взгляды...

— Но не напрокат взятые и не из книжек вычитанные, а выведенные прямо из жизни, и смею думать, что мои взгляды не жестокие, а истинно гуманные и трезвые.

— Довольно с нас одних военных судов. Каждый день по сколько человек вздергивают.

— И хорошо делают. Если бы у нас, скажем, в уезде вздернули трехчетырех за пьяные убийства, поверьте, одной «жестокой» мерой спасли бы сотни жизней, а сколько таких уездов в России?! сочтите...

Сосчитать не так уже трудно. Российская империя, как известно, административно делится на 96 губерний и областей, в коих 620 уездных и окружных городов, — следовательно, 716 уездов или округов. 716 x 4 = 2864. Только! Принесите для первого дебюта в жертву трезвости маленькую гекатомбу в 3000 человек и — уверяет г. Родионов — «что

освежающе подействовало бы»... Чего свежее! Так делается свежо, что мороз подирает по коже. Не только освежение, но даже свежевание.

Если верить г. Родионову, то деревня ждет виселицы как благодати и дружно видит в ней эру этического обновления.

Я так сужу, по нонешному народу одно: ты, скажем, пьяный убил человека, лишил его жисти, тогда кровь за кровь — иди на виселицу. Пьян-то ты пьян, а об угол голову себе не расшиб, а расшиб другому, ну и отвечай... Вот, скажем, это дело. Трое убили одного. Ну, поставили на том месте, где убили, рядом шесть столбов с тремя перекладинами и на каждую перекладину и вздернуть по одному... пущай поболтаются.

Это, изволите ли видеть, голос — крестьянина-присяжного. Крестьяне-присяжные Н.Н. Златовратского не так разговаривали. Но — «что ни время, то и птица, что ни птицы, то и песни». Было время — был птицею Н.Н. Златовратский, слышало общество о крестьянстве светлую песню. Пришло такое оглушающее время, что сел в птицы г. Родионов (шестое-с издание!), — послушаем песню черную... Один присяжный заседатель поет гимн виселице, а другой тоскует по порке:

— Прежде хошь страх на их был, — секли, а теперича, как розги уничтожили, никакого страху не осталось... Што ты нам сделаешь? пороть не смеют; не те времена. Теперь слобода. Што хочу, то сделаю. Никому не подначальный, сам себе начальство. Только нам и осталось защиты, што суд, да и суда-то не дюже боятся, потому суды-то нонче легкие пошли.

— Легкой суд! это што?! Слабой, слабой... прямо никуды... — заговорили мужики.

Удивительный мазохист этот народ русский! Все бы ему вешаться, а если уж нет такого полного блаженства, так хоть малую толику посечься... Не мужик, а Сологуб какой-то! И что бы он, коллективный Сологуб этот, сделал, дабы не маяться обездоленным в страдальческих вожделениях

своих, что бы он мог к достижению благополучия своего предпринять, если бы не имел счастья обладать оригинальными должниками, которые убеждены, что наилучший способ расквитаться с кредитором — это — перетянуть ему горло веревкою либо, по меньшей мере, хотя бы выдрать его, как сидорову козу? Потому что, на что уж, кажется, подозрителен и крут в деревне правительственный Петербург, но г. Родионов в освежевательном экстазе так разошелся, что уж и «сферами» недоволен:

— Мозги, что ли, кверху тормашками поставлены у наших законодателей, министров и еще кто там? сенаторов, что ли?.. Не понимают, что этих зверей, рвань эту проклятую, только и можно усмирить казнями, каторгой, *пытками*...

Да, да! Пытками. Ни больше и ни меньше. Так это и напечатано на странице 415. Восстановления этого прекрасного института, напрасно уничтоженного Александром I в 1801 году, требует в 1910 году один из добросовестных Стародумов, которым в уста г. Родионов влагает свои публицистические идеи: «отставной полковник, искалеченный за честь и достоинства России в бою под Шахэ». Бог судья генералу Куропаткину с пресловутым планом его: вот какие свирепые мысли внушают полковникам военные неудачи и систематическое отступление!

«Спившееся, распущенное мужичье»; «наша деревня пала уже ниже дикого состояния»; «мужик куда гаже скотов и зверей»; «темный, разнузданный зверь, на которого надо надеть смирительную рубашку»; «зверь, помноженный на скота»; «гад какой-то... особенно эта деревенская молодежь; ничего не осталось»; «злейшие враги всякого порядка, благополучия и мира»; «ходят на двух ногах и лопочут языком, впрочем... больше скверные слова, но они — не люди, а скоты, звери»; «рвань проклятая»; «мерзавцы, разбойники, проходимцы, чернь проклятая, от которой житья никому не стало».

В таких милых выражениях рапортует обществу о состоянии деревни письмо-протокол первого представителя деревенской интеллигенции, полицейского чина. Нельзя не сознаться, что рапорт этот сам по себе как нельзя больше похож на то древлянское «срамословие пред отьци и снохами», против которого г. Родионов столь энергически и справедливо восстает. Покойный Н.М. Баранов, знаменитый некогда нижегородский губернатор, говорил однажды автору этой статьи:

— Люблю я, А.В., сидеть вечером на балконе «дворца» (губернаторского дома в нижегородском кремле), Волгою любоваться, — только без дам.

— Почему же, Н.М.?

— Судовщики на реке уж очень виртуозно ругаются.

Помолчал — и прибавил:

— Но, когда наша речная полиция плывет, тут уже и я с балкона ухожу и окна запираю: невтерпеж!

Мужики, изображаемые г. Родионовым, говорят и творят очень пакостные вещи. Но, когда любимцы г. Родионова, Стародумы-интеллигенты, полковники, врачи, становые, товарищи прокурора и другие блюстители деревенской морали начинают обличать мужиков в утрате ими первобытной добродетели, сие — барановской речной полиции подобно: невтерпеж!

III

Обратимся ко второму номеру нашего письмовника: что пишет о деревне помещик? барин?

В рассказах графа Алексея Н. Толстого, вызвавших немалый шум в печати, народ расплылся неясным пятном, остался только зловещим, мутно-красным, задним фоном, на котором чудовищными тенями проходит ужаснувшая автора дворянская, усадебная жизнь. К крайнему моему сожале-

нию, в то время, как я пишу эту статью, у меня под руками нет сборника графа Алексея Толстого, и я должен ограничиться повторением слов, уже сказанных мною об этом необыкновенно талантливом литературном дебютанте в другом издании *). «Народ Алексей Толстой пишет угрюмо, без малейшей лести и сантиментальности. Страшен и темен его народ. Такой, как и должен быть там, где барин — Скотинин («Заречье»), барич — Митрофанушка («Сватовство»), а барыня — «целовала кучера, сама себя мучила» («Сватовство»). Непоколебимый мрак, непростимая обида злобных взаимонепониманий, и где-то глубоко на дне клокочет «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Что в «Капитанской дочке», что в «Войне и мире», что в «Плотничьей артели», что во «Власти тьмы», что в «Мужиках» Чехова... Та же беспросветная, в немоте наученная, стихийною угрозою нахмуренная тьма.

«На черном крыльце пела Василиса все одну песню. И лучше бы не было этой песни на святой Руси».

«По-прежнему силен только разбойник. Старики и старухи — умертвие. Девки — беспастушное стадо. Взрослый слой — апатичная масса, работающая и жующая, что выработано. Угрюмое «пушечное мясо» эпохи, которому лучше уж себя и не чувствовать, потому что чувство врывается в нее не иначе как в образе трагического фатума» («Архип»)».

Прибавить к этому сейчас должен я еще вот что. Читал я рапорт г. Родионова значительно позже рассказов графа Алексея Н. Толстого и «Деревни» г. Бунина и полагаю, что именно поэтому ужасные сцены, рисуемые г. Родионовым, не произвели на меня того потрясающего впечатления, на которое они рассчитаны, — даже те из них, в возможности которых я не имею никакого основания автору не верить

*) В «Одесских новостях».

и допускаю их плачевную вероятность. Тем более, что их нисколько не скрывают от читателя, как мы ниже увидим, и гг. Бунин с Толстым, и г-жа Милицына. Но кроме мужицких «потрясающих фактов», у гг. Бунина с Толстым и г-жи Милицыной в летописях есть еще кое-что, умышленно забытое г. Родионовым, и отсутствие этого «кое-чего», увы, весьма глубоко подрывает судебное значение составленного г. Родионовым протокола. Подобно либеральному судебному следователю, которого г. Родионов так остро ненавидит за оправдательную тенденцию, охранительнейший г. Родионов сам произвел свое дознание «с возмутительною небрежностью», что заставляет принимать его факты гораздо холоднее, чем они требуют, и напрашивается на возвращение обвинительного акта к доследованию. Повествует, скажем, г. Родионов о том, как в храмовый праздник черноземские парни

разнесли по бревнам несколько бань, стоявших за деревней, и всю ночь раскладывали из них костры, при свете которых изнасиловали двух девушек. В довершение всего кто-то, видимо из мести, выпустил кишки у лошади свата Акима, полоснув ножом в живот.

Животное околело.

Возможно, что оно так и было. Гг. Бунин, А. Толстой, г-жа Милицына подтверждают. Но гнусностью черноземских парней я уже не могу удручиться настолько, как удручился бы до «допроса свидетеля», графа Алексея Толстого, потому что он рассказал мне про другой деревенский праздник, где отличался совершенно точно так же, как черноземские парни, «его превосходительство», предводитель дворянства, Мишука Налымов. И когда Мишуку Налымова побили по морде за покушение на изнасилование племянницы, этот господин пробовал подкупить скотницу за три рубля, чтобы она «обрезала титьки» у коров, принадлежащих его обидчикам, и, «видимо из мести», столкнул в болото их же стреноженную лошадь. Простые девки дерев-

ни, изображенные г. Родионовым, очень наглы и развратны, но граф Алексей Н. Толстой показал нам в деревне же «дворянскую дочь» Катеньку Павалу, — «старшую сестру» народа, после которой подходить с эстетическими требованиями к нравам «меньшей сестры» как-то, знаете, конфузно. Отвратительно и преступно, что хулиганы из деревни Чернозема избили Ивана Кирильева так, что он остался замертво лежать на дороге. Но — какое основание имеем мы судить по специальным «драконовским» законам именно этих драчунов, между которыми, вдобавок, имеются даже несовершеннолетние, когда, — может быть, даже на той же самой дороге — валялся замертво крестьянин той же деревни Чернозема Кузьма Шашенин, избитый, как пишет г. Панкратов, совершеннолетним интеллигентом, подъесаулом Родионовым? Г-н Родионов весьма сильными штрихами нарисовал мрачную сцену, как парень, бесстыже оголяясь, велит бабам «прикладываться» к нему, сопровождая свои предложения градом кощунственных прибауток. Мерзавец парень! Но, к сожалению, свидетель г. Бунин показывает, что мерзостям своим парень обучился у представителя порядка: у казака из усмирительного отряда, который, пьяный (увы, оказывается, казаки тоже пьют!), подошел к открытому окну общественной библиотеки и, с тем же самым оголением, предложил заведующей барышне купить у него «арихметику».

Старик-извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

Сильно опасаюсь, что по законопроекту г. Родионова этот казак весьма легко может очутиться на виселице. Но — ах, г. Родионов! Если всех пьяных и буйствующих казаков вешать, то кто же останется охранять отечество от «унутрен-

него врага»?! За что хотите вы опустошить землю Войска Донского? Да, наконец, подъесаул ведь тоже казацкий чин, а мы видели: существуют подъесаулы, которые только за то, что мужик с дороги пред барышнею не своротил, бьют его мертвым боем — так, что он «долго лежит». Ну вдруг у подъесаула разойдется рука столь несчастливо, что мужик не только ляжет надолго, но и вовсе не встанет? Что тогда делать с подъесаулом? Уездный съезд покуда штрафует подъесаула на 15 рублей, а ведь господин-то Родионов игриво приглашает его «поболтаться» на виселице... Уж подлинно: жизни своей не пощажу за справедливость!

Словом: ужаснуться на нравы деревни, фотографированной г. Родионовым (раз он клянется, что это — фотография, «не бред, а быль») кто не ужаснется? Но поверить г. Родионову, будто в деревне живут две разные человеческие породы — как бы сыны Божии и сыны диаволи — вряд ли кто после Бунина и, особенно, гр. Алексея Толстого поверит. «Все хороши там голубчики! все одним миром мазаны!» — скажет читатель беспечный и невнимательный. А внимательный задумается: «Полно? все ли?» Если степной генерал, один из тех, о ком крестьянству еще тридцать лет назад строго заказано: «Слушайтесь своих предводителей!» — обалдел в деревне, глуша водку и безобразничая с наемным гаремом, до того, что стрижет титьки коровам и собственноручно топит в болотах чужих лошадей, — диво ли обалдеть до таких же блистательных результатов темным голодным пьяницам, черноземским парням, которым этот удивительный Мишука поставлен культурным примером и даже как бы в отца место? Если «водворитель порядка» безобразничает и похабничает в терроризованной им стране, безнаказанно оскорбляя женщин и рубя ни в чем не повинную случайную публику, — не вправе ли безграмотный, дикий черноземский парень заключить отсюда тусклым своим, но логическим выводом, что пьяное бахвальство, похабничество и зверство — отнюдь не поро-

ки, но бравое молодечество, чрез которое он, деревенский вахлак, станет похож на военную кость, светлую пуговицу? Но вот что любопытно. Когда пьяный казак бесстыже продавал свою «арихметику», пристыдить человека порядка явился не какой-либо из Стародумов, устами которых г. Родионов клянет развращение народа, но — человек беспорядка, крестьянин-извозчик, за то и поплатившийся разрубленным плечом. Если остроумная коровья операция «высшей расы» осталась без выполнения, то опять-таки единственно потому, что «низшая раса», в лице скотницы, наотрез отказалась от «этакого поганого дела», а когда освирепевший генерал стал скверно ругаться, присутствовавший конюх очень спокойно намекнул ему, что за это, мол, вашему брату можно и бока намять. Действительно, при возможности подобных репримандов, прав полковник Стародум в «Нашем преступлении»: «Продал бы имение и уехал бы из пределов любезного отечества, так эти «хрещеные» мне в горле настряли. Грубят, и управы на них никакой, сказать ничего нельзя, до того обнаглели!..» В самом деле: не горе ли горькое? Титек у чужой коровы нельзя обрезать! Чужую лошадь в трясину столкнуть не дают!

Г-н Родионов принадлежит к числу «роковых» писателей, коим отпущен природою поистине чудодейственный дар компрометировать и «сажать в калошу» дело, которое они берутся защищать. Разделив деревенское население на овцы и козлища, он не пожалел смрадных красок, чтобы вычернить вторых. Что касается первых, за ними он признает один грех: «разобщение русского культурного класса с народом». Способы г. Родионова прекратить разобщение и установить общение мы видели: виселица и порка. Но, по крайней мере, те-то избранные овцы интеллигенции, Стародумы-то премудрые, чьими устами проповедует г. Родионов свои «способы» и во имя благополучия которых желает он деревню пороть и вешать, они-то — что за народ? Конечно, уже — такая

надежная «соль земли», что уж к ним-то скептик никак не может придраться, будто — если грешна и темна, пьяна и преступна русская деревня, то не ее одной тут вина, но и на Стародумов почтенных падает ее малая толика? Оказывается: нет. К сожалению, приходится «констатировать факт», что интеллигентные типы «Нашего преступления» весьма плачевны и — чем больше которому-нибудь сочувствует г. Родионов, тем более тип похож на фарисея, самодовольно благодарствующего Господу Богу за то, что он не таков, как эти мытари. Деревню костят, как речная полиция, но на себя оглянуться — а, ни-ни! Непогрешимы, как папы. Ни один из любимцев г. Родионова не сказал о том народе, которому эти господа служат, за народные деньги, на разных ответственных должностях, обязанных блюсти народную нравственность и здоровье, и одного теплого, сердечного, участливо-внимательного слова; ни один не явил себя в сколько-нибудь душевном, человечном действии; никто — не то что не положил души своей за «гибнущих» (см. в предисловии!) братьев своих, но просто-таки не может похвалиться даже обыкновенною-то чиновническою добросовестностью. Служения нет и следа, есть только служба, да и та скверная. Фельдшерица в земской больнице какой-то дикий и злобный, невежественный зверь. К этой госпоже, впрочем, и сам г. Родионов относится неодобрительно, не забывая, однако, оттенить нам несомненный источник ее порочности: у фельдшерицы мать «чернопятая» крестьянка, — ну, понятно! чего же ждать хорошего! Старший врач больницы из всех любимцев любимец г. Родионова, «будучи человеком мягким, не заставлял своих помощников так же добросовестно относиться к своим обязанностям, как относился сам. Поэтому вся больничная машина за спиной у него поскрипывала довольно серьезно». Действительно, серьезно, потому что была больше похожа на застенок. Тяжко израненного, бесчувственного, умирающего мужика швырнули без призо-

ра в сумасшедшую палату, и он там себя, в бреду, окончательно изувечил. Родня нашла этого несчастного в таком состоянии:

Иван лежал на кровати с сорванной с головы повязкой, тяжко всхрапывая и колотясь всем телом. Он так неудобно был положен, что тонкие вертикальные железные прутья в изголовье кровати врезались в его израненную голову. Тюфяк, подушка, простыня были окровавлены, на полу стояла целая лужа крови.

Бабы подняли вой (вот дуры! Есть от чего!). Мужики пришли в неистовство (каковы негодяи?) и, «ругаясь, как в кабаке» (правду сказать, смахивала на то немножко больница-то), чуть не поколотили фельдшера, но богатырь-сторож, Артем, вышвырнул их на улицу. Этот сторож Артем — чуть не главное лекарственное средство, которым пользует пациентов своих удивительная больница.

— Мой предшественник завел тут в числе служителей одного атлета, чтобы силой удалять буянов, и я его держу. И ему нередко приходится буквально вступать врукопашную, брать буянов за горло и выносить вон. А полиция бездействует. Два месяца прошу поставить тут городового и не допрошусь...

Впрочем, кроме Артема, старший врач имеет в своей аптеке еще спермин. Случай, по которому он пускает в ход это средство, столь типичен, что стоит не пожалеть места для выписки его целиком. «На пятый день Ивану стало худо». Баба Елена, родственница, бросилась за врачом.

Старший врач, только что окончивший над одним больным сложную хирургическую операцию, в белом колпаке, в белом халате, с засученными выше локтей рукавами, отдыхал за письменным столом, выпивая по глотку из стакана простывший жидкий чай и с наслаждением затягиваясь дымом то и дело осыпавшейся папироски.

Баба сгоряча наговорила любимцу г. Родионова жалких слов. Старого земского врача семидесятых-восьмидесятых

годов они, наверное, привели бы к злейшим угрызениям совести и повергли бы в совершенное отчаяние. Sed alia tempora! *
Но не на таковского баба напала!

Врач неторопливо рассеял рукой облако табачного дыма, сгустившееся над его лицом, и, склонив набок голову, чтобы лучше разглядеть, прищурил свои круглые карие глаза и спокойно спросил:

— Ты кто такая и про кого говоришь?

— Да про нашего... про Ивана Тимофеева. Ен в сумасшедшей комнате тут у вас лежит, в сумасшедшую комнату его запрятали... Получше-то для него места не нашлось... — вызывающе ответила Елена.

— А-а... теперь понял. Видишь ли, что за ним никакого ухода нет, это ты лжешь, — *спокойно, но резко* ответил врач. — Я каждый день обхожу всех больных по два раза: утром и вечером, и каждый раз обязательно бываю у него. Дальше: что ему не три, а два только дня не меняли повязок, так это так надо по ходу болезни. Я не приказал менять. Поняла?

— Да вы уж извините. Не я, а горе наше говорит...

— Постой, дай кончить. Я потому так подробно опровергаю твою ложь, что вы, *святые мужички, и особенно вы бабы, все вы — каверзники, ябедники и лгуны,* а особенно с тобой я не обязан разговаривать. Поняла? Теперь о больном. Я уже предупреждал жену и мать, что, по моим расчетам, сегодня часам к пяти-шести он должен умереть. Поняла?

— Ради Христа Небесного спасите!

— Вот тебе раз. Что же могу сделать? Я ничего не могу сделать, и ступай с Богом, и не являйся больше с *неосновательными претензиями,* а то прикажу удалить тебя из больницы.

— Помогите, барин, ради Христа Небесного, помогите...

— Пожалуй, ради слез ваших я продлю ему жизнь на два дня, не более. Сегодня что у нас? Четверг. В субботу он умрет. Вот я вас и спрашиваю, стоить ли это делать? Ведь это лишние мучения больному.

— Ради Бога, Господь Милосердный заплатит вам за это...

— Ну, как хотите, мне не трудно.

Врач сам сделал больному первое подкожное впрыскивание спермина и приказал фельдшеру продолжать эти впрыскивания ежедневно по три раза.

Этот «неторопливый» величественный сверхчеловек, в табачном дыму, «спокойно, но резко» отвечающий родным

* Но времена иные! (*лат.*)

умирающего в момент агонии сословною руганью, усматривающий в беспокойстве за близкого человека «неосновательные претензии» и снисходительно творящий сперминное чудо на два дня сроком, — «мне не трудно», — становится особенно великолепен после следующей извинительной оговорки г. Родионова:

Старший врач не только не знал о том, как поступили в больнице с избитым Иваном, но даже и не подозревал, что такого рода деяния возможны в учреждении, которым он заведует.

На нем наглядно оправдалось то общее, всем известное правило, что начальник всегда меньше посторонних осведомлен о действиях его подчиненных, и *чем выше он по своему положению*, чем обширнее и сложнее круг его ведения, тем его представления о ходе дел в управляемой им области удаленнее от жизни и истины.

Вот оно как. А мы-то, несправедливые, еще претендуем на высокопоставленных сановников, зовем бездарными и недобросовестными министров, когда они берутся управлять ведомствами, о сложном движении которых не имеют понятия и ход их узнают лишь по своем назначении. Если уж старшему врачу земской больницы так трудно знать в своей еще довольно примитивной высокопоставленности, что делается у него под носом, — то на какое же тяжкое и грустное неведение своих сложнейших обязанностей фатально обречены те вышеупомянутые государственные мужи и как они, бедняжки, должны оттого нравственно страдать!

Врач не знает, что у него делается под носом, а баба, которая все знает, оказывается каверзницею, ябедницею, лгуньей, она «лезет с неосновательными претензиями», против бабы нужен Артем и, жаль, полиция гуманничает, скупится поставить в распоряжение больницы нарочного городового. Возможно ли написать более противный тип холодного, пошлого бюрократа от медицины, чем этот, излюбленный г. Родионовым, Стародум «с мягким характером»? А ведь

автор его то и дело выводит в пример прочим, любуясь им: вот это, мол, нашенский парень! Даже, когда тот на суде, сбитый с толку бойким адвокатом, дал ошибочное показание, но, из самолюбия, не решился его исправить: «Как же, мол, это? вдруг, я, старший врач, да сознаюсь в научной оплошности?» Pereat justitia!.. * Именно этот ведь образцовый медицинский администратор «с мягким характером» и вносит законопроект о замене обществ трезвости виселицею для пьяных преступников. «Подумаешь, важное кушанье!» — рекомендует он последних. Это врач-то! врач! Последний защитник преступника пред правосудием, последнее прибежище болезни, принимаемой за преступную волю, последний авторитет, властный смягчить преступнику хоть сколько-нибудь тягость тюремного режима, не допустить применение телесного наказания и т.д. «Подумаешь, важное кушанье!» Это — врач!

Если я скажу:

— Это клевета на русское врачебное сословие.

Г-ну Родионову так легко ответить:

— Да вы не имеете нравственного права о том судить: сколько лет не видали вы России?

Это выражение зажимает человеку рот. Но не только пятнадцать, — даже десять лет тому назад, — выбрать в апостолы виселицы из всех сословий русских врача не посмел бы самый дерзкий реакционный памфлетист, потому что не только слева сдернули бы его резким протестом, но и справа, то же самое «Новое время», из типографии которого вышло теперь «Наше преступление», переспросило бы с недоверием:

— А не врешь ли ты, пан-писарь?..

Сейчас «народ безмолвствует». Немо и врачебное сословие, в которое брошен гряный ком. Что же? В семье не без урода: Александр Иванович Дубровин ведь тоже врач... Но неужели урод в семье успел расплодиться настолько, что

* Да погибнет правосудие!.. (*лат.*)

стал для нее типическим и — из-за сорной травы теперь уже не видать посева? Не хочется верить, и не верю. Но, так и быть, попробуем условно допустить. Если оно так, если в самом деле за какой-нибудь десяток лет самое передовое, гуманное, самоотверженное сословие русской интеллигенции опустилось на степень невежественной низости, которая для исцеления народных недугов не знает иных средств, кроме виселицы и телесных наказаний, которая в веке «no restreint» * осмеливается проповедовать «смирительную рубашку», — какое же право имеет общество, хотя бы его олицетворял и г. Родионов, требовать высшего уровня нравственности и духовного развитии от мужика-то, против которого все эти громы направлены? Если афоризм, что «всякое общество имеет то правительство, которого оно заслуживает», справедлив с лица, то справедлив он и с изнанки: «всякое общество имеет того мужика, которого оно воспитывает». Что это так, а не иначе, очень хорошо знает и г. Родионов, ибо помнит, что мужик «еще недавно, на нашей памяти, не был таким».

— Ну, опять-таки, кто же споил и спаивает народ? — спросил следователь.
— Сам спился! — с озлоблением крикнул доктор. — Никто его в шею не толкает в кабак, сам прет! Опять-таки, поймите, не стою я на стороне правительства. Слова нет, мерзко, что оно торгует водкой, но такая скверная мера пущена им в ход по крайней нужде. Надо откуда-нибудь доставать деньги...

Так-с. Правительство в крайней нужде. Правительству надо откуда-нибудь (прелестно!) доставать деньги. Правительство открывает торговлю водкою. Народ водку покупает и пьет. Пьяный совершает преступление. А правительство, которое его напоило, в своих интересах, судит его под виселицею и, осудив, вешает. Право, можно подумать, что г. Родионов, не в шутку, а и в самом деле уверен, что лучший способ расплатиться со своим кредитором, это — вздернуть его между двумя столбами с перекладиною.

* «Без ограничений» (*фр.*).

IV

Помещицкое письмо № 2 — И.А. Бунина — облечено в попытку объективного творчества. Г-н Бунин в «Деревне» одевается, поочередно, в два костюма — нового землевладельца, стареющего кулака Тихона Красова, и брата его, полуинтеллигента Кузьмы, бродячего Гамлета в смазных сапогах, которого еще недавно назвали бы «богоискателем». Да и, конечно, на нем отразился-таки неугомонный скиталец «Исповеди» Горького. Опыт взглянуть на «Деревню» сквозь два эта мировоззрения, переплести их наблюдение и слить в едином разочаровании, и остроумен, и серьезен, и, вероятно, дал бы очень большие результаты, если бы... удался. К сожалению, нельзя не сознаться, что силы г. Бунина оказались гораздо ниже его намерений. И, быть может, даже не литературные силы (написана «Деревня» как пейзаж и жанр превосходно: сочно, ярко, красочно), но — гражданские настроения г. Бунина. Не удалось ему перерядиться ни кулаком-крепкачом, ни мужицким Гамлетом. Обе роли он сыграл, как затеял и сумел, достаточно хорошо для любительского или, как в старину говорили, благородного спектакля. Но из-под грима неотрывно глядит на читателя архиинтеллигентное лицо академика И.А. Бунина, и каждый усиленно размашистый жест его повести дает понять, что под «спинжаком» автора стеснительно скрыта вторая, настоящая сменка хорошей городской одёжи и, если разуть Тихона и Кузьму из огромных их сапожищ, то еще неизвестно, не окажутся ли у них ножки маленькие, господские, и в весьма лаковых ботинках.

Г-н Бунин давно уже пишет о деревне. В ранних его рассказах преобладало эстетическое настроение — красивый тон «дворянской элегии», которым г. Бунин, пожалуй, ближе, чем кто-либо, умел подойти к старым дворянским классикам русской литературы и «стилизовал» несколько прекрасных вещиц. Его «Антоновские яблоки», несомненно, как те-

перь стали выражаться, «останутся в литературе». Но вот в начале столетия деревенский омут загудел и забурлил так густо, что с эстетическою меркою в нем уже решительно нельзя было ужиться и для пантеистических слияний стало несвычно и беспокойно. Глубокую, стихийную растерянность, какою встретила деревенская интеллигенция эту вдруг возникшую непонятность деревни, г. Бунин выразил в превосходном рассказе «Чернозем». Он появился в первой книжке «Знания» (1904). В предсмертном письме своем ко мне Чехов рекомендовал мне эту вещь, как замечательнейшую в тогдашней русской литературе. Налетела революция. Деревня совсем выбилась из старых колей и окончательно потеряла элегическое спокойствие, из которого родится, так свойственный г. Бунину, меланхолический эстетизм. Г-н Бунин упаковал свои чемоданы и «начал странствия без цели» по разным экзотическим странам, сочиняя о них разные экзотические стихи. Это была своего рода эстетическая эмиграция. Буря пронеслась, г. Столыпин возвестил успокоение, началось возрождение наук и искусств, г. Бунин был избран и зачем-то сел в ту самую академию, откуда был изгнан как политический преступник Максим Горький и где отказались быть членами А.П. Чехов и В.Г. Короленко. И вот наконец:

Родина-мать! Я душою смирился,
Любящим сыном к тебе возвратился!

Г-н Бунин опять в «Деревне»… Есть в этой повести такая язвительная страница:

Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным баритональным тенором, затейливыми вокализами, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил Аким, на ходу прислушиваясь к тенору. — Ишь, раздолевается, пузо его лопни.

— Кто раздолевается? — спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да баггчук-то, — весело сказал он, сильно картавя. — Говорят, семой год так-то!

— Это какой же, — что собак гнал?

— Н-нет, другой... Да это еще что. Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я...» — прямо беда-а!

— Учится, верно.

— Хорошо ученье!

Когда я прочел эту страницу, мне живо представился в символе этого барчука, покрывающего великолепным баритонным тенором гремящий рояль, — в то время как под окном помирает над ним со смеха грязный и злобный «стерва-мужик», зверь Аким, — никто иной, как сам г. Бунин. И очень мне его стало жаль. Вокализов он, может быть, и не пел, но возвратился он в деревню с прежним своим господским багажом культурного эстетизма, от коего и вокализы, а среду обрел — уже куда как не эстетическую и дьявольски-зловещую.

...Мужики во двор: «Давай на ведро — и шабаш. А то забастовку сейчас сделаем...»

— Что ж, — дали?

— Ужли ж нет? Да-ашь, бра-ат. Мельник тут есть... Вышел прямо с крыльца и говорит: «Ветер-то, господа-дворяне, с поля дует». Вот и пойми его. Барчук, было, похорохорился: «Это что ж за ветер такой?» — «А такой, — говорит, — я тебе загадал, а ты подумай...»

Г-н Бунин «подумал»... и написал «Деревню».

Нечего и говорить, что умный, изящный, либеральный, эстетический г. Бунин ни виселиц, ни розог, ни смирительной рубашки для народа не требует. Но городской, господский перепуг его пред новым мужиком едва ли не глубже еще, чем в книге г. Родионова. Сему последнему легче: в полицейской самоуверенности он находит ободряющую силу, на которую и полагается не рассуждая, — лишь бы вышло предписание. Он панацеи знает; его горе не то, что недужен на-

род, а то, что начальство слабо — не дает предписания, чтобы панацеи были пущены в ход. Г-н Бунин много несчастнее, ибо народ он видит теми же глазами, как г. Родионов: «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», но ни родионовских панацей не приемлет, ни своих предложить не имеет.

— А не послать ли все к чертовой матери, да не дернуть ли по горлу бритвой?

— Запомни, брат. Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас не спасут. Слышишь? Мы — Дурновцы. Мы — ни Богу свеча, ни черту кочерга.

— Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей.

— Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь.

— Линяет-с. Все линяет-с.

— Не до леригии нам, свиньям!

— Гуляет народ.

— Это с какой радости?

— Надеется.

— На что?

— Известно, на что... На домового.

— Вторую тыщу живем, губы растрепавши. На черта воду возим.

— Будь проклят день рождения моего в этой трижды проклятой стороне!

— Какой там Господь у нас! Какой Господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у меня?

— Народ! Сквернословы, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит.

Полагаю, что довольно, чтобы выяснить миросозерцание братьев Красовых, из уст которых вырываются все эти жгучие истерические вопли. Кругом ползает и стелется совершенно та же жизнь-кошмар, что и в деревне г. Родионова, и даже еще хуже, потому что г. Родионову хоть кажется, что он знает причину своего кошмара. Заучил он думские речи депутата Челышева и режет из них цитаты:

Пьянство — краеугольный камень, на котором зиждутся все наши неустройства. К пьяному не привьешь никакой культуры; всякие реформы

пойдут прахом, помните это, и первое, с чего надо начать, это с беспощадной борьбы с пьянством.

Вытрезвим, стало быть, народ виселицей — и айда процветать! Но г. Бунин не так наивен. Водка водкою, белая горячка — белою горячкою. Но и та жизнь вокруг, которая невольно трезва уже потому, что ей стало и пропить-то с себя нечего, переполнена снами наяву, галлюцинациями и бредами до такой духоты нестерпимой, что человеку с развитою впечатлительностью, с пытливою способностью мыслить и чувствовать, — нечем в этой ядовитой атмосфере дышать. Здравость жизни, устой, ось, на которой все в Дурновке вертится — короткий

— Почем щетина?

А за щетиною — конец: хаос бреда. Даже стихии-то бредовые.

Земля:

Господи Боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей, — ест же этот хлеб досыта — сто человек во всем городе.

Вода:

За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной, — густая желтая вода, в которой по пояс стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды и намыливал голову голый мужик. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич показал картузом:

— Ну и водица у вас. Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем. Да вода что — вот хлебушка нетути.

И пришлось промолчать: ведь и в Дурновке вода не лучше и тоже нет хлебушка... Да и не будет.

Воздух:

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница и поднос полны были вонючими размокшими окурками.

Вентилятор — жестяная труба в верхнем углу окна — был открыт и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть. «Как в волостном правлении», — думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов.

Огонь:

А потом над усадьбой вдруг поднялся дымно-огненный столб: мужики отрясли в саду всю завязь, зажгли шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал палить из огня...

Природа и жилище доведены до состояния гноя. Какая же жизнь, кроме тифозного кошмара, может развиваться в организме-коллективе, кровь которого отравлена воспалительным клокотанием гноя? Ведь это же значит — думать, говорить, действовать на границе сознания, при 40-градусной температуре.

Женщин голыми вешают на деревья. Жены травят мужей «крысиною смертью». Сумасшедших учат для потехи рукоблудству. Травят нищих собаками. Мажут бедным невестам ворота дегтем. Для забавы голубей сшибают с крыш камнями. А есть этих голубей, видите ли, грех великий. Сам Дух Святой, известно, голубиный образ принимает... Срам сказать. В Москве сроду не бывал. А почему? Кабаны не велят. Теперь вот не пускает жеребец... Страна имеет более ста миллионов безграмотных... Еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях... Все цинга да тиф, тиф да цинга. В одной волости все детки вымерли, в другой — всех собак поели... «Зачем суд приехал?» — «Депутата судить: говорят, хотел реку отравить». — «Дурак, да разве депутаты этим занимаются?» — «А чума их знает...» Повальный сифилис... Сыновья спьяну колотят матерей и отцов... Зажившимся старикам заживо гробы покупают и пироги на будущие похороны их пекут... Жену продал за пятиалтынный: ай, она слиняет?.. Запел соловей, — «из ружья бы его...»

Вспомнил, как был он когда-то на призыве: призывалось пятьсот человек, взять нужно было сто двадцать, ему достался четыреста девяносто второй номер — и все-таки чуть было не пришлось раздеваться: так браковали этих голых подростков, похожих на голых воробьев своими тонкими, как плети, руками и большими, тугими животами.

Вместо учителя — в школе сидит солдат, природный дурак, который «на службе сбился совершенно и даже на вопрос, как тебя зовут, не умеет ответить иначе, как угрожающими, хитро-свирепыми притчами». Баба, проданная мужем барину за три воза ржи, — «потом стала сводить кого с кем попало... Распутные вы, кобели, прости Господи!..» По ночам она ворует щиты с железной дороги, — из тех, что ставят зимой от заносов: «вся деревня топится ими, только тем и спасается!..» Отец хвастает, как он ловко выдал дочь замуж: попустил связаться с парнем, поймал на свидании, парня раздел догола, а дочь на глазах его сек кнутом до тех пор, пока парень не вытерпел зрелища страшного: согласился жениться...

Удавили в Курасовском лесу караульщика — с тем, чтобы разделить для каких-то колдовских целей веревку, снятую с мертвого. Но верили ли они в эту веревку? Ой, слабо! Это нелепое и страшное дело совершено было с беспощадной жестокостью, но без веры, без твердости: говорят, что мужики рыдали на суде, как дети. *Да у них и ни во что нет веры.*

...Экспроприация — «руки уверх» — окорока ветчины... «— Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, говорят». — «Это за ветчину-то удавят?» — «Нет, за транду, Господи, прости Ты мое согрешение...»

Пашут целую тысячу лет; — да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет. Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы», — только и всего. Хлеба не единая баба не умеет спечь, — верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода...

— Пропала жизнь, братушка! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей дуре платок заграничный, а *она взяла да и истаскала его наизнанку...* Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, — праздника, мол, дождусь, — а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... *с жизнью-то своею.* Истинно так!

Шатаются, корчатся, делают страшные рожи, вонючие, дикие, мутные бреды тифозной отравы — и растет их пустопорожний гул и потемняют они разум и память человеческую, пока не обрывает их истерический вопль насмерть перепуганного, с растерзанным сердцем слушателя:

— Тихон Ильич! Ты с ума сходишь! Опомнись!

Герои г. Бунина, братья Красовы, расстаются с читателем, стоя на границе сумасшествия от истасканной наизнанку жизни, может быть, одною ногою уже и за границею... Похоронив остатнюю красоту деревни в символе гнусно, глупо и подло выданной замуж Авдотьи Молодой, они бегут в город.

Я нарочно заимствовал летопись деревенских смрадов из помещичьего письма г. Бунина, а не из урядницкого рапорта г. Родионова, хотя, повторяю, факты ужасающе параллельны и в том, и в другом. Больше того скажу: г. Родионов кое в чем даже добрее к деревне, чем г. Бунин, потому что не оставил ее без положительных типов, нарисовал для нее идеалы добродетельного «старца», заимствованного из Григоровича, если еще не из Карамзина, и таковой же старицы, добравшейся к нашим временам едва ли не из Мельникова-Печерского. У г. Бунина — чисто: кругом развал, голод, упадок, мерзость запустения, тьма и — во тьме — судорожно стучит зубами чья-то челюсть о челюсть... Но у г. Бунина, конечно, нет и тени той добродетельно-начальственной злобы, той дикой надменности служащего представителя «высшей расы», той бессердечной веры в узаконенное насилие, того буржуазного презрительного самодовольства, которым пропитана бесчеловечная книга г. Родионова. «Наше преступ-

ление» написано «дикарем цивилизации». «Деревня» — тонким интеллигентом-эстетом, который возмечтал написать деревенских варваров и дикарей как они есть и, даже отложив в сторону привычную элегантность слога, их подлинным языком. В самом деле, Г. Бунин пустил для «Деревни» в ход столь обширный и смелый «народный» словарь, что — до речной полиции Н.М. Баранова, конечно, ему еще далеко, но к диалекту судовщиков он иногда приближается с бесстрашием, достойным лучшей участи. Но, когда на полотне г. Бунина стали выступать, намеченные им мрачные образы, художник струсил собственных этюдов и эскизов, и попятился от них с жалобным воплем отвращения и страха, и не кончил картину, не дав этюдам обобщающего вывода, не осветив их накопления синтезом. Вот, — думаю я сейчас о гг. Родионове и Бунине и представляются они мне в таком противоположении. Деревенский господский дом. Окна закрыты ставнями, на болты. Откуда-то издалека доносится глухой гул огромной человеческой толпы. Г-н Бунин, бледный, в жесточайшем припадке мигрени, с блуждающими глазами, ходит по угрюмым комнатам, испуганно косится на закрытые ставни и выкрикивает истерическим голосом:

— Гадко! Отвратительно! Страшно! Жалко! Несчастные! Видеть их не могу! Душа разрывается! Звери! Нервы не выносят! В город! скорее в город! Боже мой! да почему же так долго не подают лошадей? Ведь мы опоздаем к поезду… еще сутки ждать среди этих горемычных! скот... жалких людей... Поторопите кучера, пожалуйста!

А г. Родионов, внушительный и величественный, в светлых пуговицах, у стола с самоваром «неторопливо» прихлебывает чай из стакана и «спокойно» говорит:

— И что вы, Иван Алексеевич, право, так себя расстраиваете? Решительно вам незачем спешить в город. Напрасно изволите беспокоиться, никакой нет опасности. Будьте благонадежны. Вот повешу я три тысячи человек...

И сдается мне, что из всех страшных призраков, окруживших испуганное воображение г. Бунина, самым страшным покажется ему в эту минуту услужливый и успокоительный г. Родионов, и от него-то именно наипаче припустится г. Бунин, чураясь и отмахиваясь, бежать — куда глаза глядят.

Еще одно сравнение. В каждом произведении любого писателя находится несколько строк, из которых вдруг с необыкновенною яркостью и выразительностью выглянет собственное лицо автора, так что строки эти, подчеркнутые страстною искренностью явления, станут для вас символическим ключом и к произведению, и к автору... В «Деревне» г. Бунина ключ этот дает следующая сцена:

«Внизу, у моста — кучка мужиков. А навстречу, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак — стройный, бледный, с красноватой бородкой, с карими умными глазами — стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру», и при каждом их слове отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах, с искаженным от ужаса и болезненным лицом. Ужас, напряжение были и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и дворянском картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные от холода и усталости, закутанные в шали».

Тут, как и в вокализах тенора-барчука, конечно, нет обстоятельств г. Бунина, нет его наружности (сколько могу судить по портретам), нет его тона и манер, но есть его психология и налицо генезис его угрюмой «деревни».

V

Итак, один из представителей деревенской интеллигенции — землевладелец — сбежал. «Бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла», с разбитыми нервами, плаксивыми словами и брезгливым сожалением, которое больше похоже на страх и отвращение. Другой — остается «на вверенном ему посту» с твердым намерением вытрезвить и оздоровить деревню чрез виселицу и розги. На очереди еще двое: батюшка и учительница.

Батюшку я пока оставлю в покое, ибо г. Гусев-Оренбургский, который за батюшку эпистолы к нам подписывает, требует внимания особого и пространного, а у меня сейчас нет ни времени, ни материалов, ни в статье — места. Значит, оставим батюшку «наутрие» и обратимся к учительнице.

Рассказы г-жи Милицыной, изданные «Знанием», послужат мне материалом. В чисто художественном отношении они — некрупное, но приятное явление: опрятное, мягкое, женское письмо, вдумчивое и старательное, памятующее старую истину, что «художник мыслит образами», но никогда не злоупотребляющее ею до невозможности поверки образного мышления логикою. В рассказах г-жи Милицыной есть нечто, несомненно, свое. Она вышла не из литературного подражания — не из Горького, не из Андреева, не из Куприна, но из собственной своей скромной и спокойной наблюдательности, может быть, даже из личного дневника. Личность свою она совершенно спрятала за наблюдение, «я» нигде не звучит, нарочной проповеди не слышно, тенденциозной ретуши светотеней не заметно. Смотрит ласковая женщина на белый свет и, не мудрствуя лукаво, доброжелательно описывает, как его видит, — по возможности стараясь, чтобы выходило складно. Эта основная черта — объективной наблюдательности — сейчас особенно важна мне в г-же Ми-

лицыной: благожелательная свидетельница-очевидица для целей моего очерка нужнее писательницы-художницы.

Наблюдения г-жи Милицыной дают картину деревни отнюдь не более светлую, чем наблюдения г-на Бунина, графа Алексея Н. Толстого и — в другой категории — г. Родионова. Напротив. Ту сумбурную схему, которую я выбрал из всех поименованных сочинений из «Деревни» г. Бунина, г-жа Милицына пополняет еще многими пунктами, которых мужчины не коснулись вовсе либо едва по ним скользнули (Бунин). Так, например, у нее одной рельефно выступает тот рецидив, — употребляю именно это слово, потому что в недавнее еще время эта сторона «власти тьмы» серьезно пошатнулась было, — тот рецидив темнейших языческих суеверий, который, оказывается, обволакивает современную деревню не менее густо, чем в Ярославовы времена. Г-н Родионов сообщает нам факты деревенского безбожия, переходящего в цинические кощунства. Спорить против них не то что не приходится, а даже и не стоит, потому что — когда почитаешь спокойные рассказы г-жи Милицыной, страстные страницы г. Гусева-Оренбургского и испуганные стоны г. Бунина, то не тому начинаешь удивляться, что завелся в участке г. Родионова какой-то Сашка, безбожный сквернослов, но тому, как еще, кроме Сашек подобных, уцелели в деревне люди с каким-либо религиозным чувством.

— До религии ли нам, свиньям? Поживи-ка ты в деревне, похлебай-ка серых щей...

За пятьдесят лет, отделяющих нас от Филаретова «осени», принятого за статью «о сене», религиозное сознание народа — того, который почитается «православным» — не двинулось вперед даже настолько, чтобы о здравии младенцев не возносились заговорные молитвы к... «куриным богам!» («Веревка»). В книжках г-жи Милицыной читатель встретит свеженькими, неприкосновенными, властными суе-

верия, против которых восставал с церковной кафедры еще в XIII веке Серапион Владимирский.

Если дикарь, переросший своим сознанием уровень «куриной веры», ее отверг, а другой, высшей, по темноте своей, сам не нашел и в людях не встретил — кто же виноват в том, что он остается вовсе без веры и, не нуждаясь в вере сам, в грубости своей глумится над чужою верою? Г-н Родионов много написал о безбожии деревенских парней, но не рискнул показать нам ни той образцовой учительной церкви, вопреки проповедям и примеру которой создалось деревенское безбожие, ни той превосходой школы, которая изнемогла в напрасных усилиях перевоспитать чудовищную деревенскую грубость. У него расправа короткая: во всем виноваты «свободы». Пришли освободители и в один прием развратили богоспасаемую крестьянскую тишь — да так ловко, прочно и бесповоротно, словно не бывало пятидесяти лет смиренной воли, а в них — не видала деревня ни попов, ни учителей. Спросить, куда же в таком случае сие-то последние глядели, что они-то пятьдесят лет делали, за что они-то народный хлеб ели, — г. Родионову даже не приходит в голову. Это люди, посаженные в деревню начальством... Значит, нечего о них и рассуждать: они святы. А виноваты во всем свободы, да проклятое природное злонравие мужика, который, известное дело, только и норовит как бы ему «Бога во щах слопать». Г-жа Милицына посвятила религиозному сознанию деревни нсколько рассказов, отнюдь не с враждебною тенденцией чернить православное духовенство. Напротив, редко когда-либо и кто-либо в русской литературе (разве И.Н. Потапенко смолоду) поднимал так высоко прекрасный образ верующего честного пастыря, слившего свою жизнь воедино с овцами паствы своей, как г-жа Милицына — о. Андрея в рассказе «Идеалист». Но именно этот же превосходный раз — наилучший обличитель, почему так безнадежно расшатано дело господствующей церкви по управлению народною совестью;

почему мужик, когда «куриная вера» для него рухнет, а без новой душа томится, идет с религиозными поисками своими не в церковь к попу, а в секту к «апостолу», «братцу», либо начетчику. Деревня г. Родионова — удивительная деревня: в ней ни попа, ни учителя, ни сектантов. Всех их он вычеркнул из своих наблюдений как явления другой плоскости. Г-н Родионов объявляет деревню «безбожною» — в то время как ее религиозные искания плодят что день, то новые секты и толки, и вон дело дошло уже до того, что мистики-интеллигенты заболевают «простофильством» и ползут в народ набираться религиозного духа (Андрей Белый — «Серебряный голубь»). Другой замечательно интересный рассказ г-жи Милицыной — «Ученый диспут» — дает нам картину встречи двух новых религиозных течений в народе, двух «богоискательств»: столкнулись заново перерожденный старый тип книжника, начетчика, и совсем новый сектант-рационалист. Они враждебны и борят друг друга не только в слове, как в старину, но и в духе. Но о господствующей церкви — между ними ни полслова. Она просто уже не существует для них обоих: осталась вне народной религии. Поп, церковь — для них уже в том же разряде как волостное правление, воинское присутствие, камера земского начальника: нечто неизбывное, начальственное и — мирское. Религия же заключалась в собственной, внутрь себя обращенной, этитической мысли либо в диалектическом испытании чужих религий. Как может быть иначе? Батюшка идеалист, о. Андрей, прекрасен, но такого батюшку искать — все равно, что ловить белого дрозда, и даже, когда он обретается, то один в поле не воин. Да еще, гляди, и не на монастырском ли он покаянии! Батюшки-чиновника, бессердечного сухаря Ампилонского (рассказ «Волшебный фонарь»), достаточно, чтобы убить остатнюю веру и там, где она еще теплится. А батюшка из «простых»...

«Отец Иван, царство ему небесное, почитай завсегда пьяный был, и до баб дюже охоч. Бывало, пойдет кадить; одной

рукой Богу кадилом машет, а другой нас, молодых баб, норовить ухватить. И ведь где? — в церкви, перед Богом, перед Его пречистым ликом... А отец Петр, Павел, Яков — что только они над нами не делали... Ты ведь, милая, не всех их знала; Петра не помнишь. От Петра пошло у нас «по горячему следу» покойнику поминки справлять. Бывало, придут брать покойника, на кладбище несть, снимут его со стола, вынесут во двор, и стоит он там, сердешный, дожидается, пока не кончат его поминать попы. Не гребливы были. Прямо за немытый стол, после покойника, садились, а мы-то, бывало, бабы, стоим во дворе, покойника караулим, чтоб скотина как не опрокинула его али собака не подошла. Зима, стужа, иззябнем все. Вылезут они из-за стола, пьяные-препьяные, а покойник уже замерз, и мы с ним померзли; а летом мухи его всего облепят... Идут впереди гроба, шатаются...» («Веревка»).

То-то вот и есть. «До религии ли нам, свиньям? Поживи-ка ты в деревне, похлебай-ка серых щей!» Не только дикие парни г. Родионова, но и братья Красовы г. Бунина, которые, с урядницкой точки зрения, конечно, уже самый почтенный элемент деревни, — совершенные атеисты. А — кому еще «до леригии», тот, если темен и неразборчив, застревает в «куриной вере» и самое свое православное христианство обращает в идолопоклонство и ведовство («Около угодника»); если просвещен и искателен духом, идет в секту. Внизу — ведунья и юродивый, требник Петра Могилы и веревка с удавленника, вверху — сектант-мистик или рационалист, посредине — пустое место религиозного безразличия, в котором водятся, конечно, и атеисты. Из них спокойные помалкивают, ибо «себе дороже» и «ни к чему», а бахвалы, спьяну, богохульствуют, за что попадают под суд. Г-н Родионов собирается пьяных атеистов пороть и вешать. Но если виселица — не общество трезвости, не школа и не больница, то еще меньше шансов, чтобы она оказалась церковью.

Школа (здесь не стоит поднимать вопроса даже о многообразности ее) обращена в ад для всякого педагога, приступающего к делу с серьезными просветительными, образовательными и воспитательными планами («Волшебный фонарь»). Она — нищая и отдана всецело под иго того полицейского интеллекта, от имени которого ораторствует г. Родионов. Не угодно ли послушать другого представителя интеллекта этого?

Вы состоите здесь, *в моем стане*, учительницей... Здесь, сударыня, мне кажется, при ужасающей бедности этого села и поэтому особенно ужасном для него, тлетворном соседстве большого губернского города, с его развратом и пороками, здесь крестьяне более, нежели где-либо, нуждаются в просвещении, в руководительстве ими, в братском сочувствии к ним со стороны интеллигенции.

Кажется, читатель, мы недавно уже слышали где-то эти речи? Ба! Да это же почти дословно — из благожелательного предисловия г. Родионова... Разница только в том, что г. Родионов сам собирается и зовет кого-то «долг платить», а становой Яхонтов («Волшебный фонарь») приехал долг сделать: просить у учительницы сто рублей «взаймы» за аттестацию ее благонадежности... Учительница отказала и поплатилась за дерзость эту. Идеал же учителя, который нужен полицейскому интеллекту, ищите у Бунина.

— Что ж, учатся ребятишки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно, — сказал Оська. — Ученик у них бядовый.

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна честь. Вышколил, говорю, ихняго брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него и прилажено уже все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичем — как вскочут все разом, да как гаркнут: «Здравия жела-ем, ваше височо-бла-го-ро-дия!»

Врачебную помощь мы видели. Сам г. Родионов нарисовал больницу застенком, а врача новой земской формации — чер-

ствым бюрократом двадцатого числа, чтобы не употребить более резкого определения, и лютым ругателем и ненавистником крестьянства, которому он служит.

Что же из даров интеллигенции еще остается у деревни?

Суд правый, скорый и милостивый?

Но г. Родионов не пожалел красок, чтобы в довольно плохом подражании «Братьям Карамазовым», вымазать суд всею грязью, какую только сумел накопить на своей палитре: и небрежное (по революционной «гуманности») следствие, за которое следователь, если бы нашлась в действительности этакая глупая юридическая россомаха, непременно сам угодил бы под суд; и подкуп присяжного; и нарочное потворство подсудимым либерала-председателя; и мягкий приговор, почти оправдание, заведомых убийц... Бедный суд русский! Уж он ли не покладист, он ли не послушен, он ли не изучил теорию и не проводит практику, что

Ниже тоненькой былиночки
Надо голову клонить?..

И за всем тем своим смирением никак он пред полицейским интеллектом не может выслужиться. «Милость» из известной тройственной формулы Александра II давно вычеркнута. Обвинительная тенденция рекомендована официально и работает вовсю. «Правда» ограничена внушениями «по закону сего времени», а также переводами строптивых ее поклонников на низшие посты и оклады, а то и вовсе увольнениями. Осталась скорость... качество прекрасное при наличности правды и милости, но, в их отсутствие, более пригодное — как народная мудрость пословицею решает — лишь на то, чтобы блох ловить... И эту-то горемычную, оставшуюся без трех, вдову-юстицию г. Родионов еще подозревает в потворстве либерализму и крамоле!

Ну да, хорошо. Поверим г. Родионову. Плохим судом судили парней, ему ненавистных. Но что же из этого следует? Да только то, что, значит, и последняя благая сила городского на деревню воздействия — суд — тоже находится в отвратительном состоянии и не может дать деревне нужного ей правосудия.

Разрушенная церковь. Никакой врачебной помощи. Невозможная школа. Бессильный суд.

Так, в четыре угла, благоустроил город деревню к 50-летию ее свободы, по показаниям ее знатоков, во главе которых стоит представитель «полицейского интеллекта», г. Родионов. А к четырем углам приладил еще пристроечку: «светлые домики» винных лавок. Г-н Родионов говорит против светлых домиков весьма красноречиво, желает им сгореть полымем, провалиться сквозь землю и даже, от усердия, уверяет, будто на их вывесках написано «распивочно и навынос», хотя именно распивочность-то ими и упразднена. Все это очень прекрасно, но — мы уже видели выше: г. Родионов, как ни глубоко огорчен безнравственностью государства, торгующего водкою, однако должен допустить это «аморалитэ», потому что государству надо же «откуда-нибудь» брать деньги. И только приятельски ограничивает:

— Милый друг, государство! Если ты продашь кому-нибудь водки в таком большом количестве, что тот спьяну совершит преступление, — давай-ка мы такого человека, для очистки твоей совести, повесим?

Милый друг государство смотрит на г. Родионова большими глазами и возражает:

— Лучшего-то покупателя?

— Ах, черт возьми! В самом деле!

— Надо же «откуда-нибудь» добывать деньги.

— Действительно!

Circulus vitiosus *: нет денег, — торгуй водкой, — торгуешь водкой — плодишь пьяных, — расплодил пьяных, —

* Порочный круг (*лат*).

пойдут пьяные преступления, — пошли пьяные преступления, — надо вешать пьяных, — перевешали пьяниц, — кто будет водку покупать? — некому водку покупать, — нет денег. И т.д. снова и снова, как сказка про белого бычка. Эх, вы, отрезвители!

И — Боже мой! Какая избитая штука русская государственная премудрость! Как трудно сказать в ее области что-нибудь новое.

Ведь решительно все содержание книги г. Родионова — все, начиная государственною необходимостью добывать деньги «откуда-нибудь» и кончая государственною необходимостью вешать буйных пьяниц, — предвидено винокуром из «Майской ночи», когда он, глядя на мертво пьяного Каленика, умозаключал:

— Это полезный человек: побольше такого народа — и винница наша славно бы пошла. Этакого человека не худо, на всякий случай, и при виннице содержать; а еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила.

Первую половину формулы винокура принял тринадцать лет тому назад С.Ю. Витте.

Вторую — проповедует г. Родионов.

Целое: проект входа в винную лавку под виселицею или прохода через винную лавку к виселице — милый юбилейный подарок от полицейского интеллекта крестьянству к 50-летию дня 19 февраля.

Если бы кто-либо в России написал и опубликовал книгу о русском дворянстве и тоном, и выражениями г. Родионова, с тою же умышленно-злобною подтасовкою фактов, — книгу судили бы за возбуждение вражды между сословиями. Вся книга г. Родионова — сплошное возбуждение вражды к крестьянскому сословию. За мужиков государство не судит, но общество книги г. Родионова не забудет. Г-н Родионов может хвалиться: ему удалось написать одну из самых гнусных и бесчеловечных книг, какие когда-либо

появлялись в европейской печати. В своем роде, эра российского одичания!

Это — даже при условии, если книга г. Родионова в самом деле «не бред, а быль», если ее тенденциозная подтасовка комбинирована из настоящего, фактического материала.

Ну, а если, с позволения сказать, если — «а не врешь ли ты, пан писарь»?

Повторяю: мне, кроме «внутреннего убеждения» да газетных материалов, утвердить своих сомнений не на чем. Я слишком давно не видал Россию и об ее действительности не судья. Чутье — не свои глаза!

Но если русская деревня огульно спилась до бесчувствия, повально болет сифилисом, озверела в нищете и голоде до тупости и дикости троглодитов, потеряла честь, совесть, веру, живет только голодом распущенных животных инстинктов да завистливою ненавистью к своему ближнему, — если справедлив этот обвинительный акт, круто составленный г. земским начальником и, хотя неохотно, с оговорками, подтверждаемый свидетелем-помещиком, — откуда берутся те прекрасные и здоровые крестьянские типы, которые, не массами, конечно, но нет-нет, да мелькнут даже на нашем далеком горизонте новой архидемократической эмиграции? Вот на днях у вас там судили учеников социал-демократической школы на Капри. Я видел этих людей. Они — дети крестьянского мира, рабочие — были и остаются, и останутся рабочими. Почему между ними не было ни одного пьяницы, ни одного развратника, ни одного праздного лентяя, ни одного грубого буяна или нахала? Почему они умели найти себе, взамен потерянной, новую веру? почему в их существовании — уже не одно мутное прошлое с юбилейною «главою Печерскою», а есть и настоящее, которым будущее строится, есть разумная жизнь и высокий идеал, ради которого жить стоит? Ну хорошо. Это рабочие, распропагандированные,

«политики», своего рода сектанты — избранные, так сказать, сливки народа.

Но вот в то время, как я пишу, слышу я за окном женский веселый хохот. Это русские девушки, прислуга русских эмигрантов, здесь живущих. Все архангельские крестьянки, все молодые, 20—25 лет, значит, из поколения наиболее ошельмованного г. Родионовым. Их пять. Ни одна не приехала за границу вполне грамотною. Две не умели ни читать, ни писать. Я знаю семьи некоторых: темные, как ночь. Словом, вылетели эти русские пташки из своей женской среды, котрую сам Л.Н. Толстой определил как «беспастушное стадо». Почему сейчас, кто два, кто три года спустя по приезде, эти девушки читают и пишут на двух языках, говорят по-итальянски как по-русски, и — я уверен — далеко не всякая интеллигентная барышня в России (да и примеры тому видал) сумеет вести себя с тактом и достоинством этих крестьянок, дочерей далеких «чернопятых» матерей? Никто их не учил, никто не заботился о том, чтобы их развивать: сами, между делом, и выучились, и развились, чтобы быть не хуже среды, в которую бросил их случай. Отчего между ними так же, как между теми социал-демократами, не заметно ни алкоголизма, хотя отцы были пьющие, ни разврата, не развиваются, а исчезают детские задатки вырождения? Отчего они бодрою, ровною трудоспособностью своею удивляют итальянцев и в своей среде выучили их подражать себе, не уронили, значит, а подняли уровень местных рабочих нравов? Отчего никто из интеллигентов никогда не слыхал от них грубого слова, неопрятной шутки? Не видал злого лица, проклинающих глаз? Эти уж не «избранные», а слетлись за случайными «господами», как и откуда попало, с бору по сосенке. И даже политическое влияние здесь ни при чем, потому что между ними нет ни одной, хотя сколько-нибудь, политички: сами эмигранты, смеясь, определяют их «индифферентками». И таких женщин и девушек, случайно вынесенных

революционною бурею за рубеж, вижу я и в Риме на Monte Pincio, и во Флоренции в Cascine, и в Ницце на Promenade des Anglais, и в Париже в парках Люксембурга, Монсури, Монсо, на лужайках Булонского леса. Откуда? из какого вулкана они вылетели? Да все из той же деревни, которую представляют нам сопкою беспримерной грязи. Как же это так? По России сопка расплевывает воров, убийц да проституток, а сюда, за границу, что ни швырнет, то честною девушкою и хорошим парнем? Что же их — по особому заказу, что ли, — для заграничного вывоза фабрикуют?

Почитаешь г. Родионова: шабаш! пропала деревня!

Слышишь смех за окном: нет, деревня-то еще поживет, а поживет, так и выправится, а пропал-то кто-то другой... Не деревня умерла. Живые покойники те, кто не умеет смотреть на мужика иначе, как с точки зрения Гоголева винокура: либо материал — при виннице держать, либо — повесить на дуб вместо паникадила. Удивительные люди! Посадили мужика в ад и обижаются, что он на них чертом смотрит!

До бесконечности истрепана, изношена старая крепостническая песня о мужике-пьянице, о злой воле мужика... Давным-давно даны ответы на песню, до дна ее исчерпывающие:

Нет меры хмелю русскому!
А горе наше мерили?
Работе мера есть?
Вино валит крестьянина,
А горе не валит его?
Работа не валит?..
...Пиши: «В деревне Босове
Яким Нагой живет,
Он до смерти работает,
До полусмерти пьет!»

Добро бы гг. Родионовым и комп<ании> самим не был знаком Яким Нагой! Сам же г. Родионов показал нам совре-

менного-то Якима Нагого: труженика Леонтия — единственную живую фигуру в «Нашем преступлении», единственного истинно порядочного, душевного, с широким сердцем человека, как среди оклеветанного народного персонала повести, так и среди отвратительных бюрократических выродков, которых г. Родионов наивно выдает за интеллигентов. Этот Леонтий, сверхсильный до кровавого поту работник, «ужом извивается», чтобы прокормить семью, а на него падают обузы одна за другой. Отец — столетний старик, мать — полоумная старуха, зятя убили, сестра родила близнецов и с ума сошла. Леонтия уговаривают: «Отдай сестру в больницу!» Леонтий, «извиваясь ужом», возражает: «Не бывать тому, чтобы Леонтий больную пожалел прокормить! В больнице-то ее бить будут, заморят...» Дикий взгляд на больницу у Леонтия, но — после той больницы, которую показал нам г. Родионов под управлением своего любимого врача — Стародума, — как мы скажем, что Леонтий клевещет? как нам роптать на его неблагородную подозрительность? Работает Леонтий, как вол, и именно уж душу полагает за братьев своих, а достигает этим у г. Родионова только того успеха, что г. земский начальник смягчает для него общий приговор на одну степень: виноват, но заслуживает снисхождения. Ибо — увы! — этот великолепный мужик — как назло — также горчайший пьяница. И не только пьяница, но и «дебошир», то есть строптивец, смелый на слово и скорый на руку, понимающий свои права и, в бессилии защищать их, глубоко чувствующий свое унижение...

> У каждого крестьянина
> Душа, что туча черная —
> Гневна, грозна — и надо бы
> Громам греметь оттудова,
> Кровавым лить дождям,
> А все вином кончается.

Таков Леонтий. Как ни ненавидит г. Родионов либерала-следователя, сколько глупостей ни заставил он говорить этого господина, сколько служебных гадостей ни внушил ему совершить, но ведь Леонтий-то — живой показатель, что следователь прав: «не пьянство — главное горе, которым губится русский народ; есть другие, более глубокие, причины народного недовольства». Ибо вот уже г. Родионову пришлось сурово отметить как хорошего мужика Леонтия по шее гнали из больницы, потому что он изругал начальство за жестокое обращение с тяжко раненным братом и замахнулся на фельдшера (ай-ай-ай! ведь это уже «при исполнении служебной обязанности»). Если бы г. Родионову удалось осуществить свой гуманный проект украшения каждого русского уезда виселицею для пьяниц, то, по всей вероятности, первым-то заболтался бы на ней даже не какой-нибудь мальчишка-пропойца, Сашка или Лобов, которого г. Родионову так хочется задавить даже вопреки его несовершеннолетию, а именно этакий вот Леонтий, хороший человек, но до нестерпимости намученный хозяин-работник, у которого

Душа, что туча черная —
Гневна, грозна — и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям...

Известно, что особенно веским аргументом к негодованию гг. Родионовых и комп<ании> с некоторого времени является злополучный недородный 1906 год, когда, вопреки ожиданиям, потребление вина в голодной России не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось на 13,9%. Говорил я однажды об этих попреках с некоторым итальянским государственным человеком, и он предложил мне вопрос:

— Позвольте! Это как же — 13,9% — помимо винной монополии, что ли?

— Нет, по отчетам винной монополии.

— Так винная монополия не прекращала своей торговли в этот голодный год?

— Конечно, нет!

— Тогда — чему же у вас удивляются? Еще мало! В эпохи народных бедствий потребление алкоголя всегда растет. Я понял было вас так, что винные лавки были закрыты, и народ все-таки ухитрился перепьянствовать прошлогоднюю норму на — 13,9%... А если винные лавки работали, как обыкновенно, то, значит, государство не пощадило своего народа в тяжкую для него годину от соблазна ближайшим средством опьянения. И если народ спился, то он ли тут виноват?

Нечто в этом роде возражал и следователь врачу, чрез которого г. Родионов общественно ходатайствует: дозвольте немножко повешать деревенскую публику! Отрезвим-с!..

VI

На этом я хотел кончить свои заметки, когда получил от М. Горького письмо такого содержания.

Посылаю книгу Родионова.

Обратите ваше внимание на разноголосицу предисловия и текста.

Сие можно объяснить так: написал земский начальник Родионов книгу и показал рукопись кому-то, кто умнее его, и этот, умный, сказал: «Здорово пущено, но — старо, слишком явны преувеличения и сразу видно, что клевета. В таком виде — не будет иметь успеха. Давай сочиним предисловие, в коем скажем, что, мол, все это «наше преступление» и что надо нести в народ «мир, свет, знания». Читатель поверит и не заметит, что в тексте мы рекомендуем водворить мир посредством виселиц.

Так и сделали. А читатели не заметили и похвалили — хорошо, правдиво!

А оно — не правдиво, ибо: во-первых, действие происходит в Боровичах, Новгородской губ. — город дан — Боровичи, предместье Спас, а в одном месте своим именем названа деревня Потерпеловка — таковая в пяти верстах от Боровичей, по течению Мсты, против Потерпелицкого порога.

Почему сие важно? А потому, что население в тех местах не чисто земледельческое, а *фабрично-заводское*, вокруг Боровичей — залежи белой гли-

ны и стоят немецкие фабрики посуды и 24 гончарных завода, а также — кирпичные — знаменитый «боровской» кирпич. Земля Ев. Аничкова, профессора, сдана в аренду Вехтеру, кажется, на ней тоже огромная фабрика изделий из белой глины. Хлебопашество же в уезде совершенно не развито, о чем даже в географии сказано. Стало быть: действующие у Родионова мужики прежде всего не мужики, а фабрично-заводские рабочие, разница, сами понимаете, существенная в смысле психики.

Но, и приняв во внимание буйственный характер фабрично-заводских рабочих, все же, я уверен, врет Родионов, а уличить его — просто: стоит только навести справку в боровичской уездной земской больнице: сколько битых поступает в амбулаторию по праздникам? В среднем. И — окажется, что 12 зарезанных в один Спасов день — не было *).

Вот только этой прелести — подставных мужиков — творчеству г. Родионова до полной красоты и не хватало! Выходит: мало что урядницкий рапорт, но еще — и с провокацией. То-то перл!

Fezzano
3 февраля 1911

---

*) Обличительна в этом отношении в повести г. Родионова еще одна подробность. Все тот же величественный старший врач больницы *впервые в жизни* участвует в судебной экспертизе и — по делу о нанесении смертельных побоев — дает неуверенное, сбивчивое показание. Так редко требуется судебная экспертиза в местности, где находят по 12 зарезанных в один праздник и походя насилуют девушек?! *Ал. Амф.*

НОВАЯ СИЛА

Удивительный род графов Толстых, двухсотлетний вулкан разнообразнейших талантов, дарящий своими взрывами культуре русской то великих путеводителей, то таких же великих губителей, опять произвел и, именно уж как вулкан из жерла, внезапно выбросил новую замечательную силу. Сразу и высоко взлетела она, засияв, как звезда. Удержится ли на яркой высоте, где следим мы ее теперь, продолжит ли полет и взовьется еще выше или, истощив энергию первым порывом, склонится к обратному падению, — стерегу и жду с глубоким и тревожным интересом.

С тех пор, как в скучную вологодскую зиму, ударила по сердцу моему воистину «с неведомою силою» прекрасная, гордая мысль о человеке, продекламированная Константином Сатиным «на дне» костылевской ночлежки, — с тех самых пор не испытывал я более глубокого литературного впечатления, чем сегодня, когда закрыл последнюю страницу страшной первой книги «Повестей и рассказов» графа Алексея Н. Толстого.

Я совершенно не знаю, какой это Толстой и что он за человек. Никогда о нем ничего не слыхал. Встречал его подпись под несколькими стихотворениями — недостаточно слабыми,

чтобы назвать их плохими и недостойными печати, и недостаточно сильными, чтобы стоило их печатать. И прочитывал-то их больше потому, что изумляла глаза подпись «Алексей Толстой», совпадающая с именем весьма значительного русского поэта. Рождалась при первом взгляде мысль: не взяты ли они из наследия автора «Смерти Иоанна Грозного». Но стихи не поддерживали иллюзию. Бог с ними, со стихами!..

Когда я начинал читать книгу Алексея Н. Толстого, у меня было еще некоторое предубеждение против нее: издана она «Шиповником» — стало быть, сразу попала на шумнейший рынок крика, моды, «последнего слова», вычур, фокусов и фортелей российского «модерна». Когда-то «Шиповник» пробовал политическую карьеру. Она не вышла. Тогда он избрал карьеру гримасы. Это пошло отлично и ничего, держит рынок уже года четыре. Гримаса — ходовой товар и специальность «Шиповника». В особенности трагическая гримаса. На его рынке много писателей очень талантливых и сильных: Л. Андреев, Сологуб, Б. Зайцев, Сергеев-Ценский, Андрей Белый, Ремизов, — но ни одного простого, принимающего жизнь в ее цельной непосредственности, ни одного без гримасы. Известные слова, что «умный человек или пьяница, или такую рожу состроит, что хоть святых выноси» — следовало бы «Шиповнику» принять эпиграфом для своих изданий. И — надо каяться и правду сказать, — открывая Алексея Н. Толстого, я-таки думал про себя: «Какую-то новый русский умный человек новую рожу состроит?» Но — страница за страницей — что за чудеса? Автор, действительно, умный, на редкость умный человек, а рожи никакой не строит и действующим лицам своим строить не приказывает. А вот на собственную свою «рожу» среди этого волнующего чтения любопытно было бы взглянуть: поди, белая она, — потому что дыхание захватывает, в горле жмет, в груди тесно, и по телу бежит дрожь испуганного восторга и волосы шевелит. Жутко! вошел в комнату, стал и смотрит безучастными ве-

щими глазами великий призрак человеческой правды, — ну-ка, взгляни ему, страшилищу, в лицо-то! взгляни!

Прежде всего: не думайте, чтобы я был покорен талантом нового Алексея Толстого до намерения воспеть ему, как тезка его выразился, «акафист звонкой фистулой». Нет, я не изменил обычному своему «фундаментальному басу» скептического анализа и отлично вижу все недостатки молодого писателя (не знаю его возраста, но по карьере литературной он еще молод). Недостатки часто грубые и крупные, но, во-первых, сплошь внешние, а, во-вторых, — никакой «фундаментальный бас» тут упрямиться не сможет! — недостатки большого, очень большого, большущего таланта. «Талант играет» и, играя, иногда неуклюже оступается. Оправился — засмеялся — и пошел гоголем дальше.

Да, какая-то медвежья или кабанья силища. Так и ломит напрямик куда глаза глядят, ищет пути — прежде всего — своего, самостоятельного. Не то чтобы Алексей Толстой совсем не подражал. По малой писательской опытности он еще ловит иногда чужой модный оборот фразы либо чувствует модную ситуацию. Но это у него настолько наивно, неуклюже и нескладно, что само так и кричит читателю: это я нарочно; кажется мне по совести, что не надо, да так — говорят — требуется для хорошего слога, чтобы было похоже на «литературу»! Вы чувствуете непрочность и недолговечность этих внешних заимствований. Как только автор «обстреляется», почувствует всего себя, от них не останется и следа; ему о них и думать не придется: до того «сами собою» отойдут они прочь от его таланта. По отсутствию внутренней подражательности, по самобытно «прущей» силе творчества, Алексей Толстой — истинный антипод г. Арцыбашева; ни Чехов, ни Горький, ни Андреев не научили его своим песням, и решительно нет в нем арцыбашевской ловкости в приспособлении к чужому песеннику. Идет Алексей Толстой «Заволжьем» и голосит свое. Часто дико, нелепо, выскакивая из тона, теряя ритм, но — свое, новое, све-

жее, яркое и звучное, как гром: эпос буйных образов и метких инстинктивно наблюдательных слов. Кого Алексей Толстой живо напоминает письмом первой книги своей, так это другого великого однофамильца своего, Льва Толстого, — не того старого, которого мы знаем теперь, и даже не того пожилого, который написал «Анну Каренину» и «Войну и мир», но того тридцатилетнего Льва Толстого, который написал «Холстомера», «Двух гусаров», «Поликушку», первую главу «Декабристов». Это бессознательное таинственное сходство обаяет читателя почти суеверным каким-то впечатлением. Когда превосходный талант А.И. Куприна, которого я высоко ценю и люблю, напрягался вызвать пред нами «Изумрудом» своим тень «Холстомера», она не явилась. Читаю я Алексея Толстого, — и никакой специально лошадиной психологии он не разводит, о Льве Толстом не помнит, далеко от него за тридевять земель, а «Холстомер» — этот грозный, зловеще-спокойный гвоздь в гроб старого крепостнического дворянства, — так и встает в памяти, и опять стучит по нем роковой молоток.

Роднит Алексея Толстого со Львом Николаевичем и то обстоятельство, что он в высокой степени дворянский писатель и пишет дворянство не со стороны, но как «свой» — человек одной породы и психологии, плоть от плоти боярской и кость от костей боярских. Лев Толстой и в опрощении не изжил в себе барина. Алексей Толстой, младший его, вероятно, лет на 50, если не на все 60, — по результатам письма — демократ яркой марки, но по письму — барин с головы до ног. Уже лет 30 никто не писал русского дворянства с такой родственною простотою, с таким глубоким, верным, своим чутьем. В этом отношении новый писатель 1910 года через головы Горького, Чехова, Короленки, Глеба Успенского, подает руку Гончарову, Тургеневу, Льву Толстому, М.Е. Салтыкову. В грозной галерее типов своих Алексей Толстой, с бесстрашною наивностью родственного права, рисует такие черты дворянской среды, на

которые никогда не рискнула бы рука беллетриста-разночинца. Не потому, чтобы он их не знал и не сумел написать, а потому, что счужа либо испугался бы впасть в «тенденцию», либо, наоборот, испортил бы свою вещь, нарочно бросившись в тенденцию: не своя психология, выработалась в наследственности поколений иного класса! Попробуйте-ка написать Мишуку Налымова, который в своем имении восстановил властью капитала крепостное право, и только с гаремом у него не совсем ладно: приходится выписывать продажных девок из Москвы. Писатель из кровных демократов не мог бы воспользоваться этою дикою фигурою иначе, как в враждебном тоне обличительного протеста, и вышел бы у него полупублицистический очерк, с дидактикой, — либо сатира, либо мелодрама. Для графа Алексея Толстого Мишука Налымов «одним миром мазан», и художник пишет его с таким же спокойствием любопытного наблюдения, как всякую новую модель. Никто из нас, литераторов-разночинцев, не решился бы написать дерзкую правду, когда Мишуку, «степного рыцаря», вышибающего двери купецкими головами, свои братья-дворяне бьют по роже, и он, струсив, подлец подлецом, удирает, ни жив ни мертв. А по дороге измышляет истинно рыцарские способы мщения: столкнул в болото стреноженную лошадь, уговаривает скотницу отрезать соски у коров... Испугались бы преувеличения, а еще вернее — обвинительного крика о преувеличении, клевете, выдумке. Алексею Толстому этого крика опасаться нечего. Российское рыцарство, вернее юнкерство, может свирепствовать на него, яко на злокачественного сына, обнажающего грехи, так сказать, отца своего, выносящего сор из сословной избы, но — затем — ничего не поделаешь: de te fabula narratur! * И narratur этак летописно, по-пименовски, с выдержкою, спокойно зря на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева.

* О тебе басня рассказывается! (*лат.*)

А уж и хороши же вышли голубчики! Так хороши, что и неверующий поверит: выдумать таких нельзя! Пропащую — угрюмую и безнадежную расу изобразило спокойное перо Алексея Толстого. Худо ли, хорошо ли, да ведь шла же как-нибудь вперед Россия со времен, когда — не то что рухнуло крепостное право: нет, читая Алексея Толстого, приходится брать сравнения много дальше — искать их около указа «о вольности дворянства», а то и времен, когда дворянские недоросли прятались по трущобам и писались «в нетех» от грозного Петрова призыва. Был прогресс, была история, весь социальный уклад перевернулся вверх дном. А «симбирские корнеты», как прозывал их Щедрин, — оказывается, — словно проспали двести лет в очарованном царстве. И — хоть сейчас их, всех оптом, целою окраиною, переодень в охабни и поверни назад, в стольники, что ли, которых за ротозейство купал в прудах своих тишайший царь Алексей Михайлович.

Угодно вам видеть в XX веке живого Митрофанушку Простакова? — его зовут Миша Камышинский («Сватовство»).

Угодно Тараса Скотинина? — Мишука Налымов («Заволжье»).

Не эпигоны, не потомки, не вырожденцы фонвизинских типов — нет, а живые Простаковы, живые Скотинины, живут и процветают в Симбирской губернии, которую Алексей Толстой именует en toutes lettres*. Я думаю, теперь там на героев его пальцами указывают.

«Лишние люди» дворянского бессилия — обломовщина и тургеневские слабняки, — расползлись в совершенно слюнявые кисели какого-то глупо трясущегося безотчетного страдания: Никита («Заволжье»), «Аггей Коровин», Алеша («Сватовство»).

Печорины, выродившиеся уже к пятидесятым годам в Тамариных и Батмановых, теперь успели еще раз вылинять в со-

* Откровенно, напрямик (*фр.*).

всем непристойную слякоть блудливого фразерства; старинная «импровизация любовной песни» превратилась в почти механический граммофон болтливого и неразборчивого бабничества: Николушка («Неделя в Туреневе»). Все то же, что и в канун 19 февраля:

Лелеет он дворянские
Замашки Дон-Жуанские
И, с этими замашками,
Волочится за Машками.

Дворянин-авантюрист? Тоскующий протестант — Алеко? Каратаев? Веретьев? Райский? Барин из некрасовской «Саши»? Пожалуйте: жив курилка! Сергей Репьев («Заволжье»), который невесть зачем уехал от любимой и как будто хорошей девушки в Египет, и покуда только и прока от него вышло, что прислал Мишуке Налымову живого крокодила в банке.

— Крокодил подох сегодня, значит, и я... — глубокомысленно решает Мишука Налымов.

Другой тип из полубодрых, Собакин в «Архипе», — хоть с капризом, если нет характера, — пропадает черт знает на какой глупости, из-за эгоистической прихоти, загнав Оську-конокрада в муки крестьянского самосуда и сам затем убитый Оськиным отцом: не понимая ни — что он убил человека, ни — за что убил, ни — за что его самого убили.

Вся эта кунсткамера монстров человеческих страшней даже «Мелкого беса», которым недавно серьезно испугал русскую публику г. Ф. Сологуб. В «Мелком бесе», наряду с громадным талантом объективного наблюдения, то и дело скользят вычурности субъективных странностей и пристрастий автора, и потому страницы ослепляющей убедительности часто сменяются картинами, которым читатель, хоть разбожись г. Сологуб, не поверит. У Алексея Толстого таких расхолаживающих страниц нет. Самое недоуменное место

его книги — коварное начало рассказа «Заволжье», когда читатель никак не может сообразить: в какую же эпоху происходит дело? Как будто — поздно, поздно, если при Николае Первом? И вдруг, с потрясающею неожиданностью, автор распахивает занавес оскорбительной истины:

«— А как земские выборы? опять мужичков провалили? Акимов с товарищами засилил?

— Да, дворяне, — Мишука покосился: — крамольничье время прошло».

Обломки шестидесятного дворянства? Вот и оно!

«Ольга Леонтьевна, в кружевной наколке и в очках, поджав губы, думала, вышивая шерстью дорожку для стола, а Петр Леонтьевич помалкивал рядом на стуле, прищуря один глаз, другим лукаво поглядывал на сестру и топал носком сапога, голенище которого из моржевой кожи, любил он, бывало, потянуть, сказав: «Вот ведь двадцать лет ношу и нет износа». На голове надета у него бархатная скуфейка, и ветер веет белую бороду и рукава ситцевой рубахи...»

Этакий милый... Жемчужников, что ли? Или нет: читателю не вспоминается ли портрет А.А. Шеншина-Фета?

Много их, приятных и милых, тихих и кротких старичков и старушек написал Алексей Толстой: Репьевы («Заволжье»), Анна Михайловна и Африкан Ильич («Неделя в Туреневе»), Александра Аполлоновна («Архип») и т.д. Но, проверив эту галерею благообразных и мирно улыбающихся старческих лиц, выходишь из нее с тем же печальным похоронным недоумением, которое мучило бедного поэта-самоучку «Города Окурова»:

Многие живут лет сто...
А на что их надо?..

И — животная ли старость выжившего из ума Павалы («Сватовство»), библейская ли старость репьевских старичков, — одинаково затянуты сенью ненужности, умертвия.

Лаврецкие и Гедеоновские объединены старостью: дотлевает «бесполезная жизнь».

А молодости нету. Совсем нету. Много молодых годами, но, если они — не навек дети, т.е. не идиоты и не Митрофанушки, — то преждевременные старики с испорченным умом и испорченной душонкою. Ни одной свежей ясной мысли, ни одного светлого, яркого, сильного чувства. Безделье вседневное. Пьянство чудовищное. Разврат непрерывный, — мелкий, цепкий, пошлый, закоулочный, трусливый.

Дворянство, которого бытописателями были Писемский, Гончаров, Тургенев, Лев Толстой, не выдвинуло сильных мужчин, но женщины его — «тургеневские женщины» — были прекрасны и сильны. Нельзя не сознаться, что и у Алексея Толстого женщины гораздо порядочнее и лучше мужчин. Но сильных нет. Ни одна не знает, что с собою делать, ни одна не понимает, чем в душе своей и для чего она живет, ни одна не имеет ни власти, ни силы чувствовать, ни одна не занята ничем, кроме безотчетной тоски своей, в неведении, куда ее жизнь поволочет. Внучки «тургеневских женщин»: Вера («Заволжье»), Рая («Неделя в Туреневе»), Надя («Аггей Коровин») — растратили нравственную силу бабушек своих, в которой находило опору и вдохновение поколение «лишних людей». Они уродились не в бабок, а в дедов и сложили поколение «лишних женщин».

Единственная сильная женщина в рассказах Алексея Толстого — хромая Катенька Павала («Сватовство»). Но ведь если жених ее, Миша Камышинский, ровесник и современник Митрофанушке Простакову, то сама-то эта Катенька — пожалуй, еще старше. Это — «ах, барыня, барыня, сударыня-барыня» крепостной холопской дворни... Из всех ужасов умертвия, рассказанных Алексеем Толстым, «Сватовство» — едва ли не самый страшный. К слову сказать: вот — писатель, истинный художник-реалист, который властен и может писать какую угодно грязь и свинство житейское — и никогда ни в одном серь-

езном читателе, если он сам не развращен, не шевельнется сомнения: не порнография ли? Настолько велика сила непосредственной правды, настолько могуче внутреннее целомудрие серьезного и строгого творчества этих страшных картин. Дерзость Алексея Толстого и в темах, и в словах безмерна, и — никого не смутит нехорошим заразным чувством. Часто одним словом, коротким намеком он открывает пред нами такой ужас разложения, что вы чувствуете: его занавес только чуть приподнят, и показаны вам лишь цветочки, а ягодки-то будут впереди. Единственною, как будто приклеенною, слишком внезапною сценою показалась мне «лесбийская» беседа Насти и Раи («Неделя в Туреневе»). Неужели и в симбирских дебрях «умы уж просвещаться начинают». Поздравляю с культурой!

Не люди, даже не накипь человеческого котла, а — нагниль какая-то. В нескольких рассказах эту нагниль стирает крестьянское движение 1905 года. Народ Алексей Толстой пишет угрюмо, без малейшей лести и сантиментальности. Страшен и темен его народ. Такой, как и должен быть там, где барин — Скотинин, барич — Митрофанушка, а барыня — «целовала кучера, сама себя мучила». Непоколебимый мрак, непростимая вековая обида злобных взаимонепониманий, и где-то глубоко на дне клокочет «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Что в «Капитанской дочке», что в «Войне и мире», что в «Плотничьей артели», что во «Власти тьмы», что в «Мужиках» Чехова… та же беспросветная, в немоте намученная, стихийною угрозою нахмуренная тьма!

«На черном крыльце пела Василиса все одну песню. И лучше бы не было этой песни на святой Руси!»

По-прежнему силен только разбойник (Оська, Архип). Старики и старухи — умертвие. Девки — беспастушное стадо (Машутка, Васенка!). Взрослый слой — апатичная масса, работающая и жующая, что выработано. Угрюмое «пушечное мясо» эпохи, которому лучше уж себя и не

чувствовать, потому что чувство врывается в нее не иначе, как в образе трагического фатума («Архип»).

Страшный быт и жестокие нравы написал граф Алексей Толстой, и большая, грозная сила таланта нужна писателю для того, чтобы возвести этакое болото человеческое в перл создания. Книга его честная и хорошая — из разряда тех, которые будят современность и заставляют ее со страхом оглянуться на себя. Сейчас она тем более кстати, что словесные гримасы модернизма русского — в безразличии средств «вяще изломиться» — дошли уже до вздохов по могилам и трупам крепостного барства, взывают о воскресении этих милых покойничков и возводят их в боги. Случилось мне недавно прочитать произведение г. Евреинова — «Красивый деспот» — и видел я потом портрет этого г. Евреинова в «Театре и искусстве». Лицо у г. Евреинова — как у молодого полубога, а пьесу его — точно старый дворецкий сочинял:

Как будто вся утроба в нем,
При мысли о помещиках,
Заликовала вдруг...

Господам, навязывающим публике капризные апофеозы «красивых деспотов», измышленных «из головы», весьма полезно познакомиться с Мишукою Налымовым: не из головы, но... красиво, сокровище! Алексей Толстой — художник, а не публицист, но правда его лепки настолько могуча и убедительна, что зрелище ее невольно переходит в публицистическую мысль. Он со словом обращается, как Роден с глиною и мрамором. Красота форм забывается пред могуществом жизни, которая в них влита. Из них кричит к обществу сила, высшая их, и требует — настойчивым обаянием — внимания, прежде всего, к себе — насмешливой и горемычной. Эта книга не пройдет бесследно в истории русской культуры вообще и в истории русского дворянского сословия в особен-

ности. Для последнего в нашем времени — она выразительное освещение того же типа, как для своих эпох были «Мертвые души» Гоголя, «Записки охотника» Тургенева, «Господа Головлевы», «Пошехонская старина» Салтыкова, «Богатый жених» и «Боярщина» Писемского, помянутые выше рассказы Л.Н. Толстого. Сравниваю, конечно, не дарования авторов — об этом говорить рано, — не их искусство и литературный опыт, но их предметы, их правду и возможность влияния на век. И, кончая эту беглую заметку, с признательностью и ожиданием приветствую новую, ярко восходящую звезду «толстовского созвездия».

Fezzano
10 ноября 1910

P.S. А любопытно, право, подсчитать, сколько сильных и разнообразных талантов дал род графов Толстых за XVIII—XX века, начиная с П.А. Толстого, государственного человека Петровской эпохи, о котором Петр говаривал: «Голова ты, голова! Кабы ты, голова, не так умна была, давно бы, голова, тебя отрубить надо!» По первой памяти вспоминаются: Федор Толстой, Яков Толстой, Толстой-американец, Сара Толстая, Феофил Толстой, Дмитрий Андр. Толстой, Лев Николаевич, Алексей Константинович, и вот — новый.

В.Г. КОРОЛЕНКО

Вл.Г. Короленко письмом, напечатанным во многих газетах, попробовал уклониться от юбилейного чествования 25-летней годовщины его возвращения из ссылки, но общество настояло-таки на своем и юбилей справило. Я, жесточайший, принципиальный враг юбилейных шумов. Но на этот раз я чрезвычайно рад, что восторжествовало общество, а не В.Г. Короленко. Его юбилей, по всей вероятности, совершенно не нужен ему самому, мало нужен его друзьям и близким, но очень нужен России, так горемычно бедной гражданскими праздниками, необходим обществу, которому подобные даты служат зеркалом для исправляющей поверки: очень ли у него, общества, стала рожа крива?

Кажется, это первый «ссыльный» юбилей, справляемый публично и всероссийски. Литературный юбилей гражданского мученичества. Чтобы освятить такой почин, нельзя было выбрать имени лучше, лица прекраснее, деятельности благороднее.

Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан, —

полвека тому назад взывал к обществу Некрасов. Никто, может быть, в последующем русском литературном мире не принял страстного зова некрасовского так полно и глубоко к сердцу, не оценил его так серьезно и отзывчиво, как В.Г. Короленко. В те дни, когда Россия еще в трауре, потеряв так недавно «великого писателя земли русской», одним из немногих утешений, одним из редких огней в непроглядной нашей ночи общественной, остается имя Короленко, имя-светоч, имя-подвиг, имя «великого гражданина литературы русской».

О литературном таланте В.Г. Короленко не буду много говорить. Редко и скупо отворял врата его Владимир Галактионович перед жадной публикой, но каждый раз, что были они открыты, остался праздничным событием в истории русского художественного слова. Короленко — писатель, который будто родился «классиком». Печатал мало, но никогда ничего, что было бы незначительно или плохо. Смолоду и до старости он был один и тот же. Молодой, казался много старше и умнее своих лет. Старый, сохранил в душе больше таланта и отзывчивой энергии, чем все наши «молодые» писатели, вместе взятые. Если бы можно было взять огромные весы и на одну чашку их поместить, за исключением Чехова и Горького и еще, пожалуй, двух-трех имен (уже весьма с ограничениями), всю русскую художественную словесность минувшего десятилетия, а на другую чашку положить немногочисленные книжки сочинений Короленко, — ух, с какой печальной легковесностью взвилась бы та первая чашка, как бы обличительно и укоряюще перетянули ее эти маленькие, скромные томы! Литературное сияние Короленко покорно признано даже теми, кому несносна и враждебна его гражданская роль. На крайней русской правой, — по крайней мере, в девяностых годах, когда все-таки еще не было там нынешнего озверения, — имя Короленко, ненавистное за «Голодный год», «Мултанское дело» и пр., было популяр-

но столько же, как на левой, за «В дурном обществе», «Ночью» и даже за — horribile dictu! * — «Сон Макара». Одну из первых обширных критик о В.Г. Короленко, в которой выяснялось общерусское значение его таланта и определялось место его в литературе, как наследника Тургенева, написал не кто иной, как Ю.Н. Говоруха-Отрок (Ю. Николаев), большой талант и несчастнейший человек, загубленный неудачною жизнью, а еще больше тою газетною «злою ямою», куда эта неудачная жизнь сунула его, пылкого и слабохарактерного, добывать деньги и «славу»... Сейчас я нашел в библиотеке своей этот старый (1893) этюд. Ему предпослан эпиграф из Евангелия: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. XXI, 31). Эпиграф получает особую — пророчески, так сказать, обличительную — пикантность, если мы вспомним, что этюд Говорухи-Отрока обращен к его привычной публике, к издателям и читателям «Московских ведомостей», «Русского вестника» и т.д. Для всех этих людей, напитанных идеями абсолютизма, церковности, грубого бюрократического национализма, В.Г. Короленко, конечно, был грешником, худшим мытаря и блудницы. Сказать в лицо такой публике: «А он прежде вас войдет в Царство Божие», — было со стороны Говорухи-Отрока своего рода гражданским подвигом. Правда, для того, чтобы провести статью в печать, он должен был прикрыть свою идею многими компромиссами и затеплить несколько весьма не подходящих случаю искупительных лампадок. Но все-таки мыслим ли сейчас, в 1911 году, в эпоху Восторговых, Илиодоров, бешеного лая на могилу Толстого, прокламаций, призывающих вырыть из могилы и выбросить из Александро-Невской лавры тело Комиссаржевской, — мыслим ли сейчас публицист-православист, способный сказать своему читателю:

---

* Страшно сказать! (*лат.*)

— Смотри и подражай. Вот — христианин без веры в Христа!

Потому что именно такова основная идея статьи Говорухи-Отрока, проведенная не только между строк, но и в строках, хотя, во втором случае, он, «соблюдая политику», темнит, тушует, заслоняет фразу, чтобы в случае нахрапа фанатиков: это, мол, ты что же, человече, глаза нам колоть еретиком своим вздумал? — было бы куда увернуться. Но при всем том Говоруха-Отрок не мог отступить от таких, например, признаний, что характер отношений Короленко к «блудному сыну» (по поводу типов «В дурном обществе») — «более мягкий и более христианский по настроению», чем — чей бы вы думали? — Достоевского! Ни больше и ни меньше. Остановимся на этой любопытной обмолвке для быстрой и недлинной параллели.

В.Г. Короленко получил в юности тот же угрюмый жребий, что выпал на долю Достоевскому. Ссылка его была не шуточная, жуткая, в суровый дикарский край, к нищим безнадежно приниженным, озверенным людям. Если Достоевский отбывал свою муку в «мертвом доме», то Короленко прошел искус «мертвого края». Достоевский попал в ссылку 27 лет, Короленко — 23-х. Но — какие разные люди и разные результаты! Достоевский ушел в Сибирь, уже явив свой творческий гений, но весь еще был целиком, — как первобытная способность, как лист белой бумаги, на котором еще неизвестно, что напишет грядущая страшная жизнь: все строительство его духа и веры оставалось впереди. Короленко пошел в Сибирь безвестным юношей, но уже с выработанным мировоззрением — ясным и прозрачным, как хрусталь, упругим и твердым, как толедская сталь. Он доказал строгость прямолинейной, в ней же не прейдет ни единая йота, веры своей в обстоятельствах, которые ухудшили и удлинили его ссылку. «Мертвый дом» не убил в Достоевском гения, но жестоко его искалечил ужасом к человеку: навеки

смешал в нем крайности любви с крайностями отвращения, обезнадежил его в самостоятельных средствах и силах человеческой природы и — потянул в искание хозяина, в подчинение внешней сверхчеловеческой силе, в мистические разгадки бытия, целей его и этики его. Как это кончилось — всем хорошо известно: отбыв свои ссыльные сроки, двадцать с лишком лет потом боролся художественный гений с рабскими наследиями «мертвого дома», но в конце концов «мертвый дом» все-таки победил. Проповедь искупительного страдания перешла в публицистику ненависти к гражданскому прогрессу, к положительной науке, как его фактора, к западным идеям и влияниям, в голос слепой и темной, нерассуждающей веры, прославившей целительную силу каторги и признававшей даже необходимость смертной казни. «Смирись, гордый человек!» — в переводах на прозу «Дневника писателя» — окрасилось совсем не смиренным, а, напротив, весьма хвастливым национализмом, который угрюмо обводил вокруг русского имени церковно-православную черту. За пределами же ее считал себя к любви отнюдь не обязанным, а, напротив, ненавидел очень остро и злобно «врага внутреннего» и весьма намеревался забросать шапками «врага внешнего». Если сравнивать сибирские результаты Достоевского и Короленко, то можно сказать, что Достоевский навсегда остался человеком, который «сквозь Сибирь прошел» и весь мрак ее в себя принял; Короленко же прямо из Сибири приехал человеком, сквозь которого Сибирь прошла, мрака своего в нем ни клочка не оставив, духа его не замутив, силы не сломив. Он оказался сильнее Сибири, и она отступила от него, — посрамленная и побежденная. Он только вызрел в Сибири. Только укрепил ею тот великий, светлый гуманизм, который наполнил затем всю его жизнь и творчество, как тихое, ровное, ко всему человечеству ласковое солнце, который — как сейчас приводил я пример — возбуждал удивление и тоскующую, совестливую симпатию даже в людях

совершенно противоположного мировоззрения, литературного направления и резко враждебного политического лагеря. Легкое ли дело Говорухе-Отроку было пересилить себя настолько, чтобы объявить свободомыслящего Короленко «христианином» паче Достоевского? Ведь Достоевский был для этого человека полубогом, вещателем откровений пророческих. Ведь Говоруха-Отрок — и сам-то с головы до ног «тип из Достоевского» — делил историю русского культурного сознания на «до Достоевского» и «после Достоевского». Ведь он целью жизни своей полагал написать колоссальную монографию-храм, в котором папертью был бы «Тургенев» (это он отчасти выполнил), притвором — «Лев Толстой», а алтарем — «Достоевский».

Пожалуй, еще более замечательно в брошюре Говорухи-Отрока другое признание. Известный рассказ В.Г. Короленко «В ночь под светлый праздник» (полагаю, что он знаком всем читателям) довел сотрудника и опорный столп «Московских ведомостей» до торжественного провозглашения даже вот какой ереси: «Выставлено противоречие между глубочайшими требованиями души христианской и условиями действительности, выразившимися на этот раз в принципе государства. Что делать: стрелять ли (по бежавшему арестанту) во имя ограждения общественного порядка и безопасности или не стрелять, покорствуя голосу Распятого и Воскресшего? В ответе не может быть сомнения: «*Нет, не стрелять*» (курсив Говорухи-Отрока)».

По обыкновению своему, Говоруха выставляет щитом весьма прозрачно мнимое недовольство рассказом, зачем-де автор «поставил в трагическое положение лицо вовсе не трагическое», и тому подобный арсенал эстетических оговорок, вуалирующих истинное-то впечатление. Но уже сожаление Говорухи, что Короленко ослабил задачу свою, написав солдатика «растерявшимся и малодушным», уже эти самые досадливые эпитеты и желание критики видеть на

месте несчастного часового другого — «старого николаевского солдата, закаленного, покорного своему долгу, своей присяге до положения живота» — *который, однако, тоже не выстрелил бы,* — уже эта жажда «истинно трагического» конфликта свидетельствует, как потрясен столп русской реакции решительным искусом Короленка.

— Стрелять или не стрелять? — спрашивает, глядя в глаза, спокойный и мягкий Короленко.

А ему поспешно в ответ:

— Это самый плохой рассказ, который вы написали.

— Не в том дело. Стрелять или не стрелять?

— Ваша ошибка в том, что вы поставили в трагическое пол...

— Стрелять или не стрелять?

И опустила глаза разбуженная совесть умного, грешного человека и сказала, — с большим надрывом и усилием, — но сказала:

— Нет, не стрелять.

Да еще и пояснила:

— Здравый смысл должен подсказывать: «Стрелять, иначе рухнет государство и водворится анархия». *Непосредственное чувство с ужасом отвращается от такого решения.*

Поднимает В.Г. Короленко голос против смертной казни — вопроса, в котором фразеология человеческая сделала все, что могла, истощила все свои доказательные, убедительные средства. В.Г. Короленко оставляет фразеологию в стороне, а берет быка за рога — выводит пред очи читателя наглядную неопровержимую логику фактов: «До своего «обновления» старая Россия знала хронические голодовки и повальные болезни. Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: «от виселицы». Да, как не

признать, что русская история идет самобытными и необъяснимыми путями. Всюду на свете введение конституции сопровождалось хотя временными облегчениями: амнистиями, смягчением репрессий. Только у нас вместе с конституцией вошла смертная казнь как хозяйка в дом русского правосудия. Вошла и расположилась прочно, надолго, как настоящее бытовое явление, затяжное, повальное, хроническое».

А затем — ужасы «человеческих документов»: облетевшие весь мир «письма смертников». Я уже имел случай говорить, что за границею брошюра В.Г. Короленко вызвала недоумение *простотою, спокойствием* своего тона. В юности, в Москве, я присутствовал однажды при страшно трудной хирургической операции, которую, на пан или пропал, делал молодой, талантливый, прославленный своею добросовестностью и строго-научным отношением к делу, доктор Кни. Уже то, что он взялся за эту сомнительную операцию, было с его стороны подвигом высокого человеколюбия и страшным риском для его репутации, так как Склифосовский и еще какая-то хирургическая звезда нашли у больной противопоказания, угрожающие, при неудачном не исходе, а даже только ходе операции, смертью тут же, на столе. Никогда ни прежде, ни после не видал я лица более прекрасного и светлого совершенным спокойствием, чем было у Кни, когда стоял он с ножом над усыпленною больною, намечая предполагаемый разрез. Я недолго оставался свидетелем операции, потому что меня стала душить тошнота и вместе с неожиданными слезами поплыла во всем существе внезапная, обжигающая мысль: «Если операция не удастся, этот человек тоже умрет!» — и вдруг, странным образом, стало мне жаль — больше жаль, чем даже больную, лежавшую на столе, этого хирурга, идущего либо спасти ее, либо умереть с нею (я был уверен!). А потом у меня стало темно в глазах, а когда просветлело, все было кончено: больная спасена! И теперь на

лице хирурга я опять прочел не гордый восторг успеха и победы, но — *радость возвращенной жизни...* Вот впечатление того спокойствия, в обыденной простоте полагающего душу свою за други своя, какое светилось мне тогда из глаз благородного хирурга, производят на меня и святые страницы «Бытового явления». Да, это, конечно, не для латинской расы. Здесь хирургический подвиг Кни вряд ли был бы оценен: просто сделано — значит, просто и было. Когда Дуайен оперирует, фотографы щелкают аппаратами, и на той же неделе синематограф воспроизводит каждый жест, каждый момент.

«Генерал Каульбарс! Вы были сами преданы военному суду — и суд не состоялся только *благодаря милости.* Вас помиловали. Почему же вы сами так немилостивы, что казнили Колю Котеля, отвергнув даже ходатайство суда о смягчении его участи?» («Бытовое явление»).

«Г-н статский советник Филонов! Лично я вас совсем не знаю, и вы меня также. Но вы чиновник, стяжавший широкую известность в нашем крае походами против соотечественников. А я, писатель, предлагающий вам оглянуться на краткую летопись ваших подвигов» («Сорочинская трагедия»).

Заработал оперативный нож. Забрызгали кровью факты.

«Я кончил. Теперь, г. статский советник Филонов, я буду ждать.

Я буду ждать, что, если есть еще в нашей стране хоть тень правосудия, если у вас, у ваших сослуживцев и у вашего начальства есть сознание профессиональной чести и долга, если есть у нас обвинительные камеры, суды и судьи, помнящие, что такое закон или судейская совесть, то кто-нибудь из нас должен сеть на скамью подсудимых и понести судебную кару. *Вы или я*».

Вы или я!

В этих словах вся литературно-гражданская жизнь Короленко. Из года в год, изо дня в день ищет он не только об-

щей правды, но и частной справедливости, и вопросы правосудия — его излюбленная тема, которую он смело ставит и в художестве — пером, и в окружном суде — защитительною речью, и в общественной жизни — обличительным открытым письмом либо потрясающим протоколом «Бытового явления». Всюду. И — для земли, и для символов вечности. Судится жалкий чалганец «барахсан» Макар с Великим Тойоном за неправый приговор. Судится чертяка с Янкелем и Мельником. Судится философ Сократ с богами Олимпа. И все — с тою же простотой и прямотой. И все с тою же — неизменною — нравственной победой.

«Уступите же с дороги, туманные тени, заграждающие свет зари! Я говорю вам, боги моего народа: вы неправедны, олимпийцы, а где нет правды, там и истина — только призрак. *К такому заключению пришел я, Сократ, привыкший исследовать разные основания*».

Великолепный глубокомысленный рассказ этот («Тени»), вполне достойный в диалоге своем великого философа, которому В.Г. Короленко поручил здесь роль резонера, можно считать автобиографическою аллегорией и проповедью. Он должен был нравиться Л.Н. Толстому, если бы, конечно, он примирился с призрачностью, которая выдает в Сократовом «Неведомом» просто исторический автопрогресс человечества и утверждает, на месте смущенного и компрометированного культа, гордую религию Разума. Но Достоевский, если бы дожил, вероятно, пришел бы от «Теней» в жестокое негодование, и гнев его, быть может, разделил бы Говоруха-Отрок — православист, о котором Владимир Соловьев сказал, что он «верует, как бесы: верует и трепещет». Достоевский причислил бы «Тени» к разряду тех аллегорических произведений, которые он так свирепо высмеял в пародии на рукописную поэму Степана Трофимовича Верховенского («Бесы»), где тоже «обладатель Олимпа убегает в комическом виде», и соединенное человечество поет гимн победе и свободе

своего коллективного духа. И любопытно, что Достоевский был бы, пожалуй, прав — не в гневном смехе своем, а в генеалогии автора. В.Г. Короленко — конечно, целиком вышел из того возвышенно-интеллигентского миросозерцания, из «завещания Грановского», которое Достоевский сатирически хоронил в лице Степана Трофимовича. Последнему в сыновья он, как известно, навязал Нечаева, превратив его также в злобную карикатуру. Но — если бы у Степана Трофимовича, как у старика Карамазова, было несколько сыновей и хоть один из них вышел бы таким, как мечтал и воображал в идеале старый романтик, то этот удачный сын был бы вылитый В.Г. Короленко. Без отцовской дряблости, тщеславия, бесхарактерности, всезнающего полузнания, белоручного барства, поверхностного вольтерианства, дилетантской разбросанности, неразборчивости в людях и средствах, но с отцовским умом, талантом, вдохновением, отзывчивым сердцем, проницательным чувством красоты, с отцовскою способностью к изящному мышлению и точной диалектике, с отцовским уважением к исторической культуре, с отцовскою твердою верою во всепобедную мощь человеческого Разума, с отцовским скептицизмом пред всякою иною религией или мистическою силою, с отцовским стремлением освободиться от власти и обманов метафизических величин. В.Г. Короленко, типический передовой интеллигент-семидесятник, принял от Степана Трофимовича Верховенского, типического интеллигента сороковых годов, законное идейное наследство. Но — он нашел в себе характер, а характер указал ему боевое место в громадно несущейся жизни: он прошел школу позитивного мышления и выкроил из наследственного родительского утопизма ясную практическую программу социальной работы. Получил политическое воспитание не только у Добролюбова, Чернышевского, Елисеева и Михайловского, который был ему старый товарищ, но и в непосредственном культурно-освободительном служении народу, в труде, бедовании,

одиночестве и самообразовании ссылки. Умел совершить то, о чем отцы лишь красноречиво мечтали: принес себя в жертву служению своему и, неотрывно прикованный к просветительному долгу, пошел с ним, как бодрый странник, радостно влачащий веригу свою, навстречу скорбным зовам измученного общества. Кстати, — чтобы не забыть, — об идейных странниках. Не странно ли, что в кончине Степана Трофимовича Верховенского Достоевский чуть не дословно предсказал печальные обстоятельства предсмертного бегства и кончины в случайном захолустье Льва Николаевича Толстого? А, если хотите, сходство легко поддается расширению и дальше. Быть может, все щекотливые несоответствия между домашней действительностью и общественным учением, этикой и религей Л.Н. Толстого, низведшие его в родной семье почти на ту же трагическую роль «подопечного», какою облекла Степана Трофимовича Верховенского в своих Скворешниках Варвара Петровна Ставрогина, и, наконец, замучившие старика до решимости необходимо бежать из Ясной Поляны куда глаза глядят, — быть может, весь этот разлад и развал истекал именно из того исторического условия, что был этот великий отрицатель цивилизации и враг ителлигенции — сам-то — по духу — интеллигентом из интеллигентов: типический человек пятидесятых годов и в высшей степени Степан Трофимович Верховенский!

С тою только разницею, что Евангелие попало Толстому в руки не за полчаса до смерти, как Степану Трофимовичу, но за сорок лет — и любопытное сходство — тоже из демократического «мешка книгоноши»: от Сютаева, Бондарева...

То мучительно-насмешливое — сверху вниз — и в то же время несомненно завистливое — снизу вверх — отрицание, которым Достоевский преследовал век и поколение Степана Трофимовича (в лице хотя бы Тургенева) и породу его, не могло не отразиться в потомстве Степана Трофимовича наследственною расовою, так сказать, антипатией.

Короленко не только печатно признавался, что не любит Достоевского, но и призвал на помощь себе еще другой могучий авторитет: Глеба Ивановича Успенского.

«— Вы его любите? — спросил Глеб Иванович.

Я ответил, что не люблю, но некоторые вещи его, например «Преступление и наказание», перечитываю с величайшим интересом.

— Перечитываете? — переспросил меня Успенский как будто с удивлением и потом, следя за дымком папиросы своими задумчивыми глазами, сказал:

— А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя… самый обыкновенный господин... даже с добрым лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и прямо… прямо за горло хочет схватить... или что-то сделать с тобой... И не можешь никак двинуться.

Он говорил это так выразительно и так глядел своими большими глазами, что я, как бы под внушением, сам почувствовал легкое веяние этого кошмара и должен был согласиться, что это описание очень близко к ощущению, которое испытываешь порой при чтении Достоевского».

Раз уж вспомнил я о покойном Говорухе-Отроке, то не хочется отойти от него, — когда-то он в другой раз понадобится, не взяв от него красивой характеристики литературного таланта В.Г. Короленко. Оговорок она требует немногих, а под эстетическою ее частью, полагаю, без зазора совести, может подписаться обеими руками каждый чуткий к художеству человек, безразлично — левый или правый.

Произведения г. Короленко сразу располагают к себе читателя одною своею особенностью. Из-за этих произведений ясно вырисовывается симпатичный образ самого автора и невольно привлекает к себе. Читатель чувствует, что автор много и скорбно задумался над ложными, болезненными и запутанными людскими отношениями; но субъективное отношение

автора к явлениям жизни часто совпадает с объективною правдою, с правдою самой этой жизни, а тон задумчивой, осмысленной и тихой грусти придает речи г. Короленко особую поэтическую прелесть. Читая его произведения, как бы сживаешься с автором. Кажется, будто давнишний друг, возвратившийся после долгой разлуки, сидя у тлеющего камелька, рассказывает историю своих скитаний, рассказывает и о других, о том, что видел и слышал. А он видел много худого, но видел и хорошее. Он знает жизнь, знает ее темные стороны, но знает, что в этой темноте есть и просветы: он любит останавливаться на этих светлых точках, любит указывать на них. Он знает цену людям, знает, что эта цена не высокая...

(Это уж Говорухе так хочется, чтобы Короленко знал; какой же иначе был бы Говоруха ученик Достоевского?)

...но тем более он дорожит божественною искрою, таящеюся в развращенной, падшей, потерявшей «образ и подобие» душе человеческой. И он умеет показать, как порой эта тлеющая искра, пробившись сквозь пепел, вдруг вспыхнет и осветит все далеко кругом.

(Очень верное замечание. Говоруха писал это гораздо раньше, чем появился на свет рассказ «Река играет», где изумительно изображена такая чудотворная вспышка в никудышном лентяе, перевозчике Тюлине.)

Он знает цену людской добродетели; знает, что ведь это чистая случайность, если один стоит наверху, а другой внизу, один вознесен, а другой обесславлен: он знает цену людского мнения, возносящегося и бесславящего; знает, что это людское мнение не проникнет и не может проникнуть в душу человеческую, не может не понять, что один просто не имел случая и нужды переступить за ограду закона, а другой, может быть, и лучший, и благороднейший, переступил ее — и, зная все это, наш автор не смущается внешностью; ему надо одно: отыскать искру Божию в душе человеческой, где бы ни вспыхнула эта искра — в душе ли оборванного бродяги, в душе ли уличного вора или пропойного пьяницы, в душе ли полудикого якута или пьяницы-«попика», заброшенного судьбой к этим полудиким якутам. Он верит в душу человеческую и не верит только в одно, в фарисейскую добродетель. Он знает, что «оправданным» ушел не добродетельный фарисей, а грешный мытарь, не сумевший даже поднять очи на небо и в сокрушении только твердивший: «Господи! Буди милостив ко мне грешному!» И вот везде на

тусклом фоне жизни, среди жизненной лжи и путаницы, среди «гробов повапленных, полных тленья и костей», среди праздно болтающих, лгущих себе и другим, среди малодушных и равнодушных к истине, он старается отыскать этого «мытаря, бьющего себя в перси», посмотреть, что делается там, в глубине его страдающей и измученной души, подсмотреть, как там тлеет и временами вспыхивает ярким пламенем искра Божественного огня... Осторожно прикасается он к язвам этих несчастных, с осторожною жалостью, с осторожным сочувствием рассказывает об их страданиях. Он знает, что не только язвы своей, но и язвы чужой души позорно «выставлять на диво черни простодушной», а потому избегает малейшей утрировки и прикасается к страданию с тою стыдливою умеренностью, которая характеризует истинную доброту. Он понимает, что «все за всех виноваты», что есть и его вина во всем зле мира, — значит, *нечего распинаться*, значит, *стыдно* лезть в *глаза* со своим сочувствием, со своим участием.

(Из других мест брошюры ясно, что фразу эту, которая иначе звучала бы жестокою двусмысленностью, Говоруха понимал в том смысле, что неприлично рисоваться состраданием, рекомендовать себя напоказ, как натуру, особенно тонко восприимчивую к горестям мира и специально приспособленную к возмущению ими.)

И когда он касается самых скользких сюжетов, это сознание дает ему возможность соблюсти тонкое чувство меры, составляющее главное условие художественного рассказа. Этим наш автор отличается от бесчисленных наших стихотворцев и беллетристов, воющих и ноющих о людском горе и о людских страданиях столь азартно, что поневоле приходит в голову мысль, что они подобны «бесстыдной нищей с *чужим* ребенком на руках». Наш автор не судит, а лишь изображает, осторожно и стыдливо прикасаясь к язвам души, с любовью подмечая всякое чистое движение этой души, стараясь, наконец, не *скрыть* душевные язвы своего ближнего, а *покрыть* их своею любовью...

В этом, мне кажется, особенность отношения г. Короленко к своему сюжету. В этом же, как увидим далее, и сила, и слабость его дарований. Сила — в оригинальной правдивости и задушевности общего тона, слабость — в шаткости его миросозерцания...

(Не удивляйтесь странности обвинения: это одна из лампадок, зажженных во искупление хвалы еретику, — Говору-

ха хочет сказать, что всем бы хорош Короленко, да вероисповедание его не то.)

...в эскизности и туманности его соображений.

И, однако, странно. Пусть это недостаток — эти эскизность и туманность, но именно этот недостаток придает рассказу г. Короленко какую-то особенную прелесть.

Именно этот недостаток сообщает его рассказу колорит той задумчивой и грустной поэзии, которая так неотразимо действует на душу человеческую.

Смотрите, вот серенький, обыкновенный день, какою бедною и бесцветною кажется вся привычная обстановка, и эти серовато-грязные дома, и эти намозолившие глаза улицы. Но вот наступила ночь, взошла луна, задернутая туманной дымкой, и льет на землю свой загадочный, мягкий, холодный свет, — и все изменилось, все подернулось этим светящимся туманом, изменилась и привычная обстановка, изменились дома, улицы, деревья, люди... Нет резких очертаний, нет яркого изображения; все выступает из этого таинственного полусвета неясно и загадочно, но облеченное в какую-то новую таинственную и поэтическую прелесть...

Такое же впечатление производит мягкий и изящный, задумчивый и задушевный колорит рассказа г. Короленко; в душе звучат снова какие-то давно замолкшие струны, что-то вспоминается, такое задушевное и грустное, чудится, будто встают вокруг какие-то давно забытые образы — «образы без лиц, без протяженья и границ», — хочется снова верить и любить, и плакать теми чистыми слезами, какими люди умеют плакать только на пороге юности, когда в душе еще не замерли под ледяным дыханием жизни —

Негодованье, сожаленья,
Ко благу чистая любовь...

А теперь вернемся на несколько минут к «Теням» и Сократу. В спокойной, ровной, мягкой и в то же время неуклонной убедительности самого В.Г. Короленко много черт, напоминающих Сократов дух и метод. Этот скромный и вежливый логик всегда ставит вопрос ребром с необыкновенною прямотою и даже резкостью (не выражений, а самой идеи), — недаром же один из глубочайших и выразительнейших его рассказов носит название «Парадокс», — а затем

терпеливо водит противника вокруг поставленного вопроса, не давая ему ни на шаг увильнуть в сторону:

— Постой, друг. Кажется, ты имел в виду какое-то заключение, и я боюсь, что ты свернул с прямого пути. Скажи, добрый человек, куда клонится твоя нетвердая мысль? («Тени»).

Спокойным, ровным голосом, не волнуясь, не злобясь, он разбивает все возражения сведением их к абсурду и логически наводит на единственный выход, который возможен и в который противник сам, наконец, бросается, а бросившись, со стыдом и смущением видит:

— Да ведь это то самое положение, которым Короленко начал наш диспут!

Quod erat demonstrandum *.

Это совершенное владение Сократовым методом, эта простота наведения и способность к естественным сокрушительным антитезам, обыкновенно, сопрягаются в художественном таланте с ярким юмором. Быть может, нигде все сказанные способности В.Г. Короленко сразу не высказывались ярче, чем в знаменитом юмористическом рассказе «Иом Кипур». Никто, как Короленко, не умеет довести своего героя до последовательного самоотчета и, через логический самоотчет, до совершенного самосознания. Когда Короленко воюет с негодяем, он никогда не говорит последнему, как крикнул бы гневный сатирик Ювенал, Салтыков, Мирбо: «Ты подлец!» Нет, — его система и цель вызвать в негодяе работу самопроверки, после которой тот сам если не вслух скажет, то про себя подумает: «А ведь я... подлец!», — не самоуслаждением, как это у подлецов Достоевского бывает и к чему Достоевский своим подлецам всегда какую-нибудь «инфернальную» лазеечку оставляет, но всею озаренною светом укоряющего сравнения душою — нехорошо, обидно,

* Что и требовалось доказать (*лат.*).

попросту, по-человечески, подумает: «Скверно, мол, брат Иван Петрович! Родила тебя мать человеком, а ты усовершенствовал себя в двуногую свинью».

Из практических гражданских выступлений В.Г. Короленко, быть может, всего ярче и глубже сказалась эта удивительная сила его прямой убедительности в «Сорочинской трагедии» — мрачной эпопее о карательной экспедиции (1905) старшего советника полтавского губернского правления, статского советника Филонова, против злоупотреблений и зверств которого Владимир Галактионович выступил с открытым письмом. Спокойная логика фактов в письме этом неотразима.

— А если вы можете отрицать это, то я охотно займу ваше место на скамье подсудимых и буду доказывать, что вы совершили больше, чем я здесь изобразил моим слабым пером.

Сами власти были сконфужены и потрясены. Филонову было вменено в обязательство печатно отвечать на письмо Короленки. Филонов не успел написать ответа, так как назавтра, после губернаторского требования, был настигнут местью неизвестного террориста — убит на улице выстрелом из револьвера. Эта быстрая расправа положительно обрадовала реакционную печать, так как дала ей, несмотря на потерю важного черносотенца, прицепку, чтобы выставить В.Г. Короленко якобы подстрекателем к убийству Филонова. Г-н Шульгин не постыдился хватить эту клевету даже с трибуны Государственной думы. Возникло уголовное дело, целый год В.Г. Короленко прожил под следствием. Состряпано было подложное «посмертное» письмо от имени убитого Филонова, которое В.Г. Короленко, в результате систематического расследования, определил тройственною характеристикою:

«Фактическая часть этого ответа — явная неправда!
Публицистическая — наивнейшая инсинуация.

Нравственная — подлог от имени мертвого собрата!»

Дело, как известно, было прекращено за выяснением совершенной правоты В.Г. Короленко и подтверждением обличенных им безобразий покойного Филонова. По свидетельству самого В.Г. Короленко, виновником смерти Филонова считали его не только враги, но и некоторые друзья.

На другой день после убийства Филонова ко мне прямо из земского собрания явился крестьянин, мне не знакомый, и с большим участием сообщил, что случайно слышал в собрании разговор какого-то чиновника с кучкой гласных. Чиновник сообщил, будто состоялось уже постановление об аресте писателя Короленко. И мой незнакомый посетитель пришел, чтобы предупредить меня об этом.

Я поблагодарил его и затем спросил:

— Послушайте, скажите мне правду. Неужели и вы, и ваши думаете, что я действительно хотел убийства, когда писал свое открытое письмо?

Он уже прощался и, задержав мою руку в своей мозолистой руке и глядя мне прямо в глаза, ответил с тронувшим меня деликатным участием:

— Я знаю... и много наших знает, что вы добивались суда. А прочие думают разно... Но...

Он еще глубже заглянул мне в глаза и прибавил:

— И те говорят спасибо.

Трудно положение писателя, идущего, как сквозь строй, по скользкой дороге темно и быстро растущей легенды, между двумя рядами, из которых один смотрит на тебя как на преступника и убийцу, а другой — как на героя-мстителя. Нужно иметь воистину богатырское спокойствие духа, чистоту помысла и страшную нравственную силу уверенности в своей вере, в своем чутье, в своей логике, чтобы совершить такой тернистый путь, не оступившись ложным шагом ни под ревом махающих кулаками врагов, ни под аплодисментами ласково улыбающихся, в благодарном заблуждении, друзей. Писатель, в жилах которого бродит вместе с кровью хоть капелька демагогической отравы, быть может, сумел бы с достоинством пройти мимо угроз, но вряд ли утерпел бы, чтобы как-нибудь, хоть одним глазком, не

пококетничать в сторону улыбок. Великий демократ выдержал искус, едва ли даже его заметив. Печален и строг доброжелательный голос его и — направо он принес не сожаления, налево не признательность, а обеим сторонам преподал суд справедливости — повторил, не взяв назад ни единого слова, горькие, учительские правды.

Впоследствии не в одних Сорочинцах при разговорах с крестьянами об этих событиях мне приходилось встречать выражение угрюмой радости...

— Ничего, — говорил мне молодой крестьянин, у которого еще летом болели распухшие от ревматизма ноги. — У меня ноги не ходят, а *он* не глядит на Божий свет...

Таков результат двух факторов: стояния на коленях и вызванного этим чувства мести за безнаказанные насилия...

Но это не то дело, которое начато было в Полтаве независимою печатью. Мы вызывали эту толпу, еще недавно стоявшую на коленях, к деятельному, упорному, сознательному и смелому отстаиванию своего права *прежде всего* законными средствами. Она слишком скоро получила удовлетворение иное, более сильное и трагически мрачное...

Мы потерпели неудачу. И я, может быть, более искренно, чем многие сослуживцы покойного Филонова, был огорчен его смертью. Не из личного сочувствия, — после всего изложенного я считал его человеком очень дурным и жестоким... И не потому, что для меня с этой смертью был связан ряд волнений и опасностей, что за ней последовал целый год, в течение которого я был мишенью бесчисленных клевет, оскорблений и угроз... Не потому, наконец, что эта кампания, начавшись подложным письмом в Полтаве, перешла на столбцы правительственного органа и парламентскую трибуну...

А потому, что выстрел, погубивший Филонова, разрушил также то дело, которое было начато независимой печатью, которое я считал и считаю важным и нужным...

Говорухе-Отроку как пылкому поклоннику Достоевского очень хотелось найти в творчестве Короленки излюбленную черту «смирения». Ради этих поисков, притягивал он и цитаты из Достоевского, и цитаты из Тютчева. Но, в конце-то концов, когда закрываешь его критическую брошюру, ясно чувствуешь, что автор либо грубо ошибся (что трудно: слиш-

ком умен), либо грубо хитрит, выдавая за смирение действительно основную черту творчества В.Г. Короленко — спокойную искренность, с которою приемлет он и проводит в жизнь «права человека». Голоса «свободы, равенства и братства» Говоруха-Отрок, сам слишком недавно знакомый с их нотами (в семидесятых годах Говоруха был революционером, судился по процессу 193-х, написал очень яркий передовой роман; даже и по родству, и по среде, окружавшей его юность, он принадлежал к «левой» группе русского общества: племянник Н.К. Михайловского), предпочел не узнать в песнях Короленка и — на всякий случай — смазал творимые последним образы елеем смирения из Пушкинской речи автора «Братьев Карамазовых». На самом деле, быть может, во всей русской литературе нет писателя более «гордого», чем В.Г. Короленко. Но гордость-то его особенная: это — гордость человеческого коллектива, сознавшего свое достоинство и силу, дружно работающего, чтобы отстоять их даже в самой малой индивидуальной частице своей. Частицам же коллектива — какое основание, какой смысл, какая польза, какое право гордиться одной перед другою? Они — все равны, все однородны, все необходимы, и свобода, которую ищет и находит их целое, светит одинаково в каждой из них, и для каждой из них она — одинаковое право. Внутри коллектива нет места гордости. Гордость его обращена на борьбу с внешними силами — переживанием старой первобытности, старого человеческого разобщения, старых зверств, предрассудков и страхов. Афоризм, семь лет тому назад обращенный в формулу нового русского мира: «Человек — это звучит гордо!» — раздался из уст писателя, который считает Короленко своим духовным учителем. И, конечно, — кто бы мог понять и угадать будущего певца «бывших людей» глубже и теплее, чем автор «Парадокса» и «В дурном обществе»?

— Человек создан для счастья, как птица для полета.

Это ступень Короленки.

— Человек — это звучит гордо!

Ступень М. Горького.

В одном рассказе Короленки («Мороз») «человеческая порода» обозвана «подлою» — как будто нарочно для того, чтобы контрастом действия подчеркнуть: «Смотрите, какая дивная сила человек! как много прекрасного и чистого остается в нем даже в «подлый» момент падения его животной натуры!»

Герой этого рассказа, Игнатович, идеалист и романтик, воспитанный на Красинском, Словацком и Мицкевиче, имел «какое-то преувеличенное представление о человеке, о его Божественном начале, об его титаническом значении».

«Есть у Мицкевича одно стихотворение: кто-то, какое-то огромное «я» поднялось в надзвездные высоты... Кругом головы венец из солнц, руки он возложил на звезды, и их хоры, как клавиши, звучат созданной им мировой симфонией».

Судебный следователь Сокольский, от имени которого ведется рассказ, не понимает восторгов Игнатовича, но мученический апофеоз Игнатовича, в который мало-помалу развивает рассказ свой Короленко, ясно говорит, что Короленко-то его понял, а вместе с тем и выразительно указывает нам, откуда и в самом-то Короленке впервые вспыхнула и пламенным столпом взвилась его Религия Человека... Романтики... Словацкий, Мицкевич, Красинский... Ну как же не наследник Степана Трофимовича Верховенского?

Никогда и никто, кажется, не причислял В.Г. Короленко к «богоборцам». Это — потому, что богоборчество у нас, благодаря кривляниям мистиков, сделалось синонимом байронических (но, увы, не Байроновых!) слов, крика, риторики, громкой фразы, театрального жеста и позы, нашедших себе высшее выражение в произведениях г. Л. Андреева, начиная с «Жизни человека». Все эти трагикомические орудия, конечно, совершенно чужды В.Г. Короленко — творцу, привычному работать средствами простыми, приемами логически-

ми, в порядке почти научной строгости. В.Г. Короленку совершенно несвойственно костюмироваться титаном, реветь трескучие монологи, громоздить Оссу на Пелион, замахиваться палицею в пустое пространство и швырять в небо камнями, имеющими злую привычку повиноваться закону тяжести, а потому трагикомически падающими на макушки той толпы, что ими лукается. Больше того: В.Г. Короленко никогда не нарушил свободы совести не только оскорблением, но даже резким отрицанием чьей-либо чужой, встречной религии. Хотя бы то была первобытная вера вотяков, едва вышедших за порог фетишизма. Хотя бы то была «ущербленная и тоскующая мечта Микеши («Государевы ямщики»), который в голых, холодных, безнадежных утесах сибирской реки, уповал на «худенького Бога»:

— Хоть худенький-худой, ну, все еще сколько-нибудь делом-то правит.

В.Г. Короленко в этом рассказе добрее даже Луки из «На дне» М. Горького. Тот Лука-то от прямого вопроса Васьки Пепла: «Слушай, старик: Бог есть?» — увильнул двусмысленным афоризмом:

— Коли веришь, есть; не веришь — нет. Во что веришь, то и есть.

Короленко в подобном же испытании пощадил темного, как ночь, Микешу от раздвоения мысли, которое растерзало бы безнадежностью скудный дикарский умишко его.

— Другие говорят... никакой Бог нету... Ты умной, бумаги пишешь... Скажи, — может это быть?

И Короленко ответил «с невольной лаской в голосе»:

— Не может быть, Микеша.

На высотах торжествующего разума, он помнит железные законы исторической эволюции прогресса и знает, что есть в ней, внизу, глубоко, ступень, когда погасить религиозный свет в человеке значит обречь его на отчаянье во тьме:

вместо свободы оковать его рабством; вместо движения вперед осудить на застой или даже толкнуть к попятному ходу. Пожалел Короленко Микешу и не дал ему отрицания, непосильного его «разуму», не ударил его тою правдою, которая «может, обух для тебя» («На дне»). Между тем, если есть на Руси художественный писатель, заслуживающий имени богоборца, то это именно В.Г. Короленко, великий разрушитель мифов и авторитетов мистического мировоззрения, последовательнейший монист, никогда не нуждавшийся ни для обоснования этики, ни для проникновения в тайну природы, ни для движения прогресса, в гипотезах и допущениях, высших человеческого разума. Таким же твердым носителем позитивной веры в единство и высокое благородство самосовершенствующейся материи был Антон Чехов. Но в нем эта вера была — для себя, а в мир она поступала, так сказать, без предварительного намерения, лишь как дух его объективного письма, лишь как неизменный признак его «атомистического» наблюдения. Короленко уступает Чехову в тонкости психологической прозорливости, вернее даже будет сказать, в разнообразии оттенков ее выражения, в пестром искусстве разлагать каждое психологическое явление на такие дробные светы и жидкие тени, которых в единстве его иногда и сам Достоевский не разглядел бы. Но зато Короленко сильнее Чехова в обобщении и — чего Чехов совсем не умел — он умеет сложить свое обобщение в формулу и преподать свою формулу людям, — умеет учить.

Все это этическое значение Чехова создалось решительно помимо его умысла — одною несравненною силою и правдою его художественного изображения, да общим настроением духа, усталого в пошлости века. Всякий раз, когда Чехов пробовал выступить в роли нарочного моралиста или вообще учительного мыслителя на заданную (хотя бы и самим собою) этическую тему, он будто терял свой творческий инстинкт и писал вяло и плохо. Наоборот, Короленко именно тогда-то

и силен особенно, когда учит. Он — прежде всего просветитель и моралист. Быть может, ни один факт в жизни его, богатой опытом и наблюдением, не был им принят непосредственно, инстинктивно, механическим восприятием — не продуманно, не прочувствованно, без критического взвешивания, без этической примерки, без приглядки: что из наблюденного факта должно для общественного строя воспоследовать и как он может быть использован в общую выгоду Религии Человека и, в частности, для целей современной общественной морали. Из далеких «Огоньков» на темной сибирской реке выросло одно из самых бодрых, нужных и вовремя (1900) сказанных «стихотворений в прозе» русской политической музы. Встреча с перевозчиком Тюлиным («Река играет») вылилась, воистину, «перлом создания»: вырос новый всероссийский тип «Обломова снизу». «Обратите внимание на Тюлина, — писал мне недавно М. Горький, — в том, что наверху Обломов, а внизу Тюлин, — фатум русского прогресса».

В лице В.Г. Короленки мы имем совершенно исключительный пример художественного дидактика. В его литературном творчестве нет ни одной строки, которая не была бы прекрасна, и ни одной, которая была бы сказана напрасно и случайно. Этик и социолог, — он мыслит научно и целесообразно, истинный поэт, — он мыслит образами. Благодаря этому счастливому сочетанию никто не превзошел В.Г. Короленко в форме «учительского сказания», столь популярной и любимой у нас на Руси. «Тени», «Сказание о Флоре», «Огоньки», «Старый звонарь» — по глубине и силе убеждения, по изяществу и твердости мысли, по красоте языка, не имеют себе равных в русской литературе, не исключая даже однородных опытов Л.Н. Толстого. Благодаря тому же счастливому сочетанию, Короленко — необыкновенный мастер общественного «символа». В этом отношении он часто возвышается на уровень Салтыкова и Глеба Успенского, со вто-

рым из которых у него вообще много соединяющих нитей живого, сердечного сродства: никто прекраснее Короленки не писал о бедном, безвременно угасшем, Глебе Ивановиче. Кто не знает чудесного рассказа Короленки о том, как «Река играет»? Свое могущество в этом роде творчества Короленко и сам знает, потому что неоднократно дерзал посягать на дидактические опыты, которые под пером всякого другого неизбежно оказались бы скучными, утомительными, вне художества. Таков его «Слепой музыкант» — этюд, в полном смысл слова, «тенденциозный», но не стареющий вот уже добрые тридцать лет. И сколько раз от лучших людей русского искусства, от великих музыкантов, певцов, актеров, случалось мне слышать признания, впоследствии обобщенные мною в устах артиста Андрея Берлоги, героя романа «Сумерки божков».

«*Берлога*. Я двадцать раз уже рассказывал тебе, почему я не пошел во врачи, учителя, адвокаты, ремесленники, но вот — сделался певцом…

Елена Сергеевна. Ну да, отлично помню: тебя толкнул в оперу «Слепой музыкант».

Берлога. Да! «Слепой музыкант»! Великая поэма любви искусства к страдающему человечеству! Она объяснила мне, зачем нисходят в души наши таинственные дары художественного творчества, зачем вспыхивают святые огни талантов и как надо хранить и разжигать каждую драгоценную искру их в пользу и счастье ближнего. Она научила меня, что в человеке — нет ничего своего, и чем лучше то, что в нем есть, тем меньше оно — его, тем больше принадлежит оно всем. Человек должен отдать людям лучшее, что в нем есть! Этим строится и живет общество».

Из всех учителей нашего общества В.Г. Короленко всегда представлялся мне (лично я его только однажды видел, совсем молодым, именно, когда он только что вернулся из ссылки) самым симпатичным, полезным и дельным. Потому

что он — учитель вровень с учениками, учитель-товарищ. Школа его дружеская, наука его ясная, практическая, прикладная, уроки его — строго предметные, прямые уроки живой действительности, которая непосредственно окружает нас и вопиет к нам. Не о религиозных и философских синтезах вопиет, а вот — как с нею, да не с действительностью «вообще», а вот — как с этою-то самою вопиющей-то пред нами действительностью сделаться, притом не в будущем золотом веке, а подай здесь, на глазах, сейчас. Человек глубокого и деятельного гражданского сознания, он железною волею сдержал в себе ту хаотическую способность раскидываться беспредельным умозрением, в которой и счастье, и несчастье едва ли не всякого большого русского таланта. Наметил себе обширный круг деятельности, трудной и почти чернорабочей, но целесообразной и насущно необходимой, и всю экономию сдержанной и собранной энергии отдал в эту деятельность, которая потому и исполнилась необычайным успехом — великою пользою общественною и великою красотою творческой личности самого труженика. Короленко — человек земли со всею самодовлеющею полнотою и красотою ее, и тому человеку, который понимает, что он земля есть и в землю вернется, а затем будет из тебя лопух расти или фиалка, если больше нравится, — хорошо и бодро чувствуется такому человеку в его присутствии, внимая его слову, читая его мысли. Опорна и утешительна для него твердая и ясная вера писателя, не ищущего для человечества иных внешних хозяев, кроме могущественного интеллекта, неутомимо вырабатываемого прогрессом всечеловеческого коллектива. Когда этический прогресс в стране, которая имеет счастье звать этого прекрасного писателя своим, тормозится, падает, пятится в реакцию, — первый рабочий, который вырастает у испорченной машины, чтобы починить ее, двинуть на должный ход, — всегда В.Г. Короленко. «Голодный год», «Мултанское дело», «Павловка»,

«Борьба с погромами», «Сорочинская трагедия» и, наконец, величайшая из всех гражданских заслуг В.Г. Короленко, «Бытовое явление», над которым предсмертно рыдал Л.Н. Толстой, — всем памятны меры благородных вмешательств, которыми В.Г. Короленко воевал за жизнь человеческую. Воевал против стихийной беды голода, упавшей на народ в условиях государственной беспомощности; против насилий суеверия просвещенного и властного, обрушившегося на суеверие дикое и темное беспощадностью предубежденного суда; против насилий грубой бюрократической силы над слабыми, которые ее опеке вверены; и, наконец, против величайшего позора и ужаса современной России — смертной казни. На Руси много писателей «моднее» В.Г. Короленко, а шумнее — о том уж нечего и говорить. Но нет на Руси другого писателя, которому общество так любовно и твердо верило бы, на которого оно с большим упованием полагалось бы, в котором полнее видело бы все хорошее, что есть в переживаемом веке, в которого оно чаще гляделось бы, как в свою честь и совесть. Великий пример — носитель и учитель — общественной порядочности, В.Г. Короленко, как зеркало «русской совести», не тускнел даже при жизни и в соседстве Л.Н. Толстого. Роли их в общественном влиянии были разграничены определенно. Если роль Л.Н. Толстого как perpetuum mobile * совести в религиозной отвлеченности мысли и чувства была шире задачами и полетом, то роль В.Г. Короленка как совести в постоянном прикладном действии ближе к живому будничному миру, нагляднее в скромной, уверенной своей работе и полезнее прямыми, непосредственными результатами в конкрете места и времени.

Было бы странно, даже глупо мерять рост Толстого и Короленко как творческих способностей, как природного ода-

---

* См. пер. на с. 159.

рения: человека-стихии и человека-человека. Это, право, все равно, что спросить бы: кто лучше — Шекспир или Атлантический океан? (В. Гюго, положим, сравнивал). Венера Милосская или Эльбрус? Бетховен или закон Архимеда? Но земной человек о земном и думает и к земле его тянет. Этим земным тяготением полон В.Г. Короленко, и необыкновенно он в нем близок нам, обыкновенным смертным людям русской действительности, — близок, мил и дорог. Велика его любовь к земле и велика принесенная в прикладную, прямую пользу ей, жертва.

Какого великого художника задавил в себе талантливый публицист и редактор Короленко! И — как тихо, просто, без фраз и предварений urbi et orbi *, он в свое время осудил себя в жертву эту и заклал свой беллетристический талант на жертвенник публицистических всесожжений. Из всех литературных жертв, полученных русским обществом, уход Короленко из царственной области художественно-прекрасного в чернорабочую область прикладной служебной пользы — самая выразительная и величавая. Откровенно скажу: художественное самообуздание Короленко для меня всегда представлялось подвигом, гораздо более трудным и томительным, чем художественное отречение Л.Н. Толстого. Последний всегда находил широкое заполнение пробела, расширившегося на месте изгнанного из жизни художества, в гимнастике религиозной мысли. В его опрощении была благородная почва для самоутешения большой, ушедшей внутрь себя личности. Он самосовершенствователь и уставщик, «старец» Зосима культурно-религиозного скита. Он был первым — и остался первым. Да нет! что я! Толстой-художник был велик и славен только всероссийски. Толстой Ясной Поляны стал первою величиною в очереди всемирной славы, стал центром мирового внимания и поклонения. Каждый удар сохи Тол-

* См. пер. на с. 98.

стого находил своего Сергеенко, каждый кирпич, им заделанный в стену либо в печь, обретал своего Тенеромо. Но не было ни Сергеенко, ни Тенеромо при том, когда рука, написавшая «Слепого музыканта» и «Река играет», заделывала в стену «Русского богатства» кирпичи ежемесячных обозрений, когда талант, способный создавать искусство, Тургенева чудесам равное, усаживал себя за репортаж Мултанского дела, голодного года, сорочинской трагедии.

Он, умея побеждать,
Сел букварь учить —
Все затем, чтобы опять
Родине служить.

Короленко — в моем воображении, — огромное, безнаградное, самодовлеющее чувство культурного долга, ровное, уверенное, неутомимое, непоколебимое. Белые руки, убежденно ушедшие в черную работу — да не ту, которая самим понравилась и смешала дело с забавою, а ту, которую указала как очередную общественная минута. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Ни в русской литературе, ни в общей европейской не вижу я сейчас никого, кто с большею последовательностью и строже Короленко применял бы к себе этот суровый завет. Гражданин требовательно и цельно заслонил поэта и редко выпускает его погулять на художественном творчестве, точно рабочего — на воскресный отдых. И «История моего современника» убеждает, что так было всегда. Детство Короленко – поэтически-наблюдательное, полное прекрасных страданий и отрадных гневов глубокой и честной души — детство будущего гражданина. Именно в этом глубокая поучительность книги, ее пригодность и даже необходимость для каждого приобретающего сознательность русского отрока и тем более юноши. Это — повесть о том, как рос великий культурный работник на русский народ, чем питалась его психология,

какие силы вошли в ум его и залегли фундаментом его мировоззрения.

Благоухающая книга! Иначе не умею определить «Историю моего современника». Какое чистое детство! Какая чудесная семья! Какая высокая школа благородства! Вот книга — равно нужная и взрослым, и детям. К последним она пришла на смену «Семейной хронике» и «Детским годам Багрова-внука», которые становятся непонятны, потому что вымерло их общество и разрушилась чарующая природа, на смену «Детству и отрочеству», потому что и Толстой современному ребенку приходится уже прадедом. А дети в историческом кругозоре дальше деда заглядывать не любят, настоящий же их интерес — «как были маленькими отец и мать».

Художественно рассказанных помещичьих детств, окруженных крепостным правом, русская литература хранит много. Аксаков, Толстой, Гончаров, Кущевский, Писемский, даже Марков. Но впервые повествуется художественно, вровень с теми старыми, детство русского интеллигента, покинувшего детскую в эпоху великих реформ, а гимназию — в 1871 году, так поворотно-роковом в истории реакции.

Родители, которые хотят, чтобы дети их выросли честными людьми и с ранних лет знали, понимали и любили народ свой, должны сделать «Историю моего современника» настольною книгою для потомства своего, уже в так называемом «среднем детском возрасте» лет в 12—13. И в награду за это кроме честной мысли, кроме благоухающего благородства слов и образов дети усвоят себе еще русский язык Короленко — простой, звучный, богатый, льющийся в душу свежею волною. Совсем мы отвыкли от такого письма. Захватывает и несравненно умиляет его хрустальная чистота, его акварельная прозрачность и нежность, тихое эпическое спокойствие, мягкий, — как цветущая степь, благовонный — лиризм.

В.Г. Короленко — тема, на которую человек, любящий литературу и жизнь живую, может говорить бесконечно. Прекра-

щаю, потому что боюсь удлинить статью. Может быть, и то, что я написал, уже длинно, но — что же делать? Люблю я этого автора, и чем старше живу, тем ближе становится мне образ его и тем теплее светит в душу. Хорошо верится в человека, когда изучаешь Короленко. Нагляднее чувствуешь и понимаешь беспредельную прекрасность и благородство природы, быть особью в которой ты призван, — честь стоять на ее высоте, славу и гордость поднять ее еще хоть на линию выше, позор и срам — уронить ее, попятиться обратно к образу и подобию звериному. И еще люблю я в Короленко то, что великий учитель и образец человеческой свободы, нравственности и общественной порядочности, — великий разрушитель суеверий и маскированных идолопоклонств, сам он в простом демократическом существе своем ко всей своей литературной и гражданской личности не имеет решительно никаких задатков и элементов, чтобы превращенным быть в живого святого, в движущийся кумир, в рассадник и источник нового суеверия, в котором старая мистическая змея только переменила изношенную выползину на новую. Небожительства и богостроительства на Руси было и есть — хоть пруды пруди, а человекоустройства — никакого. В.Г. Короленко — один из немногих, обрекших свой художественный талант и социальное значение этому реальному подвигу, а те, кто еще с ним — либо его младшие товарищи, либо его ученики. Двадцать пять лет отдежурил он воеводою передового полка, бессменным хранителем боевых позиций общественного прогресса — с тех пор, как сибирский плен возвратил его непоклонную голову свободе и деятельности в России. Воздадим же на этом выразительном рубеже честь и славу великому русскому человекостроителю! Многая лета доблестному художнику и низкий ему поклон!

Fezzano

14 февраля 1911

М.Н. АЛЬБОВ

Кончина М.Н. Альбова заставила перечитать его полузабытые повести, а чтение заставило забывших с изумлением увидеть, как много ему обязана происхождением и тоном своим литература девяностых годов, насколько он в ней — «предок».

Да, предок, последний из предков. Последний из той великой школы, которую родила гоголевская «Шинель», и первым криком которой были «Бедные люди» Достоевского. Имя Достоевского — порог, через который надо непременно переступить всякому, кто хочет говорить об Альбове. Его считают учеником Достоевского, подражателем и продолжателем. Доля справедливости в этом счете есть, и даже немалая, но все же он дает далеко не полную справедливость. Достоевский — громадная, вездесущая фигура семидесятых годов. Он отразился решительно во всех живых силах тогдашней литературы, за исключением тех немногих, которые, кроме живости душевной, обладали в достаточной степени и рассудочной выдержкой, а потому умели, быть может, даже преднамеренно и не без насилия над собою, застраховаться от стихийных обаяний «жестокого таланта» и вступали с ним в почтительную, но острую борьбу за «властительство дум». Собственно-то говоря, зна-

чит, и в них тоже отразилась — только перевернутым, отрицательным отражением. Конечно, Альбов не только отгораживал себя от влияний и отражений Достоевского с тою энергией, как сделали это, например, Михайловский, Глеб Успенский и Короленко, но в своих начинаниях даже прямо стремился примкнуть к школе великого сердцеведа или, вернее, открыть собою его школу. «День итога» с подзаголовком «Психиатрический этюд» даже посвящен им «великой тени Достоевского» — самостоятельность для левого начинающего писателя весьма примечательная и, пожалуй, довольно вызывающая по тогдашнему отношению левой печати к автору «Бесов», «Братьев Карамазовых» и оратору Пушкинского праздника. И не только это посвящение, но и внешнее сходство литературных приемов так выразительно говорило о наследственности от Достоевского, что на Альбове, собственно говоря, повторилась, хотя и в меньших размерах, та же история, что при первом дебюте Достоевского. «Новый Гоголь явился!» — восклицали тогда литераторы, — и были не правы, потому что явился совсем не новый Гоголь, а «еще неведомый избранник», который у Гоголя взял только запевки, а песня от него зазвучала совсем иная. «Дождались Достоевского слева!» — говорила публика об Альбове после «Дня итога» и была не права, потому что Альбов использовал небольшой арсенал внешних приемов, которыми одарил его юношеский восторг пред Достоевским, очень скоро, а тогда обнаружилась из-под чужой маски собственная добродушно-унылая физиономия молодого реалиста, в которой, если уж искать было литературной наследственности, то никак не от «жестокого таланта». Именно вот элемента «жестокости»-то, «страдающего мучительства» и не нашлось в таланте Альбова ни капельки. Если мы вглядимся даже в те работы его, где он «разводит достоевщину», как тогда выражались, еще на всех парах, то и в них замечательно сквозит одна подробность. Поклонялся и желал сознательно по-

дражать Альбов Достоевскому послессылочному, — глубинному автору «Преступления и наказания», «Идиота», «Карамазовых» и т.д., а слагалось у него удачно и само лилось из под пера подражание Достоевскому доссылочному, автору «Бедных людей», «Двойника» и — самое позднее — Достоевскому «Униженных и оскорбленных» и «Записок из подполья». Словом, по душе и характеру таланта Альбова оказались подходящими лишь тот творческий период и те произведения, в которых Достоевский еще не развертывал в полной силе «жестоких» средств своего таланта и умел творить без нарочного мучительства или, по крайней мере, с мучительством малым, к тому же смягченным, скрашенным и затененным еще не изжитою сантиментальностью («Униженные и оскорбленные»).

Таков Альбов в «Пшеницыных», юношеском романе своем (1871), целиком вышедшем из «Бедных людей» и демократических песен Некрасова о скорбях петербургского мелкочиновничьего пролетариата. Близость альбовских «Пшеницыных» к Некрасову настолько тесна, что, собственно говоря, весь этот роман можно назвать прозаическим распространением знаменитой сатиры:

Частью по глупой честности,
Частью по простоте,
Погибаю в неизвестности,
Пропадаю в нищете...

Даже — с классическим заключительным нравоучением:

А голодного от пьяного
Не умеют отличить!

Таков Альбов в «Дне итога» (1879), где подражание Достоевскому доведено до совершенной параллельности многих — и притом главнейших — сцен. Протестующий эпизод

на пирушке у удачника Розанова — близкий сколок, только модернизированный и демократически сведенный в студенческую среду, со скандала, устроенного героем «Записок из подполья» на товарищеском обеде удачнику Зверкову. Приход Кати Ершовой к полусумасшедшему Глазкову, несмотря на все желание Альбова приблизиться к Раскольникову и Соне Мармеладовой, остался опять-таки лишь на уровне Лизы и господина из подполья. Из «Преступления и наказания» взяты Скрыпкин — оживший Разумихин и встреча с пьяною модисткою. Семья Вареньки хорошо знакома читателю из «Вечного мужа». И так далее. Технику «достоевщины» тут можно следить страница за страницею. Материал у Альбова свой, но льет он в чужую форму — и нисколько не заботится того скрыть. А весьма может быть, и сам того не замечает.

Следующее крупное произведение — «До пристани» («Воспитание Лёльки» и «Сутки на лоне природы») — уже значительный шаг вперед к творческой эмансипации. Конечно, и в «Воспитании Лёльки» — не без «Неточки Незвановой», не без Нелли из «Униженных и оскорбленных», но прежняя откровенная «достоевщина» уже убрана рукою опытного мастера на задний план и гораздо больше чувствуется между строк, чем в самых строках. В последние она врывается по старой привычке, лишь когда соблазн так велик, а пример, оставленный Достоевским, так решительно и широко-типичен, что никак уже нельзя питомцу «достоевщины», не впасть в ее, так сказать, канон. Такова сцена, когда подлый и мелкий тиран, папа-Подосёнов, шантажирует Лизавету Ремнищеву, грозя отнять у нее Лёльку.

«До пристани» — первая попытка Альбова написать «большой роман» по типу, тогда любимому публикою благодаря Толстому и Достоевскому, а также — бесконечно многими художественными ступенями ниже — Михайлову-Шеллеру и Болеславу Маркевичу, наиболее читавшимся беллетристам

семидесятых годов. Несмотря на кажущуюся странность сочетания этих имен, приходится признать в опытах Альбова наличность и последних влияний. Крупный, глубокомысленно наблюдательный, вдумчивый, весь нутряной, психологический талант Альбова, конечно, был не чета внешним, схематическим дарованиям ни новеллиста-либерала Шеллера, ни новеллиста-ретроград Марковича. Но во владения последнего Альбова затащила необходимость изобразить аристократическую среду, личные наблюдения в которой у него не весьма-то были богаты, — а Шеллер отразился на нем тем условно-демократическим мелодраматизмом, с которым Альбов свой аристократический материал обработал. Все это, конечно, далеко не способствовало украшению романа. Напротив — если в чем сказалась солидность природной творческой силы Альбова, так именно в том, что «Сутки на лоне природы» произвели огромное впечатление внутренней правды, вопреки наивным внешним шаблонам, по которым работал автор, не смущаясь, — мало сказать, — условностью, но часто — прямо-таки театральщиной, дюмасовской фальшью своего трафарета. «До пристани» — вещь, победившая публику исключительно нутряным талантом, темпераментом автора и глубоким демократическим его чувством: скорее вопреки полю и манере действия, чем при их благоприятстве. Прекрасная демократическая идея романа — спасение грешной прекрасной души, загубленной светскою пошлостью, брошенной в разврат и во всякие эгоистические блажи, девочкою, приемышем с улицы, общением с ее чистою, но уже измученною и страдающею детскою душою, — очень значительна и широка. В ней звучат — до толстовщины — ноты, которые в самом Толстом разбудила московская перепись 1882 года. Собственно говоря, если первая часть «До пристани» — «Воспитание Лёльки», то вторая часть, носящая название «Суток на лоне природы», могла бы назваться «Перевоспитанием Лизаветы Аркадьевны Ремнищевой», ибо

посвящена в лице дамы этой тому же великому этическому процессу, который некогда, в ночи и степи, под бурею, возвратил к общению с человечеством одинокую и одичалую душу гордого короля Лира:

Где твой шалаш? Иди, дурак мой бедный,
Иди за мной. Я чувствую, что в сердце
Моем есть жалость. Я тебя жалею...
Вы, бедные, нагие несчастливцы,
Где б эту бурю ни встречали вы,
Как вы перенесете ночь такую,
С пустым желудком, в рубище дырявом,
Без крова над бездомной головой?
Кто приютит вас, бедные? Как мало
Об этом думал я! Учись, богач,
Учись на деле нуждам меньших братьев,
Горюй их горем и избыток свой
Им отдавай, чтоб оправдать тем Небо!

Кроме личного дарования, помогли Альбову и новые литературные влияния, которые в этот период начинают в нем преобладать над Достоевским. Их три: Диккенс, Золя и Глеб Успенский. Три носителя художественной правды, хотя и — с трех разных концов. Диккенса Альбов, как указывалось уже в некоторых некрологических воспоминаниях о нем, боготворил. Этот культ очень сказался на его крупнейших произведениях («Ряса», «День и ночь») и архитектурою, совершенно бесстрашною в накоплении длиннот, и пристрастрастием к параллелизму в развитии нескольких интриг зараз, любовью к вводным и проходящим лицам и мелочным эпизодам, к детальным и обширным описаниям, даже и пространными названиями частей, глав и целых романов. В особенности сказывается в «До пристани» родственная близость с диккенсовым «Холодным домом».

Что же касается описаний, Альбов — едва ли не последний русский беллетрист, знающий секрет писать свой пейзаж очень подробно, но тем не менее, и нужно, и не скучно

как законную и непременную декоративную часть произведения. И эта его особенность тем более замечательна, что Альбов, — подобно Достоевскому, кругом петербургский человек, — и пейзаж знал только бедненький, петербургский. Казалось бы, увлечь воображения нечем, а между тем — как это у него всегда ярко и хорошо! Много ли в русской изящной литературе таких страниц, как альбовский вид заката с петербургской Поклонной горы:

Вся видимая с вершины Поклонной горы на далекое пространство равнина, недавно залитая пурпурным морем заката, тускнела мало-помалу. Налево клубились уже бело-молочные волны тумана и медленно расплывались все дальше. Редкий сквозь лиловую дымку, как яхонт, купол Исаакия тоже потух. Левее и ближе его видневшийся шпиц Петропавловской крепости пока еще ярко пылал, как раскаленная головня. Лежавшие недалеко Коломяги — летний приют питерских немцев — походили теперь на разворошенную кучу. Там, правее, где равнина сливалась с западной стороной горизонта, пестрея квадратами картофельных гряд, весь край небосклона казался объятым гигантским пожаром. На ярко-малиновом фоне его вырезывался черным пятном силуэт какой-то одиноко торчавшей среди пустынного поля избушки. На одно из окон ее падал теперь отблеск заката, и это окно горело огромною лучистою искрой. Солнце садилось в густой гряде облаков. В то время как внизу они рдели, подобно какой-то фантастической массе золота и самоцветных камней, облитых алою кровью, выше они чуть розовели, переходя в серовато-фиолетовый тон и громоздясь тяжелыми грудами, беспрестанно менявшими свои очертания. С левого края высилась белоснежная глыба, похожая на башню с зубцами, а справа кудрявилось что-то вроде куста, постепенно приобретавшего форму чудовища. Тем временем башня переломилась в средине, вытянув верхнюю часть свою в виде руки, а зубцы слились в профиль лица с длинным носом и в диадему, из чудовища образовалась беседка, а то, что сейчас казалось рукою, отпало и самостоятельно повисло в лазури в виде чайки с распростертыми крыльями, осиянными снизу розовым светом. Между тем лучистая искра пустынной избушки давно уже погасла, а солнце почти совсем потонуло за горизонтом, виднеясь одним маленьким краешком и посылая последние лучи в облака... Минута еще — оно скрылось бесследно, золото и самоцветные камни потухли, а лицо в диадеме, и беседка, и чайка исчезли — и все слилось в одну серую безличную муть («День да ночь», часть первая. «Тоска», конец XVII главы).

Второй из влиявших на Альбова авторов-иностранцев, Эмиль Золя, также был большим любителем пейзажа — и тоже именно городского, по преимуществу парижского («L'Oeuvre» *) — и отводит ему в произведениях своих место громадное. Но в описаниях Золя, при всей их внимательной подробности и великолепной уверенности резкого мазка, нельзя отрицать известной искусственности, часто доходящей до виртуозного эффектерства, а оно всегда вносит в живопись некоторый холод. С последним впечатлением, я полагаю, хорошо знакомы все, изучавшие творения отца натуралистической школы. От педантической латинской надуманности он не умел отделаться даже в самые патетические моменты, когда в нем не только мысль, но и чувства кричали. Альбов много проще и теплее Золя и — однако, строже его как натуралист, потому что у него никогда нет стремления заключить описания в обобщающий символ, к чему Золя опять-таки латински склонен: можно еще спросить, кто более злоупотреблял этою манерою — романтик Гюго или натуралист Золя. Альбов не символизирует, не синтезирует. Он смотрит пред собою и пишет, что увидели его глаза. Он усвоил себе правдивый дух импрессионизма, но не взял его манер и, оставшись верен традициям старого литературного пейзажа, закрепленным живописью Тургенева и Гончарова, умел в то же время оживить их импрессионистскою-то подмесью и создать, если не новую манеру письма, то, во всяком случае, намеки на нее, которыми вскоре воспользовался творец нового периода русской изящной литературы — Антон Павлович Чехов. Вглядитесь в выписанный выше альбовский пример: между строками его уже светят ясная зрительная впечатлительность и тихая грусть будущего автора «Степи», «Черного монаха» и друг.

Во всяком случае, одухотворенного диккенсова Лондона в Петербурге Альбова всегда больше, чем Парижа Золя. Любопытная подробность в русской литературе — влияние

* «Творчество» (*фр.*); роман Э. Золя

Диккенса. Этот глубокий реалист, но и изящнейший романтик, и временами слезливый сантименталист положил печать на самую грубую и резкую полосу русского художественного слова, на талантливых семинаристов и интеллигентных пролетариев, господствовавших в литературе с пятидесятых годов по восьмидесятые. Альбова в этой чреде также можно считать — из последних могиканов. Введенный в русскую литературу тоже семинаристом, Иринархом Введенским, — который вдобавок не столько его переводил, сколько приспособлял к пониманию русского читателя, стараясь породнить новый юмор английского писателя с привычным юмором Гоголя, — Диккенс сыграл огромную роль в развитии писателей-семинаристов, как Левитов, напр<имер>, Глеб Успенский и др. Первый за чтение Диккенса едва не был выгнан из семинарии и в очерке «Петербургский случай» сам рассказал с глубокою искренностью и теплотою, что значил для них, новых семинаристов, Диккенс. Сам Гоголь для Левитова особенно важен тем, что «без него мы не поняли бы ни Диккенса, ни Теккерея». Те, чье сознательное отрочество падает на семидесятые годы, несомненно, вспомнят, что они еще застали конец этого могущественного влияния. В разночинной интеллигенции того времени мистер Пикквик, Сэм Уэллер, полковник Старботтль, капитан Куттль и т.д. были популярно-типичны столько же, как Чичиков, Репетилов, Расплюев, Хлестаков. И недаром в повести альбовского Филиппа Филипповича Караваева (очерк «На точке») «Гоголь и Диккенс выглядывали из каждой строки».

Беллетристы 60—80 годов обязаны были Диккенсу умением одухотворять природу вокруг человека, сливать в единую жизнь героя и его обстановку, оживлять натуру мертвую тем же огнем, что горит в живой, или ей враждебным, — то есть, если хотите, до известной степени, юмористически демонизировать неодушевленный мир. Манера эта, собственно говоря, и в Диккенсе не совсем самостоятельная, достав-

шаяся ему от Гофмана, была развита великим английским юмористом до высшего художественного совершенства, установившего ту соблазнительную смежность творчества фантастического и реалистического, которой высшее трагическое осуществление явил Эдгард Поэ, а высшее юмористическое — пожалуй — именно наш Левитов. Англичанам развивать эту бредовую способность литературного анимизма — оживлять предметы и обращать мир в толкотню веселых и мрачных призраков — помогали, говорят, туманы и сплин. У нас в подобных факторах недостатка тоже не имелось, а, — чего в них не хватало до Англии, — то дополнили политическое бесправие, общественное недовольство и — по всей совокупности причин — роковой повод: исконное бредовое начало русское, — водка.

Способность писать русские сны наяву Левитов довел до изобразительности столь рельефной и осязательной, что дальше идти в этом направлении было некуда. У него каждая вещь говорит, действует и дополняет собою человека. К несчастью, «исконное бредовое начало» играло в этой изобразительности слишком решительную роль. Левитов сам шибко пил, и вряд ли есть другой русский писатель, который бы так подробно и разнообразно рассказывал пьяные бреды одурманенных русских голов, начав веселыми мужиками на «Сельской ярмарке», продолжая — что дальше, то мрачнее — жильцами московских «Комнат снебилью» и гостями «Ада» (в будущем — горьковскими «бывшими людьми»), а кончив одиноким запойным ужасом интеллигентного чиновника Померанцева, «Говорящею обезьяною», диалогами с господином Алкоголем...

Альбов схватил эту грозную тему там, где Левитов выронил ее из рук, схватил за свойственный ему, беллетристический конец, в то время, как публицистический очутился в руках писателя гораздо большей силы, чем Альбов, Г.И. Успенского. Талант последнего захватывает Альбова,

подсказывая мотивы и тоны, уже в «Конце Неведомой улицы» (1882). Даже самое название повести напоминает «Нравы Растеряевой улицы», которые прославили имя молодого Глеба Успенского. Это — одна из лучших вещей Альбова, а за исключением «Рясы», пожалуй, и самая значительная, как бытовая цельность. Но соседство Глеба Успенского оказалось для Альбова роковым. Художник-изобразитель, живописец с натуры, он вынужден был шагать в ногу с художником, который был не только таким же сильным живописцем, но и проникновенным мудрецом: глубоким изъяснителем этики фактов и любящим другом-учителем общества. Повесть о «Бергамотихином муже» потрясающе сильна во многих моментах этой тяжело-пьяной мещанской трагикомедии. Но читателю ее трудно отделаться от мысли, что, в сущности, он читает лишь длинное и подробное развитие конспекта, который у Г.И. Успенского сжат на пространстве трех страничек из «Тише воды, ниже травы», и что, несмотря на краткость, в конспекте-то все выражено еще глубже и жутче. Потому что у Глеба Успенского причины наглядными призраками стоят за следствиями, тогда как Альбов только художественно резюмирует следствия, мотивировать же их глубже, как только поводами, не умеет.

Альбов начал произведениями, носившими названия «психологических» и даже «психиатрических» этюдов, оправданные тем внешним сходством с приемами Достоевского, о котором я говорил выше. Но он был художник честнейший с собою и глубоко самостоятельный. Он очень рано понял, что психологические проникновения его весьма не глубоки, не новы, и, собственно говоря, сводятся к внимательному и добросовестному изображению логической механики внешних действий; что, по существу-то дела, он только очень детальный бытовик, ошибочную же славу психолога создали ему первые темы, а не их исполнение. И вот он испугался «панциря великана», который общественное мнение предла-

гало ему надеть, и после сравнительно оживленной первой деятельности умышленно замолк на много лет, как человек, догадавшийся, что, уж если ему говорить, то положение обязывает его к большому слову, а слова такого у него в запасе нет — нечего открыть ему обществу, которое ждет откровений, да и не только художественных, но и социальных.

Прежде чем замолчать, он имел радость, если не дать подобное откровение, то, во всяком случае, выступить чрезвычайно кстати и произвести большое впечатление романом «Ряса» (1883). Несмотря на цензурные вымарки, повесть о священническом вдовстве сыграла очень большую общественную роль, а в сословии, которого она прямо касалась, раскатилась настоящим ударом грома. Впечатление было тем острее, что Альбов в «Рясе» шел путем оригинальным — чуждым того обличительно-отрицательного тона, каким принято было говорить о духовенстве в предшествовавшие два литературные поколения. Напротив: автор взял едва ли не лучшие и симпатичнейшие типы, какие только мог он извлечь из духовной среды (иеромонах Гедеон, сам о. Петр Елеонский) — и на примере этих хороших людей, а не развратников или прирожденных пьяниц каких-либо, наглядно, просто и ярко явил весь ужас положения, создаваемого для вдового священника роковым законом: «одна у попа жена». Роман, смелый по теме и спокойно-уверенный по исполнению, рукою настоящего, совершенно созревшего мастера сделанный, не только, как говорится, «остался в литературе», но и повлиял на литературу. Положительные деятельно-идеалистические типы молодого духовенства, с которыми, несколько лет спустя, пришел и имел громадный успех Потапенко, ведут свое происхождение непосредственно от о. Петра Елеонского. Он их законный и прямой литературный предок.

Успех «Рясы» мог бы усыпить мнительного червя в сердце робчайшего художника, но — не ревнивого самоизучате-

ля Альбова. Он опять разглядел, что общество победила главным образом резкая, смелая тема, предложившая ему схему, столь простую и благодарную, что человек с его талантом, опытом и логическим умом, не мог в ней сбиться на обманный путь и, стало быть, слава сердцеведа досталась ему и на этот раз дешево. Он не мог не сознавать, что в конце концов «Ряса» — прямолинейное сочинение на заданную тему, и притом весьма несложную, а для круга читателей, к которому он обращал свой протест, и давно уже доказанную, и настолько бесспорную, что, собственно говоря, он стучит в отворенные ворота. Громадная сила чувства, вложенная Альбовым в этот роман, наполнила его картинами потрясающими. Из всего, что оставил по себе Альбов, «Ряса» — вообще, наиболее выработанное, выдержанное, цельное произведение, свидетельствующее о любовной пристальности труда, необычайной даже для такого строгого и взыскательного к себе художественного судьи. Видно, что Альбов в «Рясе» делал самое любимое, самое кровное свое дело. В романе нет ни одной страницы непродуманной, ни одного лица — особенно среди мужского персонала, — которое не было бы типическим. Но даже при общем высоком уровне некоторые главы и страницы «Рясы» поднимаются к совершенству, лишний раз и более чем где-либо еще подтверждающему, что в лице скромного, нерешительного, десятилетиями молчавшего Альбова таилась сила таланта первоклассного. Такими подъемными местами в романе являются, во-первых, все бытовые страницы, где на сцене монахи и петербургское белое духовенство. Сравните-ка эту простоту глубокого родственного знания и понимания, подошедшего к быту «Рясы» вровень с ним, с тем дворянским вывертом и взглядом сверху вниз, как подходил к тому же быту хотя бы такой внешний знаток его, как Н.С. Лесков. Он был, может быть, талантливее Альбова, а — что в даровании его было больше блеску, об этом нечего и говорить, но воинствующая манера

Лескова, неугомонно качавшаяся между дифирамбом («Соборяне») и полемическим памфлетом, перепортила весь его богатый материал то величаво-дидактическими масками, то гримасами шутливых карикатур. От лесковского духовенства в литературе остались по преимуществу резкие, почти театральные гримы, — драматический протопоп Туберозов, простак-комик дьякон Ахилла, монахи из «Очарованного странника», исторические архиереи «Владычного суда», «На краю света», «Мелочей архиерейской жизни», «Человека на часах» и т.п., — но не осталось ни одного объективно-художественного образа, возведенного в «перл создания». Сравните Александро-Невскую лавру в лесковском «Сказании о сеножатех» и в «Рясе»: разница сатирического анекдота и художественного очерка определится поразительно. Притом лесковское духовенство уже далековато от нас по времени, — от него еще отдает дореформенною бурсою Помяловского, тогда как Альбов открыл в нем публике формацию новых типов. Диккенсовы уроки, применяемые Альбовым в «Рясе» весьма широко, сказались с особенною яркостью в великолепных характеристиках, которыми Альбов достигал своей цели. Одного о. протоиерея Илии Плавского — крупного петербургского чиновника в рясе — достаточно, чтобы «Ряса» не была забыта как превосходнейший художественный памятник сословного быта, ничуть не изжитого и до наших времен. Если бы характеристика эта не была слишком пространна, следовало бы привести ее здесь, как один из блистательнейших образцов альбовского на этот счет мастерства. Но самая сильная часть «Рясы» — конечно, ее драматические главы: несчастные роды и смерть молоденькой попадьи Сонечки; пьяная ночь вдовца о. Петра Елеонского и покушение его на спящую мамку... Несмотря на весьма значительный рост новой русской художественной литературы о духовенстве, несмотря на Потапенко, Леонида Андреева и Гусева-Оренбургского, страдальческая сила, искренность и глубина

страниц этих остаются непревзойденными вот уже почти 30 лет.

Пресловутая сцена с мамкою дошла до публики только в полном собрании сочинений Альбова. Раньше она вычеркивалась цензурою. Читая эту страницу теперь, плечами пожимаешь от недоумения: что почиталось опасным к художественному изображению и оскорбительным для сословия (хотя бы и духовного, пользующегося правами особо внимательной охраны) тридцать лет тому назад?! Силою напрасного, не по разуму щепетильного, запретного усердия одна из самых правдивых и этически-поучительных сцен победы над половою одурью, одна из целомудреннейших по своему общему и конечному смыслу сцен русской беллетристики, — скрытая от публики, — двадцать три года (1883—1906) слыла по слухам порнографическою, кощунственною!.. В восьмидесятых годах удивительные басни ходили о главе этой. Сколько праздных умов соблазнилось грязными предположениями и догадками! Вышла, наконец, она в свет — черным по белому, и всех пристыдило чистое, спокойное творчество художника, истинного реалиста, для которого нет грязных сюжетов, потому что в душе его нет грязного отношения к сюжету.

Россияне, читающие и критикующие, народ чрезвычайно непоследовательный. То такие «проблемы пола» приемлют с хладнокровием, что чертям становится тошно не в переносном, а в самом буквальном смысле слова. То вдруг нападает на них pruderie'я *, достойное дамы, приятной во всех отношениях, и чуть не схимнический ужас к опасности оскоромиться. Недавно в руки мои попала брошюра, направленная против разных новейших порнографических писаний, составленная автором весьма дельным и говорящая много правдивого и полезного. Но с великим удивлением увидал

---

* Жеманство (*фр.*).

я в брошюре этой, что в числе праотцов российской порнографии автор отвел весьма видное место... Альбову! Поводом к обвинению послужила известная глава в «Сутках на лоне природы», в которой генеральская дочка, развращенная чтением скверных французских романов из дедовской библиотеки XVIII века, соблазняет парня-садовника и погибает в его объятиях... Брошюра придает главе этой даже историческое значение как бы некоторой эры: вот, мол, откуда пошла соблазнительная волна-то!.. Почему бы в таком случае не углубиться еще дальше и не объявить порнографическим некрасовского «Огородника»? либо даже лермонтовского «Боярина Оршу»?

Но если осуждение указанной сцены является результатом уж чересчур строгого пуризма, то нельзя не вспомнить — и вспомнить с благодарностью, — что по времени своего появления и «Сутки на лоне природы», и «Ряса» были как художественные иллюстрации полового вопроса вещами смелости почти новаторской. Они несомненно дали русскому художественному слову резкий толчок к повороту от лицемерной привычки обходить половые кризисы либо молчанием и красноречивыми точками, либо недомолвками и обиняками. На темах этих лежало строгое табу тургеневских и гончаровских традиций. Да и, как известно, самому Тургеневу-то жестоко досталось за «возьми всю меня!» Елены в «Накануне», а у Лескова есть пресмешной рассказ, как некая дама большого света почитала неприличным «Обломова», потому что там «локти... локти... какой-то простой очень госпожи!». «Позволялось» касаться полового вопроса с большею или меньшею откровенностью, если не сцен, то, по крайней мере, разговоров одному Достоевскому как патентованному специалисту всяких человеческих аномалий. Но писателям средних величин подобные попытки обходились дорого. Достаточно вспомнить хотя бы плачевную судьбу Лебедева-Морского, талант которого погиб, сразу пришибленный кри-

тическим целомудрием, ухитрившимся открыть порнографию там, где уже следующее десятилетие не увидало бы ничего, кроме резкой и справедливой сословной сатиры. Влияние Золя высвободило Альбова из-под гнета этих смешных и вредных предрассудков, и пример его развязал мысль и перо многим. Я живо помню впечатление, произведенное смелостью Альбова на нас, совсем юных тогда дебютантов, в том числе на Антона Чехова, и бесконечные толки и споры о ней в редакциях «Будильника» у А.Д. Курепина, «Света и теней» у Н.Л. Пушкарева... Злоупотребить можно решительно всяким литературным новшеством, и очень может быть, что часть продолжателей и подражателей Альбова воспользовалась брешью, им проломанной, для целей не весьма пристойных, но это нисколько не умаляет его заслуг: он открыл для художественного освещения полового вопроса новый, серьезный тон, чуждый прежних недомолвок, с одной стороны (классики после Гоголя), барской бесстыжей гривуазности — с другой (Маркевич, Клюшников, Авенариус, Лесков, Всеволод Крестовский и пр.) и обтесавший в удобоприемлемость честную, но грубую прямоту Писемского. И этот открытый тон Альбова продержался добрых 25 лет, и вряд ли это не единственный тон, который годится для подобных «щекотливых» сюжетов.

Я сказал выше, что безмолвие осенило Альбова, когда он понял, что от него ждут важного слова, а ему нечего сказать. Сознание, что его читают — и читают не как-нибудь, а с уважением и ожиданием, жило в Альбове не напрасно. Он действительно влиял. Перечитывая его произведения, с изумлением видишь, сколько его забытых образов и слов перешло, тем бессознательным, органическим усвоением, которое определяет литературную эпоху, к Потапенке, Чехову, Горькому, как много андреевского сказано им раньше Андреева... В трех строках «Суток на лоне природы» мне вдруг осветилось воскрешающим отражением давно забытое

происхождение первого моего беллетристического дебюта, повести «Отравленная совесть». Думаю, что многие писатели-ровесники, возобновляя в памяти альбовскую литературу, испытывают то же самое. Альбов не был для нас «властителем дум», но товарищем дум — несомненно. Без него было нельзя.

И вот как товарищ дум-то он, понимая свою великую нравственную ответственность, хотел или говорить значительно, или не говорить вовсе. И он замолчал. Писатель, который начал свою жизнь, как Достоевский, кончил ее, как Гончаров. И по тем же самым причинам.

Альбов замолк, будучи моложе Гончарова, а потому и не так спокойно, как последний. Он попробовал давать боевую беллетристику, которой требовало угнетенное время и которой оно вправе было ждать от Альбова на основании намеков и общего тона в «Дне итога». Но такие опыты, как «Страницы из книги о людях, взыскующих града», «Кольцо и желудь», «Рыбьи стоны» и т.п., окончательно убедили публику, да и самого автора, что боевой жилки в Альбове нет ни дюйма, и ни в проповедники, ни в духовные вожди он совершенно не годится. Когда Альбов попробовал изобразить «положительный тип» как синтез общественных своих мыслей и симпатий получился Филипп Филиппович («На точке»), вылитый аккурат по мерке той проповеди «маленьких дел», которою усиленно занималась тогда русская умеренно-либеральная печать с «Неделею» Павла Гайдебурова во главе, и певцом которой в беллетристике выступил молодой Потапенко. «На точке» читалось очень усердно и нравилось публике, может быть, даже больше «Лёльки» и «Рясы», но уже — не той публике, к которой привык Альбов, и единственно какой он желал для себя. Он перестал быть любимцем молодежи, его заслонили во внимании передового общества не только высокоталантливый В.Г. Короленко и начинающий Чехов, но и совсем не талантливый, прямолинейно-схематический, зато

искренно-шумный Мачтет. Об Альбове начали говорить как о писателе, вышедшем в тираж.

Жизнь от него отошла, и он ушел от жизни, затворился схимником в далекой квартире, вел существование обособленное, одинокое, угрюмое... Кто остался с ним делить его одиночество? Мы знаем это от него самого из послесловия «Глафирина тайна»:

Автор с нелицемерным смирением должен сознаться в своей полной отсталости от современных течений. Но что же ему прикажете делать, если он может быть только тем, что есть? Пусть новые люди свершают свое новое дело... Когда-то, давно, душу его посетили несколько образов из мира серых и тусклых людей, что живут изо дня в день, удручаемые посетившими их отовсюду мелкими житейскими дрязгами, у которых есть и свои малые радости, а еще больше неярких, невидных, но тяжких скорбей, которые веруют по-старинному и в Бога, и в сны, и в приметы, с упованием на воздаяние за гробом небесным блаженством за страдания в здешней печальной юдоли, ожидают непостыдной и мирной кончины и часто напиваются пьяными, иногда даже совсем безобразно, желают быть добрыми, но служат и злому, держатся цепко за то, чем люди жили до них, мудреных книжек не знают и бессильны их разуметь, могут крепко любить и горячо ненавидеть, ропщут, и борются, и терпят смиренно, пред всем неизвестным и новым, что не ладится с их строем привычных понятий, жалко теряются, а не то загораются бессильною злобою, с ужасом пятятся пред грозными вихрями, уносящими жертвы, что потом отмечают на страницах так называемой культурной истории общества, исполнены непрестанной злобы — как-нибудь уцелеть — и тоже хотят себе хоть немножечко счастья... О, сколько их, этих серых, тусклых людей, движущихся непрерывным потоком по грохочущим, блещущим золотыми буквами вывесок улицам, провождающих сумеречное свое бытие и вверху, и внизу огромных каменных ящиков, что называют домами, и средь бесконечных заборов и тихих окраин, и в недрах шумных и людных дворов, и в подвалах, под ногами снующей толпы, и в чердаках, под железными крышами, с их неподвижным полчищем труб, едва не касающихся плывущих над городом туч... Они всюду, везде, — и некуда, некуда от них нам уйти.

Есть легенда о том, как Рип-Рип гостил у гномов: он думал, что пробыл в горе их только одну ночь, ан, вышел — и не узнал мира: просидел он, оказывается, у гномов-то 300 лет!

Последние труды Альбова, составившие колоссальный и все-таки не конченный роман «День да ночь», производили по мере своего медлительного и редкого появления впечатление именно вот такого Рип-Рипа, пришедшего из глубины трехсот лет с намерением повидать покинутых вчера родных, друзей и соседей... На почве, удобренной «серенькою действительностью» Альбова и Баранцевича, бродили и возрастали новые поколения, которые находили уже, что и Чеховым-то использованную «пошлость» пора сдать в архив: уже писал первые свои рассказы в «Самарской газете» Максим Горький, шумели марксисты, плодилось ницшеанство, множилась и крепла словесная и книжная революция. И в эту-то кипучую жизнь возвратился старосветским выходцем Альбов предлагать свои, воистину, антики, — как раз то мещанство, кладбищенство, мелочи жизни, сереньую действительность, от которой общество только что отмахнулось обеими руками:

— Жизнь уходит вперед, нарождаются новые люди с новым укладом понятий о человеке, о жизни... Мы хотим новой веры, новых путей, — а вы все еще носитесь со своей старомодной Глафирой!

На упрек этот Альбов мог отвечать только, как мы видели выше: «Что же делать? Такова моя натура!» «Автор привязан душой к своим неживописным героям, и следует ли ему ставить во грех, что он не может быть равнодушным к совершающейся над ними судьбе?»

Предисловие Альбова к «Глафириной тайне» любопытно особенно тем, что Альбов откровенно излагает в нем механизм своего творчества:

Автор не может сказать, чем каждый из героев должен кончить, ибо не определяет событий, а лишь наблюдает, как они, эти события, сами слагаются, помимо его авторской воли, и потому в его работе отсутствует то, что называется сюжетом, в смысле наперед определенного плана. Автор *ниче-*

го не выдумывает. Вполне независимо от его произвола несколько лиц создают свою жизнь, сообразно тем привходящим явлениям, которых предугадать он не может и которые для него неожиданны так же, как и для самих «героев» его, управляемых тою неведомой силой, что, не слушая наших хотений, ведет свое тайное и непостижимое дело, которую мы замечаем, когда уж она проявилась вовне, и тогда мы ее называем судьбой или случаем, чья роль имеет значение, как для живущих реальною жизнью существ, так и для бесплотных теней, витающих в области фантазии и подчиняющихся этой самой неведомой силе, по взаимодействию ее между автором и обитающими внутри его образами. Разница тут лишь в периодах времени, неодинаковых для тех и других, ибо то, что в действительной жизни совершается в несколько дней и даже часов, для изображения того же самого автором может потребовать, иногда просто вследствие разных внешних и независящих от его личной воли условий, несколько месяцев и даже годов, между тем как они, это образы, продолжают жить своею дальнейшею жизнью, и он должен следить за их похождениями, присутствуя с ними в разных местах, даже иногда одновременно, и подчиняясь их деспотизму, когда тому или другому из них заблагорассудится, волей-неволей, исключительно только ему одному и отдаться.

Обратите внимание на форму этих выписок. Она характерна тою твердостью, с которою Альбов в 1906 году сохранил свою веру в старый литературный стиль, не сделав ни малейшей уступки модернизму. Обществу, которое привыкло хватать литературную речь на лету, столь быстро, наспех и поверхностно, что для вящего к тому удобства поляк Пшибышевский выучил русских литераторов писать предложения без явного подлежащего, а русский Дорошевич ввел в моду даже простое предложение разбивать на две коротките строчки, посредством двоеточия и тире, которыми оттеняется главное в предложении логическое слово, — так вот такому-то торопливому обществу Альбов бесстрашно подносит полустраничные периоды! Содержание их такое же старомодное и такое же невозмутимо-бесстрашное.

Эта программа чистейшего натурализма, доводившая механическое господство «человеческого документа» над свободным творчеством до беспощадного деспотизма, имела для «Дня да ночи» последствия самые роковые. Боль-

шинство из 800 страниц, занятых этим романом в двух томах марксова издания, написаны блистательно. Хотя они, по обыкновению, не дают много нового после Левитова, Помяловского, Глеба Успенского и самого прежнего Альбова, однако — появись они десятью годами раньше в эпоху «Дня итога» и «Воспитания Лёльки», — их достаточно было бы, чтобы создать начинающему автору репутацию первоклассного художника и поставить его в иконостас лучших имен русской литературы. Но для «заката старого века», а тем более для рассвета века нового альбовская возня с привидениями Левитова и Помяловского показалась странным и скучным «твердением задов», давно никому не нужных, безынтересных и даже бесцельных. Ведь автор сам сознался, что не он ведет своих героев, а они его ведут, и как он с ними расстанется, ему неведомо. Значит, это — так сказать — двуликий Янус: по средствам — голый натуралист, а по значению — «самодовлеющее художество», чуть не «искусство для искусства». Никогда, может быть, сочетание этих двух эстетических начал не проявлялось более последовательно, честно и доверчиво, чем в «Дне да ночи», и редко оно терпело большее фиаско. Натуралистическая последовательность мелочною медлительностью своею вытравила из романа всякое действие, а предметы изображения оказались чересчур мелкими и известными, чтобы покорить читателя своим «самодовлеющим» совершенством. Велика жизнь в «самодовлеющих» картинах голландских жанристов, но попробуйте изо дня в день оставаться с ними с глазу на глаз, и она, великая художественная жизнь эта, превратится в застылую мертвенность. Это самое погубило и Альбова. Из глаз его Самострелова и Павлуши Елкина смотрели на начало XX века все та же «Неведомая улица», все тот же полоумно-запойный левитовский чиновник Померанцев, все та же оброшенность и кладбищенство, о коих тосковал художник Череванин («Молотов» Помяловского), все то же бормота-

ние непостижимо упрощенных людей в непостижимо осложненной жизни, что давало Глебу Успенскому темы для «Разоренья» и «Тише воды, ниже травы». И так далее: бесчисленный ряд предков, пожалуй, даже до «Тюфяка» и «Старческого греха» Писемского и чуть ли не до Подколесина. Но все те предки хоть пассивностью-то своею вели куда-то, хоть протестом отравленной приниженности своей указывали: «Спасайте русскую жизнь! а то вот куда придет она! Мы пропали, а ведь вам-то и детям вашим предстоит еще жить! Так нельзя!..» Самострелов и Павлуша Елкин сидят в тупике уже без всяких протестов. Это тупик фатальный, атавистический. Незадолго до их нарождения великий русский сатирик вложил в уста современного ему обывателя горькое признание: «Мы навоз, и отцы наши были навоз, и дети будут навоз!»

Именно в милом фазисе твердого навозного самосознания встретились с русским читателем Самострелов, Павлуша Елкин, Равальяк... Быть может, встреча была предостерегающею, но — что могли сказать эти старые, пьяные грибы новым людям, которые и без того уже твердили, что «рожденный ползать летать не может» и громко звали к себе «буревестника, черной молнии подобного»?

Имя Подколесина невольно влечет за собою имя Кочкарева, а сочетание их заставляет вспомнить о схеме мужской дружбы, которая вообще была замечательно постоянна в старой русской беллетристике, а в особенности петербургской, в ней же наиболее часто и типически повторялась у Достоевского. Это кочкаревско-подколесинское сочетание — бессменная альбовская тема: Подколесин-Бергамонтов и Кочкарев-Трынкин в «Неведомой улице», Подколесин-Самострелов и Кочкарев-Равальяк в «Сороковом бесе» и «Глафириной тайне» (части «Дня да ночи»), Подколесин-Елкин и Кочкарев-Скворешников в «Сироте» (там же), Подколесин-Опорков и Кочкарев-Феноменов («Юбилей») и т.д. Лица эти весьма разнообразны по

своим характерам и темпераментам, в особенности Кочкаревы, которые зачастую весьма удалены от гоголевского своего прототипа. Но схема пары всегда одна и та же: бессилие кисельное, водимое в безнадежном мирке пошлости бессилием бурлящим, — тоскливый меланхолик и подвижной сангвиник, причем обыкновенно у Альбова сия «одна душа в двух телах» цементируется в неразрывную общность совместным непробудным пьянством.

Горе мое от запою,
Или от горя запой?

спрашивал в некрасовском отрывке некто, «как зверь рыкающий»...

Пьяницы Альбова подобных сомнений не возбуждают. Они никаких вопросов к жизни не предъявляют. Позади у всех у них остался длинный и дряблый ужас какой-либо с детства пережитой и господствующей в памяти тирании, образы которой — хочешь не хочешь, а заливай вином, чтобы не томили они стыдом и страхом, потому что настоящее пусто, праздно, ненужно, бесцельно и ничтожеством своим не в состоянии ни прогнать их, ни даже заслонить от испуганного воображения. Будущее — либо позорная смерть от белой горячки, либо «кухарочный брак», который с такою ясностью и неизбежностью угрожает Павлу Ивановичу Елкину в тот момент, как расстался с ним, не дописав романа, Альбов.

Автор, сердобольно избравший предметом своего изучения мир Подколесиных, да еще пьющих, не мог уделить много внимания женщине, уже потому, что Подколесин, как известно, разрешил свой «женский вопрос» тем, что выпрыгнул от невесты в окно. Это прыганье продолжается и у альбовских Подколесиных, принимая лишь разные формы. Все они, без исключения, влюблены в какую-то далекую небесную мечту о прекрасной женщине, и все, без исключения же,

одержимы либо ненавистью, либо страхом к женщине ближайшей, реальной, которую в таких-то и таких-то живых образцах посылает им навстречу судьба.

Временами чувство чего-то особенного, неудовлетворенного и не могущего быть замененным изучением созданий искусства, поднималось вдруг из недр его существа, заставляя его в эти минуты испытывать состояние глубокой и безвыходной тоски... Образ женщины возникал перед ним в те минуты... Неуловимы и смутны были ее очертания, и ни одно из когда-либо виденных им женских лиц не походило на этот живший в душе его образ, беспрестанно менявший свое выражение: то стыдливый и твердый в исполнении долга, как Татьяна из «Онегина», то нежный и самоотверженно-любящий или гордый и не гнущийся в бедствии, как диккенсовская Агнеса Викфильд из «Копперфильда» и Эсфирь из «Холодного дома»... Неужели они — лишь создания фантазии? Нет, невозможно!.. Они жили, и теперь существуют, *только он-то* ни разу их не встречал и никогда во всю жизнь их не встретит, неуклюжий и смешной Фалалей!.. (Филипп Филиппович в очерке «На точке».)

Ждут эти неудачные «Фалалеи» одиноко скучающей мечтою Агнес своих и никогда не дожидаются, а в ожидании дичают, питают душу суррогатом неуклюжих дружб и пьют мертвую. Трагедия жизни Павла Ивановича Елкина начинается, когда женится его Кочкарев, Семен Семеныч Скворешников: ревность подколесинской дружбы не в состоянии перенести приятельского брака и наступившего затем для Подколесина оброшенного одиночества.

— Вот теперь ты женат... да!.. так сказать... тово... прилепился... Ибо в Священном писании сказано... — Павел Иваныч поднял кверху указательный перст и, грозя им в пространство, прочел твердо, на память: — «Оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене»... *При-лепит-ся*... Ага!.. что это значит?.. (Павел Иваныч сделал глубокую паузу.) Понимаешь ты... эту... штуку?.. Оно, брат, тово... не комар начихал... Ау, брат! *Фертих!* Шабаш!.. С ноги уж не сбросишь... Так? Справедливо я... говорю?.. Да! Справедливо!.. Что вы все на меня таращите буркалы-то? (Павел Иваныч обвел затуманенным взором своих ближайших соседей.) Я не к вам... Ну вас... всех! Я к Семену... Слушай, Семен!.. Ты думаешь, ничего я не

чувствую?.. Врешь! Я чувствую все, и потому горько мне... больно!.. обидно!! Помнишь, как, бывало, играли мы в шашки?.. ходили друг к другу?.. Ты — ко мне, я — к тебе... Водочка это, бывало, у нас... грибочки... колбаска... (Голос Павла Иваныча патетически дрогнул.) Бывало, выпьем с тобой... дружно... душевно... А теперь... а теперь...

Эта удивительная свадебная речь мертво пьяного Елкина, собственно говоря, произнесена им не только за себя, но за всех альбовских Подколесиных, начиная еще с «Бергамотихина мужа», и скандал, устроенный им на свадьбе, — общий их протест. Против чего? А они и сами не знают... Робкий инстинкт слабняков, атавизм от Подколесина или Ивана Федоровича Шпоньки, рисует им в галлюцинациях страшное чудовище, порабощающее жизнь, и имя этому чудовищу — жена.

За исключением аристократической Лизаветы Аркадьевны Ремнищевой в «Сутках на лоне природы» и довольно бледно характеризованной попадьи Сонечки в «Рясе», все женщины, играющие важные, решающие роли в произведениях Альбова, принадлежат к типу властному, победительному, хищному: Анфиса Григорьевна, почтенная супруга «Бергамотихина мужа» («Конец Неведомой улицы»), Любовь Ивановна Кропотова («Ряса»), маменька и кухарка Клеопатра («День да ночь»), — или, по крайней мере, гораздо сильнейшему и умнейшему, чем соответствующие им мужчины: Глафира в «Тоске», «Сороковом бесе» и «Глафириной тайне» («День да ночь»). Кроткий женский тип является только эпизодически. О нем мечтают, но не досягают его. Это — не лица, а грезы, видения, Агнесы Викфильд и Эсфири из «Холодного дома». Добродушны из женщин Альбова только те, которые кончили жизнь: старушки, — их он описал прелестными, истинно рембрандтовыми тонами, — да молодые покойницы. Особо оговорить надо Веру, смирную сестру строптивой Глафиры («День да ночь»), девицу, наполнившую юную жизнь свою образами из неутомимо читаемых французских романов с таким усердием, как впоследствии Настя Максима Горь-

кого («На дне»), для которой эта романтическая мечтательница из табачной лавочки, по-видимому, послужила прототипом. А затем, когда мужчины Альбова вспоминают привязанности своих разбитых сердец, то таковыми, за исключением упомянутых уже идеальных видений (Варенька в «Дни итога», — незнакомая блондинка, любовь Павла Елкина, — попадья Сонечка, — Глафира, воображаемая Самостреловым в пьяном бреду, как девушка-жертва и т.п.), оказываются или проститутка Маня Ги-Го-Го, или вообще какая-нибудь коварная изменница с сердцем жестоким и легкомысленным. И прибежищем их идеалистически-пьяных порывов и излияний также по большей части становятся проститутки (Аделя, пленившая портного Бергамотова, «именинница Лида» в «Юбилее»). И это вся бедная поэзия, которая им суждена. Проза же создается грубейшею чувственностью, о случайностях которой потом трезвому стыдно и страшно вспоминать и за которую приходится расплачиваться порабощением в «кухарочном браке». На этой стезе спотыкаются решительно все они, не исключая о. Петра Елеонского. Последнего от соблазна дебелою мамкою спасает только бегство под любовное крылышко властной свояченицы. И всех этих женщин, чувственных захватчиц, Альбов с каким-то болезенным почти упорством в типе рисует совершенно одними и теми же красками. Для них у него как бы нет лица: есть только дугообразные брови, ярко-пунцовые губы и — всенепременная подробность — «высокие, упругие груди вздымались мерным движением под воротом белой рубашки...» Никаких иллюзий не дарит пессимист Альбов читателю: несчастным неврастеникам его алкоголического мира нет исхода в духовную красоту, — тело слабое обречено грубому соблазну тела сильного, а потом удовлетворенная паучиха пожрет порабощенного ею самца.

В быстром и лишь общими контурами наведенном очерке своем я полагаю достаточным остановиться только на

главнейших произведениях М.Н. Альбова и пройти мимо довольно многочисленных его этюдов, о которых в большинстве не знаешь, что это — художественный подмалевок к будущей большой какой-то работе или небрежно брошенный в печать газетный фельетон? Одному из таких полуфельетонов («Рыбьи стоны») суждены были громкий успех и широкая известность, не угасшая даже до сегодня, — и по заслугам: этот наивный дневник стерляди в трактирном аквариуме полон чувства, в нем дрожат искренние слезы, за правду которых так любил Альбова его друг-читатель, грешный и сконфуженный петербуржец. Остальные попали в печать, вероятно, не по доброй воле автора, но — ради хлеба насущного, а из собрания сочинений не исключены Альбовым лишь по авторской добросовестности: еже писах, писах! Ни один не возвысился над уровнем более или менее складно рассказанного анекдота. Юмор, которого так много и который так ярок в эпизодических сценах романов Альбова, совершенно отсутствует в этих отрывках без головы и хвоста. Альбов — вообще художник большого полотна. «Мелочь жизни», которой Чехову едва доставало на три-четыре странички, превращалась у Альбова в большую повесть («Юбилей»), а повесть мало-помалу, забывая свое фельетонное назначение и юмористические намерения, приобрела свойственные Альбову трагические тона и начинала производить совсем не шуточное впечатление. Несмотря на тяжеловесные длинноты, «Юбилей» вызывает сострадание, шевелит теплые человечные чувства, будит добрую, общительную мысль. Пред читателем медленно и обстоятельно развертывается трагикомедия маленького и скромненького учителя чистописания, многолетняя тишина души которого не вынесла восторгов юбилейного чествования и впервые в жизни разразилась своеобразным бунтом: «Сегодня мой день!» — ощутила свою индивидуальность (конечно, в пьяном виде) и жестоко за нее, задним числом, оскорбилась:

— Домой? Теперь? — воскликнул Тихон Антонович. — Валерьян! Понимаешь ли ты, что говоришь-то?.. Ехать домой, когда вся душа... Спать!.. Да разве могу я заснуть?.. Ну хорошо, ладно, поедем! Только не спать, не домой, а просто на воздух... За город, да! В «Хижину дяди Тома» поедем! Я должен тебе рассказать... Знаешь ли ты, что я до сих пор бродил, как впотьмах, как во сне?.. Все, все вокруг сон... и даже ты сам вот... все это сон, одни призраки!.. Одно только и существует на свете, чего даже не знаешь, живешь дураком целый век, а оно существует и вдруг сразу тебе и откроется!.. Вот и мне оно тоже открылось давеча, когда я стоял у окошка... Я увидел звезду... Ах, Валерьян! Душа преисполнена! Ты понимаешь, что я теперь совсем другой человек... Не могу я домой... Что там у меня?.. Жена спит... Тришка в клетке. Эх!.. Могу я разве заснуть?.. Не это мне нужно! Душа нежная, кроткая, женская... душа, которая может понять, что мне, старику, нужно сочувствие, глупому, пьяному...

Бунт «помолодевшей души» кончается, как и следовало ожидать, великим позором. Мечта о звезде и поиски понимающей кроткой души толкают юбиляра в компанию веселящихся молодых петербуржцев, а те под предлогом, будто везут Тихона Антоновича в гости к бывшему его ученику, присяжному поверенному Пересветову, в жене которого пьяный идеалист успел уже узнать свою «звезду», завозят бедного старика в публичный дом... Пробуждение, конечно, самое гнусное, ужасающее... Не только «облетели цветы, догорели огни», но еще, облетая, скверно насорили, догорая, начадили... И памятью о восторженном бунте Тихона Антоновича остался в квартире осрамленного, потерявшего к себе уважение старика — только насмешливый крик попугая Тришки: «Молодею душой! Молодею!»

Слова из юбилейной речи, которую Тихон Антонович до того усердно репетировал, что птица успела ее заучить...

Альбов старался написать «Юбилей» в самых легких тонах, но вышла его повесть — может быть, именно поэтому, — едва ли не самою печальною и гнетущею из всех картин его пессимистической кисти. В «Юбилее», как у Альбова всюду, прозрачны литературные влияния: много пришло

от Диккенса (bourru dienfaisant *, Феноменов; попугай Тришка), многое из «Скверного анекдота» Достоевского. Но весь психологический очерк метаморфозы Тихона Антоныча, — его внезапное пробуждение от житейской спячки, медлительный и долгий рост в небывалом прежде любопытстве к самому себе, бунт, победа, оскорбительное падение и возвращение в спячку, — не только замечательная по тонкой внимательности своей, но и едва ли не самая самостоятельная из аналитических работ Альбова. Яркая цельность Тихона Антоныча производит впечатление почти сценическое. Точно — при грубых декорациях и с плохою провинциальною труппою играет и тип создает высокоталантливый гастролер, вроде В.Н. Давыдова, что ли, для которого, будь «Юбилей» пьесою, роль Тихона Антоновича была бы кладом.

«Хитрый план Мамаева» (роман на старый лад) и «Великий царь Петр и Лизета» — да будут пройдены молчанием!..

Просмотрев очерк свой пред отправлением в печать, вижу, что в общей сумме он, пожалуй, непохож на обычный некрологический панегирик, каким принято провожать в могилу каждого знаменитого покойника. Но я говорил о писателе большой правды и думаю, что сказать и о нем точную правду — лучший способ почтить его память и явить, что деятельность его не минула бесследно, что кое-чему да научил Альбов следующее за ним литературное поколение. Сопричислить Альбова комплиментами надгробного красноречия к Достоевскому, Толстому и т.д. очень легко, равно как и попрекать неблагодарную публику, что она не ценила и забыла великий талант, безмолвствовавший среди нее. Но подобные панегирики оказывают памяти Альбова плохую услугу, и скромный, всегда самосознательный и правдивый М.Н. не поблагодарит за нее с того света. Возлагать бремя словесного величия на его плечи совершенно излиш-

* Благодетельный ворчун (*фр.*).

не: оно их согнет. Но разве лишь голая недобросовестность не увидит, что в этом человеке были настоящие элементы для величия, равно как и не сумеет различить причины, по которым они не получили развития и засохли в зачатках, не осуществив и десятой доли урожая, который обещали. Не в безвременье 80-х годов было расцветать подобным талантам, в которых сила усвоения была гораздо больше силы продуктивной. Как апостол натурализма, Альбов пришел поздно и не ко двору, не привилось это веяние в России, огражденной от него старыми своими реалистами; а выручить себя широкою и острою общественностью тем, как его учитель Золя, стать романистом-публицистом, «художником-передвижником» литературного слова, быть он и не умел, и не захотел, — потому что век свой он видел и чувствовал както с опозданием, трудно, тяжело, смутно, и не носил в душе никакого общего идеала, который он мог бы современности своей предложить. Век подождал-подождал, потом повернулся к другим, которые тот или иной идеал предлагали, — тем более, что в числе предлагающих были такие люди, как Л.Н. Толстой, Н.К. Михайловский, В.С. Соловьев, после М. Горький, а затем бесчисленные эстетические искатели новых форм и новой этики. Сим было расти, а Альбову умаляться. Сбылась на нем участь всех предтеч. И главная заслуга Альбова — заслуга предтечи. Без Альбова, мы, может быть, не имели бы Чехова или, по крайней мере, имели бы его не таким, как он «Сумерками» вошел в большую литературу. Эту «серенькую действительность», пред которою Альбов со своими громоздкими осадными орудиями стал в смущении, не зная, как ее штурмовать, начиная и не кончая десятки работ с исполинскими замыслами, бессильными получить осуществление (ни «До пристани», ни «День да ночь» не кончены), — это «мещанство», эту «пошлость мелочей жизни» Чехов успешней обрабатывал сотнями маленьких взрывов. Но победа его была в значительной степени

подготовлена тем условием, что Альбов, во-первых, уже разрыхлил осажденные стены и показал их слабые места, а во-вторых, приучил читателей опять уважать в беллетристике изобразительную силу и искать в ней не только «что», но и «как»... Через Альбова «образ» совсем было сданный публицистическою беллетристикою семидесятых годов в архив «искусства для искусства» и, по преимуществу, стихов, возвратился в художественную прозу. Сам Альбов не был синтетиком, но его творчеством накоплен громадный и непреложный бытовой материал для синтеза «серенькой действительности», мимо которого в будущем не пройдет безразлично ни один историк общества, культуры и литературы русского XIX века. Равно как ни один историк русского языка не обойдется без изучения речи Альбова — чистейшей, богатейшей, ярчайшей великорусской речи, которой обширный лексикон и непринужденно-уверенный, неистощимо-разнообразный в оборотах синтаксис достойны самого тщательного исследования, во многих отношениях могут, а иногда и должны остаться классическими образцами.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК И БЕЛИНСКИЙ

«Чем на большем отдалении от нас деятельность того или другого критика, тем труднее знакомство с его произведениями для всякого, кто не имеет серьезных знаний в области материала, представляемого критиком». Этим соображением вызвано в свет издание совершенно новой «Библиотеки русских критиков», «отличительной особенностью которой являются обширные комментарии редактора-специалиста по изучению творчества того или другого критика». Или, как еще более понятно изъясняет издательское предисловие: «Все предыдущие издания сочинений наших критиков не были до сих пор вполне *приноровлены* к запросам современного читателя», а в «Библиотеке русских критиков» они приноровлены будут. Белинского уже приноровил г. Иванов-Разумник.

Г. Иванов-Разумник превосходно изучил Белинского и, уж если может быть признана вообще, в самом существе своем, идея юбилейного «приноровления» Белинского «к запросам современного читателя», то, конечно, кому же, как не г. Иванову-Разумнику, этим приноровлением и заняться? Ему и книги в руки. И действительно: за что взялся г. Иванов-Разумник, то и выполнил превосходно. «Издание это является непрерывной, связной, единой «книгой»: биографический

очерк, статьи, примечания к ним, вступительные заметки, — все это вместе составляет одно неразрывное общее; все эти три тома — одна цельная *книга о Белинском*». Так рекомендует труд свой сам г. Иванов-Разумник, и мы совершенно согласны подтвердить эту смелую и гордую автокритику. Идя за г. Ивановым-Разумником как за суфлером, мы тоже «можем смело сказать, что из статей, вошедших в настоящее издание, нельзя вычеркнуть ни одной без ущерба для полной характеристики Белинского и его отношений к современной ему эпохе и литературе; наоборот, можно было бы прибавить еще две-три статьи из богатого литературного наследства, оставленного нам великим критиком». Но этой прибавки не удалось сделать, ибо г. Иванову-Разумнику предложено было приноровить Белинского не только к вкусам публики, но и к издательскому прокрустову ложу: размером не свыше 100 печатных листов большого двухколонного формата, и, буде Белинский окажется длиннее, отрубить ему ноги. Белинский оказался длиннее... «Весь материал удачно распределился в трех томах».

В системе приноровления г. Иванов-Разумник руководствовался следующими соображениями: «Дать все, что характеризует развитие философских и социальных воззрений, а также — и главным образом — его историко-литературных суждений. Белинский — первый и величайший наш историк литературы, и мы постарались включить в настоящее издание почти все, что «имеет отношение к этому вопросу, не забывая, однако, что фундаментом всюду являются социально-философские воззрения Белинского... Каждая статья Белинского сопровождается вступительной заметкой редактора, достигающей иногда размера большой статьи (см., напр<имер>, №№ 56 — «Сочинения Александра Пушкина» — и 66 — «Взгляд на русскую литературу 1847 года»); ряд этих вступительных заметок связывает все статьи Белинского в одно развивающееся целое; в общей сложности все эти

заметки занимают свыше двадцати печатных листов обычного формата, т.е. составляют целую книгу. Появление в сознании Белинского новых проблем; новое решение старых вопросов; перемена философских, критических и историко-литературных суждений; обстоятельства, сопровождавшие появление статей Белинского; библиографические указания — все это составляет содержание вступительных заметок и т.д., и т.д.».

И опять-таки г. Иванов-Разумник как обещал, так точно и сделал — ни прибавить, ни убавить к его самоотчету решительно ничего нельзя. Что хотел и мог, то и выполнил, и никакой чужой суд его с этой твердой позиции в правоте его не собьет. «Ты сам доволен ли, взыскательный художник?» Судя по тону предисловия, взыскательный художник очень собою доволен — и еще раз повторяем: он прав. За что взялся, то и сделал.

Особый вопрос, однако, — надо ли было делать то, что сделал г. Иванов-Разумник. Когда мы сравниваем два предисловия, издательское и редакторское, возвратясь к ним снова по прочтении всей «книги о Белинском», то фраза в первом о «полном приноровлении Белинского к запросам современного читателя» начинает звучать неточностью. На протяжении трех томов «книги о Белинском» читатель все время чувствует, что вовсе не Белинского к нему приноровляют, а его, читателя, приноровляют — и даже не к Белинскому, а к г. Иванову-Разумнику. Последний же, как и обещал, рассортировал Белинского по вышеизложенной своей системе и строго блюдет, чтобы читатель шел в шорах системы, не сбиваясь с шага и не оглядываясь по сторонам. Откровенно говоря, повелительная назойливость комментариев г. Иванова-Разумника, при всех их достоинствах, несколько надоедлива и утомительна. Он ни на минуту не позволяет читателю остаться с Белинским наедине и поговорить с ним непосредственно, по душе, с глазу на глаз. Читаешь — и все время чувствуешь

себя под тяжелой опекой человека, который решил не допускать тебя до непосредственного впечатления: сперва прими мой катехизис, а потом уже читай Писание! Как странно может действовать на впечатление чисто механическое распределение материала! Быть может, эти двадцать листов заметок и примечаний г. Иванова-Разумника, «составляющие целую книгу», было бы лучше и впрямь издать отдельною книгою или, по крайней мере, соединить их в обособленный отдел «юбилейного издания», впереди или позади текста самого Белинского. Но, рассыпанные между этим текстом, вступительные заметки г. Иванова-Разумника, право же, удручают. Торчат эти часовые на своих постах и — словно ревнивые друзья знаменитости — стерегут: не брякнул бы Белинский спроста читателю чего не следует, — да не понял бы Белинского читатель сдуру как не надлежит. И уж толкует г. Иванов-Разумник, толкует, направляет-направляет, дрессирует-дрессирует!.. Так что — кончает читатель «книгу о Белинском» — и единственное у него после нее воспоминание: «Эк меня взнуздали! Моченьки моей нету! Отпустите, сударь, душу на покаяние».

Направить читателя — дело весьма не худое, тем более в наше, сбитое с панталыку, время расшатанных и расплывчатых критериев. Но нам сдается, что г. Иванов-Разумник уже слишком перестарался. Нельзя так назойливо мелькать между глазами читателя и фигурою Белинского, что создается мельканием этим сетка какая-то, сквозь которую Белинского едва разглядишь. Нельзя, да и безнужно. Вопреки мнению г. издателя «Библиотеки», сочинения наших критиков пользуются весьма широкою популярностью, особенно же — именно Белинского. Читать последнего под неотступною наставническою указкою, по социально-философским «азам», для человека образованного, знакомого с литературою о Белинском и самим Белинским, — невыразимая скука:

Митя! Видишь карандаш?
За моей следи рукой:
Это «иже», а не «наш»...
Эко срам какой!

Для человека же малообразованного, это — взятие в идейный плен. Он не может войти в область Белинского иначе, как переступив через г. Иванова-Разумника. Хочешь, дитя, варенья? Проглоти сперва ложку рыбьего жиру. Хочешь прочитать статью Белинского, — прими сперва несколько страниц Иванова-Разумника. А что такое страницы г. Иванова-Разумника? Критический метод этого талантливого писателя известен. Он состоит в ловком выборе и искусной компиляции цитат из того же самого автора, о котором Иванов-Разумник пишет. Он заставляет автора говорить за самого себя, но — искусною комбинацией избранных мыслей и фраз — устраивает так, что автор говорит аккурат то и только то, что угодно г. Иванову-Разумнику. То же самое вершит он теперь — и, по обыкновению, весьма умно и искусно — также и с Белинским. Не сомневаемся, что многие читатели нового «Собрания сочинений», не богатые временем, почтут предварительные критические конспекты г. Иванова-Разумника настолько полными и исчерпывающими содержание предстоящих им статей Белинского, что подлинные статьи останутся непрочитанными вовсе, за ненадобностью дважды сосредоточивать внимание на одних и тех же темах. Зачем? Ведь нашелся добрый человек, который обстоятельно, внушительно, властно, авторитетно и вкратце рассказал, в чем дело, — ну и довольно: более глубокое ознакомление предоставим литературным начетчикам, а мы...

Разве мы — архиереи?
Что мы в книгах разглядим?

Так как главный интерес г. Иванова-Разумника привлекает соцально-философская эволюция самого Белинского, ко-

торая, хотя довольно сложна и переливчата, но не от статьи же к статье являла свои новые фазисы, то в предварительных заметках г. Иванову-Разумнику, по бесчисленности их, недостает, так сказать, естественных этапов. А при искусственном пополненени недостачи этой приходится бесконечно повторяться — и, по-видимому, не бессознательно, а умышленно, дабы, как капля долбит камень, так бы вдолбить желательную идею в неподатливую или непокорную голову.

Нам думается, что издатель «Библиотеки» не прав в своем утверждении, будто «все предыдущие издания и т.д. не были до сих пор приноровлены к запросам современного читателя». Если, например, мы сравним Белинского в редакции С.А. Венгерова с Белинским в редакции г. Иванова-Разумника, то, хотя мы и не почитаем венгеровского издания превосходным совершенством во всех отношениях, однако достаточно же оно хорошо, чтобы сам г. Иванов-Разумник нашел воэможным заимствовать из этого именно издания две трети текста в издание собственное. Будь труд г. Венгерова закончен, несомненно, г. Иванов-Разумник взял бы из него и остальную треть. Правда, венгеровское издание не претендует на социально-философское путеводительство по Белинскому, но мы должны сознаться, что считаем Белинского автором слишком прямым, ясным и прозрачным, чтобы такое неотрывное путеводительство было необходимо для мало-мальски интеллигентного человека. Зато венгеровский Белинский гораздо богаче историко-литературным материалом в разъяснительных примечаниях и приложениях, скромно расположившихся в конце каждого тома. Взявши том Белинского в издании Венгерова, читатель уже почти не нуждается в какой-либо другой книге по Белинскому и его литературной эпохе. Венгеров дает ему тут же все материалы для справок, комментариев, сравнений. В издании г. Иванова-Разумника то и дело приходится либо принимать готовые мнения редактора, либо, если вы на том успокоиться не согласны, по-

лучать сухое чисто-библиографическое указание, отсылающее вас, значит, за справками в библиотеку или книжный магазин. Собственно говоря, по крайней мере, половину социально-философского путеводительства своего г. Иванов-Разумник мог бы уступить под прагматический комментарий. В последнем, действительно, ощущается большая надобность, так как литература николаевской эпохи, за исключением корифеев, прочно забыта. «Книга о Белинском» при этом только выиграла бы, сократив ненужные повторения, — один ведь эпизод о том, как Белинский писал «Педанта» и статью о «Тарантасе», будучи «не красен, а бледен, и у меня сохло во рту» и т.д., рассказан три раза! — и приобретя фактическое освещение, которого ей часто недостает.

Заключая заметку, нам приходится повторить вопрос: «Для кого надо было издавать Белинского?»

Для интеллигенции подобное издание бесполезно, как твержение азбучных задов, как гид в хорошо знакомой галерее антиков, который образованному посетителю не может ничего сказать такого, чего тот не знал бы сам или хоть о чем сам не догадывался бы. Ученого учить — только портить. А между тем честный гид добросовестно бежит перед вами, усердно трещит свою заученную речь и водит вас от фрески к фреске, от картины к картине по однажды установленному шаблону, не давая толком взглянуть ни на что иное, кроме достопримечательностей, признанных им и другими гидами, а эти достопримечательности заставляет смотреть в своем порядке и с точек зрения тоже непременно установленных им и другими гидами. Дорвавшись до такой своей санкционированной достопримечательности, старательный гид наговорит о ней столько, может быть и справедливого, но вам совершенно лишнего, и так истычет ее во всех направлениях между показующими пальцами, отмечая детали, что, отходя от Венеры Анадиомены, вы вдруг с ужасом сознаете: «Да ведь я ее не помню! будто не видал!» Потому что вместо

линий божественного тела у вас в памяти — белое пятно, по которому расторопно и деловито мелькают усердные пальцы старающегося гида... И вместо благодарности закипает у вас в душе досада: пропали для вас даром и время, и первое драгоценное впечатление!

Так на верхах интеллигенции. Если брать снизу, то для начального, развивающего чтения и для самообразования новое издание дает не больше, чем старые. Оно не облегчает самообразовательной работы. Если бы г. Иванов-Разумник к бесспорно хорошей биографии Белинского и к бесспорно прекрасному, рационально построенному подбору статей прибавил опрощающий толковый пояснитель текста, он оказал бы несомненную услугу массе полутемных людей. Потому что в идеях-то Белинского такие начинающие читатели отлично разберутся: и сами не дураки, чтобы не понять умного человека. Но вот слова, как «шеллингианец», «фихтеанец», «гегелианство», «ресигнация», «экстрема» и т.д. для них — естественный камень преткновения, хуже всякого «жупела и металла». Четверостишие Некрасова о времени, когда мужик Белинского и Гоголя с базара понесет, истрепано настолько, что совестно даже и повторять его. Но все-таки для того, чтобы настало такое время, еще не сделано и первого шага. Надо, чтобы Белинский был переведен с интеллигентского языка на общедоступный, то есть подстрочно и постранично объяснен историко-литературным и лексическим комментарием. Иначе же, принеся с базара Белинского, мужик на первых же строках первых же «Литературных мечтаний» должен будет выпучить с недоумением глаза, ибо имена «Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов» ему неизвестны, сравнения с ними, следовательно, недоступны, метафоры об Ирах и Крезах он не понимает, французских цитат он не смыслит, а, следовательно, традиция идей, игра слов и тонкость образов от него ускользают. И — увы! — ни г. Иванов-Разумник, ни другой кто покуда не заботятся, что-

бы это было иначе. Народное издание Белинского для самообразования и толкового чтения будет большою культурною заслугою, и пора бы найтись предпринимателю, чтобы за него взяться.

Остается в промежутке интеллигенции и самообразования Панургово стадо равнодушного внешнего полуобразования, которое надевает его на себя как культурный мундир и носит, чтобы «интеллигентом почитали». Этому Панургову стаду, ищущему в чтении не самостоятельного развития а готовой гладкой мысли, verba magistri *, повелительной и авторитетной дисциплины, повиновение которой как символу веры заносит человека в определенную категорио и там ему в ней и конец, — этому полчищу умников без собственной идеи Белинский г. Иванова-Разумника потрафляет в самый раз и придется очень кстати. Потому что подскажет весьма много новых и иногда интересных слов, способных несколько освежить висящую над Панурговым стадом атмосферу изношенных и надоевших общих мест. Но не думаем, ни чтобы г. Иванов-Разумник с подобными целями взялся за столь тепло им любимого Белинского и так добросовестно над ним работал и в области его мыслил, ни — чтобы лишь о подобной публике он мечтал.

---

* Слова учителя (*лат.*).

ОСИП ДЫМОВ

Русский беллетристический рынок чрезвычайно расширился в последнее десятилетие, особенно во второй его половине. Спрос на изящную литературу рос гораздо быстрее, чем ее оригинальное предложение. Притом, исходя из глубин демократических, следовательно, небогатых, новый спрос требовал книги дешевой, а оригинальное предложение всегда и всюду сравнительно дорого, потому что обременено авторским гонораром. Переводную беллетристику можно издавать вдвое, втрое дешевле. При отсутствии у нас литературной конвенции, автор не получает ни гроша, переводчик — грош, книга стоит издателю почти только во что обходится бумага и печать да газетная реклама, — расходы, и для оригинального товара необходимые. Поэтому книжный рынок оказался завален переводами. Образовались даже целые фирмы, которые специально занялись «сближением западных литератур с русским читателем», то есть, проще говоря, продажею безгонорарной беллетристики. Как пример подобных фирм, может быть указано московское издательство В.М. Саблина. Оно не лучше и не хуже других, но захват его шире, а потому и типичность ярче. Конкуренция вызвала на этом рынке страшный спех, а спех и экономия расходов

породили чудовищную безграмотность. В оригинальном произведении язык, которым выражается переводная ярмарка, оказался бы скудным и «не удобным к помещению» даже для скромнейших требований самого захудалого и захолустного печатного листка. В переводах же такого первобытного словаря и синтаксиса оказывается совершенно достаточно для передачи художественных произведений, иногда даже классических. В критике как будто условлено эту переводную малограмотность почему-то щадить и не замечать.

Переводный рынок наш несколько подобен рынку готового платья и, согласно этому второму рынку, тоже направляется рынками Германии и Австрии: Мюнхеном, Веною и Берлином. Ход обывательской моды из Европы в Россию — всегда один и тот же: Париж изобретает нечто; Берлин, Мюнхен, Вена, усвоив, приспособляют этот dernier cri de Paris * к местному климату и вкусу своего среднего покупателя; а затем в Москве и Петербурге какой-нибудь Мандль, получив венские картинки, кроит по ним, тоже с местным приспособлением, русскую материю и отдает сшивать русским кустарям. Получается нечто, нельзя сказать, чтобы красивое и прочное, но неуклюжесть извиняется ради новости фасона, а непрочность возмещается дешевизною и быстрою сменою моды, которая не позволяет обывателю, щеголю «под Европу», долго носить один и тот же костюм.. На переводном рынке — то же самое. Вена, Мюнхен, Берлин одинаково уязвлены страстью parisieren **. Страсть эта в соединении с радостью, что был на свете немецкий поляк Фр. Ницше, который эффектно бросил в обывательский обиход множество хлестких афоризмов, лукаво предоставив ненавистному для него мещанству принимать их за философское мировоззрение, — страсть эта породила литературу поверхностного

* Последний крик (моды) Парижа (*фр.*).
** Парижской (*фр.*).

индивидуализма, «литературу-модерн». Представители ее весьма мало популярны у себя на родине и еще меньше в остальной Европе: ведь ей-то за ознакомление с их талантами приходится платить, в силу международной конвенции, чистые денежки! Зато у нас благодаря даровому ввозу и дешевому кустарному перешиванию фасонов получают они быструю и широкую известность, которая, правда, столь же быстро снашивается и должна уступать успех и место «последнему привозу свежих образцов», но о которой все-таки они и мечтать не смели в собственном своем отечестве. Точно так же, как всякий изношенный фасон, шумная «заграничная» известность, отслужив свой короткий срок, исчезает из памяти рынка и впадает в совершенное забвение. Если исключить Шницлера, — он, действительно, талантлив и потому, может быть, с ним на русском рынке было меньше дел, чем с другими звездами германско-австрийского «модерна», — то ни одно из светил последнего не удержалось на горизонте русской славы своей более года. А затем вместо восхищения начинало — именно опять-таки, как старомодный фасон, — вызывать насмешки и даже отвращение. Попробуйте-ка сейчас предложить г. Саблину полное собрание сочинений Фр. Ведекинда, которое три-четыре года тому назад он, что называется, оторвал бы с руками. «Но улыбкой роковою русский витязь отвечал...»

Какое отношение имеет все вышесказанное к книге г. О. Дымова? А вот какое. Кроме людей, одевающихся в магазинах готового платья и, стало быть, себя подгоняющих под обязательный модный фасон, имеется в обывательщине множество людей с требованиями повыше. Они, хотя гонятся за модою, однако желают, чтобы не они к фасону были подогнаны, но фасон к ним, а потому заказывают платье свое, по мерке, большим, средним и малым портным. Так как последние шьют также по заграничным сезонным картинкам, то обязаны потрафлять, чтобы, Боже сохрани, не отстать от мод-

ного журнала. Таким русским портным по заграничным картинкам на русском беллетристическом рынке соответствуют те писатели модерна, которые ни переводны, ни оригинальны, а застряли где-то посредине. Все их приемы, тон, манера, — переводные, а фабулы, имена, среда, обстановка — как будто и русские. Писатели эти, имя же им сейчас легион, тоже бывают большие, средние и малые. Г. О. Дымов принадлежит к их числу и, кажется, считается в больших.

Мы думаем, что даже в самых больших, потому что венско-мюнхенский шик г. О. Дымова не подлежит сомнению. Если г. О. Дымов бывает неуклюж, то лишь когда желает блистать парижанином, Мопассаном или Октавом Мирбо этаким. Но это уж роковая неудача — столько же камень преткновения, сколько и предмет вожделения — всех представителей венского шика. Если на этом камне сам Шницлер иногда спотыкается, то г. Дымову и Бог велел. Зато, изображая литературного венца, он щеголяет таким молодцом, что, право, любая Мицци, встретив его на Рингштрассе, наверно, подумала бы: «Этот господин приехал в Вену не далее, как из Граца или Брюнна».

Г. О. Дымов, несомненно, даровит. Но, к сожалению, его дарование вывихнуто в погонях подражательности до почти полной уже невозможности говорить с читателем попросту, без кокетливых ужимок, гримасок и заученных поз. Кто в жизни не знавал барышень, имеющих успех тем, что необыкновенно мило и наивно изображают из себя «деточку»? В 16—18 лет у многих выходит очаровательно. Но когда барышне стукнуло годков тридцать, и приходится ей для старой неизменной роли «деточки» и личико белить, и щечки румянить, и все-таки сквозь притирания сквозят гусиные лапки у глаз, и не вяжется ребячий лепет с холодным, разочарованным, сухим взглядом опытной и усталой, блекнущей в последнем ожидании жениха старой девы, — нерадостное это зрелище! Так, вот, заигрался в «деточку» до слишком

поздних лет и г. О. Дымов. И, чтобы выдержать привычный тон, так же вынужден теперь гримироваться и штукатуриться. Иногда сквозь слой грима прорывается нечто хорошее, свое, такое, что невольно говоришь себе: «Есть ведь у него какой-то живой бог внутри, дышит, — ах, если бы только эту верхнюю штукатурку снять!»

Но дыхание задушевного внутреннего бога — момент, а кокетство нарумяненной и набеленной наивности тянется часами. И особенно нехорошо оно там, где настоящая наивность творчества так насущно нужна, что, если ее нет, то не стоит без нее и приступать к творчеству: все равно ничего не выйдет. Так случилось с большою повестью г. О. Дымова «Влас». Хотел г. О. Дымов написать детство гениального ребенка, прирожденного индивидуалиста и эстета, мыслящего образами, сверхчеловека чуть не с пеленок, а по всему тому, и трагически одинокого среди «непонимания» близкими ему людьми. Но не так-то легко продумать и воплотить не только нового Николеньку Иртеньева из «Детства и отрочества», но даже и «просто Долгорукова» из «Подростка». Если бы г. Дымов подошел к детству «Власа» с искреннею простотою воспоминания (кто же не субъективен хоть несколько, когда пишет детство?), его таланту, обладающему мягкою кистью и иногда способному к задушевным лирическим нотам, вероятно, удалось бы создать ряд красивых живых сцен из детской жизни, психологически наблюдательных, а следовательно, и полных самодовлеющего значения и интереса. Но г. Дымов слишком испорчен работою, предназначенною быть «не хуже Шницлера», «аккурат Ведекинд», «как есть Альтенберг» и т.д. Он не столько пишет, сколько то сему, то оному «нос утирает». И в «Власе» он взялся за кисть с эффектною манерою мастера, который затем и к полотну стал: «А вот погодите, я вам покажу, как создаются шедевры из детской жизни!» Сразу же загримасничал сам, да и детскую рожицу «Власа» своего растянул в бесконечную грима-

су. И вышло нехорошо. Интересно дитя в литературе, когда оно — показатель поколения, психологический тип: Сережа Багров, Николенька Иртеньев, Николай Негорев, марковский «барчук», «мой современник», Давид Копперфильд и т.п. А чего же показатель, какой же тип этот исключительно злой, эгоистичный, всем делающий пакости, одержимый болезненною самовлюбленностью, мстительный мальчик, из которого вырастает злой, эгоистический, проведший первый меридиан через свою особу господин, добивающий весьма гадкими словами полумертвую мать свою — в то утро, когда вешают ее любимого сына, а его старшего брата? Читали мы про такое же себялюбивое детство в «Николае Негореве» Кущевского. Но там оно было началом злой и горькой сатиры, а ведь г. Дымов на своего «Власа» совсем не сатирически смотрит, но весьма даже его обожает, стараясь, чтобы читатель проникся к нему симпатией и жалостью. За что? Из ребенка-невропата вырос невропат-юноша. Факт логический, место его в классификации жизни известно. Но дальше-то что же? Кто виноват, что так случилось? Наследственность? воспитание? среда? Показал нам Дымов почву, из которой поднялся росток этого невроза, и общество, в котором разросся он? Нет. Кроме Власа, г. Дымова никто не интересует настолько, чтобы он потрудился дать фигуры вместо зыбких и бледных пятен. Если бы кого-то не увозили в Сибирь, а кого-то не вешали, мы не знали бы даже, в какой стране происходит действие: до того безличен «переводный» фон повести. По-видимому, Влас растет где-то в северо-западном или юго-западном краю. Уже это «или», которое поневоле приходится сказать, выразительно. Юго-западный край — сцена детства в «Записках моего современника» В.Г. Короленко. Посмотрите-ка, какая там пестрая и красочная, разнообразная для всех слоев и рас смешанного населения характерная жизнь. У Дымова — даже семья Власа загадочна. Кто эти люди? русские? поляки? евреи?

немцы? Все может быть, как может и не быть. Все не на земле стоит, а висит в воздухе. Носятся бескрасочные воздушные люди и говорят бескрасочным переводным языком. И во всем этом чувствуется умышленность, условная нарочность, напрасно насилующая свободу таланта, который нет-нет да и прорвется иногда, непосредственно вспыхнув огоньком реальной, самостоятельной правды (например, как сестра Оля маленького Вадима слюною вымыла; встреча с вольноопределяющимся пред его самоубийством). Но г. Дымов сам уже себе не верит, что он в состоянии быть естественным, и зажимает своей правде рот, а на место ее подсовывает читателю какую-либо новую, жеманно-картавую, «деточкину» штучку.

Г. О. Дымов писатель с юмором. Эту прекрасную сторону своего таланта он глушит безбожно, но юмор, как шило, в мешке не утаишь: проткнет отверстие в серой дерюге и заблестит. Если юмор почти изгнан из «Власа», зато он ярко светит в маленьких рассказах той же книжки. «Елена Шумская» читается с любопытством, несмотря даже на то, что будит память о Чехове, из «Попрыгуньи» которого родился и сам г. «Осип Дымов». Чехов не раз касался параллельных тем («Приданое», «Ионыч»), и в таком же периодическом нарастании будничной трагедии о напрасно истраченной, праздно увядшей, безлюбовной девичьей жизни. Сильный и мрачный отблеск Мопассана — «Зубной врач». Хорошенькая поэма в прозе — «Слава»... Все проблески прекрасной возможности. И после каждого все более хочется, все искреннее ждется, чтобы возможность разгорелась в осуществление. Когда г. Осип Дымов поймет, что жизнь не есть смена эффектно надуманных поз, а писательство — не акробатическая пляска по канату; когда мысль его осветится любовною жаждою живого человеческого творчества, и пошлет он талант свой в широкий мир, да служит миру, — он пожалеет, что истратил так много времени на литературный дендизм, к которому сейчас трагикомически сводится его писа-

тельская личность, и на примерку чужих фасонов, в которую сейчас разменивается его литературная способность. Приходит ко всякому писателю пора, когда его мучительно охватывает жажда явиться не «совершенным Шницлером», не «точь-в-точь Альтенбергом», не «совсем Ведекиндом» — кто там еще? — но самим собою! Да не в гордом, оторванном от мира, сверхчеловеческом красовании, но — единым от родимой среды, работником на нее и полезным ей. Нет таланта, настолько беспечного, чтобы когда-нибудь не потряс его этот вещий зов. Но многих он окликает слишком поздно, когда дарование изношено и растрачено, и воля, ослабленная потворством жизни, окутанная массою привычек, уже бессильна перейти в действие. Жертв подобного опоздания видим мы сейчас много среди тех «полумолодых» литераторов, у которых истекшее десятилетие юность-то отняло, истрепать-то их истрепало, а большими не вырастило; и застряли они теперь в плачевной позиции «маленьких собачек — до старости щенков...» Искренно желаем, чтобы г. О. Дымов не оказался в этом напрасном сонме. Ибо человек в нем чувствуется — даже в пустяковых мелочах — умный и —даже в подражательности — даровитый.

Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК

Когда я получил телеграмму «Дня» о кончине Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка и победил в себе ее первое тяжкое впечатление, память подсказала горькое сходство:

— Торквато Тассо...

Вчера триумфатор, сегодня мертвец.

Всего неделю тому назади посылал я Ф.Ф. Фидлеру радостную телеграмму, поздравляя Дмитрия Наркисовича с сорокалетним юбилеем, а сегодня пришлось уже отправить телеграмму надгробного рыдания!.. О жизнь, жизнь русская! Как в тебе неудачны и коротки радости и веселья, как ревниво и беспощадно стерегут тебя печали и смерть!.. Едва встрепенется радостная птица Сирин, едва она выберет предлог и случай, чтобы расправить горло соловьиными трелями, как птица горя, черный Алконост, уже тут как тут. Насмешливо качается на соседнем дереве и ждет скорой очереди, — когда мигнет ему Гамаюн, птица вещей судьбы, чтобы ворваться в песню Сирина погребальным слезным воем...

Д.Н. Мамин-Сибиряк принадлежал к числу людей, которых величину, значение, дела и место их в эпохе начинают понимать, «только гроб увидя»... Имени Мамина-Сибиряка

можно с уверенностью предсказать великую будущность. Гораздо большую, чем было в настоящем. Скромный и кроткий, полный чувством собственного достоинства, писатель благороднейших этических традиций и честнейшей общественной мысли, писатель-джентльмен и рыцарь, Мамин совершенно не заботился о том, чтобы вечно стоять «человеком на башне», которого в городе, хочешь не хочешь, видно, откуда ни взгляни. Еще менее годился он бить в барабан славы своей на забавных подмостках литературного балагана, где — хоть шею сломай, кувыркаясь, а внимание почтеннейшей публики, врешь, изволь привлекать. Ему было решительно все равно, говорят о нем или нет. Он не боялся, что его перестанут читать, был равнодушен к возможности забвения и с величайшим юмором говорил о сверхъестественных гонорарах, которые искусственно вздувались и взмыливались на беллетристическом рынке «начала века» и о которых большие писатели конца прошлого века, в том числе и Мамин-Сибиряк, не имели даже и мечты. В 1904 году в Царском Селе я имел с ним беседу на эту тему — о гонорарах — по поводу одного, много тогда шумевшего, модного произведения.

— Вот теперь и посудите, — сказал Мамин, лукаво улыбаясь, — ведь меньше такого-то мне взять будет не по чину, — нельзя?

— Конечно, не по чину.

— А больше ведь, пожалуй, не дадут?

— Трудно, чтобы дали. Ведь и так уже «рекорд побит»...

— Ну, а я и столько же взять считаю недобросовестным, — серьезно сказал Мамин. — Не для этого автора, конечно, — он, может быть, имеет какую-нибудь особую свою публику, которая оправдает коммерческий расчет его издателя, а для самого себя... У меня такой большой публики нету.

— Вас очень читают, Дмитрий Наркисович.

— Читают! — добродушно перебил он, — для того, чтобы получить такие деньги, надо, чтобы твою книгу не читали, а... ели!

— Так как же вам теперь быть-то, Дмитрий Наркисович?

Он рассмеялся так, что даже стал совсем красный, и, утирая слезы, выступившие на глаза, едва вымолвил:

— Да... разве... так уж непременно и надо писать? Можно и... совсем не писать!

Прихлебнул из стакана пиво и повторил как бы и с удовольствием:

— Очень можно совсем не писать!

Я не знал Дмитрия Наркисовича близко, узнал его поздно и встречал его не более десяти раз, из которых подолгу, «с разговорцем», только трижды: один раз, когда после случайной встречи на Невском, близ редакции покойной «России», мы затем неожиданно просидели битых четыре часа в каком-то кавказском погребе, поедая какую-то имитацию шашлыка, запиваемого сандальным раствором под псевдонимом кахетинского вина, и говоря об Урале и Михайловском; другой раз на террасе Павловского вокзала; в третий — у меня в Царском Селе, в короткое мое житье там между двумя Вологдами. Между этими тремя разговорами проходили большие сроки, но в Мамине было что-то, почему человек, однажды его узнав, затем уже навсегда сохранял его в памяти и душе любимым и близким, и поэтому многие-многие годы спустя после разлуки можно было встретиться с ним, точно не виделись всего лишь со вчерашнего дня.

— Вот и вы, — просто и коротко сказал он, входя ко мне в Царском Селе после того, как мы два года с лишком не видались, и точно я не из Сибири вернулся, а из Павловска, что ли, приехал. Сел, закурил трубочку и заговорил о том, что между Уфою и Самарой (он не знал, что я за год перед тем был переведен в Вологду, и думал, что я прямо из Мину-

синска) сейчас должны быть весьма глубоки снега, и башкирам приходится трудно, особенно которые в степи при конских табунах:

— Поди, морды-то ветром в говядину обглодало...

Я смеюсь, говоря ему, что он делает буквально то самое замечание, которым два года тому назад под Омском встретил один из везших меня в ссылку жандармов, рязанец родом, дикое для него зрелище пенькующего по снегу скота и гарцующего подле обмороженного киргиза.

— А вы ладили с жандармами, которые вас везли? — спросил Мамин.

Я отвечал, что очень ладил: во все трех сменах нижних чинов, сопровождавших меня от Петрограда до Минусинска, попались хорошие, мягкие люди, с которыми ехать было нетрудно, а для изучения они были очень любопытны. Особенно вторая смена, от Рязани до Красноярска, с которой пришлось провести семь суток: достаточный срок, чтобы люди, принужденные быть вместе, втроем, в тесном отделении вагона, или возненавидели друг друга, или, наоборот, выучились уживаться, убедились, что и с той, и с другой стороны не так страшен черт, как его малюют. Очень интересно следить, как с человека сперва сползает шкура жандарма, потом шкура солдата и, наконец, остается перед тобою настоящий основной человек — мужик от земли, который ни о чем-то, правду говоря, глубиною ума своего и сердцем не думает, кроме как о родной своей рязанской деревне, ее интересах, дележках, спорах, судбищах и т.д., и т.д. Помня что незадолго перед моей ссылкой некоторое время невольно провел в Рязани П.Н. Милюков, я спросил моих стражей, знают ли они его. Знали и одобрили:

— Приятный господин.

Впрочем, один с оговоркою:

— Только уж очень на велосипеде здоров кататься.

— А вам что?

— Как что? Он на велосипеде сто верст может сделать, а мы потом всю эту его путину проверяй пешедралом... Ноги-то не колеса!

Мамин слушал, покуривая и посмеиваясь чудесными своими, яркими, редкой красоты, алмазными глазами…

— Да, — сказал он, — это так... Хорошие люди везде есть, под какою угодно шкурою можно до хорошего человека докопаться… Я вот здесь к быту сыщиков присматриваюсь. Ведь им здесь счета нет. Гляньте в окно: уж, наверное, какой-нибудь милостивый государь гуляет по панели, делая вид, что его нисколько не интересуют ваши окна и подъезд. Да, пожалуй, действительно, не интересуют. Что ему? Очень нужно, подумаешь, что Мамин с Амфитеатровым сидят, пьют пиво и о чем-то разговаривают. Отлично знает, что Царского Села мы тем не разрушим. А служба требует. Службу справляет. Для «дневника» годится, как доказательство, что недаром провел свой день. Над ними начальство их тоже измывается. Один мне жаловался, что донес сглупа этак-то: были у писателя Мамина такие-то и такие-то писатели, беседовали, о чем неизвестно, и пили пиво. А полицейский юморист сделал отметку: «Важно! Непременно узнать, сколько бутылок!» Тот и поймал меня на улице: «Скажите, ради Бога! Начальство требует...» Посоветовал ему поставить как можно больше... Сперва, знаете, эти господа меня ужасно раздражали видом своим и мерзки мне были. А когда пригляделся, — ведь это же здесь легко и замечательно откровенно, только что вывески к некоторым домам не прибиты: дачевладелец и сыщик, лавочник и сыщик, сапожник и сыщик... Так, когда пригляделся-то, вижу: люди как люди... Даже страшно это, знаете: такой промысел, а занимаются им...ничего... тоже люди… два глаза, две ноги, две руки… И удивительно распределено: человек — этак, а служба — этак… Два строго разделенных бытия...

На первых порах, когда Мамин-Сибиряк поселился в Царском Селе, за ним, конечно, пристально следили, но затем его мирное житие, кажется, совершенно успокоило бдительные власти, а что касается местных блюстителей, они освоились с Маминым настолько, что даже усерднейше ему козыряли… Он пресмешно рассказывал, как однажды ехал из Царского в Петербург в одном вагоне с тремя сыщиками, из которых двое, пожилые и, очевидно, старшие по служебной лестнице, поучали третьего, молодого, только что получившего прибавку жалованья и повышение, какой чести он удостоился и как теперь должен вести себя, чтобы оправдать милость начальства неукоснительным усердием...

— Тоже и здесь честолюбие! — заметил я.

А Мамин возразил:

— Нет, знаете ли, у них больше мечта: поскорее отличиться, чтобы попасть на высший оклад и сдельные награды, сколотить маленькие деньги и выйти в отставку... Ведь тоже, знаете, не радость: стиснув зубы, служат. Отставка с деньжонками — идеал. Что жестокостей и несправедливостей, я думаю, совершается, чтобы поскорее до нее добраться через выслугу!

— Да ведь говорят, отставок там не бывает.

— Этого не знаю... Во всяком случае, — хоть отклониться от действительной службы… Вон как... — он назвал мне одного известного мне дачевладельца, — он уже лет десять как не участвует в деятельном сыске, а между тем все знают: числится и жалованье получает... тридцать рублей, что ли, в месяц… Пустяки!.. Я его спрашивал: «Зачем»?.. Говорит: «А с какой стати я буду от денег отказываться? На полу не подымешь!..» Девочка у него малютка... Не видали?.. Прелестнейшая… Отличное образование дает ей...

Я думаю, что ребенком Дмитрия Наркисовича мог подкупить сам Ванька Каин: до такой степени он любил детей. И дети отвечали ему полною взаимностью. «Аленушкины

сказки» не более как малая и, может быть, даже не лучшая часть творчества Мамина (и фамилия-то у него была такая: каламбуром детской звучала!) для детей. Сказочник изустный в нем был еще сильнее сказочника-писателя. Он как-то сразу, первым взглядом оценивал ребенка и знал, что именно надо ему сказать, чтобы раскрыть его душу, потянуть и привлечь к себе. И слова у него какие-то были для детей — особенные, простые, свои, правдивые. Я читал «Посолонь» г. Ремизова. Это, в своем роде, чрезвычайно талантливо и заманчиво, остроумно и ярко. Я знаю опытно, что сказки г. Ремизова очень нравятся (а это не легко!) даже детям не с весьма пылкою фантазией и, так сказать, с положительным настроением ума. Но все-таки это пряная сказка, и языком, и всем строем своим. У Ремизова, все время — бьющая по нервам, щекочущая, кинематографическая дрожь: фантазия виляет, крутится, скачет, строит рожи, сочиняет вычуры языка и положений, слишком подвижно и «закомуристо» играет словом и фразою, что иногда удачно, а иногда надоедливо и вредно, порою же и не совсем пристойно. Во всяком случае, это острый сыр, который вкусен, но не для всякого детского желудка приемлем. Сказка Мамина была как свежая ключевая вода, оживляющая утомленный детский организм питьем ли, мытьем ли, как хороший, вкусный хлеб, хорошо выпеченный из хорошей муки. С простотою, как в свой дом, входил этот «чужой дядя» в детскую душу и, сразу сделавшись для нее своим дядею, бросал в нее глубоко и метко зерна, которые затем оставались в ней зреть, часто даже бессознательным посевом. Я знавал детей из семей литературного круга, которые, вырастая, забывали самого Дмитрия Наркисовича, но сказку его они не только помнили, но, уже не зная, чья она, продолжали ее рассказывать именно так и с теми оттенками, как когда-то она запала им в сердце из его уст. И — опять большая разница с нынешними сказочниками для детей, не исключая и талантливейшего из них,

г. Ремизова. Их сказка всегда, собственно говоря, только присказка, удлиненная прибаутка, самодовлеющий забавный анекдот или цепь анекдотов в забавных словах и звукосочетаниях. От них, в непосредственном их воздействии, ребенок может и похохотать «нутряным» смехом, и поплакать «нутряными» слезами, но мудрено, чтобы он вынес из них чувство, проникнутое сознательною идеей. Педагогическое значение таких сказок исключительно в развлечении, в отдыхе от мысли и эмоций, в рекреации. Сказка Мамина, все равно как и его соперника, другого покойного чудодея в этой области, Н.Г. Гарина-Михайловского, умела, играя, этически учить. И как тепло и светло! Как далеко от скучной моральной дидактики, которою была убийственно опошлена старинная детская литература, заимствованная у французов и немцев, — одна из главных причин (нет худа без добра) того скороспелого развития, которым иностранцы попрекают наших отроков и юношей. Русские дети, по существу, очень здравомысленные, в большинстве, дети, — маленькие рационалисты. Их не легко удовлетворить кисло-сладким лицемерием Бланшара, госпожи Сегюр (урожд. гр. Ростопчиной), Ламе Флери и т.д. Знаю множество русских детей, которые делают скучные лица, как только заслышат роковое «и вот, милые дети». И это вовсе не потому, чтобы они, как говорится, «большились», а просто потому, что узнают заранее по тону: вот, значит, сейчас начнется кисло-сладкое, свысока-учительное, пошлое, взрослое лицемерие. Быть может, писатели для взрослых попадают в руки русских детей, действительно, слишком рано. Но это только потому, что у нас нет писателей для детей. Поневоле даешь мало-мальски развитому мальчику Толстого и Чехова года на три, на четыре раньше, чем следовало бы, потому что иначе нечего дать. Не госпожою же Чарскою кормить растущее молодое самосознание. А ведь плаксивые капли «для» расстройства детского желудка, которые называются повестями г-жи Чар-

ской, еще сравнительно лучшее из того, что постоянно фабрикуется в русской литературе для детей. Другие поставщики и поставщицы — просто срамное дело. Какие-то Скублинские (ибо, по большей части, они все-таки принадлежат к нежному полу) грамотности и детского самочувствия.

Уж очень не хочется мне прибегать к заезженной цитате, опошленной бесчисленным повторением, а ничего не поделаешь, — надо. «Сейте разумное, доброе, вечное», — знал это, понимал и умел Дмитрий Наркисович. И сам он был кругом некрасовец... последний, быть может, настоящий некрасовец... кругом! целиком!

Реалист... народник... предтеча реалистов-романтиков литературной революции! Учитель и литературный отец М. Горького и всех, кто с ним!

И был он до старости молод. Всегда молод! Не по возрасту, а по духу. По содержанию будущего, которое таилось в его настоящем.

Не видал я Мамина-Сибиряка по возрасту молодым иначе, как на портретах. Когда я впервые с ним встретился, ему было уже около 50 лет и был он человек грузный, отяжелевший, обрюзглый, преждевременно состарившийся и дряхлеющий. Но в огне глаз, — красивее которых, найдите-ка! — но в основном благородстве оплывшего лица так ярко светилась высшая порода, что мудрено было пройти мимо этого тихого, скромного человека, не заметив его и не подумав:

— Ой, какой симпатичный! Кто это? — для настоящего.

И:

— Ну и красив же ты был, милый, прекрасный человек! — для прошлого.

Наружность героя романа. Лицо с фатальным отпечатком большой натуры, способной на великое чувство, на могучую страсть. Лицо человека с драматическим характером.

Многие, знавшие Дмитрия Наркисовича, могут улыбнуться при слове «характер», потому что он имел репутацию человека, именно в высшей степени бесхарактерного.

А я утверждаю и берусь доказать, что этой репутации грош цена. У Мамина не только был характер, но и характер огромный, выдержанный, последовательный.

У нас: человек добр, — говорят, — бесхарактерный. Прощает — баба. Не душит — трус. Не толкает падающего — фетюк, растяпа, тюлюляй...

Эка важность, что человек был добр и кроток до того, что не умел сопротивляться наглости, готовой снять с него последнюю рубашку! Что он физиологически пасовал перед некоторыми своими слабостями и тратил на борьбу с ними меньше силы и энергии, чем могло обспечить свободу. Да и кто в состоянии и праве это «меньше» учесть?

Быть может, если бы Дмитрий Наркисович обратил характер свой на поверхностную борьбу самосохранения, он бы спасовал в ней и был бы покойником не в 60 лет, а в 40. И умер не от естественной, хотя и преждевременной, по его богатырскому телосложению, болезни, но, — не боюсь написать это, — от собственной руки.

Я не знал Дмитрия Наркисовича в начале 90-х годов, но та жестокая скорбь, которая, как упавшая скала какая-нибудь, расплющила его, смерть его первой жены, М.М. Абрамовой, плыла по России волною сочувственной молвы, — тем более широкою и властною, чем больше сам Мамин молчал о ней... Он проглотил свое горе, но оно навек отравило его.

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть,
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла...

Живо вспоминаю высокого, рыжего, с выпученными воловьими глазами добряка Куманина, издателя «Артиста», который мечется ко всем и вопиет:

— Спасайте Мамина! Он убьет себя!

Живо вспоминаю толстейшего, добродушнейшего, милейшего «Бахуса», романтика из романтиков, мнящего себя реалистом, талантливого сибиряка Василия Михайловича Михеева, который шаром катается по Москве и ко всем вопиет:

— Спасайте Мамина! Погибает!..

А Мамина спасать и нельзя было, и не надо было. Нельзя, потому что таких людей невозможно спасти, когда они сами спастись не хотят. Не надо потому, что когда такой человек решает, что он не имеет права погибать, он не погибнет.

Мамин тогда не имел права погибать, понимал, что не имеет он, Мамин, права погибать. И не погиб.

Это было не самосохранением. По тогдашнему его настроению и положению это было самоотвержением. И я смею думать, что самоотвержением, требовавшим очень большого характера.

Время вознаградило его. Он нашел новое счастье в новом удачном браке. Возникла любимая семья. Мамин мог отдохнуть от переходного психического погрома...

Но отдых-то, как все наши русские отдыхи, пришел к человеку, уже разрушенному погромом. Мамина можно было лишь поддерживать, но не возрождать и воскрешать. Надо было удивляться не тому, что Мамин не идет вперед, а тому, что Мамин остался достоин самого себя, не падает. В 40 лет Мамину казалось 50, в 50—60, в 60 лет он умер. Он, крепыш, рожденный для жизни мало-мало в 80 лет!..

И вряд ли можно сомневаться, что в конце концов в 1912 году Дмитрий Наркисович заплатил смерти по тому самому векселю на сумму десяти-пятнадцати лет, который она отсрочила ему в тот год, когда умерла Мария Морицовна.

Этот «бесхарактерный человек» представляет собой такой исключительный пример железной выдержки литературного характера, что... из сверстников его по литературному поколению, я не знаю, кто не снимет пред прахом Мамина-Сибиряка шляпу не только почтительно, но и с сознанием его великого превосходства.

Мамин-Сибиряк стал известен в эпоху, которая стала жить (позволю себе цитировать из моих «Восьмидесятников») «без идолов и без обвалов». Первую половину формулы Мамин принял. Вторую отверг наотрез. Последний семидесятник, последний народник, последний русский золаист, но углубленный и просвещенный всем страдающим гением русской литературы, от «Шинели» свое родословие ведущей, и Тургеневым, и Достоевским, и Глебом Успенским, Мамин — один из величайших, потому что спокойнейших и увереннейших носителей общественного идеала. Один из наиболее последовательных «художников-передвижников», служивших искусством целесообразного реализма своей эпохе, обществу, прогрессу, демократии... В этом человеке были такие огромные запасы своего «я», которых и не снилось писателям последующего поколения, хвалившихся своим индивидуализмом и сверхчеловечеством. О, люди, люди! Будьте людьми... тогда, быть может, кто-нибудь и поверит вам, что вы можете быть выше человека!.. Но об этом маминском «я» знал сам Мамин да те, кто входил с ним в близкое общение. У алтаря литературы Мамин служил не себе, но обществу. У меня нет здесь под рукой ни одной книги Мамина, но, перебирая мыслью все его сочинения, я не могу припомнить ни единой его страницы, которая была бы эгоистическою или эготическою... И это — писатель, первый расцвет которого совпал с упадочным поколением «восьмидесятников», а разгар успеха — с десятилетием ницшеанства и первого декаданса!..

Молчать и убежденно делать свое дело — это ли еще не характер? А в этом весь Мамин...

И думает свою он крепку думу
Без шуму.

Но Мамин был в то же время в полном смысле слова человек жизни: ласковый, нежный, общительный, улыбающийся, компанейский, охотник поговорить с товарищем, не прочь с ним и выпить. Он решительно не умел и не находил нужным быть «жрецом», «вещим кудесником», чревовещать и изрекать, казаться собственным своим памятником, воздвигнутым по общественной подписке. А — увы! — у нас, в российской интеллигенции, если писатель не смотрит октябрем, сосредоточившим в себе все дожди осени, это верный признак того, что он, может быть, и талантлив, но «лишен характера».

Ох, уж эти угрюмые «характеры» российской литературы!..

Когда-то пресловутая швабская школа, процветавшая под покровительством Людвига I Баварского, думала уязвить Гейне характеристикою:

— Ein Talent, doch kein Charakter... (Талант, но без всякого характера.)

Гейне в эпитафии «Атта Троллю», написанной в «лапидарном» стиле Людвига Баварского, ответил убийственным видоизменением того же стиха:

— Kein Talent, doch ein Charakter. (Совершенная бездарность, зато с характером.)

Ибо слишком часто за характер и в литературном, и в артистическом, и в общественно-деятельском кругу принимается только отсутствие темперамента, неспособность к увлечению, к пламенному захвату, который может сотворить великое дело, но может, оступившись, и оскорбительно согрешить.

Д.Н. Мамин-Сибиряк был и ein Talent, и ein Charakter. Жил в нем могучий темперамент именно с пламенным горением, жила в нем и сильная воля, которая сдерживала его темперамент железною рукою и вела мысль и труд по дороге чес-

ти, на которой он не знал ни заминок, ни блужданий, ни спотыканий... На тот свет он придет с гордым, безукоризненным, победоносно-чистым знаменем. Слава тебе, великий девственник русской литературы! От нас, грешных и плачущих, великая слава тебе!

Над могилою Д.Н. прольется много искренних слез. Я думаю, что с ним — как с Чеховым: многие только теперь поймут, как он был им близок, как они его любили.

Эта общественная любовь могла бы высказаться в день его юбилея, но... было поздно! «Над головой последний день уж тяготел...» Полумертвыми ушами выслушивал Мамин привет себе, полумертвыми губами пролепетал как литературное завещание свой привет Бунину...

Судьба Торквато Тассо. Запоздалый лавровый венок лег на голову, в которой уже стыл мозг и угасала мысль... Юбилей превратился в отпевание и

Заутра факелов узрели мрачный дым
И трауром покрылся Капитолий!

ЕВГЕНИЙ ПАССЕК

В лице Евгения Вячеславовича Пассека, я потерял ближайшего и любимейшего друга моей молодости, товарища, имевшего на меня огромное влияние, человека, с которым были теснейше связаны добрые двадцать лет моей жизни, а всей нашей дружбе исполнилось ровно тридцать лет. Это не шутка… Вот уже неделя прошла с того дня, как любезный В.М. Дорошевич телеграфировал мне печальную весть о смерти Евгения Вячеславовича, а мысли не собрались и рука дрожала писать об этом чудовищно несправедливом уходе из мира ведомого в мир неведомый такого хорошего, такого близкого, такого всесторонне интересного и полезного человека... Ведь ему было всего 52 года — да еще и полные ли? И кто бы в десятых годах, зная организацию Е.В. Пассека, его умеренность, его методическую нормальность в быту и привычках, не посулил ему столетней жизни!.. В последний раз я виделся с ним в Петрограде в январе 1906 года, когда я приезжал из Парижа в «Русь» вести кампанию против дубасовских чудодейств в Москве, а он — как участник профессорского съезда... Сердце у него тогда уже пошаливало. По крайней мере, в эти свидания я впервые слышал от него шуточную жалобу:

— Туда же — какая-нибудь мышца, а заявляет свои права!

В последний раз... А в первый?

Познакомились мы в более чем странном месте: в пресловутом московском Ржановом доме... В знаменитой московской переписи 1882 года я был назначен счетчиком к гр. Льву Николаевичу Толстому. Его участок по Проточному переулку, наполненному жилищами московской трудовой нищеты, был интереснейшим по бытовому наблюдению, но для работы технической нетрудным. С подворною переписью и частью квартирной я легко справился один, так как Лев Николаевич в «бумажное дело» не вступался, и два-три опыта его на этом поприще доказали, что, не вступаясь, он хорошо делал.

— А все-таки так нельзя, — сказал Лев Николаевич. — Это вы сгоряча набросились на работу, так и думаете, что справитесь в одиночку. Зарветесь. Надо звать товарищей...

И вот назавтра, когда я сидел в одной из мерзейших конур бокового корпуса Ржановки и объяснял не весьма доброжелательным ее обитателям, как они должны заполнить оставляемые мною опросные листки, вошел в эту мерзейшую конуру вместе с клубом морозного пара плотный господин среднего роста, в темно-коричневом пальто и шапочке фасона, который в те времена усердно носила молодежь, называя его не то «болеро», не то «тореро», и, дружелюбно улыбаясь, представился хриповатым и несколько гнусавым баритоном:

— Пассек.

И объяснил, что прислан ко мне на помощь от комитета по переписи по просьбе гр. Л.Н. Толстого.

Откровенно сказать, я в первую минуту весьма ему не обрадовался. Причиною тому была громкая фамилия, им произнесенная. Свое детство и первую юность я провел в среде интеллигентов-демократов, центром которой был Александр Иванович Чупров. На родовитое дворянство в ней смотрели косо и насмешливо — с предубеждением и недо-

верием. Но еще больше смущало меня то обстоятельство, что Пассек явился «по просьбе гр. Л.Н. Толстого» и, вероятно, мол, принадлежит к числу той аристократической молодежи, что усердно вьется вокруг толстовской семьи, с ее многочисленными барышнями, из которых Татьяне Львовне исполнилось в ту пору лет уже 18—19. Образцов этой молодежи я насмотрелся препорядочно, и в восторг они меня не привели. Распространяться об этом излишне. Достаточно напомнить, что «Плоды просвещения» написаны почти портретно. Как относились знакомые Толстого к переписи, описано им самим («Так что же нам делать?»), и прибавить к этой язвительной картине надменно-шаловливого любопытства нечего.

«Ну, теперь пойдет путаница! — подумал я, — вон какого гуся-барина навязали на шею...»

Но гусь-барин, присмотревшись с полчаса, как я работаю, и пройдя со мною две-три квартиры, сперва предложил мне «уступить» следующую, чтобы он «попробовал», а затем — когда «проба» оказалась блистательною — мы стали чередоваться по квартирам: то я опрашиваю, он пишет, то он опрашивает, я пишу... Пришедший к десяти часам проведать нас Лев Николаевич нашел нас уже в состоянии совершенного дружелюбия и кипучей совместной работы. Тут же выяснилось, что Пассек был прислан именно комитетом по просьбе Толстого, а не выбран самим Толстым, так как оба они только тут и познакомились. Выбрал же Пассека, помнится, И.И. Янжул. И выбрал превосходно, так как работником Пассек оказался замечательным: умный, вдумчивый, а, главное, хладнокровный и терпеливый, чего иногда недоставало мне. Я не очень-то восторгался отношением Толстого к переписи, на которую он смотрел свысока, как на пустяки, которые стоит делать разве лишь потому, что, рядом с ее прямыми научно-государственными целями, может быть разрешена косвенная филантропическая задача помо-

щи трудом, — тогдашний предмет увлечения Л.Н. Мне казалось, что — при всем подавляющем авторитете Льва Николаевича — он напрасно взялся за дело, коль скоро так явно им пренебрегает в самой идее его. Ведь кроме чисто бытовых встреч и эпизодов, Льва Николаевича ничто не оживляло в Ржановой крепости. Ходил он по квартирам мало и неподолгу — скучный, угрюмый и, я должен сознаться в этом неприятном впечатлении, брезгливый. Его воспоминания о переписи — для меня — любопытнейший документ того, как объективный материал может менять свой вид и содержание в субъективном восприятии и окраске. Толстой в них, конечно, ничего не выдумал, но ужасно много «иначе вообразил». Там все — то, да не то. Было так, да не так... Многое в знаменитой статье «Так что же нам делать?», относящейся к Ржанову дому, преломившись в призме толстовского предвзятого отношения, потеряло сходство с действительностью. Такова знаменитая сцена с проституткою, которая «себе имени не знает». Сцена эта сделана Толстым сборно — из нескольких последовательных встреч во внутреннем дворовом флигельке Ржановой крепости. Типически она сделана художественно, но... это искусственное обобщение, а не фотография. Начиная с того, что дело было не в подвале, что ответ «в трактире сижу» был слышан нами уже десятки раз раньше и что ссора между хозяином ночлежки и проституткою началась не из-за этого ответа. Почти все проститутки Ржанова дома называли себя «конфетчицами». Так назвала себя и та, которую описывает Толстой. Уже знакомый с местным значением «конфетчицы» Толстой спросил ее довольно строго о «добавочном промысле». Та замялась, застыдилась, и вот тогда-то и вмешался, сердито и деловито, хозяин квартиры со своею злополучною «проституткою». Свои ответные слова Толстой приводит тоже в том виде, как ему хотелось бы сказать и как он потом надумал, что хорошо было бы сказать. Тогда же он сказал что-то гораздо короче

и проще, вроде того, что, мол, зачем вы обижаете ее таким грубым словом? На это хозяин очень определенно объяснил, что говорит не для обиды, а потому, что мнимая «конфетчица» — билетная, сдуру солгала, и он боится, не быть бы ему за ложное показание жилицы в ответе пред начальством. Ведь в ту первую перепись народ нас, ее участников, упорно считал за начальство, какой-то новый негласный вид полиции, что ли. «Студент, улыбавшийся перед этим», который «стал серьезен» от толстовской речи, — это Е.В. Пассек. Этот флигель переписывал он. Лев Николаевич, помнится, тут сделал один из своих немногих опытов составления квартирной карточки, но скоро бросил и вышел, видимо, расстроенный и сконфуженный...

Вообще, это очень странное и почти невероятное показание, но мне редко случалось видеть, чтобы человек так неумело и неловко подходил к другому человеку, как Лев Николаевич — в период переписки — к бедноте Ржанова дома. Большой знаток народа в крестьянстве, здесь он, по-видимому, впервые очутился перед новым для него классом городского пролетариата низшей категории, который не только ужаснул его, но на первых порах показался ему просто противен, и к которому он приучал себя через силу, по чувству долга. Он совершенно не умел говорить с ржановцами, плохо понимал их жаргон, терял в беседах с ними такт и попадал впросаки курьезнейшие. Так, одного почтенного ржановского «стрелка» (любопытно, что это ходовое московское слово, обозначающее нищего с приворовкою, оказалось Толстому незнакомо, и он тешился новым речением, как ребенок) Толстой конфиденциально спросил в упор, приглашающим к доверию тоном:

— Вы жулик?

За что, конечно, и получил такую ругань, что — как мы только из квартиры выскочили...

Другое столкновение у него было с портным, — он же читальщик по покойникам, — которого Лев Николаевич долго потом забыть не мог, смеялся и повторял:

— Нет, ведь как же меня отделал этот рыжий Мефистофель!

В 1904 году, встретившись со мною под Звенигородом, в Аляхове, в санатории dr. Ограновича, Толстой не забыл-таки «рыжего Мефистофеля» и радостно захохотал, вспоминая его.

Не чужд был Лев Николаевич в то время и романтического влечения к «благородной «нищете». Все искал обедневших и пришедших в упадок бар. Но их в Ржановой крепости не было. Ее беднота, — это Толстой совершенно правильно характеризовал, — была состоянием черного труда, находящегося в крайне тяжелых и непроизводительных условиях, а не нищей беспомощности, которою сопровождаются падения на дно из высших сословий и которую Толстой впоследствии изобильно нашел на Хитровке. В Ржановом доме мы открыли было некую Петрониллу Трубецкую. Когда мы с Пассеком сообщили Толстому, он, чрезвычайно взволнованный, бросился было к явленной княгине, но таковая оказалась неграмотною вдовою солдата — по всей вероятности, происходившего из бывших крепостных какого-нибудь князя Трубецкого... Каюсь, что, не предупредив Льва Николаевича, что Петронилла Трубецкая безграмотная, мы его немножко мистифицировали в подмеченной нами его слабости, а он, кажется, о мистификации нашей догадался и весь тот день потом имел вид недовольный и только к вечеру повеселел.

Пассек смолоду был величайший комик и мистификатор, чему помогала уже самая его наружность. Ему в двадцать лет давали тридцать, как потом в сорок давали те же тридцать. Необычайно сдержанный, важный, барин с ног до головы, он имел способность сразу внушать к себе почтение и доверие: вот уж солидный господин так солидный! Очень

трудно было подозревать, какая бездна веселости и остроумия таилась в этом белолицем, грузном, гладко бритом человеке, который в студентах второго курса уже казался ординарным профессором... Сразу каждый, кто приближался к Евгению Пассеку, чувствовал только то, что пред ним не педант, но умница, человек отменной любезности, совершенно благовоспитанный и очень доброжелательно любопытный к людям Дальнейшее зависело от степени его расположения: насколько он «в себя пустит...» Многие его считали скрытным и хитрым. В действительности он только чужд был русскому распустешеству, — манере превращать свою душу в прихожую, в которой все и каждый ставят просушиваться свои грязные калоши. Не навязывался с доверенностью сам и не искал доверенности других. Зато, если вы оказали ему доверие, могли твердо уповать: вы отдали свой секрет в хранилище, более надежное, чем даже вы сами. И, — если Пассек сообщал вам что-либо из своей интимной жизни, — это был знак того, что он любит вас глубоко, до готовности для вас к известному риску, к известным жертвам. В 1906 году мы говорили с ним об одном неловком положении, в которое он был поставлен в отношении третьего лица и которое он очень легко мог бы разрушить, сославшись на факты, издавна известные ему от меня:

— Так что же вы молчали, Женя?!

— Вы мне не давали права об этом говорить.

— Да ведь нашему разговору 23 года... С лишком две земские давности.

— Да, конечно, все это изжитое и пережитое, но я не чувствовал себя вправе... Вот теперь...

И, действительно, написал же он виноватому письмецо! Жутко было читать!

Он не был охотником до корреспонденции и вряд ли оставил по себе много писем не семейного характера. Но их следовало бы собрать, потому что они должны быть велико-

лепны и по форме, и по умению вложить массу содержания в сравнительно немногие строки. Мне случалось не получать от него письма многими месяцами. Но вдруг придет кипа листков, исписанных странным и твердым крупным почерком, с нарисованными буквами, потомками уставных почерков XVII века, и выглянет из них вся, на этот срок накопленная, Москва или весь Юрьев, а между строк — вся большая, внимательная, наблюдательная, серьезно-улыбчивая душа самого Евгения Вячеславовича... В последнем десятилетии, кажется, он более всего переписывался с отцом моим, а своим тестем, Валентином Николаевичем Амфитеатровым. Переписка должна быть чрезвычайно любопытна, тем более, что оба корреспондента были людьми и взглядов, и темпераментов, полярно противоположных.

Громадный характер, воспитанный громадным опытом: таким запечатлелся навсегда в моей любви и памяти образ Евгения Пассека. Когда о нем теперь пишут только как о ректоре Юрьевского университета, затравленном местью министерской реакции за верность академической реформе, мне становится почти досадно, что такая большая и гордая сила разрешается общественным участием во что-то вроде жалобы и упрека. На эту линию Евгений никогда не унизил бы своего самолюбия, — он никогда не претендовал казаться и рисоваться сверхчеловеческим, но умел им быть. Я не думаю, чтобы, поминая Евгения Пассека, многие люди могли похвалиться, что они оказали ему личную услугу, о которой он просил. Он был весь самостоятельность, скован из самопомощи, — это в нашем-то слабосильном, утло метавшемся, то и дело тонувшем и за соломинки хватавшемся поколении «восьмидесятников»! Всяко я его знавал и видал, — и на возу, и под возом, и всегда он был один и тот же: спокойный, ласковый, веселый, вежливый, с доброжелательною улыбкою на губах, с затаенною иронией в маленьких серых глазках, будто запухших в орбитах своих...

Вот — Пассек студент-математик, вот юрист, со скромными средствами, умеренный театрал, самоучкою изучающий теорию музыки, чтобы писать оперетку из египетской жизни на собственное либретто... Вот — Пассек богатый человек, получивший крупное наследство, которое с головокружительною быстротою съедают один известный московский антрепренер, мир его праху, и некоторая литературная компания, собиравшаяся издавать радикальную газету, но издавшая только греческую грамматику... Вот — Пассек автор изумительного студенческого сочинения по финансовому праву, поданного Янжулу... Вот — Пассек на великолепной, но опустелой квартире своей в Трубном переулке стоит среди адски холодного зала и рубит топором ломберный стол...

— Что вы делаете, Евгений Вячеславович?!

— Не мерзнуть же... надо топить...

Вот — Пассек, исчезнув из Москвы, преспокойно выныривает в петроградской «Аркадии» хористом и комиком на вторых ролях в оперетке Лентовского... Вот он опять в университете, бьется, как рыба об лед, «за стол и квартиру» управляет меблированными комнатами. Вот он пишет в юмористических журналах, близко примыкает к нашему молодому кружку в «Будильнике», сочиняет уморительную басню «Спор водки с селедкой» и «Руководство для рецензентов». А в профессорских кружках тем временем даже и не подозревают, что легкомысленный «Евгений Роган» и «Мокко» из «Будильника», — тот самый Евгений Пассек, — блестящая звезда и новая надежда факультета, — о котором так много говорят в университетском мирке... Вот он, женившийся, остепенившийся, оставленный при университете, проработав два года за границею, возвращается в Москву и схватывается в холодную упорную борьбу с ненавидящим его сухарем и деспотом Боголеповым, который ни за что не хочет допустить Пассека до кафедры, нужной ему для кого-то из своих любимцев. И в этой борьбе Боголепова, — увы! — нелепейше

поддерживают некоторые либеральные профессора, не желающие позабыть Пассеку его гимназическое образование в катковском лицее и фельетоны, которые он когда-то писал за больного А.Д. Курепина для «Нового времени». Одно время Пассека так скрутили этою враждою, что — хоть бросай вовсе научную карьеру... Вот он обращается к адвокатуре, — и в самое короткое время по Москве проходит слава о новом присяжном поверенном деловике, который, мол, не из соловьев и златоустов, зато уж в законах силен как никто, и если взялся за дело, то спи, клиент, спокойно: будет честно... Е.В. Пассек любил адвокатуру и мог бы сделать в ее области большую карьеру и громкое имя, не говоря уже о доходности этого труда: хороших цивилистов-то у нас немного... И все-таки он предпочел адвокатуре профессорскую кафедру, да еще в «ссыльном» Юрьевском университете. Туда в девяностых годах министерство сплавляло либо тех, кто был у него в совершенной немилости, как Пассек, либо тех, кто решительно ни в каком другом университете не мог быть показан на кафедре без зазора для науки, но отличался патриотическими чувствами и подавал надежды способствовать руссификации университета... Думаю, что Евгений Вячеславович произвел этот вряд ли выгодный во всех отношениях промен карьеры, — пожертвовал адвокатурою для профессуры, — не без насилия над собою и, по всему вероятию, под влиянием моего отца и вообще амфитеатровской семьи, с которою он тесно слился, женившись в 1886 году на сестре моей, Александре Валентиновне. У нас в дому был культ университетской науки, и звание «профессор», «кафедра» окружались чуть ли не мистическим каким-то ореолом, который казался особенно ярким и заманчивым благодаря родственной близости Александра Ивановича Чупрова. Я, грешный скептик, и думал, и думаю, — что, сделав очень много для своего университета, Е.В. Пассек, — для себя и даже для общества в широком смысле слова, — сделал бы гораздо боль-

ше, если бы не замариновался в захолустном Юрьеве на скучной кафедре мертвого предмета, имеющего значение лишь гимнастики для юридической мысли. Оставаясь в столице в любой либеральной профессии, — адвоката ли, публициста ли, — Пассек был бы столько же силен, как на кафедре своего предмета, и вдесятеро полезнее для русского общественного прогресса, так бедного дельными руководителями.

А задатки к общественному руководству были в нем редкостные. Если Юрьевский университет вышел из того жалкого состояния, в которое повергла его после блестящего века германских кафедр нелепая и грубая руссификация девяностых годов, если там утихли распри немцев с русскими, если вообще университет стал опять походить на высшее учебное заведение и оправдывать свое имя, — Пассеку принадлежит в процессе этом едва ли не главная роль, а, во всяком случае, одна из главных. Как член университетского совета, как декан юридического факультета, как ректор, в течение десяти лет бросал он мост своего редкостного такта и опытного уменья уживаться с людьми между крайними мнениями и партиями, раздиравшими академическую среду, и всегда выходил победителем из острых ее конфликтов. В 1896 году, когда Юрьевский университет был еще в ужасном виде (на юридическом факультете, помнится, не было ни одного русского лектора с ученою степенью), — я лично наблюдал Евгения Вячеславовича на этой умиротворяюще-творческой работе. Он совсем не ухаживал за немцами, но они ценили в нем европеизм истинно-культурного человека и глубокое уважение к германской науке. Поэтому, когда немцы «ершились», а ершиться им было поводов много, и в большинстве весьма справедливых, Пассек, чуть ли не единственный в совете, умел их «огладить» и привести хоть к какому-нибудь соглашению с бушующими россиянами, а между тем среди последних бывали люди и того духа, который ныне стали называть «истинно-русским». Этих господ Пассек

очень не любил, да и они терпеть не могли его, вечного искусного штопателя лопающихся по швам отношений, противоядие всякой громкоголосой провокации. Тем же мостом дипломатического такта тянулся Пассек между профессурою и студенчеством, а в последнем — между составляющими его в Юрьеве враждующими национальными группами: русскими, немцами, эстонцами, латышами. Нет сомнения, что мало-помалу Пассек втянулся в эту местную академическую полемику, врос в нее корнями, и она ему стала дорога и любезна, как равным образом стал дорог и любезен и университет, воскресением которого из недавней омертвелости он, до известной степени, мог гордиться как делом рук своих.

— Если бы мы, Женя, жили в конституционной стране, какой бы из вас вышел президент палаты! — говорил я ему в 1903 году, когда он приехал навестить меня в вологодской ссылке.

А он отвечал:

— Но, так как мы живем не в конституционной стране, то я кончу карьеру попечителем учебного округа.

— Только-то?! А в министры?

Он отвечал с обычным юмором:

— Нет, знаете, я не люблю, чтобы в меня из револьвера стреляли.

— А вы не доводите.

— Так со службы ж выгонят...

Собственно говоря, Пассек свою карьерную программу выполнил, так как на пост попечителя одесского учебного округа он не только намечался, но в 1907 году появились в газетах даже известия об его назначении, и я уже получил от одной из одесских газет телеграмму с просьбою дать о нем статью. Но не прошло двух недель после того, как вдруг проходит по газетам новое известие: попечителем учебного округа Пассек не назначается, а, напротив, предается суду за бездействие власти!

Я думаю, что, когда будущий историк русской культуры дойдет в летописях наших дней до судебного дела о ректоре Юрьевского университета Евгении Пассеке, — то-то будет он ломать голову в недоумении пред этою историческою ошибкою или опечаткою длиною в шесть лет срока. Евгения Пассека судили единственно за то, что он оказал правительству большую услугу: «Не допустил университет, которым управлял, до беспорядков и закрытия».

В грозную революционную эпоху, когда все университеты были закрыты после более или менее острых студенческих волнений, единственный университет, Юрьевский, продолжал свою академическую жизнь, обязанный такту и исключительному административному таланту своего ректора Е.В. Пассека. И за это именно Пассек был отдан министерством сперва Шварца, потом Кассо под суд, шестилетняя волокита которого разбила здоровье Пассека и свела его в раннюю могилу.

Гг. Шварц и Кассо должны записать Пассека в свои поминанья: «Покойник их мануфактуры».

Очень может быть, что из Пассека, как жертвы министерского мщения, чей-нибудь дешевый радикализм постарается сделать деятеля освободительного движения, сочувственника революции и т.п. Это была бы глубокая неправда. Если примерять по политической классификации наших дней, я сомневаюсь, был ли Евгений Вячеславович даже «кадетом правого крыла».

Но это был человек порядка и закона, который законодательные акты понимал не в шутку и полагал, что они издаются для того, чтобы их исполнять.

Пассек не «популярничал»: лекторский талант помогал ему скрашивать скуку римского права, но читал он свой предмет строго, научно, экзаменовал требовательно. Молодежь любила в нем не потворщика и потатчика ее слабостей, но дель-

ного ученого, искренно к ней дружелюбного, а, главное, честного и справедливого представителя профессорской этики. Это был «гражданин университета» в лучшем и полнейшем смысле слова.

Собственно говоря, Евгений Пассек — единственный русский ректор, который фактически доказал, что академическая автономия, — даже во время революционного пожара в стране, — гарантия спокойствия среди учащейся молодежи.

Но именно этого-то, — оказывается, — не надо было доказывать. Именно это-то и было поставлено Пассеку в вину. Его преступление в том, что он дал молодежи, в пределах университетской автономии, столковаться между собою без драки, остаться в мирных условиях академической жизни, — что он не допустил в стены университета политической провокации и разгрома.

Я был всегда уверен, что если бы в 1905 году университетское здание в Юрьеве было сплошь обгорожено баррикадами, даже это Пассеку скорее простили бы, чем то, что он так спокойно сделал, — чем это торжествующее наглядное доказательство реальной возможности и силы университетской автономии.

Два года тому назад я писал ему, что хорошо было бы ознакомить общественное мнение в Европе с вопиющим безобразием возбужденного против него дела, а то ведь может быть плохо... Но он верил в свою силу и правоту и отвечал через третье лицо:

— Передайте Саше, что я твердо уверен: кому-нибудь придется плохо, — только не мне.

И, действительно, дело, против него поднятое, было уже однажды прекращено, с конфузом, за отсутствием состава преступления...

Еще бы!

Когда дело было возобновлено, стало ясно, что вопрос идет не о каком-либо, хотя и внешнем и формальном «тор-

жестве правосудия», а просто о том, чтобы засудить друга университетской автономии и надолго парализовать его энергию и деятельный авторитет. Узнав, что Пассек за границею и тяжело болен, я писал ему в Наугейм, советуя отложить явку в суд, от которого он не может ждать ничего доброго. И получил ответ:

— Ну вот, недоставало, чтобы я из-за пустяков превратился в эмигранта!

Он и лечился-то усердно, — главным образом в расчете, как он выступит в сенате для личной защиты, — чтоб больное сердце позволило ему говорить те несколько часов, которых требовала сложность дела для защитительной речи.

Нечего и говорить, что это была напрасная мечта безнадежно больного человека. Длинной волнующей речи Евгений уже не выдержал бы. Но выдерживать ее, — умереть на суде, — он все-таки поехал.

Смерть Пассека избавила русское правосудие от срама:

— Убить человека судом за то, что он знал и выполнял законы.

А министерству — повторяю добрый совет:

— Запишите раба Божия в ваши поминания, господа: это — покойник вашего производства!

«БОГОСЛОВЫ!»

В № 12882 «Нового времени» В.В. Розанов рассказал о своем посещении епископа Гермогена, уже по осуждении последнего Синодом на заточение в Жировицком монастыре. В беседе г. Розанова и еп. Гермогена любопытно нижеследующее место.

«Бессильно и немо я сидел у владыки, думая об этой истории; он говорил о «диакониссах», что они нарушают какие-то «каноны», что это — «павликианство». «А что такое, я не помню, павликианство?» — «Можно бы справиться, — сказал владыка, — это одна из монофизических (т.е. монофизитических?) ересей, — тут примешан и гностицизм. Это вроде армянства: они отрицали Божество нашего Господа Иисуса Христа». Как не «ересь», подумал. Но справки, которых, впрочем, не было сделано, и нумер «Московских ведомостей» вчерашнего дня (в Петербурге), с действительно прекрасною статьею о деле преосвященного Гермогена, в котором, по утверждению газеты, каноническая, да и вообще юридическая сторона, резко нарушена, слились у меня в уме и совести в какой-то туман, в котором я ничего не разбирал и ничего не хотел разбирать».

Из строк этих истекают следующие выводы:

1. «Знаток церковных вопросов», чуть не авторитетом по ним прославленный, В.В. Розанов, настолько мало осведомлен в церковной истории, что его приводит в недоумение название одной из популярнейших и фундаментальных сект, историческая эволюция которой имела (да и до сих пор имеет) громадное значение как для латинской церкви, так и для церкви греко-российской.

2. Вопрошаемый г. Розановым иерарх смыслит в том же предмете не больше своего вопросителя и говорит наобум первое, что пришло ему в голову и что оказывается большою нелепостью.

3. По простодушному мнению обоих, армяне отрицают Божество Христа.

Вот-то удивятся, читая в Эчмиадзине! Девятнадцать веков хвалили: у нас — старейшее христианство, мы, армяне, — первый народ, принявший Христа. Ан, оказывается, враки! Вот вам, съешьте: даже и не христиане совсем! Этак-то в Христа и турки веруют, а персы так даже и очень!

— Можно бы справиться, — сказал владыка.

Не можно бы, а должно бы. Если бы справки были сделаны, то два ученых богослова — автор «Около церковных стен» и епископ одной из значительнейших русских епархий — узнали бы не без пользы для себя, что:

1. Павликианами называлась секта, возникшая в иконоборческие века (VII—IX) Византийской империи с целью, оставив в стороне господствующую церковь, по их мнению, безнадежно испорченную, построить новые религиозные общины прямо на апостольском основании. Имя павликиан эти сектанты приняли, потому что послания апостола Павла служили для них главным руководством в их деятельности. Истребляемые в десятках тысяч при императоре Феодоре, павликиане тем не менее не погибли, но, «сделавшись родоначальниками антицерковных сектантов, они пережили чрез ряд веков и на-

родов, под именами богомилов, альбигойцев, вальденсов, анабаптистов, гернгутеров, квакеров, живут и поныне под именем пуритан, ирвингиан, а у нас в России — под именем молокан, духоборцев, штундистов» (Терновский). Чельцов определял павликианство, как «первую антицерковную беспоповщинскую секту».

2. Между павликианством, как отрицанием церкви, и армянскою церковью как таковою нет решительно ничего общего. Если средневековые полемисты, как Петр Сицилийский, называют павликианство армянской ересью, то лишь в смысле географическом, так как в результате гонений, на них воздвигнутых, павликиане должны были удалиться в Армению, где встретили гостеприимство и веротерпимость, основали город Тефрику, и оттуда поплыло их учение обратно на Балканский полуостров (бабуны, богумилы), а вместе с поворотниками крестовых походов — и в Западную Европу. В том значении, как павликианство называется армянскою верою, духоборчество можно, пожалуй, назвать теперь верою канадскою.

3. Средневковые полемисты, с Петром Сицилийским во главе, в стараниях восстановить против павликиан светскую власть, усердствовали связать павликианство с манихейством, так как последнее было объявлено учением противообщественным не только первыми христианскими императорами, но еще Диоклетианом. Анализом писаний Петра Сицилийского эта духовно-политическая легенда давно разрушена — между прочим, и в русской науке: проф. Чельцовым и братьями Терновскими. Манихейская примесь, если и была, то в позднейших разветвлениях павликианства, то есть в обратном переливе его из Азии, например, в богумильстве, которое Голубинский характеризует именно, как «армянское павликианство».

4. Монофизитизм заключается совсем не в отрицании в Христе Божественного начала, как полагает епископ Гер-

моген и покорно, без возражения, приемлет г. Розанов. А уж в особенности — монофизитизм церкви армянской! Существеннейшее различие между армянскою церковью и православною и латинскою состоит в том, что она отвергает Халкидонский Собор, якобы тайно принявший несториеву ерéсь и, в согласии с нею, слишком очеловечивший Христа. Так что Гермоген и г. Розанов говорят совершенно обратное тому, что есть на самом деле. Монофизитизм армянской церкви заключается не в отрицании Божественности Христа, а, напротив — в признании этой Божественности в слишком господствующих размерах. Евтихианство, из которого вышло армянское вероисповедание, полярно противоположно несторианству, которое, однако, тоже никогда не отрицало Божественности Христа, а только «утверждало, что Христос был *более* человек, чем Бог, и прежде стал человеком, чем сделался (вероятно в крещении) Богом». Вот эта несторианская метаморфоза человека в Бога через крещение, действительно, напоминает гностиков, которых с такою неопределенностью помянул Гермоген. «Монофизиты же, исходя из идеи о несовместимости человечества с Божеством, утверждали, что человечество по необходимости должно исчезнуть в Божестве, как исчезает капля в безмерном океане, так что после соединения двух естеств во Христе осталось только одно естество — Божеское» (Терновский). От учения греческой и латинской церкви о двух «нераздельных и неслиянных», равнодействующих и равноволевых естествах в едином лице Богочеловека армянское учение отделено зыбкою теоретическою чертою. Даже суровая практика, с ее «non possumus» *, считает армянскую церковь наиболее близкою и возможною к примирению. На практике же армянская церковь переступила и эту раздельную черту. «Так, в чине хиротонии армянских епис-

* «Не можем» (*лат.*); формула папского отказа на требования светской власти.

копов на вопрос патриарха: «Приемлешь ли ты святый Никейский Собор и прочие все последующие и православносоставленные Соборы, сиречь седмь св. Соборов, которые изложением кафолической веры всех еретиков осудили? — хиротонисуемый отвечает: «Приемлю и учение их лобзаю». Если так, то, значит, формальное исповедание армянской церкви не совпадает с действительным, и последнее несознательно приближается к православному» (Лопухин).

Под шум частью лицемерных, частью суеверных ахов, охов и стонов, вызванных приключением Гермогена, трагикомическая богословная беседа его с г. Розановым особенно выразительна. Грубый полицейский налет, скомкавший архиерейское право Гермогена, никому не симпатичен. Человеку зажали рот, когда он имел и моральное основание, и законное право говорить. Но, осуждая нарушение права, в то же время невольно изумляешься: хорошим же знанием вооружено было это нарушенное право! Что г. Розанов споткнулся на ересях и наивно уверовал в нехристианство армян, это еще куда ни шло: он — хоть и «специалист по религиозным вопросам», но писатель светский, и тот же самый Гермоген чуть ли не включил его в недавний список предполагаемых литераторов-анафем. Но, — если г. Розанов ничего не напутал (бывает с ним!) в передаче своего разговора с Гермогеном, — то последнего он, желая восхвалить, весьма хватил камнем в лоб. Защищая Гермогена от подозрений в намерении подвигнуть церковь на борьбу с государством, г. Розанов говорит: «Духовные, по специальности своего образования... понятия о государстве не имеют». Это замечание вполне оправдано Гермогеном, который, оказывается, не знает, как верует и молится $1\ ^1/_2$-миллионный, родственного вероисповедания, народ в составе того государства, в котором этот самый Гермоген посажен судить и рядить высшие вопросы духовного строя. Только, — с позволения Розанова сказать, — обстоятельство это свидетельствует совсем не

«специальность образования», а, наоборот, «специальную необразованность» его клиента. И как ни трогательно повествует г. Розанов о «рукописности» и «догутенберговском чекане» Гермогена, рекомендуя его «непечатным человеком», тем не менее, не думаю, чтобы сии качества искупали в епископе безграмотность по прямому предмету его компетенции. Г. Розанов не может себе представить Гермогена «борющимся с государством»: «Тут дай Бог в павликианах разобраться!» — восклицает он. В том-то и штука, что «дай Бог», а Гермоген-то не разбирается. Да и г. Розанов не спешит, хотя ему — именно ему — это было бы весьма не лишним.

Зачем Гермогену разбираться? Он тем и силен, что все без разбора в одну кучу валит. До тех пор и авторитетен, покуда не подойдут к его куче хладнокровные, спокойные люди знания и не разоблачат всю неправду, фантастику, самообманы, невежество и суеверие, из которых она слеплена. Ну разве не чудесно? Диакониссы — павликианство, а что такое павликианство — не знаю, *можно справиться*. Кажется, что-то вроде армянства, а как верят армяне, не знаю, — тоже можно справиться. Слышно, что монофизиты, а что такое монофизиты — правду сказать, забыл, давно из академии-то, да ничего — можно справиться. По этимологии выходит, — который одно естество признает: ага! ну, само собою разумеется, какое: Христа Богом не считают. А, впрочем, можно справиться. Совершенный хаос! При чем-то гностики вдруг вынырнули в памяти... Армяне и гностики!.. Тоже, преосвященный, не мешало бы справиться.

Вместо справок читается какая-то каноническая статья «Московских ведомостей», которую г. Розанов очень хвалит. Очень может быть, что она, действительно, хороша, но нисколько не помогла г. Розанову, а, напротив, сплелась со справками, «которых, впрочем, не было сделано» (как *прочтенная* статья могла сплестись с *нечитанными* справками — это тайна г. Розанова), и в результате получился у г. Розанова

«в уме и совести какой-то туман, в котором он ничего не разбирал и ничего не хотел разбирать». Еще бы! Монофизиты, павликиане, армяне, гностики, диакониссы... мала ли куча к разбору? Но как же все-таки писать-то, не разобравшись? И зачем? Чтобы валить кучу на кучу?

Малоинтересно в общественном смысле то: прав ли, ошибся ли Гермоген в своем взгляде на диаконисс. Нужны они, не нужны ли, возможны не возможны, — это чисто внутренний церковный вопрос. До него мне в этой заметке, откровенно сказать, нет решительно никакого дела, да, уверен я, также и громадному большинству читателей. Вон даже г. Розанов, человек религиозный, алчущий веры, на «каноны» рукою машет, — так нам-то в них что же? Будут диакониссы, не будут — их печаль. Целы каноны, нарушены каноны, — о том Синоду диспутировать со своими обер-прокурорами. В русской жизни от наличности этих диаконисс, равно как и отсутствия их, — что называется, щепотка не перевернется. Но проследить логический мотив, которым обусловил Гермоген свой взгляд, весьма интересно. Ведь это значит на показательном примере проверить религиозно-правовое самосознание одного из влиятельнейших членов могущественнейшей духовной коллегии, с которою решительно каждый русский гражданин, независимо от своих религиозных убеждений и хотя бы даже иноверец, обязательно связан непосредственно или косвенно, как с высшей инстанцией всех своих религиозных повинностей, ответственностей, запросов и поверок. И что же встречаем мы в самосознании этом? Знания нет, а вместо убеждения — суеверный лепет по какой-то смутной, старой, предрассудочной наслышке. За ненависть к павликианству человек в ссылку едет, а что такое павликианство — так и не потрудился узнать. Гермогена сейчас стараются изобразить страдальцем за убеждения. Не верю я в убеждения, чуждые испытующего учения, закрывающие глаза от свидетельств знания. Это не убеждения, а лишь особая разновид-

ность упершегося в отсебятину самодурства. По поводу Гермогена и Илиодора поминались недавно имена Никона, Аввакума, многих старых московских стоятелей за веру. Всуе упоминались, потому что и внешнее-то сходство искусственными декоративными мазками делалось, а уж внутреннего — совсем нет. Когда изучаешь хотя бы того же Аввакума, неизменно видишь пред собою убеждение отчетливое, человека, всегда твердо знающего, что он говорит. По уровню и потребностям своего века и общества Аввакум — чрезвычайно образованный человек. Если он смешит нас иногда невежеством, то не он невежествен, а невежественно время, в котором он живет. Все же, что старая Москва знала и знает, то есть всю ее церковную науку, Аввакум держит в памяти так ясно и твердо, что знание это стало его второю натурою. И уж, конечно, он в этой своей области не отражал основных вопросов уклончивым «можно справиться». От знания Аввакумова XX век вправе отделаться короткою характеристикою: начетчик. Но начетчик-то он был совершеннейший. И как же, не будучи начетчиком, возможно разбираться в тех областях веры, которыми занялись Гермоген и Розанов, — когда вопрос касается не умозрения, а фактов и подлинных учений? В том-то и разница между теми старыми, всуе поминаемыми, и нынешними, всуе уподобляемыми, что те стояли кто в уровень своего века, а кто и значительно выше его, а нынешние стоят неизмеримо ниже века, в котором живут. Поэтому вся их война производит впечатление детей, играющих с серьезным видом в игру, которая была бы довольно невинна, если бы, к сожалению, не надоедала шумом, не была слишком драчлива и не заражала бы своею истерикою многих, уже совершенно «малых сих». В этой детскости — приговор «гермогенства». Убеждение может быть ошибочным и на ошибочной почве построенным, но оно должно твердо знать свою почву и систему своих доказательств. Иначе оно не убеждение, а каприз. Оттого и непрочны так «страдания»

всех этих Гермогенов и Илиодоров, оттого и теряются они при первой же острастке, что каприза и самодурства в них предостаточно, а выношенного, логически обоснованого убеждения — нет ни на грош. Естественно Аввакуму гореть на пустозерском костре, когда он каждым атомом существа своего убежден, что он прав, и иначе ему — жить, быть и верить нельзя. Ну а когда «можно справиться», — какая тут охота гореть на кострах! Засядет человек на голодовку, — а возмущенный инстинкт самосохранения шепчет ему: «Ну, что ты врешь? Сам не знаешь, за что себя мучишь! Глупости, не капризничай, любезный, а выдумывай-ка скорей благовидный предлог, чтобы канитель эту кончить, потому что пренеприятно живот подвело...» Ведь «можно справиться», — и еще что-то выйдет, когда ты справишься: бабушка надвое говорила!.. Вышел «гонимый» Илиодор за городскую заставу: мятель, холод, впереди семьсот верст пешего, зимнего пути... За что? За Гермогена, которому не нравятся какие-то там павликианские диакониссы... Мятель, холод, впереди семьсот верст зимы... Да, собственно говоря, стоит ли поднимать на себя этакие труды из-за диаконисс... как бишь их там? Да! павликианские!.. Уж так ли в самом деле горю ревностью против этих самых павликиан (бес их знает, где они и какие были), чтобы маять бренное существо свое по «снежной, тяжелой дороге»? Гораздо лучше дело будет повернуть на Удельную и засесть в «бест» у доброго приятеля, г. Бадмаева... Где убеждение и знание, там голодовки и снежная, тяжелая дорога. Аввакум со своей Марковною — на Байкал-озере. Где каприз и неуверенность, там бадмаевский самовар и унылая или развязная сконфуженность провалившегося фокусника. «Все проклятый Гришка виноват!..» Это восклицание Илиодора в своем роде стоит знаменитого: «Сорвалось!..» В том-то и штука, что Гришка ли, другой ли кто виноват, но — «сорвалось!..» И всегда сорвется. Ибо — материал не тот, «кишка тонка». Самодурство, облеченное в одеж-

ду веры, налицо, а веры, пожалуй, и жидковато. На попытку демагогического авантюризма куда ни шло, заряда хватает, но на подвиг — банкрот!..

Так что — вот — в конце концов приходится заключить выводом вроде щедринского: «Не виновен, но не заслуживает никакого снисхождения». Насилие над свободою мнения, учиненное Гермогену и Илиодору, очень антипатично. Но и жертвы — не симпатичнее. Друг друга стоят. Видеть же, как своя своих не познаша и ворон ворона в глаз клюет — зрелище, нельзя не сознаться, довольно любопытное и в некоторых отношениях поучительное, ибо знаменательное.

Любопытно и несколько неуместно: при чем, собственно, тут рассуетился и разахался г. Розанов, один из кандидатов в анафемы, намеченных Гермогеном, за которого он так распинается и которым столько умиляется? Вот уж в чужом-то пиру похмелье приемлет! Если г. Розанов припомнит забвенное им «павликианство», то сдается мне, что, как писатель по религиозным вопросам, окажется он, хотя и охоч церквостроительствовать, все-таки гораздо ближе к павликианам, с их идеалом апостольской церкви, чем к еп. Гермогену. По крайней мере, в старых своих писаниях, в эпоху «Нового пути», когда г. Розанов именно и сделал себе в этой области громкое имя. За позднейшею эволюцией г. Розанова я внимательно не следил. И, конечно, сам еп. Гермоген чувствует, что г. Розанов далеко ему не товарищ, ибо иначе не предлагал бы его анафематствовать... Или г. Розанов распинается за Гермогена в красивом жесте великодушия к врагу в несчастии? Но, полно: такого ли врага теряет г. Розанов в Гермогене, чтобы жест был кстати? Силенки нет у Гермогенов и Илиодоров: шебаршить охоты много, да руки-то связаны, власть отошла, и не столько государство, сколько дух времени скрутил ее и обратил рыкающего льва в домашнего кота. Но развяжите этакому Гермогену руки, вот вам и готово бывалое судилище:

— Ты ли Василий Васильев сын Розанов?

— Я Василий Васильев Розанов, превладыка.

— Ты ли написал две книжицы дебелые, рекомые «Около церковных стен»?

— Мой грех, преосвященнейший владыка.

— Чёл келейник мой богомерзостные книги твои и обрел в них павликианскую ересь.

— Не знаю, что есть павликианская ересь, владыка.

— М-м-м... я, правду сказать, тоже не знаю. Келейник говорит, — будто вроде армянской веры. Можно справиться на досуге, а ты, заблудшее чадо, садись-ка покуда в Суздаль-монастырь!

— За армянскую-то веру, владыка?

— А ты как думал? Армяне — они Божество Христа отрицают. Скажешь: не ересь?

— Как не ересь! Но... когда же я...

— Экой несговорный! Да ты павликианец?

— Не знаю... Вы говорите, владыка.

— Павликиане — армяне.

— Вы говорите, владыка.

— А армяне в Христа не веруют.

— Вы говорите, владыка.

— Ну, и садись в Суздаль-монастырь! И зваться тебе отныне не Розановым, а розанианцем...

Жертвою властного невежества страшно быть во всякой области жизни, но страшнее всего, когда невежество хочет господствовать над человеческою совестью. Потому что у невежества одно оружие к державству: разъяренный предрассудок, не слушающий доказательств, умышленно закрывающий глаза на факты и даже мирным уступкам в собственную свою пользу показывающий кулаки и изрыгающий анафемы. Всего этого Россия предостаточно насмотрелась и наслушалась на царицынской арене, начавшей было расползаться уже на Поволжье.

Если г. Розанов возобновит в памяти историю Соборов Константинопольского (448 г.) и Ефесского (449 г.), неурядицами своими подготовивших четвертый вселенский Халкидонский Собор (451 г.), тот самый, которого не признают армяне, он увидит в ней многих Гермогенов и Илиодоров в действии. В таком выразительном действии, что второй из названных Соборов (Ефесский, под председательством Диоскора) остался в церковной истории с прозванием «разбойничьего».

Самое евтихианство, из которого истекло армянское вероисповедание, выработалось в распрях этих Соборов нехотя, как вынужденный результат слепой ревности вот этакого же тогдашнего Гермогена, епископа Евсевия Дорилейского. Ему во что бы то ни стало надо было довести до отлучения бывшего приятеля своего, архимандрита Евтихия, весьма старого и покладистого монаха-монофизита, который шел решительно на все потребованные от него уступки. Но, когда он их делал, их от него не принимали: «Я обвинял его не за будущее, а за прошедшее, — говорил Евсевий. Теперь, если бы кто-нибудь поднес ему правильное изложение веры и сказал бы: *подпишись и согласись по необходимости*, то неужели поэтому должен я считаться побежденным? Скажи заключенным в темнице — *отныне не разбойничайте*, — и все они обещаются» (Терновский).

Не нынешний ли это язык? Не Гермогенова ли проверка всех инаковерующих и мыслящих — вечный источник разделений, отделений, дроблений и всяких трещин в той самой церкви, которую Евсевии и Гермогены будто бы единят и защищают? Так-то вот народилось и то армянство, которое Гермоген воображает отрицающим Божество Христа! Чтобы выдвинуть его на боевую арену, достаточно было ссоры двух монахов, из которых один ни за что не хотел принять от другого ни доказательств, ни уступок. А не хотел потому, что — «если я окажусь клеветником, то с меня снимут сан и отправят меня в ссылку!»

У нас в последние годы много носятся с идеей церковного Собора. Думаю, что история Гермогена и Илиодора — выразительное показание, чем бы сейчас такой Собор оказался. Не может быть церковного Собора в XX веке: поздно! Можно, конечно, дать имя, но нельзя воскресить авторитет. Может быть, съезд и собрание нескольких сот архиереев и священников, совещающихся по текущим церковным вопросам и делам: увеличенный в несколько раз и территориально расширенный епархиальный съезд. Но Собора, определяющего историю, как законоположная эра, не выйдет. Нет для него в стране материала ни субъективного, ни объективного. Какие уж там Соборы, если вон, оказывается, именитые архиереи истории церкви не знают! Созвать в одно место Гермогенов и Илиодоров — при деньгах, штука не хитрая, равно как и наименовать это их свидание Собором. Но ведь никто именем не обманется, всякий разберет, какой может быть Собор из Гермогенов, Илиодоров и им подобных. Если, как сейчас, в крепком кулаке светской власти, то — чиновничий: такой и собирать не стоит, имеется постоянный — в форме Синода. Если же кулак, паче чаяния, найдет нужным любезно распуститься в пять пальцев, то — вроде диоскорова ефесского, выразительный исторический эпитет которого был приведен выше, а потому здесь я его из вежливости опущу.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЖАЛЬ

«Русское слово» любезно прислало мне две книжки стихов поэта, пишущего под псевдонимом Игоря Северянина, с предложением высказаться об этом новом и, кажется, весьма многошумном явлении российского Парнаса.

К сожалению, просмотрев присланные книжки, вижу, что я в состоянии судить в полной мере лишь о весьма незначительной части их содержания, а более или менее — о части, хотя обширнейшей сравнительно с первою, но все же слишком малой в общей сумме страниц. О громадном же большинстве произведений г. Игоря Северянина признаю себя совсем неспособным судить, — по той простой причине, что не знаком с языком, на котором они написаны. Словаря и грамматики языка этого книгоиздательство, выпускающее сборники стихов г. Игоря Северянина, к сожалению, не догадалось приложить к изящным своим томикам. Это — большая ошибка. Когда Гоголь обнародовал «Вечера на хуторе близ Диканьки», он, имея в виду удобство читателей, приложил к книжке словарь встречающихся в ней малороссийских речений. Между тем малороссийское наречие гораздо ближе к русскому языку, чем то, на котором по большей части пишет г. Игорь Северянин, иногда предаваясь этому зага-

дочному диалекту целиком, иногда делясь между ним и русскою речью.

О непонятной мне части я ограничусь лишь замечанием, что, судя по смешению в языке ее латинских корней с славянскими суффиксами и флексиями, язык этот близок к румынскому. Приблизительно таким наречием изъясняются музыканты румынских оркестров после того, как проиграют сезона два-три в русских ресторанах и увеселительных садах. Филологическая догадка моя о румынском происхождении языка г. Игоря Северянина находит себе подтверждение в довольно частом упоминании поэтом о румынской нации, и именно в ресторанной ее разновидности. Например:

То клубникой, то бананом
Пахнет кремовый жасмин,
Пышно-приторным дурманом
Воссоздав *оркестр румын*.

И через две страницы опять:

А иголки Шартреза? а шампанского кегли?
А стеклярус на окнах? а цветы? *а румыны*? *)

*) Впрочем, кроме языка румынского, г. Игорь Северянин прибегает иногда к помощи и других наречий. Так, например, в «Увертюре» к отделу «Колье принцессы»:

Колье принцессы — аккорды лиры,
Венки созвездий и ленты лье,
А мы, эстеты, мы — ювелиры,
Мы ювелиры таких колье.

Ясно, что «лье» во втором стихе — третье лицо единственного числа настоящего времени от глагола «лить», спрягаемого на малороссийском наречии... Смысл стихов таков: «Колье принцессы лье аккорды лиры, венки созвездий и ленты...» Правда, один недоброжелатель г. Игоря Северянина уверял меня, будто «лье» здесь — французскому lieu, но сие невероятно уже потому, что lieu произносится по-русски «льё». И тогда, — для того чтобы стихи сохранили созвучие, — пришлось бы читать на конце четвертого стиха не «колье», а «кольё», что составляет большую разницу. «Колье принцессы», — это давай Бог каждому, но «кольё принцессы»,— это уж из тургеневского Пигасова...

Мне тем более прискорбно не понимать г. Северянина в значительнейшей доле его творчества, потому что в той доле, которая мне совершенно понятна, его поэзия мне очень нравится. Это ли, например, не прелесть?

Быть может, оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно-больно моложава,
Быть может, оттого я так хочу всегда
С тобою вместе быть; когда, смеясь лукаво,
Раскроешь широко влекущие глаза
И бледное лицо подставишь под лобзанья,
Я чувствую, что ты — вся нега, вся гроза,
Вся молодость, вся страсть; и чувства без названья
Сжимают сердце мне пленительной тоской,
И потерять тебя боязнь моя безмерна…
И ты, меня поняв, в тревоге головой
Прекрасною своей вдруг поникаешь нервно, —
И вот другая ты: вся — осень, вся — покой...

(Громокипящий кубок. В очаровании)

Или:

В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»
И отец призадумался, *потрясенный минутою*,
И простил все грядущие и капризы, и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

(За исключением двух слов, пригнанных для рифмы: «потрясенный минутою», которые расхолаживают своею газетною прозаичностью).

Таких вещиц в двух книжках г. Игоря Северянина — «Громокипящий кубок» и «Златолира» (что, по-русски, должно обозначать, вероятно, «Золотую лиру»), наберется более дюжины: «Все по-старому», «Виктория регия», «Газелла», «Эхо», «Обе вы мне жены», «Nocturne», «Только

миг», «Солнце землю целовало», «Прелюдия» («Лунные тени»), «Звезды», «Ничего не говоря», «А если нет», «Град»... Все это чрезвычайно, как говорится, «мило»: певуче, молодо, свежо, искренно, часто страстно. Подкупает простотою и нежностью, показывает в авторе способность к изяществу стиха и рифмы, большую гибкость, яркую звучность... Правда, все без исключения стихи эти безусловно подражательны и «навеяны», причем в выборе образцов г. Игорь Северянин переливается на тысячи ладов, от Лермонтова до Бальмонта, но в молодом поэте не такой уж это большой грех. Юный Лермонтов подражал Байрону, почему же юному г. Игорю Северянину не подражать Лермонтову? Люди скромные находят даже, что хорошая копия лучше плохого оригинала... И нельзя не сознаться, что правило это как нельзя более оправдывается г. Игорем Северяниным. Покуда он весь — талантливый перепев слышанного-читанного. В области перепева он не только силен, но даже прямо-таки поражает растяжимостью своей способности применяться к чужим мелодиям, часто до полного с ними слияния. Способность эту он начинает проявлять уже с заглавия первой своей книжки «Громокипящий кубок», которое взял взаймы у Тютчева, и продолжает до последней страницы второй... il prend son bien où il le trouve, * — и при этом, надо отдать ему справедливость, добродушно невзыскателен к источникам. Так, например, первая же страница первой книжки поет и воркует читателю:

Тебе одной все пылкие желанья,
Души моей и счастье, и покой,
Все радости, восторги, упованья
Тебе одной...

* Он берет свое добро там, где его находит (*фр.*).

Ах нет, виноват: это как раз не г. Игоря Северянина сочинение. У него не совсем так:

Очам твоей души — молитвы и печали,
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей,
И все что здесь в конце, и все, что здесь в начале, —
Очам души твоей...

Не правда ли, мило? Читая, искренно сожалел я, что умерли Я. Пригожий и Саша Давыдов... Какую бы первый музыку написал к этим стишкам, а второй как бы исполнил ее, «со слезою», под гитару!.. И сколько чувствительных барышень потом трогательно звенело бы ее фальшивыми голосенками в домиках, где на окнах цветут герани, а к потолкам привешены клеточки с канарейками...

Любимыми образцами г. Игоря Северянина, коим он подражает уже совершенно сознательно и убежденно и о том многократно заявляет, остаются Фофанов и Мирра Лохвицкая. Должен признаться, что здесь я вполне разделяю вкус г. Игоря Северянина, особенно, что касается Мирры Лохвицкой, — поэтессы, иногда возвышавшейся (в лирике) почти до гениальности... Фофанова я меньше знаю. Г. Игорь Северянин посвятил ему много стихов, из которых многие хороши, и если не всегда складны, то подкупают искренностью. Что касается Лохвицкой, г. Игорь Северянин так прямо и восклицает:

— Я и Мирра!

Соединение это кажется мне немножко слишком храбрым и преждевременным. Со своим «мирропомазанием» г. Игорю Северянину надо еще погодить, да и погодить: таких наград не берут авансом. Мирра Лохвицкая, велика ли она, мала ли, но вся была, прежде всего, именно сплошь оригинальна и задушевно, пламенно смела. Хотя

жизнь ее была короткая, она успела сказать несколько *своих* слов и внесла ими в копилку русской литературы несколько *своих* мыслей. Ими потом вот уже целое десятилетие пробавляются разные господа-поэты, от них же первый и, к чести его, наиболее откровенный — г. Игорь Северянин. В этом категорическая разница Мирры Лохвицкой с г. Игорем Северяниным, талантливым подражателем, у которого именно как раз своих-то слов еще и нет. На 126—131 страницах стихов ему не удалось ни однажды выразить мысли, создать образ, вызвать к жизни форму, которых не знали бы прежние поэты и не прибегали бы к ним с гораздо большим искусством и удачею. Поэтому, когда г. Игорь Северянин связывает себя в чету с Миррой, это производит впечатление такой же неудачной претензии, как если бы... ну, хоть Подолинский, что ли, сказал:

— Я и Пушкин.

Или милейший человек, покойник Лиодор Иванович Пальмин:

— Я и Гейне.

Конечно, в измененных пропорциях, потому что Мирра Лохвицкая — не Пушкин и не Гейне... Но она все же их породы, а порода г. Игоря Северянина еще совершенно не определилась. Мирра Лохвицкая — *уже* явление демоническое, а г. Игорь Северянин — *еще* явление обывательское. И в очень большой степени. Говорю, конечно, о породе поэтической, потому что дворянскую свою родословную, г. Игорь Северянин нам сообщает с предупредительностью.... именно истинного обывателя в фуражке с красным околышем:

Известно ль тем, кто вместо нарда,
Кадит мне гарный дым бревна,
Что в жилах северного барда
Струится кровь Карамзина?

И вовсе жребий мой не горек!..
Я верю, доблестный мой дед,
Что я — в поэзии историк,
А ты — в истории поэт!

Увы! Демон подражательности, владеющий г. Северяниным, лишил его оригинальности даже в родословной. Ибо кому же неизвестно, что на святой Руси уже полвека лиет (или, если г. Игорю Северянину больше нравится, лье) чернила другой знаменитый писатель, который, можно сказать, уши прожужжал своему отечеству вот этим же самым хвастовством, что он — «внук Карамзина»... И писатель этот — князь Владимир Петрович Мещерский!.. Tanto nomini nullum par elogium...* Нда... Внукам-то хорошо хвастать, а вот каково деду!

Продолжая обозрение тяготеющего над г. Игорем подражательного фатума, нахожу в «Златолире» его, так сказать, гражданскую исповедь:

Я славлю восторженно Христа и Антихриста,
Голубку и ястреба, рейхстаг и Бастилию,
Кокотку и схимника, порывность и сон...

Охват поэтической компетенции бесспорно широкий, однако опять-таки не побивший былых рекордов. Уже пятьдесят четыре года назад Русь ознакомилась с великим поэтом, носившим скромное имя Якова Хама, который

На все отозвался, — ни слабо, ни резко, —
Воспел Гарибальди, воспел и Франческо... **)

---

* Никакая хвала не равна такому имени... (*лат.*); т.е. его носитель выше всяких похвал.

**) Яков Хам имел некоторое сходство с г. Игорем Северяниным и в том отношении, что, подобно тому, как г. Игорь Северянин творит стихи свои

Предупрежденный в «направлении» Яковом Хамом, в этической проповеди г. Игорь Северянин является открывать Америку после «Санина» и, по крайней мере, тысяч десяти «русских ницшеанцев», включая в число последних и г. Анатолия Каменского, рекорд которого г. Игорь Северянин тщетно пытается побить в своей «Катастрофе»... Далеко кулику до Петрова дня! То, для чего поэту понадобилось железнодорожное крушение с остановкою в 18 часов, герои г. Каменского обрабатывали в пять минут, на ходу поезда!

Г. Игорь Северянин не чужд горестного сознания насмешек преследующего его рока и борется с своим злым демоном на всех, так сказать, платформах поэтического творчества. Не имея оригинальных идей, он пытается взять реванш, по крайней мере, на оригинальной форме, вертя оную сяк и так. Этими полезными техническими упражнениями он, действительно, развил в себе ловкость, которую, если бы дело шло не о поэте, можно было бы определить акробатическою. Так на странице 45-й «Златолиры» он обрушивает на читателя замечательный фокус, в виде редкостно-богатого подбора однозвучной мужской рифмы:

ДУРАК

Жил да был в селе «Гуляйном» дьяк-дурак,
Глоткой — прямо первый сорт, башкою — брак.
Раз объелся пирогами, — да в барак,
А поправился, купил потертый фрак,
Да с Феклушею вступить желает в брак.

на румынском наречии и потом уже посильно переводит их на русское, так и Яков Хам изливал свои вдохновения на австрийском языке (румынском, даже пограничном), а переводил их для россиян Н.А. Добролюбов.

Али ты, дурак, своей свободе враг?
А зачем, дурак, ночной бывает мрак?
А зачем, дурак, у леса есть овраг?
Али съест тебя, дурак, в овраге рак?
Вот-то дурень, дуралей-то! Вот дурак!
Не стихарь тебе носить бы, а чепрак!
Ну, не все ль равно, что свекла, что бурак?
Коли трус, так не задумывал бы врак,
А молился бы угодникам у рак,
Да поигрывал с помещиком в триктрак,
Попивая вместе ром или арак!

Однако, к сожалению, и замысловатая жонглировка «раком» и «дураком» изобретена не г. Игорем Северяниным. Бертольдом Шварцем этого пороха был В.П. Буренин, с лишком тридцать лет назад превесело рассказавший публике ужасную «Ирландскую балладу»:

Проснулся в полночь Мак д'Уррак,
Проснулся бледен и смущен,
Ему во сне приснился рак:
Что значит этот страшный сон?
Привстал на ложе Мак д'Уррак,
Дрожит он, дыбом волоса;
Кругом его лишь ночи мрак,
С ним рядом спит Эдифь-краса.
«Эдифь! — воскликнул Мак д'Уррак,
Склонясь к супруге молодой, —
Вставай! Вставай! Мне снился рак,
Мне снился рак во тьме ночной!..»
На миг Эдифь открыла зрак
И молвит, вняв речам его:
«И сон твой глуп, и ты дурак», —
И все... и больше ничего!
И в тьме ночной Мак д'Уррак,
Эдифи внявши злой упрек,
Поправил свой ночной колпак
И вновь до утра спать залег.

Притом... перечитав сейчас балладу г. Игоря Северянина о дьяке-дураке и раке, я с удивлением заметил, что, покуда я ее переписывал, она удлинилась на шесть стихов, которых нет в книге... Откуда взялся этот прирост? Очевидно, это — машинальный результат бессознательного творчества, пробужденного даже во мне, который менее всего поэт, легкостью и бойкостью рифм г. Игоря Северянина... Подумайте, что же на моем месте совершил бы мастер, специально преданный делу «рифмичества», либо даже не мастер, а просто счастливец, снабженный хорошим словарем рифм? Ведь только выдержала бы поясница, а то подобный специалист может этак сидеть да рифмовать с утра до вечера, а если не впадет в сонную одурь, то и с вечера до утра... Сколько бумаги возможно унавозить столь почтенным способом, — даже невообразимо! Говоря словом г. Игоря Северянина, avis aux * те, кого пугают слишком быстрые успехи финляндской промышленности.

По всей вероятности, именно отчаянием проявить оригинальность в творчестве на языке русском объясняется обращение г. Игоря Северянина к какому-то румынскому наречию, которое ему, по-видимому, более знакомо.

Душа твоя, эоля,
Ажурит розофлер.
Гондола ты, Миньоля,
А я — твой гондольер.

Что сие обозначает, — как уже сказано, судить не берусь. Но звучит нисколько не хуже эсперанто. Может быть, это оно самое и есть? Стихотворения г. Игоря Северянина, написанные на неведомом языке, делятся на рондели, поэзы, диссоны, интуитты, героизы, вирелэ, кокетты, миньонеты, хабанеры, коктебли и пр. С любопытством ознакомившись с этими новыми поэтическими

* Примите к сведению (*фр.*).

категориями, я, однако, не мог найти в них разницы с обыкновеннейшими элегиями, посланиями, балладами и прочими родами и видами поэзии, к которым приучил нас добрый старик Стоюнин. Разве лишь что в большинстве «поэз» уж очень хромает размер, и из рук вон плохи рифмы. Говорю, конечно, опять лишь о рифмах, принадлежащих русскому языку. Как-то: «Врубель» и «убыль»; он же, «Врубель» и «рубль»; «видел» и «гибель»; «Арагва» и «нагло»; «поносили» и «бессилье»; «близок» и «одалисок»; «признаться» и «Надсон»; «обувь» и «холопов»; «тосты» и «звезды»; «пихт» и «выход»; «конус» и «соус»...

В румынском произношении все это, может быть, и созвучно, но русскому уху несколько чуждо. Если эти не столько рифмы, сколько оскорбления слуха действием, рождены поэтом не в результате лингвистического недоразумения, а по предварительному умыслу, все в той же погоне за рекордом оригинальности, то приходится предупредить г. Игоря Северянина, что он и тут опоздал. Давно уже срифмованы не только «пуговица» и «Богородица», «медведя» и «дядя», но даже «дуга» и «колокольчик». И изобретатели этих рифм были настолько скромны, что даже не потребовали производства за то в гении и короли, а предпочли окончить жизнь в безвестности и забвении...

Рифмами румынскими г. Игорь Северянин владеет, вероятно, мастерски. Предполагаю потому, что очень часто, — вернее даже будет сказать: постоянно, — поэт, затрудняясь подыскать к русскому слову русскую же рифму, смело заменяет ее рифмою румынскою, и всегда с полною удачею. Например:

Невыразимо грустно, невыразимо больно
В поезде удаляться, милое потеряв...
Росно зачем в деревьях? В небе зачем *фиольно*?
Надо ли было в поезд? Может быть, я не прав?

Или:

Ей, вероятно, двадцать три.
Зыбка в ее глазах *фиоль.*
В лучах оранжевой зари
Улыбку искривляет боль.

Несомненно, что русские «боль» и «больно» с румынскими «фиоль» и «фиольно» рифмуют бесподобно. Если же какой-либо суровый критик воспротестует против самого принципа русско-румынского рифмования, — протестовал же чудак Чацкий против «смешенья языков французского с нижегородским!» — я советую г. Игорю Северянину ответить придире:

— Разве я первый? Еще 125 лет назад Княжнин рифмовал:

Мое — ах! — сердце, как сури,
Попавшись вам в любезный каж,
Кричит: мадам, не умори,
Амур меня приводит в раж...

— Как? — перебивает читатель. — Вы хотите уверить меня, что г. Игорь Северянин даже и тут не оригинален?

Увы! Да! И мало того, что этот проклятый Княжнин (поделом засек его Шешковский!) предупредил г. Игоря Северянина. Он еще имел наглость вложить куплет с русско-французскими рифмами в уста... переряженного лакея, который волочится за провинциалкою, разыгрывая роль светского человека!

Приближаясь из тьмы веков к временам более цивилизованным, встречаем Мятлева с «Сенсациями мадам Курдюковой». А в 1859 году реакционная газета «Северная пчела» напечатала на языке, тоже вроде румынского, даже целую статейку:

УТР-ТОМБНАЯ СЕНСАЦИЯ

Наивна и питезна физиономия антецедентной женерации. Экспрессия ее пассивно-экспектативных тенденций — апатия. Магическою энергиею журнальных литераторов все теперь переформировалось и восфламировалось. Арена интеллектуальной реакции открыта. Реформа с принципами абсолютными, прогресс к цивилизации эффективной, гармония в теоретических и практических комбинациях, в регулировательных и спекулятивных операциях, — вот атрибуты эпохи продуктивнейшей и с идеями солидными.

И т.д., и т.д.

Статейка эта так понравилась В.С. Курочкину, что он переложил ее в стихи:

Что за абсурдные инвенции
Антецедентной женерации?
И обскурантные тенденции,
И утр-томбные сенсации!
Контанпорейного движения,
Без консеквентного внимания,
Традиционные гонения...

И если прибавить сюда Г.Н. Жулёва:

Приятель, не ропщи:
Хоть мы с тобой иззябли,
И лишь пустые щи
Едим, как Мизерабли...

Либо — еще того прытче:

— О, ди фрау, слава, деньги ль —
Все твое, мейн енгел:
Будь моей лишь после бала...
«Гут!» — она сказала.
Восхищенный этим «гутом»,
Я, в восторге лютом,
Прыгать стал во время соло
На аршин от пола!..

— Но ведь это же все на смех. А ведь г. Игорь Северянин...

Тоже на смех, милый читатель. Тоже на смех. По крайней мере, хотелось бы, чтобы было на смех. Потому что в противном случае было бы уж очень жаль г. Игоря Северянина... Так жаль, как давно не было случая жалеть начинающего писателя.

Разумеется, на смех! Разве может человек, хоть сколько-нибудь талантливый и способный хоть к некоторому самосознанию, серьезно писать о себе:

Я, гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!..

И объявлять себя «королем», «государем», «Наполеоном», «Дантом», «президентным царем» какой-то «Марсельезии», и пр., и пр.

Я не хочу останавливаться на этой стороне стихотворчества г. Игоря Северянина. Во-первых, ею уже многие занимались в печати, говоря автору слова горькие и в большинстве заслуженные. Во-вторых, выпуская эти свои пошлости, г. Игорь Северянин хотя виновен, но заслуживает снисхождения. А заслуживает потому, что опять-таки и тут не он первый.

Раньше его целым рядом поэтов и прозаиков русская публика приучилась видеть в поэте прежде всего шута горохового, на которого начинают смотреть только с того момента, когда он «отмочит колено», которого начинают слушать, только когда он, будто в гонг, ударит ни чему не подобною чепухою...

На таком коньке выехали к «известности» десятки господ из категории, которую г. Игорь Северянин энергически

обзывает «обнаглевшая бездарь». И выезд этот сделался настолько привычным, а публика унижением поэтов, обратившихся в шутов, настолько избаловалась, что вот когда наконец появился поэт не из «бездари», а проблеском таланта, то и он, — увы! — чтобы быть замеченным и «вкусить лавра», должен пройти через шутовской стаж. Покажи, милый человек, прежде всего, как ты кувыркаешься, а там, мол, посмотрим... И так как Игорь Северянин — человек даровитый и изобретательный, то, совершенно естественно, он, усердствуя в показании, как он ловок кувыркаться на все лады, да еще сгоряча и заигравшись, перенаглел всю «обнаглевшую бездарь», которую он сам же справедливо презирает и над которой гневно смеется... Отсюда и все его «поприщинские» выходки и выкрики Фердинанда VIII, столь снисходительного, что он даже не требует «знаков верноподданничества». Цели своей г. Игорь Северянин достиг... Внимание на него обращено, и даже очень обращено. Поэтому маска угождающей веку пошлости ему больше не нужна... И обществу хотелось бы видеть, а г. Игорю Северянину пора бы показать:

— Что же под маскою?

Покуда об этом могут быть только догадки, а они разнообразны и двусмысленны. Мы еще не слышали из-под маски г. Игоря Северянина слов оригинальных, но знаем, что слова заимствованные он выбирает хорошо, а произносить умеет красиво: с чувством, с темпераментом, даже с огнем. Мы с удовольствием слышали его декламирующим из Лермонтова, Фофанова, Лохвицкой, Бальмонта. Подобно Несчастливцеву в «Лесе», он часто «говорит и думает, как Шиллер». Конечно, человек, говорящий и думающий хотя бы и из тетрадки, но как Шиллер, предпочтителен человеку, говорящему и думающему хотя и вполне самостоятельно, но, как подьячий. Однако нельзя скрыть плачевной истины, что из-под маски г. Игоря Северянина раздаются не все шилле-

ровские звуки, а очень часто вдруг икнет или рыгнет кто-то, именно вроде пьяного подъячего:

Ты набухла ребенком! ты — весенняя почка!
У меня вскоре будет златокудрая дочка.
Отчего же боишься ты познать материнство?
Плюй на все осужденья, как на подлое свинство!

Вот тебе и Шиллер! Скорее, не капитан ли Лебядкин, — тот самый, который в «Бесах» приглашал:

Ретроградка иль жоржзандка,
Всё равно, теперь ликуй:
Ты с приданым, гувернантка,
Плюй на все и торжествуй!

Маски опасны. Они прилипают к лицам, и когда настанет время снять их, иным бывает больно, а у иных они оставляют на лицах нехороший след. «Златолира» в этом смысле — очень плачевный показатель. В «Громокипящем кубке» прорывы «Шиллера» часты и звонки. «Златолира» — почти сплошное кувырканье на потеху «ликующих, праздно болтающих». И, что всего печальнее, г. Игорь Северянин, среди холодного мещанского распутства, в миру которого он поет и которое воспевает, по-видимому, чувствует себя как дома и очень хорошо... Компания, положим, большая и теплая... Как говорили в старину, «со звуком», а ныне это, кажется, заменено определением «прасоловская»... Но зачем же тогда обижаться, что в нашей стране четверть века «центрит» (вероятно, стоит в центре общественного внимания) Надсон, а г. Игорь Северянин чувствует себя «в стороне»? Может ли быть иначе?

Надсон — поэт небольшой величины, и это неверно, что он «центрит» четверть века. Он никогда не был ни дирижером, ни первою скрипкою русского поэтического оркестра,

никогда не приобретал значения «властителя дум». Но он — поэт, которого общество любило и уважало, любит и уважает, когда-нибудь, может быть, перестанет любить, но уважать никогда не перестанет... Потому, что, как ты его ни поверни, весь он — «рыцарь духа»... Чистым, светлым, самоотверженным человеколюбцем вошел он в мир, да послужит миру, собирая в свою чашу кровь и слезы угрюмого века. Величие Надсона создал не «талант» его, довольно бедно вооруженный образами, звуками и силою формы. Нет. Это необычайная красота светло страдающего рыцаря духа отразилась в каждом стихотворении его, и с такою яркостью и цельностью, что юноша, совсем не щедро одаренный вдохновением, сложился не только в поэта, но в поэта глубокого и оригинального. В поэта, который умел говорить обществу «забытые слова» по-своему, неслыханному; в поэта, который своим духовным изяществом, оправдывал, и искупал нашу мрачную эпоху, и, не будучи и претензий не имея быть великим, сыграл в долгой и широкой культурной русской полосе великую роль... Надсон — чудесное, органическое явление новой русской образованности, как бы фокус, собравший в себе лучшие лучи ее внутренней красоты, и этим пассивным соединением — могущественное и незабвенное... Ну... и... можете ли вообразить Надсона говорящим любимой женщине:

— Ты набухла ребенком?

Можете ли вообразить Надсона расписывающимся в одинаковой симпатии к рейхстагу и Бастилии, к ястребу и голубке?..

Можете ли вообразить Надсона, для которого железнодорожное крушение — только предлог «среди прелестнейших долин сыграть любви пантомин»?

Вот то-то и есть, что нет. А общество-то, — оно ведь требовательный взяточник. Его отношение к поэту всегда построено на do ut des *. Нет ничего легче, как получить от

* Даю, чтобы ты дал (*лат.*); формула римского права.

него ту славу, которую правильнее назвать пресловутость. Даже при совершенной его избалованности коленцами кандидатов в любимцы публики пример г. Игоря Северянина — достаточно явственное показание, как мало требуется труда и материала для подобных достижений. Но, — увы!— не только «центрить», но даже просто иметь какое-либо значение в культуре своей эпохи с таким арсеналом нельзя. Ибо делу время, а потехе час, и в серьезные моменты своей жизни общество безжалостно к тем, кто, покуда длится час потехи, воображал, будто это-то и есть самое дело... В эти времена общество экзаменует своего любимца: обнаружь свой духовный капитал, — чем ты можешь служить мне, если ты сын мой, член мой? И вот у бедняка-то Надсона этого капитала на черные дни общества оказалось достаточно, и впрямь на четверть века, даже до нашего времени. А богачи из его преемников по лире, между которыми были, конечно, многие значительнее Надсона удельным весом дарований, поголовно — банкрот, банкрот и банкрот...

Кто-нибудь из ригористов, пожалуй, найдет, что я говорю по поводу г. Игоря Северянина больше и в конце-концов серьезнее, чем заслуживает эта пестрая эфемерида поэтического дня... Мало ли, мол, мы их перевидали, сегодня — «определителей эпох», завтра — «трехнедельных удальцов»... Считать — цифирю не хватит... То-то вот и есть, что очень жаль было бы, если бы г. Игорь Северянин оказался такою же непрочною обыденкою, как и все «подававшие надежды» в послереволюционный период русской поэзии, который, не обинуясь, назову бирюлечным... Произведения знаменитостей, им выдвигавшихся, прочитывал я в великом множестве. И решительно ни одна не затронула меня за живое до потребности вот поговорить о ней подробно и «по душам»... Ну, возник; ну, вытянул такую бирюльку, которой до тебя другие бирюлечники не вытягивали; ну, прославился; ну а новых бирюлек, — тянешь-потянешь, вытянуть не можешь; ну

а другой бирюлечник тебя перебирюлил; ну, кувыркнулся ты с полувершкового пьедестала, и забыли о тебе, а тот, перебирюливший, воссиял для того, чтобы три недели спустя, в том же порядке брякнуться в Лету, где ты уже барахтаешься... Ну, и туда вам обоим и дорога, по совести говоря... Г. Игорю Северянину, при всем безобразии маски, в которой он шутует, я именно, по совести говоря, не послал бы подобного напутствия... Под налетом скандала, чающего пресловутости, восторгающегося ею, теплится какая-то искра как-будто настоящего дарования. В душной и спертой атмосфере, в которой эта искра тлеет сейчас, она почадит-почадит гимнами во славу буржуазного распутства и угаснет, задушенная испарениями того самого зажравшегося архимещанства, на пошлом быте которого сейчас сосредоточиваются творческие восторги поэта. Но если искре удастся вырваться из своей коктебельно-кокоточной гасильни, мне кажется,что она очень и очень в состоянии вспыхнуть радостным пожаром, какого мы не видали… да, пожалуй, что не видали именно с года «Горящих зданий» К.Д. Бальмонта...

Последним стихотворением в «Златолире» помещен сонет, посвященный автором какому-то г. Георгию Иванову:

Я помню вас. Вы нежный и простой.
И вы — эстет с презрительным лорнетом.
На ваш сонет ответствую сонетом,
Струя в него кларета грез отстой...
Я говорю мгновению: «Постой!»
И приказав ясней светить планетам,
Дружу с убого-милым кабинетом:
Я упоен страданья красотой...
Я в солнце угасаю, — я живу
По вечерам: брожу я на Неву, —
Там ждет грезэра девственная дама,
Она — креолка древнего Днепра, —
Верна тому, чьего ребенка мама...
И нервничают броско два пера...

Кончив читать книжки г. Игоря Северянина, задумался я о нем, и как-то невольно думы мои вылились тоже сонетом, так сказать, параллельным и с тем же расположением приблизительно тех же рифм:

Читаю вас: вы нежный и простой,
И вы — кривляка пошлый по приметам.
За ваш сонет хлестну и вас сонетом:
Ведь вы — талант, а не балбес пустой!
Довольно петь кларетный вам отстой,
Коверкая родной язык при этом.
Хотите быть не фатом, а поэтом?
Очиститесь страданья красотой!
Французя, как комми на рандеву,
Венка вам не дождаться на главу:
Жалка притворного юродства драма.
И взрослым быть детинушке пора...
Как жаль, что вас, детей, не секла мама
За шалости небрежного пера!

ЧУДОДЕЙ

Макса, то есть Максимилиана Александровича, Волошина я знал хорошо, близко, дружески (несмотря на разницу наших лет) в его парижские молодые дни. В течение двух лет он прикатывал к нам на виллу Монморанси почти ежедневно, редко пропуская день-другой. Тогда это был самый жизнерадостный и общительный молодой человек из всей литературно-артистической богемы не только русского (с ним Макс, пожалуй, меньше знался), но и «всего» Парижа. Цвел здоровьем телесным и душевным и так вкусно наслаждался прелестью юного бытия, что даже возмущал некоторых.

— Помилуйте! — восклицала М.А. Потапенко (супруга знаменитого романиста). — На что похоже? Мужик — косая сажень в плечах, бородища — как у разбойничьего есаула, румянца в щеках достаточно на целый хоровод деревенских девок, и голос зычный — хоть с левого берега Сены на правый кричать. А говорит все о мистицизме да об оккультизме — и таким гаснущим шепотом, словно расслабленный и сейчас пред вами умрет и сам превратится в привидение. Даже не разберешь в нем, что он — ломается, роль на себя напустил или бредит взаправду? Чудодей какой-то!

В парижском обществе (кого только Макс в нем не знал и к кому только не был вхож!) Волошин был известен под кличкою «Monsieur c'est frés intéressant!»* От его манеры откликаться этой фразою, произносимою неизменно в тоне радостного удивления, решительно на всякое новое известие. Это восклицание действительно хорошо — цельно — определяло тогдашнее существо: воплощенную жажду жизни, полную кипения и любопытства бытопознания.

Помню курьезный вечер. Бывала у нас, так же, как Макс, ежедневно Ольга Комиссаржевская, сестра знаменитой Веры Федоровны, несколько на нее похожая, воительница «на усовершенствовании» и тоже, как Макс, мистичка, к оккультизму склонная. Но — полная противоположность Максу и по наружности, ибо бледностью, худобою и траурным одеянием действительно немного походила на привидение, и, в особенности, по настроению: воплощенное уныние, недовольство жизнью, испуг пред сложною загадкой бытия.

И вот однажды они, по обыкновению, у нас, но я занят, жена занята, — остались они вдвоем. Говорить им, по полярному разобщению натур, решительно не о чем. Ольга — Гераклит, в черном хитоне с воскрылиями, — мрачно затискала свое слабое тельце в угол дивана. Волошин — дюжий Демокрит, велосипедист в бархатной куртке и шароварах шириною с Черное море — бродит по гостиной, светло улыбаясь каким-то своим неведомым, но радужным мечтам. Молчание длится минут пятнадцать. И вдруг слышу — печальный, не без оттенка презрительного негодования, хрустальный звон:

— Вы... всегда так довольны собой?

И — патетический ответ сочного баритона:

— Всегда!

— Как это странно!

* «Господин это очень интересно!» (*фр.*)

Я покатился со смеху: уж очень комичен был контраст. Комиссаржевская ужасно обиделась. Волошин нисколько. Его было очень трудно обидеть, по крайней мере, обидой реальной.

Но однажды он дрался на дуэли с Гумилевым — за насмешки Гумилева над его фантастической влюбленностью в фантастическую графиню Черубину де Габриак. Такой графини никогда не бывало на свете, но под этим звонким псевдонимом, ловким кокетством по телефону, перемутила и перевлюбила в себя сотрудников «Аполлона» лукавая литературная авантюристка, к слову сказать, оказавшаяся, когда ее обличили, на редкость безобразною лицом. И вот из-за этакой-то «незнакомки-невидимки» стрелялись два поэта! Правда, уж и дуэль была! Над калошей, забытой на месте поединка которым-то из дуэлянтов, фельетонисты и юмористические листки потешались не один год.

Заочный роман с небывалой графиней — наилучший показатель основной черты в характере М. Волошина, я назову ее «воображательством». Он был честен, правдив, совершенно неспособен обманывать умышленно, лгать сознательно. Но в нем жила непреодолимая потребность «воображать» — и, совсем вразрез с его жизнерадостностью, воображать по преимуществу что-нибудь жуткое, сверхъестественное, мистическое. Воображал же он с такой силой и яркостью, что умел убеждать в реальности своих фантазий и иллюзий не только других, но и самого себя, что гораздо труднее. Как-то раз я попросил его показать мне «ночной Париж». Он очень серьезно отвечал, что его любимая ночная прогулка — на Иль де Жюиф *).

— На Иль де Жюиф? Да что же вы там делаете? На нем и днем-то ничего интересного нет.

— Я слушаю тамплиеров.

— Каких тамплиеров?

---

*) Островок на Сене перед собором Парижской Богоматери.

— Разве вы не знаете, что 11 марта 1314 года на Иль де Жюиф были сожжены гроссмейстер Жак де Малэ со всем капитулом ордена тамплиеров?

— Знаю, но что же из этого следует?

— В безмолвии ночей там слышны их голоса.

— Да ну?

— Помилуйте, это всем известно.

— И вы слышите?

— Слышу.

— С чем вас и поздравляю.

Обыкновенно «воображательство» Макса было невинно и даже занимательно: в обществе он был очень приятным человеком и рассказывал увлекательно. Но иногда его твердая вера в свои фантазии вводила людей, имевших с ним дело, в положения весьма щекотливые.

Умирала тогда в Париже Русская высшая школа социальных наук, основанная М.М. Ковалевским. По отъезде его в Россию заведовал школою некоторое время я. Дела школы шли ужасно плохо, средств не было, профессора переругались, лекторов не хватало, слушатели злились. В этакое-то безвременье М. Волошин однажды предлагает мне прочитать лекцию на тему «Предвидения и предсказания Французской революции». Я обрадовался: тема как раз по нашей аудитории, которая по своему революционному настроению никакой истории и слушать не хотела, в ней не было «предвидений и предсказаний» из революций прошлых для будущей революции в России... Я знал, что Волошин обстоятельно изучал эпоху, а что изложение будет блестящим, в том, при его таланте и прекрасном русском языке, какое же могло быть сомнение?

Ох, оно и вышло блестяще! Но — как Макс за этот блеск не был освистан или обработан как-нибудь еще хуже, я и сейчас недоумеваю.

Взобрался чудодей на кафедру и — перед двумя сотнями меньшевиков, большевиков и эсеров, сплошь овеянных духом

«исторического материализма», — давай дерзновенно рассказывать... спиритические анекдоты, вроде видения Казота, — «бабьи басни», одна фантастичнее другой... В зале смех, перешептывание, язвительные возгласы. Я сижу, как на иголках, ежеминутно ожидая скандала. Однако Бог миловал; под конец Волошин ввернул свои красивые стихи «Народу русскому», и ничего, сошло: за эффектный стихотворный финал ему даже похлопали. Но мне студенческий комитет устроил сцену, язвительно осведомляясь — какое отношение имеют подобные лекции к социальным наукам и намерен ли я допускать их впредь.

Пришлось изиниться за «недоразумение», а с Максом иметь объяснение, которое я намеревался выдержать в тоне лютом, но он обезоружил меня кроткою невозмутимостью: решительно не понимаю, мол, в чем прегрешил.

— Да в том, что вместо исторической лекции вы битый час морочили публику заведомым вздором.

— Извините, я никого не морочил и никакого вздора не говорил.

— Ну уж это, Макс, вы рассказывайте кому-нибудь другому, а я оккультную литературу знаю и могу хоть сейчас указать вам, откуда какой свой анекдот вы заимствовали.

— Я и не отрицаю, что мои факты (а не анекдоты, как вы называете) давно известны, но я проверил их по новым непреложным источникам и воспользовался случаем публично их подтвердить.

— Желал бы я видеть эти ваши новые непреложные источники.

— К сожалению, это невозможно.

— Так я и знал. Однако почему?

— Потому что мои источники не печатные, не письменные, но изустные.

— Что-о-о?!

— Ну-да, я их черпаю непосредственно из показаний двух очевидиц Французской революции, игравших в ней большую роль.

— Бог знает, что вы говорите, Макс!

— Уверяю вас, Александр Валентинович.

— Сколько же лет этим вашим раритетам и где вы их достали?

— Здесь, в Париже, а по возрасту — королева Мария Антуанетта родилась в 1755 году, значит, ей сейчас 151 год, принцесса Ламбаль в 1749-м, ей — 157...

— Ах, вот какие у вас источники?! Понимаю. Изволите увлекаться медиумическими сеансами с вызыванием знаменитых покойниц? Макс, Макс! И не конфузно вам выдавать такую ерундовую спиритическую болтовню за исторические свидетельства?

Он — с совершенным спокойствием:

— Вы ошибаетесь: мне нет надобности в медиумических сеансах. Я просто время от времени прошу аудиенции у Ее Величества Королевы или делаю визит Ее Высочеству принцессе, и тогда они сообщают мне много интересного.

Смотрю ему в глаза: не пора ли тебя связать, друг любезный? Нет, ничего, ясные. И не замечается в них юмористического огонька мистификации: глядят честно, по сторонам не бегают и не столбенеют,— та или другая примета, обязательная для вралей. А Макс продолжает:

— Ведь они обе уже перевоплощены. Мария Антуанетта теперь живет в теле графини Х., а принцесса Ламбаль — в теле графини З. (Назвал две громкие аристократические фамилии с точным указанием местожительства.) А если вас вообще интересуют перевоплощенные, то советую познакомиться с графиней Н. Она была когда-то шотландскою королевою Марией Стюарт и до сих пор чувствует в затылке некоторую неловкость от топора, который отрубил ей голову. В ее особняке на бульваре Распайль бывают премилые интимные вечера. Мария Антуанетта и принцесса Ламбаль очень с нею дружны и часто ее посещают, чтобы играть в безик. Это очень интересно.

Что это было? Легкое безумие? Игра актера, вошедшего в роль до принятия ее за действительность? Все, что угодно, только не шарлатанство. Для него Волошин был слишком порядочен, да и выгод никаких ему эти мнимые «шарлатанства» не приносили, а напротив, вредили, компрометируя его в глазах многих не охотников до чудодейства и чудодеев.

Кем только не перебывал чудодей в своих поисках проникновения в сверхчувственный мир? Масон Великого Востока, спирит, теософ, антропософ, возился с магами белыми и черными, присутствовал при сатанических мессах, просвещался у иезуита Пирлинга. Оккультные сцены и лица, особенно парижские, в моих «Сестрах» (повесть «Сестра Елена»), а отчасти во «Вчерашних предках» на добрую треть зарисованы с рассказов и показов М. Волошина. Отношение его ко всем этим кругам, в которые он, ненасытно любопытный, нырял со своим «это очень интересно», было зыбкое: иной раз не разобрать, то ли он преклоняется, то ли издевается. И в связи с этой зыбкостью огромное знакомство чудодея кишело живыми «монстрами». Отнюдь не менее, а иной раз даже более удивительными, чем его загробные дружбы и интимности.

Так, однажды Макс познакомил меня с интересным господином, у которого была «память наоборот»: он «помнил» не прошлое, но будущее и, не умея рассказывать о вчерашнем дне, обстоятельно повествовал в 1905 году, что он «видел» в 1950-м. Другой приятель Макса, «историк», написал двухтомную диссертацию о доисторическом исчезнувшем народе неизвестного имени, племени и времени на основании единственного «памятника» — какого-то костяного набалдашника с резною подписью на языке (предположительно) другого народа, позднейшего, но тоже вымершего доисторически. Был еще историк — Атлантиды, по подлинным летописям ее жрецов, сообщавшихся с автором в сонных видениях. Был композитор-«монофонист», отрицавший в музыке гармонию,

контрапункт, мелодическое последование, словом, всякое симфоническое начало — во имя, славу и торжество изобретенного им «разнообразно напрягаемого однозвучия». Прослушав минут двадцать тюканье этого чудака одним пальцем то по одному, то по другому клавишу пианино, то форте, то пиано, я позволил себе заметить маэстро, что его монофония сильно напоминает настройку рояля. Он окинул меня гордым взглядом и возразил с презрением:

— Может быть. Но настройщик монофоничен бессознательно, а я сознательно. Он ремесленник, а я артист, творец. Он слышит телесным ухом, а я ухом глубин. Поняли?

— Как же не понять, когда хорошо растолкуют!

А Макс сиял, потирая рука об руку, и восклицал возбужденно:

— Это очень интересно!

Все, решительно все было тогда ему «очень интересно», за исключением политики. Отвращение к ней, однако, не помешало ему напечатать в тогдашнем моем «Красном знамени» несколько очень эффектных стихотворений. Но опять-таки, что называется, «не разбери Господи»: одним они показались сверхреволюционными, другим, напротив, контрреволюционными. Вроде пресловутых нынешних «Двенадцати» Блока: в зависимости от того, под каким углом зрения и в каком настроении какой читатель к ним подходит.

ДУША АРМИИ

«Душа Армии» ген<ерала> П.Н. Краснова, с обширным предисловием г. Н.Н. Головина, представляет собой опыт введения в почти что новую и очень молодую еще науку «Военной психологии». Военно-педагогическое значение этой книги подлежит критике военных специалистов, к которым себя отнести я никак не могу. Думаю, однако, что военно-критическая задача уже исчерпывающе выполнена двадцатью пятью страницами блестящего головинского предисловия. Дальнейшая критика, может быть, прибавит какие-нибудь замечания и соображения по технике военного искусства, темной для нас, штатских профанов, но глубокое психологическое содержание труда П.Н. Краснова освещено ген<ералом> Головиным полно, ярко и проникновенно.

«Душа Армии» — книга большого душевного тепла. Автор ее — умный мыслитель, внимательный наблюдатель, знаток своего предмета, образованный, начитанный, но прежде всего — и это дороже всего — горячо чувствующий, любвеобильный человек.

Тема книги — воспитание и охранение *души* воина, как индивидуальной, так коллективной, ибо в ней, в конце концов, все существо армии как силы ударной и защитной.

«Не странно ли, — спрашивает П.Н. Краснов, — что в 1914—1915 годы русская армия, слабая тяжелой артиллерией, почти не имеющая аэропланов, без снарядов и патронов, ибо были дни в 1915 году на Днестре и Пруте, когда я на конно-горную батарею, входившую в состав высочайше вверенной мне 3-й бригады Кавказской туземной дивизии, имел всего по семи выстрелов на орудие в день, — наша армия, иногда не имевшая даже ружей на всех бойцов, — оборонила Варшаву, взяла Перемышль, пробилась через Карпатские горы в Венгерскую долину, отражая иногда камнями, за неимением патронов, австро-венгерские атаки... Однако та же армия, вполне вооруженная, с аэропланами, тяжелыми пушками и газами, засыпанная патронами и снарядами, неудержимо бежит в 1917 году под Калущем, учиняя Тарнопольский погром!.. Не те люди стали в армии. *Не та стала — душа армии!*»

Рыба загнивает с головы. Армия, напротив, с хвоста. Ущерб армейской души начинается в тылу, нарождаясь из его соприкосновения с обществом. Это соприкосновение безвредно для армии и даже живительно, если общество сильно и здорово, но губительно, если общество слабо и гнило. П.Н. Краснов весьма решительно доказывает, что германскую войну проиграла никак не русская армия, но — русское общество, которое «не выдержало». А не выдержало потому, что в промежутках двух войн, Японской и Великой, с интермедией революции 1905 года, само оно весьма разложилось в течениях революционных, антипатриотических, антирелигиозных, аморальных. Гнилое общество дышало в тыл армии заразой и кончило тем, что, хотя и не скоро, однако перебросило-таки свою гангрену и на армию. Это совершенно верная мысль. Никогда мне не изжить тяжелого, стыдного впечатления, какое произвел на меня в ноябре 1916 года Петроград, после того как приехал я в него из патриотически приподнятого Рима, через изумительный пат-

риотическим одушевлением Париж и богатырски твердый, спокойный, уверенный в себе Лондон.

Свою мысль П.Н. Краснов защищает противопоставлением русскому обществу 1914—1917 гг., ослабевшему в разброде классовых интересов и социально-политических идеалов, общества 1812—1814 гг., сильного, как он полагает, своей цельностью. С этой антитезой я не могу согласиться. Изучая семнадцать лет тому назад, к юбилею Отечественной войны, бытовую историю ее русск<ой> современности по источникам, я должен был убедиться, что патриотическую цельность тогдашнего общества пора отнести к области легенд из разряда «нас возвышающих обманов». (См. мою книгу «1812 год», XVI том моих сочин<ений>, изд. «Просвещения»). И общество (в значении интеллигенции и привилегированных слоев) было очень пестро, и мужик взялся за дубье, только когда отступление Наполеона из Москвы наполнило район французского передвижения разорительным для крестьянства мародерством. Раньше было то же самое — «мы калуцкие, до нас не дойдет!», — что и в Великую войну, пережитую нами.

Бесспорную патриотическую цельность представляла собой, несмотря на свои технические недостатки, отвратительное интендантство и, в большинстве, плохое командование, — только армия, благодаря сплоченности дворянского офицерства, воспитанного традициями суворовского духа и (это тоже не лишнее помнить, хотя часто забывают или даже отрицают) железной гатчинской дисциплины. Ее суровость — до жестокости, а в крайних, «аракчеевских», злоупотреблениях — даже и до свирепости — оставила в истории мрачную память. Тем не менее она, в лицах императора Павла и его четырех сыновей, сдержала и подтянула «екатерининских орлов» и «чудобогатырей» как раз вовремя, чтобы они, избалованные тридцатилетием успехов, не распустились в «негодницу».

Отечественная война была выиграна главнокомандующим суворовской школы, умевшим вдохнуть ее живительный гений в автоматическую мощь питомцев гатчинской машинальной дрессировки.

П.Н. Краснов, пламенный поклонник Суворова, и умел представить его читателю в живой обрисовке. Вообще, все военные любимцы П.Н. Краснова приобретают под его лаконическим пером путем удачно выбранных цитат яркую и выпуклую образность. Так, мимолетно, но врезываясь в память, проходят пред глазами читателя Наполеон в своих приказах и со своими страшными «coups de collier»*, которыми решалась победная судьба его сражений; Скобелев на Зеленых горах; граф Келлер — «заговоренный» начальник 10-й кавалерийской дивизии в Великую войну.

Замечательна по своей убедительности защита П.Н. Красновым несчастного генерала Самсонова, трагического героя сольдауских боев в августовские дни 1914 года, покончившего с собой, когда его XV корпус, окруженный немцами, вынужден был к сдаче. Самсонов погиб жертвой «самого опасного на войне чувства — страха, что его заподозрят в страхе, в трусости». Он очень хорошо понимал невозможность наступления, приказанного ему из штаба. Но в штабе его донесениям плохо верили, и до него дошла резкая фраза, брошенная главнокомандующим на фронте, генералом Жилинским:

— Видеть противника там, где его нет, — трусость, а трусость не позволю генералу Самсонову и требую от него продолжения наступления.

Оскорбленный генерал «продолжил наступление» — и погиб. Так точно в Отечественную войну погиб со своей дивизией старый боевой генерал Багговут в бою под Тарутином, обиженный резкой фразой графа Толя.

---

* Усилия (*фр*.).

«Теперь мы знаем, — говорит П.Н. Краснов, — что наше тягчайшее поражение в эту войну было той платой, которой мы заплатили за выигрыш всей кампании, ибо неудача Сольдау спасла Марну и Париж. И самая блестящая победа генерала Гинденбурга под Танненбергом (Сольдау) явилась началом германской катастрофы. Но генерал Самсонов тогда знать этого не мог. Ему сказали, что его долг — погибнуть с его армией, и он взошел на Голгофу этой гибели. В этом он жертвенно исполнил свой долг».

Приведя три примера «храбрости» на разных ступенях командования, — подпоручик, кавказский гренадер К.С. Попов, полковой командир Лопатин, генерал Самсонов, — П.Н. Краснов задается вопросом: что такое храбрость? — и отвечает:

— *Храбрость есть высшее исполнение долга, доведенное до полного самопожертвования.*

Скобелев храбр не потому, что «не боится». Напротив, он, по собственному признанию, боялся — и очень: недаром же при вскрытии его трупа оказалось в его молодом теле сердце, изношенное, как старая тряпка. Более того, он не верил в возможность «не бояться» (конечно, для нормального человека). Но для воли человеческой, в «квадрате» с умом, как требовал Наполеон, доступно овладение страхом до большей или меньшей его парализации пред чувством долга. Вот этот-то квадрат ума с волей, настойчивой в острейшей степени, и составляет храбрость Скобелева, Наполеона, гр<афа> Келлера и др.

Храбрость есть дар в момент опасности помнить, сознавать и исполнять все, что способно отразить и уничтожить опасность. П.Н. Краснов очень остроумно доказывает, что суворовскому «чудо-богатырю» было легче быть храбрым при несложности той боевой опасности, которой угрожали ему тогдашние средства войны, чем нынешнему воину, стоящему в бою против воистину адского разнообразия разру-

шительных средств. Для нынешнего воина источником храбрости должно быть *военное образование*. «Всякий воин должен понимать свой маневр», — завещал Петр Великий: от главнокомандующего, через генералитет и офицерство, к рядовому солдату и даже далее — к кавалерийскому коню.

П.Н. Краснов с сильным драматическим подъемом рассказывает свое дело 29 мая 1915 года у Дзвиняча, когда почти неизбежное поражение было обращено в полную победу блестящей атакой четырех сотен Заамурской конной бригады генерала Черячукина.

«Я благодарил еще возбужденных боем и схваткой солдат. Из рядов раздались голоса. Они звучали как-то особенно. Доверительно. Дружески. Братски. Спаянные общим делом.

— Не благодарите нас, ваше превосходительство. Мы ни при чем. Мы, как его увидали, как стеганули по нам его пули, повернуть хотели. *Да лошади наши так заучены*, как увидели неприятеля — пошли в карьер — не свернешь, не удержишь. Ну, тут: коли да руби!»

«Скромность солдатская... Русская, застенчивая, сама себя боящаяся храбрость!» — замечает П.Н. Краснов.

«Солдатом» он сравнительно мало занимается в своей книге — прямо, но, в сущности, она вся посвящена вопросу о солдате, так как солдат для П.Н. Краснова — продукт, плод, дитя и ученик офицера. Воспитательная роль офицера, по программе Краснова, огромна. Это и брат, и отец, и ответственный учитель, лучший друг солдата, — однако никогда не «товарищ», но всегда начальник. Без образования, без знания не может быть офицера, у необразованного, несведущего в военном деле офицера не может быть хороших солдат. «Лишь образованный, знающий офицер, как в бою, так и в период мирного обучения, будет влиять на своих солдат, будет авторитетом для них, и это облегчит

ему овладение коллективной душой своей части, поможет ему внушить ей высокие идеалы мужества и храбрости».

Как идеал офицера П.Н. Краснов приводит пример полковника Л.-Гв. Гренадерского полка Моравского (о нем в «Возрождении» был очерк К. Мандражи «Дядя Саша»). Моравский был настолько полон любви к своим солдатам, что ночью, в осеннюю стужу, пробирался к ним, лежавшим в секретах, в пятистах шагах от неприятеля, чтобы своим присутствием ободрить и ласковым словом приголубить каких-нибудь Иванчука с Сыровым, не робеют ли они, в тоске от холода и томительной неизвестности, под тьмой осенней ночи и в близости от врага:

— Иванчук, холодно тебе. Потерпи, дорогой... Вместе потерпим.

Благородство. Религиозность. Знание. Любовь к солдату. Высокоразвитое чувство долга и чести, личной и корпоративной. Знание дисциплинарного устава и умение тактично проводить его в жизнь. Патриотическая искренность. Таковы составные элементы офицера, способного создавать хороших солдат. Элементы, слагающие «обаяние офицера».

По ступеням командования вверх растут требования «обаяния», доходя до тех наиболее ответственных вершин, где командные силы носят уже имена Суворова, Наполеона, Скобелева. Вера в знания, опыт и удачливость (счастье) своего вождя-начальника есть великий моральный залог успеха армии. В примеры П.Н. Краснов приводит кавалерийские атаки «заговоренного» гр<афа> Келлера и, — в более широком размере:

«Не громадная ли вера в Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича двигала наши войска от неудач Сольдау к великой варшавской победе и славной Галицийской битве, где шутя был взят оплот Австро-Венгерской империи — Львов, Сенява и Перемышль? И обрат-

но: не фатальная ли неудачливость императора Николая II (Ходынская катастрофа в день коронации, Японская война, темные слухи, пускаемые злонамеренными людьми) пошатнула дух армии, когда государь император взял на себя командование в 1915 году?»

Вел<икому> кн<язю> Николаю Николаевичу как Верховному главнокомандующему российских армий посвятил П.Н. Краснов свой интереснейший очерк. Н.Н. Головин, в заключение своего предисловия, выражает надежду, что опыт генерала Краснова вызовет на обширное и малоизведанное поле военной психологии новых и новых работников. На этой благом пожелании позволю себе и я расстаться с «Душой армии». П.Н. Краснов положил хорошее начало разработке поднятой им нови, а хорошее начало, говорят, половина дела.

ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ

Очерки красного Петрограда

От автора

В эту книжку включены статьи, написанные мною в Финляндии в первый месяц после моего бегства (23 августа 1921 г.) из советского Петрограда, — значит, с совсем еще свежими ранами измученной и оскорбленной души. В этой непосредственности впечатлений я полагаю некоторое достоинство моих «Горестных замет», ею же, конечно, определятся и их возможные недостатки. Читатель легко заметит, что я очень старался выдерживать объективный тон и «сердца горестные заметы» умерять «ума холодными наблюдениями». Если это не всюду мне удалось, вина в том не моя, но чудовищных явлений и событий, на которые я откликаюсь. За одно смею поручиться: ошибки у меня встретиться могут; в заблуждение введен быть могу, хотя излишнею доверчивостью не страдаю и чужие сообщения имею обыкновение, поскольку то возможно, проверять; но сознательной неправды я, как не написал ни разу за почти сорок лет литературной работы, так и теперь не напишу.

Финляндские статьи дополнены «Повестью о великой разрухе». Этот ряд очерков разработан мною с большею подробностью из публичной лекции, прочитанной в Праге и в свое время нашедшей довольно громкий отклик в русской зарубежной печати, равно как в чешской и балканской. «Повесть о великой разрухе» уже дважды вышла на чешском языке (в газете «Narodni Listy» и отдельным изданием, в переводе др. Червинки), выходит на итальянском.

О фактическом содержании «Повести» могу лишь повторить вышесказанное о «Горестных заметах». Об ее надеждах... Увы! много оптимизма во мне умерло за девять месяцев, отделяющих меня от ее написания, много пессимизма народилось. Ни единой мечты своей не беру обратно, но иных пылких упований тогдашних теперь не высказал бы. Не потому, чтобы счи-

тал упраздненными и более ненужными их цели: о, напротив! они более чем когда-либо священны и необходимы! Но...

Что и *желать*, когда *нечем* помочь!

В прошлом году мне, только что прибывшему из России, еще много-много сил казались реальными, действенными, спасительными, нуждающимися в объединении и серьезно его желающими, чтобы вырвать Россию из ужасных тисков ее беспримерного исторически изуродования. Сейчас, по приглядке ко всему, что для того делалось, делается, да, кажется, и будет делаться, я скажу с откровенностью, что, помышляя о судьбах любезного отечества, нахожу слабое утешение единственно в старой русской вере, что «Бог не выдаст, свинья не съест». Но — не выдаст или выдаст Бог, того мы, по неисповедимости путей Его, не знаем, а свинья между тем ест да ест. И поросят плодит. И даже того хуже, имеет право хвастать, что многие из недавних человекоподобных ныне умильно просятся и определяются к ней в поросята, — конечно, с припуском их к свиному кормовому корыту...

Тем не менее оставляю pia desideria* «Повести» без изменения. Пусть они сохранятся «человеческим документом» — памятником нашей идеалистической веры в возможность единства русских зарубежных сил для спасения и возрождения Руси предрубежной. Веры, с которою в сердце мы, русские интеллигенты, свободолюбцы и патриоты, прорывались со смертным риском сквозь кордоны большевиков в Европу в чаянии найти здесь силы и средство к помощи отечеству, задавленному и истерзанному лжекоммунистическим деспотизмом пуще, чем давил и терзал его даже деспотизм царский. Веры, покуда, обманывающей и разочаровывающей нас на каждом шагу в практических *возможностях* своих достижений, но непоколебимо твердой в убежденном сознании их *необходимости. И — пусть, в жалких наших условиях*, необходимость, — как уверены враги, а за ними твердят усталые, отсталые, зыбкие и равнодушные, — может осуществиться только *чудом*. Кровавые пары всеобщего страдания накопили тучу, чреватую этим чудом. Она висит одинаково грозно и над Россией, и над Европой. И молния спасительного чуда, может быть, уже созрела там, где мы ее не подозреваем, чтобы блеснуть со стороны, откуда не ожидаем...

Скажут:

— Ну да, — это, значит, опять в кредит Богу, что не выдаст? Да, но согласитесь, что и в дебет свинье!

Александр Амфитеатров
Levanto, 14. VIII. 1922

---

* Чаяния, идеалы, мечты (*лат.*).

I

ВЫМИРАЮЩИЙ ПЕТРОГРАД

Териоки. Карантин. 4.IX.1921

Пред вами человек, проведший безвыездно четыре года в советском Петрограде. За этот почтенный срок я выпил полную чашу сладостей его быта. Трижды арестованный, основательно познал прелести узилищ Чрезвычайки, а в последний раз, во время Кронштадтского восстания, имел удовольствие видеть, как вместе со мною познают их ни за что ни про что моя жена и старший сын, юноша, музыкант-композитор, никогда и не думавший о какой-либо политике. Потеряв счет обыскам, я жил под разнообразною слежкою уличного и домашнего шпионажа, был обязан подпискою о невыезде, в течение двух лет состоял под запретом каких бы то ни было публичных выступлений, и, наконец, теперь лишь счастливым, почти чудесным случаем, выскочил из этой «злой ямы» накануне нового ареста, по всей вероятности, горчайшего прежних. Потому что в последнее время вокруг меня опять стало заметно сжиматься как бы некое железное кольцо. Брали одного за другим моих знакомых, в том числе даже таких, на которых не могла падать хотя бы слабая тень политического подозрения, за исключением их дружеской близости ко мне. Зловещий признак был слишком выразителен, чтобы не поторопиться давно задуманным и же-

ланным исчезновением. И вот после некоторых неожиданных и довольно-таки отчаянных приключений я здесь, едва веря в свою воскресшую свободу, под доброю защитою вольнолюбивого и крепколапого Финского Льва.

От человека, прошедшего такие мытарства, вы вправе ожидать очень мрачных рассказов, угрюмых ламентаций, резких выкриков мстительной сенсации. Боюсь, однако, что я обману ваши ожидания. Поскольку мы в Петрограде могли следить за русскою зарубежною печатью, на недостаток обличительной сенсации она жаловаться не может. Напротив, может быть, ее чересчур много. Признаюсь, что иногда ее изобилие наводило на нас, петроградских пленников, некоторое уныние и досаду. Усердно бросаемые ею на полотно эффектные мазки и пятна одиночных ужасов, исключительных безобразий, как бы отстраняли на задний план картины общий ужас, общее безобразие нашей невозможной жизни: все это позорное мелочное рабство закабаленных масс, отвратительное однообразие и чисто тюремная последовательность которого уничтожали население столицы гораздо скорее и решительнее, чем самые буйные отдельные эксцессы власти и коммунистического быта, привлекавшие внимание зарубежной печати. Эксцессы кабалы пожирали единицы, десятки, сотни, — допустим, иной раз даже тысячи жертв, а постоянное мелочное существо ее пожрало миллионы...

Как-то очень мало обращается внимания на тот, казалось бы, слишком наглядный и выразительный массовый факт, что Петроград, обладавший еще в 1917 году $2^1/_2$-миллионным населением, теперь, в 1921 году, насчитывает, даже по советскому исчислению, едва 700 000 жителей, включая гарнизон. В действительности же, население колеблется между 500—600 000. Опустошение, исторически беспримерное с древнейших времен, когда Навуходоносоры и Салманасары перегоняли завоеванные народы из царства в царство гуртами, как некую двуногую скотину. Но ведь Петрограда ник-

то не завоевывал и жителей из него никто не уводил; напротив, их всеми правдами и неправдами старались прикрепить к месту, они потеряли счет закабаляющим регистрациям, над ними висел неусыпно бдительный и беспощадный террор запрещающих удаление мер, заградительных отрядов и т.п. И тем не менее в три года неведомо куда расточились три четверти населения! Даже классический пример обезлюдения Древнего Рима на заре Средних веков, под бешеным прибоем Великого переселения народов, бледнеет пред темпом этого запустения. Что же, эти исчезнувшие два миллиона петроградцев вымерли, что ли? Да, смертность была значительная, даже чудовищная, но процент ее все-таки ничтожен в сравнении с процентом разброда. «А людишки твои, государь, вразброд пошли», — жаловались царю Михаилу Феодоровичу окраинные люди расшатанного Смутным временем Московского царства. К невенчанному государю Совдепии, Владимиру Ильичу Ленину-Ульянову, эту жалобу могли бы обратить уже не только окраины, где разброд сейчас, под давлением голода, принял размеры стихийные, баснословные, многомиллионные, но и правящие центры. Нельзя сказать, чтобы счастливый результат четырехлетнего государствования! Недавно один видный большевик очень серьезно хвалился предо мною оздоровлением Петрограда под советскою властью, указывая, что вот — лето в нем протекло сравнительно благополучно, холера, тиф и т.п. обычные гости столицы не проявили особенно угрожающего аппетита и т.д. Я не только вполне согласился с этим самодовольным администратором, но даже подкрепил его восторги замечанием, что не удивлюсь, если Петроград в непродолжительном времени превратится в климатическую станцию. Для этого надо лишь, чтобы дело разброда продолжалось тем же темпом. Ясно, что, когда на площади, которую недавно обитало $2^1/_2$ миллиона жителей, а теперь обитает 600 000, останется только 60 000, то воздух Петрограда

будет столько же чист и целебен, как здесь в Териоках; а Нева возвратит себе почти ту же кристаллическую ясность, как во времена оны, когда «на берегу пустынных волн стоял Он, дум великих полн, и вдаль глядел». Да! Глядеть-то глядел, но, чтобы из великих дум Его, в отдаленном потомстве, выросло зиновьевское удельное княжество, — этого ошеломляющего результата Он, конечно, не предвидел. А то, пожалуй, и от великих дум отказался бы, и своего любезного «Парадиза», Санкт-Питербурга, строить бы не решился.

Мало обращают внимания и на то обстоятельство, что в «красном Петрограде», столь часто и громогласно прославляемом в качестве истинного центра, стержня и оплота Советской *рабоче*-крестьянской республики, почти совершенно не стало рабочих. Здесь процент обезлюдения еще разительнее, чем в общей обывательской массе. До революции число рабочих в Петрограде восходило до 400—450 000. Сейчас оно, по показаниям самой же советской печати, спустилось до весьма малых десятков, между 20 и 30 тысячами. А люди, сведущие и к заводской промышленности причастные, уверяют, будто и того не будет, и настоящих заводских рабочих в «красном Питере» наберется вряд ли более 10—12 тысяч. Допускаю, что эта цифра полемически преуменьшена естественным озлоблением и отчаянием людей, наблюдающих изо дня в день, как беспомощно разрушаются и гибнут напрасною смертью созданные ими производства. Но, во всяком случае, десятки остаются десятками, и факт несомненен: если все население Петрограда убавилось на 70—75 проц<ентов>, то рабочая его часть сократилась несравненно больше всех остальных и уменьшилась в десять, если не в двадцать раз, а, может быть, и во все сорок. Главною причиною этой убыли большевики обыкновенно выставляют зачисление рабочих в Красную Армию и массовую гибель их в боях Гражданской войны. Не спорю, что бессмысленное обращение рабочих рук в пушечное мясо имело здесь, действительно,

немалое значение. Однако, имея постоянные и частые очень дружеские сношения с рабочею средою Василеостровского района, я убедился, что траур войны в рабочих семьях Петрограда далеко не так част, как любит декламировать красная печать, и основною причиною стремительного таяния рабочей среды приходится обозначить опять-таки не боевую убыль, ни даже общую, весьма значительную смертность, но неудержимую тягу к разброду. Против нее оказываются одинаково бессильными и заградительный террор ЧК, и не знающая границ в низкопоклонной демагогии лесть агентов-пропагандистов с пресловутым тов. Анцеловичем во главе.

Последний почитается, и не напрасно, главным специалистом по обработке рабочих масс. В эпоху рабочего движения пред Кронштадтским восстанием я дважды слушал г. Анцеловича и должен отдать ему справедливость: мастер своего дела. Говорят, будто не в пример другим стоящим у власти большевикам, а в особенности чекистам и компродцам, которые сплошь развратились в спекуляции, воровстве и безотказно прихотной и роскошной жизни, г. Анцелович — истинно спартанский образец коммунистических добродетелей. Ходит легенда, будто он даже собственного престарелого родителя арестовал, когда тот, в расчете на покровительство власть имущего сына, пустился на какую-то спекулятивную аферу. Я лично в единственной беседе, которую случайно имел с г. Анцеловичем на похоронах покойного друга моего, Г.А. Лопатина, слышал от него решительный афоризм, что человеку не должно принадлежать в частную собственность даже платье на его плечах. Словом, это фанатик коммунизма, по-видимому, искренний, но тем усерднее воинствующий и тем более неразборчивый в средствах войны. Его завлекательную тактику с рабочими легче всего характеризовать известными стихами Некрасова:

Цинизм твой доходит до грации!
Есть геройство в бесстыдстве твоем!

Потому что в самом же деле это «герой»! Герой безгранично широкой лжи, ослепительно щедрых посулов и клятвенных заверений, никогда не исполняемых, но тем не менее все еще действенных. И не только герой, но даже мученик. Сколько раз этот человек бит товарищами-рабочими, поистине неисчислимо. Били его ледяными сосульками, били ведром по голове, — совсем как купчиху у Островского: «Ты спроси меня, чем я не бита; скалкой бита, поленом бита, о печку бита, только печкой не бита». В бурные февральские дни я слышал его на Трубочном заводе, подающим из осипшего, надорванного горла хриплые реплики реву озлобленной голодной толпы, в котором слова «жулик смольненский», «надувало морской» звучали еще сравнительно мягкими аттестациями. Его побили, отняли у него автомобиль, погнали его пинками по Большому проспекту, улюлюкая и тюкая, как на зайца. Он удирал бледнее смерти, но — говорил! И — обещал, обещал, обещал, лгал, лгал, лгал!.. И назавтра, отряхнувшись, как пудель после трепки, явился, будто ни в чем не бывало, на ту же трибуну — и добился-таки своего: надул и уговорил! Обманутые бесконечным словоизвержением и словоизлитием, голодные и босые люди еще раз продали свою решающую волю за соблазнительный призрак лишнего полуфунта хлеба и приманку новых сапогов, которые, конечно, не замедлили оказаться всмятку. То есть громадное большинство не получило их вовсе, а незначительное меньшинство — по старинной системе Грегер, Горвиц, Коган и К°: из какого-то отдаленного подобия гнилой кожи на картонных подметках. Через неделю все эти счастливцы опять шлепали по снегу босиком, туго перетягивали ремнями пустые, ревущие с голодухи, животы и на чем свет стоит ругали «надувалу морского». Но брань на вороту не виснет,

а для действий было поздно. Зачатки организации распались, зачинщики и руководители были перехватаны и частию сидели в одиночках Шпалерной и Крестов, частию уже совершали ночные автомобильные выезды за город, где их добросовестно и хладнокровно расстреливали сих дел «спецы» из китайцев и «красных латышей»...

II

СЕНСАЦИЯ И ГЛАСНОСТЬ

Териоки, 7.IX.1921

Предостерегая заграничных соратников по печати от чрезмерного увлечения сенсационными известиями из России, я имел в виду главным образом те, к сожалению, нередкие случаи, когда излишнее доверие к воплю озлобленных четырехлетнею мукою голосов из недр всероссийской каторги вносит на газетные столбцы либо прямые небылицы, либо вместо фактов — фактики, раздутые из мухи в слона. Большевики так опротивели обществу, так их ненавидят, так они стараются заслужить как можно больше ненависти и отвращения, что люди, жадно ожидающие их падения, с восторгом хватаются за каждый случай, в котором они вновь компрометированы какой-нибудь мерзостью, за каждый слух, который обещает, что скоро наступит для этих «титанов», слепленных из грязи, очередь быть низвергнутыми в Тартар. По-видимому, угодливых поставщиков на такой доверчивый восторг за границею немало. Взявшись в Финляндии за русские газеты, я, например, с изумлением узнал, что в нашем жалком, придавленном Петрограде весь август прошел в бурных революционных выступлениях, что были восстания среди рабочих и в полках гарнизона, подавленные чуть не целыми уличными и казарменными боя-

ми с массою последующих расстрелов. Откуда взялась эта заманчивая мифология? Расстрелов-то у нас, что уж говорить, много, пороха и свинца не жалеют во славу имени Карла Маркса, всуе приемлемого, но относительно заговоров, восстаний и уличных боев я, к сожалению, должен разочаровать уверовавшую в них публику: ничего подобного Петроград в августе не переживал, и даже никаких слухов о том в нем не возникало. Все это какая-то внешняя праздная фабрикация.

Не знаю, действуют ли подобные измышления ободряюще на дух эмиграции, но знаю очень хорошо, что, в конечном результате, они доставляют огромное удовольствие и несомненную пользу... большевикам! Потому что в этих заблуждениях и преувеличениях они обретают редкое для них счастье доказательных опровержений своей слабости и своего зверства. Не следует считать своего врага глупее и невежественнее, чем он есть на самом деле. Следя за советскою печатью изо дня в день, я убеждался последовательно, что ее двигатели, очень неуклюжие грубые кустари вначале, кое-чему выучились за четыре года и теперь, если не сделались разумнее в идеях и порядочнее в способах их выражения, то, по крайней мере, приобрели техническую сноровку довольно ловко фехтовать словами и фактами. А что касается лжи, то между ними имеются виртуозы, уже в своем роде несравненные. Воспитаться на газетную ложь им легко и безопасно. Ведь при отсутствии свободной печати их ложь никогда не встретит гласного авторитетного протеста, способного опереть свои опровержения на фактические улики. Правда, о таком протесте могут позаботиться — и заботятся — органы заграничной русской печати. Но она мало тревожит советскую прессу. Сквозь кордоны и шпионские фильтры ЧК заграничные газеты и журналы доходят до петроградского общества в таком малом количестве, так случайно, что голос их над Невою — не более, как подпольный шепот, кото-

рому внимают лишь очень немногие уши и повторяют его лишь очень немногие уста. И, само собою разумеется, повторяют сбивчиво и неточно. В третьих-четвертых руках «факт» превращается уже в «слух» и, украшаемый подробностями и вариантами по усердию и потребности обывательской озлобленной фантазии, терпит ущерб в своем вероятии, если не теряет его вовсе. При таких условиях гарантированной безответственности отчего же досужему и охочему борзописцу красного цеха не лгать во славу своего правительства и в опоганение всех, его не приемлющих и с ним не согласных, как ему в голову взбредет и что душенька прикажет? Особенно ловко и нагло приноровились они делать «обзоры печати», выхватывая и комбинируя строки ее такими шулерскими подтасовками, что зачастую они получают смысл, совершенно обратный тому, какой имели в оригинальной статье. Опытного газетчика и политика этими вольтами, конечно, не проведешь, но обыватель, наскоро пробегающий через головы других обывателей наклеенную на стенке газету, ловится и верит. Конечно, и ему несколько странно, как это «Общее дело», «Воля России», «Руль», «Последние новости», «Н<овая> русская жизнь» вдруг почему-то преподносят нечто, толкуемое большевиками в свою пользу, либо печатают такие «невегласы» и нелепости, будто в них пишут и их редактируют люди, лишь по недоразумению не сидящие в доме умалишенных. Но ведь, помилуйте же, напечатано черным по белому, притом, как водится, редакционный текст корпусом, а «подлинная» цитата петитом: как же не поверить?! «Невероятно, а факт!» — как любили восклицать старинные рекламы.

Однако вот что я замечал — и не раз, не два, а в постоянной последовательности. Когда заграничная печать обличает какие-либо действительно происходящие неистовства или очередные глупости лжекоммунизма, остающиеся еще тайною для общества внутри страны, советская печать почти

никогда не выступает с своею обычною опровергающею ложью, предпочитая молчать, будто воды в рот набрала. Как бы сильно тогда ни ругали Кремль и Смольный, какими бы разоблачениями их ни позорили, они «делают глухое ухо», стараясь похоронить опасные факты в безмолвии. Но за каждую сенсационную выдумку каких-либо не по разуму усердных «контрреволюционеров» или за чересчур доверчиво воспринятый Бурцевым, Мережковским и пр. ложный слух они хватаются, как за находку, с яростным полемическим восторгом и, так как тогда у них на руках оказываются неожиданно все козыри, то они легко выигрывают свою игру — к утешению своему и к огорчению нашему. Итак, отсюда мой добрый и искренний совет всем заграничным коллегам: поменьше сенсационного увлечения и легковерия и побольше спокойной суровой правды. Не прилагайте забот красить черта в черный цвет: он и без того чернее сажи.

Казалось бы, полное уничтожение свободной гласности должно было успокоить советское правительство, что отныне под его державою народы России будут «на сорока языках мовчать, бо благоденствуют». Ведь даже ужасный конец царствования Николая I и цензура «Бутурлинского комитета» — золотые эпохи свободы печати в сравнении с теми тисками, в какие теперь заключена злополучная русская мысль — эта немая Лавиния с урезанным языком и обрубленными руками, отданная в безвольные и бесправные наложницы пресловутому товарищу Ионову и ему подобным. И, однако, все им мало, и, что называется, бегает нечестивый, никому же гонящу. Лихорадочно взвинченному воображению чекистов все время чудятся в острожных стенах, которыми отделили они русское общество от свободного слова, щели и скважины, пропускающие «вольный дух» и опасный свет. И в обычно нервном спехе они торопятся конопатить эти щели...

чем? Конечно, человеческими жизнями, другого материала они не ищут. Страх пред иностранным журналом, подпольным изданием, рукописью, распространяемою в копиях пишущей машинки, — прямо какой-то детский, шутовской. Он был бы смешон, если бы не приводил к слишком печальным последствиям. Когда я был арестован в последний раз, следователь Карусь просто жилы у меня вымотал, томя меня нелепейшим допросом, откуда и как попала ко мне обращенная к патриарху Тихону и петроградскому митрополиту Вениамину записка (на машинке) некоего А. Филиппова по вопросу о церковной реформе. Заявление, что мне, как небезызвестному писателю, часто присылают свои труды разные лица с просьбою о просмотре и совете, не удовлетворяло. Еще бы! «Патриарх», «митрополит», «церковь», — явная контрреволюция! страшно! Был привлечен к совещанию какой-то другой следователь, должно быть, особо «сведущий человек» по религиозным вопросам, с необычайно важным и зловещим видом морщивший свой многодумный лоб.

— Я слыхал об этой записке, да, слыхал... — мрачно повторил он и, конечно, врал, потому что, если бы слыхал, то о рукописи не могло бы возникнуть подозрения *именно в советском учреждении*, хотя бы это и была Чрезвычайка. Наконец, терпение мое лопнуло.

— Да вы сами-то читали этот взятый у меня документ? — спросил я Каруся.

Он переглянулся с товарищем и честно ответил:

— Нет, не имел времени, но...

— Так потрудитесь прочитать: это не только не контрреволюционная записка, но, напротив, сентиментальнейший проект какого-то прекраснодушнейшего мечтателя — примирить православную церковь с советскою властью...

Следователи, недоверчиво качая головами, перелистали несколько страниц...

— В самом деле... Черт знает, что такое! — пробормотал Карусь...

И рукопись была отложена в сторону, а вопрос о ней снят с очереди.

Обладание номером иностранной газеты для обывателя — преступление, не допускающее смягчающих вину обстоятельств. Сейчас в Крестах сидит Наталья Алексеевна Суворина, 18-летняя девушка, внучка знаменитого основателя «Нового времени» и дочь редактора-издателя «Руси». Барышня эта, особа совершенно аполитическая, немножко художница, немножко певица, служила в «Роста» (Российском телеграфном агентстве), получающем ex officio * все заграничные газеты. У одного из ее знакомых при обыске нашли номер «Times»'а. Он при допросе показал, что номер дала ему Суворина. Последовал обыск и у нее, причем, как водится, всю квартиру перевернули, но никакой контрреволюции не обрели, за исключением... нескольких модных журналов. Барышня, весьма красивая собою и охотница, если не наряжаться (что в настоящее время для голодающей петроградской обывательницы недостижимый идеал), то хоть помечтать о нарядах, глядя, как в приличных странах приличные люди одеваются, — брала из «Роста» модные картинки — притом, заметьте, не самовольно, а с разрешения своего начальства... Удовольствие стоило бедняжке долгого предварительного заключения и приговора к шестимесячным принудительным работам. Отбывая эти последние в Крестах, она не миновала почти всеобщей тюремной участи: заболела дизентерией в тяжелой форме и долгое время висела на ниточке между жизнью и смертью... Когда я покидал Россию Н.А. еще находилась в больнице при женской тюрьме, куда была временно переведена, но, как я слышал, начала поправляться...**)

---

* По обязанности (лат.); для служебных нужд.

**) К сожалению, слух не оправдался. Несчастная девушка так и умерла в тюремной больнице. *1922.V.16.*

III

РАСТЛЕННЫЕ МУЗЫ

Териоки. Карантин. 18.IX.1921

У итальянского поэта и историка Артуро Графа есть недурная сказка, навеянная «Бурею» Шекспира и ее продолжениями в «Философских драмах» Э. Ренана. Когда восставший Калибан победил ученого мудреца Просперо и захватил его герцогство, он осуществил в стране приблизительно тот самый порядок, который в современной России зовется коммунистическим, а у народов, еще не постигнутых массовым сумасшествием... Впрочем, оставим в покое эпитеты — бумага не всякую правду терпит. Калибан-повелитель был очень доволен своим государством, но находил, что ему не достает культурных красот — науки и искусства. Притом, старые наука и искусство его не удовлетворяли и казались ему опасными, как наследие ненавистного Просперо, а новых он, тупоголовый «сын черта и колдуньи», немножко человек, немножко демон и очень много зверь, никак не мог придумать и изобрести. Наконец, его осенила идея, достойная такой головы:

— Старые музы изжили свой век, эти нервные, слабосильные девки нашему брату не годятся; но они могут родить мне дочерей — новых муз, которые унаследуют таланты и ум матерей, а от меня — могучую первобытную натуру... И вот Калибан, захватив Клио, Терпсихору, Полигимнию, Талию и пр., всех их по очереди изнасиловал, и они, действительно, родили дочерей — девять девиц, которых торжествующий родитель провозгласил новыми совершенными музами. Но — увы! — расчеты его не оправдались. Природа зло подшутила. Девицы, точно, вышли похожими и на отца, и на матерей, но — как раз в обратном ожиданиям порядке: пе-

репуганные и устыженные насилием, музы передали от себя только телесную хилость, нервность и истеричность, а умом и дарованиями новые музы уродились как вылитые в тупого двуногого скота-насильника Калибана...

Сказка эта, написанная лет пятьдесят тому назад, как будто пророчила «культурно-просветительную» работу русского коммунистического строя. Не знаю, была ли где-либо и когда-либо в истории эпоха, которая больше кричала бы о потребности культурного строительства и в которой весь этот декламативный крик разрешался бы в более жалкие бездарность, бессилие, — в карикатуру и профанацию каждой отрасли и каждого проявления культуры, — при большей грубости и бесстыдстве нравов. Разница со сказкою только та, что Калибан Артуро Графа, наблюдая свои порождения, впал в глубокое разочарование и грусть, а современные петроградские и московские Калибаны чрезвычайно много собою довольны и превесело делят время между двумя приятнейшими занятиями — самовосхвалением и взаимовосхвалением. И все — в самом высоком тоне. Как сказал бы Гейне, «воробьи, держа в когтишках двухкопеечные свечки, корчат Зевесова орла». Претензии огромные, задачи гигантские, — именно уж горы мучатся родами, чтобы родить... даже не мышей, а разве блох, на мышах живущих! Прочтите «Фауста и город» наивнейшего А.В. Луначарского («блажен муж Анатолий» звал его покойный Г.В. Плеханов в те не особенно далекие годы, когда А.В. упражнялся еще не в богоборстве и разрушении религий, но, напротив, в богостроительстве и богоискательстве). Эта кисло-сладкая и не всегда грамотная ребячья болтовня может служить и типическим образцом, и идейным символом творчества новых русских муз, помеси пролетарского Калибана с буржуазною Мельпоменою.

Если бы подобную вещицу четыре года тому назад г. Луначарский представил на просмотр — не говорю уже в ли-

тературно-театральный комитет, но даже в редакцию толстого, хотя бы и марксистского, журнала, она была бы встречена там гомерическим хохотом как претенциозное бумагомаранье гимназиста четвертого класса, которому преждевременно попали в руки два первые тома «Капитала» (до третьего не дошел). Но в настоящее время г. Луначарский, будучи отставлен (за преступную мягкость характера и все-таки некоторую ушибленность старою культурою) от всех политических обязанностей и должностей, сделан в целях компенсации и позолоты горькой пилюли полновластным распорядителем русского театрального дела. И вот такая ребячья ерунда, как «Фауст и город», не только ставится с огромными затратами на сценах Государственных *академических* (!) театров (бывших императорских), но и воспевается хором льстецов из примазавшегося к власти актерства (к сожалению, не без крупных имен, особенно в Москве) как великое произведение. А пресловутый Стеклов-Нахамкис объявил в московских «Известиях» громогласно на всю «красную Россию», что отныне счастливая Совдепия обладает своим собственным Гёте: только наш, дескать, много почище, ибо старому Гёте, веймарскому буржуазному стихотворцу, даже и во сне не снился такой «Фауст», как высидел его пролетарский вдохновенный поэт-комиссар Луначарский. Это-то, пожалуй, верно, что не снился!

Г. Гейне когда-то, издеваясь над хвастливою замашкою филистеров буржуазнейшего Мюнхена прославлять свой город, как «германские Афины», рассказал, будто однажды он, увидав на улице собаку с обрубленным хвостом, спросил мюнхенца, чья она, и получил важный ответ: «Это собака нашего Алкивиада!..» — «А где же сам он, ваш Алкивиад?» — «Видите ли, — объяснил невозмутимый мюнхенец, — Алкивиада мы никак не могли найти в своей среде, так покуда хоть подыскали для него собаку и отрубили ей хвост... ну, а потом когда-нибудь авось подберем к собаке и Алкивиада!»

Это опять-таки приходится, как «по Сеньке шапка», на ту возмутительную комедию-пародию, что разыгрывается в столицах Совдепии под хвастливым именем новой «пролетарской культуры». За исключением усерднейшего склонения существительного «пролетарий» и прилагательного «пролетарский» бесчисленными ораторами, при всяком удобном и неудобном случае, в обоих числах и во всех падежах, ровно ничего культурно-«пролетарского» ни в Петрограде, ни в Москве не возникло. А то, что слывет «пролетарским», является жалким и извращенным подражанием и последованием той самой буржуазной культуре, которую новая пролетарская якобы отрицает и уничтожает. И притом, даже из буржуазной-то культуры наследуются и копируются как раз самые худшие, отрицательные стороны, с которыми ее лучшие люди всегда боролись, как с злейшими пороками. Я не буду покуда вдаваться в статистику неисчислимо бегающих по Питеру Алкивиадовых собак с отрубленными хвостами. Отмечу лишь, что все эти бедные псы, тщетно ожидающие своих Алкивиадов, превосходно откликаются на общую для них во всех культурных областях, — в науке, литературе, искусстве, театре, педагогике, образовании, воспитании, — кличку «Халтура».

«Халтура» — одновременно и демон-покровитель, и демон-губитель советского государства. Покровитель потому, что вся система внутренней политики советского правительства свелась к старому цезаристическому девизу — «хлеба и зрелищ» плюс тюрьма и расстрел для всех, дерзающих почитать эти блага недостаточными. Причем надо заметить, что вторая половина девиза оказывается на деле чуть ли не важнее первой. Без хлеба голодный Петроград привык сидеть сравнительно спокойно и днями, и неделями, и, бывало, набивая овсом пустое брюхо, только добродушно острил:

— Отчего прежде люди по тротуарам ходили, а теперь середь улицы «прут»?

— Оттого, что на конский корм перешли: нажремся лошадиной еды, — вот нас на лошадиную дорогу и тянет.

Но отсутствием зрелищ Зиновьев и К°, даже в самые трудные и опасные времена осадных положений, не рисковали долее трех-четырех дней. «Париж смеется, следовательно, он заплатит», — говорил старый политический циник. «Петроград сидит по театрам и кинематографам, — следовательно, он не шевельнется», — говорят молодые политические циники Смольного. И забота о зрелищах — первая, основная. Они множатся, как грибы после дождя сквозь солнце. И если в измученном нуждою петроградском населении есть еще группа, которая, хотя и не сыта и обеспечена, но избавлена, по крайней мере, от угроз голодной смерти и, пожалуй, даже пользуется сравнительною безопасностью от чрезвычаек, то это, конечно, необходимая для Смольного группа зрелищных деятелей. Имена и титулы их опять-таки неисчислимы и ежедневно растет их количество. Кинематографов еще не так много — по техническим причинам: старые фильмы разрушились, новых неоткуда взять. Но театров, концертов и кафешантанов, слегка прикрытых громкими «пролетарскими» прозвищами, — в центре города, — только что не через два дома в третьем; на окраинах — по полдюжине в каждом районе, при культпросветах разных советских учреждений, заводов, учебных заведений. Даже предварительная тюрьма, пресловутая Шпалерная, 25, не избавлена от зрелищной эпидемии. Мы с сыном сидели как раз в галерее № 5, где рядом с одиночками устроена сцена, и на ней каждый вечер изображался «Денщик Шельменко», с весьма забавным любительским составом исполнителей. Жениха изображал помощник начальника тюрьмы и заведующий культпросветом Васильев, невесту — барышня из отдела управления, обвиняемая в продаже пропусков на выезд из Петрограда (по скромной цене в сто тысяч за пропуск), денщика — еврей-спекулянт высокой марки, а мать невес-

ты — известная эсерка А.Н. Слетова. Женский же хор приводила из VIII отделения, в качестве старостихи, Ольга Сергеевна Лунд, ныне расстрелянная в Москве по принадлежности к «монархическому заговору». Когда-нибудь я подробно расскажу об этих тюремных «разумных развлечениях», — лицемерной покрышке кошмарного ужаса, которым дышала тюрьма, битком набитая обезволенными страхом людьми, ежечасно ожидавшими, под дальний гром кронштадтских пушек, поголовного расстрела.

На такой громадный зрелищный спрос потребно и громадное предложение. Мрачный петроградский юмор уверяет, будто население столицы сейчас разделяется систематически на «сидевших, сидящих и имеющих сидеть». С почти равным правом его можно делить на «играющих и имеющих играть». Когда вы в 4 часа дня (срок окончания служебных занятий) идете тою широкою провинциальною улицею, которая когда-то была Невским проспектом, и прислушиваетесь к разговорам встречных и обгоняющих вас прохожих, то все, что услышите, — заранее можете быть в том уверены, — безошибочно распределится по трем категориям!

1) Паек. Какая выдача? где? Селедка или хлеб... Петрокоммуна, Компрод, Нархоз, Дом ученых, Дом искусств, Дом литераторов... распределительный пункт... продовольственная экспедиция... мешочница… спекулянтка... променял...

Категория ляскания голодными зубами!

2) Гороховая, 2. Шпалерная. Кресты. Передача. Принудительные работы. Когда взяли? Насколько засадили?.. К стенке... В Москву... Следователь... Чека… Озолин... Допрос... Обыск... И всего чаще:

— Да говорите же тише, ведь здесь кругом шпионы!

Категория шкурного перепуга!

3) Репетиция... Студия... Спевка... Спектакль... Мариинка, Александринка, Филармония... Кинемошка... Шаляпин

(обыкновенно, с прибавлением нелестных эпитетов)... ПТО... Владимир Николаевич (Давыдов), Владимир Васильевич (Максимов), Юрий Михайлович (Юрьев), Эмиль Альбертович (Купер)... Граммофон.

Категория жизни с глазами, зажмуренными на действительность. Трагическая попытка создания русского «Декамерона» в пошленьком переложении на мещанские нравы Петроградской стороны, Песков, линий Васильевского острова и рот Измайловского полка, но зато в колоссальных, «планетарных» размерах... Категория халтуры активной и пассивной: артистических дарований, массою гибнущих в разврате дрянного, рыночного, продажного исполнения на авось и как-нибудь, — и общественного развития и вкуса, массою же гибнущих в восприятии подложного, дрянного искусства...

IV

КРОВЬ, К НЕБУ ВОПИЮЩАЯ

В самом сдержанном и умеренном тоне хотел и рассчитывал я вести свои зарубежные очерки «красного Петрограда», не давая воли лирическим порывам, не позволяя разгораться огню гневного сердца, не допуская, чтобы на страницы мои брызнули горькие слезы... Но, очевидно, в нынешних условиях, раз ты взялся за перо, «спокойно зреть на правых и виновных» невозможно, хотя бы при самой твердой на то решимости. Большевики обладают несравненным в своем роде даром ошеломлять человечество внезапностями такой мерзостной свирепости и низости, что никакой выдержки не достает на зрелище их кровавых фарсов, и самая закаленная в опыте долготерпения душа прорывается рыданием негодования и боли. Кажется, уж привыкли мы, ничем нас не удивишь, всякой гадости от них ожидаем, — нет, понатужатся и превзойдут!

Вчера мне показали «Правду», а в ней бесстыдное хвастовство Чрезвычайки расстрелом супружеской четы Таганцевых, Н.И. Лазаревского, С.А. Ухтомского и др. Я знал этих безвинно убиенных людей, я видел их так недавно живыми и здоровыми. Не далее как во вторник 16 августа я встретил жену Лазаревского во «Всемирной литературе» спокойною за участь своего мужа, обнадеженною и уверенною, что дело его — пустяковое недоразумение, и он не сегодня-завтра будет на воле. И вот сейчас я как будто вижу ее пред собою, эту бедняжку, теперь уже не жену, а вдову Лазаревского, как встретили ее в вечер ареста мужа мои маленькие дети, — высокую, худую, рыдающую женщину в черном, тревожно кружащую, как ночная птица, вспугнутая с гнезда, около зловещей Гороховой, 2, за дверями которой только что скрылся ее супруг. Дети не знали ее, она не знала детей, — инстинктивно бросилась к незнакомой кучке прохожей молодежи, в смятении недоумелого испуга: «Странно! Ник.Ив. взяли как свидетеля, для дачи показания, «на какие-нибудь два часа», а вот что-то замешкались, не выпускают...» Шедшие с детьми старшие знакомые советовали ей: «Вы бы лучше домой шли, не привлекайте к себе внимания, ведь здесь кругом шпики». — «Нет, как можно, он выйдет, увидит, что меня нет, встревожится, что случилось...» Милиционер грубо прогнал ее с угла Гороховой. Она всю ночь мыкалась по панелям вдоль Александровского сквера, прячась и увертываясь от обходов, забиравших прохожих, которые в «свободном» Петрограде дерзают ходить по улицам позже часу ночи... Рассвело, солнце взошло, но двери Чрезвычайки не отворились для Лазаревского. Два часа превратились в два дня, два дня в две недели, две недели в два месяца, два месяца — в вечность...

Почему? за что? Чрезвычайка, столбцами своих печатных граммофонов, налгала целую полосу обвинений. Но ведь нет в Петрограде человека, не исключая самих коммунис-

тов, который не знал бы, что Таганцевский заговор — пуф вообще, а уж в особенности участие в нем Лазаревского и Ухтомского. Все убеждены, что дело грубо сфабриковано и раздуто Чрезвычайкою с прозрачными и вполне определенными целями.

1) Всенародная ненависть к чрезвычайкам достигла высшего напряжения. Даже среди самих коммунистов нарастает отвращение к ним и раздаются сильные голоса за их обуздание и упразднение. Следовательно, почтенному учреждению (подобно былым царским охранкам) надо показать выразительным примером, что оно необходимо, что только его бдительность и террор спасают «социалистическое отечество».

2) Правящим коммунистическим сферам желательно разбить чрезмерную сосредоточенность народного внимания на «голодном вопросе» и отвлечь рождающееся из нее озлобление пролетариата с больной головы на здоровую — на привычного козла отпущения — всевыносящую интеллигенцию. Смольный слишком обеспокоен зарождающимся примирением между интеллигенцией и пролетариатом, который начинает смутно понимать, что и она, и он равно исстрадались в ужасном и глупом кошмаре четырехлетнего ленинского режима и что никак уж не интеллигенция повинна в его муках. Это еще робкое движение надо затормозить, — и вот поспешно выбрасывается кость, приглашающая к новой драке: мнимый интеллигентский заговор, который, — внемли, о пролетариат! чуть-чуть было не погубил твоего обожаемого монарха... тьфу, что я! то бишь: твоего благодетеля — советское правительство!

К сожалению, Таганцевский заговор не был заговором. Говорю: к сожалению — потому, что настоящий, хороший заговор Петрограду очень нужен, хотя решительно не вижу я там для него человеческого материала. Но, найдись в обессиленном, обескровленном, обезволенном петроградском

обществе энергия для заговора, то не так бы он развивался и не такие бы имена привлек. А то ведь даже у изобретательной Чрезвычайки не достало клеветнической фантазии больше, чем на милейшего В.Н. Таганцева. Мир его страдальческому праху, освященному безвинною мукою! Но кто же может хоть на минуту поверить, чтобы этот добродушный и остроумный обыватель был *организатором* и «*главою*» политического заговора? С его-то неукротимою общительностью и длинным языком? С его-то житейскою озабоченностью и должностною беготнею в сверхсильной пайковой охоте? Если бы в Петрограде в самом деле зародился *серьезный* заговор, то, вероятно, под большим вопросом стояло бы, допустить ли В.Н. в его тайну, а не то, что ставить его «главою»...

Таганцева погубили какие-то большие деньги, которые он хранил и которых, при первых весенних обысках в его квартире, Чрезвычайка не нашла, а потом до них докопалась *). Ведь дело его, — по весьма твердой петроградской версии, — не сразу обернулось так трагически. По первому следствию, вины супругов Таганцевых были признаны настолько сомнительными, что — очевидно, лишь ради формы, чтобы не сводить широковещательное обвинение к нулю, — ему дали двухлетние принудительные работы, жене (уже вовсе неизвестно за что привлеченной) — на один год. Но как раз перед тем престарелый отец В.Н., знаменитый юрист, сенатор Н.С. Таганцев, обратился к Ленину с ходатайством за сына. Ленин ответил любезною телеграммою с предписани-

---

*) Какая-то большевистская рептилия — кажется, «Путь» бывшего публициста Иорданского, ухватившись за эту фразу мою, с торжеством доказывала: «Ага! вот Амфитеатров сам сознается, что у Т-ва нашлись скрытые большие деньги, — следовательно, расстрелян он не напрасно!.. Эта уверенность большевиков, что, если человек прячет от них чьи-либо вверенные ему деньги, то, значит, он заговорщик, — поистине, восхитительна! В своем роде — «самоопределение»! *1922.V.16.*

ем пересмотреть дело. Телеграмма сошлась с уже готовым было приговором и механически его остановила. Следственная канитель возобновилась, и тут история говорит надвое. Люди, питающие к г. Ленину влеченье, род недуга, уверяют, будто тогда Чрезвычайка, обозленная вмешательством премьера в ее самовластную компетенцию, особенно постаралась превратить В.Н. Таганцева в ужасного государственного преступника. Другие, с большим скептицизмом и с большею вероятностью, утверждают, что вся эта история с телеграммою — незамысловатое повторение старой комедии с расстрелянием великих князей. Ведь и тогда М. Горький (по его словам) привез из Москвы в Петроград письменное разрешение взять их на поруки. Но, покуда он ехал, Москва приказала по телефону поскорее расстрелять, — и расстреляли, прежде чем Горький успел предъявить свой документ. Так вот и теперь циническая телефонограмма — засудить во что бы то ни стало — обогнала и отменила лицемерную телеграмму — судить по совести.

Засудили Таганцева давно, но казнь оттягивали долго, ловя на смертника новые жертвы, чтобы отправить их вместе с ним загробными спутниками. Неловко же в самом деле, чтобы «заговор» состоял только из мужа и жены!.. Тут придется коснуться щекотливого вопроса. Если верить советским «правительственным сообщениям», Таганцев в тюрьме оговорил многих, частью арестованных, частью скрывшихся. Не хотелось бы верить, но, если бы даже и было так, воздержимся от сурового упрека несчастному. В.Н. Таганцева никто и никогда героем не считал, а между тем его постигло испытание, способное истощить и геройские силы. В распоряжении г.г. Семенова, Озолина и К° имеется достаточно средств, чтобы вымучивать признания, им желательные. Надо помнить, что в их застенок жертвы попадают не с прежними запасами телесной и нравственной выносливости и нервной энергии, как, бывало, революционеры в царских

застенках. Большевики имеют дело с узниками, ослабленными четырехлетним голодом, холодом, болезнями, переутомлением на непосильном физическом труде; с людьми нужды и страха, придавленными привычкою к унижениям и оскорблениям до самых печальных компромиссов: до той тактики низменных хитростей, уловок и обходов, которую покойный Салтыков угрюмо определил «применением к подлости» и которая, увы, неизбежна для современного петроградца, потому что без нее ему — нет жизни и скорая смерть. В этой отравленной атмосфере, сколько ни борись с нею, человек задыхается душою, в этих потемках он бессильно слепнет и сбивается с пути, на этой трясине нельзя быть стойким, потому что она расступается под ногами и неотразимо тянет жертву в свои недра... Повторяю: я не верю, чтобы В.Н. Таганцев «болтал», но, если бы даже и «болтал», да не коснутся камни осуждения его страдальческой, окровавленной тени. Не он «болтал», а «болтал» в нем измаявшийся, замученный, запуганный, потерявший всякое самоуважение, всякий здравый смысл, весь превращенный в трепет инстинкта самосохранения, запуганный, забитый, опошленный, оподленный, несчастный из несчастных, отставной столичный город Петроград, плотью от плоти и костью от костей которого был покойный — новый мученик коммунистической бойни.

Но Лазаревский! Чем больше о нем думаю, тем страшнее. Чувствую, что, сколько бы ни прожил я еще на свете, тени Лазаревского и Ухтомского уже не отойдут от меня в забвение, вечно стенающие воплем предсмертного недоумения и бессильного проклятия на головы убийц… Казнь?! Какая казнь?! Тут не было даже «политического убийства», была обыкновенная, подлая, скверная уголовщина. Захватила шайка насильников на большой дороге мирных прохожих и ни с того ни с сего заперла их в своем вертепе. А потом уже опасно было отпустить пленников, потому что они виде-

ли и испытали на самих себе все вертепные ужасы, и слишком показательно явили бы собою живую повесть о них вольному, еще не разбойничьему миру... Ну, и ухлопали скопом!.. С равным правом, как Лазаревского и Ухтомского, это двуногое зверье могло бы расстрелять любого встречного на улице... Выкупались, обагрились с головы до ног в крови неповинной, — и теперь, уж именно, «всею своею черною кровью» не смыть им с себя праведной крови этой!..

V

РАЗОГНАННЫЙ КОМИТЕТ

Сколько замечаю, разгон Всероссийского комитета помощи голодающим и его петроградского отделения толкуется в заграничной русской печати как победно цинический акт упразднения общественного начинания, которое большевики, скрепя сердце, почитали временно необходимым, чтобы поладить с Европой, — ан, поладили и без него. Ну, стало быть, можно за обнаруженною ненадобностью постылых необходимцев выбросить за дверь, а наиболее неприятных из них запереть по одиночкам. Не знаю, что переменилось в Петрограде после 23 августа, — последний день моих личных наблюдений, — но, судя по предшествовавшему ходу событий, думаю, что это не совсем так. Что для большевиков выяснилась ненадобность комитета, это верно, но выяснил ее, конечно, не успех большевистской дипломатии, а наоборот, — что-то у большевиков в Европе сорвалось и сорвалось сильно, потому что потребовало обычного для них в таких случаях отклика отчаянною дерзостью на пан или пропал. Вновь прибывшие беженцы из хорошо осведомленных кругов сообщают, что, когда сконфуженный М. Горький запросил по телефону о причинах роспуска петроградского отделения, то получил чисто формальный

ответ, что П.О. должно погаснуть автоматически, как часть упраздняемого Московского комитета. От вопроса же о последнем коммунистический премьер отделался своей любимой пословицей:

— Лес рубят, щепки летят.

Говорят, он и сам очень смущен и озадачен. Говорят о торжестве над ним крайней левой бухаринской группы. Но ведь торжество Бухарина равносильно полному отрицанию соглашения с буржуазною Европою, хотя бы и на почве филантропии. Отсюда прямой вывод логического вероятия: ставка на европейскую жалостливость проиграна, и обескураженные игроки срывают злобу на проигрыш обычными нелепыми средствами беспомощно взбешенных людей — ломают беззащитную мебель и бьют вдребезги ни в чем неповинную посуду. Потому что поведение коммунистического правительства в последние две недели, конечно, сплошной и неистовый вызов европейскому общественному мнению, пред которым оно так умильно и заигрывающе танцевало в прошлом месяце. Разгон комитетов, бредовые публикации о фантастических заговорах, расстрелы супругов Таганцевых с товарищами и 61 частью беспартийных, частью эсеров, аресты 216 моряков, все это не такие деяния, чтобы отозваться в Европе благоприятным отношением к страдающей России, покуда судьбы ее находятся в руках большевиков. Напротив. Тут для европейского буржуа выставлен целый ряд новых доказательных примеров, что, как волка ни корми, он все в лес глядит. «А посему, — скажет европейский буржуа, — не давать волку корма вовсе!..» Мне возразят, что советское правительство ждет помощи по голодному делу не от европейской буржуазии, а от европейского пролетариата. Но ведь это митинговая фраза. *Самостоятельной помощи европейского пролетариата как такового не достанет и на то, чтобы прокормить хоть один голодающий русский уезд.*

Сейчас в Петрограде нищие на улице начинают считать подаяние с 500 рублей *). Когда нищему подают сотенную бумажку, он бросает ее назад с каким-нибудь милым присловьем, вроде:

— Поберегите себе на гроб!

Либо рекомендует дать злополучной сторублевке еще более плачевное назначение.

Протягивая к Европе ручку горсточкою, играющие на голодке большевики ожидали минимально «пятисот рублей», т.е. выгодных политических результатов, а получили только «сторублевку» — филантропию, да еще и в условиях недоверчивого и брезгливого контроля... Как же! очень нужна, подумаешь, коммунистическому Кремлю и Смольному эта европейская филантропия! Ведь они же прекрасно знают, что в стихийном хаосе бедствия и устроенной ими разрухи из усилий филантропии все равно ничего не выйдет. Самое большее, чего она в состоянии достигнуть, — что вместо 25 миллионов, обреченных на смерть, умрет $24^1/_2$, или 24 без тысяч. Экая, подумаешь, важность миллион человеческих жизней для титанов, мыслящих, действующих и считающих в «планетарных размерах»! Да ну вас ко всем чертям с вашей филантропической сторублевкой! Да нам пятисотенный «расчетный знак» — политический к вам доступ, политическое признание, свободу политической пропаганды, согласитесь на торговлю с нами, покупайте у нас краденные нами вещи, поднимите наш комический рубль, инфузорная стоимость которого сейчас не поддается рассмотрению даже под сильнейшим микроскопом... Не даете? не хотите? Ну так вот же вам: мы расстреляем ваших достолюбезных интеллигентов, мы засадим в Бутырки дочь обожаемого вами Льва Толстого, — «удивим мир злодейством и упокойники в гробах спасибо скажут, что померли!..»

---

*) Сейчас, восемь месяцев спустя, эту цифру надо помножить на 20! «Тысяча» («косая» моих дней) уже не денежная единица! *1922.V.16.*

Я не настолько оптимист, чтобы твердить, вслед Панглосу, что все к лучшему в этом лучшем из миров, однако каким бы парадоксом ни прозвучали мои слова, осмелюсь сказать, что в скверном факте разгона комитетов есть своя хорошая, хотя и очень страдательно обусловленная, сторона. Не знаю, как здесь в эмиграции, но в петроградском обществе возникновение комитетов было принято очень подозрительно и были они крайне непопулярны. Филантропическая естественность их, конечно, признавалась всеми, но и практическая безнадежность их была ясна для всех, кто хоть сколько-нибудь знаком с картою русского неурожая, с разрухою русских путей сообщения, с ревностью коммунистической власти ко всякому сближению интеллигенции с народом, и с тою разнузданной анархией, которая называется «властью на местах» и столько же считается с властью в центре, как с прошлогодним снегом. Что же касается политических упований — комитеты уподобились зерну между двумя жерновами. В то время как Дзержинский с Менжинским увидали в комитете опыт формировки новой партии, сближающей правых большевиков с либеральной буржуазией, и зловеще «оставили за собою право, в случае надобности, арестовать весь состав комитета без исключения», — в то же самое время общество усмотрело в «Прокукише» податливый шаг соглашательства с ненавистным большевизмом и насторожилось подозрительно и недоброжелательно. Появление в «Правде» статьи Е.Д. Кусковой и интервью с С.Н. Прокоповичем было встречено ропотом и возбудило неодобрительные толки. В Петрограде — безобразный, безвыборный порядок формировки отделения чуть не по личному назначению М. Горького, прибывшего из Москвы с полномочным мандатом на сей предмет, усилил недоверие и недовольство. Целый ряд имен был внесен в список членов отделения без спроса их носителей, что повлекло протесты и отказы. На учредительное собрание, созванное персональными приглашениями, не

были позваны представители уцелевших культурных общественных организаций. Все это слагалось в картину какого-то некрасивого, случайного произвола. И так как одновременно правительство отклонило утверждение проекта широкой чисто общественной петроградской организации, которую под именем «Технопомощи», начало быстро и успешно строить Техническое общество (по инициативе Пальчинского), привлекая к своему центру другие независимые интеллигентские группы, то официальные комитеты оказались в глазах петроградцев компрометированными и в очень сомнительном и мутном свете, несмотря на множество причастных к ним известных и почтенных имен *).

Поэтому, я думаю, что весьма многие участники созданных комитетов, вопреки угрозе личных неприятностей, возможных как частные последствия массового насилия, сейчас вздохнули свободнее, как люди, поднявшиеся на ноги после неловкого сидения между двумя стульями. Разгоном коммунистическая власть сняла с комитетов свой полицейский штамп, наложенный на них при первом их зарождении с таким откровенным цинизмом. Вспомните логическую цепь исповеди Каменева в московской «Правде»: «Нам нужна помощь, — ее может дать только Европа, — Европа верит вам, нашим врагам, — стало быть, поставьте свой бланк на нашем векселе Европе, а в залог вот вам комитет, который, однако, не будет вправе сделать ни единого шага без моей санкции». Оказалось, однако, что общественность, хотя бы самая ограниченная и процеженная, все-таки слишком опасная сила для деспотизма, который тем более свиреп и ревнив, чем более чувствует свою органическую слабость. И вот для ленинского Кремля и зиновьевского (с Лашевичем) Смоль-

---

*) Как лучший пример недоверия могу указать тот факт, что петроградский Дом литераторов подавляющим большинством голосов своего общего собрания отказался присоединиться к официальному московскому комитету.

1922.V.16.

ного даже каменевская санкция — не гарантия благонадежности, даже горьковский подбор и просев сотрудников подозрителен, даже охранническая фильтровка Менжинским подлежит пересмотру и отмене. А посему — первооснователи комитета, г.г. Кишкин, Коробов и др., пожалуйте в Бутырскую тюрьму, а члены — посидите да потрепещите, подобно щедринским зайцам в ожидании под кустом: может быть, волк — Чрезвычайка — вас съест, а, может быть, — ха-ха! — и помилует!.. *)

VI

Н.С. ГУМИЛЕВ

Деятели советской революции любят сравнивать свою сокрушительную работу с Великою французскою революцией, хотя, конечно, не забывают прибавить при этом: «Мы, нынешние, много превосходнее!» Надо отдать им справедливость: отчасти правы. Если в их активе нет вдохновенных и могучих Мирабо, Дантонов, Демуленов, то злобными Маратиками, бесстыжими Гебериками и холодно-жестокими фанатиками робеспьерова толка — хоть пруд пруди. По числу жертв русская революция-пародия тоже давно превзошла свою грозную предшественницу. Она не воздвигала гильотины, но ее расстрелы имели своих Лавуазье и Кондорсе, а уж сколько таковых уморено голодом и холодом, — это и подсчету не поддается. Для совершенства пародии коммунистам не доставало только Андре Шенье. Трагическая смерть Александра Блока лишь отчасти заполнила это серьезный

---

*) Как известно, вся эта трагикомедия кончилась тем, что для членов комитетов, столь не потрафивших советской власти, Кремль воскресил из могилы давно забытую «административную ссылку» царских времен и отправил Кускову, Прокоповича и др. не то в Усть-Сысольск, не то в Сольвычегодск, где они и по сию пору пребывают. *1922.V.16.*

пробел, потому что, хотя наш дорогой поэт умер от болезни сердца, развившейся в результате голодной цинги, но все же не в тюрьме и не «у стенки». Прожил бы подольше — дождался бы. Потому что его короткое увлечение вихрем коммунистической революции в 1917 г. и в начале 1918-го, неосторожными плодами которого явились пресловутые «Двенадцать» и «Катилина», быстро прошло и мало-помалу переродилось в ужас и отвращение. Одною из причин тяжкого психического расстройства, в котором провел он последние недели страдальческой жизни, было именно раскаяние в «Двенадцати»: он беспрестанно говорил о том и в светлые промежутки, и в бреду. Перед смертью он потребовал, чтобы были уничтожены все его рукописи. Супруге его, Любови Дмитриевне, удалось спасти только наброски первых его юношеских начинаний. Он завещал не принимать никакой услуги от окровавленного мучителя-Смольного, и воля его была исполнена. Сколько лжепролетарское государство ни старалось примазаться к священной памяти поэта, — не удалось ему. Блока похоронили за свой счет литературные организации, они же водружают памятную доску на доме, где он умер, памятник на могиле ставит семья. Все правительственные предложения по этим услугам были вежливо, но решительно отклонены.

Теперь, к глубокому сожалению, пустое место кровавой пародии заполнено. Русская революция получила своего Андре Шенье. Русская поэзия опять облеклась в траур. Расстрелян Николай Степанович Гумилев.

Когда его месяц тому назад арестовали, никто в петроградских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, — казалось бы, — не было в них писателя, более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец «искусства для искусства». Гумилев и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, он отвечал — «я поэт», — с такою уверен-

ностью обычности, как иной обыватель скажет — «я потомственный почетный гражданин», «я присяжный поверенный», «я офицер» и т.п. Да он даже и в списках смертников «Правды» обозначен, как «Гумилев, поэт». Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом; поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, с стихотворским ремеслом, — и недаром же одно из основанных им поэтических товариществ носило имя-девиз Цех поэтов. Он был именно цеховой поэт, то есть поэт и только поэт, сознательно и умышленно ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы. Он даже не любил, чтобы его называли «писателем», «литератором», резко отделяя «поэта» от этих определений в особый, магически очерченный круг, возвышенный над миром наподобие как бы некоего амвона. Еще не так давно мы, — я и он, — всегда очень дружелюбные между собою, — довольно резко поспорили об этом разделении в комитете Дома литераторов, членами которого мы оба были, по поводу непременного желания Гумилева ввести в экспертную комиссию этого учреждения специального делегата от Союза поэтов, что мне казалось излишним. А однажды — на мой вопрос, читал ли он, не помню уж, какой, роман, — Николай Степанович совершенно серьезно возразил, что он никогда не читает беллетристики, потому что если идея истинно художественна, то она может и должна быть выражена только стихом... Он был всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец-гиерофант. Он писал свои стихи, как будто возносил на алтарь дымящуюся благоуханием жертву богам, и вот уж кто истинно-то мог и имел право сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

Всем своим внутренним обликом (в наружности между ними не было решительно ничего общего) Гумилев живо напоминал мне первого поэта, которого я еще ребенком встретил на жизненном пути своем: безулыбочного священнодейца Ап.Ник. Майкова... Другие мотивы и формы, но то же мастерство, та же строгая размеренность вдохновения, та же рассудочность средств и при совершенном изяществе некоторый творческий холод... Как Майков, так и Гумилев принадлежали к типу благородных, аристократических поэтов, неохотно спускавшихся с неба на землю, упорно стоявших за свою привилегию говорить глаголом богов. Пушкин рассказывает о ком-то из своих сверстников, что тот гордо хвалился: «В стихах моих может найтись бессмыслица, но проза — никогда!» Я думаю, что Гумилев охотно подписался бы под этою характеристикою.

Арест человека, столь исключительно замкнутого в своем искусстве, возбудил в недоумевающем обществе самые разнообразные толки. Тогда шла перерегистрация военных «спецов», — думали, что Гумилев попал в беду, как бывший офицер, который скрывал свое звание. Другие полагали, что он арестован, как председатель Клуба поэтов за несоблюдение каких-то формальностей при открытии этого довольно странного учреждения, принявшего к тому же несколько слишком резвый характер. Принадлежности поэта к какому-нибудь заговору никто не воображал. Не верю я в нее и теперь, когда он расстрелян, как будто бы участник заговора. И не верю не только потому, что быть политическим заговорщиком было не в натуре Гумилева, но и потому, что скажу откровенно: если бы Гумилев был в заговоре, я знал бы об этом. Сдержанный и даже скрытный вообще, он был очень откровенен со мною именно в политических разговорах по душам, которые мы часто вели, шагая вдвоем по Моховой, Симеоновской, Караванной, Невскому, сокрушаясь стыдом и горем, что умирающему Петрограду не достает сил, энер-

гии, героизма, чтобы разрушить постылый «существующий строй...»

Мы не были политическими единомышленниками! Напротив. Мой демократический республиканизм был ему не по душе. Както раз я, шутя, напомнил ему, что Платон в своей идеальной утопии государства советовал изгнать поэтов из республики. «Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику», — гордо возразил Гумилев. Он был монархист — и крепкий. Не крикливый, но и нисколько не скрывающийся. В последней книжке своих стихов, вышедшей уже под советским страхом, он не усумнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога «Махди», и —

Я ему подарил пистолет
И портрет *моего* Государя...

На этом, должно быть, и споткнулся он, уже будучи под арестом. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Депутация профессионального Союза писателей недели через две после ареста отправилась хлопотать за Гумилева. Председатель Чрезвычайки не только не мог ответить, за что взят Гумилев, но даже оказался не знающим, кто он такой...

— Да чем он, собственно, занимается, ваш Гумилевич?

— Не Гумилевич, а Гумилев...

— Ну?

— Он поэт...

— Ага? значит, писатель... Не слыхал... Зайдите через недельку, мы наведем справки...

— Да за что же он арестован-то?

Подумал и... объяснил:

— Видите ли, так как теперь, за свободою торговли, причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилевич взят за какое-нибудь должностное преступление...

Депутации оставалось лишь дико уставиться на глубокомысленного чекиста изумленными глазами: Гумилев нигде не служил, — какое же за ним могло быть «должностное преступление»? Аполлону, что ли, дерзостей наговорил на Парнасе?

Над удивительным свиданием и разговором этим мы много смеялись в Петрограде, никак не предчувствуя, что смех будет прерван пулями и кровью...

По всей вероятности, Гумилеву на допросе, как водится у следователей ЧК, был поставлен названный вопрос о политических убеждениях. Отвильнуть от подобного вопроса каким-нибудь спасительным обиняком не составляет большой хитрости, но Гумилев был слишком прямолинеен для фехтования обиняками. В обществе товарищей — республиканцев, демократов и социалистов — он без страха за свою репутацию заявлял себя монархистом (хотя очень не любил Николая II и все последнее поколение павшей династии). В обществе товарищей — атеистов и вольнодумцев, не смущаясь насмешливых улыбок, крестился на церкви и носил на груди большой крест-нательник. Если же на допросе следователь умел задеть его самолюбие, оскорбить его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович тотчас же ответил ему по заслуге — с тою мнимо-холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий анахронизм, с дуэлистами-бретерами «доброго, старого времени». И как офицер, и как путешественник, он был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Ну, а в чрезвычайках строптивцам подобного закала не спускают. Ставили там людей к стенке и за непочтительную усмешку при имени Ленина или в ответ на провокаторский гимн следователя во славу Третьего Интернационала...

VII

ВОЗЗВАНИЕ М. ГОРЬКОГО

В пражской еженедельной газете «Огни» я прочитал прекрасную статью польского писателя г. Гржималы Седлецкого о пресловутом воззвании М. Горького к Европе. Воззвание это породило обширную литературу на нескольких языках, в большинстве, сколько я успел заметить, весьма неблагоприятную для русского писателя. Сказано много резкого и — увы! справедливого; были и просто грубые ругательства со стороны людей, которых накипевшее за четыре года недовольство большевистским уклоном М. Горького и негодование на его двусмысленную позицию между интеллигенцией и ее палачами довели уже до слепой ненависти к имени певца «бывших людей», еще недавно так любимого и уважаемого на Руси. Я читал письмо Д.С. Мережковского к Г. Гауптману о Горьком и откровенно скажу: оно мне вовсе не понравилось. Справедливость основного общественного протеста в нем слишком заслонилась, чтобы не сказать — вовсе поглотилась, прозрачно личною злобою автора. Создается такое впечатление, будто для почтенного Дмитрия Сергеевича в письме его самое главное — не опровергнуть двусмысленную пропаганду Горького, но как можно сердитее «доехать» его самого и, обругав всеми дозволительными и полудозволительными в печати крепкими словами, сделать его настолько отвратительным, чтобы не только Гауптман, но и всякий добропорядочный человек, прочитав эту свирепую аттестацию, немедленно дал своим горничным распоряжение:

— Если меня будет спрашивать г. Горький, помните, что для этого господина меня никогда дома нет.

Это «сильно, но неубедительно», как выразил в одной своей давней резолюции покойный Николай II... Статья г. Гржималы Седлецкого имеет то преимущество, что, будучи сильною не

менее письма Мережковского, она чрезвычайно убедительна и оставлявляет впечатление неотразимое, подавляющее, хотя крепких слов польский автор отнюдь не рассыпает.

Воззвание Горького, несомненно, одно из бестактнейших и неудачнейших выступлений этого несчастного человека, чья вся жизнь теперь сложилась в анекдот политической двусмысленности. Какой-то старинный жонглер, Блонден, что ли, изображался на своих рекламах идущим по канату, держа в руках две чаши с курящимся фимиамом — и направо, и налево. В таком роде позицию занимает сейчас и Горький: с его вечною высокомерною декламацией о культуре — к утешению страждущей интеллигенции; и с его прочною дружбою и послушным сотрудничеством с самими антикультурными силами большевизма, которые эту страждущую интеллигенцию душат, чтобы не сказать — уже задушили. Да простится мне анекдотическое сравнение, но, право же, Горький сейчас отбивает амплуа у той хитроумной одесской девицы, которая умудрилась и невинность (интеллигентскую) сохранить, и капитал (коммунистический) приобрести. Насколько Алексей Максимович преуспевает в своих эквилибристических целях, я сейчас говорить не буду. Это тема большая, долгая и... очень болезненная. По крайней мере, для меня, который много лет страстно любил М. Горького и как художника-писателя, и как революционера, и как человека. А теперь, с октября 1917 года, — признаюсь — единственным отрадным и благоприятным для него симптомом в его деятельности представляется мне то трагикомическое обстоятельство, что в эквилибристике своей он ученически неловок и канатохождение его — всегда покушение с негодными средствами.

Призыв его, обращенный к европейскому миру, произвел в петроградском обществе сенсацию весьма отрицательную. Одно из двух: либо не просить милостыни, либо, если уж на то пошел, то, по крайней мере, не плюй в колодцы, из которых собираешься воду пить. А тут — Бог знает что! Стоит

человек на европейской паперти, протягивает руку за подаянием, а в другой руке держит камень, а языком ругательски ругает просимого доброхотного дателя. Неприглядная картина какого-то кладбищенского нищенства, в форме так называемого на трущобном жаргоне «стреляния»... В быту «бывших людей» она — дело обычное и естественное, но ведь А.М. Горький, хотя враги и зовут его теперь язвительно «бывшим писателем», покуда все же не «бывший человек». Да и не имеет он никакого права навязывать идеи, тон и слова «бывших людей» русскому обществу, во имя которого он к Европе обратился, сам себя на то избрав, уполномочив и благословив.

Распространяться о воззвании Горького и спорить с ним поздно, потому что уже и дутое учреждение лжепомощи, к которому большевики прикомандировали его в качестве и антрепренера, и бутафора, и заведующего рекламою, рухнуло, упраздненное ими же за ненадобностью. И бесцеремонность упразднения резче, чем когда-либо, подчеркнула унизительность роли, играемой Горьким в их сообществе. Какой-то маскарадный капуцин, содержимый при шайке бандитов для совершения религиозных таинств во отпущение ее скверных грехов. Монах Тук на постоянном иждивении Робин Гуда. «При разбойниках завсегда отшельник бывает», — утверждает Аристарх в «Горячем сердце» Островского. Когда бедующей и угрожаемой, трусу празднующей шайке нужны молитвы и предстательство бутафорского инока, его поят, кормят (и очень усердно!), ему льстят, трубят его именем на все горы, долы и леса, суют его на первый план всех своих предприятий, прикрывая услужливыми полами его покладистой рясы свои лицемерные рожи, острые ножи и кровавые делишки. Прошла беда, — разбойники, с веселым духом, опрокидывают пинком ноги временно установленный иноком бутафорский алтарь, а его самого фамильярно хлопают по лысине: «Баста ханжить! Полезай в свою нору,

отче, — теперь тут у нас пойдет наша заправская работа, а ты знай, сиди смирно, лишнего, что видишь и знаешь, не болтай да держи ухо востро, — будет нужда, опять позовем... рука руку вымоет!» И инок отходит в сторону от возобновляемого безобразия с закрытыми глазами, с зажатыми ушами: «Моя хата с краю, ничего не знаю!..» Может быть, даже неодобрительно покачивает головою: «Ах, мол, с какими все-таки негодяями обрекся я быть вкупе и влюбе! Но что поделаешь? с волками живу, должен и сам выть по-волчьи...» Положение, как его ни верти и ни толкуй, весьма полупочтенное. Иноком «монаха Тука» все признают, но разбойники, хвастая им, зовут его — «наш батька», а мирное население аттестует — «разбойничий поп»...

Я не заговорил бы о воззвании Горького, если бы г. Гржимала Седлецкий не отметил в нем с особенной силой одного примечательного местечка, приобретшего чрез события последних дней новую острую современность. Остановившись на сакраментальных заклятиях Европы всуе приемлемыми именами Толстого, Достоевского, Менделеева, польский писатель возражает на это христарадничанье очень горькими и слишком вероятными предположениями, какая печальная судьба постигла бы Толстого, Достоевского и Менделеева при самодержавном режиме Дзержинского, Ленина и Бронштейна. И, в частности, спрашивает:

— А что вы сделали с семьей того Толстого, которого выставляете своим знаменем?

Ответ не замедлил — и не словами, но делом. Распустив Всероссийский комитет, советская власть бросила в тюрьму Александру Львовну Толстую — младшую и любимую дочь Льва Николаевича, верную ученицу и спутницу его последних дней, ближайшую наследницу его идей, хранительницу его сочинений, преемницу его деятельности... Бросила именно тогда, когда А.Л. энергически взялась за святое, заветное дело отца своего и со всею фанатическою пылкос-

тью наследственного толстовского темперамента устремилась на помощь «страхом обуялому», гибнущему голодною смертью русскому народу...

То-то вот и есть! Что уж клянчить именем Достоевского там, где морят насмерть голодною цингою Александра Блока и расстреливают Гумилева (оба, замечу, члены редакционной коллегии в горьковской «Всемирной литературе»). Именем Менделеева там, где предпочитают изнемогшего Павлова держать на краю могилы, в которую старик вот-вот свалится, лишь бы не выпустить его, сурового свидетеля и обличителя разрушения русской науки, на заграничную свободу *). Где умершему с голода и холода Иностранцеву присылают «очередной» казенный гроб на малорослого, и родным пришлось приколачивать к гробу какой-то, чудом ускользнувший от печи сорный ящик, чтобы упрятать торчащие окоченелые ноги покойника. Именем Толстого там, где его благородной умнице-дочери нет другого места и дела, как кормить своим телом клопов и вшей Бутырской тюрьмы...

Боже мой, как надоела, как омерзела, как опошлилась, как пригибает к земле русское достоинство и самосознание эта вечная хвастливо-просительная песня: «Полюбите нас черненькими за то, что между нами когда-то бывали и беленькие! Поддержите и спасите наше мерзейшее антикультурное настоящее за то, что мы имели очень хорошее культурное прошлое... собственными нашими руками оскверненное и уничтоженное!»

Похвальба крыловских гусей заслугами капитолийских предков.

Да нет! Крыловские гуси, если не имели своих собственных заслуг, то, по крайней мере, были с капитолийскими одной породы... Но — когда в родню к капитолийским гусям

---

*) Теперь выпустили... восемь месяцев спустя после того, как были писаны эти строки! Помогла Генуэзская конференция... *1922.V.16.*

начинают набиваться и голосисто гогочут, прося себе пенсии на основании фальшивого родословия, ряженые хорьки и лисицы, получается нечто неописуемо гнусное... И уж как печально и противно видеть А.М. Горького не только принимающим участие в этом кощунственном гоготе, но, пожалуй, даже его запевалою и дирижером!..

P.S. Сейчас в только что пришедшем «Общем деле» я прочитал, что А.Л. Толстая выпущена из тюрьмы в числе других арестованных членов Комитета. Тем лучше. Говорят, будто все хорошо, что хорошо кончается. Но 1) кончилось ли? 2) существо факта тем не меняется, а становится даже как бы выразительнее. «В числе драки», как выражался один персонаж у Гл. Успенского, забрали, «в числе драки» освободили... этакая же мерзкая полицейская игра людьми, будто пешками! Подумаешь, что дело идет не о крупной общественной деятельнице и дочери «великого писателя Земли Русской», а о первой встречной, взятой на улице за дебош!

VIII

ВЫБОРГ И ПИТЕР

Брожу по Выборгу — и радуюсь, и горюю.

Радуюсь по человечеству, зрелищу культурного города, с жизнью, бьющею ключом. Горюю — национально: сравнивая с только что покинутым Петроградом.

Я не был в Выборге с 1897 года. Он вспоминался мне, как чистенькая и живописная «большая деревня» с чопорными претензиями на город. Попадая в Выборг, старинный петербуржец улыбался:

— Скажите пожалуйста! от земли не видать, а туда же гримируется под Европу! Врешь, брат, кишка тонка!

Рядом с великолепным Петроградом тогдашний Выборг казался карликом, которого показывают вместе с великаном,

чтобы еще больше подчеркнуть громадный рост этого последнего.

За 1917—1921 годы я насладился прелестями Петрограда до пресыщения, но перед тем в нашем знакомстве тоже был огромный — двенадцатилетний — перерыв. Двенадцать лет для большого, столичного города, к которому всею жизнью своею тянется великое государство, — срок, гораздо больший, чем двадцать четыре для маленького губернского. И, однако, помню свое глубокое разочарование при свидании с Петроградом, в первый раз по возобновлении:

— Да что же в нем переменилось за двенадцать лет? Словно я только вчера его оставил! Разве лишь — что уехал я из Петербурга, а вернулся в Петроград.

А вот Выборга я не узнал бы, если бы не высился над ним приметною твердынею, словно старый рыцарь в каменном панцире, живописный гигант «Линна», который русские называют, с нежным умягчением, «Шлось», т.е. «Шлосс» — «замок», — а на Торговой площади не пузатилась бы круглая белая кубышка средневековой башни. Потому что, — если не размерами своими, то всем характером своей переродившейся физиономии Выборг, — с его циклопическим стильным вокзалом, с его величавыми банками, ратушей, крытыми рынками и новыми храмами, с его нарядною, живою, хорошо мощенною улицею, с его цветущею эспланадою, зелеными скверами и широкими плацами, с его опрятностью и строгим полицейским порядком, с его трамвайным шумом и летом, с его бравыми солдатами в касках французского образца, — решительно смотрит маленькой северной столицей во вкусе германских бывших герцогских и княжеских резиденций. И я не скрою, что нашему брату, петроградскому беженцу, одичалому под советскою властью, оборванному, отвычному от опрятной улицы и чистой, свободно и бестрепетно движущейся толпы, теперь прямо-таки неловко, конфузно, стеснительно на

стогнах того самого города, над которым мы еще так недавно трунили покровительственно:

— Ну, что такое Выборг? Прихожая Петербурга! В нем только крендели хороши, да и те, поди, у нас на Васильевском острову немцы пекут, а финны их лишь скупают да тайком перевозят в Выборг, чтобы было хоть что-нибудь «свое» на торгу.

А теперь... вот тебе и крендели!.. «Кренделили»-то, оказывается, не финны, а мы. И, покуда мы, предаваясь этому полезному занятию, прокренделились до утраты последних штанов и массового обращения в дикарское состояние, финны выпекли из своего Выборга такой великолепный крендель, что нам, горемычным, глядя на него, — только руками разводить да облизываться: кушать подобное, увы, не по состоянию!

Что финны сделали из своего маленького города-деревни! И что мы, русские, сделали из своего огромного города-столицы!.. Перед глазами так и стоит он — безмерное мертвенное привидение — опустошенный, разграбленный, разрушенный Петроград, с улицами-пустырями, с кошмарными призраками домов-развалин.

Когда мы, петроградцы, начинаем оплакивать падение своего великого города, оптимисты утешают:

— Чего же вы хотите? Столица только что пережила и еще переживает революцию.

Но ведь вот и в этом маленьком Выборге тоже была революция — и тоже недавно, да и какая! Петроград никогда еще не испытал ни взятия штурмом, ни настояще свирепого и упорного уличного боя. Его Февральская революция тем и хвалилась, что была — «бескровная», Октябрьская досталась победителям дешево, двумя выстрелами с дряхлой «Авроры», и была кровава своими мстительными последствиями, а не в самом акте свершения. А Выборг брали и красные, и белые; и Шлосс ревел пушками, переплевы-

вая через город тучи снарядов, и углы домов отшибались осколками бомб, и шрапнель дождила по дворам, и люди резались грудь с грудью на улицах, разорялись магазины, винные погреба испускали реки дорогих напитков из разбитых бочек... Все революционно-бытовое было, как у нас, но с добавленим революционно-батальным, которого у нас не было или почти не было.

Все было, но где же следы? Выборг смотрит даже не излечившимся раненым, у которого пустой рукав или нога-деревяшка напоминают о пережитой жестокой катастрофе. Нет, это здоровяк без рубца и шрама: уже и сам почти забыл о том, что когда-то был ранен, а новые знакомые, видя его в этом цветущем состоянии, едва верят, будто всего три года тому назад он был изувечен до того, что мало-мало не отдал Богу душу... И такой-то здоровый вид в то время, как, по обычному говору и молвы, и газет, страна переживает острый экономический кризис, финская марка падает и большевики на русской границе бряцают оружием. Следовательно, — в условиях не очень-то нормальных и благоприятных. Какого же процветания, значит, можно здесь ожидать в условиях жизни безусловно мирной и не угрожаемой?!

Петрограда штурмом не разоряли, однако его можно принять за город, трижды, четырежды переходивший из рук в руки враждебных армий. В нем не было больших пожаров, вроде того, что года полтора тому назад почти дотла уничтожил несчастную Вологду, которая с тех пор так и не может оправиться и приподняться из пепла. И, однако, проспекты и линии Васильевского острова, улицы Петербургской стороны (не исключая даже Каменноостровского), роты Измайловского полка, Пески и т.п. дают вам зрелище именно пожарища, растянутого на целые версты. Мусор, остовы фундаментов, осыпающиеся печи и трубы. И — революция уже три года не гремит оружием в черте столицы, а площади пожарища, чем бы застраиваться и уменьшаться, растут

и множатся. Петроградские руины в громадном большинстве созданы, действительно, работою огня. Но не тою, что вызывает черные или огненные шары на вышках частей и бешеную скачку по улицам пожарных машин, обсаженных и обставленных молодцами в медноблещущих шлемах. Не того огня, который заливают и тушат, но того, который, напротив, поддерживают, раздувают и приходят в отчаяние, если он начинает угасать. Робко и слабо мигает и трещит он в жарких печурках-«буржуйках», сбитых из старого кровельного железа, дымных, воняющих краскою, у которых безотходно проводит день-деньской всю горемычную жизнь свою нынешняя петроградская обывательница — «домашняя хозяйка», как величает ее «трудовая книжка». В зимний холод, спереди жарясь, сзади подмерзая, летом, заливаясь потом, — топчется вокруг огонька, неутомимо измышляя, как ей с одной, много двух конфорок, напитать голодающую семью хоть бессодержательным, да теплым варевом, напоить хоть водою, да кипяченою, потому что в сырой — тиф и смерть.

Деревянный Петроград весь сгорел, изломанный на топливо, — даже не в виде «дров», так как дровами топят печи, а куцые «буржуйки» дров не вмещают, требуют щепы. Да и где же в Петрограде, за исключением комиссаров, крупных спекулянтов, председателей доходных домкомбедов и некоторых, любезных власти, артисток и артистов (здесь Шаляпин, конечно, в первой очереди), где же они, эти счастливцы, способные сожигать в печах целые капиталы в валюте березовых или сосновых поленьев? Наш брат, интеллигент, упраздненный «социалистическим отечеством» за ненадобностью, когда раздобывался дровишками, то пилил полено на кругляшки полуфутовой длины, а кругляшку рубил на четыре чурки, с глубоким сожалением, что нельзя на восемь. И как только вспомнишь, что лишь таким вот огнем всю прошлую зиму согревались семьи в шесть, семь и больше душ, сбиваясь к нему, кучею, в одну комнату, где и ели, и спали, и работа-

ли, а больные и дети — те и на двор ходили! Как вспомнишь только, что в подавляющем большинстве обывательства эти «буржуйки», сию минуту раскаленные докрасна, час спустя уже холодные, как лед, были единственным источником тепла на целую квартиру в три-четыре населенные комнаты!.. Ах уж эти зимние петроградские вечера в комнатах без света, с заиндевелыми углами, с тряпками или картонными заплатками на белых обледенелых окнах, — вечера угрюмых, безмолвных людей в рваных шубах, дырявых пальто, протоптанных валенках, в лоскутьях, когда-то бывших шарфами и кашне! Переутомленные дневною работою и ходьбою, голодные глаза жадно высматривают, что еще в доме осталось ненужного из деревянных изделий, чтобы сунуть в чуть тлеющую «буржуйку». А насмешливо уцелевший градусник на стене выразительно показывает — хорошо, если только 0, а то ведь, возможно, и –2—3; значит, к утру жди всех пяти ниже нуля!.. Я был сравнительно счастлив: моя последняя, третья петроградская квартира в старом доме, кажется, еще Екатерининской стройки, удивительно держала тепло и температура у нас никогда не падала ниже 3 град<усов> R<eomur'a>, обыкновенно же стояла на 5 град<усах>, а в сухие солнечные морозы баловала нас даже 6—7 град<усами>... Работать у письменного стола было очень трудно: руки вскоре костенели, но соседи ходили к нам отогреваться и хвалили:

— Благодать!..

А утра, когда восставшие, — вернее очнувшиеся, — от сна без раздевания, чада и домочадцы стонут, плачут, ноют, воют, зубами стучат:

— Папа, затопи же наконец! замерзаем!

А в доме ни щепки!

— Сломай бюро... на что оно? — пустое стоит...

— Да ведь оно красного дерева?!

— Что же, красное дерево не будет гореть, что ли?

— Работа Тура... по рисунку знаменитого художника...

— К черту и Тура, и художника: руби!

Бухает топор, шипит-визжит пила… ура! в «буржуйке» засверкало пламя... да какое же оно красивое и благовонное!.. Нерон сжег труп Поппеи на костре из аравийских ароматов, а в эпоху Возрождения банкир Фуггер затопил для Карла V камин корицею... Жалкие хвастунишки! Мы, петроградцы, ежедневно побивали их рекорды, кормя свою «буржуйку» красным, пальмовым, палисандровым деревом, мореным дубом, эбеном, а уж о карельской березе, орехе, буке и т.п. — стоит ли и говорить!..

К глубокому моему сожалению, пишу это не только по наблюдению, но и по собственному горькому опыту. Я лично вынужден был последовательно сжечь, таким образом, штука за штукою, всю свою мебель на первых двух квартирах, с которых приходилось бежать, по мере того, как холод приводил их в нежилое состояние: лопались трубы центрального отопления и водопровода, полы покрывались льдом, и забастовавший ватерклозет извергал на паркет все свои нечистоты. Но на третьей, последней квартире, у нас своей мебели уже не стало, а холод не щадил… пришлось уничтожать и чужую! Двери в комнатах тоже сожгли. К моменту нашего бегства на квартире из дерева уцелели только профессиональные — рояль моих сыновей-музыкантов и мой письменный стол, кровать, два-три кресла да вешалка. Все остальное пожрала она — ненасытная малютка-«буржуйка».

И — о злая насмешка судьбы! Перед самым отъездом, я неожиданно получил возможность продать в ревельское издательство «Библиофил» свою «Зачарованную степь» и «Ваську Буслаева» и после трехгодичной почти совершенной бездоходицы впервые опять получил кое-какие деньги. Прежде всего, мы, конечно, даже не устремились, а ринулись покупать дрова — и приобрели полторы сажени за

пустую сумму в 150 000 рублей[*]: конечно, от невских матросов-пиратов, краденые с барок... И теперь... нет, если вы, читатель мой, давно из России, вы не поймете эту дровяную трагедию, ее в состоянии прочувствовать и оценить только петроградец 1921 года!.. и теперь — подумайте только! — мы бросили в покинутой квартире полторы сажени — *целые* полторы сажени! — совершенно приготовленных пилкою и рубкою для «буржуйки» отличнейших дров... Уж хоть бы каким-нибудь добрым людям из соседства досталась эта золотая россыпь! А то ведь, поди, как вскроют квартиру, захватит ее, увезет и спалит в своей и без того раскаленной печке заведующий обыском беспардонный чекист...

По исторической пословице, Москва от копеечной свечки сгорела. А новый дорогой наш полупокойничек, блаженной памяти столичный город Петроград понемножку да полегоньку погиб-сгорел на медленном огне «буржуек». Мелочно, оскорбительно, пошло сгорел — даже не бревно за бревном, даже не полено за поленом, но щепка за щепкою. Уцелели, поскольку не развалились от дряхлости и нерадения и не раскрадены усердием здесь власти, там домкомбедов лишь огнеупорные части: камень, металлы, стекло, бетон... А впереди — и близко, близко — опять зима... ужаснейшая из зим, потому что уже окончательно и безнадежно бестопливная!

IX

Г. УЭЛЛС В ПЕТРОГРАДЕ

Я не видал еще книги Уэллса о пребывании его в советской России, а потому не имею права и судить о ней. Печатные официозы большевиков делали из нее весьма торжествующие цитаты, из которых свидетельствовало, будто Уэллс

---

[*] Скольким миллионам или миллиардам равняется это теперь? *1922. V. 16.*

расписал «социалистическое отечество» самыми радужными красками, как некий грядущий рай. Но цитаты большевиков источник ненадежный: В. Быстрянский с компанией, по мере надобности, сумеют не то что Уэллса, но даже «Отче наш» обратить в свою пользу и будут развязно доказывать, будто «хлеб наш насущный даждь нам днесь» предписывает Европе обязательство кормить правительство Р.С.Ф.С.Р. с его Красною Армией исключительно чрез посредство советских учреждений, а «остави нам долги наши» обозначает «не надейтесь на уплату когда-либо русских долгов». В беспорядочно достигавших до Петрограда газетных фельетонах Уэллса настроение автора было неуловимо: то он как будто кольнет большевиков и скептически подметит в их раю нечто из местечка совсем насупротив, то вдруг расшаркается пред ними и «восхвалит царствие чумы». Видели мы коекакие перепечатки в проскользавших иной раз сквозь большевистские преграды французских и итальянских газетах, сделанные без особого интереса к вопросу, в тонах равнодушного нейтралитета. В них конечный вывод из наблюдений Уэллса читатель получал приблизительно в том смысле, что, мол, по чистой правде говоря, коммунистический рай — большое свинство и для порядочных наций не рекомендуется, но для России как раз это самое свинство и требуется и лучше не надо. Наконец, проникали к нам открытые письма к Уэллсу, помещенные в разных органах русской эмигрантской печати; в том числе полные негодования, резкие выступления И.А. Бунина и Д.С. Мережковского. По ним ним можно было судить о г. Уэллсе весьма нелестно. Более чем нехорошо говорит о нем и русская эмиграция разных группировок, встреченная мною в Финляндии. И уж особенно нехорошо говорят англичане, — русские англичане, прожившие в России годы и годы на какой-либо практической работе, успевшие ее узнать и полюбить, глубоко признательные за достаток, который они в ней приобрели, и очень больно принимающие

к сердцу ее нынешнее несчастие и двойственную политическую игру с русским народом, ведомую их собственным отечеством. Словом, не читав книги, я не знаю, вполне ли угодил г. Уэллс большевикам, но, во всяком случае, ясно, что, кроме большевиков, он никому не угодил.

Книги я не знаю, но по некоторым цитатам в заграничной печати и даже в органах большевиков я знаю, что г. Уэллс упоминает в ней о литературном банкете, данном в его честь в петроградском Доме искусств, и (по-видимому, в тоне некоторого недовольства) о речи, мною произнесенной на этом банкете. Этот эпизод, в свое время довольно громко нашумевший в Петрограде, пожалуй, стоит воскресить в памяти и рассказать.

Приехав в Петроград, Уэллс, кажется, предполагал остановиться в нейтральном помещении Дома искусств, — по крайней мере, туда он прежде всего объявился. Но, не найдя там никого из заведующих, отправился к М. Горькому и уже так у него и остался. Это было плохое предзнаменование для объективности его наблюдений. С какими бы намерениями и по чьему бы приглашению он ни приехал, но, во всяком случае, он, сам не знающий языка страны и сопровождаемый сыном, который по-русски тоже, кроме «комнатных» слов, ничего не смыслил, сразу попал в очарованный круг ближайших друзей, сотрудников и сочувственников господствующей правительственной партии. Таким образом, он отрезал себя от всей оппозиции, т.е. подавляюще большей части петроградской интеллигенции, непроницаемым кольцом. Это произвело в Петрограде очень нехорошее впечатление, так как Горький, «друг Ленина», уже тогда начал плотно окружаться тою двусмысленною репутацией и непопулярностью полуправительственного человека, которые сделались его достоянием теперь. Было ясно, что Уэллс увидит в Петрограде только то, что ему покажут Горький и его кружок. А ведь в кружке этом вхожие, если не свои люди, и Красин, и Зарин.

Вспоминали, что на встрече Нового года у Горького был и танцевал даже «сам» Зиновьев. Не знаю, встречался ли Уэллс у Горького с крупными тузами правительствующего большевизма, но знаю, что людей иного лагеря он мог видеть и видел очень мало. А те, которых он видел, вынесли впечатление для него невыгодное: не то это был человек, уже обработанный, не то человек, желающий быть обработанным. Знаю, что некоторые, относившиеся к приезду Уэллса очень энтузиастически до его появления в Петрограде, после свидания с ним у Горького недоверчиво насторожились и предпочли отойти в сторонку, в выжидательном молчании. Из таких я мог бы назвать по имени, если бы имел на то разрешение и не боялся повредить человеку, одного молодого, в гору идущего беллетриста, сейчас играющего заметную роль в литературном Петрограде, человека очень умного и искусно нейтрального. Он был необходим группе Горького по своему блестящему знанию английского языка — и даже специально Уэллсова языка, так как он был редактором последнего русского перевода романов Уэллса. Однако что-то ему в петроградской обстановке своего любимого автора не понравилось и от участия в спектаклях с знатным иностранным гастролером он, побывав на нескольких репетициях, уклонился.

В качестве чичероне к Уэллсу были приставлены М.И. Бенкендорф, личная секретарша М. Горького, и известный критик и журналист Корней Ив. Чуковский, новейший петроградский Фигаро по литературно-дельцовской суетне и обычный обер-церемониймейстер ею порождаемых торжеств и празднеств. В то время он весьма сблизился с Горьким по «Всемирной литературе» и издательству З.И. Гржебина, и... так как в этом кругу любят планетарные сравнения, то употреблю и я таковое: вращался вокруг Горького, как Луна вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. К руководительству Уэллса названными лицами общество петроградское отнеслось опять-таки очень недоверчиво и недоброжелательно.

О г-же Бенкендорф, несмотря на то, что она несколько раз была арестована, ходили слухи как о новой прозелитке победоносного большевизма. О Чуковском говорили как о человеке, слишком зависимом от Горького по множеству совместных дел, предприятий и отношений. Я не знаю, что именно в Петро-граде показывала Уэллсу г-жа Бенкендорф, но, кажется, дальше катанья по разрушенным улицам дело не шло, да усердно посещались благотворительные учреждения, возникшие по инициативе Горького или состоящие под его протекторатом: пресловутый Дом ученых, Дом искусств, «Всемирная литература» и т.п. Во «Всем<ирную> литературу» Уэллса привезли почему-то в такое время, когда там заведомо никого из литераторов не бывает, и он очутился неизвестно зачем пред двумя-тремя служащими барышнями, из которых ни одна по-английски не понимает. Словом, Уэллс ездил и видел красивые комнаты — здесь реквизированного дворца в.кн. Владимира Александровича (Дом ученых), здесь — реквизированного дома Елисеевых (Дом искусств), там — генеральши Хариной («Всемирная литература»), что и должно было служить для него исходною точкою к познанию забот нового строя о нуждах науки, искусства и литературы. Чуковский, считающийся (и вполне справедливо) специалистом и знатоком по детскому быту, свез Уэллса в образцовую школу Тенишевского училища, где показал знатному иностранцу дюжины две-три русских деток, которые сердечно благодарили доброго дядю Уэллса за его прелестные сочинения и вообще вели себя как дети благовоспитанные, сытые, здоровые, игривые, вполне подтверждающие искренность пресловутого советского девиза — «все для детей». Эту комедию Уэллс, кажется, понял и — не принял. По крайней мере, впоследствии он, неблагодарный, написал о ней что-то, должно быть, очень нелестное, против чего г. Чуковский в петроградском «Вестнике литературы» вынужден был протестовать только что не слезно. Но, как ни груба была инсценировка, а все-таки

свое дело сделала. Частный случай Уэллс разобрал и высмеял, но в общем воспел-таки хвалы советскому чадолюбию и школе. Что и требовалось доказать, так как большевикам только того и надо было, чтобы язва их школы, самая вонючая из их язв, преподнесена была западно-европейскому обществу в виде благоуханной розы. Я не думаю, чтобы г. Чуковский действовал в этом случае со злою волею сознательного лицемера, — нет, просто, увлекся человек усердием гида-церемониймейстера — показать товар лицом, что у нас, мол, все — как в самых лучших домах, — и, что называется, «переборщил».

Признаюсь, молва о всем этом жонглерстве очень волновала меня. Я большой поклонник утопических романов Уэллса и ждал от его приезда очень больших результатов для России — в смысле правдивого осведомления о ней западно-европейского общества. Он не первый из «знатных иностранцев» приехал в советскую Россию с осведомительными целями, но его литературный авторитет, его всемирная известность, его публицистическое уменье, ставили его на две головы выше предшественников, не исключая Ф. Нансена. Если этакая огромная сила будет одета большевиками в розовые очки, — эта опасность сулила неизмеримый вред русскому обществу, которое в то время еще полно было наивною верою, будто мы страдаем так много только потому, что Европа плохо осведомлена о наших страданиях — и, не зная их, не доверяя им, не спешит нас выручать.

И вот я решился написать Уэллсу письмо — обширное изложение фактов текущей петроградской жизни, по преимуществу, в среде интеллигенции. Написал я его по-русски и, не надеясь на собственное свое весьма слабое знание английского языка, хотел дать его для перевода одному из университетских профессоров-филологов, который, подобно мне, возмущался воздвигнутой вокруг Уэллса стеной и опасался фальсификации им (невольной, конечно, как предполагали мы

тогда) русских данных в глазах европейского общественного мнения. С этим намерением я принес письмо на знаменитый обед, который в честь Уэллса дал Дом искусств, с приглашением почти что всех еще уцелевших тогда сил литературного Петрограда.

Я не собирался говорить на банкете, — вернее, думал ограничиться двумя-тремя приветственными словами, насколько хватит моего английского языка. Но к приветствиям у меня пропала всякая охота после первой же очередной речи председателя, М. Горького. Он утопил Уэллса, как муху в варенье, в комплиментах и хвалах за то, что он, этакий великий, приехал собственными глазами видеть, как живем мы после революции. Затем продолжали потопление мухи в варенье С.Ф. Ольденбург, К.И. Чуковский (конечно, опять о деточках и добром дяде Уэллсе) и др. Становилось приторно, тошно, скучно, словно на старинных казенных «юбилеях 25-летней безупречной деятельности». Уэллс в ответной речи весьма одобрил русских, за то, что они подарили миру такую образцовую революцию, но предупреждал, чтобы русские революционеры-победители не очень-то рассчитывали, будто Европа последует их примеру, а в особенности Англия. У нас, — говорил он, — вероятно, тоже будет вскоре революция, но совсем не такая; у вас по-вашему, а у нас по-нашему, вы понимаете коммунизм этак, а мы так — каждому свое. Сперва намеками, потом прямыми словами заявил, что Англия много виновата пред Россией, которую она втянула в войну, не одобрил Антанту и пр. Он ворчал все это себе под нос, по-английски, а М.И. Бенкендорф переводила, как успевала, из пятого в десятое. Было бы смешно, если бы не было скучно. Потом опять полились сиропы славословий в честь знаменитого гостя. Художник-большевик Пунин прокричал благим матом что-то кубически дерзновенное — вроде многолетия новому коммунистическому искусству, которое, дескать, всем вам ужо покажет кузькину мать... Ничего, про-

глотили и это удовольствие!.. Публика была настроена чрезвычайно смирно и добродушно. Еще бы! в кои-то веки она сидела, как в былые годы, за хорошо сервированным столом и ела настоящий обед, с мясным супом, жарким, сладким, с конфектами к чаю. Петрокоммуна расшиблась для знатного иностранца: одного мяса прислала 9 пудов, так что затем потребители столовой Дома искусств чуть ли не целую неделю имели основание благословлять приезд Уэллса!.. За обедом всего не съели, а остатки, понятно, не выбрасывать же собакам — в голодном-то Петрограде — пусть лучше литераторы с художниками «сожрут». Правильно и невозразимо. Сытое общество вело себя благонравнее даже деточек, которыми умилял нас красноречивый К.И. Чуковский. А.М. Пешкову оставалось только смотреть, слушать и радоваться на розовый вертоград доброчиния и добродушия, который, неугомонно говорив два часа подряд, за все два часа не сказал ни одного путного, искреннего, задушевного слова о своих насущных нуждах, заботах, делах и интересах...

Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розам, как нарочно,
Привилась полынь!..

Полынный элемент внес молодой ученый, когда-то ученик, друг и секретарь покойного М.М. Ковалевского. В очень сдержанном тоне, спокойно, без фраз и декламаций, он указал почтенному собранию, что любить и хвалить знаменитого гостя дело не худое, однако не затем же Уэллс приехал к нам, чтобы слушать наши комплименты, и не затем же мы собрались сегодня, чтобы состязаться в оных. Нам представляется редкий случай раскрыть пред европейским свидетелем отрицательные стороны нашей ужасной жизни, обменяться в его присутствии мыслями и мнениями об ее улучшении: неужели мы пренебрежем такою исключительною возмож-

ностью?.. Я не ручаюсь за точность выражений, но смысл речи был таков и, повторяю, она была парламентски-умеренна и, будучи полна внутренней горечи, освещаясь бесспорностью угрюмых фактических истин, не заключала в себе решительно ничего вызывающего, «лезущего на рожон»...

Тем нелепее и некрасивее вышло ее ближайшее, непосредственное последствие.

Едва молодой ученый окончил свою речь, при громких аплодисментах собрания, наконец пробужденного от спячки настояще сказанным словом, как Горький, с недовольным, кислым лицом, встал и отдал во всеуслышание нижеследующую команду по фронту:

— Господа, имеется запись еще нескольких ораторов. Так я их прошу — обойтись в своих речах без ламентаций. Для нашего гостя они будут неинтересны, да и вообще ламентации — это бесполезно и смешно.

Я знаю Горького семнадцать лет. Знаю его способность, наскучив искусственною выдержкою, срываться в естественную бестактность и сказать неожиданную грубость, сделать внезапный некрасивый жест... Но теперь я едва ушам своим поверил. Слышать Горького полицейским, деспотическим цензором от большевизма, зажимающим рот свободному дельному слову смелого оратора, — на этакий сюрприз от него я никогда не надеялся...

— Почему?! — громким невольным вопросом бросил я ему через стол.

Он не ответил, но ко мне подбежал Чуковский и, наклонившись сзади, быстро заговорил:

— Потому что могут закрыть Дом искусств...

Я возразил:

— Если существует такая опасность, то не следовало в Доме искусств устраивать политического банкета. А раз устроен политический банкет, то уже поздно считаться с та-

кою опасностью. Уэллс произнес чисто политическую речь. Почему же лишаются того же права отвечающие ему ораторы?

Редко в жизни моей я был более взволнован, расстроен, возмущен. Кажется, никакое личное оскорбление не потрясло бы меня с такою обидною, мучительною силою, как эта выходка Горького. Во мне все дрожало. Словно вдруг любимую женщину увидал в блуде и позоре. И я почувствовал всем существом своим, что теперь, после этого генеральского окрика на общество, на товарищей по перу, по свободному (!) слову, я не могу молчать, я не имею права молчать, и что теперь должен говорить уже не для Уэллса, а для присутствующих русских. И то письмо, которое я думал передать Уэллсу, как личную информацию, — вместо того я вынул его из кармана и прочел громко...

Впоследствии оно много гуляло по Петрограду в списках, а теперь, после моего бегства, вероятно, уже напечатано или печатается в Эстонии. Содержание его, в общих чертах, было таково: «Уэллс, соединяющий в себе социолога и художника, прекрасно сделал, что приехал в Россию: он один из немногих европейских писателей, способных разобраться в хаосе наших пореволюционных бедствий. Но, чтобы разбираться, надо видеть. А увидит ли он? Я желаю ему избежать общей участи «знатных иностранцев», которые, приезжая в Россию, как при старом режиме попадали, так и при новом попадают обязательно в руки правительственной партии или ее агентов и одеваются ею в розовые очки. Желаю, но плохо надеюсь на это. Наша жизнь сейчас ужасна не только по нужде, — она отвратительно переполнена страхом и ложью. Все, что вам, г. Уэллс, показывают и выдают за положительныя явления нашего нового быта, все это либо самообман, либо сознательная ложь. Ложь — и этот банкет, которым мы вас чествуем. Вы видите нас в прекрасно освещенном, богато убранном зале, сидящими за хорошо сервированным столом,

вкушающими недурной обед, довольно прилично одетыми. Но, если бы вам пришла экстравагантная идея попросить нас снять с себя верхнее платье, едва ли хоть один из нас был бы в состоянии исполнить ваше желание, потому что на нас, под приличною внешнею оболочкою, скрываются вместо белья дырявые немытые лохмотья. (NB! Почему-то именно это место моей речи, повторенное Уэллсом в одной из своих статей, усиленно перепечатывалось затем заграничною прессою.) И, когда вам говорят тут высокие слова о ваших творениях, об искусстве, о творчестве и пр., поверьте — это лишь условное красноречие языка! А головы в это самое время заняты мучительным соображением, что вот я-то сейчас ем, а есть ли у меня хоть какой-нибудь шанс промыслить на завтра роковую обязательную тысячу рублей, чтобы накормить хлебом голодную, плачущую семью. Какая уж там литература, искусство, наука, когда за полтора года вымерло от голода, холода и непосильного труда 150 человек — литераторов, поэтов, ученых! Когда я собственными глазами видел на рынке, как старая, почтенная, заслуженная писательница стащила с прилавка кусок сала, — и она видела, что я вижу, и все-таки украла, потому что дома ждали ее полуживые от голода внуки. Такая же ложь и самообман вся мнимотрудовая помощь, которою якобы спасается от гибели наша интеллигенция. По существу, это лишь замаскированные богадельни, куда новый строй, с презрительной снисходительностью, сталкивает класс, ему ненужный, в той части его, которую он почитает безопасною. О какой культуре можно говорить, когда кругом все поглощается рецидивом варварства, дичает, превращается в пустыни, вымирает? Чуковский показывал вам деточек, которые в восторге от вашего «Острова доктора Моро», где зверей переделывали в людей, — я допускаю, что можно собрать несколько десятков таких умных деточек. Но я берусь показать вам десятки тысяч деточек, которых самих надо было бы отправить для переделки на ост-

ров доктора Моро, потому что на них уже образ звериный, а не человеческий...»

И так далее. Меня, что называется, прорвало и помчало.

Я кончил среди мертвого молчания и несколько секунд считал себя безнадежно провалившимся. Аплодисменты раздались, лишь когда публика опомнилась от ошеломления моей дерзостью... Стали ко мне подходить с поздравлениями, рукопожатиями и — с предостережениями...

Горький сидел с сердитым лицом и белый, как скатерть.

Я еще вначале моей речи заметил, что ее перестали переводить Уэллсу. Но и Уэллс заметил, что происходит за его обедом что-то неожиданное и не по расписанию. Встревожился, спросил одного из близсидящих, хорошо владеющего английским языком, в чем дело. Тот двусмысленно ответил, что Амфитеатров произносит «не для всех приятную» речь... Тот же Чуковский подбежал ко мне с поручением от Уэллса — получить от меня список речи.

— Но она, во-первых, не кончена, в рукописи нет многого из того, что я говорил, а, во-вторых, — здесь только русский текст.

— Это ничего, мы переведем.

Я отдал рукопись, но вслед затем ко мне подошел тот самый молодой, тактичный беллетрист, о котором я упоминал выше.

— Кому вы передали свою речь?

Я назвал.

— Зачем?

Я объяснил. Тогда он, глядя в сторону, выразительно произнес:

— Гм... жаль... Бог знает, как они ее переведут... Я, знаете, сейчас сидел, вслушивался, как вообще переводились речи... ужасно неточно... недомолвочно...

— Вы хотите сказать...

— Только то, что англичане любят, чтобы на их языке выражались правильно, — поспешно заключил он и отошел с любезно-дипломатической улыбкой.

Я понял и рукопись отобрал обратно. А через день она в хорошем переводе и в двух экземплярах была мною вручена для передачи Уэллсу — одна копия С.Ф. Ольденбургу, к которому я лично занес ее на квартиру в Академию наук, другая — М.И. Бенкендорф, во «Всемирную литературу». Полагаю, что, отправленные такими путями, рукописи не могли не дойти по назначению.

А на банкете, заключая его председательским словом, А.М. Горький выкинул еще новую штучку.

— Мы тут много наговорили, — сказал он, — и нужного, и ненужного. Наш гость разберется в этой куче и, быть может, найдет в ней жемчужное зерно. (NB. Недурно и для ораторов банкета, да и для Уэллса, произведенного председателем в дурака-петуха из крыловской басни!) А еще я замечу вот что. Из речей некоторых ораторов выяснилось, что они недовольны революцией. Между тем эти ораторы сами недавно делали революцию... Так не делали бы!

И, быстро повернувшись, пошел, как ни в чем не бывало, прочь от стола, прежде чем ему спохватились ответить. С мест, занятых свитою, послышалось подобострастное хихиканье.

Впрочем, последнее слово осталось все-таки не за ним. Его произнес — тихо, но внятно среди всеобщего молчания, на весь зал, — сидевший, места через два или три от меня, пожилой литератор-критик, смирный человек, известный кротостью своего нрава, в жизнь свою мухи, вероятно, не обидевший и, бывало, приводивший все редакции в отчаяние безмерною снисходительностью своих благожелательных рецензий...

Но это последнее слово, неожиданно сорвавшееся с уст столь вежливых и ласковых, прозвучало уже настолько выразительно, что повторить его печатно я не нахожу удобным.

X

ОДНА ИЗ МНОГИХ

Нечто бытовое.

Эту барышню привели ко мне хорошие люди, добрые знакомые, в январе 1919 г.

Громкая фамилия, с титулом. Хорошенькое изящное существо с васильковыми глазами. Остатки приличного туалета, но в столь потертом и штопанном виде, что дело явное: на плечах последнее и сменки нету.

— Чем могу служить?

— Не найдется ли у вас связей — похлопотать за маму?

Мама, старуха 60 лет, взята три месяца тому назад на Гороховую, 2, а теперь лежит в больнице женской тюрьмы, тяжело больная воспалением почек. Опасна, едва ли выживет. Обвиняется в контрреволюции. Улики — громкая аристократическая фамилия, офицерство в родне и записка арестованной к управляющему ее собственным домом, с предписанием:

— Устройте к моему приезду все, согласно условию, как можно старательнее.

Арестованная и управляющий объясняют, что записка относится к 1915 году и говорит о произведенном тогда в квартире домовладелицы ремонте. Следователь Чрезвычайки настаивает, — «по внутреннему убеждению», — что записка прошлогодняя, 1918 г., и прикрывает своею тайною конспиративную квартиру монархического заговора.

— И кроме этой записки — ничего?

— Решительно ничего. Да и не могло быть ничего. Мама женщина безусловно аполитическая. Страдает за фамилию.

Когда мать арестовали, дочери в Петрограде не было, гостила в глухой провинции. Возвращаясь в Петроград, она не подозревала своей беды. Добралась, под тяжестью до-

рожного мешка, с вокзала домой — и нашла квартиру запечатанною, а соседей, которых она стала расспрашивать про мать, настолько перепуганными, что с нею и говорить не хотели, и ночевать не пустили. К счастию, она имела адрес вот этих моих добрых знакомых, которые теперь ее ко мне привели, и они дали ей пристанище.

Они же помогли ей найти в Петрограде отца. Он был в ссоре с женою и жил врозь с нею, под чужим именем, потому что громкая фамилия угрожала опасностью и ему. Появление дочери скорее испугало его, чем обрадовало. К тому же она нашла его очень измученным только что отбытою инфлюэнцией. А две недели спустя он схватил «сыпняк», который и унес его в могилу.

Отец на кладбище, мать в тюрьме. Свидания с мамою дочь не могла добиться. А после ряда повторных отказов получила от одной сострадательной чекистки (бывают и такие!) совет — лучше и не добиваться больше. «А то сами сядете, и тогда кто же «с воли» будет хлопотать за вашу мамашу и носить ей «передачи»? А на тюремном пайке она в неделю помрет».

Несчастие положительно гналось за девушкой. Она долго не находила в Петрограде никого из своей когда-то многочисленной родни. Одни расстреляны, другие эмигрировали, третьи на Шпалерной и в Крестах, четвертые дерутся где-то на белом фронте. Наконец, нашла дядю, брата матери, но тоже не надолго. Он, человек уже очень старый, показался племяннице не в своем уме. Пережитые во время революции страхи довели его до глубокой меланхолии, с манией преследования, и в один из припадков тоски он застрелился, наделав тем своему домкомбеду больших хлопот.

— Ну хочешь свою жизнь прекратить, удавись, утопись, зарежься, отравись... А то — стреляться! Теперь ЧК замучает розыском, почему у покойного оказался в целости револьвер, да не было ли тут склада оружия или конспиративной квартиры белых.

По просьбе осиротевшей девочки, я отправился хлопотать. М. Горький сказал, что знает дело, — пустое, скоро выпустят. Однако не выпустили. Был у меня на подобные случаи нужный человек, недавний, но влиятельный коммунист из бывших эсэров. К нему. Он навел справки: нет, крепко сидит старуха, ничего нельзя сделать.

— Да в чем ее обвиняют? за что она взята?

— В том-то и беда, что не знают, за что.

— ?! ?! ?! ?!

— Ну да, фактов никаких, но... подозрительная белогвардейская фамилия... родня... внутреннее убеждение следователя...

— Да что же значит внутреннее убеждение следователя при полном отсутствии улик? В таких случаях прекращают следствие и отпускают на свободу…

— Ну, это как когда и кого... Иной раз и к стенке ставят...

— За то, что не знают... за что?!

— За то, что не знают, за что...

— Приятно слышать!

— Но за старуху вы не опасайтесь: покуда она в больнице, безопасна, — таких не расстреливают... Вот, когда выздоровеет, другое дело, — кто ее знает, как повернется.

— А есть шанс на освобождение?

— Если чистосердечно сознается, может быть...

— В чем сознается?

— В том, за что арестована.

— Да ведь вы же говорите, что в ЧК не знают, за что она арестована?

— Не знают.

— Так ей откуда же знать?

— Ну как ей про себя не знать!

— Да если ей нечего про себя знать?!

— Всегда найдется, что...

— Значит, попросту, она должна себя оговорить?

— Не оговорить, а сознаться.

— О, Боже мой! не все ли равно, что в лоб, что по лбу?

— Нет, не все равно. Оговорить значит солгать, а от нее ждут правдивого показания.

— Да если его быть не может? если ему неоткуда взяться?

— Ну, стало быть, и пусть сидит, покуда откуда-нибудь возьмется.

— И тогда вы ее освободите?

— Может быть, и освободим... смотря по показанию…

— А, может быть, и расстреляете?

— Может быть, и расстреляем... смотря по показанию...

— Ну, а свидание дочери с матерью возможно?

— А вот, когда сознается, тогда и свидание...

И опять закружилась сказка — только уж не про белого, а про красного бычка! «Поди туда, не знаю, куда; принеси то, не знаю, что…»

Арестованная оказалась женщиною упрямою. Так и не доставила ни себе, ни следователю удовольствия узнать, в чем ее обвиняли, и, не выжидая расстрела — «не знаем, за что», — проявила непростительное своевольство: умерла самостоятельно. Дочь же тем временем нашла себе приют, если очень скромный, то постоянный и надежный: у одной женщины, которая когда-то служила в их семье нянею, а теперь пробавляется по малости мелочною продовольственною спекуляцией, к чему пригласила и бывшую свою барышню. Последнюю я почти совершенно перестал видать у своих знакомых (впрочем, они и сами вскоре уехали в Латвию), но зато часто встречал ее на улице, то в трамвае, то пешую, всегда с мешком обличительно спекулятивного вида за плечом и с деловою заботою в напряженно вглядчивых васильковых глазах. Очень загорела, огрубела, пожалуй, подурнела, но смотрела сытою и здоровою и одета была чище, не в такое тряпье, как носила в последнее время. Встречал

я эту новобранку мешочничества иногда одну, иногда с ее сожительницей и покровительницей, нянею, довольно симпатичною пожилою толстухою, перед здоровьем которой и накопленным за пятьдесят лет жизни жиром даже советский голод спасовал. Нос у нее был утиный, глаза круглые, желтые, зоркие; манеры учтивые, хорошо выдержанной старой прислуги; очень неглупая, сдержанная, разборчивая в выражениях речь. Говорить с ними обеими было интересно. Мешочничая, они часто выезжали в Лугу, Званку, Вологду, Псков, Витебск, много видели, хорошо ознакомились и с «властью на местах», и с «деревенскою мелкою буржуазией», т.е. крестьянством, переживали опасные столкновения с заградительными отрядами, — вообще, купались в авантюре спекуляции. И очень хорошо рассказывали свои приключения, в особенности старуха. Однажды я встретил их в трамвае возвращающимися откуда-то с Приморской дороги, под бременем огромных мешков с картофелем. Посмотрел я и только подивился, как у этой семнадцатилетней, хрупкой на вид барышни спина не переломилась. А она смеется и уверяет, будто привыкла, и ей нисколько не тяжело.

— Вот такого мешка, как Миша носит, — не похвалюсь, — не подниму, — указала она мне на сопровождавшего их парня лет восемнадцати. — Сын моей няни, — пояснила она, — вместе с нами работает...

Парень был обычного советского мелкослужилого типа, — подержанная копия с своего комиссара: многолетняя замасленная и потрескавшаяся шведская куртка, высокие сапоги, кожаный блин на голове. Мешок при нем был, действительно, чудовищный, занял чуть не треть площадки, так что кондукторша вступила было с парнем в перепалку, но он, с энергической помощью своих спутниц, счастливо отгрызся. Сходство его с матерью было поразительно: то же пухлое, веснушчатое лицо, тот же утиный нос, те же толстые губы, те же круглые желто-серые глаза, только без

материнской смышлености. Напротив, парень показался мне дураковатым. Мешок дал ему себя знать: он был краснее вареного рака и всем лицом блестел в испарине, как лакированный.

— Служит?

— Да, курьером или чем-то в этом роде при Совнархозе... очень удобно, достает нам разрешения на поездки в несколько минут...

— При матери живет?

— Да, мы все вместе.

— У вас большое помещение?

— О нет, где же! одна комната... знаете, как теперь с топливом... ютимся, как все, около плиты...

— Не стеснительно это вам?

— Нет, ничего, мы ширмами разгородились. Да Мишу мы почти никогда и не видим дома. Является только поздно вечером, а весь день либо в бегах по службе, либо меняет что-нибудь за городом...

Эта наша встреча была последнею пред очень долгим перерывом, во время которого я, признаться, совсем позабыл о существовании барышни. В июле этого года, под вечер, прохожу Александровским сквером.

— Александр Валентинович! — окликнул меня молодой женский голос.

Гляжу: с одной скамьи у пребезобразного памятника Пржевальского с его мохнатым верблюдом поднялась и направляется ко мне белая фигура, одетая по новой моде пролетарски франтящего Петрограда: юбка по колено, белая шляпа-повязка, самоделка, коробком, сотрясающиеся бескорсетные перси. На руках — пакет с младенцем.

— Вы?

— Как видите. Не ожидали?

— Да — однако, переменились же вы!

— Да... знаете, жизнь-то летит... вот, между прочим, замуж вышла...

Это «между прочим» прозвучало восхитительно, и вообще мудрено было признать прежнюю скромную, изящную барышню, с потупленными васильковыми глазками в этой развязной молодице, с смелым прямым взглядом, который говорил без слов: «Мы, брат, всякие виды видали, и нас теперь уже ничем не испугаешь и не смутишь...»

— Поздравляю... Кого же это вы осчастливили, «между прочим»?

— А вот... вы его видели однажды...

Она кивнула в сторону скамьи, ею оставленной. Я пригляделся — там сидел, уперши руки на широко расставленные колени, тот самый круглолицый, круглоглазый, толстогубый Миша, с которым полтора года тому назад я встретил ее на трамвае. Теперь он, видимо, процвел, потому что выглядел уже совершенным пролетарским франтом; весь так и сиял в новенькой коже. Заметив, что я смотрю на него, встал и раскланялся, в довольно комическом смешении конфуза с самодовольством...

Должно быть, на лице моем изобразилось изрядное изумление, потому что собеседница моя нервно передернула плечами и, отвернув глаза в сторону, произнесла с некоторою запинкою:

— Д-да, вот... что поделаешь?.. Знаете, когда живешь в такой тесноте... одна комната...

Но вдруг, видимо обозлившись на себя, зачем она как будто оправдывается, оборвала и жестко, грубо, с вызовом заговорила:

— Ну да и, наконец, ведь жить же надо... Что же, в самом деле? Жизнь не ждет, молодость проходит... Мне уже двадцатый год.

— Будто это уж так много? — заметил я.

Она пожала плечами и возразила:

— Много не много, а... ну, словом... слушайте: для кого бы я себя берегла?.. Город для меня стал как пустыня... все одна да одна... Не пропадать же было...

Она споткнулась на слове, но оправилась и смело договорила:

— Какою-то сухою смоковницею...

— От этой опасности вы себя уже застраховали, — сказал я, указав глазами на ее младенца. — Но... неужели уж так необходимо было торопиться и нельзя было подождать... лучшего выбора?

— Чего ждать-то? — жестко перебила она. — Прекрасных рыцарей из прежнего общества? Так вымерли они или так далеко от нас, что, пожалуй, даже «тот свет» ближе... Впрочем, троих знаю еще здесь... Один служит по трамваю вагоновожатым, а двое других, уж не взыщите, поступили агентами в Чрезвычайку... Согласитесь, что...

Она сухо засмеялась, пожав плечами. И продолжала:

— Чего ждать? Белого переворота, что ли? Антанты? Вольного города Петрограда? Портофранко с иностранным кварталом? Немецкого принца с армейским корпусом?.. Ждали мы, Александр Валентинович, ждали, да, как выражается моя бывшая няня, а ныне свекровь, уже и жданки потеряли... Все нас оставили, все нас забыли, все нас обманули, ни на кого надежды нет, ни в кого — веры... Я ли не ждала, Александр Валентинович?.. Мечтала, страдала... Всякому терпению бывает конец: устала страдать и перестала мечтать... Зажмурила глаза, стиснула зубы и — взяла, что жизнь предложила...

Простились мы...

Тихо шел я Английскою набережною... и думалось мне много и горько, обидно думалось о них, — о тех одиноких, усталых, беспомощных и слабых духом, что сейчас, в одичалом советском Петрограде, — и женщины, и мужчины, — тысячами идут вот так-то ко дну. Потому что — «ждут, ждут», четыре года ждут, но, ничего не дождавшись, «теряют жданки» и, — именно зажмурив глаза и стиснув зубы, — «берут от жизни то, что она

предлагает»... И, пожалуй, еще сравнительно не так худо, если предлагает она только грубый «советский брак», а не кокаин, опиум, эфир, спирт и свальный грех в одном из бесчисленных тайных, но всем известных кружков, в которых нынешний Петроград ищет кошмарных забвений своей кошмарной действительности.

XI

Ф. НАНСЕН

С тех пор, как я в Финляндии, не могу встретиться ни с одним русским или иноземцем, интересующимся русскими делами (а кто же ими сейчас не интересуется?), без того, чтобы не получить вопроса:

— Что вы думаете о Фритьофе Нансене и его главенствующей роли в деле помощи голодающей России?

Вопрос сложный. Нансен фигура недюжинная и — именно на данный случай — одаренная столькими разнообразными качествами, как положительными так и отрицательными, что в их противоречии одинаково возможно — энтузиасту-оптимисту его безудержно восхвалять и прославлять, а скептику-пессимисту его безнадежно отрицать и зачеркивать.

Скандинав с символическим именем Фритьофа, типический потомок и преемник «морских королей», сам как бы последний викинг, смелый «пенитель морей», Нансен — по натуре — удалой и талантливый авантюрист-конквистадор, только, согласно переродившимся в культурном веке требованиям, не на арене военно-политической удачи, а на почве научного исследования и, во вторую очередь, социальной мечты. Поэтому как личность, как характер, как «действенная энергия», он очень подходящий избранник для трудного предприятия, которое в условиях опустошенной и одичалой России будет, пожалуй, не легче препятствиями и не беднее при-

ключениями, чем поиски северного пути через Ледовитый океан в Тихий или путешествие к полюсу.

Властный, даже деспотический упрямец, одержимый давнею, неоднократно проявленною нелюбовью к России и русским, — не к старому русскому режиму, как хотели бы, может быть, поправить некоторые, но именно к России, именно к русскому народу, к русскому человеку, к русскому характеру, — нелюбовью, не только политическою, по силе подозрительно напряженного соперничества соседних государств за «господство на севере», но и национальною, расовою, — Нансен совершенно не подходящий, крайне странный и очень нежелательный избранник для подвига, которым Европа думает спасти Россию. Потому что, хотя в международных отношениях сантиментальность всегда маловероятна и человеколюбие, обыкновенно, диктуется эгоистическими опасениями (от чего и наш теперешний случай не избавлен), однако процесс ожидаемой помощи требует от своего главного вершителя не только добросовестно холодного исполнения долга, но и большой, самоотверженной любви.

В русской зарубежной печати, равно как в большинстве органов Антанты, избрание Нансена встречает недоверие и недоброжелательство. Высказываются откровенные подозрения, что он в качестве социалиста-интернационалиста предаст вверенную ему миссию: употребит свои огромные полномочия и обеспечивающие их средства на укрепление власти большевиков, которых он, «друг М. Горького» (имеющего, в свою очередь, титул «друга Ленина»), полный сочувственник и пылкий поклонник. Что вместо погибающего голодною смертью русского народа он накормит весьма сытые и нисколько не русские сферы Кремля и Смольного, с их чрезвычайками, красными курсантами, Красною Армией, китайцами, латышами, башкирами и прочими «людьми с винтовкой», которыми еще держится на ветке насквозь сгнившее яблоко, именуемое Р.С.Ф.С.Р. Что борьба с голодом будет обращена им в заразную работу на мировую пролетарскую

революцию и возвеличение коммунистического авторитета. И так далее.

Я не знаю Нансена лично и никак не решусь знаменитого деятеля, мною не изученного долгим наблюдением, оскорбить подозрениями в подобных злоумышленных коварствах. Но, с другой стороны, не могу я понять, как человек, на котором тяготеют подобные подозрения, настойчиво повторяемые большинством русского и европейского общества, решается тем не менее взять на себя миссию более чем ответственную, — страшную. И мало что вообще решается, но еще и как бы с вызовом подозрениям, потому что берет он ее — в условиях прозрачного союза с властью ненавистною, презираемою и, в злобной слабости своей, доказанно способною на самые цинические предательства и коварства. Власти этой он теперь то и дело говорит комплименты и ставит похвальные отметки, прикладывая, таким образом, свой штамп к ее оправдательным документам, ставя свой бланк на ее политических векселях.

Нет никакого сомнения, что со стороны Нансена здесь большой риск. Положим, говорят, риск — благородное дело. Но всегда ли? Есть риск честного игрока и есть риск шулера. Честный игрок рискует своим материальным достоянием: это неразумно, но, поскольку он хозяин своих поступков, не позорно. Шулер материально нисколько не рискует, но ему постоянно угрожает опасность быть уличенным в плутовстве, ославиться мошенником, быть побитым, вылететь в окно. Риск дружеского соприкосновения и сотрудничества с шулерскою компанией — странный риск для порядочного человека. Очень может быть, что Ф. Нансен честнейший человек в мире, но свою новую деятельность он начинает признанием самого сомнительного тоже во всем мире флага. И я очень опасаюсь, что в данном случае — вопреки льстивой оптимистической пословице, — не человек украсит место, но место выкрасит человека, — и выкрасит нехорошо. Как уже выкрасило оно Горького, Шаляпина и несколь-

ких других, с менее громкими именами, примазавшихся к Олимпу Кремля и Парнасу Смольного. Но с гораздо большею ответственностью, потому что нынешняя игра большевиков, к которой Нансен так вызывающе-неосторожно «держит мазу», несравненно шире всех прежних, более дерзка в ставках и даже более откровенна в шулерском расчете. В самом деле: что может быть показательнее и выразительнее грубого отказа московского правительства от контролированной помощи Европы, с мотивировкою, что прибытие анкетной комиссии опасно для престижа советской власти? Ведь это же именно шулерская откровенность фальшивого банкомета в минуту решительного испытания на «банк с гвоздем»:

— Нет, чтобы колода была прибита гвоздем к столу, на это я не согласен, я так метать не могу; сами посудите: как же я, в подобном разе, подменю ее своею, крапленою?

И вслед за отказом, не прибитая анкетным гвоздем колода «голодной помощи», действительно, была немедленно подменена. Последовали откровенные объявления, что в помощи голодающим роль советского правительства сводится к прокорму своей Красной Армии, своего служебного персонала, своих рабочих. А затем даже и признания, что своих рабочих советское правительство прокормить не в состоянии, — то есть, следовательно, что его благие попечения коснутся только Красной Армии и членов коммунистической партии. Что и требовалось доказать. Да, пожалуй, и доказывать не требовалось, потому что без того все это предвидели и знали.

Как не смущают Нансена эти наглядности, даже не прикрываемые вуалью дипломатической стыдливости? Как не боится он, что даже при самых честных и великодушных намерениях он заносит ногу в трясину политического мошенничества, — пусть им неумышленного, пусть от него не зависящего, но за которое расплачиваться-то своей репутацией пред судом современности и истории придется все-таки

ему, бланконадписателю на большевистских дутых векселях, а никак не самим векселедателям? Потому что историческая репутация этих последних уже давно сделана и определена, и от них никто в Европе здравомыслящий и сохранивший остатки морального чувства ничего доброго и честного и не ожидает. Потому что все хорошо знают, что все условия, договоры, обязательства — для большевиков — не более как клочки писанной бумаги, с которых чернила легко смываются чьею-либо кровью неповинною, а ее проливать — были ли когда-либо в истории Европы большие любители и мастера, чем нынешние друзья-приятели Ф. Нансена? Потому что, наконец, и им, друзьям-приятелям этим, всем в совокупности и каждому порознь, на свою историческую репутацию — «в высокой степени наплевать». Ну, а Нансену — едва ли!

Любопытное дело, право! Большевизм в центральной и господствующей своей идее — торжество коллективной деятельности и ответственности. А между тем с того времени, как он стал выливаться в государственные формы и большую политику, большевики постоянно заняты поисками индивидуальных авторитетов, согласных принимать на себя ответственность за их коллективную работу и успокаивать своею порукою подозрительную и встревоженную бдительность цивилизованного мира. Некоторое время они обходились домашними средствами — поручительством М. Горького. Это был бланконадписатель очень удобный — неразборчивый и почти безотказный. Иногда, правда, он ворчал и ругался, если сумма дружеского векселя была уже слишком велика и сулила взыскание скорое и щекотливое, но, — назвался груздем, полезай в кузов, — подпись свою все-таки давал, хотя, может быть, и скрепя сердце. Бывали даже случаи, когда ему приходилось признавать свою подпись там, где она появлялась без его ведома, а подмахивали ее без дальних церемоний, по собственной надобности и вдохновению: Зиновьев, Евдокимов, Зорин, Красин или — как их

там еще? Такой курьезный и печальный пример из эпохи Колчака рассказывает З.Н. Гиппиус в своем интереснейшем дневнике, который печатает софийско-парижская «Русская мысль». Рассказ точен, а пример — не единственный. Но кредитоспособности Горького достало ненадолго. Большевики быстро ее высосали и обессилили, компрометировали, а других домашних поручителей, кроме Горького, они не нашли. В минуты кратковременной, но полной июльской и августовской растерянности пред грозным чудищем голода, Кремль и Смольный в охоте за моральным бланком решились было поклониться даже ненавистной им интеллигенции. Но последняя оказалась не так глупа, как они рассчитывали, и при всем своем филантропическом рвении и не взирая на патетическую убедительность красноречия тов. Каменева с братией, она с бланком мешкала, ставила условия, требовала гарантий, произносила столь опасные слова, как «общественный контроль», «самоуправление» и даже — о ужас из ужасов! — «свобода печати». Тогда большевики предпочли непокорную бланконадписательницу заточить, в лице нескольких ее простодушных представителей, в Бутырскую тюрьму, а поручителей впредь искать не в «социалистическом отечестве», но за границею. И, так как на ловца и зверь бежит, то вот для первого дебюта, изловили столь матерого северного волка, как Ф. Нансен.

Если бы Англию постиг голод, то во главе борьбы с ним, хотя бы и организованной международно, стоял бы, конечно, англичанин. Германию спасал бы немец, Францию француз, Италию итальянец, Швецию швед, Норвегию норвежец. И не первые встречные англичанин, немец, француз, итальянец, швед, норвежец, но избранные, первостепенные знатоки своей родины, знатоки ее быта, производительности, экономических средств и отношений. Когда от голода погибает Россия, к ней попечителем и целителем приставляют норвежца, который не имеет о ней ни малейшего понятия. Я пом-

ню приезд Нансена в Петроград два года тому назад. Как его ждали, и как разочаровал общество его приезд! Ведь он же тогда ровно ничего не видал, ровно ни с кем не поговорил толком, если не считать обычной профильтрованной компании Максима Горького, ровно ничего не узнал, да, по-видимому, даже и не хотел знать, приехав уже с готовым взглядом на вещи, с предвзятыми определенными намерениями и с глубочайшим равнодушием ко всем возможным неожиданностям, которыми бы действительность вздумала протестовать против его предначертаний. Легкомысленное до преступности изучение Советской России Уэллсом все-таки продолжалось 15 дней; не знаю, сколько времени посвятил ей тогда Нансен, но на нас, петроградцев, его пребывание произвело впечатление какого-то быстролетного метеора: свалился к нам с небес и — не успели мы на него оглянуться, как уже — прощайте! — исчез. Вспоминаю курьезнейшее посещение им пресловутого Дома ученых. Знаменитого полярного гостя авторитетно принимал и должные разъяснения ему давал фактический директор-распорядитель учреждения — тот самый г. Роде, по имени и поведению которого Дом ученых слывет в Петрограде под недвусмысленною кличкою «Родевспомогательного заведения», бывший хозяин загородного кафешантана «Вилла Роде», имевшего, собственно говоря, только то отличие от «веселого дома», что он был очень дорог. Так как «бездна бездну призывает», то вслед за хозяином «Виллы Роде» во главе управления Домом ученых оказались и такие субъекты, как бывший хозяин кафешантана «Аквариум», г. Александров, да еще с своими прислужниками, специально заведовавшими приглашением барышень к гостям. От г. Роде (тоже «друга Горького» и протеже его) «друг Горького» Нансен принял тогда данные о положении людей науки в Петрограде и о благодетельных мерах, заботливо принимаемых к их обеспечению просвещенным советским правительством, вверившим при посредстве М. Горького судь-

бы ученых и литераторов хозяевам публичных домов и их бывшим служащим — «Васькам Красным» разного наименования! Карикатура, какой нарочно не придумать! Много было тогда в разочарованном Петрограде и смеха, и негодования... Сейчас петроградские газеты извещают, что «заведующий Домом ученых арестован за растраты и злоупотребления»... Я предсказывал сей результат Горькому еще более года тому назад.

В тогдашнем своем пребывании Нансен был превосходно обряжен в узду большевизма. Остается ли она на нем еще и теперь? По-видимому, да, потому что Нансен никогда не пропускает случая отметить, какие милые люди большевики и как много он ими доволен. Политические симпатии Нансена — его личное дело, в них ему никто не указчик. Но с подобными симпатиями браться сейчас за спасение России значит заранее осуждать себя на глубокое недоверие и противодействие спасаемой. Потому что, как при царском режиме русские люди терпеть не могли ангелов-хранителей в голубых жандармских мундирах и с презрительною подозрительностью чуждались тех, кто с ними якшался, так теперь они отвращаются от неразборчивых и податливых, которые не брезгуют садиться за один стол с заплечными мастерами из чрезвычаек, льстиво делят с ними «трапезу, мысли и дела» и своим потворством прямо или косвенно помогают им продолжать нескончаемую пытку истерзанной, обезумевшей в страданиях страны.

XII

А.Н. ЧЕБОТАРЕВСКАЯ

Еще трагедия в угрюмом мирке петроградской интеллигенции... Да, мирке... Давно ли мы гордо говорил об ее «мире», а теперь и «мирок»-то — не преувеличение ли? Не

правильнее ли будет, не пора ли уже писать — только — «кружок»?

Смерть и эмиграция сжимают периферию интеллигенции с страшною быстротою... Когда меня спрашивают о петроградских интеллигентских организациях, я только плечами пожимаю: какие же серьезные организации возможны там, где некому и не из чего организоваться? Возьмите комитетские списки наших литературных организаций. Мало ли их? Дом искусств, Дом литераторов, Профессиональный союз писателей, Общество взаимопомощи и пр., и пр. Но ведь все это лишь многократное повторение одних и тех же имен, неизбежных, как смена дня и ночи. Не говорю уже о литературных учреждениях Горького, где, понятное дело, он, как владетельная особа, сидит, окруженный своею свитою всегда в одинаковом составе. Но и в литературных союзах, пытающихся сохранить самостоятельность и самодеятельность, — та же самая ограниченность выбора, по необходимости. В какой комитет, в какую комиссию, в какую коллегию ни заглянитe, это будут А.Ф. Кони, Н.А. Котляревский, А.Л. Волынский, А.В. Ганзен, Е.П. Леткова-Султанова, Е.И. Замятин, А.Н. Бенуа: читай и считай по желанию «туда и обратно», меняются только комбинации и порядок имен, точно тасуются карты в колоде. Иногда в ряд чтимых «икон» вносится некоторое разнообразие именами Сологуба, Немировича-Данченко. «Иконы» тонут в группе так называемых «деловых» имен, которые менее громко известны обществу, но, обыкновенно, они-то, собственно говоря, и представляют деятельную машину литературной организации. Однако и эта группа поразительно однообразна и тоже как бы кочует из этого союза в тот, с одного заседания на другое, из сего собрания в оное и т.д. Были когда-то кочующие полководцы, а теперь кочующие организаторы. Ну, напр<имер>, разве есть возможность подсчитать, судьбу скольких литературных учреждений устрояет хотя бы А.Н. Тихонов, официальный гла-

ва «Всемирной литературы»? Или Н.М. Волковыский, Е.А. Кауфман, Б.О. Харитон, В.Б. Петрищев (брат известного публициста из «Русского богатства»), движущие силы Дома литераторов? Или П.В. Сазонов, кормилец-поилец Дома искусств?..

Словом, сейчас остающийся в Петрограде литератор или даже только при литературе состоящий человек, волею-неволею, делается в организациях, говоря Державинским стихом, — «духом вездесущим и единым». Были такими вездесущими духами А.А. Блок с Н.С. Гумилевым, — даже, пожалуй, в большей, сравнительно с другими, степени, потому что участвовали еще во множестве поэтических «союзов», «клубов», «цехов», «содружеств» и пр., которые в Петрограде, — должно быть, с голодной скуки, — плодятся, как кролики, или даже, пожалуй, «размножаются почкованием». Были... покуда не перевели их обоих и в самом деле в мир духов праведных — одного советский голод, другого — советские пули.

Героиня новой интеллигентской трагедии и новая жертва петроградского литературного измора, Анастасия Николаевна Чеботаревская, на днях покончившая с собою прыжком в Невку с Тучкова моста, была интересным и многозначительным исключением из этого вездесущия. Ее нервное лицо с пылающими готовностью к бою глазами появлялось, правда, на всех предварительных организационных и учредительных собраниях возникавших литературных группировок, но я решительно не помню случая, чтобы она затем вошла хоть в одну. Понятно, за исключением первого опыта с профессиональным писательским союзом, который именно она с своим супругом, Ф.К. Сологубом и основала было в 1918 г. Это предприятие, — увлечение политической и литературной идеалистки — не замедлило кончиться печальным разочарованием. Вокруг мечтателей копошилось и липло к их делу слишком много практиков. Не прошло, кажется, и месяца, как основате-

ли, — председатель Ф.К. Сологуб и А.Н. Чеботаревская, — не выдержали атмосферы просочившегося в их учреждение аферизма и соглашательского подхалимства пред властью предержащею и ушли, сильно хлопнув дверью. А учреждение, ими покинутое, по уходу их быстро превратилось в откровенный притон хищения и легкой спекулятивной наживы, за счет солидно схваченной ссуды и нескольких доверчивых писателей, неосторожно поручивших ему свои интересы. Большевики назначили ревизию, которая дала результаты очень плачевные и унизительные для иных даже довольно крупных имен, вроде хотя бы В.В. Муйжеля, ныне большевикам соподвизающегося. В ревизии этой принимал участие К.А. Лигский, коммунист очень прямолинейно убежденный и усердный, но из недавних, хорошо известный мне по эмиграции 1905 года, когда он еще был эсером. Это человек с образованием, честный, бескорыстный и, — по крайней мере, прежде таков был, — очень уважительно, даже благоговейно относящийся к литературе и ее деятелям. Друг Андрея Белого, внимательный читатель и почитатель русского декаданса, теософ по Штейнеру и художник-любитель символического толка. Как все это укладывается в нем в один короб с правоверным служением воинствующему коммунизму не только за страх, но за совесть, это уж тайна его сложной натуры. Но во всяком случае, К.А. Лигский — один из тех немногих, редких, как белые дрозды, большевиков, о которых нет никакой худой славы даже в озлобленной угнетением буржуазной среде. И вот — я живо вспоминаю, с каким горестным отвращением говорил этот человек о грязи, вскрытой его ревизией. Всего там было — и растрат, и подлогов, и пользования чужим именем в корыстных целях. А один гусь, ранее подвизавшийся на поприще порнографической беллетристики, вообразив себя неуязвимым на почве соглашательства, ухитрился даже экспроприировать, якобы для союза, чужую квартиру и попался на продаже вещей из нее, что

именно и дало толчок к ревизии. Опозоренный союз рухнул, но погубившие его аферисты, благодаря своему политическому соглашательству, не пострадали. Бывший секретарь, а, в сущности, главный заправила союза, после чистосердечного покаяния получил в Черниговской губернии ответственный коммунистический пост, на коем и успокоился благополучно... «Цветы к цветам!» — как сказала королева над прахом утонувшей Офелии, или: «Нежное к нежному!» — как выразился когда-то И.Ф. Горбунов по поводу гораздо менее благоуханного случая, проезжая мимо городских свалок... (NB. Старый союз не следует смешивать с новым, теперь существующим Профессиональным союзом писателей, в котором председательствует А.Л. Волынский. Это учреждение ничего непристойного в себе не заключает; оно просто живой покойник — самого невинного поведения.) Обжегшись на молоке, выучиваются дуть и на воду. Разочарованная в своем союзе, Чеботаревская сделалась страшно подозрительной ко всякому организационному почину среди интеллигенции. Двоясь душою, она, фанатическая жрица писательства, одновременно и пылко желала новой организации, и трепетала мрачным страхом, что новая инициатива лишь откроет дверь для нового соглашательства. А где соглашательство, там, значит, холопский компромисс, — продажное перо, продажный язык, афера, спекуляция, — позор мысли, слова, — позор обожаемой литературы. На всех организационных собраниях она сидела гневною музою предубеждения, с враждебною чуткостью прислушиваясь к текущим речам. И, едва ее напряженную мнительность задевало чье-либо покладистое «с одной стороны надо признаться, с другой нельзя не сознаться», она вскакивала с места и разражалась бурей истерического вопля — почти всегда с одним и тем же заключением:

— Прощайте, мне здесь не место!

И порывисто уходила, иной раз и в самом деле хлопнув дверью так, что стекла дрожали.

К этим ее выходкам привыкли, на них не обращали внимания, к ним относились даже юмористически:

— Очередной скандал Чеботаревской!

А между тем этот «глас вопиющей в пустыне» был истинным голосом уязвленной общественной совести интеллигентного Петрограда, — той цельной совести, которая не знает серого компромисса между черным и белым и не только не согласна, «стиснув зубы и зажмурив глаза, принять от жизни то, что она предлагает», но не хочет и глаза закрывать, и зубы стискивать. Потому что со стиснутыми зубами человек только мычать в состоянии, а совесть Чеботаревской требовала слова и крика... Это была пророчица обличения, неумолимого и к другим, и к самой себе.

Допускаю, что ее крик был не всегда уместен, что, увлекаясь в своей мнительности почти до мании преследования, она иногда наносила незаслуженные оскорбления лицам, повинным не делом и помышлением, а разве лишь неудачным оборотом речи или выбором слова. Но зато сколько же масок было ею сорвано с настоящих лицемеров, под сколькими взятыми напрокат овечьими шкурами она обнаружила волчьи зубы и лисьи хвосты!..

И хотя, разоблаченные, пожимая плечами, говорили:

— Чеботаревская невозможна... Ну разве можно считаться с Чеботаревской?

Однако, по существу, они не только считались с нею, но и боялись Чеботаревской. Как безобразный человек боится заглянуть в зеркало, которое, хоть ты что, а показывает ему «кривую рожу»... Боялись и ненавидели... И теперь, вероятно, очень рады — многие, многие рады, что неумытное зеркало разбилось...

Она и сама умела ненавидеть. Бояться — нет, не умела, но ненавидела хорошо. Оправдывала собою старое пылкое слово: «Кто не умеет ненавидеть, тот не научится любить». И в ненависти не знала снисхождения, смягчающих вину

обстоятельств. Не знаю, распространялось ли это правило на отношения ее частной жизни, я не был настолько близко знаком с нею. Но в своих ненавистях политического и общественного порядка она была женщиною беспощадного суда, а язык имела быстрый, острый, слово меткое, впивающееся...

«У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает». Ф.К. Сологуб утратил в Анастасии Николаевне беспредельно преданное, любимое и любящее существо. М. Горький потерял в Чеботаревской, вероятно, самого ожесточенного, прямолинейного и откровенного из всех своих врагов. Тут не было личного чувства. Правда, когда-то Горький задел ее и Ф.К. Сологуба грубою пародией, но — «мы это давно простили», — сказала мне Анастасия Николаевна в первой же нашей беседе, из которой только и узнал я, что была такая пародия, оскорбительная для семейных отношений писательской четы. И она говорила правду, что простила, потому что — умела же она беззлобно относиться к другим пародистам, изощрявшим свое остроумие на эротических странностях в романах Ф.К. Сологуба или даже на галлицизмах в ее слоге. «Даже» — потому что к критике она, сама критик, была очень неравнодушна: по-женски радовалась похвалам, по-женски обижалась поправками и порицанием. Нет, она ненавидела Горького исключительно политически, как зыбкий и двусмысленный символ соглашательской двойственности, как первопочин и главный орган «оподления русской интеллигенции», по выражению Д.С. Мережковского, из-за которого у нас с Анастасией Николаевной однажды вышел спор. Я находил, что Мережковский в своих суждениях о Горьком, уж слишком «выражается». А она, бледная, стиснув руки, и с глазами, как свечи, упрямо твердила:

— Что вы говорите! Когда вы перестанете этого обманщика жалеть? Разве о нем можно «слишком выразиться»!

Когда ей стала известна моя речь на банкете Уэллса, она мне прислала восторженное письмо, доставившее немало

труда моим бедным глазам, потому что почерк у Анастасии Николаевны был ужасный... А при встрече подошла ко мне, сияющая язвительною удовлетворенностью оправданного гнева.

— Что? хорош *ваш* Горький? показал он вам себя? Разве не обер-полицеймейстер с бригадою городовых?

Но вскоре затем получил я от нее за него же послание весьма ругательное. В то время в Питере ходила по рукам моя статья «Ленин и Горький», написанная несколько раньше по поводу пресловутого гимна, воспетого Горьким главе коммунистической России, в котором Ленин был превознесен выше Петра Великого, объявлялся «святым», утверждался в праве производить над Россией «эксперименты в планетарных размерах» и пр., и пр. Дифирамбом этим общество было возмущено во всех своих слоях и группах. Даже коммунисты признавали сконфуженно, что Горький пересолил в усердии. Пожалуй, никогда еще он не наносил своей репутации более жестокого и опасного удара. Меня от сладкого песнопения этого только что не стошнило. Три года перед тем я не писал ни единой публицистической строки, а тут не выдержал, взялся за перо. Но вместо того чтобы метать безвредные громы патетического негодования, я подошел к гимну Горького с другой стороны, которую он, по публицистической неумелости своей, обнаружил очень широко и комично. Дело в том, что статья Горького возмущает своим беспримерно льстивым тоном и безграничным гиперболизмом похвал только до тех пор, пока читатель уверен, что Горький, славословит Ленина серьезно. Но попробуйте допустить, будто он пишет свой акафист с затаенною лукавою целью пародии — и вы удивитесь, в какую смешную и нелепую гримасу мгновенно искажается тогда глубокомысленно-важная физиономия этого курьезного произведения. «Гениальный», «честнейший», «добрейший», «святой» Ленин в напыщенных хвалах Горького неожиданно карикатурно ока-

зывается таким круглым дураком, таким самодовольным невеждою, таким бессердечным лицемером и негодяем, что, право же, даже мы, его противники, гораздо лучшего о нем мнения. С этим полукомическим подходом я и написал свою довольно обширную и подробную статью. Распространенная в множестве списков, она, что называется, попала в точку: много читалась и имела успех. Только не у Анастасии Николаевны Чеботаревской. Ей было мало. В гневном письме своем она укоряла меня за «мягкость» и «добродушие».

— Вы иронизируете там, где надо бить дубиной по темени! Вы разговариваете с ними, как с порядочными людьми, тогда как они...

Следовали эпитеты...

Каково же было женщине столь великого гнева и яркого темперамента терпеть неволю в клетке русского большевизма! Возможность уйти из клетки на свободу была единственной милостью, которую А.Н. Чеботаревская согласилась бы принять от большевиков (как презрительно заявил этим последним то же самое знаменитый И.П. Павлов). Но все шаги, сделанные в этом направлении Ф.К. Сологубом и ею, остались безрезультатными. Их только водили за нос притворными обещаниями и никуда не выпускали, кроме Костромы, где у них сохранилось воспоминание о какой-то недвижимой собственности... Нелегально же бежать Анастасия Николаевна, по некоторым соображениям, не хотела.

А следовало. Потому что уже весной было ясно, что ей не выдержать далее переполняющего ее негодования против угнетателей и презрения к бессилию угнетенных. Что в вечном буйстве потерявшей равновесие, оскорбленной и безнадежной женской души она должна либо с ума сойти, либо совершить какой-нибудь отчаянный террористический акт, либо — кончить тем, чем кончила... Метнулась буйная птица в железной клетке — и разбила голову

о проволоку. Плюнула смертью своею в глаза и тюремщикам, и льстецам их, и приемлющим без борьбы и спора холопство у них, — и в холодной Невке обрела свободу, в которой отказала ей попранная коммунистическими олигархами почва раба Петрограда...

XIII

ПЕТРОГРАДСКИЕ МОРИЛЬНИ

Неужели я покинул Петроград только для того, чтобы сделаться плакальщицей по оставшимся там друзьям и добрым знакомым, об очередной гибели которых ежедневно приходят траурные вести?

Только что успел я рассказать о нелепом аресте Натальи Алексеевны Сувориной, а в пришедшем вчера «Новом времени» — уже известие о кончине ее в больнице женской тюрьмы! Так как известие исходит из органа, редакция которого родственно связана с Н.А., то едва ли оно ошибочно. Да, когда я уезжал из Петрограда, то Н.А., действительно, лежала в тюремной больнице, постигнутая обычным недугом Крестов, где она отбывала свой срок принудительных работ, — дизентерией. Болела она тяжело, но была надежда, что молодой могучий организм выдержит и девушка оправится.

Нет, не выдержал и не оправилась...

За что погибло это молодое прекрасное существо, не успевшее даже прикоснуться устами к чаше жизни? Ведь ей, помнится, еще и двадцати лет не было!..

Белокурая красавица, похожая на юную Валькирию, богато одаренная природою, — и прекрасный голос, и большие художественные способности, — хочешь, открыта широкая дорога в оперу, не хочешь, обещают блестящую будущность кисть и палитра.

Никакой политикой она не занималась, ни в какой политике не была повинна. Отлично образованная, обладающая прекрасным знанием иностранных языков, служила на нейтральной должности — переводчицею в «Роста» (Р<оссийское> тел<еграфное> агентство), где получается много иностранных газет и журналов. При обыске у одного знакомого Сувориной найден был старый номер «Times»'а — преступление, которое, глядя по настроению и усмотрению заведывающего обыском, может быть объявлено ужасно тяжким, а может быть и вовсе не вменено в вину. При последнем обыске у меня чекисты перевернули вверх дном всю квартиру, перетрясли каждую книжку в библиотеке, перелистовали все рукописи, рылись в сорных корзинах и т.д., но не обратили никакого внимания на сложенные на подоконнике кипы «Corriere della sera», «Matin», «Times», «Giorn. d'Italia». Знакомому Сувориной, к ее несчастию, достался на долю обыскиватель другого характера. На допросе знакомый струсил и показал, что «Times»'ом его снабдила Суворина. Чекисты обрадовались — не замедлили взяться за нее. Произведенный в ее квартире обыск не обнаружил решительно ничего подозрительного, и, не будь она Суворина, вероятно, даже ЧК оставила бы ее в покое, но от арестованной с такою подозрительной фамилией было жаль отступиться так легко. И вот ей «инкриминируют» сношения с заграницею (с «агентами Антанты»), причем вещественным доказательством выставляют... парижские модные картинки! Их Н.А., действительно, забирала из «Роста», с разрешения своего начальства, никак не подозревая, что тем совершает преступление, которое приведет ее к счетам с Чрезвычайкою, а потом к тюрьме, больнице и могиле!.. Ее присудили к 6 месяцам принудительных работ. В обыкновенном порядке советской карательной практики это не страшный приговор. Какое-либо ведомство, заинтересованное в судьбе приговоренного, требует его к себе на работу, как «спеца», и тогда для него соз-

дается положение полусвободы, причем иные получают даже возможность жить дома либо, во всяком случае, навещать своих домашних. Если бы Н.А. не была Сувориной, устроилось бы, конечно, точно так же и с нею. Но она была внучка создателя «Нового времени», она племянница нынешних его белградских редакторов, она — дочь редактора «Руси». Как же было на отпрыске столь ненавистного родословного древа не явить всей строгости советского правосудия? Месть так уж месть до седьмого колена!.. И вот — томили девушку в «злой яме» Крестов до тех пор, пока не настигла ее роковая зараза, от которой удается увернуться разве 10 процентам тюремного населения.

Помню я, слишком хорошо помню этот ужас наших мартовских дней в заключении на Шпалерной, когда взрослые люди бледнели при малейшем колотье в желудке, при малейшем расстройстве пищеварения: никак уже готово? начинается?.. В течение всей весны и всего лета дизентерия занимала в городе вакантное место ослабевшей холеры и косила Петроград вряд ли с меньшею лютостью, чем эта последняя. Бывало, приходишь в знакомый дом, стучишь — не отпирают; наконец, чей-нибудь слабый голос отзывается:

— Толкайте сильнее, не заперто…

Входишь — вся семья лежит в постелях, — от старого до малого.

— Что с вами?

— Она…

А суток через трое-четверо, глядишь, на которой-нибудь постели — уже покойник...

И была она разнообразна, словно играла-забавлялась людьми. Одного томила долгими неделями, а другого уничтожала чуть не молниеносно. Часто люди, ослабевшие до последнего истощения, приговореные врачами к неминуемой и скорой смерти, вдруг каким-то чудом обманывали медицину и выздоравливали, тогда как сильный, здоровый

организм, которому, по видимости казалось, износа не было и болезнь он принимал с легкостью чуть не насморка, внезапно разрушался в два-три дня. В таких случаях говорили, что «дизентерия бросилась на сердце», хотя — что обозначала эта патологическая бессмыслица, никто не понимал... Вероятно, — что, надорванные чудовищными лишениями, переутомлением в непосильном труде и вечным трепетом гнева, скорби и страха, сердца не выдерживали быстрого ослабления чрез болезненно ускоренный обмен веществ...

Лекарств в городе не было никаких. За касторкой надо было метаться целыми днями из аптеки аптеку и, когда где-нибудь на другом конце города обретали наконец это редкостное сокровище, то, очень часто, драгоценный пузырек заставал заждавшегося больного уже в бессознательном состоянии, с атрофией кишок. Коньяк — запретный клад, который добывать надо под риском тюрьмы, а то, не ровен час, и расстрела. Яичный белок... а есть ли яйца на рынке, да, если и найдутся, то есть ли в кармане 1200 рублей — за штуку? Нужна постоянная смена горячих припарок, а на чем их греть, коли печь не топится, за полным отсутствием дров, а «буржуйки» на щепках достает на двадцать минут? Нужны согревающие компрессы, а клеенка где?..

Помню я сцену на пристани Невского пароходства. Они облеплены плакатами и добрыми гигиеническими советами:

— Не пейте сырой воды! В городе тиф!

— Не пейте сырого молока! В городе холера!

— Убивайте мух! — и т.д.

Ах, как же злобно издевались над этими увещеваниями поджидавшие пароходики пролетарки, — «домашние хозяйки»!

— Не пьем, товарищ, сырого молока, — слушаем вашего умного приказания, не пьем! Как его нам пить, когда оно — 3500 за бутылку?

— А вот насчет сырой воды — это уж извините: коли в семье семь ртов, так не спекулянтка я, чтобы день-деньской их кипятком поить...

— Хотите, чтобы мы сырой воды не пили, давайте дров, чтобы воду кипятить.

— Бейте мух... ишь что выдумали!.. сами бейте, коли у вас времени много и больше делать нечего... А мы в работе, как в адской смоле, с утра до вечера кипим.

— Ребятам поручить, — пусть бы били. Да вон у меня меньшенький — до того ослабевши, что, пожалуй, уже и мухи не убьет.

Полное отсутствие средств хотя бы самой примитивной гигиены приводило в уныние даже совсем здоровых... И уныние превращалось в отчаяние, когда в семье оказывался серьезный больной... Ну что с ним делать? Отправить в больницу? Да ведь это же все равно, что прямо на кладбище. Потому что в больнице — та же беспомощность средств, что и дома, да еще и уход служебный — формальный, холодный, без семейной любви и ласки, которыми бодрятся хоть моральные-то силы больного, если уж нечем поддерживать физические. Формальный и холодный теперь более, чем когда-либо раньше в официальных лечебных убежищах, потому что сознательно лишенный какой-либо надежды на успех. И врачи, и сестры, до последней сиделки, знают хорошо, что они бессильны перед недугами своих пациентов — не могут ни помочь больному, ни даже хоть облегчить страдания (большинство операций делалось без хлороформа!) и, следовательно, лишь обманывают и его, и себя лишенною целесообразности, безоружною, мнимонаучною канителью. Уход людей, в отчаянии махнувших рукою на свое дело, зная, что оно не может быть выполнено добросовестно, и уже привыкших валить его через пень да колоду. Потому что вся надежда петроградского медика теперь — только на природу, которая авось поможет — скорее вопреки лечению, чем с его помо-

щью. А иначе — quod natura non sanat, mors sanat*. Смертность в больницах была чудовищная. К ним даже в интеллигентном населении появился чисто мужицкий страх:

— Морильни!..

Тем более, что в большинстве их больные жестоко голодали. Поэтому всякое внезапное заболевание вносило в семью смятение прямо-таки катастрофическое. Не знаешь, что делать с больным. Если случай не имеет тяжкой видимости, то не вызывать же «Скорую помощь», которая увезет заболевшего из семьи на более чем сомнительное попечение государства, в больницу-морильню. А для определения серьезности болезни — подите-ка вы, поищите в нынешнем Петрограде эту иголку в сене, называемую врачом! Зарегистрированные правительством врачи состоят по своим районам, при определенных учреждениях и завалены казенною обязательною практикою, сквозь которую к ним надо добираться долгими очередями — вроде как у продовольственной лавки в день пайковой выдачи. А частная практика воспрещена. Она — преступление, вроде свободного преподавания и еще недавно свободной торговли. Бывает и так, что, радостно вспомнив о бытии знакомого врача, вы летите к нему, застаете его дома, но он отмахивается обеими руками:

— Что вы! что вы! какой я врач! никогда и не думал о медицине! Посмотрите мою трудовую книжку: служу по Наркомпроду и т.д.

Или Совнархозу, Компроду и т.д.

Эти бегство и прятки врачей от своего врачебного звания обусловливаются распространением на их сословие того же крепостного состояния, которому подвержены в Советской России все нужные правительству «спецы». Медицина, как свободная профессия, не существует более в России. Каждый, однажды зарегистрированный врач теряет свободу дей-

* Если природа не лечит, вылечит смерть (*лат.*).

ствия, времени и места. Он ежеминутно может быть мобилизован по какой-либо новой внезапной потребности государства, с предписанием отправиться немедленно за тридевять земель в тридесятое царство, куда-нибудь в глухое захолустье «Татарской республики» либо на один из вечно возникающих и ликвидируемых, чтобы вновь возникнуть, фронтов. За уклонение — быстрый арест со всеми последствиями взыскания «по законам революционного времени»... Чтобы избегнуть крепостной зависимости, довольно верное средство — припрятать подальше до лучшей поры свой медицинский диплом и заявить в райком какую-нибудь другую профессию, не подвергающуюся регистрациям в порядке мобилизационного требования. Что и делают многие. А так как подобная утайка документов не лишает врача ни его знаний, ни его авторитета в прежней клиентуре, то, продолжая работать подпольно и контрабандою, он не терпит большого ущерба и в своей практике. Конечно, лишь постольку, поскольку она вообще в состоянии быть источником дохода в полуразрушенной столице, где и врач, и пациент — оба, одинаково ограбленные правительством, нищие... Я знаю нескольких врачей, которых эта контрабандная практика вместо того чтобы обогащать, разоряет, потому что их сострадательные души не выдерживают раздирающего зрелища поголовной нищеты своих больных, и, чем бы им от пациентов кормиться, они из последних сил тянутся, чтобы пациентов кормить...

Там, где настоящее знание должно спрятаться в подполье, выползает, наоборот, из подполья и забирает силу знание ложное. Кажется, никогда еще Петроград не был так богат знахарями, знахарками, магнетизерами и гипнотизерами, китайскими и бурятскими медиками и т.п. эмпириками врачевания — по вдохновению и по шарлатанству. Так как они научного ценза не имеют, то и врачебной регистрации не подлежат. Так как на них, как на врачей, не смотрят, то поэтому и запрещение частной врачебной практики их не каса-

ется. И, в конце концов, они оказываются в положении весьма выгодного иммунитета. Прибавьте к этому, что мучительные годы всеобщего несчастья вызвали в петроградском населении весьма значительный рост мистических настроений и устремлений, всегда более склонных к медицине тайной, чем к научной. Поэтому в то время как настоящий врач в Петрограде, за самыми незначительными исключениями, либо задавленный крепостною барщиною советский раб, либо умирающий с голода нищий, либо ежечасно рискующий своею шкурою контрабандист собственного знания, — врачи-самозванцы катаются... сказал бы я, как сыр в масле, если бы петроградцы еще помнили, какой это бывает сыр, и не слишком бы уж дорого обходилась им (по 28—30 000 за фунт) память о том, что такое масло!

XIV

ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ-ЭМИГРАНТУ

Я получил очень интересное письмо от читателя-эмигранта, который рекомендуется «мужиком Черниговской губернии, лет 20-ти». Пишет он: «В своей статье от 25-IX в «Н.Р.Ж.» Вы жалете о тех, что ждут лучшего, теряют жданки и берут от жизни то, что она может дать при Совдепии, вообще делают по-совдепски. Но стоит ли жалеть? не вечно ли так будет в России? Действительно ли та барышня имела бы потом возможность лучше устроиться? Я мало читаю газет, но и в них ничего нет дающего надежду на перемену в России. Пишут, перемена будет даже скоро; этому верю; но не вижу ничего, что могло бы очистить Россию от палачей, не понимаю, от кого и когда мы дождемся лучшего; кто и как об этом заботится, и кажется, что все корреспонденты врут, зарабатывая этим деньгу. Вы жалеете о тех, что

теряют жданки, значит, на что-то надеетесь, знаете больше моего... Прочитать ваше письмо, в котором вы написали бы, на кого или на что надеетесь и как скоро Ваши надежды осуществятся, было бы первым и единственным удовольствием за последние годы. Я, конечно, не имею желания быть в Совдепии, но если бы я мог вместе с Вами жалеть о барышне, сделавшей по-совдепски, и, следовательно, знал, на что надеяться. А то живешь среди финнов, не понимая ни слова, работаешь, как вол, и удивляешься, для чего живешь. Получу ли я свою долю того, что полагается 20-летнему, или же вечно так будет? увижу ли свою Украину или ее уж нет, а есть только Финляндия со своими елями да камнями, да Совдепия, из которой все путное бежит, не оглядываясь? А для этого, ей-Богу, нет смысла жить, помня о прошлом...»

Драма, затаенная в строках этого письма, представляется мне, по впечатлениям нескольких встреч в Териоках, Выборге и Гельсингфорсе, не единичною, но групповою. Поэтому вместо письменного ответа, которого желает и ждет мой корреспондент, я предпочитаю, — и, надеюсь, он на это не посетует, — ответить печатно.

«Многоуважаемый Н.З.!

Петроградский случай, подавший Вам повод писать ко мне, я рассказал — к сведению тех раздробившихся сил русской эмиграции, которые вместо того чтобы соединиться всем вместе для спасения и возрождения своей родины, теряют время и энергию на партийные счеты, споры, раздоры и расколы, на интриги с тою или другою иностранною дипломатией, на игрушки безвлиятельных и безрезультатных фракционных съездов, никчемных резолюций, никем не приемлемых и даже не внимаемых манифестов и т.п. А между тем рукой подать от нас — бьется в предсмертной агонии, задыхается в петле, удавленный олигархической тиранией,

великий русский город. Бессильный уже сам спасти себя изнутри, он еще не потерял надежду быть спасенным извне: что просунется откуда-то чья-то благодетельная рука и сорвет с его шеи губительную веревку, вовсе уничтожив большевиков, или, по крайней мере, ослабит петлю: обывательская мечта-компромисс о портофранко с иностранным кварталом, где будет иностранная милиция, иностранная юрисдикция и т.д. Мечта, увы, превращающая Петроград в какие-то старотурецкие Салоники, но что же делать? Дожили до того, что должны еще вот и этак — «по одежке протягивать ножки», да еще и с трепетным вожделением:

— Ах, когда бы сбылось! Неужели, неужели не сбудется? Неужели не будет у нас наводить порядок английский полисмен, немецкий шутцман, французский сержан де виль, итальянский карабиньер?!

Спасение извне — единственное упование Петрограда. Если оно не придет и не придет скоро, бывшей русской столице, во всех классах ее населения, остается именно «жданки потерять» и приять смерть — на выбор — физическую или моральную. Либо с места в реку, как покончила с собою несчастная, страшно символическая А.Н. Чеботаревская, либо — к яслям большевизма, тупо примиряясь с ярмом, приемля все его рабские последствия, безжалостно унизительные для человеческого достоинства, низводящие население на положение двуногой скотины, над которою беспрестанно вьется в воздухе кнут пастуха глупого, но бдительного и свирепого, как даже не стоглазый, а тысячеглазый Аргус. Пусть ясли большевизма пусты либо наполнены несъедобною дрянью, — все равно: приближение к ним спасает двуногую скотину от повторных ударов страшного кнута, — для измученной переутомлением и хроническим испугом слабой души уже и то отдых. О, если бы вы знали, какими малыми улучшениями своего быта не только довольствуется — счастливится теперь петроградский обыватель! за какую жалкую горсточку

чечевицы (часто даже не в переносном, а в буквальном смысле) вынужден он продавать свою честь и совесть! Как он выучился радоваться своим мизерным удачам в этом ужасном торге, до того постоянном и привычном, что в холопское существо его уже не вникают, процесса его не замечают...

Когда-то в Калужской губернии слышал я народный анекдот-притчу. Очень бедовал нищий и многосемейный мужик в тесной, черной, курной хате. Наконец, терпения не стало — пошел к попу просить совета, что сделать, чтобы жилось лучше. Священник выслушал и говорит:

— Есть у тебя поросенок?

— Есть, батюшка.

— Возьми его в избу, он принесет тебе счастье, начнешь жить лучше.

Послушался мужик, взял поросенка в хату... Нет, стало от поросенка в хате еще гаже... Опять отправился мужик к попу с жалобою — и получил новый совет:

— Видно, поросенка тебе мало, возьми в избу свою корову.

Почесал в затылке мужик, но... батюшке лучше знать, откуда приходит счастье!.. Поставил корову в хату. Была тесна, а теперь стало в ней — уж и вовсе не повернуться; была грязна, а теперь — семья по колено в навозе вязнет... Вновь закланялся мужик попу:

— Батюшка, моченьки моей больше нету...

— Как? И корова не помогла? Нечего делать, остается тебе поставить в хату еще и лошадь...

Взвыл мужик, но повиновался. Лошадь в избе и сама едва уместилась, с коровою и поросенком, и мужиковых детей мало-мало не передавила...

— Батюшка! да что же это за ад такой? Когда же хоть сколько-то-нибудь лучше будет?

Усмехнулся священник и говорит:

— Убери поросенка в хлев, а через три дня придешь мне сказать, как живется, хуже или лучше.

Пришел мужик в назначенный срок.

— Что скажешь?

— Да что, батюшка... ведь в самом деле, как будто маленько получше.

— Ага, свет! Ну, теперь выведи в хлев корову...

Прибежал с новым докладом мужик — уже много светлее лицом.

— Ну, как?

— Ах, батюшка, с намеднишним и сравнить нельзя: куда же просторней и чище...

— Вот видишь, я тебе говорил, — теперь можешь убрать и лошадь...

На этот раз батюшка сам отправился проведать мужика. А тот его встречает, веселый, чуть не пляшет...

— Э, свет! да никак ты поправился и хорошо зажил?

— Батюшка! не жизнь, а светлый рай!!!...

В том вот тоже и проходила, и проходит наша жизнь петроградская. В ней, как в хате этого калужского мужика, четыре года свинство громоздилось на свинство, и, когда какое-либо малое свинство случайно отпадало, обыватель уже облегченно вздыхал:

— Ну, что ж? Все-таки жить еще можно... не вовсе подыхаем...

А когда каким-нибудь экстренным пайком, неожиданною подачкою, присылом из за границы, спекуляцией, продажею последних ценных вещей парализовались на некоторый срок накопившиеся свинства большого калибра, обыватель ходил уже почти веселый и, право, был иногда недалек от того, чтобы аттестовать свое существование вновь обртенным светлым раем... Хотя «хата» его была по-прежнему черна, грязна, тесна, смрадна и больше напоминала звериную вонючую берлогу, чем жилье человеческое.

Это рабское низведение потребностей к нулю, это принижающее примирение с вынужденным свинством (физичес-

ким и моральным, свинством тела и свинством духа) — большой успех большевиков и огромная общественная опасность. Разве в том беда моей знакомой барышни, что она вышла замуж не в своем сословии, а за сына своей бывшей няньки? Я на своем веку много интересовался смешанным, междусословным браком, обрабатывал свои наблюдения над ним и в рассказы, и в повести, и в романы. Видал весьма неуклюжие его примеры, видал и такие счастливые, на которые любая сословная пара могла бы только с завистью глядеть да поучаться. Совсем не в том дело, что аристократическая невеста досталась демократическому жениху, а в том, *как* она досталась... «Между прочим», и — «знаете, когда в одной комнате...» Вот он — цинический ужас-то бытового примирения с советчиной «теряющих жданки» слабцов, вот она — гибель разложения, приемлющего от жизни то, что она дает, и считающего за рай, если в его хате нет поросенка, коровы и лошади, а есть только неотмывная грязь, черная копоть и поганая теснота человеческой нищеты. Опять и опять подчеркиваю: нищеты и тела, и духа.

Да, это большая опасность и против нее я, как человек, только что вырвавшийся из Совдепии, громко, во весь голос предупреждаю всех, кто еще надеется оживить мертвую на три четверти Россию. Страшен и широк захват соглашения с жизнью на условии примирения со свинством, ибо конца краю нет рабам, переутомленным до отчаяния, до одурения, но все же сохраняющим еще «сладкую привычку к жизни» и не способным ни оборвать ее, как Чеботаревская, ни найти из рабства выход к свободе... *)

Ведь вот и в Вашем, Н.З., хорошем, искреннем письме сквозит уже переутомление ожиданием и почти равнодушие — равнодушие неверия — к процессу затянувшейся борьбы. Вы тоже человек, «теряющий жданки». А ведь

*) Все оправдалось в «сменовеховщине»! 1922.VI.

Вам только 20 лет и Вы принадлежите, скажу даже — имеете счастье принадлежать к классу, на который теперь более всего возлагается надежд и которому, бесспорно, принадлежит решающий голос в дальнейших судьбах России — стране крестьянской по преимуществу.

Да ведь и теперь уже из народных элементов, остающихся внутри страны, только одно крестьянство и борется с большевиками активно, частию бессознательно, а частию и вполне сознательно работая на идею нового грядущего «мужицкого царства». Местные движения крестьянства грубо прямолинейны и неразборчиво истребительны; в них смутно брезжит идея, но нет ясно намеченного идеала; они угасают с такою же легкостью, как вспыхивают, когда красные курсанты заливают их пожары кровью сел и деревень, без разбора бунтарей и покорных. Но это — неумирающая гидра, которая на месте каждой своей отрубленной головы выращивает десяток новых. Слыхали ли вы, что творится, вот уже с февраля, в Тамбовской губернии и смежных с нею уездах Пензенской, Саратовской, Воронежской? А Ваша родная Черниговская губ<ерния>, где коммунисты не смеют носа высунуть за черту городов, потому что деревня объявила город большевиком, сторожит его, как злейшего врага, и при каждой его попытке к вторжению в нее уничтожает его беспощадно.

Не унывайте. Я и не люблю, и не берусь пророчествовать, ниже — прописывать целебные рецепты, не изучив средств аптеки, — не решусь на это и теперь. Но я знаю, видел, испытал, уверен, что власть большевиков изжила себя до состояния насквозь прогнившего яблока, которое держится на ветке только до первого внешнего толчка. Будет этот толчок, яблоко оборвется скоро и, плюхнув оземь, расползется так, что от него только мокренько останется. Не будет толчка, — оно еще повисит, но — все равно, уже никогда не выправится и не оздоровеет, а по-

кончится, мало-помалу, само собою, засохнув и съежившись в ту «подпольную» коммунистическую партию, о которой Кремль подумывал уже в конце прошлого июля. Как одно время в Петрограде острили: «Были Совдепы, Совнархозы, Совнаркомы... а потом будет — Sauve-qui-peut... * Спасайся, кто может!

Для ответа, кто именно даст внешний толчок, я еще слишком недавно за границею, немногих видел, мало слышал. Вот пригляжусь, прислушаюсь, вникну ближе, тогда и выработаю свое мнение и выскажу его. А покуда желаю Вам и всем товарищам Вашим по молодой тоске и сомнениям — здоровья, терпенья и веры в будущее. Верьте мне: как бы ни скверно было Вам сейчас, самая пакостная свобода лучше коммунистического рабства. Это пишет Вам не 20-летний юноша, у которого впереди полвека жизни — огромный срок, чтобы наверстать все молодые утраты и днем жизни вознаградить себя за ее испорченное утро, — но старик, который для того, чтобы вырваться из советской неволи, решился, на 60 году, что называется раздеть себя и семью свою до последней нитки и нагим броситься в позднюю грозную авантюру нового устройства трудовой жизни... Лишь бы не с ними, лишь бы на свободе, пусть в каком угодно «здесь», лишь бы не «там»!.. «Камни и ели Финляндии...» Ну, знаете: как просидел я четыре года, глядя на помойную яму посередь нашего двора, которая, из года в год расширяясь и переполняясь, наконец, и весь двор обратила в помойную яму, да как поездил я на казенных советских автомобилях от этого прелестного вида к еще прелестнейшему — из-за решетчатых окон Шпалерной, 25, то «камни и ели Финляндии», обвеянные воздухом свободного гражданства, представляются мне сказочными красавцами...

---

* Спасайся, кто может... (*фр.*).

XV

«СМЕЮЩЕЕСЯ ГОРЕ»*)

Литературный предок наш, основатель русского сентиментализма, Н.М. Карамзин был человек грустный и к меланхолии склонный. Однако и он однажды посоветовал:

Ах, не все ж нам токи слезные
Лить о горестях существенных,
На мгновенье позабудемся
В чарованье красных вымыслов...

«Я, ваше высокородие, человек легкий», — рекомендуется несчастный портной Гришка в одном из самых трагических рассказов Салтыкова-Щедрина, «кабы не легкость моя, кажись, мне и дня не прожить бы!»

Этот полудикий Гришка и культурнейший западник Карамзин подают друг другу руки на расстоянии ста лет, ибо «чарованье красных вымыслов» одного и «легкость» другого суть, в существе своем, одно и то же и выражают важную, основную черту русского характера, в которой и наше счастье, и наше несчастье. Несчастье потому, что легкость характера и чарованье красных вымыслов слишком часто и беззаботно заслоняют от нас горести существенные, и мы забываем о них, отставляем их на задний план, отсрочиваем на завтра деятельную борьбу с ними. А они тем временем успевают разрастись и накопиться в таком количестве и в такой силе, что бедному Гришке, при всем его легком характере, не остается ничего другого, как взобраться на колокольню повыше, да, перекрестясь, броситься с нее головою вниз. Счастье — потому, что без легкости характера, без уменья

*) Речь, произнесенная на русском вечере в помощь голодающим в Праге 22 ноября 1921 года.

«в горе жить — не кручинну быть», русский народ не вышел бы целым из испытаний своей угрюмой тысячелетней истории, не перенес бы ни татарщины, ни царей-террористов по системе Ивана Грозного и Петра Великого, ни Смутного времени, ни Бирона, ни Аракчеева, ни теперешнего ужаса своей жизни — владычества мнимокоммунистической олигархии большевиков...

Я прихожу к вам, господа, из юдоли безграничного горя, невыразимой скорби. Такой, что там уже и слезы не льются, — «токи слезные» иссякли и высохли. Живут люди в отчаянии, со дня на день, в тщетном ожидании спасительной перемены своих судеб и, как говорится, «ждали мы ждали, да и жданки потеряли». И одни, послабее духом, сдаются царюющему злу на капитуляцию, — «зажмурив глаза и стиснув зубы, берут от жизни то, что она предлагает»; другие более сильные и стойкие, быстро поднимаются по лестнице на Гришкину колокольню и уже — с вожделением — заглядывают за перила ее...

Но, так как «легкий человек» Гришка, наверное, даже у роковых перил этих стоя, еще ухмыльнулся — хотя бы при мысли, сколько беспокойства доставит он завтра полиции, которая должна будет запротоколить происшествие и убрать его труп, — то и наша юдоль петроградская, хоть и при последнем издыхании, но складывает иссохшие губы свои в улыбку, — смеется и острит. Умирание не прекращает народного юмора, не унимает предсмертной сатиры, метко подхватывающей все неудачи, промахи, пробелы в режиме господствующей тирании. Крылатая молва заменяет печать, и неизвестно как, когда и кем брошенное острое словцо, злая эпиграмма, из уст в уста, быстро облетает весь город и, в множестве вариантов, ложится в память обывателей.

Моральное разложение коммунистической партии ужаснуло ее самое. Началась пресловутая чистка коммунистов. «Легкий характером», Гришка-Петроград немедленно изобразил ее следующим «красным вымыслом».

Один из иностранных гостей (может быть, Уэллс, может быть, Нансен) задает В.И. Ленину-Ульянову вопрос:

— Скажите, товарищ Ленин, сколько, по-вашему, настоящих коммунистов в России?

Ленин долго думает, считает по пальцам, затем мрачно изрекает:

— Три.

— Как? только три?

— Три. Настоящих только три.

— Кто же такие?

— Один — Ленин, другой — Ульянов, третий — я!..

Ненависть к Троцкому создала другой популярный анекдот.

Главнокомандующий Троцкий ревизует какую-то провинциальную часть. Страшно устал. Ложится спать, наказав ординарцу обязательно разбудить его в 6 часов утра. Ординарец был не из его обычной свиты, а прикомандированный к нему частью, из новеньких. Когда наступил условленный час, он спохватился, что не знает, в каких именно выражениях должен он будить спящего главнокомандующего.

— По-нынешнему: «Вставайте, товарищ Троцкий!» — фамильярно для такой особы, пожалуй, обидится... Махнуть по-старому: «Ваше высокопревосходительство, извольте вставать!» — невозможно! контрреволюция! еще угодишь в ЧК!

Однако думал-думал — и надумался.

Почтительно склонясь над почивающим, запел умиленным голосом первый стих из «Интернационала»:

— «Вставай, *проклятьем заклейменный!..»*

Больше не потребовалось. Подействовало. Троцкий вскочил, как встрепанный:

— Встаю! встаю!..

Москву сильно тревожит неукротимое восстание Тамбовского края, руководимое Антоновым. Отчаявшись победить этого

неуловимого гверильяса, Ленин отправил к нему делегацию с запросом о мирных условиях. Антонов будто бы прислал в ответ в конверте свою визитную карточку, напечатанную по новой орфографии:

С. *Антонов*

— Ну, на что это похоже? — возмущается Ленин, показывая карточку Троцкому. — Я к нему — с дельными предложениями, а он мне отвечает черт знает чем...

Троцкий внимательно рассматривает карточку и пожимает плечами:

— Не понимаю, почему ты волнуешься. Я вижу здесь полный ответ.

— Помилуй! где же?

— То-то, что ты русский, привык читать все слева направо, — вот и не понимаешь. А я, как еврей, читаю справа налево, — так мне и ясно...

«С. Антонов» — в обратном чтении, справа налево, — читается:

— Вон от нас!

Большую пищу уличному остроумию дают излюбленные большевизмом, сокращенные наименования правительственных учреждений, чинов и присутственных мест. Уверяют, будто есть такая должность:

— Заместитель комиссара по морским делам.

Сокращенно это выражается:

— Замкомпоморде!..

Было нелепое учреждение, именовавшееся Морской авиацией и, конечно, имело свое управление, — Управление морской авиацией, — У.М.А. — Ума.

Когда учреждение это было упразднено за ненадобностью, факт был оповещен в правительственных газетах под заголовком:

— Расформирование Ума.

Можете представить себе восторг обывателей!

По поводу тех же сокращений.

Сидит будто бы Ленин и размышляет:

— Есть у нас Совнарком, Совдепы, Совнархозы, а все — как будто еще чего-то не хватает... Как ты думаешь, Троцкий, какой бы нам «сов» еще изобрести?

Троцкий ему — мрачно, по-французски:

— Sauve-qui-peut! *

В руках моих была коммунистическая резолюция об исключении Зиновьева из партии, — не знаю, шуточная, сатирическая или настоящая, так как я получил ее от рабочих Балтийского завода. Составлена она была, во всяком случае, мастерски стильно. Так как она была длинная, то всю ее не припомню. Но в числе прочих преступлений, Зиновьев осуждался к изгнанию, между прочим, и за то, что:

— Белится и румянится, как баба, и дует шампанское, как банкир, и взял на содержание танцовщицу, как великий князь!

Подложных сатирических документов, исходящих якобы от советской власти, ходило по рукам немало. В разгар бумажносозидательной деятельности Совнаркома, когда Москва, как вулкан, извергала декреты с обязательными предписаниями, одно другого фантастичнее, — одно другого труднее к исполнению, в Петрограде и окрестностях были расклеены летучки, с декретом за подписью Ленина и советскою печатью, который, в самом серьезном тоне, обязывал отныне всех гражданок Р.С.Ф.С.Р. в целях скорейшего размножения коммунистов рожать исключительно мальчиков и притом не более как в шестимесячный срок.

Тон и форма приказа были выдержаны так ловко, а репутация разумности советских декретов стояла так низко, что в темных массах подлогу поверили, и на одной из пригород-

---

* См. пер. на с. 585.

ных станций Финляндской жел<езной> дор<оги>, у столба с его наклейкою, вспыхнул настоящий бабий бунт. Любопытно, что местные тамошние чекисты долго не решались снять наклейку, смущаясь красовавшейся на ней печатью Совнаркома:

— Черт, мол, их знает, — может быть, и в самом деле?! От наших все станется...

Ну, а теперь, от «красных вымыслов» позвольте возвратить вас в область действительности и рассказать один эпизод ее, тоже не лишенный остроумия и, вероятно, вам неизвестный. Когда растерявшаяся перед голодом советская власть призвала было на помощь общество и сложился Всероссийский комитет, этот последний не получил ожидаемой популярности в виду слишком прозрачной его зависимости от президиума из правителей-коммунистов, Каменева с компанией. В противовес Петроград затеял было «Технопомощь» — организацию, которая действовала бы исключительно общественными силами, без какой бы то ни было связи с правительством. Это, конечно, не прошло. «Технопомощь» не получила утверждения. На организационном собрании «Технопомощи» в Тенишевском зале очень хорошо и сильно говорили инициатор дела, Пальчинский, Рафалович и др. Все указывали на то обстоятельство, что, раз советское правительство сознает свое бессилие помочь всенародной беде, то общество должно взять дело в свои руки, а для этого получить от правительства твердые гарантии широкой свободы действий, гласности и ответственного контроля. Собрание в 400 человек горячо приветствовало ораторов, но желало непременно выслушать мнение одного старого заслуженного экономиста-практика, игравшего когда-то большую роль в министерстве Витте. Человек этот, вовсе не отличавшийся в прошлой жизни своей большим гражданским мужеством, долго отнекивался говорить, но, наконец, поднялся на кафедру и сказал буквально следующее:

— Господа, я буду очень краток. Вы занялись вопросом, при каких гарантиях со стороны советского правительства ваша помощь голодающим может быть плодотворною. Позвольте мне по поводу этого напомнить один исторический факт. Когда австрийское правительство Меттерниха увидало, что тиранией и солдатчиной оно не в состоянии удержать Венецианскую область в своих когтях, оно решило идти на уступки и прислало в Венецию делегацию, которая столковалась бы с венецианскими революционерами-патриотами. Делегация прибыла, изложила целый ряд возможных со стороны правительства уступок и под гарантией их приглашала венецианцев к совместной работе. Венецианцы молчали. Наконец, делегация настойчиво потребовала ответа, каких же еще гарантий они желают. Тогда Даниеле Манин встал и сказал:

— Ответ наш будет краток: *«Уйдите прочь!»*

С этим словом Даниеле Манина так же и русский оратор покинул кафедру сперва среди мгновенной мертвой тишины зала, ошеломленного его неожиданной смелостью, а затем в реве неслыханного энтузиазма. Ибо он сказал то, что решительно каждый про себя думал, но чего никто не договаривал...

Господа, то, что вы собрались помочь голодающим маленькою «лептою вдовицы», которую может представить себе ваш нынешний сбор, бесспорно гуманное дело. Но будем говорить по правде: сколько бы вы ни собрали, куда бы вы сбор не отослали, — ведь это лишь легкая прививка против угрызений совести, чтобы не укоряла она вас в безучастности к далекому страданию соотчичей. Помогать — легче для души, чем не помогать, но, помогая, помните, что страданий родины такою своею помощью вы не прекратите, тут нужно что-то другое, более сильное, более мужественное. «С миру по нитке — голому рубашка», — пословица, в данном случае недействительная, бессильная. Слишком громадного роста он, наш русский голый, не сошьете вы на

него рубашки. Да и никто не сошьет, а надо, чтобы он сам себе рубашку по росту нашел и добыл. Вот в этом вы, ушедшие за русский рубеж от того насилия и грабежа, от того организованного разбоя и надругательства, которые сделали его голым, вы, сильные, молодые, идейные, мечтатели, мыслители и деятели, солдаты и вожди, — в этом вы помочь ему можете и должны помочь. Притча о лепте вдовицы не досказана. Когда кружка, в которую она была опущена, наполнилась, пришли Анна с Каиафою, опустошили кружку и ее содержимым оплатили своих телохранителей. Таким образом, и — вдовица лепты лишилась, и в храм лепта не попала, а прокутила ее, в числе прочей казны, циническая первосвященническая банда. Лепта русской вдовицы дойдет до храма, русский голый получит свою рубашку только тогда, когда русским Аннам и Каиафам будет предъявлено такое же властное и решительное — «подите прочь!» — какое бросил Даниеле Манин Аннам и Каиафам австрийским... А вы это можете. Никто не может больше, чем вы. Теперь только вы можете. Вас два с половиной миллиона в Европе. Если хоть одна десятая часть вас соединится в крепкую, проникнутую единою мыслью и волею силу, которая эту цель поставит выше всех личных и партийных самолюбий, что сейчас раздирают и бессилят вашу среду, дело будет сделано. Помощь деньгами и хлебом уже опоздала. Мертвых с кладбища не носят. Безумная власть большевиков уже принесла в жертву своему честолюбию миллионы людей — и разрушила пути к их спасению. Это в Стокгольме теперь даже Горький признает, послушный адвокат большевизма. Спасти здесь может только тот, кто перешагнет через дикую власть сумасшедших и плутов. Голод — страшное, долговечное чудовище, но он не бессмертен. Милостыня, которую теперь собирают для России в буквальном смысле слова по миру, его не уморит. Покончит с ним только свободный труд свободной России. Голод начнет умирать лишь в тот день,

когда падет терзающая его самозванная олигархия, а умрет в тот день и час, когда на месте власти захватной и насильственной, засияет власть избранная и провозглашенная всенародной волей. Приблизьте же к ней этот счастливый день. Клянусь вам, это в вашей воле и в ваших средствах. Пусть же это будет и в вашем постоянном стремлении.

XVI

ПАМЯТИ АБРАМА ЕВГЕНЬЕВИЧА КАУФМАНА

С глубокою скорбью прочитал я в «Руле» печальнейшее известие о кончине А.Е. Кауфмана. В последние четыре года, под советским гнетом, он в литературном Петрограде был — мало сказать, видным, — центральным человеком.

Я любил и очень уважал Абрама Евгеньевича, особенно сблизившись с ним в 1920—21 гг. по совместному участию в комитете Дома литераторов, которого он был не только секретарем, но и, воистину, душою. Десятки заседаний просидел я между ним и А.Ф. Кони и десятки случаев имел изумляться такту, с каким А.Е. умел вести утлую ладью нашу по бурному советскому морю, ежеминутно готовому ее поглотить. Недавно в «Обзоре печати» «Руля» я видел выдержку из какого-то советского органа, свидетельствующую, что А.Е. Кауфман был единственным из литераторов в Петрограде, с кем местная власть «считалась» и даже иногда «шла ему навстречу». Я охотно подписался бы под этим отзывом, если бы он был дополнен необходимою оговоркою: «Хотя А.Е. не был ни на йоту «соглашателем» с советской узурпацией и нисколько не скрывал своей глубочайшей к ней антипатии».

Потому что льстецам-то своим, угодникам и даже просто ослабевшим людям, согласным, скрепя сердце, поклониться Зверю, сжечь на алтаре его формальную щепочку

фимиама и приять печать Антихристову, советская власть всегда «шла навстречу» с широко раскрытыми объятиями, осыпая своих неофитов льготами, милостями и любезностями. В настоящее время, когда число литературных «соглашателей» значительно приумножилось, меня изумляет не столько факт их «соглашательства», — его в большинстве случаев давно уже можно было предчувствовать, — сколько их яростное усердие в новой службе, заходящее, право же, гораздо дальше того, на что от них рассчитывала и чего ожидала благоприобретшая их перья советская власть. Тут, что называется, — соблазн от дьявола, ну а подлость уж от самих себя.

Нет! В резкую противность всем подобным господам, А.Е. держал свое литературное знамя честно, прямо и крепко. Не добавлю обычного «грозно». Он не был бойцом. Но —

Воплощенной укоризною,
Мыслью честен, сердцем чист,
Он стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист...

И эта пассивная, но безбоязненная и правду свою глубоко сознающая, «укоризна» чистого сердцем и честного мыслью либерала-семидесятника вооружала его дипломатический талант такою убедительностью, что перед нею часто пасовало даже злое упрямство обломов и хамов, возглавляющих исполкомы, чека, райкомы и прочие милые учреждения, от дуновения коих ныне зависит, быть или не быть мыльному пузырю — жизни и свободе петроградского интеллигента. Я, не обинуюсь, приписываю исключительно такту А.Е. тот удивительный факт, что Дом литераторов, единственный и последний в Петрограде оплот независимой литературной братии, Антихристовой печати не приявшей, был в состоянии сохранить свою самостоятельность в течение двух с половиною лет, хотя Дамоклов меч разгона и закры-

тия угрожал ему — уж и не знаю, сколько раз. Хотя жил он в рубище и в жестокой опале, под дождем постоянных доносов печатных, письменных и устных. Хотя «недреманное око» Смольного встречало решительно всякое хозяйственное и просветительное начинание Дома литераторов подозрительным недоброжелательством как новый опыт скрытой «контрреволюции». Вся тяжелая дипломатическая борьба за существование учреждения ложилась на плечи А.Е. Кауфмана, равно как в материальной борьбе, — до изнеможения сил, — крутились, вертелись Б.О. Харитон, В.Б. Петрищев, Н.М. Волковыский. Ведь главным условием независимости Дома литераторов была его материальная самостоятельность: он не получал от советской власти никаких субсидий. Бился как рыба об лед, но обходился своими средствами, посильно питая 570 человек из еще уцелевшей петроградской интеллигенции. Не знаю, так ли обстоит все это дело и теперь. Судя по некоторым корреспонденциям советской печати, соглашательские элементы как будто успели проникнуть даже и в крепкие недра Дома литераторов. А дружный комитет его растерял за 1921 год ровно четверть своих членов: ушли в могилу Блок, скончавшийся от голодного истощения, расстрелянный Гумилев и замученный непосильным трудом и волнениями — жертва болезни сердца, — Кауфман. Ушли в эмиграцию Ремизов и я. Но в конце августа Дом литераторов стоял на своей позиции крепко. Его общее собрание и выборы выказали большую стойкость и единодушие литературной организации, спаянность которой выкована была опять-таки прежде всех и больше всех неотступно настойчивым молотом А.Е. Кауфмана. Он бил мягко, но упорно и в одну точку, и она поддавалась ему, может быть, медленно, но верно и прочно.

В своих хлопотах и ходатайствах за погибающих, в своих усилиях накормить голодающих А.Е. не знал утомления, не считался с самолюбием, удивлял долготерпением. Он не был

ни большим писателем с всемирно прославленным именем, ни рекламистом, «добрые дела» которого эффектно совершаются в стеклянном доме, сопровождаемые трубными звуками на всю Европу и Америку. Всего лишь за несколько месяцев до смерти, имя А.Е. Кауфмана как человека, самоотверженно работающего на спасение русской интеллигенции едва-едва начало проникать в западноевропейские круги. Я живо помню восторг и трогательное недоумение А.Е., когда Дом литераторов совершенно неожиданно получил на его имя первую американскую посылку. Помню его бурное негодование и борьбу, когда на посылку эту наложил было свою цепкую лапку пресловутый глава Дома ученых, г. Роде (тот самый, по имени которого это учреждение выразительно слывет в Петрограде «Родевспомогательным заведением»). Помню его неутомимый труд, внимание и мелочную щепетильность, когда отвоевав драгоценную посылку, он старался разделить ее содержимое между наиболее нуждающимися в помощи.

Да, это был не большой писатель, но большой человек, что лучше большого писателя и что, к сожалению, далеко не всегда можно сказать о большом писателе. Как-то раз шли мы с ним из Дома литераторов по Литейной и он очень просто и спокойно рассказывал мне, как ему не удалось выхлопотать у Зиновьева ходатайство пред Чрезвычайкою за одного арестованного журналиста. Три раза ему был назначен прием, и три раза он не застал Зиновьева в назначенное время. На четвертый раз он долгие часы прождал в приемной, прежде чем удостоился узреть ясные очи петроградского диктатора и — получить отказ!..

— Что же вы теперь думаете делать? — спросил я.

А он — с невозмутимою ясностью:

— А я завтра опять пойду...

И так это живо представляется мне сейчас, как в серебряных кудрях своих и бородке не то под Михайловского, не

то под Жемчужникова, сидит он, уважаемый литератор, образованный человек, вдоль, поперек и кругом интеллигент, сидит и терпеливо ждет час за часом, со своею-то грудною жабою, когда удостоит приемом его, старого почтенного еврея, молодой невежественный выскочка, которого он помнит на местечковой улице грязным цуциком, едва видным от земли, с хвостиком рубашки из штанишек... Примет его этот случайный «властитель судеб» и, надменно выслушав, надменно откажет. А он завтра — опять, послезавтра — опять, и опять, и опять... и так будет ходить и ходить, сидеть и сидеть, стучаться и стучаться, пока не доходится, не досидится, не достучится до своего. А «свое» для него — это спасение жизни, свободы или здоровья человека, часто ему совершенно не известного до вчерашнего дня, иногда же им даже нелюбимого...

Как и наилучший пример, отмечу его настойчивую агитацию за принятие в члены Дома литераторов известного критика В.П. Буренина, кандидатура которого была встречена частью правления не особенно доброжелательно. А.Е. Кауфман не мог любить Буренина ни как писателя, ни как человека, имя это в нем, еврее, будило много горьких воспоминаний. Однако пред больным стариком, пред пухнувшим с голода, дряхлым литератором-профессионалом, он сумел не только сам зачеркнуть былую антипатию, но и заставил других от нее отказаться. Более того: чтобы дать Буренину какой-нибудь заработок, А.Е. печатал в своем «Вестнике литературы» его старческие стихи.

Есть на Востоке пословица: «Когда еврей хорош, лучше его не бывает человека на свете; когда еврей плох, на свете не найти человека хуже его». Я думаю, что, когда Кауфман беседовал с Зиновьевым, то обе половины этой пословицы находили себе живое подтверждение и воплощение. Их вдвоем можно было бы показывать, как две части шарады. О достоинствах Кауфмана как еврея, конечно, евреям же

и надо судить, но в наших русских глазах он был хороший, очень хороший еврей — и такой же хороший русский интеллигент-патриот в самом лучшем значении последнего слова. Кровно сроднившийся с культурными традициями старой русской интеллигенции, страстный обожатель и знаток русской литературы, типический либерал-семидесятник, он любил Россию, если можно и понятно будет так выразиться, по-некрасовски, связанный с «родиной-матерью» неразрывною пуповиною. Он откровенно говорил мне, что не представляет себя в эмиграции.

— Знаю, что там и дело мне найдется, и средства кое-какие будут, и люди некоторые будут мне близки и рады, и, наконец, удалясь от здешних дел, я, наверное, сберегу года на два-три жизни, но... как же без России-то? без всей этой поганейшей и возлюбленнейшей России, черт бы ее побрал, и Господь ее благослови?! Не могу, задохнусь...

В августе 1918 года, когда советский террор задавил русскую периодическую печать, я дал себе слово, что в пределах «Совдепии», в подчинении ее цензурным застенкам, я не напечатаю ни единой своей строки. Многим коллегам по профессии мое решение казалось бесполезно самоубийственным. Им раздражались как некоторым тормозом их собственной склонности к компромиссам, уже намечавшимся то в форме телеграфного агентства, то в форме школы журналистов, — участникам этого учреждения я еще в 1920 году предсказывал, что «коготок увяз, всей птичке пропасть». Третьи, наконец, оптимистически доказывали мне, что я неправ: если, мол, литератор лишен возможности громкой, протестующей речи, то ведь остается еще нейтральный шепот, и он лучше безмолвия, потому что все-таки сохраняет традицию публицистического слова и поддерживает привычку к нему в обществе. А.Е. Кауфман принадлежал к числу этих третьих, и вот тут мы с ним расходились и никак не могли столковаться. Он сам издавал такой «нейтральный шепот»

под названием «Вестника литературы». Это единственное несоветское издание в советском Петрограде стоило ему страшной затраты сил, времени, нервов, а развивалось оно в тисках советского надзора, конечно, туго и анормально, как нога китаянки, заделанная в деревянный башмак. Было ли оно полезно, — право, не возьму на себя решать. Потому что, при всем его искусстве в дипломатической магической лавировке между скалами и тайными мелями советского контроля, лучшее, чего он успел достигнуть и что безусловно можно сказать об его журнале, это — что в «Вестнике литературы» не было нечистоплотных угоднических статей. По именам участников журнал казался даже блестящим, но, придавленные роковым условием «нейтрального шепота», имена фатально осуждены были толочь воду в ступе и переливать из пустого в порожнее. А.Е. Кауфман, как старый журналист, конечно, хорошо понимал эту безысходную обреченность своего издания, но мечтал и усиливался сохранить его целым до лучших времен, чтобы в изменившихся годарственных условиях внести его в воскресшую печать, как Израиль из пустыни в Землю Обетованную. Он обожал это свое детище, «Вестник литературы», и к репутации его относился с отцовскою ревностью, даже несколько болезненною. Однажды в заседании я произнес несколько резких слов против кое-каких газетных проектов, о которых тогда дошли до нас слухи: то были еще робкие предвкушения ныне осмелевшего и развивающегося соглашательства. В перерыве заседания Кауфман так и бросился ко мне.

— Надеюсь, вы «Вестник литературы» в число подобных изданий не включаете?

Я, изумленный, только руками, развел.

— Абрам Евгеньевич! что вы?! надо ли об этом говорить?!

— Ах, знаете, когда идешь по лезвию ножа, всего можно ждать, всего можно ждать!

Тиха и скромна была жизнь этого человека, мучительно совершавшего — далеко не журнальный только, но очень разносторонний — подвиг ответственного и страшного шествия по лезвию ножа. Рекламная статистика не вела счета людям, которых Кауфман выкланял-вымолил — спас от смертной казни, выручил из тюрьмы, вырвал из когтей Чрезвычайки, заслонил своевременной помощью от голодной и холодной гибели, поднял с одра болезни, соединил с разлученною семьею. Но теперь, когда земную часть Абрама Евгеньевича скрыли гроб и могила, не будет нарушением скромности сказать, что история русской культуры не забудет и когда-нибудь высоко оценит этого друга нашей интеллигенции, верного, стойкого, бесстрашного, самоотверженного — в самые трудные годы, в самых ужасных обстоятельствах, какие она когда-либо переживала. И поставит его смиренное имя и особо, и много впереди целого ряда ныне громко хвастливых имен из этой категории «спасителей», что научила и застатавляет эту злополучную интеллигенцию покупать свое спасение ценою своего, — как удачно выразился Мережковский в одной статье о Горьком, — «оподления».

XVII

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

Поищем современного ответа на старый некрасовский вопрос.

Интеллигенции живется нестерпимо скверно. Не жизнь, а медленная смерть для каждой отдельной личности, быстрое вымирание для класса. На общем собрании Дома литераторов, последнего сравнительно независимого союза интеллигентных сил Петрограда (не смешивать с Домом ученых и Домом искусств), председатель, академик Н.А. Котлярев-

ский, огласил некролог 250 сотоварищей наших, погибших за 2 с полов<иною> года жертвами голода, холода, непосильной физической работы, тюрьмы, тифа, расстрела, самоубийства. Список этот был в свое время опубликован в петроградском «Вестнике литературы» А.Е. Кауфмана, единственном периодическом издании, как-то умудрившемся влачить нейтральное существование под ревнивым и всеуничтожающим «недреманным оком» советской цензуры, твердо зазубрившей к руководству своему лишь одно беспощадное правило: «Кто не с нами, тот против нас». Теперь угрюмый синодик избиенных литераторов увеличился еще доброю сотнею покойников; в числе их обозначаются такие имена, как расстрелянные поэт Гумилев, профессора Таганцев, Лазаревский и Тихвинский, самоубийца А.Н. Чеботаревская, уморенный голодным истощением лучший наш поэт Александр Блок, В.Г. Короленко, только что упомянутый А.Е. Кауфман, скончавшийся от грудной жабы, нажитой в беспрестанных волнениях и хлопотах за погибающих от голода и Чрезвычайки собратьев.

Рабочим в Советской России, хотя она и величается «рабоче-крестьянскою республикою», живется тоже безрадостно. Кормят их усердно, но не материальною пищею, а больше лестью да обещаниями, исполнимыми «после дождичка в четверг», да неутомимым красноречием товарища Анцеловича, давно уже заслужившего от рабочего класса прочную репутацию «надувалы». От работы они совершенно отбились, за техническою невозможностью работать. Дельное большинство тоскует по правильном труде; бездельное меньшинство развращается с каждым днем все больше и хуже, погружаясь в праздно политиканствующее хулиганство. Число рабочих уменьшается с поразительной быстротой, обгоняя общее уменьшение населения. Когда в Петрограде было $2^1/_2$ миллиона жителей, в нем считалось 400—450 000 рабочих, почти 20 проц<ентов> населения; теперь в нем на 600—

700 000 жителей (офицальная цифра, в действительности меньше) только 20—30 000 рабочих, т.е. от 3 до 5 проц<ентов>. Население уменьшилось на три четверти, число рабочих в 15—20 раз. Значительную часть их уничтожила страшная смертность — война, эпидемии и туберкулез, свирепо развившийся на почве общего голодного изнурения. Некоторую часть поглотила колоссальная бюрократия «рабоче-крестьянской республики». Главная же, подавляюще численная масса исчезнувших из Петрограда рабочих просто «ушла в разброд»: сбежала из города, где нечего делать, домой в деревню, к земле, поворотила обратно в мужичество.

На солдатчину советское государство тратит чуть не все средства, которые успевает награбить. Однако красный гарнизон Петрограда в зиму 1920—21 гг. голодал, холодал, нищенствовал по улицам и частным квартирам, был оборван, разут, недоволен, ворчал, шумел. Власть считала его настолько ненадежным, что, когда в феврале, перед Кронштадтским восстанием, вспыхнули рабочие беспорядки на Балтийском заводе, на табачном заводе Лаферма и на Трубочном, первым распоряжением Смольного было — не выпускать красноармейцев из казарм на улицу и для того окружить их верною советскою опричниною — «красными курсантами» (юнкерами). В матросских казармах 2-го балтийского и гвардейского экипажа у спящих рядовых ночью были выкрадены штаны и обувь, возвратившиеся на место, как скоро был выяснен безоружный характер рабочего движения. А, когда оно замерло, из финляндских казарм, соседних с моей квартирой и близких к местности беспорядков, приходили ко мне красноармейцы и тосковали, что эти тревожные дни им пришлось просидеть под стражею, разутыми и, главное, не зная, где находится их цейхгауз, — безоружными. «А то, мол, мы бы себя большевикам показали!» Ну, в это-то, — что показали бы себя, — я плохо верю, потому что вся эта недовольная красноармейская масса

не имела даже и тени организации и с большою подозрительностью относилась ко всякой внешней попытке организовать ее, не доверяя никаким партиям, ничьей пропаганде. То же самое ведь было и в Кронштадте. Арестованный в самом начале Кронштадтского восстания, я сидел на Шпалерной с множеством кронштадтцев, и все они на расспросы мои одинаково отрицали ту мнимую пропаганду эсеров и меньшевиков, на которую сваливали вину восстания большевики:

— Никаких эсеров и меньшевиков мы не видали и не слыхали, да и ни за кем не пошли бы, если бы самим от этих окаянных не стало тошно...

Заключенные рабочие-балтийцы также настаивали на совершенно самостоятельном происхождении и развитии своего движения, независимом от противобольшевистских партий. А финляндские красноармейцы в один голос твердили, что рады-радехоньки были бы, если бы между ними нашелся опытный организатор, но своего не оказалось, а чужаков они к себе не пускали, опасаясь, не налететь бы на провокатора. Опасение вполне естественное и извинительное в городе, где на 10 человек приходится один шпион.

Итак, всюду недовольство, ненависть, презрение, отвращение, проклятия. Между тем власть большевиков, насквозь прогнившая, трупная, разложившаяся власть, сама удивляющаяся своему существованию, держится, — и даже побеждает, крепнет. Что за чудо? Не одними же «красными курсантами» спасается «социалистическое отечество»? Штыки у них крепкие, неразборчивые и безжалостные, но ведь на одних штыках среди всеобщего недовольства, казалось бы, не усидишь. А они сидят.

Причин к тому очень много, но я остановлюсь только на одной, которую, по-моему, еще очень мало замечают или, замечая, придают ей меньше значения, чем она заслуживает.

Большевикам не удалась ни одна из их сознательных социальных реформ, но в высшей степени удалась одна, бес-

сознательная. Они ее не чаяли, не гадали и, уж, конечно, в качестве марксистов, принципиально никак не желали, не могли желать. Однако теперь именно она значительно облегчает их положение, особенно в городах, а из городов, особенно в Москве и Петрограде. А именно: они, ревностные истребители старой буржуазии во всех разветвлениях третего сословия, теперь поставлены в необходимость убедиться, что совершенно напрасно тратили силы свои, истребляя неистребимое. Потому что, как раз процессом-то истребления, вооруженного девизом: «Грабь награбленное», большевики незаметно создали новый средний класс, новую буржуазию, судьбы которой тесно связаны с их судьбами. И, — по историческому правилу, что средний класс всюду составляет лучшую опору правительств, — она уже становится оплотом советского государства, — оказавшегося отнюдь не социалистическим, не рабочим, не крестьянским, но просто полицейски-хищническим. Грабеж имуществ рухнувшей империи и старой буржуазии, спекуляция при чудовищном падении денежного курса и таком же чудовищном росте вещевых ценностей, бюрократическое взяточничество и хищничество, совместительство многих должностей и доходностей в одном лице (так называемая «хамтура»), контрабанда, тайная игра на валюте и пр. образовали новый пласт зажиточного обывательства, которому совершенно невыгодно падение большевиков. Бессознательные творцы этого пласта, большевики, сознательно отнюдь ему не мирволили. Напротив! — ведь официальное название страшной Чрезвычайки — «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, *спекуляцией и преступлениями по должности*», а спекуляция и преступления по должности суть главные орудия населения новой буржуазии. Число ее расстрелянных и тюрьму изведавших зиждителей, конечно, значительно меньше, чем число погибших и пострадавших за контрреволюцию, однако очень крупно и выражается в тысячных цифрах. Но, выдвигаемая не искусственным умыслом,

а естеством жизни, она оказалась непобедимою и, в конце концов, восторжествовала, — заставила-таки коммунистическую власть признать ее, если не de jure, то de facto *. Настолько, что, когда голод принудил большевиков капитулировать перед «свободой торговли», то «свободная торговля» возвратилась в Петроград исключительно в форме разрешенной спекуляции и вместо ожидаемого падения цен взвинтила их до баснословия. И ни для кого не было тайною, что огромное большинство продуктов поступает на рынок из правительственных складов, обираемых советскими служащими, верными коммунистическому призыву «грабь награбленное». Коммуна ограбила частную собственность, чиновники коммуны грабят ее самое.

Новобуржуазный класс, многочисленный и крепкий, тоже весьма и весьма не прочь ругать и клясть большевиков, от которых он немало натерпелся в период своей формировки, еще терпит да и будет терпеть, пока окончательно не сделается хозяином положения. Однако за исключением весьма немногих своих представителей, — из людей старого закала, движимых религиозными побуждениями, — никогда он не выступит против большевиков активно, — разве лишь под какую-нибудь совершенно непоколебимую гарантию своей амнистии и бытовой неприкосновенности. Потому что он слишком хорошо понимает, что всякая перемена правительства, за исключением анархической, для него будет равносильна требованию к отчету во всей той собственности, которою он ухитрился завладеть при власти, частную собственность отрицавшей. К анархии же он разделяет страх всего остального населения, как к такому решительному углублению принципа «грабь награбленное», когда не то что имущества лишишься до последней нитки, но и головы на плечах не убережешь.

---

* Юридически... фактически (*лат.*).

Эта уверенность населения, что следующей ступенью революции должна быть непременно анархия, эта боязнь, что между падением большевиков и водворением нового правительства окажется промежуток полного безвластия, и город, хотя бы на короткое время, очутится в руках анархической черни, парализовали много проектированных заговоров и инсуррекций, имевших полные шансы на первый успех, но не располагавших достаточными силами, чтобы немедленно заменить диктатуру большевиков своею диктатурою.

Сплошь хищнический, новобуржуазный класс стоит на очень низком уровне образования и морали. Составлен он наполовину из маленьких спекулянтов, нахлынувших в Питер в последние годы войны, когда настоящие большие военные спекулянты, вроде пресловутого «Митьки» Рубинштейна, уже удрали из Питера за границу и, благополучно унеся награбленные миллиарды, преуспешно торговали Россией оптом и в розницу на всех биржах Европы и Америки. Наполовину из захватчиков чужого имущества. В этой второй половине подавляющее большинство образуют бывшая домовая и комнатная прислуга, швейцары, дворники, приказчики, контористы, мелкие торговцы, уцелевшие полицейские, и т.п. «демократические элементы», ныне заседающие в домкомбедах и, следовательно, сознательно или бессознательно, вольно или невольно являющиеся глазами и ушами чрезвычаек. Сюда же примыкают налетчики, променявшие свой опасный промысел на теплое советское местечко, проститутки на той же стезе. А также множество те самодельных и самозванных лжеартистов и артисток, которых бесчисленно плодит советская театральная мания.

Крепко веруя в спасительность демократического принципа «хлеба и зрелищ», советская власть нуждается в колоссальном зрелищном персонале и дорожит им, даже выделив зрелищное дело в особый подкомиссариат. Во главе его долго стояла М.Ф. Андреева, жена М. Горького, ныне командиро-

ванная в заграничную экскурсию на поиски кредитов у немецких и шведских *капиталистов* для *коммунистического* правительства на предмет *советской* помощи голодающим. Это ПТО (Петроградский театральный отдел) умудрилось задолжать по своим функцям 15 миллиардов рублей, т.е. 25% всего долга, накопившегося на злополучном Комиссариате народного просвещения, в ведомстве которого оно находится. Отсюда можно судить о размерах советского зрелищного усердия. По банкротству Наркомпроса денежные гонорары артисты получают очень не аккуратно, а зачастую их и просто приходится писать угольком на трубе. Но продовольствием их стараются снабжать, а продовольствие в Петрограде меновая ценность, не сравнимая ни с какою валютою. Поэтому актерам, певцам, музыкантам, танцовщикам, статистам и т.д. живется среди ужасов Петроградского оскудения все-таки сравнительно легче и сытнее, чем прочим интеллигентам. Эстетические же требования советская публика предъявляет столь ничтожные, что им и без всякого таланта в состоянии удовлетворить каждый, сколько-нибудь грамотный и не вовсе лишенный умственных способностей, человек. Таким образом, если кандидат, посвящающий себя зрелищному искусству, не задается иными высшими целями, кроме как, — с позволения сказать, «жрать», то он может устроиться в России сносно и даже недурно. Поэтому, — в то время, как все артистически сильное или убежало из России (Зилоти, Кусевицкий, Московский Художественный театр, Ц. Ганзен, Б. Захаров, Александрович, Гзовская, Кузнецов, Полевицкая и пр.), или бежит, или намерено убежать, — множество третьестепенных и мельче того артистов и даже вовсе не артистов, приспособившись к нехитрым вкусам нового правительства, взобралось на высокие ступени, о которых в нормальных условиях искусства, они и мечтать не дерзали. И, конечно, эта театральная чернь, неожиданно попавшая «из грязи в князи», — хотя тоже

под шумок поругивает большевиков, но втайне отлично сознает, что ей за них надо крепко держаться. Потому что с падением коммунистического режима кончится и его сплошная демагогическая театральщина, искусство войдет в разумные рамки, а, следовательно, в ней, театральной черни, минует всякая надобность, и она опять должна будет возвратиться на задворки, откуда вышла.

Наконец, последним элементом в новой буржуазии, еще малочисленным, но, к сожалению, быстро размножающимся, оказываются те слабые из интеллигенции, которые, по выражению поэта, устали

Свой крест нести:
Покинул их дух мести и печали
На полпути...

Люди, загнанные в соглашательство, если не с политикою большевиков (такие-то гуси все наперечет по именам известны!), то с бытовыми условиями, большевизмом продиктованными после долгой маяты в крайней нужде, холоде и голоде, переутомленные физическим трудом, а, главное, утратившие надежду на избавление. Не могут больше — встосковались по сытому желудку, по теплому углу, а, кто молод, то жалеет и юности своей, проходящей, не зная веселья и радостной жизни. Ну и склоняют головы, принижаются, лобызают руку, наказующую их, и прямо или косвенно приемлют «печать Антихристову». На почве классовых компромиссов возникают удивительные сближения, страннейшие союзы — трудовые, промышленные, торговые, семейные. Об одном из последних я рассказал в очерке «Барышня с васильковыми глазами», напечатанном в чешских «Narodnich Listach» и в «Новой русской жизни». Рассказ этот привлек некоторое внимание публики и печати. Но ведь нелепый советский брак «барышни с васильковыми глазами» лишь очень умеренный пример. Он имеет хоть ту хорошую

сторону, что заключен по обоюдному согласию и, следовательно, при всей его сугубости, женщина в нем не закабаленная раба и не «узаконенная проститутка». С большою скорбью приходится отметить, что известен мне ряд других подобных же союзов, в которых насилие, если не физическое, то нравственное, или самопродажа с отчаяния унижали женщину в смешанном браке именно до тех жалких положений, что я назвал. Но о них, как и вообще о советском браке, как уже сказано однажды, я предпочитаю поговорить особо и подробно в другой серии моих статей.

ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОЙ РАЗРУХЕ

Ф.М. Достоевский назвал Петербург «самым умышленным и самым фантастическим» городом в мире. Казалось бы, «умышленность» и «фантастичность» начала противоположные и одно другое почти что исключающие. Однако это так. Петербург умудряется соединить их в себе, и никогда еще верность обоих определений не обозначалась так ярко, как в настоящем плачевном состоянии нашей отставной столицы.

Петербург никогда не развивался естественно, сам собою, как другие великие города Европы — Париж, Рим, Константинополь, Москва. Его рост определялся всегда в порядке именно «умысла» — приказом верховной власти, и, может быть, ни в одной столице эпохи процветания не связаны теснее и непременнее с личными симпатиями, а отсюда и с собственными именами глав государства. Как возник «град Петров», наперекор стихиям, «из тьмы лесов, из топи блат», упрямым умыслом и непреклонною волею крутого монарха, так и наслоялся он затем, пласт за пластом, — Петербург Екатерининский, Петербург Александровский, Петербург Николаевский и т.д. Петр звал его своим «парадизом»; это значение царского «парадиза» — рая самодержавной динас-

тии — втайне осталось за ним навсегда. Помимо своего быстро приобретенного и упроченного всероссийского веса и смысла Петербург был еще в высшей степени вотчиною Романовых. Они даже и именем-то его играли по своей государевой, господарской воле, как которому из них больше нравилось. Родился он на свет голландцем Санкт-Питербурхом, воспитывался и вырос немцем Санкт-Петербургом, потом «Санкт» от него отвалилось и стал он просто Петербург, поэты и витии величали его Петрополем, народ — Питером, а Николай II ославянил его в Петроград. Это имя, вероятно, удержится за ним надолго, даже в условиях всесокрушающей советской власти, потому что все-таки не настолько уже глупо коммунистическое правительство, чтобы внять требованиям некоторых фанатиков, настаивающих на превращении Петрограда в Ленинград.

К слову заметить, подобные революционные переименования, за которые большевики четыре года тому назад, с легкой руки Луначарского, сильно ухватились было как за орудие пропаганды, теперь уже вышли из моды. Практика показала, что новые названия урочищ и улиц не имеют никакого успеха и не прививаются населению. Не думаю, чтобы из 10 000 петербуржцев хоть один послушался приказа поверить, будто Невский уже не есть Невский, но улица 25 октября, что Владимирская есть проспект какого-то там Нахимсона, Миллионная — улица Халтурина и т.д. Я, например, почти каждый день бывал по делам на Литейной, которая тоже посвящена большевиками памяти кого-то из своих «славных мертвецов», но — кому именно, так вот и не могу вспомнить: не имелось надобности знать. Даже в советских официальных учреждениях случалось слышать:

— Итак, товарищ, вы найдете мое бюро на углу улицы Красных зорь и улицы Мира...

— Где это у черта?!

— На углу Каменноостровского и Оружейной...

— Так бы прямо и говорили по-человечески, а то плетете невесть что...

По улице Красных зорь — вы видите, что в переименованиях преследовались иногда цели символические и принимало участие эстетическое глубокомыслие Российского декаданса. В Москве, где эстетику большевизма диктует сам В. Брюсов, по этой дорожке зашли так далеко, что окраинную Владимирскую улицу, ту самую, от которой народилось крылатое слово былой русской каторги, — «пойти по Владимирке», т.е. быть сослану в Сибирь, — перекрестили в улицу Экстаза. Должно быть, крестным отцом был какой-нибудь фанатический поклонник известной симфонической поэмы Скрябина. Но гораздо чаще перемена названий вдохновлялась антитезами: милитаристическая Оружейная заменялась антимилитаристической улицей Мира, клерикальная Архиерейская получила имя от Льва Толстого, которого архиереи отлучили от церкви, и т.п. Сезоннее были переименования в память исторических деятелей, прославленных в революционном прошлом, — особенно, в связи с местностями их былой работы: улица Желябова, улица Перовской и т.п. Но из Миллионной, переименованной в улицу Халтурина, вышел, как слышите, непредумышленный, но двусмысленный каламбур. Назвать улицу, ведущую от Марсова поля к Зимнему дворцу именем устроителя взрыва в Зимнем дворце, конечно, было основание по революционной логике. Но по нынешнему ругательному смыслу слова «халтура», да еще при подмене им «миллиона», Халтурина улица, вместо Миллионной, звучит ужасно насмешливо. Сейчас этими благоглупостями, кажется, перестали заниматься, убедившись, что они бесполезны. Ведь даже столь непопулярно популярную улицу, как Гороховая, с ее проклятым, при всех режимах равно омерзительным домом № 2, народ не променял на предложенную ему Комиссарскую, даже Полицейский мост слывет по-прежнему Полицейским, а не Народным... Единственно, что, пожалуй,

привилось еще несколько это площадь Урицкого вместо Дворцовой площади, что объясняется множеством советских присутственных мест, размещенных здесь в бывших министерских и штабных зданиях, и притоком в Петроград иногородних, которые, нуждаясь в этих присутственных местах, получают адреса их, конечно, с советскими же наименованиями. Урицкий вообще почтен в Петрограде более, чем кто-либо иной из любезных коммуне покойников, ибо кроме Дворцовой площади его имя усвоено еще Таврическому дворцу, бывшему местопребыванию Государственной думы. Можно ли найти символ более выразительный для характеристики русской лжекоммунистической олигархии, как этот апофеоз основателя Чрезвычайки, политического обер-сыщика и расстрельщика, который провокацию, шпионаж и убийство полагал основами государственной системы!

Перенесение государственного центра из Петербурга в Москву печально отразилось на обеих столицах. Петербург захудал, утратив из своего организма важные жизненные элементы — Двор, колоссальную и состоятельную бюрократию старого режима и гвардию со всем гигантским хозяйственным аппаратом, их обслуживающим. Наоборот, Москва, нисколько не подготовленная к возврату на свое допетровское положение, не осилила вместить ворвавшуюся в нее новоправительственную опричнину, сопричастную ей военщину и обслуживающие их технические группы. Ведь советская бюрократическая громада численностью гораздо превосходит прежнюю царскую, и — тогда как та доходы свои в город тратила, эта, наоборот, телом города питается. Да еще отличается чуждою прежней бюрократии способностью стремительно приводить в нежилое состояние всякое место, где она поселяется. Министерство иностранных дел в Петрограде десятилетия обреталось в чистоте и порядке, почти не требуя ремонта; занял его помещение Наркоминдел

и в несколько месяцев обработал здание до невозможности оставаться в нем долее учреждению, которое как никак, а должно представительствовать пред Европой. Переехали в великолепное здание Русско-азиатского банка на Мор-ской: губят теперь его. Старая Москва для этой неисчислимой и разношерстной орды оказалась тесною, а вновь строиться не имели ни времени, ни средств. И вот, будучи не в состоянии раздаться еще вширь, бедная Белокаменная под напором внешнего внедрения треснула изнутри по всем швам.

С падением самодержавия, с гибелью династии, романовский «парадиз», Петроград, остался, так сказать, бесхозяйным поместьем и, как всякое бесхозяйное имущество, должен был, естественно, быстро пойти к упадку и разорению. Тем более что из водворившихся на выморочном владении опекунов первый, Временное правительство, оказался хозяином неспособным и нерадивым; а второй, Советская власть, повел себя прямо-таки грабителем с большой дороги, искренно и откровенно убежденным в своем кулачном праве раздеть население до последней нитки. Таким образом, Петроград был обречен на «умертвие». Однако даже в конце 1917 года еще никто не ожидал, что оно пойдет таким быстрым темпом, как погнало его хозяйничанье большевиков. За четыре года город утратил три четверти своего населения и свыше 15 проц<ентов> своих строений. А в остальной четверти населения дошел до такого обнищания, в остальных строениях до такого разрушения и опустошения, что я сильно сомневаюсь, чтобы в истории нашелся другой пример столь стремительного самоуничтожения огромного культурного центра, как являет нам нынешний, — о! он тоже связан с собственным именем и волевою личностью! — нынешний зиновьевский Петроград. Жутко было смотреть, еще тяжело теперь вспоминать, что мы, слабовольные россияне, допустили сделать с нашею красавицею столицею, которую поэты еще так недавно награждали восторженным прозвищем Северной

Пальмиры. Перед глазами так и стоит он — безмерное мертвенное привидение — опустошенный, разрушенный Петроград, с улицами-пустырями, с кошмарными призраками домов-развалин.

Оптимисты — адвокаты советской власти утешают:

— Чего же вы хотите? Столица только что отстрадала мировую войну, пережила и еще переживает встряску великой революции.

Но ведь это фразы. Война и революция как силы, непосредственно разрушающие, тут решительно не при чем. В германской войне Петроград оставался в глубоком тылу, ни разу даже не угрожаемый. Он тогда спекулировал и засыпался деньгами, а не воевал. В войне Гражданской он видел на подступах к нему Корнилова, Краснова и Юденича, но не отведал военных действий. Он не испытал ни взятия штурмом, ни настояще свирепого и упорного уличного боя, как злополучный Киев, как большинство крупных южных центров. Его Февральская революция тем и хвалилась, что была — «бескровная». Октябрьская досталась победителям дешево, двумя выстрелами с дряхлой «Авроры». Она была кровава своими мстительными последствиями, а не в самом акте свершения. Здания, разрушенные и поврежденные обеими революциями, нетрудно сосчитать по пальцам. Окружной суд, охранка на Петроградской стороне, две-три каланчи на бывших полицейских частях, часть Пажеского корпуса, часть Гостиного двора, еще с пяток, много, если с десяток... Остальной развал — весь — послереволюционный: дел не войны, но мира, не оружия и пламени, — очень крупных, целыми кварталами, пожаров даже и вовсе не было в Петрограде за это время, — но советского хозяйства. Три года прилагало оно все усилия, чтобы поставить Петроград вверх дном, выпорожнить его и обратить в пустыню. И преуспело, — добилось своего. Старинное зловещее предсказание противников Петра, что возлюбленному «парадизу» его, «Петербургу быть пусту», сбывается на наших глазах мало-мало, что не буквально.

II

Не знаю, существовала ли когда-либо где-либо политическая группа, которая была бы столь отрадного о себе мнения, как наши русские большевики. Вольтеров Панглос, с его оптимистическим афоризмом — «все к лучшему в этом лучшем из миров» — должен войти в коммунистический пантеон как духовный предок и идеолог политики и публицистики советской республики, особенно, что касается ее хозяйства. Здесь решительно никогда не приключается ничего к худу, — всегда все к добру и преуспению. Исчезло в топливе все деревянное строение Петрограда, — и прекрасно! Таким образом столица освободилась от очагов заразы, и — посмотрите! — благодаря уничтожению деревянных особнячков, флигельков и заборов, на окраинных улицах палисадники слились в общие линии, и у нас сами собою образовались широчайшие улицы, обсаженные прекрасными деревьями, — настоящие парижские бульвары...

Зашел я прошлою весною к живущему на одном из таких бульваров Петроградской стороны бывшему моему шоферу и застал его во дворе обрубающим сучья с только что срубленной великолепной старой березы. А перед ним стоит председатель домкомбеда и лениво стыдит:

— Как же это вы, товарищ, позволяете себе вырубать улицу?

Шофер молчит и рубит.

— Разве вы не знаете, что за это — расстрел.

— Вас вчера за тополя расстреляли нешто? — хладнокровно отозвался шофер.

«Домкомбед» умолк, надул губы, повернулся и ушел.

А мне живо припомнилось, как года за полтора пред тем, в издательстве Гржебина, на Невском, супротив Аничкова дворца, стояли мы с Максимом Горьким перед окном, и он, указывая на тенистый дворцовый сад, угрюмо говорил:

— А ведь, пожалуй, этих деревьев мы в будущем году уже не увидим.

Опасение покуда не сбылось. Как я думаю, не по боязни правительственных запретов и кар, а просто потому, что, добывая топливо для мелких печурок, хищник-обыватель не охотится на сырое дерево: оно трудно горит, его год сушить надо, пока оно дровами станет, а холод срока не дает. То ли дело дерево сухое и деланное — заборы, перила, стропила, полы, двери, рамы, мебель и т.п. На соседнем с нами доме красовалось грозное оповещение: «Которые забираются в сей дом ломать полы и рамы на дрова, упреждаем, что будем стрелять». Однако угроза не помешала тому, чтобы пустующая половина дома осталась уже в начале прошлой зимы без полов и без рам. И я не чужд подозрений, что даже в нашей собственной «буржуйке» пылал иногда горючий материал именно тамошнего происхождения, добытый моими с риском получить пулю в лоб...

До настоящей осени древесные насаждения внутри Петрограда, если не считать единичных случаев хищничества, были целы. Но вряд ли им спастись от топора в эту зиму. А жаль. В этом исключительном случае не могу не присоединиться к коммунистическому панглосизму: благодаря запустению Петрограда и полному отсутствию ухода все общественные сады, парки, даже иные скверы, одичали и приняли красивое подобие рощ. Закоснелых старых петербуржцев это возмущает, но я с детства разделял сожаление той анекдотической институтки, которая горевала, зачем городов не строят в деревне. На старости лет привел Бог видеть исполнение желаний, да еще в таком огромном масштабе, как Петроград! На что уж плох Александровский сквер, — ныне любимое место вечерних прогулок петроградского пролетариата, — а и тот, разросшись, получил весьма идиллический вид. В последний раз, когда я им проходил, вокруг памятника Петра Великого мирно паслись, объедая газон,

чьи-то лошади. Рьяный конь «Медного всадника», должно быть, не без изумления созерцал со своей скалы кротких, пролетарских меринков, неожиданно пробравшихся в столь близкое к нему соседство.

Параллельно гибели деревянного Петрограда разрушался и каменный. После двух лет зловещих предостерегающих признаков, которые все видели, но на которые никто не обращал внимания, начались обвалы обветшавших без ремонта домов. Известнейший приключился на Гончарной улице, поменьше — в Измайловском полку, на Бармалеевской улице, на Выборгской стороне. Советские учреждения помещающиеся в реквизированных домах, обратились в какие-то кочевья, то и дело переезжали из одного здания, где давал трещину потолок, в другое, где через некоторое время, осовывались полы, и, стало быть, надо было перебираться в третье, где вскоре угрожала падением какая-нибудь стена и т.д. Надо сказать правду, что многие домовладельцы (т.е. бывшие, а ныне умудрившиеся как-нибудь остаться при своей недвижимости в качестве жильцов, управляющих и дворников) и квартировладельцы, заслышав, что к ним или в их соседство думает перебраться советское учреждение, сами принимались безобразить свои помещения всякими невинными по существу, но неприглядными на вид повреждениями, — с умыслом отклонить советских экспертов от соблазна реквизиции. Иногда это удавалось, потому что экспертировали люди, не очень-то много смыслящие в строительстве и избалованные обильными возможностями выбора. Но иногда коса находила на камень, разыгрывались чисто опереточные qui pro quo *. Один знакомый мой домовладелец так хорошо убедил экспертную комиссию в мнимой непригодности своего жилища для присутственного места, что не только присутственное место в него не въехало, но и самого хозяина комиссия

* Неразбериха (*лат.*).

обязала выехать, дабы и он не подвергал своей жизни опасности, обитая в разрушающейся квартире.

Подобные уловки практикуются не из одной ненависти к большевикам, но еще более по опытной уверенности, что всякое помещение, захваченное большевиками, будет немедленно изгажено до нежилого состояния, а, когда грязь, вонь и всяческая разруха сделаются невыносимыми для самих захватчиков, они преспокойно переползут в новую даровую берлогу; а старую бросят на произвол судьбы, в непоправимой обреченности на разрушение. В минувшем августе, в короткий период заигрывания советской власти с интеллигенцией, в числе дождем посыпавшихся льготных декретов был один декрет также и о возвращении владельцам домов вместимостью не более 20 квартир и стоимостью не более 40 000 рублей довоенного времени. Однако почти никто из домовладельцев, а я, например, и вовсе ни одного такого не знаю, — не воспользовался этим декретом, потому что ремонт дома, пробывшего четыре года в советском владении обошелся бы несметно дороже, чем построить новый. Когда лисица нуждается в логовище, она, слишком ленивая и неумелая, чтобы строиться сама, забирается в опрятную и уютную нору барсука, самого чистоплотного из всех лесных зверей, и грязнит ее нечистотами. Барсук в ужасе и отвращении бежит из норы, покинув ее лисице, и принимается строить новую. Никогда не замечали, чтобы он возвращался к старой. Когда большевики падут и уйдут, петроградскому домостроительству придется возрождаться, несомненно, по барсучьей системе, старые его созидания слишком безнадежно загажены.

Большую вину в разрушении Петрограда надо возложить на пролетарское вселение в буржуазные квартиры. Опыт этот, как известно, кончился полной неудачею. Рабочие очень неохотно шли в предлагаемые им княжеские дворцы и барские хоромы. Анцеловичу с братией приходилось вселять их чуть не силою, после долгих уговоров.

А вселившиеся начинали чувствовать себя прескверно в больших залах, рассчитанных на обильное и дорогое отопление и на обитание людьми, располагающими целым штатом прислуги, — иначе комфорт их превращается, наоборот, в отрицание всякого удобства. Намерзнувшись без дров в раззолоченных и мрамором шитых застылых стенах, пролетарий бесцеремонно ставил в них свою «буржуйку». Но напрасно коптил он сажею великолепие художественных плафонов: пространство пожирало тепло. Наскучив тратить время и ноги на беготню в общую кухню по лестницам с высоты третьего-четвертого этажа к полуподвалу; обратив, за ленью пройти в отдаленный ватер-клозет, ближайший пустой зал в отхожее место, — рабочая семья проникалась отвращением к своему боярскому жилью и уходила обратно в привычный подвал, где «в тесноте, да не в обиде», — «буржуйка» не только дымит да коптит, но и греет, и все житейское — рукой подать, и нет изящных вещей, которые требуют бережи. Перед уходом она, конечно, обдирала кожу и дорогую обивку с мебели, портьеры, гардины, волокла прочь все, что представлялось ей ценным или просто полюбилось и оказалось уносимым, и оставляла квартиру в мерзости запустения в точнейшем смысле этого слова.

Не знаю, велик ли удар нанесли большевики вселением аристократии и большой буржуазии, но пользы пролетариату не принесли ни малейшей, а свинство развели великое.

Большое же горе от вселения пришлось претерпеть, как водится, совсем не капиталистам, но вечным безвинным козлам отпущения за грехи капитала — мелкой буржуазии, разночинцам и нам, трудовой интеллигенции. В обнищалый и суженный до предельной тесноты быт среднего класса внедрение рабочих, а в особенности красноармейщины и матросни, вносило обыкновенно нестерпимые стеснения, как материальные, так и моральные. Я сам много натерпелся от этого зла и имею право судить о нем. Наши вселенные были

нехудые люди, но фальшивое положение создавало невольно фальшивые же отношения, о которых неприятно вспоминать. Да еще, так как мы с женою люди немолодые, а дети мои мальчики, то у нас вселение не сопровождалось множеством щекотливых условий, которые вносились им в семьи, где имелись молодые женщины, девушки и в особенности девочки-подростки. В современном разложении петроградской семьи, в ужасающей распущенности молодежи, в безобразии слишком ранних и краткосрочных советских браков, в продажной доступности женщин, одичалых в лишениях беспросветно тяжкой и серой жизни, в развитии новой легкомысленной и развеселой проституции, столь обычной и упрощенной, что она уже даже не считает себя проституцией, а так — чем-то вроде выгодного приятельского товарообмена, услуга за услугу, — во всех этих грехах и бедах петроградского общества пролетарское вселение сыграло важную и скверную роль, с печальнейшими последствиями для обеих сторон — как для потерпевшего вселение среднего класса, так и для вселявшегося пролетариата.

Вот уже более года, как коммунистические Кремль и Смольный настойчиво возвещают *urbi et orbi* *, что героический период их революции, период разрушения, закончен, и теперь они входят в период творчества и созидания. Максим Горький торжественно манифестировал этот перелом в пресловутой своей статье о Ленине, в которой сей последний был превознесен выше Петра Великого; канонизирован в «святые», объявлялся «мучеником» за то, что ему, бедному, приходится ужасно страдать душою, расстреливая тысячи людей, погибающих телом; увенчан полномочиями и впредь производить над организмом России дальнейшие «эксперименты в планетарных размерах», по тем же методам марксистской вивисекции. В свое время я дал на эту возмути-

---

* См. пер. на с. 98.

тельную статью отповедь, распространившуюся по Петрограду во множестве списков. В статье Горького было очень комическое место, где он, выхваляя культурные заслуги Ленина весьма высоким слогом, утверждал, будто задача московского диктатора — превратить земной шар в «зеленый изумруд». Вполне одобряя столь возвышенное намерение, я указывал, что в Петрограде, по-моему, это счастливое превращение уже началось, так как не только окраинные улицы Васильевского острова и Петроградской стороны, но даже бойкие когда-то центральные, вроде Итальянской, густо заросли зеленою травкой-муравкой. Советская поэтесса Лариса Рейснер, супруга известного Раскольникова, воспевала эти идиллические заросли в весьма чувствительных этюдах, на столбцах коммунистических официалов. Петроград такой фантастический город, что с ним нельзя даже пошутить: какую ни предположите о нем гиперболу, — глядь, несбыточное оказалось сбыточным и действительность далеко оставила за собою карикатуру. В 1919 году, глядя на зачатки нынешних петроградских джунглей, мы острили, что этак, пожалуй, на улицах Северной Пальмиры скоро будут козлы пастись. Летом 1921 года белыми пятнами коз, пасущихся на пустырях вокруг развалин, пестрел даже Каменноостровский проспект, не говоря уже о более глухих улицах Петроградской стороны. А когда вы углубляетесь по пустырям этим в сторону от улицы, стало совсем не в редкость, что из травы выскакивает и дорогу перебегает кролик. К кролиководству советская власть усиленно призывала голодающее население, и население вняло. В самое короткое время плодовитый зверек этот размножился в ужасающем количестве, так что хроникер «Красной газеты» имел полное право отметить с самодовольным торжеством, что «теперь у нас в Петрограде кроликов гораздо больше, чем жителей». Почему такое соотношение должно восхищать коммунистов, это их тайна, но они вполне правы: людей в Петрограде все убывает, а кроликов все прибывает.

Быть может, самым зловещим для Петрограда предсказанием является то обстоятельство, что его руины делаются уже живописными. Безобразные в 1918 и 1919 годах остовы стен и печей, фундаменты, трубы, — свежие кирпичные скелеты среди мусорного разложения, — округлились под дождями и снегом, осыпями, поросли мхами, сорными травами, а иной раз приметишь уже крошечный, развивающийся древесный кустик. «На твоих церквах вырастают дерева», — хвастал когда-то Федор Глинка матушкой Москвою, — кажется, мы недалеки от того и в нисколько не старинном Петрограде: нехитрое оказалось приобретение! Есть уголки, уже настолько романтически облагороженные длящимся страданием своего разрушения, что, на мгновение отрешаясь от места действия, останавливаешься пред ними, как пред какою-нибудь средневековою башнею на Рейне или в римской Кампанье. Боюсь, однако, что, говоря это, подаю коммунистической печати новый повод к оптимизму: «Вот, дескать, и преотлично! новый источник государственного дохода: к нам, как на Рейн и в римскую Кампанью, поедут туристы, по преимуществу, конечно, англичане и американцы, и будут платить нам золотою валютою, которую мы немедленно употребим на устройство коммунистической революции где-нибудь на островах Фиджи или в Уругвае...

Что производит безусловно ужасное, бесконечно тягостное впечатление, так это громадная торговая площадь между Фонтанкою и Садовою, вплоть до Сенной площади, — Апраксин и Щукин двор, — пространство большого уездного или маленького губернского города! Здесь разрушение не скрадывается уже никакими, хотя бы могильными, прикрасами. Труп мертвой торговли лежит на зелени густо поросших травою проходов, нагой и безобразный. Жутко идти сквозь эту безгласную пустыню, которая когда-то была самым шумным и оживленным центром Петрограда. Бесконечные угрюмые ряды лавок, запертых на болты, но с выбитыми стек-

лами, с выломанными окнами, брошенные лабазы за железными ржавыми дверями, — и полное безлюдье, гробовая тишь, нарушаемая лишь скрипом оторванных ветром качающихся вывесок да время от времени грохотом упавшего где-нибудь с крыши железного листа. По галереям бегают отвратительного вида крысы, за ними охотятся бездомные бродяги-коты. Иногда вспыхнет вдруг ярким гамом взрыв озлобленного собачьего лая. В ту сторону я никому не посоветовал бы идти, — особенно под вечер: обесторженная пустыня сделалась убежищем стаи одичалых псов, к праздным гостям весьма неприязненных. Они даже и внешним-то видом стали похожи скорее на шакалов каких-то, чем на собак; немного напоминают, пожалуй, былых константинопольских псов, которые были незаменимыми чистильщиками улиц грязнейшего Цареграда, но без их кротости. Чем они в этих голых руинах могут питаться, недоумеваю. Разве что кошки поедают крыс, а они кошек. Площадь пустыни дает ряд удобных проходов с Фонтанки на Садовую, но редко-редко встретишь на ней человека. И, — завидев издали друг друга, — он осторожно перебирается на другую галерею прохода, а ты якобы беспечно кладешь руку в карман, притворяясь, будто у тебя там засунут невесть какой маузер.

Когда в Петрограде начали разваливаться дома, что как раз совпало с возвещеним созидательной эры, советская печать заявила озадаченному населению, что это ничего, тревожиться тут нечем, — напротив, и прекрасное дело, если старый Петроград надумается наконец развалиться, потому что он выстроен скверно и нисколько не соответствует величию коммунистической столицы. А вот, когда он вовсе развалится, мы его выстроим новый, — и уж выстроим на славу! Излагался обширный план города-колосса, составленного вокруг административной коммунистической цитадели из ряда поясов — служебного, жилищного (для рабочих), садового, фабрично-заводского и, наконец, где-то далеко, по ту сторо-

ну добра и зла, обывательского. Получалось что-то необыкновенно величественное и привлекательное — вроде перманентного концентрационного лагеря.

Я не знаю, когда и как большевики начнут осуществлять свой могущественный план и относится ли к нему первая и покуда единственная в Петрограде монументальная постройка, — штука удивительная и даже, можно сказать, зловещая. Почему-то свои строительные заботы они начали не с живых, а с покойников: принялись в первую очередь сооружать крематорий.

Период его созидания начался большим курьезом, характерным для советских нравов. Затеяв строить крематорий, большевики объявили на проект его художественный конкурс. Поступило несколько проектов. Не помню, кто получил первую премию, но вторая досталась художнику-любителю, обретавшемуся тогда в довольно необыкновенных условиях творчества. А именно: он отбывал тюремное заключение и принудительные работы по приговору «народного суда» — не за политическую неблагонадежность (это-то какая же была бы редкость!), а за весьма скверную уголовщину. Не теснимый нуждою, без причин к личной ненависти, только побуждаемый корыстною целью, он заманил своего ближайшего друга в ловушку, убил и ограбил. Но — неловко: попался почти на месте преступления. Дело было настолько гнусно, что даже коммунистический суд, в той же степени мягкий к уголовным преступникам, в какой свиреп он к «контрреволюционерам», решил явить на этом господине пример строгой спаведливости и дал ему высшую меру наказания.

Заключенный этот никогда раньше строительством не занимался и архитектурный план начертил впервые в жизни, почти из баловства, тюремной скуки ради. Однако неожиданно жюри большевиков, составленное из чиновников Отдела городского управления, восхитилось этим каторжным

проектом больше всех других, и лишь случайно получил он только вторую премию, — первую дали, чтобы не обидеть, какому-то покладистому профессионалу «с именем».

Проекты были оглашены специально устроенною выставкою, фотографические снимки помещались в газетах. Я помню эту вторую премию: безграмотное любительство претенциозно замысловатого рисунка бросалось в глаза даже не специалисту. Однако строить крематорий было решено именно по проекту художника-каторжанина.

Теперь возникает вопрос: кому заведовать постройкой?

— Да кто же лучше построит здание, как не сам автор проекта? — справедливо решает крематориальная комиссия.

— Блестящая идея!.. Но... есть препятствие...

— Какое?

— Да ведь автор-то сидит в тюрьме?

— Велика важность! — выпустим!

— Да ведь сидит-то за убийство?

— Эка невидаль! помилуем, — и вся недолга!

— А как же спасительный пример строгой справедливости?

И «высокоталантливого» убийцу, действительно, освободили от наказания.

Строить крематорий, однако, ему не пришлось. Москва ли воспротивилась, другая ли помеха приключилась, но каторжный проект в конце концов был отставлен и заменен другим, хотя бездарным, но все-таки более грамотным. Был ли архитектор-убийца возвращен в тюрьму после того, как проекту его было отказано в осуществлении, об этом я, к сожалению, не осведомлен. Историю эту рассказывал мне очень крупный чиновник коммуны, участник крематориального жюри и пылкий защитник каторжного проекта.

Покуда крематорий воздвигали, Петроград за три года вымирал, как никогда раньше. Перегруженные кладбища приняли в свою отравленную почву не одну сотню тысяч мертвецов, загубленных тифом, дизентерией, холерой, цин-

гой, а больше всего просто голодным и холодным истощением при непосильной физической работе, превращавшей пресловутый восьми- и даже шестичасовой трудовой день на бумаге в шестнадцатичасовой на деле.

Коммунистическая печать сулила: подождите, вот готов будет крематорий, осуществится истинно пролетарский способ огненного погребения, и отныне почва будет избавлена от заражения, вода от насыщения микробами, воздух от миазмов: всем стихиям удовольствие, а человекам — подавно.

Наконец, минувшим летом, свершилось: достроили крематорий — и открыли. Съехались в это пребезобразное здание именитые советские мужи, произнесли приличные случаю речи, всунули в печь первого покойника, — ан, он оказался огнеупорным: не горит! Ток работает, а покойник, что ты хочешь, контрреволюционно саботирует и не горит. Не знаю, сколько часов продолжалось это упражнение, но в конце концов истратив на непокорного мертвеца электричества не меньше, чем на бойкую фабрику, все-таки пришлось извлечь его из печи, может быть, изжаренным, но не испепеленным, и зарыть в землю. Кажется, на этом опыте история крематория и прекратила свое течение.

В крематориальном курьезе, как в зеркале, отражается mania grandiosa * большевизма, бред величия, которым он кружит головы юным и малограмотным своим адептам; детская страсть хвататься за «последнее слово», не зная первого, прыгать на верхушку, не уверясь, есть ли под нею основание; психология и политика покушений с негодными средствами, громкозвучных, но неосуществимых затей, которые действительность словно подрядилась осмеивать самым оскорбительным издевательством. Ну разве не курьезное, в самом деле, совпадение, что московский высокоторжественный декрет об электрификации был опубликован прошлою вес-

---

* Мания величия (*лат.*).

ною в Петрограде в один и тот же день с распоряжением о прекращении электрического освещения? Претензии всегда огромные, задачи гигантские, именно уж «горы мучатся родами», а родят... даже не мышей, но разве блох, на мышах живущих!

Не было правительства, которое больше кричало бы о потребностях культурного творчества, которое провозглашало бы более широкие и передовые планы и в котором весь этот декламатический крик, так на крике и кончался бы, либо при попытке перейти в действие разрешался бы в более жалкую бездарность и бессилие. Разрушать, разлагать, портить, — что говорить, молодцы вне сравнения, настоящие великаны из старых сказок. Но, чуть требуется работа положительная, созидающая, великаны мгновенно умаляются до роста карликов, и тяжелые великанские панцири, которые они, самовлюбленные и самомнящие, пытаются удержать на себе, комически валят их на землю. Большинство коммунистов считает и заявляет себя атеистами. С существующими религиями коммунист во всяком случае обязан быть во вражде. Настолько, что участие коммуниста в религиозном обряде составляет принципиальный повод к исключению его из партии. Однако это правило не выдерживает своей силы в практических столкновениях с жизнью и допускает множество исключений, все растущих по мере того, как коммунизм стареет, слабет, выцветает, теряет свою нестерпимую изоляцию и делает шаги к сближению с буржуазной средой. В особенности много уступок потребовали и добились брачные отношения. Но об этом, равно как о самодовлеющем религиозном строении коммунизма, о том, как он сам вырабатывается в религию, предпочитаю поговорить впоследствии особо, потому что эти темы обширные. А покуда я хочу лишь отметить, что при всем своем атеизме и всяческом «богоборчестве», при всей своей ненависти ко всякому признаку спиритуализма, при всей своей вражде ко всему сверхъестественному и фан-

тастическому, доходящей до такого ожесточения, что из детского чтения беспощадно изгоняются волшебные сказки, а М. Горький, цензуруя сказки Андерсена, вычеркивает в них слова «Бог», «Провидение» и т.п., — при всем этом коммунисты, эти страстные энтузиасты и неустанные проповедники исторического материализма и положительного знания, оказываются во всех своих опытах творить жизнь не только необузданными идеалистами, но даже фантастами и визионерами — и именно религиозного, верующего типа.

Прошу моих читателей извинить, если я, за давностью, ошибусь в словах текста, который полвека тому назад зубрили мы гимназистами наизусть из православного катехизиса митрополита Филарета. Но за точный смысл ручаюсь. «Вера есть убеждение в невидимом, в грядущем, как бы в настоящем, в обетованном, как бы в достигнутом, в уповаемом и чаемом, как бы в осуществленном». Определение это Филарет, если я не ошибаюсь, заимствовал у Тертуллиана: мистика из мистиков, вдохновенного ритора, который всегда весь горел огнем аскетического экстаза и кончил свою жизнь монтанистом, — а ведь учение Монтана — это максимализм первобытного христианства. Сколь ни обидно мое сравнение для исторических материалистов русской коммуны, но их вера и ее творческие дела целиком укладываются в эту православно-мистическую формулу Филарета и Тертуллиана. Говорю, конечно, о коммунистах честных, т.е. искренних и убежденных: их очень немного, но все же они есть, — а не о той подавляющей массе жуликов, шарлатанов и разбойников, которые, примазавшись к коммунистическому идеалу, эксплуатируют его наиболее первобытные вещания как жирно доходное имение. Усердием и аппетитами этой господствующей массы, безгранично бесстыжей в своем циническом эгоизме, русский коммунизм облеплен столь густым слоем разнообразнейшей, но всегда одинаково зловонной и неотмы-

ваемой грязи, что из под нее уже никакой идеи не видно и не слышно. А слышны залпы «красных курсантов», присяжных расстрельщиков русского народа под кутежный хохот разжиревших хищников-спекулянтов на коммунистическую революцию, вроде Зиновьева с компанией, радостно ревущих окончательно обессмысленный и обесславленный в их устах, звучащий ныне насмешкою над самим собою «Интернационал». Слышны предсмертные стоны жертв, погибающих миллионами от голода и десятками тысяч в почти безоружных восстаниях отчаяния. Какая идея может остаться жива под ферулою дикой кучки самодуров, в которых безумие и подлость, невежество и злость переплелись до потери всех разделяющих границ? Так тесно, что теперь, когда Ленин публикует декрет о каком-либо новом своем вивисекционном «эксперименте в планетарных размерах» над истекающей кровью Россией, то общество уже не в состоянии разобрать, где в этом якобы «гениальном» реформаторе кончается сумасшедший и начинается тот бездушный, бессовестный, безжалостный политикан-«мошенник», царство которого предсказал нам в «Бесах» Достоевский и речами, и деяниями (тоже «эксперименты» ведь!), и вожделениями (тоже «планетарными») Петра Верховенского.

Что касается коммунистов искренних и убежденных, то, право, мудрено решить, является ли их вера по Филаретовой формуле для них счастьем или несчастьем? Объективно судя, как будто несчастие, потому что ею предопределяется для них мечтательная деятельность, которой, выражаясь стихом Некрасова, «суждены благие порывы, но свершить ничего не дано». Субъективно же они, напротив, очень счастливые люди, потому что фактическое несвершение «благих порывов» их по силе веры нисколько не тревожит: как скоро «благой порыв» у них зародился, они уже считают его осуществленным и на том успокаиваются радостно и самодовольно. Прямо-таки поразительна их способность

питаться воображением за действительность, словом за факт и символическим обещанием за осуществление. Очень часто думая о большевиках (конечно, не о «мошенниках» типа Верховенского, — о тех что же и думать!), я не могу удержаться от мысли, что они — запоздалые возрастом дети. Очень скверные, испорченные, злые, преступные дети, но все-таки дети.

Знаете ли вы эту детскую способность — превращать игру в действительность до такой степени, что окружающая реальная действительность совершенно исчезает за мнимою действительностью игры? Как, воображая и изображая «воздушных человечков», дети увлекаются до того, что жизнь и быт призрачных лиц, ими выдуманных, куклы или вещи, условно принятой за куклу, делаются для них реальностью, дающею им гораздо больше впечатлений и эмоций, чем настоящий мир наших пяти чувств и трех измерений? Я сам вспоминаю из детства своего как весьма тяжелые обстоятельства нашей бедной, трудно боровшейся за существование семьи терялись для меня и сестер моих за гораздо более важным вопросом, женится ли некий великолепный герцог Ферро (безрукая терракотовая фигурка мушкетера) на обожающей его девице Амброзио (хрустальная пробка от графина) или преступно ее покинет?..

Несомненно, это бред наяву. Творчество большевиков — сплошная эпидемия такого детского бреда. Вот — маленький житейский пример.

Еще Временное правительство постановило обратить в Петрограде площадь бывших гвардейских парадов, Марсово поле или Царицын луг, в Пантеон свободы и похоронило здесь убитых в дни Февральской революции. Большевики явочным порядком превратили Пантеон свободы в Пандемониум коммуны. На кладбище Марсова поля положены Володарский, Урицкий, Нахимсон и еще несколько покойников, оплаканных большевиками при весьма сухих глазах у про-

чего населения. Ограда кладбища собрана из драгоценного гранита, служившего фундаментом для решетки сада б. императрицы Александры Федоровны у Зимнего дворца. Решетка была аляповата и безвкусна, но кладбищенская ограда, для которой она послужила материалом, даже о ней заставляет жалеть: такая вышла, как немцы говорят, «пирамидальная» казенщина и пошлость. Кругом проектирован был громадный народный парк, — такой, чтобы с одной стороны он граничил с Летним садом, с другой — с садом Михайловского дворца. Открытие этого парка было назначено на 1 мая 1920 года.

Ни в 1918, ни в 1919 гг. устройство этого парка не сдвинулось с декретирующей бумаги в бытие ни на вершок. Весною 1920 г., когда снег сошел, появились на площади какие-то страшно оборванные люди с лопатами и стали что-то вяло копать и ковырять в грязи. Вокруг на бревнышках сидели красноармейцы с винтовками. Однажды среди копающих оборвышей я заметил знакомого врача, которого почитал давно выбывшим из Петрограда. Оказалось, нет: отбывает принудительные работы в Чесменке (бывшая Чесменская богадельня, обращенная в арестный дом) и вот в числе других арестантов прислан на земляные работы по утройству будущего парка. Это было в первых числах апреля. Поглядел я и только плечами пожал: до 1 мая оставалось меньше месяца, а работы было на год. Затем, проезжая мимо почти ежедневно, я видел с трамвая все тоже безнадежное, безуспешное ковыряние бурой грязи неумелыми, слабосильными людьми, впервые взявшими лопату в руки, привычные у кого к скальпелю, у другого к перу, у третьего к аршину. И все также равнодушно сидели кругом, паля папиросы, конвойные красноармейцы. Никакого парка все еще и следа не было. В последнюю апрельскую неделю на четырех углах плаца появились четыре безобразнейших кубышки в форме приземистых грибов-исполинов. Публика глядела и недоумевала, что за уродство поставлено? Одни говорили, что это — гро-

мадные артельные котлы, из которых будут на гулянье угощать народ чаем и кашей. Другие, горьким советским опытом обученные пессимизму, скептически возражали: «Держите карман шире! Таковские, чтобы угостили! Из каких бы это запасов? Нет, это у них там пулеметы запрятаны, чтобы в случае чего палить по народу...»

Впоследствии оказалось, однако, что грибы, выросшие на Марсовом поле, не котлы для каши и не блиндажи для пулеметов, но по объяснению коммунистической печати «могущественные фонтаны, сила которых должна превосходить знаменитые петергофские», а эти последние, как известно, превосходят еще более знаменитые версальские... Уж у нас дешевле не мирятся! Превосходить так превосходить! знай наших!

Набили колышков и растянули по ним шнурки:символы будущих дорожек. Натыкали в землю какие-то безлистные розги: символы будущих клумб и цветников. Вообще — по рецепту городничего Сквозника-Дмухановского в «Ревизоре», как он приказывал воткнуть у разломанного забора шест с метлой, «чтобы было похоже на планировку». Сколько я наблюдал, большевики часто сходятся с этим почтенным персонажем бессмертной комедии Гоголя как в тактике, так и в практике. Между прочим, и в уверенности, что «чем больше ломки в городе, тем лучше, потому что ломка свидетельствует об энергии градоначальника…»

В последние дни апреля я не выходил из дома по болезни, а в первомайский праздник — по осторожности. Вечером 1 мая меня посетила супружеская чета большевиков, сохранившая к моей семье добрые чувства по старым хорошим отношениям в эмиграции, вопреки резкой теперешней разнице наших мнений и положения. Они занимают видные советские посты, — я то и дело арестуемый и обыскиваемый, подозрительный по «контрреволюции, интеллигент-литератор». Гости мои принадлежали, бесспорно и безусловно, к той нравствен-

ной аристократии большевизма, о которой говорил я выше, к тем редким в нем праведникам, по молитвам которых, может быть, и не проваливается еще этот Содом. Но каково же было мое удивление, когда оба, муж и жена, принялись взапуски описывать мне в числе прочих несчетных красок нынешнего своего праздника также и роскошь парка на Марсовом поле, — они только что присутствовали на его открытии, — его цветочные клумбы, газоны, фонтаны, беседки, гроты, тенистые аллеи...

Я слушал — ушам не верил. Смеются, что ли, они надо мною? Нет, совершенно серьезны. Нагло лгут? Знаю обоих за людей правдивых и к мистификациям не склонных. Между прочим, расписывают свою небывальщину с таким убежденным восторгом, что даже меня ввели в сомнение: неужели большевики за три-четыре дня, что я не видел Марсова поля, успели сотворить чудо? Ну, декоративные украшения — это я еще допускаю. Когда-то давно в Москве знаменитый театральный антрепренер Лентовский на моих глазах, в три дня, обратил при помощи папье-маше и глины захудалый и заброшенный двор при каком-то машинном складе в великолепный увеселительный сад «Чикаго». Но там ему в помощь все-таки было несколько недурных старых берез, сохранившихся от чьего-то давно вырубленного сада. Но здесь? на голом месте? Между тем супруги определенно твердят о тенистых аллеях... Оставалось предположить фантастическое: что большевики выкорчевали прекрасные рощи на Островах и в пригородах Петрограда и, вопреки полному отсутствию в нем перевозочных средств, как-то умудрились пересадить деревья на Марсово поле...

3 мая появилось описание первомайского торжества на Марсовом поле в официалах коммунистической власти. По восторженному тону и яркости изобразительных красок, оно нисколько не уступало рассказам моих гостей, — скорее превосходило их...

Назавтра я нарочно сошел с трамвая, чтобы лично смотреть новоявленные Аладиновы сады. Но... они исчезли, будто и впрямь волшебный мираж из арабской сказки!.. Ничего! как есть, ничего!.. По-прежнему, — вокруг гранитного, тюрьме подобного, пирамидального мавзолея, море бурой, только теперь еще и истоптанной тысячами ног грязи; по-прежнему, — метлы и розги, воткнутые вдоль шнурков на колышках; по-прежнему, — четыре гриба по углам...

И — в таком виде эта прелесть и по сию пору остается, лишь меняя в жаркие месяцы грязь на пыль. У могильника еще принялись какие то нетребовательные вьющиеся растения. На площади фантастического парка зачахли и бестенно посохли даже те жалкие насаждения, что в апрельских приготовлениях символизировались метлами и вехами, по рецепту городничего Сквозника-Дмухановского... Параллельно могучему, вековому, историческому Летнему саду тянется тощая линия-однорядка акаций, из которых через два третье — уже мертвое... И это все.

А между тем люди видели, люди восхищались, захлебывались восторгами, писали их черным по белому и увековечили печатью... Что же это? Сплошное ли бесстыдство политических шарлатанов, эпидемическое до такой чумной силы, что им заражаются даже люди, заведомо правдивые и порядочные?.. Не думаю. Конечно, бесстыдства и шарлатанства, которое, отлично понимая истинное ничтожество своего жалкого творчества, тем не менее «втирает очки» коммунистическим массам великолепными лжами, — у лидеров большевизма — сколько хочешь, столько просишь. Оно кричит с трибун глотками Зиновьева, Евдокимова, Анцеловича, Зорина, строчит гипнотизирующую прозу перьями Нахамкиса-Стеклова в Москве и В. Быстрянского в Петрограде, а с пера какого-то Демьяна Бедного источает неисчислимое количество гипнотизирующих стихов. Оно заставляет М. Горького выступать на митингах с речами, от которых

его самого втайне тошнит, и публиковать безобразные по неискренности статьи, подобные его льстивому гимну во славу Ленина. Что говорить! Гипноза много, и он энергичен и постоянен. Однако тут работает не только гипноз, но и автогипноз. И, может быть, потому и удачна так работа шарлатанскго гипноза, что уж очень счастливо попадает она на почву автогипноза, жаждущего веры и чудес. «Эллины мудрости ищут, а иудеи чуда», — сказал апостол. А ведь коммунистический идеал — исконное творение иудейского энтузиазма, вопиявшее еще устами библейских пророков (nabi), — и сколько же евреев, отнюдь не из фальшивой породы Зиновьевых-Апфельбаумов, оказывается энтузиастами и фанатиками современного коммунизма!..

Да, ищут чуда и веры. То, что я рассказал о Марсовом поле, ведь это же именно «уверение в невидимом, как бы в видимом, в грядущем, как бы в настоящем, в обещанном, как бы в достигнутом...» Катехизическая вера с примесью увлекательной детской игры, которая хрустальную пробку принимает за принцессу и видит Аладиновы сады там, где нет ничего, кроме грязи и прутьев, подобных розгам.

Конечно, автогипноз не вечен и за очарованиями быстро следуют разочарования. В медовый месяц победы большевиков с легкого почина и благословения А.В. Луначарского, из всех генералов русской коммуны наиболе склонного к детской вере и детским играм, Петроград покрылся, как прыщами, скульптурным недоразумением, которое называлось памятниками великим людям мировой революции. Эта эпидемия прокатилась по всем городам и весям, где завелись коммунистические «культпросветы», т.е. коллегии, ведающие культурой и просвещением местного пролетариата. Большевистский монумент сооружался очень легко — тоже по методу принятия пробки за принцессу и ожидаемого за осуществленное. Обклеивают длинный ящик парусиною, раскрашенною под гранит или мрамор, и утверждают его,

стоймя, к земле цементом: это пьедестал. На него водружается наскоро смятая из глины и кое-как обожженная фигура, издали несколько похожая на человека, вблизи ни на что не похожая, так как обыкновенно революционные памятники лепились ваятелями-футуристами. Художники этого направления первыми пошли на службу к большевикам и под покровительством Луначарского пользовались некоторое время исключительным фавором власти, пока наконец в 1920 году в Петрограде их засильем не возмутились рабочие, заявив, что в таком искусстве они ровно ничего не понимают, и не хотят понимать, и требуют, чтобы город его произведениями не уродовался. Кому-кому только не поставлено было подобных скороспелых монументов в это удивительное время! Петроград в революционно-скульптурной мании все-таки дальше Марата не пошел, но Москва украсилась не только Робеспьером, но и Стенькою Разиным, а город Свияжск — даже Иудою Искариотом. Недавно датский писатель Келер, случайно присутствовавший, описал весьма красочно изумительное открытие этого последнего монумента: жуткая картина забавы на буйном отделении дома сумасшедших!.. Открытие каждого монумента сопровождалось торжественными речами и хвалебными статьями в честь и славу пролетарского искусства, пришедшего на смену отжившему буржуазному, чтобы воцариться в мире на веки веков. Но, глядишь, месяц другой спустя под дождем, снегом и меткими камнями уличных мальчишек вечный монумент уже успел принять такой скоропреходящий вид, что даже невзыскательные эстеты Смольного начинают находить его зазорным. Тогда фигура под предлогом отливки из бронзы снимается, а осиротелый пьедестал остается грустно хлопать по ветру оборванной парусиной, уныло обнаруживая под ее крашеным гранитом деревянный свой остов, покуда в одну из темных ночей какой-нибудь предприимчивый обыватель не срезает ее, справедливо находя, что, чем ей болтаться зря, гораздо

полезнее будет заделать ею свое бесстекольное окно. Так сняли Радищева, «первого русского революционного писателя», у Зимнего дворца. Фердинанда Лассаля — у Городской думы. Его сняли при мне в конце июля или в начале августа после того, как уличные мальчишки, лукая камнями, превратили бедного гипсового трибуна в какого-то Расплюева из «Свадьбы Кречинского», с подбитым глазом и своροченным на сторону носом. Этот памятник преследовался особенною ненавистью петроградской улицы. Не потому, чтобы она ненавидела Лассаля, которого ни любить, ни не любить она не может уже просто потому, что из ста нынешних петроградцев едва ли один слыхал что либо о Лассале, да и этот-то один освдомлен о нем, поди, больше по роману Шпильгагена «Leo». Но скульптор-футурист в стремлении выразить демонический характер Лассаля, так свирепо вздыбил ему волосы, так надменно задрал его голову вверх, загнул его длинный нос таким адским крючком, что простой народ принимает его за черта. А так как нелепый бюст этот был поставлен в двух шагах от весьма чтимой часовни, то и пошла молва, что вот де большевики назло Божьей Матери и Миколе Угоднику соорудили рядом идол своему Богу — черту. Ну а какие же благочестивые уста удержатся от удовольствия на черта плюнуть, а благочестивые руки — от наслаждения швырнуть в него камнем?.. Конечно, если поблизости нет милиционера, который за это отведет благочестивца в комиссариат, а комиссариат отправит в Чрезвычайку, а Чрезвычайка — «к стенке» или «налево», т.е. под расстрел. Так были расстреляны матросы, подложившие петарду под статую Володарского: пьяная шутка, из которой Чрезвычайка, конечно, не преминула сделать «контрреволюционный заговор». Взрывом статуе отшибло ноги. Несколько дней она красовалась на шестах, возбуждая всеобщий смех: излюбленный оратор большевизма, изображенный скульптором, хотя в пиджаке, но в позе трибуна, с плащом, перекинутым через руку, вдруг

трагикомически превратился в инвалида, предлагающего прохожим купить его старую шинель. Затем статую сперва одели в чехол, потом и вовсе убрали. Софью Перовскую, героиню партии «Народной воли» и вдохновительницу убиения Александра II, тоже почтили было бюстом у Николаевского вокзала, но уже несколько дней спустя сняли, даже не дожидаясь внешних повреждений. Таким ужасающим чудовищем изобразил мастер-футурист эту, в действительности, миловидную женщину, чьи очарования восторженно изображали нам Степняк-Кравчинский и другие мемуаристы «Народной воли». Сам Луначарский испугался! А ведь при открытии тоже поднят был крик о силе и прелести нового пролетарского искусства!.. Дети поиграли часок-другой хрустальною пробкою, принятой за принцессу, а потом разглядели, что пробка есть только пробка, и выбросили ее в сорную кучу...

Сдается мне, что процесс такого разглядывания и выбрасывания, если не начался, то уже зарождается во всех отраслях русского коммунистического творчества, начиная с важнейшей: ужасных и преступнейших «экспериментов» большевизма в экономической политике. По всему фронту ее Кремль и Смольный (а он всегда был упорнее Кремля) понемножку да полегоньку сдают позиции, занятые ими в первых победных припадках горделивого бреда. Сегодня телеграмма из Гельсингфорса возвещает об аресте правыми коммунистами группы крайних левых, противящихся этой сдаче и даже организовавших будто бы против ее инициаторов террористический заговор. Ничего невероятного в том нет. Если даже еще не было, то будет. Когда полоса бредовой игры минует, то дети, которые умом посмышленнее, характером спокойнее и темпераментом холоднее, сравнительно легко возвращаются из заоблачных сфер в мир действительности и выходят из игры, хотя бы и с сожалением, что должны с нею расстаться. Но попробуйте-ка вы отнять у милого дитяти, вроде Бухарина (вождь левых коммунистов), его хру-

стальную пробку безуступочной коммуны, т.е. перманентной гражданской войны: воинствующей диктатуры пролетариата — до истребления последнего буржуя!.. Да оно сперва выцарапает глаза товарищам, покидающим забаву, которая сделалась для него второю натурою, оглушит их жалостно-гневным ревом неудовлетворенного каприза и, в самом деле, со злости кого-нибудь пырнет перочинным ножом. И, наконец, когда само убедится, что оно играло не более как хрустальною пробкою, все-таки расстанется с нею, в зубовном скрежете, не иначе, как с размаха швырнув ее в лицо тому, кто его убедит, и постаравшись, чтобы удар пришелся как можно больнее.

V

Счастливая способность идейных большевиков «питаться воображением за действительность, словом за факт и символическим обещанием за осуществление» дает широкий простор большевикам неидейным к практике тех бесчисленных, — вежливый человек назовет, — мистификаций, а человек прямой скажет, — подлогов и мошенничеств, которые устами коммунистических ораторов, столбцами коммунистических газет и перьями хорошо принятых «знатных иностранцев» вроде г. Уэллса, возвещаются миру как откровения «пролетарской культуры».

Гейне уверяет, будто в «германских Афинах», в Мюнхене, он однажды, увидев на улице бесхвостую собаку, спросил прохожего, чья она? Мюнхенец-«неоафинянин» с важностью отвечал: «Это собака нашего Алкивиада...» — «А где же сам-то он, ваш Алкивиад?» — «Видите ли, — объяснил «неоафинянин», нисколько не замявшись, — Алкивиада мы никак не можем найти в своей среде, так покуда хоть подыскали для него собаку и отрубили ей хвост... ну, а потом когда-нибудь авось подберем к собаке и Алкивиада!..»

Нелепая комедия «пролетарской культуры» разыгрывается по тому же сценарию. В речах, статьях и декретах — «быть по сему» Алкивиадам, на деле — рубка собачьих хвостов. За исключением усерднейшего склонения существительного «пролетарий» и прилагательного «пролетарский» при всяком удобном и неудобном случае, в обоих числах и во всех падежах, ровно ничего культурно-«пролетарского» ни в Петрограде, ни в Москве, ни в провинции не возникло. А то, что ославляется «пролетарским», оказывается жалкою и извращенною пародией той самой буржуазной культуры, которую новая, пролетарская якобы отрицает и уничтожает. Подложная школа, подложное право и суд, подложное искусство, подложная гласность, подложная наука, подложные финансы, подложное равенство, подложное народоправство, подложная свобода. Алкивиадов нет, но якобы Алкивиадовых собак с отрубленными хвостами бегает сколько угодно.

Будем, однако, справедливы. В числе коммунистических подражаний и последований буржуазной культуре имеются обширные области, где оригиналы, бесспорно, превзойдены копиями. Но, увы, все эти усовершенствованные области вмещают как раз самые худшие и отрицательные явления цивилизации и слагают собою ту обратную ее сторону, с которою лучшие люди культурного мира всегда боролись, как с злейшими пороками.

4 марта минувшего 1921 года большевики засадили меня, жену мою и старшего сына на целый месяц в тюрьму на Шпалерную в качестве «организаторов Кронштадтского восстания», хотя о нем мы, рекомые «организаторами», узнали только в то утро 3 марта, когда Смольный расклеил по улицам первые тревожные бюллетени. Нелепость обвинения, повидимому, была ясна даже и следователю, которому было передано наше дело, так что на допросах он не столько старался изобличить меня по существу этого «государственного преступления», сколько вел дискуссию на общие принци-

пиальные темы, всячески посрамляя буржуазию и интеллигенцию и прославляя коммуну. Однажды он преважно заявил мне:

— Знаете ли вы, что коммунизм отрицает тюрьму, и заветная мечта нашей партии уничтожить все тюрьмы?

— Знаю, — отвечал я, — но сейчас мы с вами объясняемся в тюрьме, и притом такой, которую старое правительство строило на пятьсот человек, а вы в ней держите три тысячи пятьсот.

— Это правда, — великодушно согласился следователь, — но что же делать? Революция в опасности!

Она у них всегда в опасности, и против опасности никогда они не имеют других средств, кроме тех же самых отвратительных насилий над человеком, какими выручала себя от внутренних политических опасностей покойная империя: сыска, тюрьмы и смертной казни, но — в новых гекатомбических размерах.

Принципиально они отрицают тюрьму; на деле учреждают чудовищный тюремный режим, пред которым бледнеют все ужасы темниц царской Сибири, возбудившие столько справедливого негодования в Европе, когда огласил их Кеннан. Жив он или умер? Я не знаю. Вот кому, а не сомнительному Уэллсу и не «человеку в шорах» Нансену, хорошо было бы увидать и описать коммунистическую Россию. Сибирь от нас отвалилась, но, должно быть, мы, русские не сумеем жить без Сибири, потому что немедленно опять завели ее, — и гораздо тягчайшую, — у себя дома. Как в столичных центрах, так и решительно в каждом городке, где раскидывает свои станы истинная властительница и повелительница современной мнимокоммунистической России Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности — в просторечии ЧК, Чрезвычайка.

Они проповедуют взаимодоверие между государством и гражданином, зовут друг друга не иначе как «товарища-

ми», а всю свою внутреннюю политику построили на полицейском шпионаже, организованном, действительно, в своем роде гениально и не жалея средств. Года полтора тому назад имел я прелюбопытную встречу. Кланяется мне на улице и окликает меня, любезно улыбаясь, как будто совсем незнакомый, прилично одетый человек. Замечая мое недоумение, подходит и объясняет, что он бывший городовой: стоял на посту против моей бывшей квартиры на Песочной улице и, очевидно, с благодарностью запомнил перепадавшие ему щедрые «на чаи». Благополучный и сытый вид его несколько удивил меня: жандармы, полицейские и т.п. упраздненный народ на службе павшей администрации отнюдь не пользуется у большевиков фавором, — наоборот, состоят в хроническом подозрении и, при малейшем к тому поводе, рискуют расстрелом.

— При каких же занятиях вы теперь находитесь? — спросил я.

— А при тех же самых, — отвечал он с полною откровенностью.

— Как? вы служите в городской милиции? и вас приняли?

— Зачем в милиции? — даже обиделся он. — Там место мальчикам да бабам, а мы уже, слава Тебе, Господи, не малолетки, послужили на своем веку.

Оказывается, — зачислен в агентуру ЧК: специалист по продовольственному, то есть самому доходному, сыску... Еще бы тут не процвести!

От этого почтенного гражданина, столь счастливо приспособленного к полицейским функциям при всех режимах, я обогатился множеством любопытнейших анекдотов из быта и деятельности учреждения, которому он продался служить, — и я уверен, служил, а может быть, и сейчас служит добросовестно. Но интересны его общие заключения о полиции старой и новой. Из старой ему было жаль только униформы и, в особенности, погонов, споротых коммунистами:

— Эх, кабы нам погончики вернули!..

Но в целом он не только равнял ЧК с царскою охранкою, но даже отдавал ей преимущество.

— Знаете, — сказал он с профессиональным пафосом, — если бы «Николаша» на нашего брата, полицию, столько же расходовался, как они на ЧК расходуются, да такую бы точно волю нам давал насчет скорой расправы с «внутренним врагом»... изволили слыхать, как оно в нашей инструкции говорилось? — то, пожалуй, не проморгали бы мы революцию-то, и сидел бы он и посейчас на троне, при державе и в короне... Потому что эти нынешние — не по-нашему, а — коли загинать человеку салазки, так уж загинать! Они не канителятся, н-е-т!.. Метут железной метлой!

Нечего сказать, приятно это было слушать писателю, напечатавшему на своем веку десятки пылких страниц против «Николаши», которого так нежно поминает бывший городовой, а ныне чекист, против произвола полицейской диктатуры фон Плеве, Дурново, Столыпина и т.п., против пресловутого «безотчетного фонда» Министерства внутренних дел, против вездесущего шпионажа Департамента государственной полиции и жестокостей в его застенках!.. Мы-то, бывало, их костим и извергами, и палачами, и Иродами, да ведь и впрямь же Ироды были!.. А вот их старый, уважающий слуга и сотрудник, глубоко убежденный в том, что быть Иродом это и есть самое настоящее правительственное дело, профессионально сконфужен:

— Какие уж, — говорит, — мы были Ироды! бабы были! канителились! Вот нынешние, так уж это точно Ироды, — надо к их чести приписать, — палачи!..

По словам приезжих северян, в небольшом портовом городе Мурманске на 70 000 жителей имеется 7000 агентов ЧК. В Петрограде их считают в 70 000: значит, как раз полное население Мурманска! — на 600—700 000 обывателей. Это отношение — один агент на десять граждан — под-

тверждается еще примером Таганрога, недавно оглашенным в «Общем деле»: 900 агентов на 9000 человек. Допустим, что цифры несколько преувеличены ненавистью и страхом, у которого глаза велики, — однако вряд ли намного, если принять во внимание существование так называемых домкомбедов, т.е. домовых комитетов бедноты. Этот институт, в принципе чисто хозяйственный, на деле оказался чисто полицейским. Организуется он как бы свободным выборным порядком, но под контролем делегата-коммуниста из местного райкома, т.е. районного комитета, и уж если не председателем домкомбеда, то одним из членов обязательно выбирается коммунист. Домкомбеды, таким обязательством пренебрегшие (так как оно проводится лишь официозно, а не официально), подвергаются под каким-нибудь предлогом перевыборам, остаются в опасном подозрении и, наконец, в случае отсутствия в доме жильцов-большевиков член коммунист может быть введен в домкомбед по назначению из района. Таким образом, в каждом доме Петрограда «диктатура пролетариата» имеет своего чиновника-шпиона, обязанного ведать жизнь и быт находящихся под его наблюдением квартир, с постоянною и бесконечно разнообразною регистрацией жильцов.

В домах с многочисленным населением такой мнимовыборный чиновник обращается в весьма серьезную «власть предержащую», — тем более что при пайковом режиме через его руки проходит все распределение продовольственных карточек. Если на этот ответственный пост попадет только шпион, но добросовестный, т.е. следящий, но не изобретающий, филер, а не провокатор, то еще куда ни шло, можно существовать смирному обывателю, который заговоров не строит, правительство бранит только шепотом на ухо своей жене, вообще живет — воды не замутит. С обыкновенным взяточником обыватель тоже легко столковывается: платит сколько положено, повышая сумму соответственно падению

денежного курса, — и квит, спокоен. Но зачастую владыками домкомбедов оказываются субъекты, совмещающие в себе не только шпиона со взяточником, но еще и дикого самодура, и наглого шантажиста.

Нам на трех квартирах 1917—1918 гг. очень везло на «добрые» домкомбеды, однако даже из них второй я вспоминаю без всякого удовольствия. Хотя он был по составу почти сплошь интеллигентский, но фактическим его главою был бывший старший дворник гигантского компанейского дома на Карповке. Ну и скрутил же этот кровный домкомбедовец своих интеллигентных сотоварищей! Пикнуть не смели пред ннм, по ниточке ходили, — противно было смотреть. А между тем бывали между ними и весьма почтенные общественные деятели, и профессора, и офицеры. И, бывало, если что нужно по квартире, то членов домкомбеда — хоть и не спрашивай: все равно, сами не посмеют стула переставить с места на место, — отошлют «к Федору». Мы на этого Федора жаловаться не могли: в уважение ли моего возраста и некоторой известности, в уважение ли атлетического сложения моего старшего сына, который на трудовых повинностях оставлял за собою привычных рабочих, домовой диктатор был к нам довольно почтителен. Но маломощные жильцы пили от его грубости и самодурства прегорькую чашу. На Кирочной один такой же многонаселенный дом, хорошо мне известный, подпал в том же порядке под власть шпиона-шантажиста. Этот негодяй каждую квартиру рассматривал, как свою собственную, вваливаясь в любое время дня и ночи, с требованиями угощения и вымогая поборы; а если встречал сердитый прием, то делал на строптивых ложные доносы, которые в ту бурную пору (наступал Юденич) были столько же опасны, как обоснованные. Наконец, среди жильцов нашелся какой-то решительный малый-кляузник: сам подкатил шантажиста доносом, да так ловко, что тот отдежурил месяца три сперва на Гороховой, потом на Шпалерной, покуда

ему удалось вывязиться из паутины, его опутавшей. Ведь чекисты странный народ; взаимоотношения их напоминают нравы волчьей стаи. Казалось бы, теснейшее товарищество, полная солидарность аппетитов, все за одного, один за всех. Но, подобно тому, как в волчьей стае, если раненый волк упадет, то остальные разнесут его в клочки, так и здесь — чекисту, который сам впал в зубы и когти ЧК, едва ли не труднее из них высвободиться, чем обыкновенному смертному. Потому что — «воруй да не попадайся», а раз попался, дурак, то не пеняй, если на тебе будет показан пример коммунистического беспристрастия: мы, дескать, виноватым одинаково спуска не даем, что чужим, что своим... Совершенно такой же гусь свирепствовал в одном доме на Симеоновской, но здесь был укрощен домашними средствами.

Шантаж заходит иногда очень далеко, покушаясь не только на деньги, но и на честь семьи. На новый 1920 год зашел я к приятелю своему, известному критику А.А. Измайлову, и застал у него несколько человек из петроградской литературной братии, а среди них какого-то громко повествующего господина не из литературы. Он рассказывал:

— Черт знает, в какие унизительные положения то и дело увязаем теперь мы, интеллигенция, и как легко в них теряемся и сдаемся на милость победителей... Вчера приезжаю к моим свойственникам... (он назвал фамилию). Женская половина — маменька и кузина Валечка — в слезах, кузены бегают по комнате, красные, и кулаки сучат...

— Что тут у вас такое?!

Молодежь молчит, Валечка пуще в слезы, а маменька сквозь всхлипыванье объясняет:

— Ах, Сергей Петрович! страшная неприятность, не знаем, что и делать... К Валечке ужасно пристает Мартын, просто, прохода не дает, ловит ее на лестницах, под воротами...

— Кто это Мартын?

— Наш домкомбед...

— Ага, знаю! Слушайте, — да как же он смеет? Ведь это же мужлан и хам совершеннейший!

— Да вот, видно, смеет по нынешнему положению...

Кузены наперебой рычат:

— Мы ему сейчас морду набьем!..

Я говорю:

— И отлично сделаете!..

А маменька машет на сыновей руками и кричит:

— Ах, что вы! что вы! как можно? И вы тоже, Сергей Петрович, хороши, — чему учите молодых людей? Разве мы можем так поссориться с Мартыном?..

И Валечка тоже на братьев вскинулась:

— С ума сошли? Вы ему морду набьете, а он нас на январь без дров оставит...

Мать вторит — словно дуэт поют:

— Да, да! ведь и в исполкоме у него рука — не то зять, не то племянник... Нет, уж ты, Валечка, лучше сама обойдись с ним, как-нибудь потактичнее — будто не замечаешь его глупостей, на шутку сведи...

Подобные истории в Петрограде рождал, я думаю, едва ли не каждый день, и далеко не всегда тактичным Валечкам удавалось их «сводить на шутку». Комедия легко превращалась в драму, когда шантажист запугивал жертву не возможностью остаться без дров на зиму (хотя надо было пережить в Петрограде грозную зиму того года, чтобы уразуметь, какой ужас предвещала подобная возможность), но угрозою отправить под расстрел отца, брата, жениха, мужа. В первые два года революции, когда разбитые «белые элементы» при невозможности почему-либо быстро покинуть столицу должны были скрываться с опасностью жизни в самом Петрограде, свобода и бегство некоторых из них были куплены, — конечно, для них неведомо, — ценою именно таких драм женского сердца. Одна из них разыгралась в близко знакомой мне семье. Когда-нибудь я расскажу ее подроб-

но. Теперь замечу лишь, что в новом бытовом явлении смешанного пролетарско-буржуазного брака женская решимость великодушно жертвовать собою ради спасения своих близких была едва ли не главною творящею силой.

В «Современной идиллии» М.Е. Салтыкова-Щедрина, яростной сатире на полицейский террор последних лет царствования Александра II, некто предлагает в целях гарантировать правительству благонадежность населения, ввести в каждую семью полицейского шпиона. В государстве большевиков гипербола остроумного сатирика обратилась в житейский факт. Помнится, что в «Совр<еменной> идиллии» на проект института семейного шпионажа кто-то отвечает еще более радикальным предложением поставить против каждого дома по пушке: в случае чего — дежурный дворник, пали!.. Но, когда Юденич подступил к Петрограду, мы видели и эту сатирическую программу осуществленною почти что в точности. Против всех улиц и переулков в районах, подозрительных по настроению, поставлены были пушки, направленные отнюдь не на Юденича, — напр<имер> со стороны Васильевского острова он уже никак не мог прийти, — но на нас, злополучных буржуев-интеллигентов. Мы в результате постоянных обысков давным-давно, можно сказать, перочинного ножа в карманах не имели, а между тем свирепая, но трусливая власть ждала с часу на час, что мы так вот и бросимся на них, беззащитных большевиков, и всех их, бедненьких, с их винтовками, браунингами, наганами и маузерами, перережем, — указательными перстами, надо полагать! А эмиграция за границею изумлялась и негодовала, что внешнему движению на Петроград столица не отвечает внутренним движением!

Что говорить! Точно: нескольких, может быть, даже не тысяч, а сотен ружей, было достаточно в те панические дни, чтобы, вопреки всем грозным батареям, охватить столицу восстанием и поставить большевиков между двух огней. Но

не было их, этих сотен ружей, и не могло быть, неоткуда было взять. Полицейский процесс разоружения был проведен большевиками так превосходно, что обезоруженный Петроград вот уже четвертый год напоминает стадо овец под зоркою стражею нескольких зубатых овчарок. В 1917 и 1918 гг. я сам возмущался слабыми протестами Петрограда против захвата его лжекоммунистической олигархией, сам принимал участие в заговорах и побуждал к ним других. Но в 1919 я уже решительно отклонял все предложения такого рода и усердно отговаривал молодые горячие головы, являвшиеся ко мне за советом с проектами террористических актов и уличных выступлений, хотя иногда и очень неглупо задуманными. Потому что время и возможности успешной борьбы с узурпацией были уже безнадежно *<нрзб>* не боюсь употребить *<нрзб>* противленством, политиканствующей рознью, трусостью. Сильная молодежь была повыбита, население истощилось, ослабло духом и телом. А на третий год своего царения власть большевиков в обезоруженном Петрограде, по-тигровому свирепая, была для нас гораздо сильнее тигра по соответствию сил. Даже с самым лютым зверем человек в смертной опасности может схватиться в борьбу отчаяния на пан или пропал, хотя бы и с голыми руками. Но мы стояли уже просто перед какою-то разверстою пастью, вроде той, как на папертях русских церквей пишут «челюсть адову», перемалывающую зубами фатально втягиваемых ею грешников. Самоубийство при ее посредстве было теперь для петроградца возможно, борьба с нею — нет. Открыто выбиться из полицейской сети большевизма мог только тот, кто прыжку в Неву с Николаевского моста или гвоздю с петлею предпочитал быть расстрелянным китайцами и голым трупом исчезнуть в неведомой яме.

Я знал нескольких таких самоубийц. Они находили долю, которой искали. Умирали геройски. Но бесплодно. Как из тысячи кроликов нельзя сделать одной лошади, так из де-

сятка героических самоубийств нельзя сложить одного победоносного акта свободы. Смолоду запомнилось мне вещее остроумное слово одного совсем не остроумного человека. В русско-турецкую войну 1877 г. генерал Гурко, отправляя кавалерийский отряд в трудную рекогносцировку, предупредил офицеров о большой опасности. Они отвечали классическою фразою: «Ваше превосходительство, мы готовы *лечь костьми!*» — «Эка, чем утешили! — возразил Гурко, — Какая мне, радость от того, что вы ляжете костьми? Мне надо, чтобы *не вы,а турки костьми легли!..*» Вот этого-то результата поздние петроградские движения против большевиков получить уже никак не могли. Наши «турки» от опасности лечь костьми были крепко застрахованы, а то, что ляжет костьми остаток непокорного интеллигентно-буржуазного Петрограда, доставило бы им только величайшее удовольствие.

Догматически большевики — антимилитаристы. Между тем почти все достояние их государства уходит на содержание армии, как сами они хвалятся, самой большой в мире. Армия поглотила их золотой запас, продовольствие, рабочую силу, пути сообщения и даже — классовую политику, потому что в конечном результате революции 25 октября совсем не «пролетарий», а «человек с винтовкой» сделался хозяином страны. Быть может, он еще не совсем сознает свое хозяйское положение, но уже начинает весьма и весьма сознавать, а, когда сознает совершенно, напр<имер>, в случае успешной внешней войны, то уж, конечно, своей первой роли он тогда никому не уступит, и «пролетарий» окончательно переместится в государственной карете с сиденья на запятки.

Чудовищное, антидемократическое и даже противогосударственное развитие своей армии большевики объясняют своим обычным: «На нас нападают, мы должны защищаться и быть сильнее своих врагов».

Объяснение удовлетворительное и понятное. Но кто же создал это положение хронической самозащиты против хро-

нически угрожающего нападения, как не сами большевики? Говорю в данном случае даже не о вечной откровенно-агрессивной пропаганде ими «мировой социальной революции» и деятельнейшей агитации за нее во всех соседних государствах, напугавшей буржуазную Европу и непримиримо поставившей ее на дыбы против Советской России, как исполинского «заразного очага», объемом в шестую часть света. Нет, это все — общее, принципиальное: главнодействующая *причина,* которая, может быть, оставалась бы довольно долго в скрытом состоянии, если бы сразу же не породила конкретных военно-политических *поводов:* измены Антанте и Брестского мира.

Когда в пору этого позорного акта я предсказывал знакомым большевикам, что он будет *корнем* погибели их коммунистического идеала и не позволит им выстроить коммунистическое государство, они недоверчиво пожимали плечами и говорили:

— Ну вы влюблены в свою Антанту, помешаны на ней, воображаете ее гораздо сильнее, чем она есть на самом деле, а мы ее нисколько не боимся...

Того результата, что озлобленная Антанта, будь она хоть в десять раз слабее, чем оказалась, заставит их даже своею пассивною враждою отказаться от всех законоположенных принципов коммунистической революции и вместо социалистического строя образовать государство гораздо более милитаристическое, чем все, которым они грозят разрушением, — этого результата они решительно не допускали.

— Помилуйте, у нас всей армии, по расчету Троцкого, будет триста тысяч человек...

И когда я пророчил им неизбежный и стремительно-быстрый рост этих начальных трехсот тысяч в миллионные размеры и близко грядущее поглощение армией всех материальных и моральных сил страны, они смеялись мне в глаза и укоряли, что, стоя на пороге мировой революции, я к ней

слеп и глух и не понимаю самых элементарных основ творимого переворота:

— Если вы воображаете, будто мы пришли в мир, чтобы играть в солдатики, то горько ошибаетесь: мы пришли уничтожить эту игру...

— И, однако, примете в ней самое деятельное участие!

— Ну, это уж ваше предубеждение, контрреволюционный бред!

Тогда у них в моде был весьма бессмысленный девиз «войны без аннексий и контрибуций», ныне, если не упраздненный de jure, то de facto * замолкший и забвенный. Когда я интересовался, под какими же новыми названиями, формами и предлогами будут они аннексии делать, а контрибуции взимать, они сердились и обвиняли меня в контрреволюционном издевательстве.

Тогда их приводила в бешенство упрямая проповедь П.Н. Милюкова о необходимости быть «русским Дарданеллам». Когда я шутил, что уж кто-кто другой, а они-то не имеют никакого права возмущаться, потому что в качестве новых державцев России они приняли и это политическое наследство, и — не пройдет двух лет, как устремление к проливам, запертым для них враждебною Антантою, сделается насущным и, быть может, самым жгучим вопросом их существования, — они хохотали:

— Эка у вас фантазия-то играет!

А затем, — мы живые свидетели и очевидцы, — все пошло, как по-писаному.

Словесный антимилитаризм создал фактически солдатское государство, которое держится — балансирует на штыках и не смеет ни одного из них убавить из опасности потерять равновесие и сильно наколоться на остальные. Огромная армия обязывает государство, ее нельзя, — и непосильно до-

* См. пер. на с. 606.

рого, и опасно, — держать под ружьем бездейственною. Коммунисты — даже если бы не хотели, — все равно уже вынуждены, — и будут вынуждены еще больше, если стихнет гражданская война, — занимать свою солдатчину воинственными авантюрами, как волшебник должен давать непрерывную работу бесу, которого он вызвал себе в услужение, иначе тот набросится на него самого и растерзает его. А в практике уже начавшихся авантюр, что такое представляет собою военно-дипломатическая карьера советского государства, особенно в азиатском направлении, как не сплошную борьбу за маскированные аннексии и, — в отчаянной погоне за новыми источниками доходностей, — не попытки срыва здесь и там каких-нибудь денежных, хлебных, угольных, нефтяных и пр. контрибуций? Отсюда оккупация Грузии, протекторат над Персией, интриги в средней Азии, посольство Раскольникова в Афганистане, Суриц в Кабуле, серьезно обсуждавшийся в 1919—20 гг. проект похода на Индию, и пр., и пр. — многое, что, на первый взгляд, кажется безумием людей, обретающихся в хроническом бреде величия, а на деле оно — только необходимое искание точек наименьшего сопротивления государством, которому не по средствам его военная сила. Эта борьба за маскированные аннексии и псевдонимные контрибуции принудила коммунистов-интернационалистов к фарсам трагикомических соглашений и союзов с ультранационалистическими движениями (Турция, Персия) и даже, скрепя сердце, провести под красным флагом целый националистический конгресс восточных народностей, пресловутый съезд в Баку, столь недвусмысленно высмеянный даже присяжным льстецом большевиков, Уэллсом.

И — кто сказал *а*, должен сказать и *б*. Вслед за признаниями ряда чужих национализмов, большевикам пришлось и самим облечься в личину воинствующих «патриотов своего отечества». Провозглашается «национал-большевизм», как будто бы верный и единственный путь к возрождению

«единой, неделимой России». Эта новая удочка, ловко заброшенная кремлевскими «Верховенскими» при усердном содействии десятка свежеприобретенных продажных перьев из среды ослабевшей с голода столичной интеллигенции, успела поймать на приманку своего соблазнительного компромисса нескольких русских патриотов-идеалистов. Эти люди, надо думать, честные, может быть, даже искренние, до сего времени политиковали, как давние эмигранты, вдали от Советской России и привыкли рассуждать о ней положениями, посылками и выводами кабинетного умозрения. А этот путь в политическом мышлении самый превратный и опасный: довел же он когда-то даже такого свободолюбивого писателя, как Белинский, до реакционной статьи о «Бородинской годовщине». А живой жизни России под большевиками они не видели и государственной практики сих последних они на своей шкуре не испытали. Но мы, русские люди, прожившие под большевиками четыре года, наблюдая их изо дня в день, из часа в час, изучившие страданием всю изворотливую гибкость их жестокого и глумливого безучастия, не поверим им ни в чем, равно как ничему от них не удивимся. Даже тому, если завтра прочтем на их знаменах не то что «единую, неделимую Россию», но, бери круче, «Россию для русских». Даже тому, если послезавтра они, и без того уже именующие себя довершителями дела Петра Великого, провозгласят себя наследниками его пресловутого завещания и, в самом деле, затрубят в трубы (по крайней мере, в газетные) поход на проливы. Чем, быть может, окончательно покорят ум и сердце П.Н. Милюкова, с которым они давно уже заигрывают не только дипломатическим языком товарища Чичерина, но даже и рявкающею пастью товарища Зиновьева, как известно, милостиво пожаловавшего Павлу Николаевичу кокетливый титул «умнейшего из наших врагов».

Солдатчина, полиция, тюрьма, бюрократия, — четыре зла буржуазного государства, — в коммуне возросли до апогея.

Четвертое из зол, бюрократия, при всей способности большевиков к самовосхищению и самовосхвалению, их самих конфузит, смущает, пугает. Нигде в мире столько людей не обязано служить государству, нигде государство не обслужено хуже. Нигде государство не заботится так настойчиво об извлечении доходов из страны, нигде государственные органы не оказываются в такой мере бессильными получить хотя бы сотую долю предположенных доходов в порядке нормального поступления без военной оккупации, т.е., попросту сказать, без грабежа вооруженною рукою. Например, подоходный налог в Петрограде так и умер, не найдя простаков, которые бы его заплатили. Нынешняя история «продналога» — повсеместно — сплошной вооруженный грабеж, однако, достигающий своей цели всего лишь в 20—40 процентов намеченной добычи. Нигде государство не учреждает столько контрольных органов, и нигде оно не обкрадывается своим чиновничеством так беспощадно-жестоко. И ни тюрьма, ни расстрелы не помогают, равно как беспомощны они и против взяточничества, посрамившего и затмившего все исторические прецеденты. Герои Капнистовой «Ябеды», «Ревизора», «Дела» Сухово-Кобылина, «Губернских очерков» Щедрина, невинные дети сравнительно с дельцами советских «комов», «отделов», канцелярий. Им и не мечтались те аппетиты, что разыгрываются у советских служащих по продовольствию, по хозяйственным частям, по строительству.

В последний мой арест на Шпалерной моими созаключенниками оказались служащие «Стройсвири», т.е. строительства на реке Свири, громадного предприятия, которое когда-нибудь в нормальных условиях жизни сыграет очень большую роль в культуре северного края и, может быть, в самом деле электрифицирует некоторую часть его. Петроградское управление «Стройсвири» село в тюрьму все целиком, *in corpore* * — помнится, 65 человек. Возили их к нам це-

* В полном составе (*лат.*).

лую ночь — и в иерархическом порядке: начали с мелких служащих, потом — чем позднее, тем старше, на рассвете привезли главного заведующего, а, в заключение, пожаловал в заточение и «товарищ комиссар». Громадное большинство было нахватано, как водится, зря, на всякий случай.

— В чем вас обвиняют? — спросил я одного, когда он возвратился от следователя с допроса.

Недоумело разводит руками.

— Черт его знает, что он городит... какую-то ерунду... «Вы, — говорит, — лично ни в чем покуда не заподозрены, но вы принадлежите к персоналу опасного учреждения...» — «Помилуйте, — говорю, — что это вы? чем может быть опасна наша «Стройсвирь»? Не на врагов «социалистического отечества» работаем, на вас же, на Р.С.Ф.С.Р.!..» — «Вот, — возражает он, — тем-то она и опасна, что уж очень усердно работает. По отчетам ревизии похоже на то, что ваша «Стройсвирь» затем и учреждена, чтобы высосать из Советской республики все ее средства...»

«Стройсвирцы» встретили эту курьезную инкриминацию взрывом хохота, но один, хотя смеялся больше других, одобрил:

— А что же? Прав, каналья! Ведь и в самом деле похоже.

Декабрьские газеты принесли известие, что в Москве арестован весь служебный состав жилищных комиссий, т.е. уже не десятки, а сотни чиновников... К слову отметить: в очень интересной и правдоподобной корреспонденции «Руля» из «Красной Москвы» я нашел, будто численность советской бюрократии там достигла 240 000! То есть — 20 процентов населения! Ну, такой жуткой цифры, признаюсь, я не ожидал, даже имея пред глазами чудовищное размножение бюрократии в «Красном Петрограде».

Советский чиновник, не берущий взяток, редкость вроде белого дрозда. Да и как ему не брать? Ведь без взятки он обречен умереть от голода. Разве что государство особен-

но дорожит им — настолько, чтобы обеспечить его существование какими-нибудь сверхъестественными пайками. Обыкновенно бывает так, что чиновник и сверхъестественные пайки получает, и взятки дерет с живого и мертвого. Незадолго до моего отъезда из Петрограда служащая интеллигентка, не так давно еще женщина самого щепетильного бескорыстия, призналась мне:

— Вы думаете, я не беру? Очень беру. Только что не вымогаю, — этого не умею, противно, а то — дадут, так беру.

— Да зачем вам? — озадачился я. — Женщина вы одинокая, достаток кое-какой сохранили, паек получаете хороший, — много ли вам надо? проживете и без того...

— Затем, — отвечает, — что иначе меня выживут со службы, подведут под скандал. Нельзя не брать там, где все берут, — прослывешь опасною личностью...

Эта круговая порука общего греха вертит государственное колесо во всех инстанциях, не исключая высших и ответственных постов. Зиновьеву не только на заводских митингах, но и в Совдепе бросались рабочими публичные обвинения во взяточничестве и растратах, на которые он не умел ответить иначе, как громкими фразами о своих революционных заслугах. Однажды в разговоре с крупным деятелем по Наркомпросу, беспартийным, но чтимым большевиками за своего, я спросил:

— Чем вы объясняете эту страшную власть Дзержинского, Менжинского, Озолина, Ранчевского и вообще чрезвычайщиков над своими товарищами? Ведь в конце концов ЧК не более как полицейская власть, низшая часть администрации, а между тем его «тройки» и «пятерки» никому в ус не дуют и даже демонстративно иной раз подчеркивают, что Ленин, Троцкий, Зиновьев, все тузы и авторитеты коммуны и даже самые совдепы и исполкомы им не указ...

Он отвечал:

— Причин много, дело сложное, но первая, житейская причина, — очень простая. Нет ни одного крупного большевика, против которого ЧК не имело бы компрометирующего dossier *. Когда Зиновьев стал на ножи с Бадаевым (глава Петрокоммуны), этот громко вопил, что — пусть меня только тронут, у нас найдутся бумажки для ЧК, достаточные, чтобы Гришку, «к стенке» поставить... И, действительно, Бадаева-то временно убрали от скандала в Москву, но и Зиновьев, хотя к стенке не стал, но с тех пор заметно покачнулся, начал как-то сходить на второй план. В партии было обращено внимание на его безобразно широкий образ жизни и одно время прошел даже слух об его исключении из партии по требованию большевиков старого закала.

Бумажка с подробною мотивировкою требования была у меня в руках, доставшись мне от рабочих Балтийского завода. Они обвиняли Зиновьева, между прочими злокачественными проступками, также и в том, что «он белится и румянится, как баба, дует шампанское, как банкир, и взял на содержание танцовщицу, как великий князь»... Не берусь решать, была ли это действительная резолюция или сфабрикованный памфлет.

Не сомневаюсь, что в числе правящих большевиков имеются свои суровые ригористы, идейные фанатики. Напр<имер>, об Анцеловиче рассказывают, будто он родного отца не пожалел, отправил на принудительные работы, когда старик попался на спекуляции. Но таких очень немного. Притом число их быстро тает в соприкосновении с благами буржуазной роскоши, запретной для всех, легкодоступной для них. Предельные верхи, до Дзержинского включительно, смотрят на буржуазные падения и увлечения товарищей сквозь пальцы, покуда падшие уж не слишком зарываются. Либо — покуда бюрократическая политика не требует эффектно и всенародно заклать на алтаре справедливости более или менее круп-

* Досье (*фр.*).

ную жертву для поддержания престижа добродетели коммунистического правительства в глазах рабочего класса.

В Москве рассказывают, будто когда ЧК упразднила в таком именно порядке Бонч-Бруевича, страшно разжившегося при Наркомпросе по книжному делу, он, в справедливом негодовании, вопиял к Дзержинскому:

— Если меня гонят, то как же Смильгу оставляют? Чем Смильга лучше меня?

— Ничем не лучше, — подтвердил Дзержинский, — даже хуже.

— Так и его гоните, и его под суд!

— Смильгу-то? Нет, зачем, пусть погуляет.

— А меня вон?

— А тебя вон.

— Да почему же? почему?

— Да просто потому, что Смильга еще нужен, а ты уже нет...

Этою способностью использовать человека до последней капли пользы, которую он в состоянии принести их делу, а затем выбросить его за окно, как выжатый лимон, бюрократическая тактика большевиков превосходит даже тактику покойного графа С.Ю. Витте. Зимою и весной 1921 г. по краешку такой ямы ходил даже столь, казалось бы, необходимый большевикам человек, как М. Горький. Против него вело сильную кампанию Государственное книгоиздательство с неким Заксом во главе, за конкуренцию известного издательства Гржебина, в котором Горький главный редактор и компаньон и которому его влияние обеспечивало громадные советские заказы, ссуды и авансы. Личная дружба с Лениным оградила Горького от приготовленных ему тяжелых ударов, но положение его долго оставалось очень сомнительным, и только голод опять выдвинул его как нужного человека, хотя и ненадолго и очень неудачно...

А балет, за романическое пристрастие к которому рабочие громят Зиновьева, в самом деле сделался Капуей петроградского большевизма. Правда, что, с другой стороны,

столичная молва упорно настаивает на том, что ни в одной общественной группе нет стольких тайных агентов на службе Чрезвычайки, как в мирке балетных фей. Несколько темных историй и два загадочные самоубийства как будто подтвердили эту печальную репутацию. Опредленно же могу сказать лишь одно, что балет — фаворитное искусство большевиков и в правительственной системе их, всецело построенной на демагогическом принципе «хлеба и зрелищ!» — занимает немалое место и имеет весьма ответственное значение. Денег на него не жалеют. Дирижер Мариинского театра, Э.А. Купер, пригласил меня на первый спектакль «Петрушки» Стравинского, «Карнавала» Шумана и «Исламея» Балакирева. Я смотрел и только диву давался, что подобные роскошные постановки возможны в городе, где из 600—700 000 остающихся жителей пятьсот тысяч в этот день, наверное, ничего не ели, кроме двух-трех мороженых картофелин в пустом советском супе.

Ау! Пародии, эпиграммы

РИФМЫ И СТРОЧКИ

А.И. Гучкову

Эка слава! экое имя!
Эка сила языка!
Не мозги, а просто вымя
Для словесного млека!

На художественном съезде

Художник Карелин, заявил, что съезду художников нет оснований хлопотать об отмене драматической цензуры, как предлагает Кремлев. Если бы цензура была снята, то рынок заполнился бы совершенно невозможными в художественном отношении произведениями

Ах, как крепок, ах, как целен
Господин Карелин!
Не хорош он и не дурен,
Но за то цензурен.

Стол цензурный, — рек художник, —
Пифии треножник:
От него цветет искусство —
Техника и чувство!

Без цензурного же знака
Мир искусства — бяка!
И, взглянув на этот рынок,
Плюнет каждый инок!

Так гласил, умен и делен,
Господин Карелин.
Ниспошли ему Ты, Боже,
Цензора построже:

От цензурных вдохновений
Вдруг он станет гений,
И окажется Емеля —
Вроде Рафаэля?!

Зловредный полковник и спасительный костер

Петербургская баллада

По распоряжению морского министерства у слушателей Военно-морской академии был отобран учебник полковника Кладо. Из учебника были вырезаны и сожжены страницы, заключавшие в себе критику некоторых деятелей русско-японской войны, а также проводившие взгляды на необходимость отстаиванья своих мнений. После операции книга была возвращена слушателям. («Киев<ская> м<ысль>» № 64).

Споем мы на лад петербургской земли:
— Ой, ладо, ой, ладушки-ладо!
В морском министерстве намедни сожгли
Учебник полковника Кладо.
Почто же такой возгорелся костер,
Как призрак былых инквизиций?
Крамольный учебник был слишком остер
В разборе цусимских позиций.
Коварною ложью смущая умы,
Шептал он, с кивком на уронцы,
Что в битве тогда победили не мы,

*) Каждому не менее 30 лет от роду.

А нас расчесали японцы.
Сплетая для внемлющих юношей*) сеть,
Шипел он змеиным обманом,
Что надобно думать, сужденья иметь,
Не быть автоматом-болваном.
Но зоркая Правда на хитрую Ложь
Восстала с коробкою спичек,
И вырезал Ложь из учебника нож,
И вспыхнули пачки страничек.
Безумный полковник! ты вник ли, когда
Преступное тлело тисненье,
Что паче ерунд всех твоя ерунда —
Отстаивать право на мненье?
Держи, коли велено, руки по швам,
Нам критиков даром не надо...
На лад министерский пропели мы вам:
— Ай, Кладо! Ай, Кладушки-Кладо!

Крамольный плач «Современника», или Спасение России (и притом без кавычек) литератором Кислошерстниковым

Извещаем наших сверстников:
Наступает грозный час!
Литератор Кислошерстников
Ополчается на нас!
Пресердитое, превластное
Он писанье начертил
И его в «изданье частное»
Фельетоном поместил.
Подкрепляем из Гурляндии,
Напирает храбрый росс:
«Како мыслишь о Финляндии?» —
Начинает он допрос.
Став лицом, как зелена трава,
Гневом буйственным взыграл —
Обругал Амфитеатрова

И на Горького наврал.
О Максиме Антоновиче
Ядовитый поднял свист:
«В «Современнике» — поповичи...
Хоть один бы кантонист!
Что евреев, что раскольников,
Эмигрантов собралось!»
Содрогнулся хор крамольников
И заплакал: «Сорвалось!..»
Ах, была бы опустынена
Нами родина — клянусь! —
Не найди второго Минина
В Кислошерстникове Русь!
Власти ревностных наперсников,
С закушением удил,
Литератор Кислошерстников
Насчет нас «предупредил».
Удалася операция
По примерам издавна:
Нас постигла конфискация —
И отчизна спасена!
И, созвав друзей и сверстников,
Шепчем мы в унылый час:
«Литератор Кислошерстников
Ополчается на нас!»

Излюбленные пословицы знаменитых русских людей

Не играла ворона, вверх летучи, а вниз летучи, не наиграется.

Граф С.Ю. Витте

Свались только с ног, а за тычками дело не станет.

Алексей Александрович Лопухин

Баня все грехи смоет.

Депутат Челышев

Кат не кат, а ему брат.

Александр Иванович Дубровин

Несчитанной тысячи в итоге нет.

Прот. Иона Восторгов

Ходил черт за облаком, да оборвался.

Действ. статский советник и ордена Почетного Легиона кавалер

Аркадий Гартинг

Не дал Бог свинье рогов, а бодуща была бы.

Присяжный пов. Булацель

Хорош бы день, да некого бить.

Марков 2-й

От берега отстанешь, к другому не пристанешь, ни так ни сяк и станешь.

Петр Бернардович Струве

Свят, да не искусен: табакерочка в рукаве выпятилась.

Василий Васильевич Розанов

Иуде верить, не беда поплатиться.

Инженер Евно Азеф

Наш Иуда ест и без блюда.

Михайло Осипович Меньшиков

Наряд соколий, а походка воронья.

Граф В.А. Бобринский

Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй.

Пиленко

Кабы не кабы, то б Ивана Великого в бутылку спрятал.

Александр Иванович Гучков

Наша горница бесспорница: на дворе тепло — и у нас тепло, на дворе холодно — и у нас таково.

Кн. Евгений Трубецкой

Доке честь, доке слава, дока денежку берет.

Илья Яковлевич Гурлянд

Хитрее теленка не будет; языком под себя не станет.

Депутат Маклаков

Ода

На победу над граммофоном

Тов. м. в. д. Золотарев обратился к Щегловитову с предложением ввести цензуру граммофонных пластинок.

Телеграмма

Ты знаешь бич ужасный века?
Ты слышал звук удавный тот,
Как будто душат человека,
А он, хоть душат, все поет?
Внебрачный правнук аристона,
Синематографа кузен,
Под мрачной фирмой граммофона,
Россию взял в крамольный плен.
Холмы, долины, грады, веси,
Взревели, им оглашены,
Как будто в них вселились бесы,
Геенским скрежетам верны.
Но в помещении закрытом
Еще свирепей граммофон —
Как будто болен дифтеритом
В нем даже Собинова тон!
Орет жестокая машина,
Хрипя, храпя, шипя, звеня —
Гремит Шаляпина «Дубина»,
Его ж — «Колена преклоня»!
То — Карапетом либо Ицкой
Врет анекдоты без конца,
То заголосит вдруг Плевицкой
Скандал про «Ухаря-купца».
Подобны ржавому железу
В нем трели даже серебра...
Порою грянет «Марсельезу»,
Порою рявкает: «Ура!..»
А, в заключение несчастий,
Звончее, чем локомотив,
Гнусит он Вяльцевою Настей,
Как будто насморк захватив.
Но граммофонного страданья
Свершился рок, окончен срок,
И, горделивым в назиданье,
Готов решительный урок.
Патриотической натуре
Несносен стал крамольный рев,

И подчинить его цензуре
Решил мосье Золотарев.
Статьею сто двадцать девятой
Заткнется дерзостная пасть.
Узнаешь, граммофон проклятый,
Что значит крепкая-то власть!
Одет в намордники повсюду,
Явишь закона торжество,
Пища: «Простите! я не буду!
Не буду больше, вашество́!»
Спасла от горя государство
Опять Всевышнего рука,
И новый опыт Золотарства
Прославят русские века!

В Думском заседании 2 декабря

1

Гг., если бы случилось так, что приходит вдруг рыбак с Невы и заявляет: «Гг. Нева уже течет не из Ладожского озера в Финский залив, а обратно из Финского залива в Ладожское озеро», — я не был бы так поражен и пр.

Нахальчак, от Подольской губ.

О сын Подолии далекой!
Пример предательский избрав,
Познал ли ты Невы широкой
Капризный дух, строптивый нрав?

Для кукурузных насаждений
Волами землю ты пахал,
Но не видал ты наводнений,
Вещаний пушки не слыхал!

Сам Александр Сергеич Пушкин
(Для Кишинева полусвой)

Воспел, внимая голос пушкин,
Подобный случай роковой:

«Но силой ветра от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова...»

Отсюда зрим, сколь осторожно
С Невы примеры надо брать:
В залив течет — покуда можно,
А запретят — польется вспять!

2

Когда Томилов рек примерно,
Что бить солдату «морду» скверно,
Взбесился буйный правый хор,
Браня Томилова в упор.

Вопили горестно и гордо:
«На что ж ему иначе морда?
И человек ли кто — пока
Он не изведал кулака?»

Тряслись от рева стены зданья...
Один лишь Марков не кричал:
Он вспомнил Русское собранье
И промолчал, и промолчал!

3

— Окликнул бы вон этого депутата, да не могу вспомнить, как его зовут по батюшке?

— А что вам память утруждать? Зовите по матушке... Привыкли у себя в Думе, народ простой.

4

Пушкин называл евреев жидами...
Пуришкевич

— Что Пушкина всего ты знаешь наизусть,
Не раз ты возвещал с трибуны. Верим! Пусть!
Но что же из его великих вдохновений
Запомнил и извлек твой бессарабский гений?
— Да то же, что всегда:
Жида!
— Ну, Пушкина читать не стоило труда!

5

Нельзя не настаивать на необходимости замены названия устава «О воинской повинности» названием «О воинской службе»...

Деп. Лошкарев

Патриотизм в твоей крови,
Величественна поза,
Но — как ты розу ни зови,
Она все будет роза.
Совет старинный забывать —
Жестокая оплошка:
Напрасно кошку киской звать,
Она все будет кошка.

6

Это ново, что можно здесь ругаться как угодно.
Петров 3-й

Для Петрова это ново,
Для отечества старо...
Эх, черкнул бы тут я слово,
Да не выдержит перо!

7

Притча о свирепом Оводе и кротком Кадете

Кусал Кадета правый Овод.
 Спросил Кадет:
«Причин к тому законный довод
 Скажи, мой свет?
Кусаешь зря, и оттого вот
 Нам ладу нет!»
Кадету отвечает Овод:
 «А мне плевать!
Ужели нужны смысл и повод,
 Чтоб бушевать?
Того достаточно: я Овод!
 И, значит, — хвать!»
Мораль. Природа, хоть ты лопни,
 Твердит одно.
Пред нею двери ты захлопни —
 Влетит в окно.
Ладонью Овода прихлопни,
А спорить с Оводом смешно.

«Прочитан Бунин...»

Изучаю экзотическую поэзию И.А. Бунина. Какой Бедекер пропадает в этом академике! Основными элементами и отличительными признаками его лирики являются: 1) опытное знание географии; 2) точка среди стиха и 3) рифмы, подбираемые к собственным именам и «путешественным» словам, труднейшим жупела и металла. Остальное прилагается к сим лейтмотивам в зависимости от их течения, по мере надобности, в качестве приварка.

В таком роде:

Прочитан Бунин. Как тяжелый куль,
Причуды-рифмы волоклись и вязли.
Весной поет над розою буль-буль.
В Одессе есть миллионер Маразли.

Велик поэт. Созвучных скрипов царь,
Он важен, как Анубисова крипта.
Но «Энциклопедический словарь»
Необходим к сим таинствам Египта.

Или в таком:

Луны светло-зеленой острый вырез
Глядится в Нил. Под гнетом пирамид
Пустыне сонной грезится Озирис.
А за морем султан Абдул-Гамид

Под стражею, в крамольных Салониках,
Угрюмо числит старые грехи.

Мерцает Пинд. И Бунина стихи
Текут, журча о воинах-Аниках.

Конечное же впечатление:

Ассаргадон свершил свою судьбу.
Скончался Кир, обременен грехами.
Но Вечный Дух создал Ивана Бу...
Да! Бунина, Ивана, — со стихами!
Затеял он, задумчиво-жесток,
Воспеть весь мир, от кондора до крысы.
И, чтобы Кира этого в мешок
Убрать, — увы! — нет новой Томирисы!

Песнь смиренномудрого журналиста,

приявшего от «Нового времени» совет считать себя a priori лишенным избирательных прав

(Удобна к исполнению на голос «Свинского князя» из оперетки «Цыганский барон»)

Журналисту место в журнале, а не в законодательном учреждении. Русский народ будет выбирать в Думу людей земли, людей реальной работы.

«Новое время»

Я не законодатель:
Давать законы прока нет!
Статеек я писатель
И вовсе не кадет!

А жизни всей моей краса
Есть корректуры полоса..
Да! корректуры полоса —
Вот жизни всей моей краса!

Работою журнальной
Быв занят целый век,
Я — призрак ирреальный,
Отнюдь не человек!

И жизни всей моей краса
Есть корректуры полоса...
Да! корректуры полоса —
То жизни всей моей краса!

Лишен для рассужденья
Резонов журналист:
Он просто — привиденье,
Хотя б и октябрист.

Ведь жизни всей его краса —
Лишь корректуры полоса...
Ах! корректуры полоса
Есть жизни всей его краса!

Народ посадит в Думу
Реальнейших господ,
А я уйду без шуму
Затем, что патриот.

Ведь жизни всей моей краса
Есть корректуры полоса...
Да! корректуры полоса —
Вот жизни всей моей краса!

В парламенте излишен
Журнальный мой набат:
Смотри, как превозвышен
Там каждый депутат!

Моя же слава и краса —
Лишь корректуры полоса...
Да, корректуры полоса —
Вот жизни всей моей краса!

Се Марков-Собакевич,
Манилов-Маклаков,
Поприщин-Пуришкевич
И Чичиков-Гучков!

А наша слава и краса
Лишь корректуры полоса...
Ох, корректуры полоса —
Вот жизни всей моей краса!

Пред этою реальной
Компанией смирись,
Мурлыча, кот журнальный:
Иначе скажут: «Брысь!»

Погибнет слава, и краса,
И корректуры полоса...
А корректуры полоса
Есть жизни всей твоей краса!

И в горестях бессонных
Увянешь ты, злодум,
Машин ротационных
Внимая плавный шум.

Так помни: жизни всей краса
Есть корректуры полоса...
Да, корректуры полоса —
Вот наша слава и краса!

ИЗ АЛЬБОМА

С.Д. Гусеву-Оренбургскому

Думал и так он, и сяк он,
Выбрать героем кого б:
Сотый написан им дьякон,
Сто первый написан поп.

Не все духовенство оплакано!
Готовься к восторгам, толпа:
Сел писать он сто первого дьякона,
Сто второго попа!

Будрыс и его сыновья

Три у Будрыса сына, каждый — парень-картина.
И взращен в младенчестве истом.
Этот в кадрах эсера, тот эсдек, для примера,
Третий кличет себя анархистом.

Разумеется, франты эти все — эмигранты.
Прозябают они на Каружке *)
Восемь лет, дни за днями, затянувши ремнями,
Чтоб не ныли, голодные брюшки.

*) Rue de Carouge в Женеве, в эмигрантском просторечии Каружка.

Им в отчизне неловко: ждут тюрьма и веревка.
А желудок — что день, голосистей.
Старый Будрыс в печали: «Живота б не скончали
Молодцы, не дождавшись амнистий!»

Вот приходит и праздник. Весел старый проказник:
«Растворились темницы и тюрьмы
И, в сиянии Феба, видим синее небо,
Не жандармскую только лазурь мы!»

Переехав границы, Будрысята, как птицы,
Мчатся весело к отчему дому.
И, счастливей ребенка, заколовши теленка,
Им родитель готовит хорому.

Но свершается драма: «Сударь, вам телеграмма!»
Подана на варшавском вокзале:
«Папа, дело нечисто: ведь из нас анархиста
В Петрокове торжественно взяли!»

Ветер воет, как леший. Вестник с новой депешей:
«Покоритесь судьбе безответной!
Видно, жребий таковский: брат эсэр в Брест-Литовске
Арестован. Содержат в секретной».

А начальство из Вильна старцу пишет умильно:
«Взят эсдек, подъезжая к Пултуску...»
Старый Будрыс хохочет — ждать детей уж не хочет,
А идет сам садиться в кутузку!

ИЗ ПЕСЕН О «МОДЕРНЕ»

Романс

Мне все равно, чьим стилем наслаждаться:
Я к ерунде привык уже давно! —
Волошин, Эллис, может статься...
    Мне все равно! все равно!

Мне все равно, где Блоки заведутся,
Где Ауслендер пишет мудрено...
Пускай Чуковские смеются!..
Мне все равно! все равно!

Мне все равно, кому «Весы» отрада.
Кому милей московское «Руно»...
Скончались оба? И не надо!
Мне все равно! все равно!

«Аполлон»

Там, где море вечно плещет
На кремнистые бразды,
Где Богданов взоры мещет
К высям «Красныя звезды»;

Где живет, «богоискаясь»,
Горький, мнимо исключен;
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила «Аполлон».

И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой «Аполлон», —
Со времен Вассьяна Рыла
Краше всех изданий он.

От скандала, от дуэли,
От критических ворон,
Ни в вагоне, ни в постели
Не спасет мой «Аполлон».

И поэтами Востока
Он тебя не изумит,
И картинами порока
Головы не утомит;

И, когда придется туго
Заграничный твой полон,
В край родной, на север с юга
Не умчит мой «Аполлон».

Но, когда в бессонны ночи,
Лезет скука на тебя,
И на свет не смотрят очи,
И погода просто, бя! —

Милый друг! во избавленье,
Пробеги пять-шесть колонн,
И тебя в одно мгновенье,
Усыпит мой «Аполлон»!

ОЖИВШИЕ РИФМЫ

(80-х годов)

Рифма

«Рифма, дивная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда»,
Как тебе, бедняжка, туго
В наши скучные года!

Чрез моря, холмы и долы
Ты летишь, как встарь, но голы
Сочетания твои:
Поставляют их *глаголы*,
Parvenus * твоей семьи!

* Выскочка, пробравшийся в аристократы (*фр.*).

«Речь» и «меч», «рукопожатье»
И «объятье» иль «проклятье»
Мы рифмуем с давних лет…
Как твое, сиротка, платье,
Истрепал бедняк-поэт!

До гармонии ль тут нежной,
Если новой — и *надежной* —
Рифмы нет, хоть обыщи?
Бьет по уху твой мятежный
Звук, что камень из пращи!

Неуклюжая, больная,
В лучшем разе *составная*, —
Под предательским пером
Ты звенишь еще, родная,
Но фальшивым серебром!..

Рифмачам

Что корить мне вас за рифмы!
Все поэты таковы:
Чуть увидим дамский лиф мы,
Глядь, и сбрендили, увы.

И, красавицам в угоду,
Ну орать, под лирный звон,
Про луну, любовь, свободу,
Про лазурный небосклон!

В этих темах все банально!
Мир их треплет сто веков!..
Надо рифмой инфернальной
Завострять концы стихов.

Чтоб в ушах она повисла,
Как громовый ут-диез:

Пусть в стихах не будет смысла —
К рифме будет интерес!

И, ее могучим треском
С толку сбиты до конца,
Наши дамы дружным плеском
Встретят смелого певца!

* * *

Улетел веселый смех
Из стиха, — хоть тресни!
И пою я, как на грех,
Жалостные песни.

С Музой в ссоре я давно.
Говорю ей: «Муза!
Где же корень и зерно
Нашего союза?

Лет десяток хохотал
Я с тобой дуэтом
И в журналах обретал
Гонорар при этом, —

А теперь...»
Она в ответ:
«Ах, довольно прозы!
Если смеха больше нет,
Нам остались слезы!»

Муза! Муза! пощади!
Кто за слезы платит?
Слез у каждого, гляди,
На три моря хватит!

Ультиматум свой при всех
Говорю: «Готовься! —

Иль верни мне резвый смех,
Или скройся вовсе!!!»

Моего ль вы знали друга?

Всю жизнь упрямо рвется —
Куда? не знает сам:
К земле, когда напьется,
А трезвый, к небесам.

Писаний разных стопы
Хранит его портфель;
Стать чудом всей Европы —
Его прямая цель;

К тому усердно клонит
Свои все речи он,
Что миром он непонят,
Непризнан, оскорблен;

Отрывки всем читает
Романов начатых,
За пояс затыкает
Тургеневых, Толстых,

И лишь одним, бедняга,
Смущается — увы! —
Что в двадцать лет ни шага
От первой он главы!

Покуда ж труд свой редкий
Покончит молодец,
Он кормится газеткой:
От строчки — пятачец!

Завещание

Дитя! я в вечность отхожу
И обращусь в ничто...

Тебе в наследство предложу
Я драное пальто!

Оно дыряво и старо,
Но ты его храни! —
Се — капитал, что мне перо
Дало в младые дни!

Оплачен каждый в нем вершок
Ценою рифм моих:
Что ни стежок, то и стишок, —
О, сколько было их!

Я потерял с годами счет
В написанных строках;
Но славы нет... а также — вот
Пальто мое в дырах!
Дитя! На жизненном пути
Нужды печален зов.
Но лучше улицы мости,
А не пиши стихов!

Тебе уроком предложу
Я драное пальто...
Дитя! Я в вечность ухожу
И обращусь в ничто!

Влюбленный

1

Ты не знаешь любви, ты не ведал страстей,
  Сколько мне ни клянися ты в этом!
Настоящий влюбленный, как есть, без затей,
  Узнается по верным приметам!

Неумыт, непричесан, растрепан и дик,
  Мрачен он, как медведь в лихолетье,

И его, непонятный для смертных, язык
Произносит одни междометья.

Каждый выход свой в люди такой господин
Дорогою ценою окупит:
Здесь он трен оборвет, там уронит графин.
Тут особе на ногу наступит.
Он вздыхает, как будто опара в печи,
И о нем не судите вы плохо:
Можно жарить бифштекс, можно печь калачи
В знойном пламени каждого вздоха!

За свои ли, покойных ли предков грехи,
В грудь бедняги внедряется Этна,
И, как лава, из уст его льются стихи...
Смысла в них, хоть убей, незаметно!

Вот приметы, по коим, без дальних затей,
Узнается влюбленный поэтом!..
Ты не знаешь любви, ты не ведал страстей,
Сколько мне ни клянися ты в этом!

2

И я любил — да как!.. До сей поры
Я не забыл любви своей могучей;
Вздохну, бывало, — гибнут комары,
Заверчены тем вздохом в смерч летучий.

От увлеченья юношеских лет
Остались мне, как тени старой сказки:
«Ее» фотографический портрет,
Два локона и пряжка от подвязки.

Быль молодцу, конечно, не укор,
Но помню я, как тихими ночами
Ее портрет лобзал я до тех пор,
Что, не стерпев, слинял он под губами.

У горничной я локоны купил, —
  Их потихоньку срезала Марфутка...
Я пять рублей тогда ей заплатил!
  Ах, господа, не знает страсть рассудка!

С собой носил те локоны везде
  Я, завернув их в тонкую бумажку...
Но никому не расскажу я, где
  Нашел ее потерянную пряжку!



ПРИМЕЧАНИЯ

ПАМЯТИ ПОЛОНСКОГО

I

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. Пг.: Просвещение, <1915>.

С. **7.** *Полонский* Яков Петрович (1819—1898) — поэт, прозаик.

Паульсон Иосиф Иванович (1825—1898) — педагог. Редактор-издатель (совместно с Н. Весселем) педагогического журнала «Учитель». Составитель популярных изданий «Книга для чтения», «Первая и вторая учебная книжка» и др.

Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870) — педагог. Автор многократно издававшихся учебных пособий «Детский мир», «Родное слово» и трудов по педагогике.

«...ночью в колыбель младенца...»... — Первые строки стихотворения Полонского «Солнце и месяц» (1841).

«Бэда-проповедник» — стихотворение Полонского (1840).

Кто из нас... не смеялся до слез над похождениями «Кузнечика-музыканта»? — «Кузнечик-музыкант. Шутка в виде поэмы» (1859) — автобиографическая поэма-аллегория, в которой Полонский пародийно отобразил свою службу гувернером в семье А.О. Смирновой-Россет.

В одной знакомой улице... — Первая строфа стихотворения Полонского «Затворница» (1846), ставшая популярной песней студентов, а затем ссыльных и острожников.

...поет про русую головку... — Имеется в виду стихотворение Полонского «Вызов» («За окном в тени мелькает // Русая головка...»; 1844), положенное на музыку (под названием «Русая головка») П.А. Булаховым, А.С. Даргомыжским, П.И. Чайковским и др.

С. **7.** *...про костер цыганки...* — Стихотворение «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит...»; 1853), ставшее знаменитым романсом. Положено на музыку П.И. Чайковским, Э. Вальдтейфелем, Н.К. Метнером и др.

С. **8.** *Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт. Автор антологических произведений, посвященных эпизодам из русской и европейской истории.

Фет Афанасий Афанасьевич (наст. фам. Шеншин; 1820—1892) — поэт.

...Наш добрый тройственный союз!.. — Из стихотворения А.Н. Майкова «Я.П. Полонскому. Читано на его пятидесятилетнем юбилее 10 апреля 1887 г.» «Тройственным союзом» критика называла А.А. Фета, Полонского и А.Н. Майкова. См. об этом подробно в главе «Три поэта» в кн: *Перцов П.П.* Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 96—118. Назвав их «триадой 40-х годов», мемуарист пишет: «Особое положение в тогдашнем литературном мире занимали три поэта-старика — сверстники по годам и собратья «по музе, по судьбам», имена которых с самого их появления в литературе сплелись в одно созвездие».

С. **9.** *Писатель, если только он...* — Стихотворение Полонского «В альбом К.Ш...» (1864).

Мое сердце — родник, моя песня — волна... — Первые строки из восьмистишия Полонского (1856).

...смиренное признание его в известном послании к И.С. Аксакову. — Имеются в виду строки из послания «И.С. Аксакову» (1856): «В негодование души твоей вникая, // Собрат, пойму ли я тебя? // На смелый голос твой откликнуться желая, // Каким стихом откликнусь я?»

Лаврецкий Федор Иванович — главный герой романа Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

С. **10.** *Александр III* (1845—1894) — император России с 1881 г. Его правление вошло в историю как «эпоха контрреформ» в отличие от «эпохи великих реформ» его отца Александра II.

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт, прозаик, драматург, философ, естествоиспытатель.

Щербина Николай Федорович (1821—1869) — поэт.

Мей Лев Александрович (1822—1862) — поэт, драматург, переводчик.

С. **11.** *Что мне она? Не жена, не любовница...* — Начальные строки стихотворения Полонского «Узница» (1878).

С. **11.** *...он был больше Дон Карлосом, чем маркизом Позою...* — Названы персонажи оперы Дж. Верди «Дон Карлос» (1866), написанной на сюжет одноименной трагедии Ф. Шиллера (1787).

II. (В день похорон)

С. **11.** *Пятницы Полонского* — литературно-художественный кружок, собиравшийся с 1870-х гг. в петербургской квартире Я.П. и Ж.А. Полонских. Здесь в разные годы бывали В.М. Гаршин, З.Н. Гиппиус, Д.В. Григорович, И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, А.Н. Майков, Д.С. Мережковский, Н.М. Минский, К.К. Случевский, Вл.С. Соловьев, Н.Н. Страхов, И.С. Тургенев. См.: *Смиренский В.* «Пятницы» Полонского // Альманах «Прометей». 1972. № 9 и в кн.: *Опочинин Е.Н.* Среди великих (гл. «Яков Петрович Полонский и его пятницы»). М., 2001. После смерти поэта встречи продолжались до 1917 г. в Литературно-художественном кружке им. Я.П. Полонского.

С. **12.** *...кружком... который... описал Тургенев в «Гамлете Щигровского уезда».* — В этом рассказе (1848), входящем в цикл «Записки охотника», И.С. Тургенев критично отразил идеалистическую несостоятельность, чрезмерную замкнутость московских философских кружков 30-х и 40-х гг.

С. **13.** *Не для житейского волненья...* — из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

Лежнев — помещик-либерал, персонаж романа Тургенева «Рудин» (1859—1860).

Рудин — герой одноименного романа Тургенева. Его прототипом считают Михаила Александровича Бакунина (1814—1876), философа, публициста, идеолога анархизма.

...«точно Демосфен на берегу шумящего моря». — См. в романе «Рудин»: «Рудин стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, ни дать ни взять молодой Демосфен перед шумящим морем». Демосфен (ок. 384—322 до н.э.) — афинский оратор, политический деятель. Автор знаменитых «филиппик», речей против македонского царя Филиппа II. После захвата Греции Македонией принял яд.

С. **13.** *Покорский* — персонаж романа Тургенева «Рудин». Прообразом Покорского послужил Николай Владимирович Станкевич (1813—1840), философ, поэт, основатель литературно-философского кружка в Москве (1831—1839).

С. **13.** *Щитов* — персонаж романа Тургенева «Рудин», о котором сказано: «веселый Щитов, Аристофан наших сходок». Его прототип — учитель Тургенева, поэт и прозаик Иван Петрович Клюшников (1811—1895).

С. **14.** *Гарри, принц Галь, сэр Джон Фальстаф* — персонажи драматической хроники У. Шекспира «Генрих IV» (1596—1598).

С. **15.** *Приют певца угрюм и тесен...* — из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н.э.) — римский диктатор и полководец. Убит заговорщиками-республиканцами.

ЖЕМЧУЖНИКОВ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Литературный альбом. Изд. 2-е, доп. СПб.: Просвещение, 1907. Очерк впервые опубликован в газете «Россия» (1900. 11 февраля) к 50-летию творческой деятельности Алексея Михайловича Жемчужникова (1821—1908), поэта, публициста, одного из соавторов водевилей-пародий, подписывавшихся псевдонимом Козьма Прутков. Дебютировал в феврале 1850 г. комедией «Странная ночь».

С. **16.** *Кимвал* — древний восточный ударный музыкальный инструмент.

С. **19.** *Александр II* (1818—1881) — российский император с 1855 г., осуществивший ряд реформаторских преобразований, в том числе отмену крепостного права в 1861 г.

Арцимович Виктор Антонович (1820—1893) — юрист, деятель эпохи крестьянской реформы 1861 г. Губернатор Тобольский (1854—1858) и Калужский (1858—1864). Муж сестры А.М. Жемчужникова.

С. **20.** *...по пресловутой реформе графа Д.А. Толстого...* — Дмитрий Андреевич Толстой (1823—1889), граф — с 1861 г. сенатор, директор департамента народного просвещения. Член Государственного совета (1866). В 1865—1880 гг. — обер-прокурор Святейшего Синода и одновременно министр народного просвещения. В 1871 г. реформировал систему среднего образования: низшая школа — для народа, реальные училища — для буржуазии, университеты — для дворянства. В гимназиях ввел «классическое» образование (расширил преподавание древних языков — латинского и греческого). В апреле 1880 г. был уволен с постов.

С. **21.** *Конрад Лилиеншвагер* — один из псевдонимов Николая Александровича Добролюбова (1836—1861). Эту маску наивно-романтического поэта-обличителя критик использовал в пародиях, памфлетах и фельетонах, которые публиковал в «Свистке» (1859—1863, 9 выпусков), сатирическом отделе, основанном им с Н.А. Некрасовым в журнале «Современник».

С. **22.** *Толстой* Алексей Константинович (1817—1875), граф — поэт, прозаик, драматург. Автор исторического романа «Князь Серебряный» (1863), драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870), соавтор (с братьями Жемчужниковыми) пародийно-сатирических произведений, печатавшихся под псевдонимом Козьма Прутков.

Джусти Джузеппе (1809—1850) — итальянский поэт, автор политических сатир.

Фрейлиграт Фердинанд (1810—1876) — немецкий поэт-коммунист, автор революционной лирики.

Гофман фон Фаллерслебен Август Генрих (1798—1874) — немецкий поэт и филолог. Автор песни «Германия, Германия превыше всего» (1841), которая была гимном Германии до краха фашизма.

И.Л. БАХТАДЗЕ (ХОНЕЛИ)

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. Пг.: Просвещение, <1915>.

С. **23.** *Бахтадзе* Илья Лукич (псевд. Илико Хонели; ? —1900) — публицист.

Николадзе Нико (Николай) Яковлевич (1843—1928) — публицист, критик, мемуарист, общественный деятель. С июля 1887 г. — негласный редактор тифлисской газеты «Новое обозрение» (с апреля 1888 по середину 1891 г. официальным издателем была его жена).

С. **25.** *Князья Тумановы* — публицисты Георгий Михайлович (1854—?) и Константин Михайлович.

С. **26.** *...в милютинском «Кавказе»...* — Имеются в виду 1892—1897 гг., когда редактором-издателем литературной и политической газеты «Кавказ» (Тифлис; январь 1846 — ноябрь 1917) был Юрий Николаевич Милютин (1856—1912), впоследствии один из основате-

лей и лидеров «Союза 17 октября» (партии октябристов), гласный Петербургской городской думы с 1907 г.

С. **26.** *...идеалисткою Марией... практическую северную Марфу...* — Сестры Марфа и Мария — персонажи евангельской притчи о посещении Иисусом Христом Вифании (Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 38—42). Характер сестер — практической Марфы и восторженно-созерцательной Марии — стал нарицательным для обозначения различных типов жизнедеятельности как отдельных христиан, так и церковных общин.

С. **27.** *Писарев* Дмитрий Иванович (1840—1868) — критик, публицист. Родоначальник нигилизма, ставшего идейным знаменем революционеров-демократов 1860-х гг.

СТЕПНЯК

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 22. Властители дум. Пг.: Просвещение, <1914>.

С. **29.** *Степняк* — псевдоним Сергея Михайловича Кравчинского (1851—1895), писателя, публициста, переводчика, участника тайных организаций террористов. 4 августа 1878 г. на Михайловской площади в центре Петербурга ударом кинжала он убил шефа жандармов генерала Н.В. Мезенцова и бежал за границу. Погиб в Лондоне, попав под поезд.

...на рассвете «великих реформ»... — Имеются в виду реформы Александра II, начавшиеся с отмены в 1861 г. крепостного права.

...«подобно истории мидян...» — Мидяне — индоевропейская народность, упоминающаяся в древнеассирийских клинописях, начиная с IX в. до н.э. В середине VI в. до н.э. огромная мидийская держава распалась и была покорена персами.

...журнал «Былое»... по воле петербургского градоначальника приказал долго жить... — Ежемесячный «журнал, посвященный истории освободительного движения», издавался в Петербурге с января 1906 по октябрь 1907 г. Редакторы — В.Я. Богучарский, П.Е. Щеголев и В.Л. Бурцев. Петербургский градоначальник Д.В. Драчевский 2 ноября 1907 г. приостановил издание. Редакторы «за вредную политическую деятельность» были арестованы и высланы из столицы.

С. **30.** *Нельзя не поблагодарить от души С.А. Венгерова и редактируемую им «Библиотеку Светоча»...* — Известный библиограф и литературовед Семен Афанасьевич Венгеров (1855—1920) в 1905—1909 гг. редактировал в издательстве «Светоч» серию книг по истории русской общественной мысли и освободительного движения XIX в.

«Подпольная Россия» — книга художественно-публицистических очерков Кравчинского, принесшая ему европейскую известность. Впервые издана в Милане на итальянском языке в 1882 г. В авторском переводе на русский язык вышла в Лондоне в 1893 г. На английском языке Кравчинский в Лондоне издал также книги «Россия под властью царей» (т. 1—2, 1885), «Русская грозовая туча» (1885), «Русское крестьянство» (т. 1—2, 1888), «Царь-чурбан и царь-цапля» (т. 1—2, 1895), роман «Путь нигилиста» (1889. В рус. пер. «Андрей Кожухов»; Женева, 1898) и др. Кравчинский — прототип героя романа Э.Л. Войнич «Овод».

С. **31.** *«Штундист Павел Руденко»* (1894) — неоконченный роман Кравчинского, изданный в Женеве в 1900 г. Штунда — протестантская секта, возникшая на юге России в 1860-х гг. В 1894 г. отнесена указом к особенно вредным сектам и запрещена.

Валериан. — Валериан Андреевич Осинский (1852—1879) — один из учредителей тайного общества «Земля и воля» (СПб., 1876—1879), участник нескольких террористических актов. Повешен.

...погребальный марш Бетховена... — Имеется в виду траурный марш, созданный немецким композитором Людвигом ван Бетховеном (1770—1827) и ставший классическим образцом этого жанра.

...Лауб играл «Элегию» Эрнста... — Фердинанд Лауб (1832—1875) и Генрих Вильгельм Эрнст (1814—1865) — чешские скрипачи и композиторы, гастролировавшие в России. Лауб выступал в ансамбле с Н.Г. Рубинштейном; в 1866—1874 гг. преподавал в Московской консерватории.

С. **32.** *...каждого тома венгеровского издания...* — Имеется в виду изд.: Степняк-Кравчинский С.М. Собр. соч. Ч. 1—6. Под ред. С.А. Венгерова. СПб.: Светоч, 1907—1908.

Полукафтанье — короткий кафтан выше колен (крестьянская одежда).

Скуфейка (скуфья) — высокая четырехугольная мягкая шапка с округлым верхом — головной убор духовных лиц.

Аввакум Петрович (1620 или 1621—1682) — протопоп, писатель-богослов, основатель русского старообрядчества, идеолог раскола в право-

славной церкви. В 1667 г. заточен в земляную тюрьму, в которой провел 15 лет, после чего сожжен с единомышленниками. Автор знаменитой книги «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

С. **32.** *...одного Клеменца судьба помиловала...* — Дмитрий Александрович Клеменц (1848—1914) — публицист, путешественник, этнограф, археолог, музейный деятель. В 1870-х гг. — один из организаторов «хождений в народ». В 1879—1881 гг. — узник Петропавловской крепости, затем отправлен в ссылку, где увлекся изучением Восточной Сибири и Забайкалья, организуя экспедиции в труднодоступные районы. Автор многих трудов. В 1909 г. вышел в отставку в генеральском чине действительного статского советника и переехал в Москву. Автор мемуаров «Из прошлого» (1910—1911, 1925).

С. **34.** *...заменено покушением — кажется — Соловьева.* — Имеется в виду террорист Александр Константинович Соловьев (1846—1879), совершивший покушение на императора Александра II. Повешен.

«Новь» (1877) — роман Тургенева.

«Обрыв» (1869) — роман Гончарова.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921), князь — публицист, мемуарист; теоретик анархизма; географ, геолог, историк, биолог. Автор книг «Дневник» и «Записки революционера».

Диккенс Чарлз (1812—1870) — английский прозаик.

«Домик на Волге» (1880) — повесть Кравчинского, опубликованная в Женеве в 1896 г.

Дюма Александр (Дюма-отец; 1802—1870) — французский прозаик и драматург, автор знаменитых историко-авантюрных романов «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Виконт де Бражелон» (1848—1850), «Королева Марго» (1845), «Граф Монте-Кристо» (1845—1846) и др.

...Сенкевича (в знаменитой исторической трилогии)... — Имеются в виду романы польского прозаика Генрика Сенкевича (1846—1916) «Огнем и мечом» (1883—1884), «Потоп» (1884—1886) и «Пан Володыевский» (1887—1888), составившие трилогию. Лауреат Нобелевской премии (1905).

Купер Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский прозаик, автор популярных историко-приключенческих романов.

Эмар Гюстав (наст. имя и фам. Оливье Глу; 1818—1883) — французский прозаик, автор популярных историко-приключенческих романов.

С. **35.** *«Записки Бенвенуто Челлини»* — мемуары итальянского скульптора, ювелира и писателя Бенвенуто Челлини (1500—1571)

«Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини...» (1558—1565), написанные в жанре авантюрного романа.

С. 35. *Печорин увлекся «Пуританами» Вальтер Скотта...* — В главе «Княжна Мэри» романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1837—1840) Печорин в ночь перед дуэлью увлеченно читает роман «Шотландские пуритане» английского прозаика Вальтера Скотта (1771—1832).

Тиртей — древнегреческий поэт-лирик, живший в VII в до н.э. Автор песен и маршей, которыми призывал спартанцев к героической борьбе.

С. 36. *«Новообращенный»* (1894) — пьеса Кравчинского.

Дьяченко Виктор Антонович (1818—1876) — в 1860-е гг. один из самых репертуарных драматургов.

Чернышев Иван Егорович (1832—1865) — драматург, прозаик.

Антропов Лука Николаевич (1841, по др. сведениям 1843—1881) — драматург, критик.

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — драматург, заложивший основы национального репертуара русского театра.

С. 37. *Торквемада* Томас (ок. 1420—1498) — глава испанской инквизиции (великий инквизитор), инициатор преследования мусульман и евреев.

С. 38. *Садовский* Николай Карпович (наст. фам. Тобилевич; 1876—1948) — украинский актер и режиссер. В 1888 г. основал вместе с М.К. Заньковецкой собственную труппу в Киеве, а с 1905 г. возглавил труппу во Львове.

Манько Леонид Яковлевич (1863—1922) — украинский комедийный актер.

С. 39. *...сновидение стыда, перед которым содрогнулся когда-то щедринский Глумов.* — Глумов — персонаж, заимствованный М.Е. Салтыковым-Щедриным из пьес А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» и др. У Щедрина Глумов появляется в очерках «Между делом» (1873), рассказе «Зиждитель» из книги «Помпадуры и помпадурши» (1874), циклах «Письма к тетеньке» (1881) и «Пестрые письма», но более всего — в романе «Современная идиллия» (1883), где этот образ наделяется новыми качествами, в частности чувством стыда («главного жизненного регулятора»), которое активно противостоит царящему в обществе бесстыдству.

...о Покорском-«Станкевиче»... — См. примеч. к с. 13.

ДВЕСТИ ЛЕТ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Литературный альбом. Изд. 2-е, доп. СПб.: Просвещение, 1907. Фельетон посвящен двухсотлетию газетного дела в России, отмечавшемуся в 1903 г.

С. **41.** *Первый редактор и корректор Петр.* — Первая русская печатная газета «Ведомости» начала издаваться по указу Петра I от 16 декабря 1702 г. В этот же день (по другим сведениям — 2 января 1703 г.) на Печатном дворе в Москве вышел ее первый номер. Название затем варьировалось: «Ведомости московские», «Российские ведомости», «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во всех окрестных странах» и др. Петр I был автором многих публикаций. Первыми редакторами газеты являлись директор Печатного двора Ф.П. Поликарпов-Орлов (до 1711 г.), директор типографии в Петербурге, писатель М.П. Аврамов (до 1719 г.), переводчик Государственной коллегии иностранных дел Б. Волков (до 1727 г.). С 1828 до 1917 г. газета издавалась под названием «Санкт-Петербургские ведомости».

С. **42.** Василий Кириллович *Тредиаковский* (1703—1868) — поэт, филолог. Автор поэмы «Телемахида» (1766).

Волынский Артемий Петрович (1689—1740) — дипломат, государственный деятель, боровшийся с засильем иностранцев при Дворе. В результате интриг Э.И. Бирона, А.И. Остермана и др. был арестован по обвинению в организации переворота, подвергнут пыткам и казнен.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — первый российский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы русского литературного языка, историк.

С. **43.** *Княжнин* Яков Борисович (1742 или 1740—1791) — драматург, поэт, переводчик. Автор трагедии «Вадим Новгородский» (1789) и других пьес и либретто комических опер.

...агония Княжнина почти отняла разум у дряхлого творца «Недоросля» и «Бригадира». — Одна из версий кончины Я.Б. Княжнина — умер от пыток в застенках начальника Тайной канцелярии Степана Ивановича Шешковского (1727—1794). Другая версия — умер от «простудной горячки». Автор комедий «Бригадир» и «Недоросль» — Денис Иванович Фонвизин (1744 или 1745—1792).

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — поэт.

С. 43. ...*Радищева, первого провозвестника зари 19 февраля.* — Александр Николаевич Радищев (1749—1802) — мыслитель, писатель. Автор романа «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), в котором подверглись обличению самодержавие и крепостное право, отмененное по Манифесту 19 февраля 1861 г.

Шишков Александр Семенович (1754—1841) — поэт, драматург, переводчик; адмирал. Автор книг «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) и «Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге российского языка» (1804), вызвавших бурную полемику. Один из создателей литературного общества «Беседа любителей российского слова» (1811—1816). В 1813—1841 гг. — президент Российской академии. В 1824—1828 гг. — министр народного просвещения.

Голицын Александр Николаевич (1773—1844), князь — с 1803 г. обер-прокурор Синода. В 1816—1824 гг. — министр народного просвещения и духовных дел.

Фотий (в миру Петр Никитич Спасский; 1792—1838) — церковный деятель, архимандрит. Обличитель мистицизма и масонства. Противник А.Н. Голицына и возглавлявшегося им Библейского общества.

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844) — с 1810 г. статс-секретарь Департамента законов Государственного совета. С 1811 г. — директор Комиссии составления военных уставов и уложений при военном министерстве. Сподвижник М.М. Сперанского в осуществлении реформ. После падения Сперанского сослан в Вологду. В 1816 г. прощен.

Рунич Дмитрий Павлович (1778—1860) — в 1821—1826 гг. попечитель Петербургского учебного округа. Сторонник перестройки высшего образования на религиозных началах. Соавтор проекта цензурного устава (1826). За злоупотребления был отдан под суд.

С. 44. *14-го декабря*... — День восстания декабристов в 1825 г.

«Я не поэт, я гражданин!»... — Неточно цитируется последняя строка посвящения «А.А. Бестужеву» к поэме декабриста Кондратия Федоровича Рылеева (1795—1826) «Войнаровский» (1825). У автора: «Я не Поэт, а Гражданин».

...*«наумовские и волковские картины».* — Вероятно, имеются в виду живописцы-жанристы: автор картины «Дуэль Пушкина» Алексей Аввакумович Наумов (1840—1895) и Адриан Маркович Волков (1829—1873), издатель сатирического журнала «Маляр».

С. **44.** *...«презренные потомки известной подлостью прославленных отцов».* — Из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

Дантес Жорж Шарль, барон Геккерен (1812—1895) — убийца А.С. Пушкина. В России — с 1833 г. С 1836 г. — поручик Кавалергардского полка. За дуэль был разжалован в солдаты и выслан во Францию.

...другой великий писатель... находит на Кавказе — роковую смерть... — М.Ю. Лермонтов был убит 15 июля 1841 г. на дуэли у подножья горы Машук в Пятигорске.

Мартынов Николай Соломонович (1815—1875) — соученик М.Ю. Лермонтова по Школе юнкеров, затем его сослуживец. Убил Лермонтова на дуэли.

Тургенев — на гауптвахте за некролог Гоголя. — Тургенев, потрясенный смертью Н.В. Гоголя (21 февраля 1852 г.), напечатал в «Московских ведомостях» (13 марта 1952 г.) небольшую статью, в которой назвал Гоголя великим человеком, «который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы, которым мы гордимся как одной из слав наших». Николай I, преследовавший выступления в защиту представителей передовой русской литературы, приказал посадить Тургенева под арест, а затем «выслать на жительство на родину, под присмотр». Однако главной причиной ареста и ссылки были антикрепостнические «Записки охотника» (начали печататься в журнале «Современник» с 1847 г., когда журнал перешел к Н.А. Некрасову и В.Г. Белинскому и стал органом революционных демократов; в 1852 г. вышли отдельной книгой), вызвавшие недовольство властей. Лишь в конце 1853 г. Тургенев возвратился в Петербург, оставаясь все еще под надзором полиции.

...вспомните картину Наумова... — Имеется в виду картина «Белинский перед смертью» А.А. Наумова.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — прозаик, публицист, историк. Издавал в 1825—1834 гг. журнал «Московский телеграф», в котором печатался А.С. Пушкин, впоследствии остро полемизировавший с Полевым. Закрыт за отрицательный отзыв о пьесе Н.В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла», одобренной Николаем I.

Бутурлинский комитет — принятое в литературе название «Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений». Создан 2 апреля 1848 г. и назван по имени председателя Дмитрия Петровича Бутурлина (1790—1849),

военного историка, сенатора, члена Государственного совета, директора Императорской Публичной библиотеки в Петербурге.

С. 44. *Фрейганг* Андрей Иванович (1806 — после 1855) — цензор.

«Мертвый дом» — повесть Достоевского «Записки из Мертвого дома» (1860—1862).

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — прозаик, философ, публицист, революционер. С 1847 г. — в эмиграции. В 1853 г. основал в Лондоне «Вольную русскую типографию», в которой издавал альманах «Полярная звезда» (кн. 1—7, 1855—1862, № 8, Женева, 1868), газету «Колокол» (1857—1868) и агитационно-обличительную литературу.

Добролюбов Н.А. умер 17(29) ноября 1861 г. в Петербурге.

...грозной судьбы Чернышевского. — Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) — публицист, прозаик, критик. В 1856—1862 гг. — один из руководителей журнала «Современник». Идейный вдохновитель движения революционной демократии 1860-х гг. В 1862 г. арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где написал роман «Что делать?». В тюрьмах провел более 20 лет. Автор трудов по эстетике, философии, социологии, политэкономии, этике.

Ряд талантов, спившихся с круга от разлада с жизнью... — Амфитеатров называет писателей, преждевременно погибших от пристрастия к алкоголю. *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, критик, переводчик, мемуарист. Называл революционеров-демократов 1860-х гг. самозванцами, потомками «тушинского вора» (Лжедмитрия II). *Мей* Лев Александрович. *Помяловский* Николай Герасимович (1835—1863) — прозаик, автор повестей «Мещанское счастье» и «Молотов» (обе 1861), «Очерков бурсы» (1862—1863). *Решетников* Федор Михайлович (1841—1871) — прозаик. Автор повести «Подлиповцы» (1864). *Якушкин* Павел Иванович (1822—1872) — писатель, фольклорист, этнограф, собиратель народных сказаний и песен. *Левитов* Александр Иванович (1835—1877) — прозаик, очеркист.

С. 45. *Икар* — сын Дедала, с которым он улетел с острова Крит на крыльях, скрепленных воском. Икар приблизился к солнцу настолько, что воск растаял и герой погиб, упав в море, которое в его честь стали называть Икарийским.

Эвфорион — крылатый сын Ахилла и Елены на острове блаженных. За то, что отверг любовь Зевса, был убит молнией.

С. **45.** *...падает в пролет лестницы измученный Гаршин.* — Так погиб писатель Всеволод Михайлович Гаршин (1855—1888), страдавший наследственным расстройством психики.

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, кумир молодежи 1880-х гг., умер от чахотки.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889) — прозаик-сатирик, публицист.

«Отлученного» Льва Толстого... — Лев Николаевич Толстой (1829—1910) был отлучен от церкви Святейшим Синодом в 1901 г. Одной из причин отлучения стал его роман «Воскресение» (1889—1899), в котором подверглись критике некоторые церковные обряды православия.

Глеб Успенский бормочет в сумасшедшем доме... — Прозаик, очеркист Глеб Иванович Успенский (1843—1902) в последнее десятилетилетие своей жизни страдал тяжелым душевным расстройством, прервавшим его писательскую деятельность.

...сядет на гноище, подобно библейскому Иову. — Вера в Христа библейского праведника Иова подверглась тяжелейшим испытаниям: погибли его сыновья и дочери, его тело было поражено проказою. Но Бог благословил страдальца на долгую счастливую жизнь: Иов прожил 140 лет и обрел еще семерых детей.

С. **46.** *Горбунов* Иван Федорович (1831—1895) — прозаик, театровед, актер театров Малого в Москве и Александринского в Петербурге; зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа. Юмор Горбунова, по словам современника, «рассыпался по всей России и вошел в поговорки, в пословицы» (*Плещеев А.А.* Что вспомнилось. Актеры и писатели. СПб., 1914. Т. 3. С. 119).

С. **48.** *Градовский* Григорий Константинович (1842—1915) — публицист. В 1891 г. выступил одним из организаторов кассы взаимопомощи литераторов и ученых при Литфонде.

Цыфиркин, Кутейкин — персонажи комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» (1782).

С. **50.** *Армяшки-грегориашки* — имеются в виду последователи армяно-грегорианской церкви. Христианство в Армении утвердилось в VI в. благодаря трудам епископа Григория Просветителя (257 — после 318).

...«лабарданно» лжет. — Здесь в знач.: врать без зазрения совести. Лабардан — треска без хребта, просоленная в бочках.

С. **50.** *Хлестаков* — герой комедии Гоголя «Ревизор».

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — публицист, критик, ученый; сотрудник и редактор многих изданий, в том числе газет «Юридический вестник», «Русский курьер», «Курьер», «Русские ведомости», журналов «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русское богатство» и др.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — публицист, социолог, критик, теоретик народничества. В 1892—1904 гг. — редактор журнала «Русское богатство».

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — юрист, критик, публицист. В 1886—1905 гг. — сотрудник, в 1909—1916 гг. — редактор журнала «Вестник Европы».

С. **51.** *Гришка Отрепьев* — беглый дьякон московского Чудова монастыря, выдававший себя за сына Ивана Грозного; предположительно Лжедмитрий I (?—1606).

К.Д. БАЛЬМОНТ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Современники. М.: Типография А.П. Поплавского, 1908 (был изъят из продажи, через год разрешен).

I. «Песни мстителя»

С. **52.** *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт-символист.

«Песни мстителя» (Париж, 1907) — сборник революционных стихов Бальмонта, запрещенный к распространению в России. Некоторые из текстов печатались в парижском журнале Амфитеатрова «Красное знамя».

С. **53.** *...«ликующих, праздно болтающих»...* — Из стихотворения Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

...отозвался, на имя Валерия Брюсова... — Брюсов в ряде статей и рецензий, опубликованных в журнале «Весы» в 1905—1907 гг., с критической жесткостью встретил новые книги Бальмонта («Литургия красоты», «Злые чары», «Жар-птица») и осудил его пылкое увлечение революционным экстремизмом, выраженное в стихах, которые печатались в большевистской газете «Новая жизнь». «В ка-

кой же несчастный час, возмущался Брюсов, — и тут был прав он, а не Амфитеатров, — Бальмонту пришло в голову, что он может быть певцом социальных и политических отношений, «гражданским певцом» современной России! Самый субъективный поэт, какого только знала история поэзии, захотел говорить от лица каких-то собирательных «мы», захотел кого-то судить с высоты каких-то неподвижных принципов! Всех истинно любящих творчество Бальмонта не могло не опечалить его появление на политической арене. И, действительно, неловкий и растерянный, он оказался только жалким на этом не свойственном ему поприще и, чувствуя это, старался скрыть свое смущение громкостью своего крика... Трехкопеечная книжка, изданная товариществом «Знание» (речь идет о конфискованном сборнике 1906 г. «Стихотворения». — *Т.П.*), производит впечатление тягостное. Поэзии здесь нет и на грош» (Весы. 1906. № 9. С. 53). В ответ обозленный Бальмонт шлет Брюсову открытку с репродукцией картины П. Брейгеля Старшего «Слепые» (1568), на обороте которой написал свое стихотворение «Слепцы» (Бальмонт опубликует его в парижском журнале Амфитеатрова «Красное знамя» с посвящением Брюсову). Однако трехлетняя литературная дуэль-перепалка недавних друзей не привела к разрыву их духовной связи. Они встретились в Париже в 1909 г. и о многом в течение двух недель снова дружески беседовали. Брюсов в неизданной редакции сонета «К.Д. Бальмонту» написал:

Разлуки срок свершен; упали с душ оковы.
В притоне, где Париж танцует свой канкан,
Гляжу на облик твой и близкий мне и новый,
Считаю горестно рубцы от свежих ран.

Но удивительна игра судьбы: после переворота 1917 г. общественно-политические роли поэтов поменяются: Брюсов станет коммунистом, пишущим оды Ленину, а Бальмонт отправится в новое изгнание — на этот раз как антибольшевик.

С. **54.** *...наблюдал я Бальмонта в Париже почти два года...* — Бальмонт 31 декабря 1905 г. после подавления декабрьского восстания в Москве под угрозой репрессий бежал из России и вернулся 5 мая 1913 г. после объявления амнистии политическим эмигрантам. В эти же годы (с июля 1904) в своей первой эмиграции находился Амфитеатров.

С. **54.** *Майя* — одно из центральных понятий в философии индуизма, означающее, что видимый мир лишь иллюзия.

С. **55.** *...ужасами 9 января...* — Имеется в виду «кровавое воскресенье» 9 января 1905 г., когда войска расстреляли мирное шествие рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу с петицией императору Николаю II о своих нуждах.

С. **56.** *Гекуба* — в греческих сказаниях и в «Илиаде» Гомера жена троянского царя Приама, потерявшая в Троянской войне мужа и почти всех своих детей; символ скорби и отчаяния.

II. «Жар-птица»

С. **57.** *«Жар-птица.* Свирель славянина» (М., 1907) — сборник обработанных поэтом фольклорных текстов, сектантских песен и т.п. Увлечение Бальмонта народным творчеством разных стран и эпох нашло отражение также в книгах «Зовы древности» (М., 1908) и «Зеленый вертоград. Слова поцелуйные» (СПб., 1909).

С. **58.** *Беклемишев* Владимир Александрович (1861—1920) — скульптор, автор скульптурного изображения П.И. Чайковского в Петербургской консерватории.

Аронсон Наум Львович (1872—1943) — скульптор, автор бюстов-портретов Л.Н. Толстого, А.А. Фета, Бетховена и др.

Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939) — скульптор, автор портретов Л.Н. Толстого, С.П. Боткина, В.М. Гаршина, П.И. Чайковского.

Бернштам Леопольд Адольфович (1859—1039) — скульптор-портретист, создавший десятки бюстов деятелей литературы, искусства, науки.

Рерих Николай Константинович (1874—1947) — живописец, археолог, путешественник, писатель. Член объединения «Мир искусств». С 1920 г. жил в Индии. Рассматривал историю и природу как процесс единой «космической эволюции».

С. **59.** *Лесков* Николай Семенович (1831—1895) — прозаик, публицист.

С. **61.** *Суриков* Иван Захарович (1841—1880) — поэт.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908) — композитор, педагог, дирижер. Автор опер «Псковитянка» (1872) и «Царская невеста» (1898) по драмам Л.А. Мея, «Снегурочка» (1881) по пьесе А.Н. Островского, «Садко» (1896) и др.

С. **61.** *Малявин* Филипп Андреевич (1869—1940) — живописец. Автор известных картин «Три бабы» (1902), «Девка» (1903), «Баба в желтом», «Крестьянки» (1904) и др. С 1922 г. — в эмиграции.

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — донской атаман, предводитель казацко-крестьянского восстания 1670—1671 гг. Казнен в Москве.

С. **62.** *Эрфуртская программа* (1895) — марксистский документ германских социал-демократов.

Сахаров Иван Петрович (1807—1863) — этнограф и археолог. Автор трудов «Сказания русского народа» (1836—1837), «Песни русского народа» (1838—1839), «Русские народные сказки» (1841) и др.

С. **63.** *Афанасьев* Александр Николаевич (1826—1871) — фольклорист, историк, литературовед. Автор труда «Поэтические воззрения славян на природу» (т. 1—3, 1866—1869), сборников «Народные русские сказки» (8 вып., 1855—1864), «Народные русские легенды» (1859).

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) — текстильный фабрикант, книгоиздатель (с 1856 г.), владелец художественной галереи. На средства Солдатенкова построена крупнейшая в Москве больница (ныне им. С.П. Боткина).

Алмазов Борис Николаевич (1827—1876) — критик, поэт, переводчик.

Братья Гримм — немецкие филологи: Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859), основоположники мифологической школы в фольклористике, а также германистики как науки о языке и литературе. Мировую известность ученым принесли собранные и изданные ими «Детские и семейные сказки» (т. 1—2, 1812—1814).

С. **64.** *Тэйлор* (Тайлор) Эдуард Бернет (1832—1917) — английский этнограф. Автор трудов «Первобытная культура» (т. 1—2, 1871) и «Антропология» (1881).

Мюллер Макс (Фридрих Макс; 1823—1900) — английский филолог-востоковед. Переводчик «Ригведы» («Книга гимнов». Т. 1—6, 1849—1874), первого литературного памятника индийской литературы.

Неправо о стекле те думают, Шувалов... — Из «Письма о пользе стекла» (1752) М.В. Ломоносова. Иван Иванович Шувалов (1727—1797) — один из авторитетнейших сановников при дворе императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Дружил с Ломоносовым и поддерживал все его начинания. Разработал с ним план создания

Московского университета (1755). Инициатор создания Академии художеств (1757).

С. **65.** *Ганка* Вячеслав (Вацлав; 1791—1861) — чешский филолог. Автор имитаций под древнечешские рукописи — Краледворскую и Зеленогорскую.

Чаттертон Томас (1752—1770) — английский поэт, занимавшийся литературными мистификациями: написал стихи на средневековом английском языке и выдал их за стихи настоятеля собора Томаса Рауля, якобы жившего в XV в.

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — филолог-славист, этнограф. Основной труд — «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (т. 1—3, изд. 1893—1912).

Макферсон Джеймс (1736—1796) — английский поэт. Автор обработок кельтских преданий и легенд, выдавший их за подлинные песни барда-воина Оссиана.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт.

Минаев Дмитрий Иванович (1808—1876) — поэт, публицист, переводчик. Отец Дмитрия Дмитриевича Минаева (1835—1889), поэта-сатирика.

С. **67.** *«Бесы»* («Мчатся тучи, вьются тучи...», 1830) — стихотворение Пушкина.

«Утопленник» («Прибежали в избу дети...», 1828) — стихотворение Пушкина.

С. **69.** *Моцарт* Вольфганг Амадей (1756—1791) — австрийский композитор.

Сальери Антонио (1750—1825) — итальянский композитор, педагог. Жил в Вене. Автор свыше 40 опер. Не имеющую реальных подтверждений легенду об отравлении им Моцарта использовал А.С. Пушкин в «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» (1830).

III. «Белые зарницы»

С. **71.** *«Белые зарницы.* Мысли и впечатления» (СПб., 1908) — литературно-критический сборник Бальмонта.

Уольт Уитман (Уолт Уитмен; 1819—1892) — американский поэт, публицист. Автор сборников стихов «Листья травы» (1855—1891).

Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт-символист, критик. Автор драмы «Синяя птица», впервые поставленной в 1908 г. на сцене МХТ. Лауреат Нобелевской премии (1911).

С. 72. *Аксаковщина* — славянофильство, идеологами которого были братья К.С. и И.С. Аксаковы.

Победоносцевщина — государственная политика, получившая название от имени Константина Петровича *Победоносцева* (1827—1907), ученого-правоведа, государственного деятеля конца XIX — начала XX вв., обер-прокурора Святейшего Правительственного Синода (1880—1905).

...мечтавших о славянах по Гегелю... — Имеется в виду увлеченность философией Гегеля, объединившая в России и западников, и славянофилов.

Братья Киреевские: Иван Васильевич (1806—1856) — философ, критик, публицист, основоположник (вместе с А.С. Хомяковым) славянофильства; Петр Васильевич (1808—1856) — фольклорист, археограф, составитель неоднократно переиздававшихся сборников «Песни, собранные Киреевским» (1860—1874; 1911—1929).

Мицкевич Адам (1798—1855) — польский поэт-романтик.

Красиньский Зыгмунт (1812—1859) — польский прозаик, драматург, поэт.

Словацкий Юлиуш (1809—1849) — польский поэт-романтик.

С. 73. *«Дзяды»* — драматическая поэма А. Мицкевича.

«Ангелли» (1838) — поэма Ю. Словацкого.

«Иридион» (1833—1836) — драма З. Красиньского.

С. 75. *...начиная знаменитыми стихами Баратынского...* — Стихотворение Е.А. Баратынского «На смерть Гёте» (1832).

...блестящим этюдом Шахова... — Александр Александрович Шахов (1850—1877) — историк литературы. Автор книги «Гёте и его время».

С. 76. *Теофиль Ленартович* (1822—1893) — польский поэт.

О СЕРГЕЕВЕ-ЦЕНСКОМ

I. «Лебедь»

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Заметы сердца. М., 1909.

С. 77. *Сергеев-Ценский* Сергей Николаевич (наст. фам. Сергеев; 1875—1958) — прозаик, драматург, поэт, публицист.

«Лебедь» (М., 1908—1909) — журнал литературы и искусства; редактор-издатель С.А. Поперек. Редакционный совет возглавляли

С.Н. Сергеев-Ценский и Д.Н. Крачковский. Амфитеатров прочитал № 1 и 2 журнала «Лебедь» за 1908 г., в которых центральное место занимали материалы о повести Сергеева-Ценского «Береговое» (1908) — «О «Береговом». Беседа с Сергеевым-Ценским» (№ 1) и «Открытое письмо журналу «Весы» Сергеева-Ценского» (№ 2).

С. **77.** *«Весы»* (1904—1909) — журнал, издававшийся Сергеем Александровичем Поляковым (1874—1942), пайщиком семейной Знаменской мануфактуры, меценатом, библиофилом, переводчиком (с семи языков), владельцем московского издательства «Скорпион» (1900—1916). В «Весах» ведущим автором (в 1904—1905 гг. около 140 его публикаций) и фактическим руководителем был В.Я. Брюсов, сделавший журнал главным изданием русских символистов. Его ближайшими сотрудниками стали А. Белый, Вяч.И. Иванов, К.Д. Бальмонт, М.А. Волошин.

Останин Н. — псевдоним прозаика, критика, переводчицы Нины Ивановны Петровской (в замуж. Соколовой; 1879—1928), сотрудничавшей в символистских журналах «Перевал», «Весы», «Золотое руно». Петровская — прототип Ренаты, героини романа В.Я. Брюсова «Огненный Ангел» (1907—1908).

С. **78.** *...мексиканские измышления К.Д. Бальмонта...* — В 1905 г. Бальмонт совершил путешествие в Мексику и Калифорнию. Его путевые очерки и вольные переложения индейских космогонических мифов и преданий составили книгу «Змеиные цветы» (М., 1910).

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик, литературно-общественный деятель; один из вождей и теоретиков русского символизма. Руководитель ведущих органов символистов — издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

«Последние письма Якопо Фриса» — ошибка в названии романа «Последние письма Якопо Ортиса» (1798) итальянского поэта, прозаика, филолога Уго Фосколо (наст. имя Никколо; 1778—1827).

С. **79.** *...не то критик Волынский, не то кто-то из горбуновских купцов.* — Аким Львович Волынский (наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер; 1861—1926) — литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства. Ведущий сотрудник журнала «Русский вестник», который в 1890-е гг. стал благодаря ему первой трибуной русского литературного модерна. Автор вызвавших полемику книг «Русские критики» (1896), «Н.С. Лесков» (1898; первая монография о писателе), «Леонардо да Винчи» (1900). И.Ф. Горбунов — см. примеч. к с. 46.

С. **79.** *«Вечер»* (Образование. 1908. № 2) — рассказ прозаика и драматурга Николая Фридриховича Олигера (1882—1919).

...в покойном «Образовании» покойного Острогорского... — Педагог Александр Яковлевич Острогорский (1868—1908) был редактором журнала «Образование» до № 7 за 1908 г. После его кончины издание перешло в руки И.М. Василевского.

С. **80.** *Саго* (малайск.) — крахмал из саговых пальм, считающийся полезным питательным веществом для детей и выздоравливающих.

...какой-то г. Милль. — Вероятно, Казимир Ромуальдович Милль (1878—?), прозаик, поэт, публицист.

Вряд ли Джон Стюарт! — Джон Стюарт Милль (1806—1873) — английский философ и экономист, идеолог либерализма.

Аббат Иоганн Тритгейм (Тритемий; наст. фам. Хейденберг; 1462—1516) — немецкий богослов и историк. Автор историко-литературных книг «О церковных писателях», «О светочах, или О знаменитых мужах Германии», «О знаменитых мужах ордена св. Бенедикта».

С. **82.** *Дубельт* Леонтий Васильевич (1792—1862) — генерал от кавалерии, начальник корпуса жандармов (с 1835 г.) и одновременно в 1839—1856 гг. управляющий III отделением его императорского величества канцелярии.

Ты — царь! Живи один... — Из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830).

С. **83.** *«Вий»* — повесть Гоголя.

С. **84.** *Ленин* Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов; 1870—1924) — мыслитель, революционер, политический деятель.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — политический деятель, философ, теоретик марксизма.

Минский Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1855—1937) — поэт, публицист, философ, драматург, переводчик. Инициатор (вместе с Мережковским, Гиппиус и Розановым) Религиозно-философских собраний (СПб., 1901—1903) и соредактор журнала «Новый путь» (1903—1904). Автор книги «При свете совести: Мысли и мечты о цели жизни» (СПб., 1890), вызвавшей полемику. С 1914 г. — в эмиграции.

С. **85.** *Городецкий* Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, прозаик, драматург, переводчик.

С. **86.** *Башкин* Василий Васильевич (1880—1909) — поэт, прозаик.

С. **87.** *Крачковский* Дмитрий Николаевич (1882—1934) — прозаик. С 1918 г. — в эмиграции в Праге.

Голиаф — филистимлянский воин-великан, которого победил Давид (1-я Книга Царств).

«Кухня ведьмы» — в этой сцене из первой части трагедии Гёте «Фауст» Мефистофель угощает Фауста ведьминым зельем.

С. **88.** *Тюха* (Антон Тропинин) — персонаж драмы Л.Н. Андреева «Савва» (1906), брат главного героя.

II. Гадина

С. **88.** *Поручик Бабаев* — главный герой одноименной повести Сергеева-Ценского (1908).

С. **90.** *Грушницкий* — персонаж романа Лермонтова «Герой нашего времени».

Марлинский — псевдоним Александра Александровича Бестужева (1797—1837), прозаика, поэта, критика; одного из наиболее активных членов Северного общества декабристов.

Каменский Павел Павлович (1812, по др. сведениям 1810—1871) — прозаик, драматург, художественный критик.

С. **91.** *Спиридон-поворот* (солнцеворот) — день 12 (25) декабря, в который отмечается память епископа Тримифунтского, чудотворца Спиридона (ум. 348). По народным приметам, в этот день «солнце на лето, зима на мороз».

Бурбоны — королевская династия во Франции (в 1589—1792, 1814—1830 гг.), в Испании и в Королевстве обеих Сицилий.

Клеопатра (69—30 до н.э.) — царица Египта, ставшая любовницей римского императора Юлия Цезаря, а после его убийства — полководца и консула Марка Антония.

С. **92.** *...из повести под Марлинского, жестоко высмеянной В.Г. Белинским.* — Имеются в виду отрывок из романа П.П. Каменского «Письма Энского к одному из своих приятелей в Петербурге» и рецензия Белинского на сборник Каменского «Повести и рассказы» в журнале «Московский наблюдатель» (1838. Ч. XVII. Кн. 1). Критик пишет: «Главное, что хуже всего в «Повестях и рассказах» г. Каменского, это его страстная охота быть вторым Марлинским».

С. **92.** *«Поединок»* (1905) — повесть А.И. Куприна.

«Будем, как солнце» (1903) — сборник стихов К.Д. Бальмонта.

С. **94.** *...«Искатель сильных ощущений»... Белинский, разбирая роман этот...* — Имеются в виду сатирический роман (1839) П.П. Каменского и рецензия на него В.Г. Белинского (Отечественные записки. 1839. Т. VII. № 12).

С. **96.** *Виктор Гюго... требовал симпатии к Гану Исландцу, Лукреции Борджиа, Трибуле...* — Ган Исландец — герой одноименного романа (1823) Гюго. Лукреция Борджиа (1480—1520) — римская красавица, прославившаяся распущенностью; героиня одноименной драмы (1833) Гюго. Трибуле — шут, персонаж драмы Гюго «Король забавляется» (1832).

Магдалина — персонаж Библии, раскаявшаяся блудница.

Влас — персонаж поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», староста деревни Большие Вахлаки.

Раскольников, Иван Карамазов — персонажи романов Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы».

С. **98.** *Фрина* (IV в. до н.э.) — афинская красавица-гетера, послужившая прототипом для скульптур Праксителя «Афродита» и Апеллеса «Афродита, выходящая из моря».

С. **99.** *Гончаров* Иван Александрович (1812—1891) — прозаик, автор романов «Обыкновенная история» (1847), «Обломов» (1859), «Обрыв» (1869).

С. **100.** *«Три года»* (1894) — повесть Чехова, в которой нашли отражение идейные споры интеллигенции и события культурной жизни Москвы и Петербурга 1880-х гг.

«КОНЬ БЛЕДНЫЙ»

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 15. Мутные дни. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **102.** *«Конь бледный»* (1909) — повесть Бориса Викторовича Савинкова (псевд. В. Ропшин; 1879—1925) — публициста, прозаика, поэта, политического деятеля, эсера, одного из руководителей Боевой организации, организатора многих террористических актов.

С. **103.** *Синай* — священная гора, где Бог дал Моисею скрижали с «10 заповедями».

С. **103.** *Лютер* Мартин (1483—1546) — деятель Реформации в Германии. Основатель лютеранства, крупнейшего направления христианского протестантизма.

Бёрне Людвиг (1786—1837) — немецкий публицист и критик, один из идеологов литературного течения «Молодая Германия».

С. **104.** *...оргии эгоизма и эготизма по обряду Дионисову...* — На дионисиях (празднествах в честь бога виноградарства и виноделия Диониса) прославлялось стремление к чувственным наслаждениям (эгоизм), доходящее до обожествления, приравнивания самих себя Дионису (эготизм).

Липочка Большова — персонаж комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся!» (1849), купеческая невеста, мечтавшая о «благородном» женихе.

Балмашев Степан Валерианович (1881—1902) — эсер-террорист, убивший в Петербурге министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина (1853—1902). Повешен.

Каляев Иван Платонович (1877—1905) — эсер-террорист, убивший московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича (1857—1905). Повешен.

Гершуни Григорий Андреевич (наст. имя Герш Ицкович; 1870—1908) — организатор и руководитель Боевой организации партии эсеров и ее террористических актов.

«Былое» — журнал, возникший как издание по истории освободительного движения в России. В 1900—1904 и 1908—1912 гг. выходил в Лондоне и Париже (редактор-издатель В.Л. Бурцев), в 1906 и с июля 1917 до 1926 г. — в Петербурге (Петрограде, Ленинграде).

«Минувшие годы» — историко-литературный журнал, издававшийся в 1908 г. вместо закрытого цензурой журнала «Былое» (редакторы В.Я. Богучарский и П.Е. Щеголев, издатель Н.В. Мешков).

«Семь повешенных» — «Рассказ о семи повешенных» (1908) Л.Н. Андреева, в основе которого — реальные события: покушение террористов на министра юстиции И.Г. Щегловитова и их казнь через повешение в местечке Лисий Нос под Петербургом на рассвете 17 февраля 1908 г. Через неделю после того как был опубликован рассказ Андреева (в альманахе издательства «Шиповник», кн. 5), Л.Н. Толстой начал писать свою знаменитую статью против смертной казни «Не могу молчать».

С. **104.** *Ринальдо Ринальдини* — герой романа «Ринальдо Ринальдини, предводитель разбойников» (1797, рус. пер. 1802—1803) немецкого прозаика Христиана Августа Вульпиуса (1762—1827).

Атос, Портос и Арамис — герои романа Александра Дюма-отца «Три мушкетера».

С. **105.** *Джек-потрошитель* — убийца-маньяк, персонаж многих произведений.

С. **106.** *Гармодий и Аристогитон* — заговорщики, убившие в 514 г. до н.э. Гиппарха, покровителя искусств и наук, сына афинского тирана Писистрата. Казнены.

Брут Марк Юний (85—42 до н.э.) — глава заговора и убийца Цезаря. Покончил с собой.

Кассий Лонгин Гай (?—42 до н.э.) — римский военный и политический деятель, один из организаторов убийства Цезаря. Покончил с собой.

Равальяк Франсуа (1578—1616) — католический фанатик, убивший французского короля Генриха IV. Казнен.

Корде Шарлотта (1768—1793) — французская дворянка, заколовшая кинжалом одного из вождей Великой французской революции Жана Поля Марата. Казнена.

Граф Пален Константин Иванович (1833—1912) — в 1867—1878 гг. — министр юстиции. Член Государственного совета с 1878 г. При Александре III — один из составителей проектов контрреформ.

Густав III (1746—1792) — король Швеции с 1771 г., правивший в духе просвещенного абсолютизма. Убит на маскарадном балу графом Анкерстремом.

...женщина, убившая Леона Гамбетту... — Одна из версий кончины премьер-министра и министра иностранных дел Франции. Леон Гамбетта (1838—1882) случайно сам поранил себя в руку, что привело к скоротечному смертельному заболеванию.

Зубов Платон Александрович (1767—1822) — фаворит императрицы Екатерины II, организатор (вместе с братом Валерианом) убийства Павла I.

Филипп II (1527—1598) — король Испании с 1555 г.

С. **108.** *Печорин, Вера, княжна Мэри, Грушницкий* — персонажи романа Лермонтова «Герой нашего времени».

С. **109.** *Левкеева* 2-я Елизавета Ивановна (1851—1904) — актриса, дебютировавшая в «Грозе» А.Н. Островского на сцене Александ-

ринского театра. Известность приобрела в ролях старых дев и комических старух.

С. **109.** *Тамарин* — персонаж одноименного романа (1852) Михаила Васильевича Авдеева (1821—1876).

«М-r Батманов» (1852) — повесть Алексея Феофилактовича Писемского (1820 или 1821—1881).

«История моего современника» (т. 1—5, 1922) — художественная автобиография В.Г. Короленко.

С. **111.** *Азеф* Евно Фишелевич (1869—1918) — один из основателей партии эсеров, ставший провокатором (укрывался под псевдонимами Раскин, Виноградов). Разоблачен В.Л. Бурцевым.

С. **112.** *Смердяков* — персонаж романа Достоевского «Братья Карамазовы».

«Русская мысль» (М., 1880—1918) — научный, литературный и политический журнал, основанный В.М. Лавровым.

С. **113.** *Князь Мышкин* — персонаж романа Достоевского «Идиот».

Царь Федор Иоаннович — герой одноименной пьесы А.К.Толстого.

«Макбет» (1606) — трагедия У. Шекспира.

«Тьма» (1907) — рассказ Л.Н. Андреева, в основе которого подлинная история, случившаяся с эсером П.М. Рутенбергом, организатором убийства Гапона. Однако интерпретация эпизода вызвала возмущение и Рутенберга, и Горького, у которого на Капри Андреев познакомился со своим будущим персонажем. Отрицательные отзывы преобладали и в критике.

...*записки Гершуни.* — «Из недавнего прошлого» (1907) Г.А. Гершуни.

«МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ»

Ответ читательнице

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 15. Мутные дни. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **115.** *Куприн* Александр Иванович (1870—1938) — прозаик, публицист, критик. С 1919 г. — в эмиграции; в конце мая 1937 г. вернулся в СССР.

С. **116.** *Арцыбашев* Михаил Петрович (1878—1927) — прозаик, драматург, публицист; автор знаменитого романа «Санин», вызвавшего несправедливые судебные преследования «за порнографию».

С. **116.** *Каменский* Анатолий Павлович (1876—1941) — прозаик, драматург, киносценарист; один из лидеров (вместе с М.П. Арцыбашевым) эротического течения в литературе Серебряного века. В 1930 г. эмигрировал, но через пять лет вернулся и в 1937 г. был арестован. Погиб в Ухтижемлаге.

Бьёрнсон Бьёрнстьерне Мартиниус (1832—1910) — норвежский поэт, драматург. Основоположник норвежской национальной драматургии. Автор национального гимна Норвегии. Лауреат Нобелевской премии (1903).

С. **117.** *Мария Стюарт* (1542—1587) — шотландская королева, претендовавшая на трон Англии. Казнена.

С. **118.** *Маркс* Карл (1818—1883) — философ, социолог, основоположник марксизма.

С. **119.** *«Женское нестроение»* (СПб., 1904) — трижды издававшийся сборник статей Амфитеатрова о женщине в современном обществе.

«Виктория Павловна» (СПб., 1903) — роман Амфитеатрова.

С. **120.** *...повесть Гусева-Оренбургского, кажется, в XXIII книжке «Знания».* — Повесть «Женщина в белом» (СПб.:, 1908. Сборники «Знание». Кн. 23). Сергей Иванович Гусев-Оренбургский (наст. фам. Гусев; 1867—1963) — прозаик. С 1921 г. — в эмиграции.

С. **121.** *Сологуб* Федор (наст. фам. и имя Тетерников Федор Кузьмич; 1863—1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик.

Елена Травина — героиня рассказа «Морская болезнь», революционерка, изнасилованная во время плавания на пароходе.

С. **122.** *Кайен*, кайенский ладан — природная ароматическая смола, добываемая из тропических деревьев.

ЗАМЕТЫ СЕРДЦА

Записная книжка

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Заметы сердца. М., 1909.

С. **123.** *Боборыкинское столкновение с... «Современником»...* — Имеются в виду фельетоны П.Д. Боборыкина против левого радикализма журнала «Современник», публиковавшиеся в журнале «Библиотека для чтения» в 1860-е гг.

«Искра» (СПб., 1859—1873) — сатирический еженедельник, издававшийся поэтом Василием Степановичем Курочкиным (1831—

1875) и художником Николаем Александровичем Степановым (1807—1877).

С. **124.** *Чаев* Николай Александрович (1824—1914) — драматург, прозаик, поэт. Автор пьес «Дмитрий Самозванец» (1865), «Грозный царь Иван Васильевич» (1869), романов «Богатыри» (1872), «Подспудные силы» (1870—1897) и др.

Ходотов Николай Николаевич (1878—1932) — актер петербургского Александринского театра в 1898—1926 гг.

Бурдин Федор Алексеевич (1827—1887) — актер Александринского театра в 1847—1883 гг., автор переводов и переделок зарубежных пьес.

...самому Пинетти не разобрать... — Пинетти — известный иллюзионист и фокусник, выступавший в начале XIX в. с сеансами при дворах королей Франции, Пруссии, Швеции, а также императора России Павла I.

С. **125.** *«Искра»... им кормилась.* — Боборыкин попал под сатирический обстрел «Искры» после публикации фельетона «Пестрые заметки» («Библиотека для чтения». 1862. № 2), в текст которого редактор А.Ф. Писемский самовольно вставил оскорбительную для «Искры» фразу. «Искровцы» вызвали Писемского на дуэль, которая, к счастью, не состоялась.

С. **126.** *...своей злополучной «Библиотеки для чтения».* — Боборыкин приобрел журнал «Библиотека для чтения» в начале 1863 г. Однако уже в мае 1865 г. вынужден был приостановить издание, попав в долги, с которыми смог расплатиться только через 20 лет.

Маркс Адольф Федорович (1838—1904) — с 1869 г. петербургский книгоиздатель. С 1870 г. выпускал самый популярный в России еженедельный журнал семейного чтения «Нива» (1870—1918; в приложении — собрания сочинений, географические атласы, альбомы).

«В путь-дорогу», «Жертва вечерняя», «Земские силы» — романы Боборыкина, напечатанные соответственно в журналах: «Библиотека для чтения» (1862—1864), «Всемирный труд» (1868), «Библиотека для чтения» (1865).

«Китай-город» («Вестник Европы». 1882) — один из самых известных романов Боборыкина о купеческой Москве.

С. **127.** *Кочубей* Василий Леонтьевич (ок. 1640—1708), князь — генеральный писарь (с 1687 г.), генеральный судья (с 1699 г.) Левобереж-

ной Украины, сообщивший Петру I об измене Мазепы. Царь не поверил и выдал Кочубея Мазепе, который подверг его пыткам и казнил.

С. **127.** *Лихачев* Владимир Сергеевич (1849—1910) — поэт, драматург, переводчик. Автор мемуаров «Из театральных воспоминаний» (журнал «Театр и искусство». 1908. № 39, 40, 42—52; 1909. № 2—6, 16, 28, 29).

Никольский Федор Калинович (1828—1898) — оперный певец (тенор) придворной певческой капеллы (с 1850 г.) и Мариинского театра (с 1861 г.).

«Роберт-Дьявол» (1830) — опера французского композитора Джакомо Мейербера (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; 1791—1864).

«Русалка» (1855) — опера Александра Сергеевича Даргомыжского (1813—1869) на сюжет поэмы А.С. Пушкина.

С. **128.** *Васильев 1-й* Владимир Иванович (наст. фам. Кириллов; 1828—1900) — оперный певец (бас), выступавший в Мариинском театре в 1856—1881 гг.

Стравинский Федор Игнатьевич (1843—1902) — оперный певец (бас), солист Мариинского театра с 1876 г.

С. **129.** *Нет этого ни у Пушкина, ни у Хомякова, ни у Чаева, ни у Островского, ни у Пушкарева, ни у Суворина.* — Названы авторы произведений о Лжедмитрии I: А.С. Пушкин («Борис Годунов»); А.С. Хомяков (трагедия «Димитрий Самозванец»); Н.А. Чаев (драматическая хроника «Дмитрий Самозванец»); А.Н. Островский (драма «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»); Н.Л. Пушкарев (драма в стихах «Ксения и Лжедмитрий»); А.С. Суворин (драма «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения»).

Прочитал я комедию... Ф. Сологуба... — Речь идет о драме «Ванька ключник и паж Жеан» (1908), поставленной Н.Н. Евреиновым в петербургском Драматическом театре В.Ф. Комиссаржевской (на Офицерской) в сезон 1908/09 гг.

С. **130.** *«Бригадир»* (1770) — комедия Д.И. Фонвизина.

Рабле Франсуа (1494—1553) — французский прозаик, автор памятника культуры эпохи Возрождения — романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. 1—4, 1533—1552; кн. 5 — опубл. 1564).

Брантом Пьер де Бурдей (между 1527 и 1540—1614) — французский писатель-мемуарист. Автор книг «Жизнеописания знаменитых людей и великих полководцев», «Жизнеописания знаменитых дам», «Жизнеописания галантных дам».

С. **130.** *...обеих Маргарит Валуа?* — Вероятно, имеются в виду: 1) Маргарита Валуа или Наваррская, или Ангулемская (1492—1549) — жена короля наваррского Генриха д'Альбре, поэтесса, прозаик, драматург; автор сборника новелл «Гептамерон» (1559). 2) Маргарита, последняя в роду Валуа (1553—1615) — первая жена французского короля Генриха IV Бурбона.

С. **131.** *Генрих II* — король Франции в 1547—1559 гг.

Карл IX (1550—1574), *Генрих III* (1551—1588), *Генрих IV* (1553—1610), *Людовик XIII* (1610—1643) — короли Франции.

Медичи Екатерина (1519—1589) жена французского короля Генриха II, после смерти которого захватила власть.

Рогнеда (?—1000) — дочь полоцкого князя Рогволода. Силой принуждена была стать женой князя Владимира I Святославовича после того, как он захватил Полоцк и убил ее отца и братьев. Мать Ярослава Мудрого. Умерла монахиней.

Ярославна — жена князя Игоря, дочь Ярослава Осмомысла, персонаж «Слова о полку Игореве».

Анастасия Романовна Романова (урожд. Захарьина-Кошкина; ок. 1530—1560) — первая жена Ивана Грозного.

Годунова Ирина Федоровна (?—1603) — сестра царя Бориса Годунова, жена (с 1580 г.) царя Федора Иоанновича. В 1598 г. постриглась в монахини Новодевичьего монастыря, приняв имя Александры.

Ксения Борисовна Годунова (?—1622) — дочь царя Б.Годунова.

Морозова Феодосия Прокопиевна (урожд. Соковнина; 1632—1862) — боярыня, раскольница. За фанатичную приверженность к старой вере подверглась пыткам, не сломившим ее. Умерла в заточении. Героиня живописного полотна В.И. Сурикова.

Протопопица Настасья — жена протопопа Аввакума Настасья Марковна.

Царевна Софья Алексеевна (1657—1704) — правительница Русского государства в 1682—1689 гг. при малолетних братьях-царях Иване V и Петре I. Конфликт с Петром I закончился ее свержением и заключением в Новодевичий монастырь.

«Ванька Ключник» (1877) — «драматический эскиз» по «народной побывальщине» Л.Н. Антропова, с успехом шедший на провинциальных сценах.

С. **132.** *Крестовский* Всеволод Владимирович (1839—1895) — поэт, прозаик. Автор романа «Петербургские трущобы» (1864—

1867), дилогии «Кровавый пуф» (1875) и трилогии «Тьма египетская» (1888), «Тамара Бендавид» (1890) и «Торжество Ваала» (1891). 25 его стихотворений положены на музыку, в том числе «Ванька ключник» (1861).

С. **132.** *Соболевский* Алексей Иванович (1856—1929) — филолог-славист, академик. Один из основоположников исторического изучения русского языка..

Барков Иван Семенович (ок. 1732—1768) — поэт, переводчик. Прославился непристойными стихами, расходившимися в списках (впервые опубл. в 1992 г.).

Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — поэт, прозаик, критик, драматург, переводчик, композитор.

С. **133.** *Сваха Фекла Ивановна, Кочкарев, Подколесин* — персонажи комедии Гоголя «Женитьба» (1833).

С. **134.** *Эдмондо де Амичис* (1846—1908) — итальянский прозаик. Автор рассказов из военной жизни и путевых очерков.

Джозуэ Кардуччи (1835—1907) — итальянский поэт, историк литературы. Лауреат Нобелевской премии (1906).

С. **135.** *«Гугеноты»* (1835) — опера Дж. Мейербера. В России шла под названием «Гвельфы и гибеллины».

Джусти Джузеппе (1809—1850) — итальянский поэт. Мастер политической сатиры и любовной лирики.

«Черные маски» (1908) — символистская трагедия Л.Н. Андреева, вызвавшая разноречивые суждения критиков, особенно после спектаклей в театрах В.Ф. Комиссаржевской (со 2 декабря 1908 г.) и К.Н. Незлобина (с 7 декабря 1909 г.).

С. **136.** *Альфред де Мюссе* (1810—1857) — французский поэт, прозаик. Автор упоминаемой в тексте драматической поэмы «Уста и чаша» (1832).

Фауст — герой одноименной трагедии Гёте.

Манфред и Каин — герои одноименных поэм английского поэта-романтика Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788—1824).

Лохвицкая Мирра (Мария) Александровна (1869—1905) — поэтесса. Сестра Н.А. Тэффи.

С. **137.** *Апухтин* Алексей Николаевич (1840—1893) — поэт, прозаик.

С. **138.** *Герман Александрович Лопатин* (1845—1918) — литератор, публицист, переводчик, революционер. В 1887 г. приговорен к вечной каторге. До 1905 г. был узником Шлиссельбургской крепо-

сти. Освобожденный революцией, отошел от активной политической деятельности. В 1908—1913 гг. находился в Италии, где подружился с Амфитеатровым и жил в его доме. «Зрелый собеседник» — так характеризовал он Амфитеатрова, видя в нем энциклопедически образованного публициста, с которым ему было интересно обсуждать самые сложные проблемы.

С. **138.** *Шлиссельбургский сборник «Под сводами»...* — Коллективный сборник произведений политических узников Шлиссельбургской крепости.

С. **140.** *Энгельс* Фридрих (1820—1895) — немецкий мыслитель и общественный деятель, один из основоположников марксизма.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — революционерка, участвовала в организации покушений на императора Александра II, за что была приговорена к вечной каторге. 20 лет провела в одиночной камере в Шлиссельбургской крепости. Впоследствии отошла от участия в политической деятельности. Автор двухтомных воспоминаний «Запечатленный труд».

С. **141.** *Богданович* Юрий Николаевич (1849—1888) — участник «хождений в народ», террорист, участвовавший в покушениях на императора Александра II. Приговорен к вечной каторге. Умер в Шлиссельбургской крепости.

Волькенштейн Людмила Александровна (1857—1906) — революционерка, участница покушения на харьковского губернатора князя Д.Н. Кропоткина в 1879 г. Приговорена к 15 годам каторги, которую отбывала в Шлиссельбургской крепости. Автор записок «После смертного приговора» и мемуаров «Из тюремных воспоминаний» (1924).

«Булгаков»... роман Ф.Ф. Юрковского... — В инициалах ошибка: автор романа «Булгаков» — Федор Николаевич Юрковский (1851—1896), революционер-народник, пропагандист терроризма, окончивший свои дни в Шлиссельбургской крепости, где написал роман «Булгаков».

С. **142.** *Санин* — герой одноименного романа М.П. Арцыбашева.

Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878) — прозаик, публицист.

Успенский Николай Васильевич (1837—1889) — прозаик.

Морозов Николай Александрович (1854—1946) — поэт, прозаик, мыслитель, ученый, мемуарист, революционер-народоволец, приговоренный к пожизненному заключению. Вышел из Шлиссельбурга

в 1905 г. с 26 томами рукописей стихов и прозы, трудов по химии, физике, астрономии, математике, истории, которые печатались в крупнейших журналах и издавались книгами.

С. **142.** *Пейкюль.* — Паткуль Иоганн Рейнгольд (1660—1707), лифляндский дворянин, выступивший с осуждениями шведского короля Карла XI и приговоренный к смертной казни. Однако ему удалось бежать в Саксонию, где во время Северной войны с Швецией он возглавил русский отряд. По мирному договору был выдан шведскому королю Карлу XII и казнен. Герой многих романов и драм.

С. **143.** *Карл XII* (1682—1718) — король Швеции, полководец, одержавший ряд крупных побед в Северной войне. Вторжение в Россию стало для него роковым: разгромленный Петром I в Полтавской битве (1709), он бежал в Турцию.

Берцелиус Йёнс Якоб (1779—1848) — шведский химик.

С. **144.** *Пеладан* Жозефен (1859—1918), называвший себя Сар (вавилонский владыка), — французский прозаик, драматург, художественный критик.

Айседора Дункан (1877—1927) — американская танцовщица, неоднократно гастролировавшая в России. Вторая жена С.А. Есенина (с 1922 г.).

Пред нею в экстазе стоял, «выпрямленный», Глеб Успенский. — Речь идет об очерке «Выпрямила» (1885) Г.И. Успенского.

С. **145.** *«Цампа,* или Мраморная невеста» (1831) — романтическая опера французского композитора Фердинана Герольда (1791—1833).

Галатея — в греческой мифологии возлюбленная легендарного царя Кипра Пигмалиона, знаменитого скульптора. Он изваял из слоновой кости красавицу, в которую влюбился. Афродита, восхищенная такой любовью, оживила статую, и Галатея стала женой царя.

Варварин — псевдоним В.В. Розанова.

«Порфирий Головлев о свободе и вере» (1894) — памфлетная заметка Вл.С. Соловьева о Розанове, пером которого, по его мнению, водит дух щедринского Иудушки. Особенно резкие возражения Соловьева вызвала «Заметка о Пушкине» Розанова, опубликованная в пушкинском номере журнала «Мир искусства» (1899. № 13—14). «В заметке г. Розанова, увенчанной изображением дракона с вытянутым жалом, — пишет Соловьев в статье «Особое чествование Пушкина», — Пушкин объявлен поэтом бессодержательным, ненужным для нас и ничего нам не говорящим...» И с беспощад-

ностью заключает: Розанов «мало смыслит в красоте, поэзии и Пушкине» (Вестник Европы. 1899. № 7). Своеобразным ответом Розанова стал его некролог «Памяти Вл. Соловьева», в котором он счел уместным заявить: «Менее удачны были опыты критического суждения, за которые иногда брался покойный. Чего ему здесь недоставало? Спокойствия суждения. Он всегда высказывал что-нибудь экстравагантное, что трудно было доказать, и впадал в раздражение и разные литературные неудачи, все-таки пытаясь доказать. Такова его «Судьба Пушкина» и статьи, к ней примыкающие». Однако критику Соловьева Розанов все же воспринял, но позднее. Об этом более всего свидетельствует статья, которую он назвал «Возврат к Пушкину» (1912). В ней читаем: «Пушкин ни в чем не устарел. И поглядите: лет через двадцать он будет моложе и современнее и Толстого, и Достоевского. Как он имеет в себе нечто для всякого возраста, так (мы предчувствуем) в нем сохранится нечто и для всякого века и поколения... К Пушкину, господа! — к Пушкину снова!»

С. **146.** *...строки г. Варварина об Айседоре Дункан...* — Имеется в виду статья В.В. Розанова «Танцы невинности. Айседора Дункан» (Русское слово. 1909. 21 апреля. № 90), опубликованная под псевдонимом В. Варварин. Американской танцовщице Розанов посвятил также статьи «Дункан и ее танцы» (Новое время. 1913. 16 января), «У Айседоры Дункан» (Новое время. 1913. 19 февраля. № 13270), «Воспитательное значение танцев Айс. Дункан» (в кн. «Среди художников», 1914).

Андреев-Бурлак Василий Николаевич (1843—1888) — актер, прозаик. Один из организаторов «Первого товарищества русских актеров» (1883).

С. **147.** *«Вы ночному часу не верьте...»* — из стихотворения З.Н. Гиппиус «Цветы ночи» (1894).

П. Яр—в. — Петр Михайлович Ярцев (1871—1930), драматург, режиссер, театральный критик. Печатал в «Киевской мысли», «Речи» и других газетах рецензии на спектакли, возбуждавшие острые споры и обиды.

С. **148.** *Катерина Кабанова* — главная героиня драмы А.Н. Островского «Гроза» (1859).

С. **149.** *Матчич* — американский танец.

Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1900) — прозаик. Автор повестей «Антон Горемыка» (1847) и «Гуттаперчевый мальчик»

(1883), принесших ему известность, а также книги «Литературные воспоминания» (1893). В 1858 г. сопровождал А. Дюма в путешествии по России. Знаток живописи и скульптуры, собравший редкостную художественную коллекцию.

С. **150.** *«Черепослов*, сиречь Френолог» — пародийная пьеса Козьмы Пруткова с подзаголовком «Оперетта в трех картинах». Впервые — в журнале «Современник» (1860. № 5) с примечанием Н.А. Добролюбова: «Поклонники искусства для искусства! Рекомендуем вам драму г. Пруткова. Вы увидите, что чистая художественность еще не умерла». В 1911—1912 гг. была поставлена в петербургских «Веселом театре» и «Фарсе» вместе с другими пьесами Козьмы Пруткова.

«Фантазия» — пародийная комедия, впервые поставленная в Александринском театре 8 января 1851 г. Первая публикация — в «Полном собрании сочинений Козьмы Пруткова» (СПб., 1884).

«Русь» (СПб., 1903—1908) — газета А.А. Суворина (при участии Амфитеатрова; с 1909 г. «Новая Русь»).

Жемчужников Владимир Михайлович (1830—1884) — поэт, публицист, один из соавторов, печатавшихся под псевдонимом Козьма Прутков. Редактор первого «Полного собрания сочинений Козьмы Пруткова» (СПб., 1884). Брат А.М. Жемчужникова.

С. **152.** *Всеволожский* Никита Никитич (1846—1896) — ротмистр гвардии, сын родовитого дворянина из пушкинского окружения, основателя общества «Зеленая лампа», знаменитого острослова и водевилиста Никиты Всеволодовича Всеволожского (1799—1862). Выйдя в отставку, Всеволожский-младший в 1882 г. женился на актрисе Александринского театра Марии Гавриловне Савиной (1854—1915). Второе замужество великой актрисы оказалось несчастливым: беспутный образ жизни мужа, промотавшего в кутежах огромное наследство, привел к разрыву в 1891 г. В третий раз Савина вышла замуж незадолго до смерти: она обвенчалась в 1910 г. с Анатолием Евграфовичем Молчановым (1856—1921), одним из директоров Русского общества пароходства и торговли, редактором основанного им «Ежегодника императорских театров», председателем Русского театрального общества.

Шиловский Константин Степанович (наст. фам. Лошивский; 1848—1893) — прозаик, драматург, актер.

...дом литератора Гнедича в Петербурге... — Имеются в виду воскресные собрания писателей и актеров в 1890-х гг. на квартире

у Петра Петровича Гнедича (1855—1925), прозаика, драматурга, критика, театрального деятеля, переводчика, историка искусства. Об этих встречах Гнедич рассказал в мемуарах «Книга жизни» (1929).

С. **152.** *Тихонов* Владимир Алексеевич (псевд. Мордвин; 1857—1914) — прозаик, драматург, публицист. Редактор журнала «Север».

«Жестокий барон»... будто бы Антона Чехова... — «Жестокий барон» (1892) — «трагедия в 2-х действиях и притом в стихах. Сюжет заимствован. Юношеское произведение неизвестного автора»; одна из шуточных пьес искусствоведа Владимира Егоровича Гиацинтова (1858—1932). Приписывалась А.П. Чехову.

С. **153.** *Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882), граф — прозаик, драматург. Автор комедий-водевилей, успешно шедших на сценах театров Александринского в Петербурге и Малого в Москве.

«Тезей», «Белая лилия» — шуточные пьесы Владимира Сергеевича Соловьева (1853—1900), философа, поэта, богослова, публициста, критика.

Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — предприниматель, меценат, театральный деятель, режиссер, либреттист, переводчик. В своем подмосковном имении Абрамцево в 1870—1890 гг. Мамонтов открыл мастерские для художников, где работали В.М. Васнецов, И.Е Репин, В.Д. и Е.Д. Поленовы, В.А. Серов, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров. В 1885 г. основал Московскую частную русскую оперу, сыгравшую новаторскую роль в совершенствовании русского музыкального театра.

...«Вампука, невеста африканская», нынешняя пьеса-фурор... — Речь идет о пародийном спектакле театра «Кривое зеркало» (январь 1908 г.), пользовавшимся огромным успехом. Либретто написано по фельетону «Принцесса Африканская» («Вампука»; газета «Новое время». 1900. 8 сентября. № 8812) драматурга и исторического романиста Михаила Николаевича Волконского (псевд. Анчар Манценилов; 1860—1917).

Дорошевич Влас Михайлович (1865—1922) — журналист, публицист, театральный и художественный критик, прозаик.

Столыпин Александр Аркадьевич (1863—1925) — публицист, сотрудник газеты «Новое время». Редактор «С.-Петербургских ведомостей». Брат П.А. Столыпина.

С. **154.** *Ермилов* Владимир Евграфович (1859—1918) — педагог, журналист.

С. **154.** *Мрочек-Дроздовский* Петр Николаевич (1848—?) — профессор истории русского права в Московском университете.

Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя и фам. Иван Николаевич Горелов; 1849—1925) — актер Александринского театра в 1880—1924 гг.

Мальский Николай Петрович (наст. фам. Нечаев; ? — 1906) — актер.

Сладкопевцев Владимир Владимирович (1876—1957) — актер театра Литературно-художественного общества в Петербурге (с 1907 г.).

Андреев Василий Васильевич (1861—1918) — композитор, виртуоз-балалаечник. Организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов.

С. **155.** *Симборский* Николай Васильевич (1849—1881) — поэт.

С. **156.** *Михаил Николаевич* (1832—1909) — великий князь, сын Николая I. С 1861 по 1881 г. — наместник Кавказаи главнокомандующий Кавказской армией, с 1881 г. — председатель Государственного совета.

Один Лорис, // Один Мелик! — Имеется в виду Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825—1888), граф, генерал-адъютант (1865), генерал от кавалерии (1875). Герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг. С 12 февраля по 6 августа 1880 г. — главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия с неограниченными полномочиями. С 6 августа 1880 по 4 мая 1881 г. — министр внутренних дел и шеф жандармов. Сторонник примирения общественных движений с монархией путем введения конституции и парламента. Обладал диктаторскими полномочиями в конце царствования Александра II. При Александре III, взявшем курс на политическое укрепление самодержавия, Лорис-Меликов с 7 мая 1881 г. оказался не у дел.

С. **157.** *«Народная воля»* — революционная народническая террористическая организация, основанная в 1879 г. Устроила восемь покушений на императора Александра II. После убийства царя 1 марта 1881 г. была разгромлена.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — революционер, поэт, публицист.

С. **158.** *Зудерман* Герман (1857—1928) — немецкий прозаик и драматург. Автор эротических романов и драм.

С. **158.** *«Дама с камелиями»* — роман (1848) и пьеса (1852) Александра Дюма-сына (1824—1895), по мотивам которых написана опера Дж. Верди «Травиата».

Бёрне Людвиг (1786—1837) — немецкий публицист и критик. Автор памфлетов.

Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель; родоначальник христианской философии истории, автор основополагающего труда в западной патристике «О граде Божием» и автобиографической «Исповеди».

С. **159.** *Ах, если б я // Была не я — // Была метресса короля!..* — Из песни французского поэта Пьера Жана Беранже (1780—1857) «Любовница короля» («La maitresse du roi»).

С. **160.** *Шолом-Алейхем* (наст. имя и фам. Шолом Нохумович Рабинович; 1859—1916) — еврейский прозаик и публицист.

С. **161.** *Пшибышевский* Станислав (1868—1927) — польский прозаик, драматург, публицист, писавший на польском и немецком языках.

Франс Анатоль (наст. имя и фам. Анатоль Франсуа Тибо; 1844—1924) — французский прозаик и публицист. Лауреат Нобелевской премии (1921).

С. **162.** *Д'Аннунцио* Габриеле (1863—1938) — итальянский поэт, прозаик, драматург, публицист.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — экономист, историк, философ, критик, публицист, политический деятель; академик Российской академии наук (1917). Лидер партии кадетов. В 1906—1918 гг. — редактор петербургского журнала «Русская мысль». Соавтор сборника «Вехи» (1909), вызвавшего долгую политическую полемику, которая завершилась изгнанием ее участников из России. С 1920 г. — в эмиграции.

«Кандид, или Оптимизм» (1759) — философская повесть Вольтера (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778), французского мыслителя, прозаика, поэта, драматурга, публициста.

С. **163.** *Панглосс* — персонаж повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм», утверждавший, что «все к лучшему в этом лучшем из миров».

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — один из ведущих сотрудников газеты «Новое время» (работал здесь около 20 лет). В начале 1900-х гг. опубликовал несколько статей о «еврейской опасности», «инородческом заговоре», о социал-демократии

как партии «еврейской смуты», вызвавших полемику и создавших ему репутацию антисемита и охранителя. В 1918 г. расстрелян большевиками.

С. **164.** *Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — прозаик, лексикограф, этнограф. Создатель «Толкового словаря живого великорусского словаря» (т. 1—4, 1861—1867).

Михаил Васильевич Кречинский — главный герой комедии «Свадьба Кречинского» (1856) Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817—1903).

С. **166.** *Мещерский* Владимир Петрович (1839—1914), князь — публицист, издатель еженедельной газеты «Гражданин» (основана в 1872 г.). В российском обществе имел репутацию ретрограда, что вызвало пренебрежительное отношение к нему даже Победоносцева и Александра III.

Ксеркс когда-то высек море. — Эпизод из жизни персидского царя Ксеркса, правившего с 486 по 465 г. Потерпев поражение в трех морских сражениях с греками, якобы приказал высечь море.

С. **167.** *«Догорающие лампы»* (СПб., 1909) — сборник рассказов Михаила Константиновича Первухина (1870—1928), прозаика, публициста.

Думбадзе Александр Иванович (1855—1918) — генерал, градоначальник Ялты, отличавшийся жестокостью и произволом.

С. **168.** *Баранцевич* Казимир Станиславович (1851—1927) — прозаик, драматург, публицист.

«Огненный Ангел» (М., 1908) — роман В.Я. Брюсова, в подтексте которого узнаются идейно-личностные противостояния автора с А. Белым и Н.И. Петровской.

С. **169.** *«К звездам», «Савва»* (обе 1906) — пьесы Л.Н. Андреева.

Литвин Савелий Константинович (наст. имя и фам. Шеель Хаимович Эфрон; 1849—1926) — прозаик, драматург. В эмиграции принял монашеский сан в русском монастыре в Сербии.

С. **170.** *Литвин* Фелия Васильевна (наст. имя и фам. Фекла Литвинова; 1861—1936) — артистка оперы (драматическое сопрано), певшая в театрах Парижа, Милана, Нью-Йорка, Лондона. С 1890-х гг. — в России.

Великий пророк суфитов Гуссейн ибн Мансур... — Речь идет об одном из идеологов суфизма, мистического течения в исламе, Абу Абдаллахе Хусейне ибн Мансуре аль Халладже. «Я есть истинный!» —

восклицал он в проповедях, приравнивая себя к Богу. За это его признали еретиком и казнили.

С. **171.** *Илиодор* (в миру Сергей Михайлович Труфанов; 1880—1952) — иеромонах, религиозный проповедник, один из организаторов «Союза русского народа». Прославился скандальными обличениями Г.Е. Распутина, антисемитскими выступлениями и выпадами против интеллигенции. В конце 1912 г. Синод удовлетворил его прошение о снятии с него сана. В 1914 г. бежал за границу. Автор книги «Святой черт» (о Распутине).

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — крупный помещик, ставший лидером «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела». Участник убийства Г.Е. Распутина.

С. **172.** *Конфуций* (Кун-цзы — учитель Кун; ок. 551—479 до н.э.) — древнекитайский мыслитель, основатель этико-политического учения — конфуцианства.

Делянов Иван Давыдович (1818—1897), граф — государственный деятель, статс-секретарь, сенатор. В 1861—1882 гг. — директор Императорской публичной библиотеки и товарищ министра народного просвещения, с 1882 г. — министр.

Боголепов Николай Павлович (1846—1901) — государственный деятель, правовед. С 1881—1893 гг. — профессор истории римского права, ректор Московского университета. С 1898 г. — министр народного просвещения. В 1901 г. смертельно ранен террористом-эсером.

Зенгер Григорий Эдуардович (1853—1919) — филолог, профессор римской словесности в Московском университете, ректор Варшавского университета. В 1900—1901 гг. — попечитель Варшавского учебного округа. В 1902—1904 гг. возглавлял министерство народного просвещения.

Шварц Александр Николаевич (1848—1915) — филолог, профессор Московского университета, государственный деятель. В 1908—1910 гг. — министр народного просвещения, противник университетского самоуправления.

С. **173.** *Бобринский* Алексей Александрович (1852—1927) — историк, археолог. В 1906—1912 гг. — председатель объединенного дворянства, депутат III Государственной думы. Поддерживал политику П.А. Столыпина. С 1919 г. — в эмиграции.

Крупенский Павел Николаевич (1883—1927) — депутат II—IV Государственной думы. Один из организаторов и руководителей Всерос-

сийского национального клуба (1909). С октября 1917 г. — в эмиграции.

С. **173.** *Келеповский* Аркадий Ипполитович — депутат III Государственной думы, представитель правых.

С. **174.** *Лао-Цзы* (наст. имя Ли Эр) — автор древнекитайского трактата, названного его именем (IV—III вв. до н.э.); древнее название «Дао дэ цзин».

С. **175.** *Энгельгардт* Михаил Александрович (1861—1915) — публицист.

С. **176.** *Ерьзя* (Эрьзя; наст. имя и фам. Степан Дмитриевич Нефедов; 1876—1959) — скульптор.

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866—1938), князь — скульптор-импрессионист. Автор конного памятника Александру III в Петербурге. С 1906 г. жил в основном за границей.

Мусоргский Модест Петрович (1839—1881) — композитор. Автор музыкальных драм «Борис Годунов» (1869) и «Хованщина» (1872—1880; завершена Н.А. Римским-Корсаковым).

Эрнесто Росси (1827—1896) — итальянский актер. Выступал на гастролях в России с шекспировским репертуаром в 1877—1878, 1890, 1895—1896 гг. В последний свой приезд в Россию сыграл роль Иоанна Грозного в трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного».

Томмазо Сальвини (1820—1915) — итальянский актер. Был на гастролях в России в 1880, 1882, 1885, 1900—1901 гг.

Элеонора Дузе (1858—1924) — итальянская актриса, выступавшая с огромным успехом в России в 1891—1892 и 1908 гг.

С. **177.** *Роден* Огюст (1840—1917) — французский скульптор.

Менье Константен (1831—1905) — бельгийский скульптор и живописец.

С. **178.** *Бистольфи* Леонардо (1859—?) — итальянский скульптор.

С. **179.** *Антей* — в греческой мифологии великан, неуязвимость которого действовала до тех пор, пока он прикасался к матери-земле. Геракл победил его, оторвав от земли.

Комиссаржевский Федор Федорович (1882—1954) — режиссер, педагог, теоретик театра. Брат В.Ф. Комиссаржевской.

Евреинов Николай Николаевич (1879—1953) — режиссер, драматург, историк и теоретик театра; один из создателей знаменитых пародийных театров «Кривое зеркало» (1910—1916), «Летучая мышь» и др.

С. **179.** *Иванов* Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, драматург, филолог-классик, критик, теоретик символизма.

Рукавишников Иван Сергеевич (1877—1930) — поэт-символист, прозаик.

С. **180.** *«Перикола»* (1868) — оперетта французского композитора Жака Оффенбаха (наст. имя и фам. Якоб Эбершт; 1819—1880).

«Новая Русь» (СПб., 1909) — газета А.А. Суворина, сменившая его «Русь».

Боцяновский Владимир Феофилович (1869—1943) — критик, драматург, историк литературы.

С. **181.** *Н.А. Чавчавадзе.* — Грибоедова Нина Александровна (урожд. княжна Чавчавадзе; 1812—1857) — жена А.С. Грибоедова.

С. **182.** *Иванов* Михаил Михайлович (1849—1927) — музыкальный критик и композитор.

Жаботинский Владимир (Зеев) Евгеньевич (1880—1940) — прозаик, публицист, поэт-переводчик, драматург, общественный и политический деятель. С 1914 г. — в эмиграции.

Абдул-Гамид II — турецкий султан, правивший с 1876 по 1909 г.

...у Давида, в его бессмертном псалме «На реках Вавилонских»... — См. в Библии: Псалтирь, псалом 136 («При реках Вавилона...»).

Косоротов Александр Иванович (1868—1912) — драматург, прозаик, публицист. Покончил жизнь самоубийством.

С. **183.** *Анджело Губернатис* (1840—1913) — итальянский археолог, искусствовед, драматург, поэт, переводчик. Автор исследований по мифологии, комментариев к «Божественной комедии» и монографий о Данте. Печатался в петербургском журнале «Вестник Европы».

«Кривое зеркало» (СПб., 1908—1931) — театр малых форм (пародий, шаржей, буффонад), созданный по инициативе актрисы, антрепренера, издателя Зинаиды Васильевны Холмской (наст. фам. Тимофеева; 1866—1936). Возглавлял театр ее муж — критик, драматург, публицист, режиссер Александр Рафаилович Кугель (1864—1928).

«Юбиляры и триумфаторы» — стихотворение В.С. Курочкина.

«Коробейники», «Рыцарь на час» — стихотворения Некрасова.

Гейне из Тамбова — псевдоним П.И. Вейнберга.

Лука Джордано родился в 1632 году и умер в 1701! — Неточность в дате смерти: итальянский живописец Лука Джордано умер в 1705 г.

С. **184.** *Архангельская* Варвара Васильевна (псевд. Авчинникова; 1879—1938) — публицистка.

Северин — псевдоним Надежды Ивановны Мердер (урожд. Свечина; 1839, по другим сведениям 1837—1906), прозаика, публициста, автора популярных исторических романов.

Ноздрев — один из героев поэмы Гоголя «Мертвые души».

Шумский Сергей Васильевич (наст. фам. Чесноков; 1820—1878) — актер Малого театра, любимый ученик М.С. Щепкина. До 1847 г. успешно выступал в водевилях.

Яков — персонаж поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1866—1877).

Сбоина — жмых, семенные остатки.

С. **186.** *«Simplicissimus»* («Симплициссимус»; 1669) — гротескно-сатирический роман немецкого прозаика Ганса Якоба Кристофа Гриммельсгаузена (ок. 1621—1676).

Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895) — историк искусства и коллекционер, сенатор. Автор художественных альбомов и работ по истории искусства: «Русские народные картинки» (кн. 1—5, т. 1—3; 1881—1893), «Подробный словарь русских гравированных портретов» (т. 1—4; 1886—1889), «Подробный словарь русских граверов XVI—XIX вв.» (т. 1—2; 1895) и др.

С. **188.** *Нерон* Клавдий Друз Германик (37—68) — римский император, жестокий тиран, первый гонитель христиан.

О САШЕ ЧЕРНОМ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. И черти, и цветы. СПб., 1913. Очерк вошел также в его кн.: Разговоры по душе. М., 1910.

С. **190.** *Саша Черный* (наст. имя и фам. Александр Михайлович Гликберг; 1880—1932) — поэт-сатирик, прозаик. С марта 1920 г. — в эмиграции. Автор книг: «Разные мотивы» (СПб., 1906), «Сатиры» (СПб., 1910), «Сатиры и лирика» (СПб., 1911), «Жажда. 1914—1920» (Берлин, 1923), «Несерьезные рассказы» (Париж, 1928) и др.

С. **191.** *Петроний* Арбитр — римский писатель, занимавший высокие должности при дворе императора Нерона и называвшийся «арбитром изящества». Заподозренный в заговоре, был в 66 г. принужден Нероном покончить самоубийством.

С. **191.** *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский прозаик-сентименталист. Автор гротескного романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767).

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик.

Свифт Джонатан (1667—1745) — английский прозаик-сатирик. Автор памфлетов и романа «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гуливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726).

Барбье Огюст (1805—1882) — французский поэт.

Жулёв Гавриил Николаевич (1834—1878) — поэт, драматург, актер Александринского театра. В 1860—1869 гг. сотрудничал в «Искре». Автор книг «Песни Скорбного поэта» (1863), «Ба! Знакомые всё лица!!! Рифмы дебютанта (Скорбного поэта)» (1871) и др.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт, переводчик, историк литературы. В 1859—1866 гг. сотрудничал в «Искре», где публиковал фельетоны, памфлеты, сатирические стихи под псевдонимом «Гейне из Тамбова».

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) —прозаик, драматург, литературный и театральный критик, поэт, переводчик. Сотрудник газеты «Новое время».

С. **193.** *Ницшеанство* — учение о романтическом идеале «человека будущего», связанного с мифическим культом сильной личности, «сверхчеловека». Названо по имени немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900), автора трудов, написанных в жанре философско-поэтической эссеистики: «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Так говорил Заратустра» (1883—1884) и др.

С. **194.** *Гербель* Николай Васильевич (1827—1883) — поэт-переводчик, библиограф. Составитель и издатель антологий «Поэзия славян» (1871), «Английские поэты в биографиях и образцах» (1877), «Немецкие поэты в биографиях и образцах» (1877) и др.

С. **195.** *Барон Брамбеус* — псевдоним Осипа (Юлиана) Ивановича Сенковского (1800—1858) — прозаика, востоковеда, журналиста, отличавшегося консерватизмом; с 1822 по 1847 г. — профессора Петербургского университета по кафедре арабского, персидского и турецкого языков; в 1834—1856 гг. — редактора-издателя журнала «Библиотека для чтения», в котором под этим псевдонимом он печатал свои полемические статьи, путевые очерки, научно-философские (основопо-

ложник этого жанра в русской литературе), фантастические, сатирические и «восточные» повести.

С. **195.** *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт, предшественник французского символизма.

Юст Липсий (Юстус Липсиус; 1547—1606) — фламандский филолог, философ, профессор университетов в Йене и Лувене. Исследователь римских древностей, издатель сочинений историка Тацита.

С. **196.** *О. Миртов* (наст. имя и фам. Ольга Эммануиловна Негрескул; 1874—1939) — прозаик, драматург. Автор романов «Мертвая зыбь» (1910) и «Яблони цветут» (1911).

«Проклятие зверя» (1908) — рассказ Л.Н. Андреева.

Евгений — герой поэмы Пушкина «Медный всадник».

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — историк, прозаик, поэт, журналист. Автор труда «История государства Российского» (т. 1—8; 1817).

«Родословная моего героя» (1836) — стихотворение Пушкина.

С. **197.** *...как Павел Иванович — «Вечный муж»...* — Неточность: герой рассказа Достоевского «Вечный муж» (1870) — Павел Павлович Трусоцкий.

Фома Опискин — один из главных героев повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1859).

Федор Петрович Карамазов — неточность: героя романа Достоевского «Братья Карамазовы» зовут Федор Павлович.

...как г-жа Хохлакова в диалоге с Митею Карамазовым... — Эпизод романа Достоевского «Братья Карамазовы».

...Гиппиус... устами псевдонима Антона Крайнего... — Имеется в виду статья поэтессы, прозаика, драматурга и критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (в замуж. Мережковская; 1869—1945) «Быт и события», напечатанная в журнале «Новый путь» (1904. № 5 и 9) под псевдонимом Антон Крайний.

С. **199.** *...дали жизнь вечную диспуту Погодина и Костомарова пародии Конрада Лилиеншвагера.* — Речь идет о фельетоне «Наука и свистопляска, или Как аукнется, так и откликнется» и стихотворении «Новый общественный вопрос в Петербурге» (Свисток. Вып. 4 сатирического отдела журнала «Современник». 1860, № 3) Н.А. Добролюбова, напечатанных под псевдонимом «Конрад Лилиеншвагер». Поводом для выступления критика послужил ответ М.П. Погодина («рыцарям свистопляски») на статью Ко-

стомарова «Начало Руси» (Современник. 1860. № 1) и рецензию Добролюбова (там же) на книгу Погодина «Норманнский период русской истории» (М., 1859). Между Погодиным и Костомаровым состоялся также диспут 19 марта 1860 г. в Петербургском университете, на котором свою правоту удалось отстоять Костомарову.

С. **199.** *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — историк, прозаик, драматург, публицист; издатель журналов «Московский вестник» (1827—1830) и «Москвитянин» (1841—1856).

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк, прозаик, поэт, критик, писавший на русском и украинском языках. Главный труд — «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (1873—1888).

Гессен Иосиф Владимирович (1866—1943) — один из лидеров партии кадетов, адвокат, публицист. Редактор газеты «Речь» (1906—1917).

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, политический деятель. Один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже — председатель Союза русских писателей и журналистов (1922—1943), редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости».

С. **200.** *Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, переводчик, критик.

ТЭФФИН ГРЕХ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Ау! Сатиры, рифмы, шутки. СПб.: Энергия, 1912.

С. **204.** *Тэффи* Надежда Александровна (урожд. Лохвицкая, в замуж. Бучинская; 1872—1952) — прозаик, поэт, критик, драматург. С конца 1919 г. — в эмиграции в Париже. Сестра М.А. Лохвицкой.

Туманский Федор Антонович (1799—1853) — поэт, дипломат. Существует версия, что свое стихотворение «Птичка» («Вчера я растворил темницу...»; 1827), положенное на музыку и ставшее популярным романсом, Туманский написал для своеобразного конкурса поэтов, в результате которого появились стихотворения Пушкина «Птичка» («В чужбине свято наблюдаю...»; 1923) и А.А. Дельвига «К птичке, выпущенной на волю» (1823).

С. **204.** *«Птичка Божия»* — вставное, написанное хореем стихотворение «Птичка Божия не знает...» в «ямбовой» поэме Пушкина «Цыганы» (1824).

С. **206.** *Липутин* — персонаж романа Достоевского «Бесы».

Пушкин Василий Львович (1766—1830) — поэт, член литературного общества «Арзамас». Автор известной героикомической поэмы «Опасный сосед» (1811; опубл. 1855), ставшей настольной книгой «арзамасцев». Дядя А.С. Пушкина.

«Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771) — героикомическая поэма Василия Ивановича Майкова (1728—1778), написанная в полемике с В.П. Петровым (пародируется его перевод «Энеиды» Вергилия).

Буянов — герой поэмы В.Л. Пушкина «Опасный сосед», кутила и забияка.

С. **207.** *Апаш* (фр. apach по названию индейского племени апачи) — хулиган, бандит.

Халда — «грубый, бесстыжий человек, наглец; нахал, крикун, горлан» (В.И. Даль).

С. **208.** *«Песнь о вещем Олеге»* (1822) — стихотворение Пушкина.

Как-то раз перед толпою... — Начальные строки баллады Лермонтова «Спор» (1841).

С. **209.** *Ниобея,* Ниоба — в греческой мифологии дочь малоазийского царя Тантала, мать семерых сыновей и семерых дочерей. За то, что осмеивала тех, у кого детей не было, боги поразили стрелами всех ее детей. От горя Ниоба окаменела и была превращена Зевсом в скалу, источающую слезы.

Емеля-дурачок — персонаж сказки «По щучьему велению».

С. **210.** «*Чему смеетесь? Над собой смеетесь!..*» — слова Городничего из финальной части (явл. VIII) комедии Гоголя «Ревизор» (пост. 1836).

НОВЫЙ НАРОД И ЕГО ПЕВЦЫ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 15. Мутные дни. СПб.: Просвещение, <1912>. Статья Амфитеатрова — одна из многих, вызванных романом («повестью в семи главах») А. Белого «Серебряный голубь», который впервые был напечатан в журнале «Весы»

(1909. № 3, 4, 6, 7, 10—12). В дискуссии приняли участие А.А. Блок, Н.А. Бердяев, К.И. Чуковский, Вяч.И. Иванов, С.М. Городецкий, З.Н. Гиппиус и др.

С. **215.** *Андрей Белый* (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) — прозаик, поэт, критик, литературовед, мемуарист; автор программных работ о символизме.

...читал две его «симфонии». — Вероятно, имеются в виду дебютные повести А. Белого «Северная симфония (1-я, героическая)», написанная в 1900 г. (изд. в 1904 г.) и «Симфония (2-я, драматическая)» (1902). В 1905 г. писатель издает «третью симфонию» — повесть «Возврат», а в 1908-м «четвертую симфонию» — «Кубок метелей».

С. **216.** *«Пан»* (1894; рус. пер. 1901) — один из первых романов будущего нобелевского лауреата (1920), норвежского прозаика, поэта, драматурга Кнута Гамсуна (наст. фам. Педерсен; 1859—1952).

С. **218.** *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ-пессимист.

«*Ешь три часа...*» — слова Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума».

С. **219.** *«Символизм»* (М.: Мусагет, 1910) — сборник теоретических статей А. Белого.

Сион — святая гора Давида в Иерусалиме, метафорическое обозначение царства благодати.

Моисей — вождь и законоучитель еврейского народа.

«Критицизм и символизм» (1903) — статья А. Белого.

Сковорода Григорий Саввич (1722—1794) — философ, поэт, музыкант, педагог.

Ходынка — трагические события на Ходынском поле в Москве, случившиеся 18 мая 1896 г. во время раздачи царских даров по случаю коронации Николая II.

С. **220.** *...хватается за свою математическую наследственность...* — Отец А. Белого — Николай Васильевич Бугаев (1837—1903) — математик, профессор и декан физико-математического факультета Московского университета.

С. **220.** *Стоюнин* Владимир Яковлевич (1826—1888) — педагог, методист-словесник. Автор учебников и пособий.

Кошанский Николай Федорович (1781—1831) — педагог. В 1811—1828 гг. — профессор русской и латинской словесности в Царско-

сельском лицее. Автор многократно переиздававшихся учебников «Общая реторика» (1818) и «Частная реторика» (1832).

С. **220.** *Квинтилиан* Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96) — римский оратор и теоретик ораторского искусства. Автор трактата «Об образовании оратора».

Аристотель (384—322 до н.э.) — древнегреческий философ и ученый.

С. **221.** *...теоремы из «Малинина и Буренина»...* — Александр Федорович Малинин (1834—1888) — математик, педагог, автор распространенных в 1880—1890-х гг. учебников по математике и физике. Константин Петрович Буренин (?— 1882) — педагог, соавтор Малинина в создании учебников.

Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург и поэт.

С. **223.** *Шарль* Жак Александр Сезар (1746—1823) — французский физик, установивший один из законов идеального газа (закон Шарля). Построил воздушный шар, впервые наполнив его водородом.

Мариотт Эдм (1620—1684) — немецкий физик. Установил один из газовых законов (закон Бойля — Мариотта).

Дидро Дени (1713—1784) — французский философ-материалист и писатель.

Екатерининский «Эрмитаж» — художественный и культурно-исторический музей в Петербурге, основанный в 1764 г. как частное собрание императрицы Екатерины II.

Эйлер Леонард (1707—1783) — математик, механик, физик и астроном. По происхождению из Швейцарии. С 1727 г. — в России.

С. **224.** *Конт* Огюст (1798—1857) — французский философ-позитивист.

С. **225.** *...когда отшумели «Вехи»...* — Имеется в виду политическая полемика вокруг сборника «Вехи» (1909; пять изданий за два года), завершившаяся изгнанием ее участников из России в 1922 г.

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — философ, прозаик, публицист, литературовед, критик, дипломат, врач. Незадолго до смерти совершил тайный постриг в монахи Троице-Сергиевой лавры.

Иван Яковлевич Корейша (ок. 1780—1861) — аскет, юродивый и популярный прорицатель; автор духовных гимнов. В прошлом учитель. За случайно сбывшееся предсказание одному из влиятельных лиц в 1817 г. был посажен на цепь в московской больнице умали-

шенных. Сюда к нему ежедневно являлись сотни посетителей, жаждавших что-либо узнать о своей судьбе.

С. **225.** *Селиванов* Кондратий Иванович (?—1832) — сектант, основатель скопческой ереси, крестьянский пророк. Автор книги «Страды», в которой описал свои страдания во время ссылки в Нерчинск в 1775—1795 гг.

С. **226.** *Один декадент черной бумагой свою оклеивал комнату...* — Имеется в виду поэт Александр Михайлович Добролюбов (1876 — после 2 декабря 1943: так датируется последнее документальное свидетельство о нем). Автор трех книг: «Natura naturans. Natura Naturata» (1895), «Собрание стихов» (1900), «Из книги невидимой» (1905). Пережив духовный кризис, Добролюбов весной 1898 г. ушел на всю последующую жизнь «в народ», в поиски своего Бога. См. о нем подробно: *Азадовский К.М.* Путь Александра Добролюбова // Творчество А.А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник III. [Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 459]. Тарту, 1979; *Иванова Е.В.* Александр Добролюбов — загадка своего времени // Новое литературное обозрение. 1997. № 27; *Прокопов Т.Ф.* Святой русского символизма: А.М. Добролюбов. Загадки странной судьбы // Книжное обозрение. 1998. № 35. С. 31—34.

С. **229.** *По* Эдгар Аллан (1809—1849) — американский поэт, прозаик, критик; зачинатель детективного жанра в мировой литературе.

Мопассан Ги де (1850—1893) — французский прозаик, прославившийся изображением мира интимных чувств человека.

Бальзак Оноре де (1799—1850) — французский писатель, автор эпопеи «Человеческая комедия», состоящей из 90 романов, повестей и рассказов.

С. **230.** *Кохановская* Надежда Степановна (наст. фам. Соханская; 1823, по др. сведениям 1825—1884) — прозаик, драматург.

С. **231.** *...фертом ходит...* — т.е важно, подперев руки в бока (при этом человек принимает очертания буквы «ф»).

«Испепеленный. К характеристике Гоголя» — полемический доклад В.Я. Брюсова на торжественном заседании 27 апреля 1909 г. в Обществе любителей российской словесности по случаю 100-летия со дня рождения Н.В. Гоголя и открытия памятника писателю в Москве.

Чичиков, *Манилов*, *Хлестаков*, *Городничий*, *Земляника*, *Держиморда* — герои произведений Гоголя: «Мертвые души», «Ревизор».

С. **231.** ...*Щепкин резко протестовал... в письме...* — Амфитеатров пересказывает письмо Михаила Семеновича Щепкина (1768—1863) к Гоголю от 22 мая 1847 г. (последнее из трех сохранившихся). Великий актер эмоционально высказал свои возражения против намерений автора переделать «Ревизора».

С. **232.** *«Мелкий бес»* (1905, последняя редакция 1913) — роман Ф. Сологуба.

«Городок Окуров» (1910) — повесть М. Горького.

«Деревня» (1910) — повесть прозаика, поэта, лауреата Нобелевской премии (1933) Ивана Алексеевича Бунина (1870—1953), вызвавшая острую полемику. Автор писал: «Популярность моя началась с того времени, когда я напечатал свою «Деревню». Это было начало целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы» (*Бунин И.А.* Предисловие к кн. «Весной в Иудее — Роза Иерихона». Нью-Йорк. 1953).

«Сельская ярмарка» — очерк из цикла А.И. Левитова «Ярмарочные сцены» (1861).

«Повесть о капитане Копейкине» — вставная новелла из «Мертвых душ» Гоголя.

С. **233.** ...*не Моцарт какой-нибудь, «гуляка праздный», но... ученый Сальери...* — Названы персонажи «маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

Славная бекеша у Ивана Ивановича! — Из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1833) Гоголя.

С. **235.** *«Страшен тогда Днепр!»* — Из повести Гоголя «Тарас Бульба» (1835).

Мельников (Мельников-Печерский) Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский; 1818—1883) — прозаик, историк. В 1852—1853 гг. возглавлял экспедицию министерства внутренних дел по изучению раскола («язвы государственной», по его мнению). Автор «Исторических очерков поповщины» (1864) и прославившей его имя дилогии «В лесах» (1871—1879), «На горах» (1875—1881).

С. **240.** *Максимов* Сергей Васильевич (1831—1901) — очеркист, этнограф, мемуарист, путешественник. Автор известных книг «Год на Севере» (т. 1—2, 1859), «Сибирь и каторга» (ч. 1—3, 1871), «Соловецкий монастырь» (1872), «Бродячая Русь Христа ради» (1877), «Крылатые слова» (1890), «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903) и др.

Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856—1912) — историк литературы, публицист, журналист.

Юзов — псевдоним публициста Иосифа Ивановича Каблица (1848—1893), автора статей о расколе и сектантстве, печатавшихся в «Вестнике Европы», «Мысли», «Русской мысли», «Русском богатстве» и др.

Лейкин Николай Александрович (1841—1906) — прозаик, журналист; «первый газетный увеселитель и любимый комик петербургской публики» (Амфитеатров). Автор 36 романов и повестей, 11 пьес и более 10 тысяч рассказов и очерков. В 1881—1905 гг. — редактор-издатель журнала «Осколки», в котором активно сотрудничал А.П. Чехов.

С. **243.** *Лассаль* Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист.

Беме Якоб (1575—1624) — немецкий натурфилософ и мистик. Автор книги «Aurora, или Утренняя заря в восхождении» (на рус. яз. — М., 1914; перевел А. Петровский, друг А. Белого).

Экхарт Иоганн (ок. 1260—1327) — немецкий мистик, монах-доминиканец, считавший основой бытия и Бога «бездну» (безосновное ничто).

Сведенборг Эмануэль (1688—1772) — шведский ученый, философ, мистик.

Тибулл Альбий (ок. 50—19 до н.э.) — римский поэт, автор любовных элегий и деревенских идиллий.

Флакк Валерий (2-я пол. I в. н.э.) — римский поэт, автор эпоса «Аргонавтика» о походе аргонавтов в Колхиду.

С. **244.** *Феокрит* (кон. IV—1-я пол. III в. до н.э.) — древнегреческий поэт. Автор идиллий, положивших начало буколической литературе.

С. **245.** *Фауст, Гретхен* — персонажи трагедии Гёте «Фауст».

С. **246.** *А пойдет ли, бывало, Солоха*... — Из повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1831).

С. **250.** *Ливанов* Федор Васильевич (? — конец 1878 или 1879) — прозаик, публицист из духовной среды. Автор капитального труда «Раскольники и острожники» (т. 1—5, 1868—1875. От сожженного цензурой т. 5 сохранилось десять экземпляров. Т. 6 к изданию был запрещен).

С. **250.** *Шардин* — псевдоним публициста Петра Петровича Сухонина (1821—1884).

Амвросий (в миру Алексей Иосифович Ключарев: 1821—1901) — духовный писатель. В 1860—1867 гг. редактировал журнал «Душеполезное чтение». Печатал проповеди на общественно-политические темы также в журнале «Вера и разум» и в газете «Московские ведомости». С 1872 г. — архиепископ Харьковский.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, редактор и издатель газеты «Московские ведомости» (в 1851—1856 и 1863—1887 гг.), воскресного приложения к газете «Современные летописи» (1863—1871), журнала «Русский вестник» (с 1856 по 1887 г.). Издания Каткова обрели известность обличениями радикального нигилизма шестидесятников.

Любимов Николай Алексеевич (1830—1897) — публицист, ученый-физик. Профессор Московского университета. С 1856 г. — сотрудник журнала «Русский вестник» (фактический его редактор в 1863—1882 гг.).

...у Бонча-Бруевича, что ли, почитал бы подлинные документы... — Имеются в виду «Материалы к истории русского сектантства», которые издавал за границей и в России (с 1908 г.) Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873—1955), публицист, издатель, общественный деятель.

С. **255.** *Муравлин* Дмитрий Петрович (наст. фам. Голицын; 1860—1928) — прозаик, драматург. Автор полубульварных книг, в том числе романа «Баба» (1885).

РОДИОНОВЩИНА

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 15. Мутные дни. СПб.: Просвещение, <1912>. Опубл. также в кн. «Современники». М., 1911, в разделе «Литературные впечатления» (журнал «Современник». 1911. №2).

С. **257.** *Милицына* Елизавета Митрофановна (урожд. Разуваева; 1869—1930) — прозаик. Участница Первой мировой войны, издавшая в 1915 г. антивоенные «Записки сестры милосердия».

Родионов И.А. — подъесаул, земский начальник, автор книги «Наше преступление. (Не бред, а быль.) Из современной народной жизни», вышедшей шестью изданиями в 1909—1910 гг.

С. **258.** *Филарет* (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867) — церковный деятель, проповедник, богослов, философ, историк Священного писания. В 1821—1867 гг. — митрополит Московский. Более 40 лет был также священноархимандритом Троице-Сергиевой лавры, где и похоронен. Автор книг: «Начертание церковной библейской истории», «Катехизис Православной Церкви», «Слова и речи»; переводчик Священного писания на русский язык. Составитель акта о передаче престола Николаю I и Манифеста 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян.

С. **259.** *Батый* (1208—1255) — монгольский хан. С 1243 г. — хан Золотой Орды. Предводитель похода в Восточную и Центральную Европу в 1236—1243 гг.

Тамерлан (Тимур; 1336—1405) — полководец, эмир с 1370 г. Создатель государства со столицей в Самарканде.

3-я Государственная дума работала с 1 ноября 1907 по 9 июня 1912 г.

С. **260.** *Берлинский конгресс* состоялся 1 июня — 1 июля 1878 г. Принятый им новый трактат объявил о завершении русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

С. **261.** *Семнадцатое октября переодели в третье июня... последний обгородили законом 9 ноября.* — Имеются в виду Манифест 17 октября 1905 г. о свободах, Третьеиюньский переворот 1907 г., распустивший II Государственную думу и принявший новый избирательный закон.

С. **262.** *«Челкаш»* — рассказ Горького, впервые опубликованный в 1895 г. (Русское богатство. № 6).

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911) — прозаик, публицист, мемуарист.

«Мужики» (1897) — повесть Чехова.

С. **263.** *Вересаев* Викентий Викентьевич (наст. фам. Смидович; 1867—1945) — прозаик, литературовед, поэт-переводчик.

Чириков Евгений Николаевич (1864—1932) — прозаик, драматург, поэт, публицист, журналист. С 1920 г. — в эмиграции.

Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — прозаик, драматург, публицист, мемуарист. С 1922 г. — в эмиграции.

Городок Окуров — см. коммент. к с. 232.

Муйжель Виктор Васильевич (1880—1924) — прозаик.

...рассказ о полковнике Розове... — Рассказ Б.К. Зайцева «Полковник Розов» впервые был опубликован в кн. 1-й альманаха издательства «Шиповник» (1908).

С. **264.** *Пан* — лесной демон, защитник пастухов.

...во времена очаковские... — См. в комедии Грибоедова «Горе от ума»: «Времен Очаковских и покоренья Крыма...». Имеются в виду годы, когда к России были присоединены Крым (в 1783 г.) и считавшаяся неприступной турецкая крепость Очаков, взятая штурмом 6 декабря 1788 г.

С. **265.** *Ковалевский* Максим Максимович (1851—1916) — историк, этнограф, юрист, социолог; профессор Московского университета. Депутат I Государственной думы. В 1907 г. избран членом Государственного совета. С 1909 г. — издатель и активный сотрудник журнала «Вестник Европы». С 1914 г. — академик по разряду историко-политических наук.

С. **266.** *Коцюбинский* Михаил Михайлович (1864—1913) — украинский прозаик.

С. **269.** *Константин Николаевич* (1827—1892), великий князь — второй сын императора Николая I; генерал-адмирал. В 1853—1861 гг. управлял флотом и морским министерством. В 1862—1863 гг. — наместник Царства Польского. В 1865—1881 гг. — председатель Государственного совета. Меценат.

...совершили свои официозные поездки по России С.В. Максимов, А.Н. Островский, А.Ф. Писемский... — Имеется в виду поездка по верхней Волге, на Урал и в Оренбургскую губернию в 1856—1857 гг., организованная морским министерством и лично великим князем Константином Николаевичем. В «литературной экспедиции» помимо названных Амфитеатровым приняли участие также Михаил Ларионович Михайлов (1829—1865) и Алексей Антипович Потехин (1829—1908). Для писателей это путешествие оказалось плодотворным: все они опубликовали об этом книги.

С. **270.** *Урядник* — низший чин уездной полиции, помощник станового пристава.

С. **271.** *Нестор* — монах Киево-Печерского монастыря, писатель, летописец, живший в XI — начале XII в.

С. **275.** *Александр I* (1777—1825) — император России с 1801 г.

Стародум — персонаж комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».

...в бою под Шахэ. — Имеется в виду кровопролитное сражение у реки Ша-хе в Манчжурии 27 сентября — 3 октября 1904 г., не принесшее русским войскам успеха.

Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Участник военных экспеди-

ций М.Д. Скобелева в Среднюю Азию и русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Военный министр в 1898—1904 гг. В русско-японскую войну неудачно командовал войсками в Манчжурии. В 1916—1917 гг. — туркестанский генерал-губернатор.

С. **276.** *Баранов* Николай Михайлович (1837—1901) — государственный и военный деятель, генерал-лейтенант, сенатор. С 9 марта 1881 г. — градоначальник Петербурга, через год отправлен губернатором в Архангельск, а в 1883 г. — в Нижний Новгород.

С. **277.** *Скотинин, Митрофанушка,* — герои комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».

«Капитанская дочка» (1836) — повесть Пушкина.

«Война и мир» — роман Л.Н. Толстого.

«Плотничья артель» (1855) — рассказ А.Ф. Писемского.

«Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть» (1886) — драма Л.Н. Толстого.

«Архип» — рассказ А.Н. Толстого.

С. **289.** *Столыпин* Петр Аркадьевич (1862—1911) — в 1903—1906 гг. — саратовский губернатор. С 1906 г. — министр внутренних дел и председатель Совета министров. Провозгласил курс социально-политических реформ и начал его осуществление. Смертельно ранен террористом Д.Г. Богровым, агентом охранки, связанным с анархистами.

С. **290.** *Вокализы* — упражнения для развития вокальной техники.

С. **291.** ...*«чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»*... — Из поэмы В.К. Тредиаковского «Телемахида» (1766); эпиграф к «Путешествию из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева.

Челышев (Челышов) Михаил Дмитриевич (1866—?) — предприниматель (владелец торговых заведений). Городской голова Самары. Депутат III Государственной думы. Прославился на всю Россию речами против пьянства.

С. **295.** *Красовы* — герои повести Бунина «Деревня».

С. **298.** *«Бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла...»* — Из поэмы Лермонтова «Беглец» (1837—1838).

С. **300.** *Серапион* (?—1275) — епископ Владимирский с 1274 г. Автор «Поучений».

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — прозаик, драматург, критик. Автор повестей и романов из жизни интеллигенции и духовенства «На действительной службе» (1890), «Не герой» (1891) и др.

С. **302.** *Могила* Петр Симеонович (1596—1647) — деятель украинской культуры, церковный писатель. С 1632 г. — митрополит Киевский и Галицкий.

С. **304.** *«Милость» из известной тройственной формулы Александра II...* — Речь идет о Манифесте о мире Александра II, опубликованном после завершения Крымской войны 1855—1856 гг. В нем говорится: «При помощи небесного промысла, всегда благодеющего России, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее; да развивается повсюду и с новою силою стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый, под сению законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных».

С. **306.** *...половину формулы винокура принял... С.Ю. Витте.* — Имеются в виду мероприятия по увеличению поступлений средств в государственный бюджет, осуществленные в 1892—1903 гг. министром финансов С.Ю. Витте. В числе важных мер — введение в 1894 г. государственной винной монополии, которая стала давать в казну до четверти всех поступлений.

С. **307.** *...учеников социал-демократической школы на Капри.* — Каприйская школа работала на о. Капри (Италия) в августе — декабре 1909 г. Школу организовали социал-демократы, отколовшиеся от большевистской партии.

С. **309.** *Нет меры хмелю русскому!..* — Из монолога Якима Нагого, героя поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1866—1877).

С. **310.** *У каждого крестьянина // Душа, что туча черная...* — Из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

С. **312.** *...получил от М. Горького письмо...* — Далее приводится письмо (с неточностями и сокращениями) Горького с Капри к Амфитеатрову, написанное между 29 января и 1 февраля 1911 г. См. полный текст в кн.: Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 95. М.: Наука, 1988. С. 270—271.

С. **313.** *Аничков* Евгений Васильевич (1866—1937) — критик, историк литературы, прозаик; «веселонравный ученый» (Амфитеатров). Участник собраний на «Башне» Вяч.И. Иванова и в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака». Главный труд — «Язычество и Древняя Русь» (1914). С 1917 г. — в Югославии; профессор в университетах Белграда и Скопле.

НОВАЯ СИЛА

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 15. Мутные дни. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **314.** *...в скучную вологодскую зиму...* — Речь идет о ссылках Амфитеатрова в Вологду (см. примеч. к с. 409).

Константин Сатин — персонаж пьесы Горького «На дне» (1902).

Толстой Алексей Николаевич (1882/83—1945) — прозаик, драматург, поэт, публицист.

...первой книги «Повестей и рассказов» графа Алексея Н. Толстого. — Имеется в виду т. 1 «Сочинений» А.Н. Толстого (СПб.; Шиповник, 1911: вышел в октябре 1910 г.).

С. **315.** *«Смерть Иоанна Грозного»* (1866) — трагедия А.К. Толстого.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — прозаик, драматург, критик, публицист, переводчик, мемуарист. С 1921 г. — в эмиграции.

С. **316.** *Акафист* — хвалебное песнопение в честь Иисуса Христа, Божией Матери и святых.

Фистула — фальцет, самый верхний регистр мужского голоса.

«Заволжье» (1910) — сборник повестей и рассказов А.Н. Толстого.

С. **318.** *Мишука Налымов* — персонаж повести «Заволжье» А.Н. Толстого.

Миро (мирра) — ароматическая смола, используемая в религиозных обрядах.

С. **319.** *Алексей Михайлович (Тишайший* — неофициальный титул; 1629—1676) — российский царь (с 1645 г.).

Тамарины — персонажи романа «Тамарин» (1852) М.В. Авдеева.

Батманов — персонаж повести А.Ф. Писемского «М-г Батманов».

С. **320.** *Алеко* — герой поэмы Пушкина «Цыганы» (1824).

Каратаев — персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

Райский — персонаж романа Гончарова «Обрыв» (1869).

С. **325.** *Толстой* Петр Александрович (1770—1844), граф — генерал-адъютант (1797), генерал от инфантерии (1814), сенатор (1800), член Государственного совета (1823). Участник войн русско-шведской (1788—1790), русско-французской (1805, 1806—1807), Отечественной

(1812), русско-турецкой (1828—1829). Удостоен всех высших российских орденов. Отец четырех дочерей и пятерых сыновей, ставших также генералами и государственными деятелями России.

С. **325.** *Толстой* Федор Петрович (1783—1873) — скульптор, медальер, живописец, гравер; президент Академии художеств.

Толстой Яков Николаевич (1791—1867) — участник Отечественной войны 1812 г., театральный критик и поэт-дилетант.

Толстой Федор Иванович (1782—1846) — участник Отечественной войны 1812 г., авантюрист, бретер и карточный игрок. Совершил путешествие с И.Ф. Крузенштерном; был высажен на Алеутских островах (отсюда его прозвище «Американец»). Был знаком с А.С. Пушкиным, общался с ним с 1819 г.

Толстая Сарра Федоровна (1821—1838) — поэтесса.

Толстой Феофил Матвеевич (1810—1881) — музыкальный критик, композитор, писатель.

В.Г. КОРОЛЕНКО

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 15. Мутные дни. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **326.** *...25-летней годовщины его возвращения из ссылки...* — Прозаик и публицист Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) в феврале 1879 г. без следствия, суда и приговора был отправлен в ссылку, возвращения из которой он добился в 1885 г. 25-летию этого события, отмеченного прессой в 1910 г., и посвящен очерк Амфитеатрова.

С. **327.** *...когда Россия еще в трауре...* — Имеется в виду кончина Л.Н. Толстого 7 ноября 1910 г.

С. **328.** *Говоруха-Отрок* Юрий Николаевич (псевд. Ю. Николаев; 1850—1896) — критик, публицист, прозаик. С 1889 г. — ведущий литературный и театральный обозреватель газеты «Московские ведомости». Представитель позднего славянофильства. Автор книги «Очерки современной публицистики. В.Г. Короленко» (М., 1893).

Восторгов Иоанн Иоаннович (Иван Иванович; 1867—1918) — протоиерей, писатель-богослов, издатель газет «Церковность», «Русская земля», журналов «Потешный», «Верность» и др. В 1905—1907 гг. — один из руководителей черносотенцев в Москве. В 1907—1911 гг. — председатель московского «Союза русского народа», а в 1911—1913 гг. — Русского монархического союза. Автор книг «Христианский социализм»

(1907), «Противосоциалистический катехизис» (1910), «История социализма» (1912) и др. Расстрелян большевиками.

С. **328.** *Комиссаржевская* Вера Федоровна (1864—1910) — актриса; в 1904 г. в Александринском театре создала свой театр символистской ориентации.

С. **333.** *Склифосовский* Николай Васильевич (1836—1904) — хирург-новатор, профессор, декан медицинского факультета Московского университета (1880—1893).

С. **335.** *Сократ* (ок. 470—399 до н.э.) — древнегреческий философ. Был обвинен в поклонении новым божествам и развращении молодежи и приговорен к смерти (принял яд цикуты). Смысл его философии — самопознание как путь к постижению истинного блага; добродетель есть знание. Стал воплощением идеала мудреца.

С. **336.** *Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, профессор Московского университета. Лидер русских западников.

Нечаев Сергей Геннадьевич (1847—1882) — организатор тайного общества «Народная расправа» (1869). Заподозрив в предательстве студента И.И. Иванова, убил его и бежал за границу. В 1872 г. выдан швейцарскими властями России. Умер в Петропавловской крепости.

Елисеев Георгий Захарович (1821—1891) — публицист, журналист. Профессор и ученый секретарь правления Казанской духовной академии. После ухода из духовного звания (1850) служил в Сибири — в качестве омского и тарского окружного начальника, а затем директора Тарского попечительного отделения о тюрьмах, советника губернского правления в Тобольске. Весной 1858 г. оставил службу и переехал в Петербург. С 1860 г. регулярно печатался в «Современнике», с 1868 г. руководил публицистическим отделом журнала «Отечественные записки».

С. **337.** *Варвара Петровна Ставрогина* — персонаж романа Достоевского «Бесы».

Сютаев Василий Кириллович (1819—1892) — крестьянин дер. Шевелино Тверской губернии, сектант, влияние которого признавал Л.Н. Толстой в годы своих религиозных исканий.

Бондарев Тимофей Михайлович (1821—1898) — крестьянин-сектант, книгу которого «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство» (1906) Л.Н. Толстой издал в «Посреднике» со своим предисловием.

С. **342.** *Мирбо* Октав (1848 или 1850—1917) — французский прозаик и драматург.

С. **343.** *Шульгин* Василий Витальевич (1878—1976) — общественно-политический деятель, прозаик, публицист, мемуарист. С 1920 г. — в эмиграции. Автор книг «1920», «Дни», «Три столицы. Путешествие в красную Россию», «Годы» и др.

С. **346.** *Процесс 193-х* («Большой процесс») — крупнейшее политическое судебное расследование в России, состоявшееся в Петербурге 18 октября 1877 — 23 января 1878 г. Было арестовано более 4000 участников «хождения в народ». Из них на каторгу отправлены 28 революционеров за участие в антигосударственном терроризме.

«Человек — это звучит гордо!..» — монолог Сатина из пьесы Горького «На дне».

С. **348.** *...громоздить Оссу на Пелион...* — высокие горы близ Олимпа. Гиганты пытались взгромоздить Оссу на Пелион, чтобы взобраться на небо и напасть на богов. Осса (ныне Киссавос) — гора в греческой Фессалии (между Пелионом и Олимпом).

С. **351.** *«Сумерки божков»* — роман Амфитеатрова (см. т. 6 наст. изд.).

С. **354.** *Гюго* Виктор (1802—1885) — французский прозаик, поэт, драматург.

Венера Милосская — статуя римской богини любви, хранящаяся в парижском Лувре.

Эльбрус — высочайший массив в горах Большого Кавказа; двувершинный конус потухшего вулкана.

Архимед (ок. 287—212 до н.э.) — древнегреческий математик, физик, естествоиспытатель, изобретатель.

С. **355.** *Сергеенко* Петр Алексеевич (псевд. Эмиль Пуп, Бедный Иорик и др.; 1854—1930) — прозаик. Автор книги «Как живет и работает Лев Толстой».

Тенеромо — псевдоним журналиста Исаака Борисовича Файнермана (1862—1925), автора публикаций «Живые речи Л.Н. Толстого», «Толстой и Мечников о женщине» и др.

...за репортаж Мултанского дела... — Имеются в виду репортажи 1895—1896 гг. Короленко в защиту крестьян-удмуртов из села Старый Мултан Вятской губернии, обвиненных властями в ритуальном человеческом жертвоприношении. Писатель выступал на процессе сперва как корреспондент, а затем как общественный защитник.

С. **356.** *«Семейная хроника»* (1856), *«Детские годы Багрова-внука»* (1858) — автобиографические книги Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859), прозаика, поэта, публициста.

Кущевский Иван Афанасьевич (1847—1876) — прозаик, критик, фельетонист. Автор романа «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871).

Марков Владислав Львович (1831 — после 1905) — прозаик. Автор повестей из жизни помещичьих усадеб и провинции.

М.Н. АЛЬБОВ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 14. Славные мертвецы. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **358.** *Альбов* Михаил Нилович (1851—1911) — прозаик. Автор романа «Ряса» (1883), трилогии «День да ночь» (в нее вошли рассказ «Тоска», 1890, повести «Сирота», 1901 и «Глафирина тайна», 1903).

...стихийных обаяний «жестокого таланта»... — «Жестокий талант» (1882) — полемическая статья Н.К. Михайловского против тех, кто стремился превратить Ф.М. Достоевского в «оплот официальной мощи православного русского государства».

С. **359.** *...оратору Пушкинского праздника.* — Имеется в виду Ф.М. Достоевский.

С. **360.** *«Записки из подполья»* (1864) — повесть Достоевского.

С. **361.** *Раскольников, Соня Мармеладова* — персонажи романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

«Вечный муж» (1870) — рассказ Достоевского.

«Неточка Незванова» (1849), *«Униженные и оскорбленные»* (1861) — романы Достоевского.

Шеллер Александр Константинович (псевд. Михайлов; 1838—1900) — прозаик.

Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884) — прозаик, публицист, критик. Сотрудник «Московских ведомостей» М.Н. Каткова и «Гражданина» В.П. Мещерского. Автор романов «Марина из Алого Рога» (1873), «Четверть века назад» (1878) и др.

С. **363.** *Король Лир* — герой одноименной трагедии У. Шекспира.

С. **366.** *Введенский* Иринарх Иванович (1813—1855) — переводчик, критик, педагог. Всероссийскую известность ему принесли переводы романов Ч. Диккенса и У. Теккерея.

С. **366.** *Пикквик, Сэм Уэллер, полковник Старботтль, капитан Куттль* — персонажи романов Ч. Диккенса.

Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863) — английский писатель.

Чичиков — персонаж «Мертвых душ» Гоголя.

Репетилов — персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума».

Расплюев — герой пьес А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1856) и «Смерть Тарелкина» (1869).

Хлестаков — персонаж комедии «Ревизор» Гоголя.

С. **367.** *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель и композитор.

С. **371.** Амфитеатров упоминает роман-хронику Лескова «Соборяне» (1872), повесть «Очарованный странник» (1873), рассказы и очерки «Владычный суд», «На краю света» (1875—1876), «Мелочи архиерейской жизни» (1878), «Человек на часах», «Сказание о сеножатях».

...отдает дореформенною бурсою Помяловского... — Имеются в виду автобиографические «Очерки бурсы» (1862—1863) Н.Г. Помяловского о семинаристах.

С. **373.** *«Огородник»* (1846) — стихотворение Некрасова.

«Боярин Орша» (1835—1836) — романтическая поэма Лермонтова.

«Накануне» (1860) — роман Тургенева.

...плачевную судьбу Лебедева-Морского... — Николай Константинович Лебедев (1846, по др. сведениям 1845—1888), печатавшийся под псевдонимом Н. Морской, — автор уголовных и эротических романов «Аристократия Гостиного двора» (1878—1879), «Содом» (1880), «Купленное счастье» (1880) и др. Критики Н.К. Михайловский («О порнографии»), С.А. Венгеров («Одно из знамений времени») и др. создали ему репутацию «неприличного» писателя. Как вспоминает В.П. Буренин, иного мнения о Лебедеве был Ф.М. Достоевский. Прочитав два первых из вышеназванных романов, писатель сказал: «Из молодых романистов... он самый интересный и жизненный... в нем виден искренний и достаточно оригинальный художник» (Новое время. 1888. 8 апреля).

С. **374.** *...в редакциях «Будильника» у А.Д. Курепина...* — Александр Дмитриевич Курепин (1846—1891) в 1876—1881 гг. вел в «Будильнике» раздел «Газета в журнале», а с 1882 г. стал его редактором.

«Свет и тени» (СПб., 1878—1884) — журнал, издававшийся поэтом, драматургом, переводчиком Николаем Лукичом Пушкаревым (1841, по

др. данным 1842—1906). Он издавал также журналы «Мирской толк» (СПб., 1879—1884) и «Европейская библиотека» (СПб., 1881—1883).

С. **374.** *Клюшников* Виктор Петрович (1841—1892) — прозаик, переводчик, журналист, издатель. Автор антинигилистического романа «Марево» (1864), принесшего ему широкую известность. Романы «Большие корабли» (1867) и «Цыгане» (1869) вызвали в критике упреки в аморализме.

Авенариус Василий Петрович (1839—1923) — прозаик. Автор дилогии «Бродящие силы» (1867), которая была воспринята некоторыми критиками как «клубничество», «повальное обвинение целого поколения в негодяйстве» (А.М. Скабичевский). Впоследствии Авенариус написал знаменитые книги для юношества — дилогию «Отроческие годы Пушкина» (1885) и «Юношеские годы Пушкина» (1887), трилогию «Ученические годы Гоголя» (1897), а также историческую трилогию «За царевича», дилогию «Под немецким ярмом» и др.

С. **375.** *...кончил ее, как Гончаров.* — И.А. Гончаров, создавший хрестоматийные романы «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», в последние два десятилетия своей жизни (1870—1891) писал и печатался крайне редко, несправедливо посчитав себя писателем устаревшим.

...с «Неделею» Павла Гайдебурова... — Газету «Неделя» (СПб., 1866—1901) публицист Павел Александрович Гайдебуров издавал с 1869 г. (купил ее позже, в 1875 г.).

С. **376.** *Мачтет* Григорий Александрович (1852—1901) — прозаик, публицист.

..легенда о том, как Рип-Рип гостил у гномов... — Рип — персонаж новеллы (в основе ее легенда) «Рип Ван Винкль» американского прозаика Вашингтона Ирвинга (1783—1859).

С. **380.** *Подколесин, Кочкарев* — см. коммент. к с. 133.

С. **382.** *...диккенсовская Агнеса Викфильд... Эсфирь...* — Персонажи романов Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд» (1850) и «Холодный дом» (1853).

Фалалеи — простаки; по имени персонажа повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), незлобивого, простодушного дворового мальчика Фалалея, которого безуспешно пытался научить манерам и французскому языку Фома Опискин.

С. **383.** *Иван Федорович Шпонька* — персонаж рассказа Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1830).

С. **387.** *«Скверный анекдот»* (1862) — рассказ Достоевского.

С. **388.** *...«Сумерками» вошел в большую литературу.* — Речь идет о третьем сборнике рассказов А.П. Чехова «В сумерках» (1887), который был отмечен в 1888 г. Пушкинской премией. Принимавшая это решение комиссия Академии наук записала: «Рассказы г. Чехова, хотя и не вполне удовлетворяют требованиям высшей художественной критики, представляют однако же выдающееся явление в нашей современной беллетристической литературе». До 1899 г. сборник издавался еще 12 раз.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК И БЕЛИНСКИЙ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. Пг.: Просвещение, <1915>.

С. **390.** *Иванов-Разумник* (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов; 1878—1946) — критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли, мемуарист.

Белинского уже приноровил г. Иванов-Разумник. — Имеется в виду юбилейное изд.: Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3 т. СПб: Типография М. Стасюлевича, 1911. Серия «Библиотека русских критиков». Под ред. Иванова-Разумника, с его вступительными заметками к каждой статье Белинского, комментариями, историко-литературным и биографическим очерком.

С. **395.** *...Белинского в редакции С.А. Венгерова...* — Имеется в виду издание: Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 1—11. СПб.; Пг., 1900—1917 (т. 12 и 13 вышли в 1926 и 1948 гг.).

С. **396.** *Венера Анадиомена* — речь идет об «Афродите Анадиомене» (греч. anadyomene — выходящая из моря), картине знаменитого живописца античности Апеллеса (2-я половина IV в. до н.э.), придворного художника Александра Македонского.

С. **397.** *Шеллингианец* — последователь учения немецкого философа Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775—1854), развившего принципы философии природы как живого организма, бессознательно-духовного творческого начала.

Фихтеанец — последователь идеалистического учения немецкого философа Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814).

Гегелианство — философское течение первой половины XIX в., исходящее из идеалистического учения немецкого философа Геор-

га Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831) и его принципов диалектики.

С. **397.** *Ресигнация* — от фр. resignation: покорность судьбе.

Экстрема (лат. extremus крайний) — состояние наибольшего или наименьшего в чем-либо (крайняя мера, крайний взгляд).

...метафоры об Ирах и Крезах... — Ир — имя нескольких персонажей Библии; из них более известен старший сын Иуды. Крез, Крёз (595—546 до н.э.) — последний царь Лидии, славившийся своими несметными богатствами.

С. **398.** *Панургово стадо* — выражение из романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, обозначающее стадность, безропотную покорность. Панург, чтобы отомстить обидевшему его скотопромышленнику, выбрасывает с корабля в море одну овцу из стада. Вслед за нею безропотно последовали остальные, и все погибли вместе с хозяином, пытавшимся их спасти.

ОСИП ДЫМОВ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Ау! Сатиры, рифмы, шутки. СПб.: Энергия, 1912.

С. **399.** *Осип Дымов* (наст. имя и фам. Иосиф Исидорович Перельман; 1878—1959) — прозаик, драматург, журналист. С 1913 г. — в США.

Саблин Владимир Михайлович (1872—1916) — врач, переводчик, журналист, основатель частного издательства (1901—1912), выпускавшего преимущественно сочинения западноевропейских писателей (в его каталоге 320 книг). Сотрудничал в газетах «Русские ведомости», «Курьер», «Новости дня». В ноябре-декабре 1905 г. купил «Курьер» и стал издавать вместо него газету «Жизнь».

С. **401.** *Шницлер* Артур (1862—1931) — австрийский прозаик-импрессионист и драматург.

Ведекинд Франк (1864—1918) — немецкий драматург, поэт, прозаик, разносторонне исследовавший в своем творчестве проблемы интимной жизни человека.

С. **403.** *«Влас»* — повесть О. Дымова, впервые опубликованная в журнале «Аполлон» (1909. № 1—3).

Николенька Иртеньев (Николай Петрович) — герой автобиографической трилогии Л.Н. Толстого «Детство» (1852), «Отрочество» (1852—1854), «Юность» (1855—1857).

С. **403.** *«Подросток»* (1875) — роман Достоевского.

Альтенберг Петер (наст. имя и фам. Рихард Энглендер; 1859—1919) — австрийский прозаик-импрессионист. Автор афористичных эссе, стихотворений в прозе.

С. **404.** *Сережа Багров* — герой автобиографического романа С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука».

Николай Негорев — герой одноименного романа И.А. Кущевского.

...марковский «барчук»... — Персонаж повестей «Лето в деревне», «Домашний учитель» В.Л. Маркова.

Давид Копперфильд — герой одноименного романа Ч. Диккенса.

«Записки моего современника» — имеется в виду книга В.Г. Короленко «История моего современника».

Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. Пг.: Просвещение, <1915>.

С. **407.** *...телеграмму «Дня» о кончине Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка...* — Д.Н. Мамин-Сибиряк (наст. фам. Мамин; 1852 — 2 ноября 1912) — прозаик, один из основоположников русского «социологического романа». «День» (СПб., 1912—1917) — ежедневная газета, издававшаяся «Торговым домом Ф.М. Мареева, И.Р. Кугеля, М.Т. Соловьева и К°».

Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт; автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580), подвергнутой суду инквизиции.

Сирин — в средневековой мифологии райская птица-дева, воплощение несчастной души.

Алконост — в византийских и русских средневековых легендах райская птица с человеческим лицом, завораживающая пением.

С. **409.** *«Россия»* — газета, основанная Амфитеатровым и В.М. Дорошевичем в 1899 г. Закрыта в январе 1902 г. за публикацию памфлета Амфитеатрова «Господа Обмановы» (см. т. 6 наст. изд.).

...мое житье там между двумя Вологдами. — За памфлет «Господа Обмановы» Амфитеатров был сослан в Минусинск. В конце 1902 г. «во внимание к заслугам его престарелого отца» переведен в Вологду, а вскоре и в Петербург (в Царское Село). В 1904 г. снова выслан в Вологду за публикацию в газете «Русь» (27 апреля) статьи

«Листки» в защиту студентов Горного института, обвинявшихся в прояпонских настроениях.

С. **410.** *...некоторое время невольно провел в Рязани П.Н. Милюков...* — В Рязани прошли едва ли не самые плодотворные в творческом отношении годы жизни Милюкова — с 1895 по 1897 гг. Высланный из Москвы, здесь он написал первый том своего выдающегося труда «Очерки по истории русской культуры». См. об этом подробно в его «Воспоминаниях» (гл. «Рязанская ссылка». М., 2001. С. 149—153).

С. **412.** *Ванька Каин* (Иван Осипович; 1718 — после 1755) — знаменитый грабитель. Став в 1741 г. сыщиком в Москве, укрывал преступников, организовывал грабежи. В 1755 г. его злодеяния были раскрыты, и он был отправлен на пожизненную каторгу. Похождениям Ваньки Каина посвящены романы, песни, исследования историков.

С. **413.** *«Посолонь»* (М., 1907) — первый сборник духовно-религиозной фантастики А.М. Ремизова.

С. **414.** *Гарин-Михайловский.* — Н. Гарин (наст. имя и фам. Николай Егорович Михайловский; 1852—1906), прозаик, публицист, инженер-путеец.

Бланшар Пьер (1772—?) — французский писатель и книготорговец, автор многотомных книг для юношества.

Сегюр Софья Федоровна (урожд. графиня Ростопчина; 1799—1874) — французская детская писательница.

Чарская Лидия Алексеевна (наст. фам. Чурилова; 1875—1937) — прозаик. В 1898—1924 гг. — актриса Александринского театра. Автор популярных книг для детей и юношества.

С. **416.** *...смерть его первой жены...* — С первой женой Марией Морициевной Абрамовой писатель прожил всего один год: она умерла 22 марта 1892 г., родив дочь Елену (Аленушку), которой впоследствии были посвящены его знаменитые «Аленушкины сказки» (1894—1897; 16-е изд. 1917 г.).

Я знал одной лишь думы власть... — Из поэмы Лермонтова «Мцыри» (1839).

С. **417.** *Куманин* Федор Александрович (1855—1896) — театральный критик, драматург-переводчик, издатель журнала «Артист» (1889—1894) с приложением «Дневник артиста» (1891—1893), «Театральной библиотеки» (1891—1894, 1896), еженедельников «Театрал»

(1895) и «Читатель» (1896), газеты «Справочный листок для сценических деятелей» (1894—1895).

С. **417**. *Василий Михайлович Михеев* (1859—1908) — прозаик, поэт, драматург, журналист, родившийся в Иркутске. Один из участников московского кружка «Среда». В 1900—1902 гг. — редактор газеты «Северный край» в Ярославле (закрыта в декабре 1905 г.).

С. **418**. *Золаист* — последователь натурализма французского прозаика Эмиля Золя (1840—1902), автора 20-томной серии романов «Ругон-Маккары» (1871—1893).

«Художники-передвижники». — Товарищество передвижных художественных выставок, образованное в 1870 г. в Петербурге по инициативе И.Н. Крамского, В.В. Стасова, Г.Г. Мясоедова, Н.Н. Ге и В.Г. Перова. Распалось в 1923 г.

С. **419**. *«Атта Тролль»* (1843) — поэма Г. Гейне.

С. **420**. *Полумертвыми ушами выслушивал Мамин привет себе...* — 26 октября 1912 г. отмечалось 40-летие писательской деятельности Мамина-Сибиряка. Пришедших с поздравлениями тяжело больной юбиляр принимал в полузабытьи. 2 ноября он скончался.

ЕВГЕНИЙ ПАССЕК

Печ по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. Пг.: Просвещение, <1915>.

С. **421**. *Пассек* Евгений Вячеславович (1860—1912) — юрист, публицист, профессор римского права, ректор Юрьевского университета. Сестра Амфитеатрова, Александра Валентиновна, была женой Е.В. Пассека.

...против дубасовских чудодейств в Москве... — Имеются в виду «крайние меры», принятые московским генерал-губернатором Федором Васильевичем Дубасовым (1845—1912) в дни революции 1905—1907 гг. В декабре он санкционировал объявление Москвы на положении чрезвычайной охраны, предписал войскам применять оружие по собственному усмотрению, взял под охрану важнейшие объекты города, провел массовые аресты среди восставших, ввел комендантский час и т.п. Дважды подвергся покушениям террористов, что привело к увольнению его с поста. С июля 1906 г. Дубасов — член Государственного совета, с 1907 г. — член Совета государственной обороны.

С. **422**. *Чупров* Александр Иванович (1842—1908) — экономист, статистик, публицист, профессор политэкономии Московского уни-

верситета, член-корреспондент Петербургской АН (1887). Один из основоположников отечественной статистической науки. Автор многих трудов, а также учебников по статистике. Организатор переписи населения Москвы в 1882 г.

С. **423.** *Татьяна Львовна* Сухотина-Толстая (1864—1950) — старшая дочь Л.Н. Толстого. С 1928 г. — директор музея Л.Н. Толстого в Москве. Автор «Воспоминаний» (1976) и «Дневника» (1979).

«Плоды просвещения» (1890) — комедия Л.Н. Толстого.

Янжул Иван Иванович (1846—1914) — экономист и статистик; академик Петербургской АН.

С. **424.** *«Так что же нам делать?»* (1885) — трактат Л.Н. Толстого, полный текст которого был впервые опубликован в 1889 г. под названием «Что же нам делать?»

С. **426.** *Огранович* Михаил Петрович (1848—1904) — врач-невропатолог.

С. **428.** *Валентин Николаевич Амфитеатров* (ок. 1833—1908) — священник, протоиерей Архангельского собора в московском Кремле. Отец А.В. Амфитеатрова. Духовник сестры Л.Н. Толстого Марии Николаевны. Автор книги «Очерки библейской истории Ветхого Завета» (М., 1895).

С. **429.** *Лентовский* Михаил Валентинович (1843—1906) — антрепренер, режиссер, актер, начинавший в Малом театре. Автор водевилей. Поставил около 280 пьес, основал 11 театров в Москве, Петербурге, Н. Новгороде, в том числе московский увеселительный сад «Эрмитаж» (1876) с несколькими театрами на открытых площадках и «Скоморох» (1881—1882 и 1885—1895; здесь в 1895 г. состоялась одна из премьер «Власти тьмы» Л.Н. Толстого). В 1898—1901 гг. — режиссер Московской частной оперы С.И. Мамонтова.

«Будильник» (СПб., 1865—1871; М., 1873—1917) — сатирический еженедельный журнал.

Евгений Роган, Мокко — псевдонимы Е.В. Пассека.

С. **430.** *Катковский лицей.* — Императорский лицей в память цесаревича Николая, открытый 13 января 1868 г. М.Н. Катковым и П.М. Леонтьевым в бывшем дворце великого князя Михаила Павловича у Крымского моста.

С. **433.** *Кассо* Лев Аристидович (1865—1914) — юрист, профессор, с 1898 г. заведующий кафедрой гражданского права в Москов-

ском университете. С 1910 г. — управляющий, а с 1911 г. — министр народного провещения, проводивший курс на свертывание автономии университетов.

«БОГОСЛОВЫ!»

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Ау! Сатиры, рифмы, шутки. СПб.: Энергия, 1912.

С. **436.** *Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — философ, публицист, эссеист; один из выдающихся мыслителей Серебряного века.

Гермоген (в миру Георгий Ефимович Долганев; 1858—1918) — церковный и политический деятель. С 1898 — ректор Тифлисской духовной академии. С 1901 г. — епископ Вольский, в 1903—1912 гг. — епископ Саратовский. Отличался крайним фанатизмом. Пытался положить конец влиянию Г.Е. Распутина на царскую семью. В 1912 г. сослан в Жировецкий Свято-Успенский монастырь (Гродненская губ.). С 1917 г. — епископ Тобольский. Пытался помочь царской семье, сосланной в Тобольск. Арестован большевиками, вывезен в Тюмень и при отступлении Красной Армии утоплен вместе с другими узниками в р. Тура.

Монофизитизм — христологическая ересь, основанная архимандритом одного из византийских монастырей Евтихием и отвергнутая Халкидонским Собором в 451 г. Евтихианцы утверждали, что Христос, рожденный из двух естеств, пребывает в одном. Противоположное мнение проповедовали несториане, сторонники архиепископа Константинопольского Нестория, возглавлявшего церковь в 428—431 г.

С. **437.** *Эчмиадзин* — армяно-грегорианский монастырь с древним собором; резиденция катаколикоса всех армян.

«Около церковных стен» (т. 1—2. СПб, 1906; вышел в октябре 1905) — сборник статей Розанова, печатавшихся в конце 1890-х и начале 1900-х гг. в основном в газете «Новое время» и журнале «Новый путь».

Феодор I Ласкарис (ок. 1175—1222) — основатель Никейской империи, образовавшейся после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г.

С. **438.** *Терновский* Сергей Алексеевич (1848—1916) — писатель-богослов, историк церкви, профессор библейской археологии и еврейского языка в Казанской духовной семинарии.

С. **438.** *Чельцов* Иван Васильевич (1828—1878) — историк церкви. В 1871—1874 гг. — редактор журнала «Христианское чтение». Автор трудов «История христианской церкви» (1861), «Древние формы символа веры» (1869), «О павликианах» (1877) и др.

Диоклетиан Гай Валерий (245—316) — римский император с 284 по 305 г. Организатор всеобщего преследования христиан. После того как отрекся от престола, сам осудил свою религиозную политику.

Братья Терновские — историки церкви Филипп Алексеевич (1838—1884) и Сергей Алексеевич (см. о нем на с. 760).

Голубинский Евгений Евстигнеевич (наст. фам. Песков; 1834—1912) — историк церкви, профессор Московской духовной академии, академик Петербургской АН. Основной труд — «История русской церкви» (т. 1, 1880; т. 2, 1911).

С. **439.** *Халкидонский Собор* — 4-й Вселенский Собор, созванный в Халкидоне в 451 г. при восточно-римском императоре Маркиане. Отцы церкви выработали Халкидонский символ веры, принятый католиками и протестантами.

С. **440.** *Хиротония* — рукоположение в священнический сан.

Лопухин Александр Павлович (1852—1904) — богослов. С 1892 г. — редактор журналов «Церковный вестник» (СПб., 1875—1917) и «Христианское чтение». Инициатор издания «Православной богословской энциклопедии, или Богословского энциклопедического словаря».

С. **441.** *«Догутенберговский чекан»* — имеется в виду один из способов воспроизведения текста до книгопечатного станка, созданного в середине XV в. немецким изобретателем Иоганном Гутенбергом (между 1394—1399 или 1406—1468).

С. **443.** *Илиодор* — см. о нем примеч. к с. 171.

Никон (в миру Никита Минов; 1605—1681) — патриарх Московский и Всея Руси с 1652 г., проведший реформы в православной церкви, которые привели к ее расколу.

Аввакум — см. примеч. к с. 32.

С. **444.** *Засесть в «бест»* — укрыться, затаиться. В Персии бест — место (мечеть, посольство и др.), в котором для преследуемых властью действует право на неприкосновенность.

Бадмаев Петр Александрович, до крещения Жамсаран (1851—1919) — бурят, аферист и доносчик. Друг Г.Е. Распутина. Занимался лечебной практикой по рецептам тибетской медицины.

С. **445.** *...Розанов, один из кандидатов в анафемы, намеченных Гермогеном...* — Гермоген выступал с требованием отлучить от церкви В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, Л.Н. Андреева и др.

...в эпоху «Нового пути», когда г. Розанов именно и сделал себе в этой области громкое имя. — «Новый путь» (СПб., январь 1903 — декабрь 1904) — журнал П.П. Перцова (редактора-издателя и основного вкладчика), Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус. В 1904 г. редактором стал также Д.В. Философов, а секретарем Г.И. Чулков. «Мы стоим на почве религиозного миропонимания, — определял идейную платформу издания Перцов. — Мы поняли, что осмеянный отцами «мистицизм» есть единственный путь к твердому и светлому пониманию мира, жизни, себя» (Новый путь. 1903. № 1). Розанов в «Новом пути» опубликовал более десяти полемических статей, в том числе: «Церковь «прежде почивших» и церковь живых» (1903. № 2), «Мирские слезы» (1903. № 5), «А.С. Хомяков и Вл. С. Соловьев», «О милости к животным», «Политика Комба», «Из истории журнальной полемики», «Два стана» (все 1903. № 6), «О «соборном» начале церкви и о примирении церквей» (1903. № 10), «Об одной особенной заслуге Вл. С. Соловьева» (1904. № 9) и др.

С. **447.** *Диоскор* (?—454) — патриарх Александрийский, поддерживавший секту евтихианцев (монофизитов).

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЖАЛЬ

Впервые — в газете «Русское слово». 1914. 15 мая. Печ. по изд.: Критика о творчестве Игоря Северянина. М.: Изд. В.В. Пашуканиса, 1916.

Поэзия Северянина вызвала острую дискуссию, обзор которой в сборнике представил С.П. Бобров («Северянин и русская критика»). Наряду с Амфитеатровым в полемике приняли участие В.Я. Брюсов, Ф. Сологуб, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Р.И. Иванов-Разумник, А.А. Измайлов, В.Ф. Ходасевич, С.М. Городецкий, Вл.В. Гиппиус, Н.С. Гумилев и др. «Критики-профессионалы, — подводит итог Бобров, — порицали И<горя> С<еверянина> 4 раза и хвалили 14 раз; критики-писатели порицали 9 раз и хвалили 9 раз; публицисты порицали 3 раза и хвалили 7 раз; газетчики порицали 54 раза и хвалили 21 раз. Всего: 70 порицаний и 51 похвала». Автор обзора дал резко отрицательную оценку выступлению Амфитеатрова: «Статья есть сплошное зубоскальство и издевка».

С. **449.** *«Русское слово» любезно прислало мне две книжки... Игоря Северянина...* — Имеются в виду сборники: «Громокипящий кубок» (с предисловием Ф. Сологуба), изданный в 1913—1914 гг. семь раз, и «Златолира» (1914). *Игорь Северянин* (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1941) — поэт, лидер эгофутуризма.

С. **450.** *Пигасов* Африкан Семеныч — персонаж романа Тургенева «Рудин».

С. **453.** *Пригожий Я.Ф.* — композитор, автор популярных романсов, в том числе названного Амфитеатровым «Тебе одной».

Давыдов Александр Давыдович (наст. фам. Карапетян; 1849—1911) — певец (тенор), «король цыганского романса».

Любимыми образцами г. Игоря Северянина... остаются Фофанов и Мирра Лохвицкая. — В разгар дискуссии Северянин, отвечая на вопросы одной из газет, сказал: «Любимые поэты: в детстве — гр. А.К. Толстой, затем — Мирра Лохвицкая, Фофанов, Бодлер». Константину Михайловичу Фофанову (1862—1911) Северянин посвятил стихотворения «У К.М. Фофанова» (1907), «В защиту Фофанова» (1909), «На мотив Фофанова» (1911), «На смерть Фофанова» (1911), «К шестилетию смерти Фофанова» (1917) и др. Восторженное отношение к поэзии и личности М.А. Лохвицкой Северянин выразил в стихотворениях «И она умерла молодой...», «Траурная элегия», «Симфония» (все 1909), «Пролог» («Прах Мирры Лохвицкой осклепен...»; 1911), «27 августа 1912», «В Миррелии» (1912), «Увертюра» («Миррелия — светлое царство...»; 1916) и др.

С. **454.** *Подолинский* Андрей Иванович (1806—1886) — поэт.

Пальмин Лиодор (Илиодор) Иванович (1841—1891) — поэт.

Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт.

С. **455.** *Яков Хам* — один из псевдонимов Н.А. Добролюбова.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, один из вождей национально-освободительного движения против иностранного господства, за объединение раздробленной Италии.

«Санин» (1907) — роман М.П. Арцыбашева.

С. **457.** *Бертольд Шварц* — немецкий монах-францисканец, изобревший порох, известный и до него.

С. **459.** *Врубель* Михаил Александрович (1856—1910) — живописец.

С. **460.** *Чацкий* — герой комедии Грибоедова «Горе от ума».

С. **460.** *...Княжнин (поделом засек его Шешковский!)...* — См. примеч. к с. 43.

С. **460.** *Мятлев* Иван Петрович (1796—1844) — поэт, автор трехтомной юмористической поэмы «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л`этранже» (ч. 1—3, 1840, 1843, 1844), в которой иронически осмеивается галломания высшего общества, в частности те, кто высокопарно изъясняется на дурном французском языке.

«Северная пчела» (СПб., 1825—1864) — политическая и литературная газета, основанная Ф.В. Булгариным (с 1831 г. соредактор Н.И. Греч).

С. **461.** *Г.Н. Жулёв* — см. примеч к с. 191.

С. **462.** *Данте* Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт.

С. **463.** *...«поприщинские» выходки и выкрики Фердинанда VIII...* — Поприщин — персонаж повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834), поврежденный разум которого подсказал ему, что он король испанский Фердинанд VIII и что отныне ему позволено начинать новый отсчет времени — «Год 2000 апреля 43 числа», «Мартобря 86 числа между днем и ночью» и т.п.

«Лес» (1870) — комедия А.Н. Островского.

С. **464.** *«Бесы»* (1871—1872) — роман Достоевского.

...«ликующих, праздно болтающих». — Из стихотворения Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

С. **466.** *Ригорист* — человек, сверх меры строгий в выполнении нравственных правил.

Эфемерида — от эфемерный: мимолетный, призрачный.

С. **467.** *...с года «Горящих зданий» К.Д. Бальмонта...* — Сборник «Горящие здания (Лирика современной души)» вышел в 1900 г. и ознаменовал переход поэта от сумрачной, унылой настроенности к солнечному, радостному мироощущению.

Иванов Георгий Владимирович (1894—1958) — поэт, мемуарист. Первый его сборник «Отплытье на о. Цитеру» вышел в 1911 г. С 1922 г. — в эмиграции.

ЧУДОДЕЙ

Газета «Сегодня» (Рига). 1932. 11 сентября.

С. **469.** Максимилиан Александрович *Волошин* (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877—1932) — поэт, критик, художник, переводчик. Амфитеатров познакомился с Волошиным в марте 1905 г.

С. **469.** *Потапенко* Мария Андреевна (урожд. Колобьер, ?—1952) — вторая жена И.Н. Потапенко, драматург, переводчица.

С. **470.** *Комиссаржевская* Ольга Федоровна — скульптор.

Гераклит (кон. VI — нач. V вв. до н.э.) — древнегреческий философ.

Демокрит (ок. 470 или 460 — ок. 380 или 370 до н.э.) — древнегреческий философ и ученый-энциклопедист.

С. **471.** *Гумилев* Николай Степанович (1886—1921) — поэт, критик, переводчик; один из ведущих акмеистов.

Черубина де Габриак — псевдоним поэтессы Елизаветы Ивановны Дмитриевой (в замуж. Васильевой; 1887—1928).

Над калошей... потешались не один год. — Дуэль между Волошиным и Гумилевым из-за Е.И. Дмитриевой состоялась 22 ноября 1909 г. и окончилась благополучно: оба дуэлянта промахнулись. Однако этот случай получил огласку в газетах. Появились фельетоны, обыгрывающие найденную на месте поединка калошу, якобы потерянную Волошиным. Саша Черный отразил эту историю, ходившую в литературных кругах, в стихотворении «Переутомление»:

Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин — разбитым горшком.

Тамплиеры — католический духовно-рыцарский орден, основанный в Иерусалиме ок. 1118—1119 гг. для защиты паломников, отправляющихся к святым местам.

С. **472.** *Малэ* (Моле, Molay) Жак Бернар — последний гроссмейстер ордена тамплиеров. По приказу короля Филиппа IV Красивого (1268—1314) сожжен в Париже в марте 1313 г. (не в 1314 г., как в тексте) вместе со всеми другими французскими тамплиерами.

«Предвидения и предсказания Французской революции» — лекция Волошина опубликована под названием «Пророки и мстители. Предвестия Великой Революции» (Перевал. 1906. № 2).

С. **473.** *Казот* Жак (1719—1792) — французский прозаик, увлекавшийся мистикой. Казнен за осуждение революции.

«Народу русскому» — так начинается стихотворение Волошина «Ангел мщенья» (1906).

С. **474.** *Мария Антуанетта* (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI, казненная во время французской революции.

С. **474.** *Ламбаль* Мария Тереза Луиза де (1749—1792) — принцесса Кариньян, приближенная Марии Антуанетты, растерзанная толпой за отказ поклясться в ненависти к королеве.

Безик — некоммерческая карточная игра.

С. **475.** *Пирлинг* Павел (1832—1922) — иезуит, историк (родом из России).

...в моих «Сестрах»... отчасти во «Вчерашних предках»... — Названы романы-хроники Амфитеатрова, вышедшие в 1922 и 1929 гг.

...приятель Макса, «историк»... — По предположению В.П. Купченко и З.Д. Давыдова, это А. ле Плонжеон, в 1895 г. опубликовавший в Лондоне перевод отрывка рукописи индейцев майя, в котором повествуется о гибели от землетрясения «земли Му» в 9564 году до н.э. (см. в кн.: Жиров Н.Ф. Атлантида. М., 1964. С. 108).

Был еще историк — Атлантиды... — По предположению В.П. Купченко и З.Д. Давыдова, это У. Скотт-Эллиот, автор «Истории Атлантиды» (Лондон, 1896; Париж, 1901).

С. **476.** *...несколько очень эффектных стихотворений.* — В парижском журнале Амфитеатрова «Красное знамя» (1906. № 1) Волошин напечатал стихотворения «Голова принцессы Ламбаль» и «Ангел мщенья».

ДУША АРМИИ

Впервые: Возрождение (Париж). 1928. 21 февр. № 994. Печ. по изд.: Краснов П.Н. Сочинения: В 2 кн. Кн. 2. Понять — простить. М.: Интелвак, 2000.

С. **477.** *«Душа Армии»* — книга П.Н. Краснова (Берлин, 1927), вышедшая с подзаголовком «Очерки по военной психологии» и с предисловием генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина (1875—1944), военного теоретика, педагога, историка, участника Первой мировой войны и белого движения.

Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — генерал-лейтенант (1917), историк, прозаик, публицист. В октябре 1917 г. участвовал в походе на Петроград. В 1918 — начале 1919 г. — атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией. В 1920—1930-х гг. — один из лидеров антисоветских организаций в эмиграции. Автор более трех десятков книг, в том числе многих исторических романов.

В 1944 г. возглавил созданное немцами Главное казачье управление. 7 мая 1945 г. сдался в плен англичанам, был передан ими советской военной администрации. Повешен в Москве.

С. **479.** *...железной гатчинской дисциплины.* — Отправленный Екатериной II на жительство в Гатчину, будущий император Павел сформировал здесь свою армию из двух тысяч солдат, в которой установил жесткую дисциплину с каждодневной муштрой. Верным его помощником и любимцем был Алексей Андреевич Аракчеев (1769—1834), командир роты, а затем инспектор артиллерии и пехоты. В 1808—1810 гг. — военный министр, осуществивший реформы в армии. В 1815—1825 гг. был доверенным лицом Александра I. В 1818 г. участвовал в разработке первого проекта освобождения крестьян.

...в лицах императора Павла и его четырех сыновей... — Павел I (1754—1801) — император России с 1796 г. Его сыновья, великие князья: Александр (1777—1825) — с 1801 г. император России; Константин (1779—1831) — участник итальянского похода А.В. Суворова, командовал гвардией в Отечественной войне 1812 г., наместник Царства Польского; Николай (1796—1855) — с 1825 г. император России; Михаил (1798—1849) — генерал-фельдцейхмейстер, генерал-инспектор по инженерной части, главнокомандующий Гвардейским и Гренадерским корпусами.

С. **480.** *...главнокомандующим суворовской школы...* — Имеется в виду ученик А.В. Суворова генерал-фельдмаршал, светлейший князь Смоленский Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов; 1745—1813), организовавший контрнаступление русской армии, которое привело к уничтожению французских войск в Отечественной войне 1812 г.

Суворов Александр Васильевич (1730—1800) — граф Рымникский, князь Италийский, генералиссимус (1799), не проигравший ни одного сражения. Автор военно-теоретических работ «Полковое учреждение», «Наука побеждать», в которых обоснованы наступательные принципы ведения войны и боя, а также изложена суворовская система воспитания и обучения войск.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. В 1876—1877 гг. — военный губернатор Ферганской области (в 1910—1924 гг. именем полководца назывался г. Фергана). Герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (особенно

отличился в боях под Плевной и Шипкой). Участник Ахал-Текинской экспедиции 1880—1881 гг.

С. **480.** *Граф Келлер.* — Келлер Федор Артурович (1857—1918), граф — генерал от кавалерии, с 1912 г. — бригадир 10-й кавказской дивизии, с которой сражался на фронтах Первой мировой войны. Отличался храбростью, пользовался любовью солдат. В 1905 г. ранен бомбой, брошенной террористом. Отказался присягнуть Временному правительству, в 1918 г. — командир белой Северной армии. Расстрелян петлюровцами.

...генерала Самсонова, трагического героя сольдауских боев... — Генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов (1859—1914) в Первой мировой войне командовал 2-й армией. В боях под Сольдау в Восточной Пруссии 26—28 августа 1914 г. пять его дивизий попали в окружение и были уничтожены. Генерал застрелился.

Жилинский Яков Григорьевич (1853—1918) — генерал от кавалерии; с началом Первой мировой войны — главнокомандующий Северо-Западным фронтом. Смещен с поста за неудачное проведение Восточно-Прусской операции.

Багговут Карл Федорович (1761—1812) — генерал-лейтенант, герой Бородина. Погиб в сражении под Тарутином, командуя пехотным корпусом.

...в бою под Тарутином... — Тарутинский бой произошел 6 октября 1812 г. Французы потеряли в нем более двух тысяч человек и столько же попали в плен (русские потери — 300 человек). После знаменитого Бородинского сражения это была вторая крупная победа русских войск.

Толь Карл Федорович (1777—1842) — генерал от инфантерии. В Отечественной войне 1812 г. — генерал-квартирмейстер в штабе М.И. Кутузова, а затем в главном штабе при императоре Александре I.

С. **481**. *Гинденбург* Пауль фон (1847—1934) — генерал-фельдмаршал в Первую мировую войну. С 1925 г. — президент Германии.

С. **483**. *Николай Николаевич* Младший (1856—1929) — великий князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. В 1905—1914 гг. — главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1914—1915 гг. — Верховный главнокомандующий вооруженными силами России.

С. **484.** *Ходынская катастрофа* — см. примеч. к с. 219.

ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ

Очерки красного Петрограда

Печ. по изд.: Берлин: Грани, 1922. Часть очерков впервые публиковалась в газете «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс. 1921. 27, 28 сентября. № 221, 222).

I. Вымирающий Петроград

С. **487.** *Кронштадтское восстание* — вооруженное выступление гарнизона Кронштадта и моряков Балтийского флота 1—18 марта 1921 г. против коммунистов, вызванное хозяйственной разрухой и голодом.

...моя жена... — Иллария Владимировна Амфитеатрова (урожд. Соколова; 1875— после 1943), вторая жена А.В. Амфитеатрова.

...старший сын... — Имеется в виду старший сын от второго брака Даниил (1901—1983), пианист, композитор, дирижер. Младшие — Максим и Роман, в будущем тоже музыканты. Старший сын от первого брака (с певицей Большого театра и учительницей пения Александрой Николаевной Левицкой; 1858—1947) — Владимир Александрович Амфитеатров-Кадашев (псевд. В. Кадашев; 1892—1942), публицист, прозаик, поэт, критик, переводчик.

С. **488.** *Навуходоносор II* — царь Вавилонии в 605—562 гг. до н.э., разрушивший восставший Иерусалим и ликвидировавший Иудейское царство. При нем возведена Вавилонская башня и сооружены висячие сады, объявленные чудом света.

Салманасар IV — царь Ассирии в 727—722 гг. до н.э., завоевавший Финикию и Израильское царство.

С. **489.** *Михаил Феодорович* (1596—1645) — царь с 1613 г., основавший династию Романовых.

Смутное время Московского царства — конец XVI — начало XVII в., когда в стране вспыхнула борьба за престол, в которую вмешались иностранные интервенты.

С. **490.** *...«на берегу пустынных волн // стоял Он...»* — Из поэмы Пушкина «Полтава» (1828).

...зиновьевское удельное княжество... — Имеется в виду большевик с 1903 г.) Григорий Евсеевич Зиновьев (наст. фам. Радомысльский; 1883—1936), возглавивший в декабре 1917 г. Петроградский

совет и выступивший организатором «красного террора». Впоследствии репрессирован.

С. **491.** *Анцелович* Наум Маркович (1888—1952) — большевик с 1905 г. В 1917 г. — один из организаторов Красной гвардии в Петрограде. С 1919 г. — председатель Петроградского совета профсоюзов.

...на похоронах покойного друга моего, Г.А. Лопатина... — Революционер, первый переводчик «Капитала» К. Маркса, публицист Герман Александрович Лопатин после 1905 г. отошел от активной политической деятельности и скончался в Петрограде 26 декабря 1918 г.

II. Сенсация и гласность

С. **493.** *Тартар* — в греческой мифологии «великая бездна», преисподняя, в которую были низвергнуты титаны, побежденные Зевсом.

С. **495.** *«Общее дело»* (Париж, 1918—1934) — газета, издававшаяся разоблачителем агентов царской охранки В.Л. Бурцевым.

«Воля России» (Прага, 1920—1932) — газета, с 1922 г. — «журнал политики и культуры».

«Руль» (1920—1931) — ежедневная газета русских эмигрантов в Берлине.

«Последние новости» (1920—1940) — ежедневная газета русских эмигрантов в Париже.

«Новая русская жизнь» (1919—1922) — газета, выходившая в Гельсингфорсе.

Невеглас — невежда (старин.).

...редакционный текст корпусом, а «подлинная» цитата петитом... — То есть крупным (основным) шрифтом и более мелким.

С. **496.** *Бурцев* Владимир Львович (1862—1942) — публицист, издатель. С 1918 г. —в эмиграции. Известность приобрел как разоблачитель провокаторов. Автор книги «Борьба за своднную Россию. Мои воспоминания. 1882—1922» (Берлин, 1923), в Москве вышла в сокращенном переиздании и под названием «В погоне за провокаторами» (1928). Амфитеатров написал о нем очерк, вошедший в книгу «На всякий звук».

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — прозаик, поэт, драматург, литературовед, философ, публицист, критик, переводчик; теоретик и один из вождей русских символистов. С 1919 г. — в эмиграции.

С. **496.** ...*цензура «Бутурлинского комитета»*... — См. примеч. к с. 44.

Лавиния — персонаж римской мифологии.

Ионов Илья Ионович (наст. фам. Бернштейн; 1887—1942) — революционер, поэт. После 1917 г. — первый председатель правления издательства Петросовета. Впоследствии возглавлял издательства «Земля и фабрика», «Academia», акционерное общество «Международная книга».

С. **497.** *Тихон* (в миру Василий Иванович Белавин; 1865—1925) — патриарх Московский и Всея Руси с 1917 г. В годы Гражданской войны выступил с призывом остановить кровопролитие. В 1922 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Канонизирован Русской православной церковью.

Вениамин (в миру Василий Павлович Казанский; 1873—1922) — митрополит Петроградский и Гдовский (с 1917 г.), расстрелянный большевиками. В 1992 г. канонизирован как священномученик. День памяти — 13 августа.

Филиппов А. — вероятно, Александр И. Филиппов, журналист. После 1917 г. — в эмиграции в Париже. Редактор монархических изданий «Русская газета в Париже» (1923—1925) и «Русское время» (1925—1929). В 1928—1934 гг. редактор журнала «Театр и жизнь».

С. **498.** Наталья Алексеевна *Суворина* (1903—1922) — дочь А.А. Суворина.

...*внучка знаменитого основателя «Нового времени»*... — Газету «Новое время» А.С. Суворин издавал в Петербурге с 1876 г.

...*дочь редактора-издателя «Руси»*. — Газета «Русь» была основана в 1903 г. сыном А.С. Суворина от первого брака Алексеем Алексеевичем Сувориным (1862—1937).

III. Растленные музы

С. **499.** *Артуро Граф* (1848—1913) — итальянский поэт, прозаик, филолог, историк культуры.

«Буря» (1611) — романтическая драма У. Шекспира.

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский историк религии, филолог-востоковед, прозаик, публицист, драматург. Автор восьмитомного труда «История происхождения христианства» (1863—1883), пятитомника «История народа израильского» (1883—

1893) и философских драм «Калибан» (1878), «Живая вода» (1880), «Священник из Неми» (1885), «Жуарская настоятельница» (1886).

С. **499.** *Калибан, Просперо* — персонажи драм «Калибан» Ренана и «Буря» Шекспира.

Клио, Терпсихора, Полигимния, Талия — в греческой мифологии соответственно музы истории, танца, серьезной гимнической поэзии (ей приписывалось изобретение лиры), комедии.

С. **500.** *«Фауст и город»* (1918) — пьеса Анатолия Васильевича Луначарского (1875—1933), критика, публициста, искусствоведа и театроведа, драматурга, политического деятеля, с 1917 г. — наркома просвещения.

Мельпомена — в греческой мифологии муза трагедии.

С. **501.** *«Капитал»* (т. 1—3, 1867—1894) — главный труд Карла Маркса.

Стеклов Юрий Михайлович (наст. фам. Нахамкис; 1873—1941) — политический деятель, историк, публицист. В 1917—1925 гг. — редактор газеты «Известия». Репрессирован.

Алкивиад (ок. 450—404 до н.э.) — древнегреческий полководец и политический деятель, отличавшийся обостренным честолюбием. Ученик Перикла и Сократа.

С. **503.** *«Денщик Шельменко»* — имеется в виду комедия «Шельменко-денщик» (1837) украинского драматурга Григория Федоровича Квитки (псевд. Грицко Основьяненко; 1778—1843).

С. **504**. *Слетова* Александра Николаевна — учительница, первая жена публициста, одного из основателей партии социалистов-революционеров (эсеров) В.М. Чернова, сестра эсера С.Н. Слетова.

С. **505.** *Владимир Николаевич Давыдов* — см. примеч. к с. 763.

Владимир Васильевич Максимов (1880—1937) — актер, в 1919—1924 гг. играл в Большом драматическом театре.

Юрий Михайлович Юрьев (1872—1948) — актер Александринского театра с 1893 г.

Эмиль Альбертович Купер (1877—1960) — дирижер Оперного театра С.И. Зимина в Москве (1907—1909), Большого театра (1910—1919), главный дирижер Театра оперы и балета и филармонии в Петрограде (с 1919 г.). С 1924 г. — в эмиграции.

«Декамерон» (1350—1353) — книга реалистических, проникнутых неприятием аскетической морали новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо (1313—1375), шедевр мировой литературы.

IV. Кровь, к небу вопиющая

С. **506.** *...расстрелом супружеской четы Таганцевых, Н.И. Лазаревского, С.А. Ухтомского...* — Имеются в виду в виду участники так называемого Таганцевского заговора. Виктор Николаевич Таганцев (1886—1921) — профессор географии в Петроградском университете. Обвинен в контрреволюционной деятельности, создании Петербургской боевой организации. Расстрелян 25 августа 1921 г. вместе с 61 сподвижником. Среди них — профессор международного права, проректор Петроградского университета Николай Иванович Лазаревский (1868—1921), скульптор, князь Сергей Александрович Ухтомский (?—1921), поэт Н.С. Гумилев.

Лазаревская Елена Михайловна (?—1924) — жена Н.И. Лазаревского; в 1922 г. была членом Дома литераторов в Петербурге.

«Всемирная литература» — издательство, основанное М. Горьким в Петрограде при Наркомпросе 4 сентября 1918 г. В 1924 г. вошло в состав Ленгиза. За 6 лет выпущено ок. 200 книг. В этом издательстве под редакцией и с комментариями Амфитеатрова в 1922 г. вышли двухтомник «Избранных сочинений» К. Лемонье и «Комедии» К. Гольдони.

С. **508.** *Таганцев* Николай Степанович (1843—1923) — юрист, действительный тайный советник. С 1871 г. — профессор Петербургского университета. Сенатор с 1887 г., Член Государственного совета с 1905 г.

«Путь» (М., 1918—1920) — литературные и научно-популярные сборники.

Иорданский Николай Иванович (псевд. Н. Негорев; 1876—1928) — публицист, член РСДРП с 1899 г. В 1909—1917 гг. — редактор журнала «Современный мир».

С. **511.** *...«всею своею черною кровью»...* — Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

V. Разогнанный комитет

С. **511.** *...разгон Всероссийского комитета помощи голодающим...* — Комитет, созданный в Москве 21 июля 1921 г., а затем и в других городах из представителей общественных организаций, деятелей науки и культуры, был распущен 27 августа этого

же года из-за того, что его активисты решили за помощью обратиться к загранице. Почти все из 63-х членов Помгола оказались под арестом в казематах Лубянки. Среди них — политические деятели С.Н. Прокопович, Е.Д. Кускова, В.Н. Фигнер, Н.М. Кишкин, Н.Н. Кутлер, Ф.А. Головин, микробиолог Л.А. Тарасевич, председатель правления московской писательской организации Б.К. Зайцев, искусствовед и прозаик П.П. Муратов, писатель М.А. Осоргин, искусствовед Б.Р. Виппер. Власти, вспоминает Зайцев, «клонили к тому, чтобы весь наш Комитет рассматривать как «заговор» и соответственно расправиться. С Таганцевым уж так и обошлись. Наших начали водить на допросы… Прокопович, Кишкин и Кускова в эти дни были на черте смерти. Их гибель была решена, спасло вмешательство Нансена. Насколько знаю, он поставил условием своей помощи сохранение их жизней» (*Зайцев Б.К.* Собр. соч. Т. 6. Мои современники. М.: Русская книга, 1999. С. 136). В 1922 г. большинство «помголовцев» были высланы из России.

С. **512.** *Бухарин* Николай Иванович (1888—1938) — политический и государственный деятель СССР; автор трудов по философии и политэкономии. Репрессирован, реабилитирован посмертно.

С. **513.** *…засадим в Бутырки дочь обожаемого вами Льва Толстого…* — Речь идет о младшей дочери Л.Н. Толстого Александре Львовне (1884—1979), впоследствии основательнице фонда Толстого в США, авторе мемуаров «Отец».

С. **514.** *Дзержинский* Феликс Эдмундович (1877—1926) — председатель ВЧК с 1917 г., ГПУ и ОГПУ с 1922 г. Один из главных организаторов «красного террора».

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874—1934) — с 1919 г. член президиума ВЧК, с 1923 г. — заместитель, с 1926 г. — председатель ОГПУ. Один из организаторов «красного террора».

Кускова Екатерина Дмитриевна (урожд. Есипова, в первом браке Ювеналиева, в третьем замуж. Прокопович; 1869—1958) — видная общественная деятельница, участница «Союза освобождения», после 1917 г. находилась в опозиции к большевикам. Участвовала в работе Красного Креста, Лиги спасения детей, была одним из руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим Поволжья (Помгола). В 1921 г. выслана на Север, в 1922 г. — за границу.

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — общественный деятель, член «Союза освобождения», идеолог «экономизма», член

ЦК партии кадетов, министр Временного правительства. В 1921 г. вместе с Е.Д. Кусковой и Н.М. Кишкиным работал в Помголе. В 1922 г. выслан из России.

С. **515.** *Пальчинский* Петр Иоакимович (1878—1929) — до 1917 г. товарищ министра торговли и промышленности, председатель Особого совещания по обороне государства. Расстрелян большевиками.

Каменев Лев Борисович (наст. фам. Розенфельд; 1883—1936) — большевик, занимавший высокие посты в СССР. В 1918—1926 гг. — председатель Моссовета. Репрессирован, реабилитирован посмертно.

Лашевич Михаил Михайлович (1884—1928) — один из руководителей большевистского переворота в Петрограде. В дальнейшем — на ответственных военных и политических постах.

С. **516.** *Кишкин* Николай Михайлович (1864—1930) — врач, основавший в Москве водолечебницу и пансион для нервнобольных. Один из лидеров партии кадетов. После большевистского переворота в 1917 г. участвовал в антисоветских организациях, за что несколько раз арестовывался. С 1923 г. — сотрудник курортного отдела Наркомздрава.

Коробов Дмитрий Степанович — председатель правления Центросоюза; в 1921 г. — член Помгола.

VI. Н.С. Гумилев

С. **516.** Н.С. Гумилев осенью 1920 г. был вовлечен в так называемый Таганцевский заговор и 25 августа 1921 г. расстрелян. В 1991 г. дело в отношении Н.С. Гумилева прекращено за отсутствием состава преступления.

Мирабо (Оноре Габриель Рикети; 1749—1791), граф — деятель Великой французской революции 1789—1794 гг. С 1790 г. тайный агент королевского двора.

Дантон Жорж Жак (1759—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. Казнен за примиренческую позицию по отношению к жирондистам, противодействовавшим развитию революции.

Демулен Камиль (1760—1794) — журналист, деятель Великой французской революции. Казнен вместе с Дантоном.

Марат Жан Поль (1743—1793) — парижский врач, ставший одним из вождей якобинцев во время Великой французской революции. Издатель газеты «Друг народа». Убит Шарлоттой Корде.

С. **516.** *Гебер* Жак Рене (1755—1794) — журналист, деятель Великой французской революции. Возглавлял группу гебертистов, требовавших отмены христианства и введения культа разума. Казнен.

Робеспьер Максимильен (1758—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. Казнен термидорианцами, свергшими диктатуру якобинцев.

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — французский химик. В 1768—1791 гг. — Генеральный откупщик. Во время Великой французской революции казнен.

Кондорсе Жан Антуан Никола (1743—1794), маркиз — французский философ-просветитель, математик, социолог, политический деятель. Сотрудник «Энциклопедии» Д. Дидро и Д'Аламбера. Деятель Великой французской революции.

Шенье Андре Мари (1762—1794) — французский поэт и публицист. Казнен якобинцами во время Великой французской революции.

С. **517.** *«Двенадцать»* (январь 1918) — поэма А.А. Блока.

«Катилина. Страница из истории мировой Революции» — лекция, прочитанная Блоком 19 мая 1918 г. в петроградской Школе журнализма. Издана в 1919 г.

Любовь Дмитриевна — жена Блока (урожд. Менделеева; 1881—1939).

С. **518.** *Цех поэтов* (1911—1914 гг.) — литературная организация акмеистов, издававшая книги, журнал «Гиперборей», «Альманахи Цеха поэтов».

Гиерофант (иерофант) — верховный жрец в Древней Греции.

Не для житейского волненья... — Из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

С. **520.** *...Платон в своей идеальной утопии государства советовал изгнать поэтов...* — Древнегреческий философ Платон (428 или 427—348 или 347 до н.э.) в диалоге «Государство», рассуждая о совершенном государственном устройстве, предложил установить строжайший отбор и оценку, т.е. цензуру произведений поэтов. «Поэт творит призраки, а не подлинное бытие», а потому, утверждает философ, «надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет — отвергнем».

Махди — в мусульманской мифологии обновитель веры, которому суждено явиться за несколько лет до Страшного суда и установить на земле царство справедливости, силой вернув людей на путь Аллаха.

С. **520.** *Я ему подарил пистолет...* — Неточная цитата из стихотворения Гумилева «Галла» (сб. «Шатер. Стихи». Ревель, 1921). У автора: «Я бельгийский ему подарил пистолет...».

С. **521.** *Третий Интернационал* (Коминтерн) — международная революционная организация, объединявшая в 1919—1943 гг. компартии различных стран.

VII. Воззвание М. Горького

С. **522.** *«Огни»* (Прага) — еженедельная газета, издававшаяся с 8 августа по 10 ноября 1921 г. бывшим деятелем РСДРП Г.А. Алексинским.

...о пресловутом воззвании М. Горького к Европе. — Имеется в виду воззвание М. Горького «Честные люди» с просьбой о помощи голодающей России.

Гауптман Герхард (1862—1846) — немецкий драматург, прозаик, глава немецкого натурализма. Лауреат Нобелевской премии (1912).

С. **523.** *Блонден* Шарль (1824—1897) — французский акробат, совершавший в 1855—1866 гг. переходы по канату над Ниагарским водопадом.

С. **524.** *Монах Тук, Робин Гуд* — персонажи английских народных баллад (их около 40) о благородном разбойнике Робин Гуде (XII—XIII вв.).

С. **525.** *Менделеев* Дмитрий Иванович (1834—1907) — химик, ученый-энциклопедист, педагог. Открыл в 1869 г. периодический закон химических элементов. Автор более пятисот трудов.

Бронштейн — наст. фам. Льва Давыдовича Троцкого (1879—1940), политического деятеля, одного из большевистских лидеров. После переворота 1917 г. занимал пост наркома по иностранным делам, в 1918—1925 гг. — нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета. Один из организаторов репрессий. В борьбе со Сталиным за лидерство в партии потерпел поражение. Убит агентом чекистов в Мексике.

С. **526.** *Павлов* Иван Петрович (1849—1936) — физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности. Лауреат Нобелевской премии (1904).

Иностранцев Александр Александрович (1843—1919) — геолог, академик.

Похвальба крыловских гусей заслугами капитолийских предков. — Имеется в виду басня И.А. Крылова «Гуси» (1811), в которой

Гуси, возмущаясь тем, что простой мужик гонит их хворостиной, похваляются: «...мы свой знатный род ведем от тех гусей, // Которым некогда был должен Рим спасеньем» (своим криком они позволили римлянам обнаружить вражеских солдат, крадущихся к Капитолию).

С. **526.** *Генуэзская конференция* (10 апреля — 19 мая 1922 г.) — международная конференция 29 стран по экономическим и финансовым вопросам, на которой была устранена угроза дипломатической и иной изоляции России.

VIII. Выборг и Питер

С. **533.** *Нерон* — см. примеч. к с. 188.

Поппея Сабина (ок. 31—65) — вторая жена будущего римского императора Отона, ставшая сперва любовницей, а потом второй женой императора Нерона. Коварная и корыстная красавица оказалась причастной к двум убийствам — Октавии, первой жены Нерона, и его матери Агриппины. Умерла от удара, нанесенного ей Нероном. См. о ней подробно в четырехтомной исторической хронике Амфитеатрова о Нероне «Зверь из бездны» (Собр. соч. Т. 5—8. СПб.: Просвещение, 1911—1914).

Фуггер — один из представителей банкирского рода баварской Швабии, ведущего начало от ткачей. В 1530 г. Фуггеры «за верную службу» были возведены германским императором Карлом V в графское достоинство, а в 1803 г. при императоре Франце II стали князьями.

«Зачарованная степь» (1918) — повесть Амфитеатрова, давшая название сборнику (Ревель: Библиофил, 1921), в который вошли также четыре новых рассказа из цикла «Бабы и дамы».

«Васька Буслаев» («Василий Буслаев»; Берлин; Ревель: Библиофил, 1922) — пьеса Амфитеатрова (по мнению Горького, «лучшее из всего когда-нибудь сочиненного Амфитеатровым»).

IX. Г. Уэллс в Петрограде

С. **534.** *Уэллс* Герберт Джордж (1866—1946) — английский прозаик-фантаст, посещавший Россию в 1914, 1920 и 1932 гг. После второго посещения издал книгу «Россия во мгле» (1920, первый рус. пер. — София, 1921), в которой многие страницы посвящены беседам с В.И. Лениным о будущем России. Книга вызвала разноречивые суждения русской эмиграции.

С. **535.** *...резкие выступления И.А. Бунина и Д.С. Мережковского.* — Бунин опубликовал два протеста против книги Уэллса «Россия во мгле»: «Суп из человеческих пальцев. Открытое письмо к редактору газеты «Таймс»» (Свободные мысли. Париж. 1920. 27 сентября. № 2) и «Несколько слов английскому писателю» (Общее дело. Париж. 1920. 24, 25 ноября. № 132, 133). «Стыдно, — пишет Бунин, — что знаменитый писатель оказался в своих суждениях не выше любого советского листка, что он без раздумья повторяет то, что напел ему в уши Горький, хитривший перед ним и для блага Совдепии, и для приуготовления себе возможности бегства из этой Совдепии, дела которой были весьма плохи в сентябре. Я обязан сказать кроме этого еще и то, что я, не 15 дней, а десятки лет наблюдавший Россию и написавший о ней много печального, все-таки от души протестую против приговоров о ней гг. Уэллсов».

Еще более резкой была отповедь Мережковского в его «Письме Уэллсу» (Последние новости. Париж. 1920. 3 декабря № 189; Свобода. Варшава. 1920. 12 декабря. № 125). «Вы полагаете, — писал он, — что довольно одного праведника, чтобы оправдать миллионы грешников, и такого праведника вы видите в лице Максима Горького. Горький, будто бы, спасает русскую культуру от большевистского варварства. <...> Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою «спасает» Горький? Ценою *оподления*, — о, не грубого, внешнего, а внутреннего, тонкого, почти неисследимого. Он, может быть, сам не сознает, как оподляет людей. Делает это с «невинностью». <...> Он окружил себя придворным штатом льстецов и прихлебателей, а всех остальных — даже не отталкивает, а только роняет, — и люди падают в черную яму голода и холода. Он знает, что куском хлеба, вязанкою дров с голодными и замерзающими можно делать все, что угодно, — и делает. <...> «Всемирная литература», основанная Горьким, «величественное» издательство, восхищает вас, как светоч просвещения небывалого. Я сам работал в этом издательстве и знаю, что это — сплошное невежество и бесстыдная спекуляция. <...> Вас умиляют, а меня ужасают основанные Горьким «Дом науки» и «Дом искусств» — две братские могилы, в которых великие русские ученые, художники, писатели, сваленные в кучу, как тела недобитых буржуев, умирают в агонии медленной. <...> Горький — «благодетель» наш. И не я один, а все русские писатели, художники, ученые, когда снимут веревку с их шеи, скажут, вместе со мною: будь они прокляты, благодеяния Горького! Нет, мис-

тер Уэллс, простите меня, но ваш друг Горький — не лучше, а хуже всех большевиков — хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и растлевает души. В Москве изобрели новую смертную казнь: сажают человека в мешок, наполненный вшами. В такой мешок посадил Горький душу России».

С. **536.** *Красин* Леонид Борисович (1870—1926) — инженер, политический деятель. В большевистском правительстве занимал посты наркома торговли, путей сообщения, внешней торговли. В 1920 г. — одновременно полпред и торгпред в Великобритании, в 1924 г. — во Франции.

Зарин — партийный псевдоним Фридриха Вильгельмовича Ленгника (1873— 1936), члена РСДРП с 1893 г. После переворота 1917 г. — член коллегий Наркомпроса, ВСНХ, Наркомвнешторга.

С. **537.** *Бенкендорф* Мария Игнатьевна (урожд. Закревская, в первом браке Будберг; 1892— 1974) — переводчица, секретарь и гражданская жена М. Горького. См. о ней книгу Н.Н. Берберовой «Железная женщина».

Корней Иванович Чуковский (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882—1969) — критик, историк литературы, детский писатель, переводчик.

Издательство З.И. Гржебина (Пг.; М.; Берлин; 1919—1923) — основано художником-графиком, бывшим совладельцем издательства «Шиповник» Зиновием Исаевичем Гржебиным (1868—1929). Под редакцией и с примечаниями Амфитеатрова в этом издательстве в 1923 г. вышли «Избранные сочинения» Н.С. Лескова в трех томах и М.Е. Салтыкова-Щедрина в двух томах.

С. **538.** *Великий князь Владимир Александрович* (1847—1909) — генерал от инфантерии, сенатор (1868), член Государственного совета (1872). Попечитель Румянцевского музея.

Елисеевы — предприниматели в области торговли, банкиры. Владельцы магазинов и домов главным образом в Петербурге и Москве.

С. **539.** *Нансен* Фритьоф (1861—1930) — норвежский исследователь Арктики. В 1920— 1921 гг. верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных. Один из организаторов помощи голодающим Поволжья в 1921 г. Луареат Нобелевской премии (1922).

С. **540.** *Ольденбург Сергей Федорович* (1863—1934) — востоковед, один из основателей индологической школы. Академик. В 1904—1929 гг. — непременный секретарь АН. Член ЦК кадетской партии. В июле—августе 1917 г. — министр народного про-

свещения Временного правительства. В 1916— 1934 гг. — директор Азиатского музея — Института востоковедения.

С. **540.** *Пунин* Николай Николаевич (1888—1953) — искусствовед, один из организаторов системы художественного образования и музейного дела в СССР. Погиб в сталинском концлагере. Реабилитирован посмертно.

С. **546.** *...дурака-петуха из крыловской басни!* — Имеется в виду одна из последних басен И.А. Крылова «Кукушка и Петух» (1835), заканчивающаяся словами: «За что же, не боясь греха, // Кукушка хвалит Петуха? // За то, что хвалит он Кукушку».

X. Одна из многих

С. **552.** *Пржевальский* Николай Михайлович (1839—1888) — путешественник, исследователь Центральной Азии.

С. **554.** *Антанта* («Тройственное согласие») — антигерманский военный блок Великобритании, Франции и России, сформировавшийся в 1904—1907 гг. В Первую мировую войну в блок вошли более двадцати государств. В 1918—1920 гг. Антанта организовала антисоветскую интервенцию.

Портофранко — порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.

XI. Ф. Нансен

С. **559.** *Зорин* С.С. (наст. фам. Гомбарг; 1890—1937) — в 1918 г. председатель Петроградского ревтрибунала.

С. **560.** *...пример из эпохи Колчака рассказывает З.Н. Гиппиус в своем интереснейшем дневнике...* — Вероятно, имеется в виду рассказ Гиппиус о «конференции матросов и красноармейцев», на которой Горький, представленный Г.Е. Зиновьевым «великим противником войны, теперь великим поборником советской власти», в речи будто бы сказал: «Воюйте, а то придет Колчак и оторвет вам голову. Евреев же мало в армии, потому что их вообще мало». Участники после этих слов «точно взбесились: полезли на Зиновьева с криками: «Долой войну! Долой коммунистов!» Горький безуспешно пытался отречься от своих высказываний, якобы приписанных ему в отчете газеты «Правда». Дневники Гиппиус «Черная книжка» и «Се-

рый блокнот» были напечатаны в «Русской мысли» в 1921 г. (№ 1/2, 3/4).

С. **560.** *Колчак* Александр Васильевич (1873—1920) — военачальник, полярный исследователь, гидролог, адмирал (1918). Автор труда «Лед Карского и Сибирского морей» (1909). В 1916— 1917 гг. — командующий Черноморским флотом. В Гражданскую войну — один из главных руководителей белого движения. В 1918—1920 гг. — верховный правитель в Сибири. Расстрелян большевиками.

...софийско-парижская «Русская мысль». — Литературно-политический и научный журнал «Русская мысль» издавался П.Б. Струве в Софии в 1921, в Праге и Берлине в 1922—1924, в Париже в 1927 г.

С. **561.** *Роде* Адолий Сергеевич (?—1930) — директор петроградского Дома ученых, бывший хозяин загородного кафе-шантана «Вилла Родэ», где часто устраивал оргии Г.Е. Распутин с компанией.

С. **562.** *«Васька Красный»* — рассказ Горького.

XII. А.Н. Чеботаревская

С. **562.** *Чеботаревская* Анастасия Николаевна (1876—1921) — критик, переводчица; жена Ф. Сологуба. Покончила с собой, бросившись в р. Ждановку.

С. **563.** *Кони* Анатолий Федорович (1844—1927) — юрист, общественный деятель, выдающийся судебный оратор. Член Государственного совета, сенатор, почетный академик (1900). Автор многих трудов и мемуаров.

Котляревский Нестор Александрович (1863—1925) — литературовед, критик, публицист. Первый директор Пушкинского Дома (с 1910 г.).

Ганзен Анна Васильевна (урожд. Васильева; 1869—1942) — переводчица с датского, норвежского и шведского языков.

Леткова Екатерина Павловна (в замужестве Султанова; 1856—1937) — прозаик, переводчица. С конца 1880-х гг. активно сотрудничала в Литературном фонде и Комитете общества для доставления средств Высшим женским курсам. После 1917 г. — сотрудник издательства «Всемирная литература».

Замятин Евгений Иванович (1884—1937) — прозаик, критик, драматург. С ноября 1931 г. — в Берлине, с февраля 1932 г. — в Париже.

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — живописец, график, художник театра, теоретик и историк искусства, художествен-

ный критик. Один из основателей художественного объединения «Мир искусства» (1900—1924) и одноименного журнала (1898—1904). С 1924 г. — в Париже. Автор книги «Жизнь художника: Воспоминания» (Нью-Йорк, 1955).

С. **563.** *Немирович-Данченко* Владимир Иванович (1858—1943) — прозаик, драматург, театральный критик, режиссер. Создатель (совместно с К.С. Станиславским) Московского художественного театра (МХТ; 1898). Брат Вас.И. Немировича-Данченко.

Тихонов Александр Николаевич (псевд. Серебров; 1880—1956) — прозаик, публицист. Редактор журнала «Летопись», издательства «Парус» (1915—1917), газеты «Новая жизнь» (1917—1918), заведующий издательствами «Всемирная литература» (1918—1924), «Круг», «Федерация», главный редактор издательства «Academia» (1930—1936).

С. **564.** *Волковыский* Николай Моисеевич (1880 — не ранее 1940) — журналист. Один из организаторов Дома литераторов в Петрограде (1918—1922). В ноябре 1922 г. выслан из России. В 1922—1939 гг. — постоянный корреспондент в Германии, а затем в Польше рижской газеты «Сегодня». Участник и докладчик от берлинской делегации на Первом съезде зарубежных писателей и журналистов в Белграде (1928).

Кауфман А.Е. (1855—1921) — публицист. В 1889—1904 гг. — фактический редактор газет «Одесский листок» и «Одесский вестник», в 1895—1899 гг. — «Одесские новости». С 1904 г. в Петербурге. В 1904—1908 гг. — редактор газеты «Биржевые ведомости». В десятках газет и журналов публикует статьи по вопросам культуры и искусства. В 1919 г. — председатель правления Общества взаимопомощи литераторов и ученых, редактор-издатель журнала «Вестник литературы» (1919—1922).

Харитон Борис Осипович (1876 — после 1941) — журналист; с 1921 г. — редактор журнала «Летопись Дома литераторов».

Петрищев — вероятно, один из братьев-публицистов: Афанасий Борисович (1872—?), Василий Борисович, сотрудничавший в 1910-е гг. в газете «День».

Сазонов Петр Владимирович — заведующий хозяйством в Доме искусств.

С. **565.** *...Лигский... хорошо известный мне по эмиграции 1905 г...* — Константин Андреевич Лигский (1882—1930?) — публицист, переводчик. В конце 1906 г. за принадлежность к эсеровской партии был приговорен к каторге, с которой бежал за границу, где сблизился с Амфитеатровым.

В 1914 г. стал членом Антропософского общества. Вернувшись в Россию, в 1918 г. вступил в компартию.

С. **565.** *Штейнер Рудольф* (1861—1925) — немецкий философ-мистик, основатель антропософского учения и общества (с 1913), вовлекшего в свои ряды многих последователей, в том числе русских писателей и деятелей культуры.

С. **566.** *«Цветы к цветам!» — как сказала королева над прахом утонувшей Офелии...* — Эпизод трагедии Шекспира «Гамлет».

С. **569.** *...по поводу пресловутого гимна, воспетого Горьким главе коммунистической России...* — Речь идет о первой редакции известного очерка Горького «В.И. Ленин» (1924).

С. **570.** *...никуда не выпускали...* — Ф. Сологуб в 1919 г. обратился в Совет народных комиссаров с просьбой разрешить ему с женой выехать за границу для лечения. В начале 1921 г. разрешение на выезд было получено, но затем аннулированно. По воспоминаниям В. Ходасевича, после ходатайствований М. Горького «Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали». В сентябре Сологуб с женой должны были уехать в Эстонию, но помешала болезнь А. Чеботаревской (Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская / Вступ. ст., публ. и коммент. А.В. Лаврова — в кн.: Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 299—300).

XIII. Петроградские морильни

С. **571.** *Суворина Н.А.* — см. примеч. к с. 498.

С. **573.** *...племянница нынешних его белградских редакторов...* — Имеются в виду братья Суворины: редактор-издатель газеты «Новое время» в Белграде (1921—1930) Михаил Алексеевич (1860—1931) и публицист этой газеты Борис Алексеевич (1879—1940).

...дочь редактора «Руси». — См. примеч. к с. 150 и 498.

XIV. Ответ читателю-эмигранту

С. **578.** *«Н.Р.Ж.»* («Новая русская жизнь»; 1919—1922) — ежедневный «орган русской освободительной национально-государственной мысли», выходивший в Гельсингфорсе под редакцией Ю.А. Григоркова. В газете печатались Амфитеатров и его сын

В.А. Амфитеатров-Кадашев, А.И. Куприн (несколько десятков очерков), К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, П.Б. Струве, Д.С. Мережковский, Н.А. Тэффи и др.

С. **580.** *Аргус* — в греческой мифологии многоглазый великан. Страж Ио, возлюбленной Зевса. Убит Гермесом, усыпившим Аргуса жезлом (кадуцеем).

С. **583.** *«Сменовеховщина»* — общественно-политическое движение 1920-х гг. (главным образом в среде русских эмигрантов), ориентировавшееся на возврат России к рыночной экономике, надеевшееся на перерождение власти большевиков в условиях новой экономической политики (нэп). Печатный орган — «Смена вех» (Париж, 1920—1922).

XV. «Смеющееся горе»

С. **586.** *Портной Гришка* — герой одноименного очерка М.Е. Салтыкова-Щедрина из книги «Мелочи жизни».

С. **587.** *Бирон* Эрнст Иоганн (1690—1772), граф — фаворит императрицы Анны Иоанновны, обер-камергер ее двора, ставший неограниченным правителем России. Был приговорен к четвертованию, но Анна Леопольдовна заменила приговор ссылкой в Сибирь с лишением чинов и званий. Освобожден от наказания в 1761 г. Петром III.

С. **588.** *Антонов* Александр Степанович (1888—1922) — эсер с 1906 г., руководитель восстания крестьян Тамбовской и частично Воронежской губерний, недовольных большевистской политикой «военного коммунизма» (1920—1921). Убит при аресте.

С. **589.** *Гверильясы* — ополченцы, партизаны в Испании времен войн с французами в 1808—1813 гг.

С. **591.** *Рафалович* Сергей Львович (1875—1943) — поэт, драматург. С 1922 г. — в эмиграции в Париже.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), граф — государственный деятель. В 1886—1888 гг. управлял Юго-Западной железной дорогой. В 1892 г. назначен министром путей сообщения и министром финансов. С 1903 г. — председатель Комитета министров. Один из авторов Манифеста 17 октября 1905 г. После отставки — член Государственного совета. Автор мемуаров.

С. **592.** *Меттерних* Клеменс (1773—1859), князь — министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг., канцлер в 1821—1848 гг.

С. **592.** *Даниеле Манин* (1804—1857) — итальянский политический деятель, адвокат, диктатор в Венеции (1848).

Притча о лепте вдовицы... — Из Евангелия от Марка, гл. 12, ст. 41—44: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

XVI. Памяти Абрама Евгеньевича Кауфмана

С. **594.** *Дом литераторов* — организация взаимопомощи литераторов, существовавшая в Петрограде с 1 декабря по ноябрь 1922 г. Возглавлялась комитетом из двадцати человек (председатель — академик Н.А. Котляревский). В комитет входили А.В. Амфитеатров, А. Ахматова, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.Е. Кауфман, А.Ф. Кони, Вас.И. Немирович-Данченко, А.М. Ремизов, Ф. Сологуб, В.Ф. Ходасевич, Б.Э. Эйхенбаум.

XVII. «Кому на Руси жить хорошо»

С. **602.** *Тихвинский* Михаил Михайлович (?—1921) — профессор химии.

С. **607.** *Андреева* Мария Федоровна (наст. фам. Юрковская, в первом браке Желябужская; 1868—1953) — актриса (с 1898 по 1905 в МХТ); вторая жена М. Горького. В 1919 г. вместе с Горьким и Блоком участвовала в создании Большого драматического театра в Петрограде. В 1931—1948 гг. — директор московского Дома ученых.

С. **608.** *Зилоти* Александр Ильич (1863—1945) — пианист, дирижер, профессор Московской консерватории. Организатор ежегодных симфонических и камерных концертов в Петербурге (1903—1913). С 1919 г. — в эмиграции.

Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951) — дирижер, контрабасист. Основатель Московского симфонического оркестра (1908) и Российского музыкального издательства (1909). С 1917 г. — руководитель Государственного симфонического оркестра (бывш. Придворного) в Петрограде. С 1920 г. — музыкальный деятель в эмиграции.

С. **608.** *Ганзен* Цецилия — скрипачка. После 1917 г. — в эмиграции в Париже.

Захаров Борис Матвеевич (1887—1942) — пианист, профессор. Выступал в эмиграции (в Берлине) вместе с Ц. Ганзен. На его концерте в Кави ди Лаванья (Италия) Амфитеатров впервые побывал в 1909 г.

Александрович А. — певец (тенор).

Гзовская Ольга Владимировна (1883—1962) — актриса Малого театра (1906—1910, 1917—1919) и МХТ (1910—1917). В 1920—1931 гг. жила за рубежом. Вернувшись в СССР, работала в Ленинградском театре Ленинского комсомола (1939), Ленинградском театре драмы им. А.С. Пушкина (1943—1956).

Кузнецов Степан Леонидович (1879—1932) — актер. После событий 1917 г. — в эмиграции. Выступал на сценах Берлина, Таллинна, Тарту.

Полевицкая Елена Александровна (1881—1973) — актриса. С 1920 г. — за рубежом. В 1955 г. вернулась в СССР. С 1961 г. преподавала в Театральном училище им. Б. Щукина. Снималась в фильмах «Муму» (1959) и «Пиковая дама» (1960).

ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОЙ РАЗРУХЕ

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. Горестные заметы. Берлин: Грани, 1922.

С. **611.** *Из тьмы лесов, из топи блат...* — из «Медного всадника» Пушкина.

С. **612.** *Нахимсон* Семен Михайлович (1885—1918) — большевик с 1912 г. В 1918 г. — председатель Ярославского губисполкома. Расстрелян во время антибольшевистского восстания в Ярославле.

Халтурин Степан Николаевич (1856—1882) — революционер-террорист, участник покушения на императора Александра II. Казнен.

С. **613.** *Скрябин* Александр Николаевич (1871—1915) — композитор, пианист, профессор Московской консерватории (1894—1904). Автор новаторских симфонических произведений «Божественная поэма» (1904), «Поэма экстаза» (1907), «Прометей» («Поэма огня»; 1910) и др.

Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — революционер-террорист, член исполкома «Народной воли». Один из организаторов убийства Александра II 1 марта 1881 г. Казнен.

С. **613.** *Перовская* Софья Львовна (1853—1881) — член исполкома «Народной воли», организатор и участница убийства Александра II. Повешена.

С. **614.** *Урицкий* Моисей Соломонович (1873—1918) — революционер-меньшевик, с 1917 г. — большевик. С марта 1918 г. — председатель Петроградской ЧК (Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией). Один из организаторов «красного террора». Убит эсером.

С. **616.** *Корнилов* Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал от инфантерии (1917), участник русско-японской и Первой мировой войн. После 1917 г. — один из организаторов белого движения и Добровольческой армии. Погиб во время штурма Екатеринодара (ныне Краснодар).

Юденич Николай Николаевич (1862—1933) — генерал от инфантерии, один из руководителей белого движения. В 1919 г. руководил весенне-летним наступлением на Петроград. С 1920 г. — в эмиграции.

«*Петербургу быть пусту...*» — проклятие царицы Авдотьи — Евдокии Лопухиной (1669—1731), первой жены Петра Великого, отстраненной от престола (пострижена в монахини под именем Елены).

С. **618.** *Панглосизм* — см. коммент. к с. 163.

С. **623.** *Рейснер* Лариса Михайловна (1895—1926) — поэтесса, прозаик, драматург. В годы Гражданской войны — политработник Красной Армии.

Раскольников Федор Федорович (наст. фам. Ильин; 1892—1939) — политический и военный деятель, дипломат, литератор. В 1919—1920 гг. — командующий Волжско-Каспийской флотилией. В 1920—1921 гг. — командующий Балтийским флотом. С 1921 г. — на дипломатической работе. Автор «Открытого письма Сталину» (1939) с обвинениями его в массовых репрессиях. Погиб в Ницце при невыясненных обстоятельствах.

С. **624.** *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, публицист, прозаик. Участник Отечественной войны 1812 г. и восстания декабристов в 1825 г.

С. **630.** *Тертуллиан,* Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок. 160 — после 220) — христианский богослов и писатель.

Монтан — языческий жрец из Фригии, основатель христианской секты и мистического движения II в. — монтанизма.

С. **631.** *...«суждены благие порывы, но свершить ничего не дано».* — Из поэмы Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

С. **632.** *Володарский* В. (наст. имя и фам. Моисей Маркович Гольдштейн; 1891—1918) — участник большевистского переворота 1917 г. Комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Петрограда. Убит эсером.

С. **636.** *Аладин* — персонаж из волшебных сказок «Тысяча и одна ночь».

Демьян Бедный (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883—1945) — поэт, автор сатирических фельетонов, басен, памфлетов, пародий.

Иуда Искариот — один из двенадцати апостолов, предавший Иисуса Христа.

С. **639.** *«Свадьба Кречинского»* (1856) — комедия А.В. Сухово-Кобылина из его трилогии.

Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — немецкий прозаик, автор популярных социально-политических романов.

С. **643.** *Кеннан* Джордж (1845—1924) — американский журналист, обследовавший в 1885—1886 гг. российские каторжные тюрьмы и места политической ссылки. Автор книги «Сибирь и ссылка» (т. 1—2, 1906).

С. **645.** *Плеве* Вячеслав Константинович (1846—1904) — государственный деятель, сенатор. Директор департамента полиции. С 1899 г. — министр, статс-секретарь по делам Финляндии. В 1902—1904 гг. — министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов. Убит эсером Е.С. Созоновым.

Дурново Петр Николаевич (1844—1915) — в 1884—1893 гг. — директор департамента полиции, с 1893 г. — сенатор, в 1900—1906 гг. товарищ министра внутренних дел и министр, затем член Государственного совета, лидер группы правых.

С. **648.** *Измайлов* Александр Алексеевич (псевд. Смоленский; 1873—1921) — критик, поэт, прозаик. Автор книг «На переломе. Литературные размышления» (1908), «Кривое зеркало» (1908), «Помрачения божков и новые кумиры. Книга о новых веяниях в литературе» (1909), «Пестрые знамена. Литературные портреты безвременья» (1913) и др.

С. **652.** *Гурко* Иосиф Владимирович (Ромейко-Гурко; 1828—1901) — военный и государственный деятель: генерал-адъютант (1877), генерал-фельдмаршал (1894), член Государственного совета (1886). В русско-турецкой войне 1977—1878 гг. успешно командовал войсками под Плевной и Шипкой, освободил южную Болгарию. После войны командующий войсками Одесского военного округа (1882—1883), варшавский генерал-губернатор (1883—1894).

С. **653.** *Брестский мир* — мирный договор, заключенный советской Россией 3 марта 1918 г. с Германией и другими странами.

С. **655.** *...посольство Раскольникова в Афганистане...* — Ф.Ф. Раскольников был полпредом России в Афганистане в 1921—1923 гг.

Суриц Яков Захарович (1882—1952) — дипломат. Полпредом в Афганистане был в 1919—1921 гг.

С. **656.** *Верховенский* — персонаж из романа Достоевского «Бесы».

...как Белинский, до реакционной статьи о «Бородинской годовщине». — Имеется в виду ранний период творчества В.Г. Белинского, до статьи «Бородинская годовщина», опубликованной в «Отечественных записках» в 1839 г. Начинал критик в изданиях Н.И. Надеждина — журнале «Телескоп» и газете «Молва», закрытых по распоряжению правительства в октябре 1836 г. В марте 1838 г. Белинский возглавил журнал «Московский наблюдатель», ставший (ненадолго, всего на год) органом гегельянцев.

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — нарком иностранных дел в 1918—1930 гг.

С. **657.** *Герои Капнистовой «Ябеды»...* — Имеется в виду сатирическая комедия в стихах «Ябеда» (впервые опубл. в 1793 г. под названием «Ябеднию») Василия Васильевича Капниста (1758—1823). Пьеса подверглась запрету и конфискации.

«Дело» (1862) — драма А.В. Сухово-Кобылина из его трилогии.

С. **660.** *Бадаев* Алексей Егорович (1883—1951) — большевик с 1904 г. Депутат IV Государственной думы. После 1917 г. — комиссар продовольствия Петрограда, председатель Петрокоммуны. В 1920—1921 гг. — председатель Москоммуны. С 1930 г. — председатель Центросоюза.

Гришка — Г.Е. Зиновьев.

С. **661.** В.Д. *Бонч-Бруевич* в 1917—1920 гг. — управделами Совнаркома.

Смильга. — Смилга Ивар Тенисович (1892—1938), политический деятель, экономист. В 1921—1922 гг. — заместитель председателя ВСНХ. В 1924—1926 гг. — заместитель председателя Госплана СССР. В 1925—1927 гг. — ректор Института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Репрессирован.

Закс. — Гладнев-Закс Самуил Маркович (1884—1937), директор кооперативного издательства в Петрограде «Прибой» (1922—1927).

Капуя — город в Италии с древнейшей крепостью.

С. **662.** *«Петрушка»* (1911) — балет композитора Игоря Федоровича Стравинского (1882—1971), написанный для «Русского балета С. Дягилева» в Париже.

С. **662.** *«Карнавал»* (1835) — фортепьянное произведение немецкого композитора Роберта Шумана (1810—1856).

«Исламей» (1869) — концерт для фортепьяно композитора Милия Алексеевича Балакирева (1836/37—1910).

Ау! Пародии, эпиграммы

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Ау! Сатиры, рифмы, шутки. СПб.: Энергия, 1912.

РИФМЫ И СТРОЧКИ

А.И. Гучкову

С. **663.** *Гучков* Александр Иванович (1862—1936) — предприниматель, лидер партии октябристов. Член Государственного совета (в 1907 г. и с 1915 г.). В 1910—1911 гг. — председатель III Государственной думы.

На художественном съезде

С. **663.** *Карелин* Андрей — художник-фотограф; отец известного анархиста Ап.А. Карелина (1863—1926).

Кремлев Анатолий Николаевич (1859—1919) — драматург, журналист, критик.

С. **664.** *Рафаэль* Санти (1483—1520) — итальянский живописец и архитектор. Один из крупнейших мастеров Высокого Возрождения.

Зловредный полковник и спасительный костер

Петербургская баллада

С. **664.** *Кладо* Николай Лаврентьевич (1862—1919) — генерал-майор по адмиралтейству (с 1912 г.), морской теоретик и историк, преподаватель, с 1917 г. — начальник Морской академии. Совершил кругосветное плавание вместе с великим князем Николаем Александровичем (будущим императором Николаем II). Автор трудов и учебников «История военно-морского искусства» (1897), «Современная морская война. Морские заметки о русско-японской войне» (1905) и др.

Крамольный плач «Современника», или Спасение России (и притом без кавычек) литератором Кислошерстниковым

С. **665.** *«Современник»* (СПб., 1911—1915) — «журнал литературы, политики, науки, истории, искусства и общественной жизни», основанный Амфитеатровым. Редакторы — П.В. Быков и В.Е. Трутовский (с 1914 г.). Направление журнала определяли, кроме Амфитеатрова и Горького, В.М. Чернов, В.С. Миролюбов, позднее Е.А. Ляцкий и Н.Н. Суханов (Гиммер), державшие курс на сотрудничество с различными литературными группами. Печатались А. Белый, А.А. Блок, И.А. Бунин, А.М. Ремизов, Е.И. Замятин, Е.Н. Чириков, Саша Черный, С.П. Бобров, Е.Г. Лундберг.

Кислошерстников — под этим литератором подразумевается В.П. Буренин, трижды обругавший первый номер журнала «Современник» в газете «Новое время» (1911. 4, 5, 18 февраля). Вскоре последовала конфискация этого номера.

С. **666.** *О Максиме Антоновиче // Ядовитый поднял свист...* — Публицисту, критику, философу Максиму Алексеевичу Антоновичу (1835—1918) от Буренина досталось за его «Письмо в редакцию», в котором вспоминаются традиции «Современника» 1860-х гг.

Излюбленные пословицы знаменитых русских людей

С. **666.** *Алексей Александрович Лопухин* (1864—1927?) — в 1902—1905 гг. — директор Департамента полиции, выступивший с разоблачениями ее провокаторской деятельности, в частности раскрывший общественности имя провокатора Е.Ф. Азефа. Был приговорен в 1909 г. к пяти годам каторги; помилован в 1912 г. С 1918 г. — в эмиграции. Автор мемуаров.

С. **667.** *Александр Иванович Дубровин* (1855—1921) — основатель и председатель черносотенного «Союза русского народа» (1905—1917).

Прот<оиерей> Иона Восторгов — см. примеч. к с. 328.

Гартинг (он же Геккельман и Ландезен) Аркадий Михайлович — провокатор из охранки, ведавший заграничной агентурой. Разоблачен в 1909 г. и отправлен в отставку с присвоением чина действительного статского советника.

С. **667.** *Булацель* Павел Федорович (1867—1919) — один из инициаторов создания «Союза русского народа», редактор газеты «Русское знамя» (в 1906—1907 гг.).

Марков 2-й Николай Евгеньевич (1866—1945) — один из лидеров «Союза русского народа», глава фракции правых в III и IV Государственной думе. С 1920 г. — в эмиграции.

С. **668.** *М.О. Меньшиков* — см. примеч. к с. 163.

Бобринский Владимир Алексеевич (1867—1927) — депутат II—IV Государственной думы.

Пиленко Александр Александрович (1862—1920) — юрист-международник, профессор Петербургского университета, публицист. Думский корреспондент газеты «Новое время».

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), князь — религиозный философ, правовед. В 1906—1918 гг. — профессор Московского университета. Видный деятель партии кадетов. Один из основателей Психологического общества, Религиозно-философского общества им. Вл. Соловьева в Москве, книгоиздательства «Путь» (1910—1917). Участник белого движения.

Илья Яковлевич Гурлянд (1868 — после 1921) — прозаик, драматург, критик, публицист, историк. В 1907—1917 гг. — член совета Министерства внутренних дел, директор-распорядитель телеграфного агентства.

Маклаков Василий Алексеевич (1870—1957) — адвокат, один из лидеров партии кадетов, руководивший в ней «школой ораторов». Депутат II—IV Государственной думы. В 1917 г. — посол во Франции, где остался после Октябрьского переворота. Автор мемуаров.

Ода

На победу над граммофоном

С. **668.** *Золотарев* Игнатий Михайлович — юрист, с 1911 г. — товарищ министра внутренних дел, ведавший делами полиции.

Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — министр юстиции с 1906 по 1915 г., член Государственного совета (здесь один из лидеров правых), сенатор. В 1915—1916 гг. — председатель Совета монархических объединений. Расстрелян большевиками вместе с группой бывших сановников.

С. **669.** *Собинов* Леонид Витальевич (1872—1934) — лирический тенор Большого театра (с 1897 по 1933 г.).

С. **669.** *Гремит Шаляпина «Дубина»...* — Федор Иванович Шаляпин (1873—1938) — певец (бас), солист Московской частной русской оперы, Большого и Мариинского театров. С 1922 г. — в эмиграции. «Дубинушка» («Много песен слыхал я в родной стороне...») — одна из популярных песен в репертуаре Шаляпина (исполнялась им в двух вариантах).

Его ж — «Колена преклоня»! — Имеется в виду эпизод во время спектакля «Борис Годунов» в Мариинском театре 6 января 1911 г., когда актеры, подавшие петицию Николаю II об улучшении своего материального положения, исполнили вместе с Шаляпиным гимн «Боже, царя храни...», «колена преклоня» перед императором, находившимся в ложе. Это привело к разрыву приятельских отношений великого певца с Амфитеатровым, пославшим ему (и в газеты) возмущенное открытое письмо. Шаляпин в ряде писем вынужден был оправдываться. «...В полной невозможности уйти со сцены, оторопел, — объясняет он Горькому 18 июля 1911 г., — совершенно растерялся, даже, может быть, испугался, потерял вполне способность спокойно размыслить и стал на колени около стоявшего близ меня, в глубине сцены, кресла. <...> Таким образом случилось, что я явился действующим лицом этой пакостной и пошлой сцены...» (Литературное наследство. Т. 95. С. 267).

Плевицкая Надежда Васильевна (1884 — предполож. 1941) — эстрадная певица (меццо-сопрано); исполнительница русских народных (главным образом городских) песен. После 1920 г. — в эмиграции.

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871—1913) — популярная эстрадная певица, артистка оперетты (сопрано).

«Прочитан Бунин...»

С. **673.** *Изучаю экзотическую поэзию И.А. Бунина.* — Имеются в виду т. 2—4 Собр. соч. Бунина (2-е изд., СПб.: Знание, 1909), в которые вошли стихотворения 1903—1908 гг. О своем неприятии бунинской поэзии Амфитеатров также пишет Горькому 14 ноября 1910 г.: «Прочитал три тома стихов Бунина. Не надо. Мертвечина. Дай ему Бог здоровья и чин президента Академии наук, а стихи пусть кто-нибудь другой пишет. Это не поэзия, а версификация». И далее цитирует свою эпиграмму «Прочитан Бунин...» (Литературное наследство. Т. 95. Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. М., 1988. С. 227).

С. **673.** *Бедекер* — словарь (нариц.).

Буль-буль — соловей (перс.).

С. **674.** *Анубисова крипта* — имеется в виду подземный ход (крипта) в царстве мертвых древнеегипетского бога-покровителя умерших Анубиса.

Озирис — в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы.

Абдул-Гамид — имя многих турецких султанов.

Пинд — горный хребет в Греции.

Аника-воин — бесстрашный, непобедимый воин, персонаж народной драмы «Царь Максимилиан», духовных стихов, фольклорных произведений.

Ассаргадон (Асархаддон, Ашшурахиддин) — царь Ассирии в 680—669 до н.э.

Кир — имя древних персидских царей. Кир Старший — герой романа афинского писателя Ксенофонта (445— 355 до н.э.) «Киропедия» («Воспитание Кира»).

Песнь смиренномудрого журналиста...

С. **674.** *«Цыганский барон»* (1885) — оперетта австрийского композитора Иоганна Штрауса-сына (1825—1899).

С. **675.** *Октябрист* — член праволиберальной партии «Союз 17 октября» (1906—1915), объединявшей крупных землевладельцев, предпринимателей, чиновников.

С. **676.** *Собакевич, Манилов, Чичиков* — персонажи из «Мертвых душ» Гоголя.

ИЗ АЛЬБОМА

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. И черти, и цветы. СПб., 1913.

С.Д. Гусеву-Оренбургскому

С. **677.** *Сотый написан им дьякон...* — Прозаик С.Д. Гусев-Оренбургский в 1893 г. принял сан священника, который через пять лет был с него снят. Однако русское духовенство стало центральной темой его романов и повестей.

Будрыс и его сыновья

С. **677.** *Будрыс* — герой баллады А. Мицкевича «Три Будрыса» и ее вольного перевода А.С. Пушкиным «Будрыс и его сыновья» (1833).

ИЗ ПЕСЕН О «МОДЕРНЕ»

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. И черти, и цветы. СПб., 1913 (в цикле «Из альбома»).

Романс

С. **678.** *Мне все равно...* — Пародируется романс С.А. Даргомыжского на слова Ф.Б. Миллера «Мне все равно, страдать иль наслаждаться...».

Эллис (наст. имя и фам. Кобылинский Лев Львович; 1879—1947) — поэт-символист, критик, литературовед, переводчик.

С. **679.** *Ауслендер* Сергей Абрамович (1886 или 1888—1937) — прозаик, драматург, критик.

«Весы» — см. примеч. к с. 77.

«Руно» — «Золотое руно» (М., 1906—1909), художественный и литературно-критический журнал символистов, издававшийся П.П. Рябушинским.

«Аполлон»

С. **679.** *«Аполлон»* (СПб., 1909—1917) — литературно-художественный журнал С.К. Маковского.

Богданов Александр Александрович (наст. фам. Малиновский; 1873—1928) — прозаик, ученый, публицист, политический деятель. Автор романа-утопии «Красная звезда» (1907), выдержавшего семь изданий, а также научных трудов «Эмпириомонизм» (кн. 1— 3, 1904—1906), «Текстология. Всеобщая организационная наука» (ч. 1—3, 1913— 1922). Погиб, проводя на себе медицинский эксперимент.

Вассиан Рыло (?—1481) — архиепископ Ростовский, славившийся красноречием. Прозвище получил за страсть рыть колодцы.

ОЖИВШИЕ РИФМЫ

(80-х годов)

Печ. по изд.: Амфитеатров А.В. И черти, и цветы. СПб., 1913 (в цикле «Из альбома»).

Рифмачам

С. **681.** *Ут-диез* (до-диез) — обозначение одного из звуков в музыкальном алфавите.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров А.В.

А 63 Собрание сочинений В 10 т Т 10. Книга 2. Мемуары Горестные заметы: Воспоминания Портреты Записная книжка Пародии. Эпиграммы / Сост., примеч Т Ф Прокопова М : НПК «Интелвак», ОО «РНТВО», 2003 – 816 с.

ISBN 5-93264-017-0 (т. 10, кн 2).

«Горестные заметы» — вторая книга мемуаров из десятого тома Собрания сочинений А.В. Амфитеатрова (1862—1938) В нее вошли наряду с воспоминаниями также очерки-портреты друзей и современников писателя, некрологи, полемические статьи о литературе и литераторах Серебряного века и первых лет эмиграции, записные книжки, пародии, эпиграммы.

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос-Рус)1

Собрание сочинений в 10 томах
Том 10
Книга 2

МЕМУАРЫ
Горестные заметы
Воспоминания. Портреты. Записная книжка.
Пародии. Эпиграммы

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Наталья Шипилова*
Макет и верстка *Ирина Ануфриева*

Подписано в печать 15.06.2003. Формат 84 × 108/32.
Гарнитура Таймс. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 42,84. Уч.-изд. л. 41,85.
Тираж 2000 экз. Заказ № 3300.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г.

Издательство НПК «Интелвак»
117105, Москва, Нагорный проезд, 7

Факс 127 3847. Тел 127 3846. E-mail: iv @ deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ФГУИПП «Вятка»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

ISBN 5-93264-017-0



